КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ПЭТ КОНРОЙ



ПРИНЦ ПРИЛИВОВ

Принц приливов
Пэт Конрой

Аннотация
Пэт Конрой. ПРИНЦ ПРИЛИВОВ
ПРОЛОГ
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19

Рената Халперн. Южный путь
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Эпилог

Аннотация

Том Винго приезжает в Нью-Йорк, чтобы помочь своей сестре-близнецу Саванне, талантливой поэтессе. Пытаясь решить ее проблемы, он ищет ответ в непростой истории их необычной семьи, наполненной драматическими событиями и потрясениями. Том заново проживает годы детства, оценивая их с позиции зрелого человека…

Роман «Принц приливов» — настоящая сага о боли и радости, о чуткости и отчуждении, о детских страхах и о призраках взрослой жизни.

Одноименная экранизация романа (в 1991-м с Барбарой Стрейзанд и Ником Нолти в главных ролях) была выдвинута на премию «Оскар» и получила «Золотой глобус».

Пэт Конрой
ПРИНЦ ПРИЛИВОВ

Эту книгу я с любовью и благодарностью посвящаю моей жене Леноре Гурвиц-Конрой, которая меня вдохновляла; моим детям Джессике, Мелиссе, Меган и Сюзанне; Грегори и Эмили Флейшерам; моим братьям и сестрам: Кэрол, Майклу, Катлин, Джеймсу, Тимоти и Томасу; моему отцу Дональду Конрою, полковнику морской пехоты США в отставке, который по-прежнему великолепен и по-прежнему Сантини, и памяти моей матери Пег, удивительной женщины, построившей наш дом и наполнившей его своим вдохновением.

Я в долгу перед многими людьми, которые поддерживали меня во время создания этой книги. Я благодарю своего отчима Джона Эгана, капитана ВМС США, подарившего столько любви мне и моей семье в те дни, когда наша мать умирала от лейкемии. Спасибо Тернеру и Мери Боллам — создавая эту книгу, я надолго уединялся в их горном доме. Спасибо Джеймсу Лэндону и Эл Кэмпбелл, дававшим мне ключи от их горного жилища в Хайлендсе, Северная Каролина. Спасибо судье Алексу Сандерсу — самому выдающемуся южнокаролинцу. Многие из историй, включенных в этот роман, рассказаны им во время наших бесед в доме Джо и Эмили Каммингов в Тейт-Маунтин. Спасибо Джулии Бриджес, виртуозно

отпечатавшей рукопись этой книги. Спасибо Нэн Талезе — великолепному редактору и просто красивой женщине. Спасибо потрясающей Саре Флинн. Спасибо Джулиану Баку — моему литературному агенту и одному из прекраснейших людей, когда-либо встречавшихся на моем пути. Спасибо издательской компании «Хаутон Миффлин», ставшей частью моей семьи. Спасибо Барбаре Конрой — опытному юристу и образцовой матери наших детей. Спасибо бесподобному Клиффу Гроберту из книжного магазина «Старый Нью-Йорк». Спасибо Деррилу Ренделу за его редкое мужество. И конечно же, спасибо Денту Акри, Пегги Хаутон и судье Уильяму Шерриллу. Друзья, мне очень повезло с вами. Я благодарю вас в Атланте, в Риме и на всем пространстве между этими городами. Обнимаю вас. В следующий раз я непременно назову все ваши имена.

ПРОЛОГ



Земля, где я жил и живу, — моя вечная боль. И в то же время — моя опора, «порт назначения».

Мое детство прошло в пространстве между морскими приливами и болотами Коллетона[1]. От долгих рабочих дней под обжигающим солнцем Южной Каролины мои руки крепли и покрывались загаром. Будучи одним из Винго[2], я начал работать, едва научившись ходить. В пять лет с помощью остроги я мог запросто поймать голубого краба. В семь я убил своего первого оленя, а в девять регулярно поставлял мясо к семейному столу. Я родился и вырос на одном из

---

[1] Примечания: 1

Коллетон — округ штата Южная Каролина, названный в честь сэра Джона Коллетона — одного из губернаторов штата.

[2] Примечания: 2

Примечательная фамилия, состоящая из двух английских слов — win и go. Ее можно перевести как «давай выигрывай» или «давай побеждай».

прибрежных островов штата Южная Каролина; солнце, сиявшее над низменностями, придало моим плечам и спине оттенок темного золота. Мальчишкой я обожал плавать на маленькой лодке между отмелями, где у границ мелководья, на коричневых проплешинах, обитали колонии устриц. Я знал по имени всех ловцов креветок, а они знали меня; когда я рыбачил в устье, они приветственно сигналили, проплывая мимо.

В десять лет я убил белоголового орлана, просто ради развлечения, ради самого процесса, невзирая на божественную, завораживающую красоту его полета над косяками мерланов[3]. Я уничтожил живое существо, какого не видел прежде. Отец выпорол меня за нарушение закона и за убийство последнего орлана в округе Коллетон, после чего велел развести костер, ощипать птицу, изжарить ее и съесть. Слезы катились по моим щекам, когда я жевал мясо. Затем отец отвел меня к шерифу Бенсону, и тот запер меня в камере, где я просидел больше часа. Отец собрал перья орлана, соорудил грубый головной убор наподобие индейского и заставил меня надевать его в школу. Он верил в искупление грехов.

---

[3] Примечания: 3
Мерлан — рыба семейства тресковых.

Несколько недель я таскал эту «корону», пока она, перо за пером, не начала разваливаться. По школьным коридорам за мной тянулся след из перьев, словно за падшим ангелом, постепенно теряющим крылья.

— Никогда не лишай жизни тех, кого и так почти не осталось, — строго произнес отец.

— Хорошо, что я не убил слона, — ответил я.

— Тогда тебе пришлось бы съесть целую гору мяса, — заметил отец.

Он не допускал преступлений против природы. Охотиться я не перестал, но с тех пор не представлял для орланов никакой опасности.

Воспитанием нашего духа занималась мать, и воспитание это имело истинно южный, необычайно тонкий характер. Мать верила, что цветы и животные умеют мечтать и видят сны. Когда мы были маленькими, она рассказывала нам удивительные истории о лососе, мечтающем одолеть горный перевал, о бурых мордах гризли, которым хочется воспарить над речными стремнинами. По словам матери, медноголовые змеи только и ждут возможности впиться ядовитыми зубами в ноги охотников. Орликам снится, как они камнем падают вниз и вклиниваются в лениво плывущие косяки сельди. Кошмарные сны горностаев на-

полнены жестоким хлопаньем совиных крыльев. А волки видят во сне, как крадутся с подветренной стороны к ничего не подозревающим лосям.

В детстве мы верили в головокружительные полеты материнского воображения, однако мечты и сны самой матери были для нас загадкой; она не допускала нас в свою внутреннюю жизнь. Мы знали лишь, что пчелы грезят о розах, розы — о бледных руках садовника, а пауки — о мотыльках-сатурниях, попавших в серебристую паутину.

Мать ежедневно уводила нас в лес или в сад. Каждому встреченному существу или цветку она придумывала имя. Бабочки породы «монарх» становились «негодницами, целующими орхидеи», бледно-желтые нарциссы на апрельском лугу — «танцующими молочницами в шляпах». Мать с ее наблюдательностью и фантазией превращала обычную прогулку в путешествие, полное сказочных открытий. Мы смотрели на мир ее глазами, в них природа была подобна храму.

Моя семья жила в уединении на острове Мелроуз. Наш белый дом, который помогал строить дед, глядел в сторону протоки; дальше, вниз по реке, виднелся городок Коллетон, чьи белые дома возвышались над болотами, напоминая фигуры

на шахматной доске. Остров Мелроуз напоминал огромный леденец площадью в тысячу двести акров, окруженный со всех сторон солеными протоками и ручьями. Островная страна, в которой я вырос, представляла собой плодородный субтропический архипелаг, неотвратимо отвоевывающий пространство у океана, к немалому удивлению континента, двигавшегося следом. Мелроуз был одним из шестидесяти прибрежных островов в округе Коллетон. На восточной оконечности округа располагались шесть барьерных островов — форпост, постоянно испытывающий на себе соседство с Атлантикой. Прочие острова, как и наш, были окружены обширными пространствами болот. На мелководьях собирались белые и коричневые креветки, чтобы в надлежащее время произвести потомство. Ловцы креветок, в том числе и мой отец, уже ждали их в своих быстрых маневренных лодках.

Когда мне было восемь лет, я помогал отцу строить небольшой деревянный мост, соединивший наш остров с узкой насыпью, которая тянулась через болота к более крупному острову Святой Анны; тот остров в свою очередь соединялся с Коллетоном длинным стальным подвесным мостом через реку. На своем грузовичке отец за

пять минут доезжал до деревянного моста и еще за десять — до Коллетона.

Мост мы построили в 1953 году; до этого мать каждое утро отвозила нас в городскую школу на катере. Даже в самую скверную погоду она мужественно пересекала реку, а после занятий ждала нас на общем причале. Я убедился: до Коллетона быстрее добираться на «Бостон вейлер»[4], чем на машине. Годы ежедневных поездок сделали мою мать одним из опытнейших рулевых, однако после постройки моста она редко ступала на борт катера. Этот мост соединил нас с близлежащим городком; для матери он стал еще и связующим звеном с миром, что лежал за пределами Мелроуза и таил в себе неисчерпаемые возможности.

Мелроуз являлся единственным крупным владением отцовской семьи — горячего, порывистого и невезучего клана, закат которого после Гражданской войны был быстрым, явным и, скорее всего, неизбежным. Мой прапрадед Уинстон Шадрак Винго командовал батареей; под

---

[4] Примечания: 4

Марка легких и прочных катеров, завоевавших популярность своей надежностью и простотой обслуживания.

Борегардом они стреляли по крепости Самтер[5]. Умер мой предок нищим, в Чарлстоне, в Конфедератском доме для солдат-южан. До самой смерти он отказывался говорить с северянами обоих полов. Незадолго до своей кончины прапрадеду достался остров Мелроуз в качестве выигрыша в «подкову»[6]. До моего отца этим девственно диким, кишевшим малярийными комарами островом владели три поколения все менее и менее удачливых Винго. Мой дед считал Мелроуз обузой. Отец оказался единственным Винго, который согласился платить штатные и федеральные налоги, тем самым удерживая остров от перехода в руки государства. Та игра в «подкову» знаменовала определенный рубеж в истории нашей семьи; мы почитали Уинстона Шадрака Винго как нашего первого семейного героя.

Не могу сказать точно, когда мои родители начали затяжную и удручающую войну друг с другом. Большинство их стычек напоминали иг-

---

[5] Примечания: 5

Форт Самтер — береговая крепость в Чарлстоне (Южная Каролина). Обстрел этой крепости с ее последующим захватом считается событием, спровоцировавшим в 1861 г. Гражданскую войну.

[6] Примечания: 6

Игра, в которой конские подковы набрасываются на столбики, расставленные на расстоянии 12 м друг от друга.

ру «ринголевио»[7], где души собственных детей служили чем-то вроде порванных и измятых вражеских флагов, захваченных в качестве трофеев. Сражаясь, родители не задумывались о том, что калечат хрупкие юные жизни. Я и сейчас уверен: отец и мать крепко любили нас, но, как бывает со многими родителями, любовь эта таила смертельную опасность для детей. Мои родители были настолько разносторонне одаренными личностями, что их таланты почти уравновешивали хаос, в который они так бездумно превращали нашу жизнь.

Я был сыном красивой женщины, обладавшей завораживающим даром слова. Даже спустя много лет после того, как она посчитала меня достаточно взрослым для расточения материнских нежностей, я жаждал ее ласк. До конца жизни я не перестану восхищаться матерью. Это она научила меня находить красоту природы во всех ее изумительных творениях, любить огоньки рыбачьих лодок в звездной темноте ночи и полеты бурых пеликанов, скользящих в рассветные часы над волноломами. Это она обратила мое

[7] Примечания: 7

Игра, возникшая в Нью-Йорке во времена Великой депрессии. Отчасти напоминает прятки, но ее правила гораздо жестче. В этой игре участвуют две команды; успех зависит от командной сплоченности.

внимание на совершенную красоту плоских морских ежей и морских камбал, зарывшихся в песок. Благодаря ей я замечал, что обломки судна возле Коллетонского моста облюбовали деловито снующие выдры. Мать видела мир сквозь яркую призму своего уникального воображения. Из подвластного ей материала — собственной дочери — Лила Винго постепенно вылепила поэтессу и… душевнобольную. С сыновьями она обходилась мягче, потому и результаты материнской «лепки» проявились не так скоро. Мать сохранила для меня множество разнообразных эпизодов из детства — портретов и натюрмортов, сияющих сквозь время. В моих глазах — глазах обожавшего сына — мать правила как неистощимая на выдумки, талантливая королева. Однако я не могу простить, что она не рассказала мне про мечту, преследовавшую ее все мое детство. Эта мечта разрушила мою семью и стала причиной смерти одного из нас.

Будучи сыном необычной женщины, я был и сыном ловца креветок, влюбленным в лодки. Я рос речным мальчишкой и, засыпая, вдыхал соленый болотный воздух. Летом мы с братом и сестрой становились у отца подручными, помогая ему в промысле. Ничто не доставляло мне

большего удовольствия, чем вид флотилии, затемно вышедшей навстречу неугомонным стаям креветок, которые быстро снуют в приливных волнах под светом бледнеющей луны. Отец, стоя за штурвалом, прихлебывал черный кофе и вслушивался в громкую речь владельцев других лодок. Одежда отца была пропитана запахом креветок, который ни вода, ни мыло, ни материнские руки не могли уничтожить. Когда работа становилась напряженной, отцовский запах менялся: к запаху рыбы примешивался запах мужского пота. Теперь отец пах иначе, пах восхитительно. В детстве я любил прильнуть носом к отцовской рубашке с ароматом теплой, плодородной земли. Не будь Генри Винго таким жестоким, из него получился бы прекрасный отец.

В один из летних вечеров, когда мы были совсем маленькими, нам не спалось. Солнце клонилось к закату; влажный воздух густо покрывал низины. У нас с Саванной беспрестанно текло из носа, Люка мучила потница. И тогда мать повела нас вниз по реке, в сторону плавучего дока.

Подойдя к доку, мы уселись на краешек, стараясь дотянуться босыми ногами до воды, и стали следить за дельфином, который скользил по застывшей серо-стальной воде, держа путь к

океану.

— У меня для моих дорогах деток есть сюрприз, — объявила мать. — Хочу вам кое-что показать, это поможет уснуть. Посмотрите вон туда.

Мать указала на восточный край горизонта.

Летние вечера тянутся удивительно долго; но пока мы шли к доку, уже начало темнеть. И вдруг в том самом месте, куда был обращен материнский палец, показалась необычайно красивая золотая луна. Она выплыла из прозрачных, наполненных светом облаков, что выстроились на горизонте, будто свита, заслоняющая свою госпожу. За нашими спинами с такой же скоростью отступало закатное солнце, превращая реку в беззвучную дуэль: нового золота изумительной луны и тускнеющего золота заката, полоса которого медленно гасла на западе. То над Каролинскими болотами исполнялся древний танец смены светил. Мы замерли, наблюдая ежедневную «смерть» солнца, пока оно не скрылось совсем, надев на кроны черных дубов багровое кружево. Луна, напротив, стала быстро подниматься. Она вспорхнула над деревьями и островами, словно птица с водной поверхности. Сначала золотая, затем желтая, бледно-желтая,

бледно-серебристая, ярко-серебристая. Еще через какое-то время ее удивительный безупречный цвет вышел за пределы серебристых оттенков и стал таким, каким его можно увидеть только южным вечером.

Трое малышей, мы сидели, зачарованные луной, которую наша мать «вызвала» из воды. Когда сияние стало ослепительно-серебристым, моя трехлетняя сестра Саванна громко крикнула:

— Мама, сделай так еще!

Это самое раннее из моих воспоминаний.

Наше взросление сопровождалось восторгом перед удивительной женщиной, которая рассказывала нам о мечтах белых и черных цапель, повелевала восходами луны и отправляла на покой солнце, чтобы на следующее утро вернуть его в мир, заставив взойти далеко за океанскими волноломами. Лилу Винго не интересовала наука, зато она страстно любила природу.

Чтобы понять, как мы росли в низинах Южной Каролины, вам бы пришлось весенним днем отправиться со мной на болота, нарушить покой голубой цапли и спугнуть стаю лысух, шлепая по колено в болотной жиже. Я бы вскрыл перочинным ножом створки устричной раковины и сказал:

— Вот, попробуйте. Это вкус моего детства.

А еще я бы добавил:

— Вдыхайте глубже.

Тогда бы вы на всю жизнь запомнили этот терпкий и сочный аромат приливных болот, этот удивительный, чувственный запах Юга, наполненный страстью. Так пахнет парное молоко, мужское семя, пролитое вино, если все это смешать с морской водой.

География моего патриотизма ограничивается одним неповторимым уголком планеты — моей родиной, о которой я говорю с религиозным благоговением, которой горжусь. Я с опаской двигаюсь по улицам шумных, забитых машинами городов, неизменно собранный и настороженный, поскольку сердце мое принадлежит болотистым низинам. Мальчишка во мне до сих пор помнит времена, когда на рассвете я вытаскивал из реки Коллетон плетеные корзины с крабами. Жизнь на реке сделала из меня того, кем я стал. Одновременно я был и ребенком, и ризничим приливов.

Однажды мы загорали на пустынном пляже близ Коллетона.

— Смотрите! Смотрите туда! — вдруг крикнула нам с Люком Саванна.

Сестра указывала в сторону океана, где в прибрежных водах металась стая гринд[8]. Затем киты начали выбрасываться на берег. Сорок гринд — черных, с блестящей, словно дубленой кожей, распластались на берегу, приговорив себя к смерти.

Несколько часов, кружа между умирающими животными, мы своими детскими возгласами уговаривали их вернуться в океан. Мы были такими маленькими, а они — такими большими. Издали гринды напоминали черные башмаки великанов. Мы расчищали песок, чтобы он не набился в дыхала животных, поливали их морской водой и умоляли ради нас остаться в живых. Трое малышей, мы говорили с гриндами как млекопитающие с млекопитающими; наши возвышенные слова были полны отчаяния. В загадочном исходе гринд из воды была странная грациозность. Мы и не подозревали, что существует добровольная смерть. Весь день мы пытались дотащить китов до воды, вцепившись в их громадные плавники. Мы выбились из сил и не заметили тихого наступления сумерек. Постепенно гринды начали умирать один за другим. Мы гладили их большие

[8] Примечания: 8
Гринды — разновидность зубатых китов.

головы и молились, чтобы души животных, покинув черные тела, уплыли в океан, к свету.

Годы спустя мы вспоминали то время как переплетение элегий и кошмаров. Книги, написанные Саванной, принесли ей известность. Когда журналисты расспрашивали ее о детстве, она откидывалась на спинку кресла, порывистым жестом убирала волосы со лба, придавала лицу серьезное выражение и говорила:

— В детстве мы с братьями любили кататься на спинах китов и дельфинов.

Не было никаких дельфинов, но такова моя сестра, таков ее стиль, ее способ чувствования и изложения минувших событий.

Мне было трудно заглянуть в лицо правде о своем детстве; для этого требовалось разбередить историю с ее образами и сюжетными линиями. Мне было проще забыть. Много лет я избегал демонов из детства и юности, стараясь не касаться тех пластов. Я вел себя как хиромант, старающийся не замечать несчастливых линий на ладони. Прибежище я нашел в мрачных, величественных пространствах подсознания. Но один-единственный телефонный звонок мгновенно развернул меня к истории нашей семьи и череде неудач собственной взрослой жизни.

Как долго я делал вид, что у меня не было детства! Мне пришлось замуровать его в груди и не выпускать. Человек сам волен решать, иметь или не иметь воспоминаний; я избрал второе, следуя достойному примеру своей матери. Мне очень хотелось любить мать и отца такими, какие они есть, со всеми их недостатками и «жестоким гуманизмом», поэтому и не хватало смелости обвинить их в преступлениях против нас троих. Ведь и у родителей есть своя история, которую я вспоминаю с нежностью и болью и которая заставляет меня забыть все зло, причиненное ими собственным детям. В семье не бывает преступлений, совершенных за гранью прощения.

Я приехал в Нью-Йорк навестить Саванну в психиатрической клинике, куда она попала после второй попытки самоубийства. Я наклонился и по-европейски поцеловал сестру в обе щеки. Потом, глядя в ее изможденные глаза, задал ей привычные для нас обоих вопросы.

— Саванна, на что была похожа твоя жизнь в родительской семье? — спросил я тоном журналиста, берущего интервью.

— На Хиросиму, — прошептала она.

— А после того, как ты покинула родительский дом, с его теплом и заботой сплоченной семьи?

— На Нагасаки, — с горькой улыбкой ответила сестра.

— Саванна, в тебе ощущается поэтический дар, — заметил я, внимательно глядя на сестру. — С каким кораблем ты бы сравнила родительскую семью?

— С «Титаником».

— Как называется стихотворение, написанное тобой в честь нашей семьи?

— «История Аушвица», — отозвалась Саванна, и мы оба засмеялись.

— А теперь самое важное. — Я наклонился к уху сестры. — Кого ты любишь больше всех на свете?

Саванна приподняла голову от подушки. В ее синих глазах сверкнула уверенность, бледные потрескавшиеся губы произнесли:

— Больше всех я люблю Тома Винго, моего брата-близнеца. А кого мой брат любит больше всех на свете?

— Я тоже больше всех люблю Тома, — заявил я, беря сестру за руку.

— Дай правильный ответ, хитрюга, — слабым голосом возмутилась Саванна.

Я смотрел ей в глаза. По щекам у меня катились слезы; внутри все разрывалось. Таким же срывающимся голосом я сказал:

— Я люблю мою сестру, великую Саванну Винго из Коллетона, что в Южной Каролине.

Таковы были реалии наших жизней.

Наше время никак не назовешь легким. Я появился на свет в разгар мировой войны, когда нависла угроза атомной эры. Вырос я в Южной Каролине — белый парень, обученный ненавидеть чернокожих. И вдруг это движение за гражданские права! Оно застало меня врасплох, показало ошибочность и ущербность моих представлений. Будучи парнем мыслящим, чувствительным и восприимчивым к несправедливости, я приложил немало усилий, чтобы измениться. В колледже я с гордостью маршировал в шеренге службы подготовки офицеров резерва, куда не брали ни женщин, ни черных. Однажды меня оплевали участники демонстрации в защиту мира: их, видите ли, оскорбляла моя форма. В конце концов и я оказался в рядах демонстрантов, однако никогда не плевал в инакомыслящих. Я рассчитывал спокойно перевалить рубеж своего тридцатилетия: рассудительный мужчина, чья философия прочна и гуманна. Но тут улицы заполнили активисты движения за права женщин, и я вновь оказался не на той стороне баррикад. Судя по всему, я был воплощением всех непра-

вильностей двадцатого столетия.

Спасибо моей сестре — именно она столкнула меня с веком и в итоге помогла освободиться от всего, что мешало увидеть реальность. Я слишком долго жил на мелководье; Саванна осторожно выводила меня в глубокие воды, где я с робостью вглядывался в обломки кораблей и кости жертв кораблекрушений.

Правда такова: жизнь нашей семьи была полна событий, причем по преимуществу экстраординарных. Мне знакомы семьи, жизнь которых протекает ровно и незаметно. Я всегда им завидовал. Клан Винго был другим. Судьба тысячекратно испытывала его на прочность, ломая, унижая и лишая опоры. Однако, невзирая на все передряги, часть сил мы сохранили; не сомневаюсь, что почти все мы переживем нашествие фурий. Правда, Саванна думает иначе: она считает, что из Винго не выживет никто.

Итак, я расскажу вам свою историю.

Ничего не упущу, обещаю.

Глава 1



Было пять часов вечера по времени Восточного побережья, когда в моем доме, находящемся на острове Салливанс, штат Южная Каролина, зазвонил телефон. Мы с Салли, моей женой, только уселись на крыльце и собрались насладиться коктейлем. С крыльца открывался чудный вид на Чарлстонскую гавань и Атлантический океан. Салли встала и направилась в дом.

— Кто бы ни звонил, меня нет, — крикнул я вслед.

— Это твоя мать, — сообщила Салли, когда вернулась.

— Передай ей, что я мертв, — взмолился я. — Умер на прошлой неделе, а ты была так занята, что забыла с ней связаться.

— Прошу тебя, поговори с ней. Она утверждает, что это безотлагательно.

— Обычные мамины слова. Наверняка какой-нибудь пустяк.

— Думаю, на этот раз действительно что-то случилось. Она плачет.

— Мамины слезы — это нормально. Не припомню дня, когда бы она не плакала.

— Том, она ждет.

Я встал.

— И будь с ней добрее, — добавила жена. — Ты всегда так дерзко ведешь себя с матерью.

— Салли, я ненавижу свою мать, — в очередной раз напомнил я жене. — Зачем ты пытаешься лишить меня маленьких удовольствий?

— Слушай свою Салли, будь поласковей с мамочкой.

— Послушай ты меня. Если мать сегодня к нам притащится, я с тобой разведусь. Ничего личного, просто по твоей милости я вынужден сейчас с ней общаться. Привет, дорогая мамочка, — бодрым голосом произнес я в трубку, прекрасно зная, что мать не провести моей бравадой.

— Том, у меня очень плохие новости, — сказала мать.

— Мамуль, разве в нашей семье бывают какие-то другие новости?

— Очень плохие новости, Том. Трагические.

— Мне не терпится услышать.

— Это не телефонный разговор. Могу я к вам заехать?

— Заезжай, если хочешь.

— Я хочу, только если ты этого хочешь.

— Ты сама предложила заехать. О своих желаниях я молчал.

— Почему тебе нравится делать мне больно, тем более в такое время?

— Мама, в какое такое время? Ты же не говоришь мне, что случилось. Мне вовсе не нравится делать тебе больно. Приезжай, и мы вонзим клыки друг в друга.

Я швырнул трубку и завопил во всю мощь легких:

— Развод!

Ожидая мать, я смотрел, как мои дочери собирают ракушки на берегу. Две девочки с каштановыми волосами, а посередине — блондинка. Им было десять, девять и семь лет соответственно. Рост и красота дочерей неизменно удивляли меня; глядя на их ладные загорелые фигурки, я ощущал некоторую собственную ущербность. Ветер трепал им волосы; их смуглые ручонки, словно по команде, поднимались, отводя пряди от глаз. Их смех сливался с шумом прибоя. На-

блюдая за ними, я невольно верил в рождение богинь. Дженнифер подняла большую раковину и позвала сестер. Я встал и направился к настилу. Там же остановился сосед, собираясь поболтать с девочками.

— Мистер Брайтон, вы уверены, что эти красавицы не курили на пляже травку? — крикнул я ему.

Дочери вскинули головы, помахали на прощание ошеломленному мистеру Брайтону и через дюны и островки травы понеслись к дому. Раковины они положили на столик, у моего бокала с коктейлем.

— Па, ты всегда ставишь нас в неловкое положение перед другими, — заявила Дженнифер, старшая из троих.

— Папа, а мы нашли малюську, — пропищала младшая, Чендлер. — Она живая.

— Он живой, — поправил я, переворачивая раковину. — Будет чем поужинать сегодня.

— Здорово, пап, — обрадовалась Люси. — Отличная еда. Мясо моллюска.

— Нет, — возразила Чендлер. — Я отнесу его на берег и брошу в воду. Только представьте, как он перепугался, когда услышал, что его собираются съесть.

— Не смеши, — сказала Дженнифер. — Моллюски не понимают по-английски.

— Ты уверена, Дженнифер? — насмешливо спросила Люси. — Ты не можешь знать всего. Ты же не повелительница мира.

— Люси права, — поддержал я среднюю дочь. — Ты действительно не повелительница мира.

— Лучше бы у меня было два брата, — буркнула Дженнифер.

— Лучше бы у нас был старший брат, — с очаровательным негодованием блондинки заметила Люси.

— Па, ты хочешь съесть эту старую уродину? — осведомилась Дженнифер.

— Чендлер сойдет с ума, — заявила младшая, говоря о себе в третьем лице.

— Нет, девочки, — заключил я. — Отнесу раковину назад. Не могу слышать, когда Чендлер называет меня убийцей. А сейчас — все к папе на колени.

Все трое без особого энтузиазма забрались своими очаровательными, крепкими попами ко мне на колени. Каждую я поцеловал в шею и затылок.

— Последний год вы восседаете у меня на коленях, девочки. Все тяжелеете.

— Тяжелеем? Я уж точно не тяжелею, — ехидно усмехнулась Дженнифер. — Вот так-то, па.

— Зови меня папой.

— Только малышня зовет своих отцов папами.

— Тогда и я не буду звать тебя папой, — подала голос Чендлер.

— Мне нравится, когда меня называют папочкой — тогда я чувствую, что меня обожают. Девочки, хочу задать вам вопрос. Отвечать нужно с убийственной честностью. Не бойтесь задеть папины чувства, слушайте свое сердце.

Дженнифер подняла брови.

— Па, ты опять затеял свою игру?

— Кто самый великий из людей, которых вы встречали?

— Мама, — выпалила Люси и ухмыльнулась.

— Почти правильно, — согласился я. — А теперь еще раз. Подумайте о самом замечательном и удивительном человеке, которого вы знаете. Ответ должен буквально срываться с ваших губ.

— Ты! — выкрикнула Чендлер.

— Ах, мой ангел. Белоснежно чистый и такой смышленый ангел. Чего ты хочешь, Чендлер? Денег? Драгоценностей? Мехов? Акций и ценных бумаг? Проси чего угодно, дорогая, твой любящий папочка исполнит любое желание.

— Не убивай моллюска.

— Убить моллюска? Как можно! Лучше пошлю его в колледж, а потом пристрою в какой-нибудь бизнес.

— Па, мы уже достаточно взрослые, нечего играть с нами в разную ерунду, — упрекнула меня Дженнифер. — Нам неудобно перед своими друзьями.

— Это перед кем же?

— Перед Джонни.

— Перед этим малолетним прыщавым кретином, который вечно ходит с отвисшей челюстью и чавкает жвачкой?

— Он мой приятель, — гордо заявила Дженнифер.

— Дженнифер, он же подлиза, — хмыкнула Люси.

— Он гораздо лучше недомерка, которого нашла себе ты, — огрызнулась Дженнифер.

— Девочки, я ведь предупреждал вас насчет мальчишек. Они все противные. У них одни гадости на уме. Маленькие подлецы, от которых только пакостей и жди. То на кусты помочатся, то нос свой куда-нибудь сунут.

— Ты тоже когда-то был мальчишкой, — заметила Люси.

— Ха! Можешь представить нашего отца мальчишкой? — развеселилась Дженнифер. — Вот потеха.

— Я был совсем другим. Я был принцем, похожим на луч лунного света. Однако я не намерен вмешиваться в твою личную жизнь, Дженнифер. Ты же знаешь, я не из тех скучных папаш, которые вечно недовольны избранниками своих дочерей. Повторяю: я не намерен вмешиваться. Это твой выбор и твоя жизнь. И вообще, девочки, как только закончите медицинский колледж, можете выходить замуж за кого хотите.

— Я не собираюсь учиться в медицинском колледже, — сказала Люси. — Достаточно мамы, которой приходится разглядывать чужие задницы. Буду поэтессой, как Саванна.

— Что ж, тогда выходи замуж, когда издашь первую книгу. Не возражаю. Я же не самодур.

— Выйду замуж, когда захочу, — возразила Люси. — Зачем мне твое разрешение? Тогда я уже буду взрослой женщиной.

— Вот это сила духа. — Я захлопал в ладоши. — Правильно, Люси. Нечего принимать всерьез родительские речи. Это самое главное правило в жизни. Крепко его заучите и следуйте ему.

— Ты только так говоришь, папа. — Чендлер

уперлась головой в мой подбородок. — То есть па, — быстро добавила она.

— И все-таки запомните мои слова, — продолжал я. — Родители существуют на земле с единственной целью — портить жизнь собственным детям. Таков один из важнейших божьих законов. Слушайте внимательно. Ваша задача — убедить нас с мамой, что вы думаете и поступаете так, как мы вам велим. Но на самом деле все иначе: у вас свои мысли и свои тайные дела. Просто мы с мамой вас достаем.

— А как вы нас достаете? — удивилась Дженнифер.

— Нам стыдно перед друзьями за отца, — подсказала Люси.

— Речь не об этом, — пояснил я. — Но знаю точно, мы с мамой каждый день понемногу достаем вас, хотя не отдаем себе в этом отчета. Мы бы не мучили вас, потому что крепко любим. Но мы родители, и наша обязанность — портить вам жизнь. Понятно?

— Нет, — хором откликнулись дочери.

— Прекрасно. — Я глотнул из бокала. — От вас и не требуется понимания. Мы — ваши враги, и вам суждено вести против нас партизанскую войну, по-испански «герилью» — красиво звучит.

— Мы не гориллы, — сухо произнесла Люси. — Мы девочки.

Из дома вышла Салли. На ней было летнее платье без рукавов, белое, с легким серым оттенком, и такого же цвета сандалии. Я залюбовался ее длинными загорелыми ногами.

— Никак я помешала чтению полного курса лекций доктора Спока? — спросила Салли, улыбнувшись девочкам.

— Па назвал нас гориллами, — пожаловалась Чендлер, перебираясь с моих коленей на материнские.

— Я немного привела дом в порядок, — сообщила Салли, закуривая сигарету.

— Мама, если ты не бросишь курить, то умрешь от рака легких, — обрадовала мать Дженнифер. — Ты захлебнешься своей же кровью. Нам рассказывали об этом на уроке.

— Не пущу тебя больше в школу, — пообещала Салли, выпуская дым.

— Что тебя потянуло прибраться? — поинтересовался я.

— Я же вижу лицо твоей мамочки, когда она к нам приезжает. Не дай бог застанет развал на кухне — еще потащит девочек на прививки от тифа.

— Просто ей завидно, что ты врач, а ее успехи закончились в третьем классе школы, где она победила в состязании по орфографии[9].

— Том, ты слишком жесток к матери, — упрекнула меня Салли, наматывая на палец пряди волос Чендлер. — Она пытается вновь стать хорошей матерью и делает это, как умеет.

— Па, почему ты не любишь бабушку? — осведомилась Дженнифер.

— Кто тебе сказал, что я не люблю бабушку?

— Тогда почему, когда она звонит, ты всегда кричишь: «Меня нет дома»? — подлила масла в огонь Люси.

— Дорогая, это просто защитная реакция. Знаешь, как раздувается рыба-шар, когда чует опасность? Так и я, когда бабушка звонит, раздуваюсь и кричу, что меня нет дома. И все бы обходилось, если бы мама меня не выдавала.

— Папа, зачем ты скрываешься от бабушки? — допытывалась Чендлер.

— Потому что если я дома, мне приходится с ней общаться. И разговоры эти напоминают мне

---

[9] Примечания: 9

Поскольку в английском языке написание и произношение зачастую очень сильно разнятся, это породило особый вид школьных состязаний. Обычно соревнуются две команды, участники которых называют по буквам трудные слова.

время, когда я был мальчишкой. Ненавижу свое детство. Уж лучше быть рыбой-шаром.

— Значит, когда мы вырастем и ты нам будешь звонить, мы тоже должны кричать: «Меня нет дома»? — заключила Люси.

— Конечно, — согласился я, вкладывая в свой ответ больше эмоций, чем мне бы хотелось. — Потому что мои вопросы будут портить вам настроение. Каково вам будет слушать: «Дорогая, ну когда же ты наконец выберешься ко мне?» Или: «Солнце мое, я что-то сделал не так?» Или я начну хныкать: «В минувший четверг у меня был день рождения». Дальше больше: «На следующий вторник мне назначена операция по пересадке сердца. Тебя, конечно, это не волнует». А хотите услышать что-нибудь вроде: «Ты хотя бы могла прийти обтереть пыль с моего аппарата искусственного дыхания»? Знаете, девочки, когда вы вырастете и уйдете, у меня останется единственное занятие — поддерживать в вас чувство вины. И пытаться разрушить ваши жизни.

— Па думает, что он все знает, — глядя на мать, заметила Люси.

Две рассудительные головы согласно кивнули.

— Это что такое? Дети смеют разбирать меня по косточкам? Моя плоть и кровь находит недостат-

ки в моем характере? Знаешь, Люси, я выдержу все, что угодно, но только не критику.

— Все друзья считают, что у нас чокнутый отец, — добавила Дженнифер, тоже обращаясь к матери. — Вот ты себя ведешь как нормальная мать. А па совсем не похож на других отцов.

— Дожил. Вот оно, жуткое мгновение, когда дети восстают против тебя и готовы выпустить тебе кишки. Живи мы в России, они бы донесли на меня коммунистическим властям, и я бы отправился в сибирские соляные копи морозить задницу.

— Мама, он сказал плохое слово, — поморщилась Люси.

— Да, дорогая. Я слышала.

— Пора скашивать траву, — выпалил я.

— Мама, он всегда после этого слова говорит, что пора скашивать траву, — продолжала жаловаться Дженнифер.

— А в это самое время моя мамочка пересекает мост через Шемкрик. Все птицы планеты умолкают, когда Лила Винго куда-то направляется.

— Том, прошу тебя, постарайся быть с нею поласковей, — своим жутким «докторским» тоном произнесла Салли. — Не позволяй ей вывести тебя из равновесия.

Я простонал и отпил из бокала.

— Боже, знать бы, что ей понадобилось на этот раз. К нам она приезжает, только если может хоть немного испортить мне настроение. Она мастер разрушать чужую жизнь. Ей бы семинары вести на эту тему. Итак, у нее плохие новости. Когда мать упоминает о плохих новостях, так и жди чего-нибудь жуткого, вроде библейских ужасов из Книги Иова.

— Согласись хотя бы с тем, что она пытается стать тебе другом.

— Соглашаюсь. Пытается, — устало вздохнул я. — Мне она нравилась больше, когда не предпринимала этих попыток, когда просто была нераскаявшимся чудовищем.

— Что у нас сегодня на ужин? — сменила тему жена. — Мой нос чует что-то вкусное.

— Это свежий хлеб. Также я зафаршировал мясом крабов и креветок те несколько камбал, что поймал утром. Добавь к этому салат из шпината и жареные кабачки с луком-шалотом.

— Восхитительно, — сказала Салли. — Напрасно я выпила коктейль. Вечером у меня могут быть вызовы.

— А я хочу жареную курицу, — заявила Люси. —

Пойдемте к полковнику Сандерсу[10].

— Па, зачем ты вообще готовишь? — вдруг спросила Дженнифер. — Мистер Брайтон каждый раз смеется, вспоминая, что ты делаешь обеды для мамы.

— Угу, — подхватила Люси. — Он утверждает, что все дело в маминой зарплате, якобы она в два раза больше твоей.

— Паршивец, — стиснув зубы, прошептала Салли.

— А вот и неправда, — возразил я Люси. — Я готовлю еду, потому что мама зарабатывает в четыре, если не в пять раз больше меня.

— Запомните, девочки, если бы не папа, я бы не стала врачом. А ты, Люси, больше не смей задевать папу. Незачем повторять все, что слышишь от мистера Брайтона. Просто мы с папой разделили обязанности.

— Во всех семьях готовят матери, — дерзко заявила Дженнифер; серые глаза Салли поймали горестный взгляд дочери. — Только у нас не так.

— Говорил я тебе, Салли: если воспитывать детей на Юге, они вырастут южанами. А южанину сам бог велел быть дурнем.

---

[10] Примечания: 10

Сеть ресторанов быстрого питания KFC («Жареный цыпленок из Кентукки»), основанная Гарландом Сандерсом.

— Мы с тобой тоже южане, но вроде не дурни, — возразила Салли.

— Мы исключение, дорогая. Один-два случая на целое поколение.

— Девочки, отправляйтесь наверх и хорошенько умойтесь. Лила скоро подъедет.

— Почему она против, чтобы мы звали ее бабушкой? — поинтересовалась Люси.

— Потому что она не хочет чувствовать себя старой, — объяснила Салли. — А теперь марш наверх.

И Салли, как пастух, погнала девочек в дом.

Вернувшись на крыльцо, жена наклонилась и провела губами по моему лбу.

— Прости Люси. Повторяет всякие глупости, как маленькая.

— Меня это не задевает, клянусь. Ни капельки. Более того, я даже наслаждаюсь ролью мученика. Прямо расцветаю в атмосфере жалости к самому себе. Бедный безмозглый Том Винго начищает вилки и ложки, пока его жена ищет средство от рака. Жалкий Том Винго делает изумительные суфле, предоставляя жене возможность зарабатывать сто тысяч баксов в год. К тому же мы знали, что так будет. Мы с тобой не раз это обсуждали.

— И все равно паршиво это осознавать. Не верю,

что твое «я» смирилось с положением домохозяйки. Уверена, тебя это угнетает. Ощущаю себя дьявольски виноватой. Девочки еще многого не понимают. Им хочется видеть рядом обычную маму.

— Зато они гордятся, что их мать — врач.

— Только почему-то они не гордятся, что их отец — учитель и тренер.

— Был им, Салли. Не путай прошедшее время с настоящим. Или ты забыла, что меня уволили? Чем тут гордиться? Так что девочки не виноваты… Боже, никак это мамина машина тарахтит в проезде? Доктор, три порошка валиума, срочно.

— Валиум и мне не помешает. Не забывай, я обязана выдержать ее придирчивый осмотр дома. Потом она примется за тебя.

— Спиртное не помогает, — простонал я. — Ну почему, когда надо, выпивка не притупляет чувства? Кстати, пригласить мать на ужин?

— Конечно. Хотя она вряд ли останется, ты же знаешь.

— В таком случае обязательно приглашу.

— И все-таки, Том, будь с матерью помягче. Она переживает, эти ее отчаянные попытки снова стать тебе другом…

— Дружба и материнство несовместимы.

— Интересно, наши дети тоже до этого додумаются?

— Нет, наши дети будут ненавидеть только своего отца. Ты заметила, что их воротит от моего чувства юмора? А старшей — всего десять. Мне впору приобретать другие привычки.

— Мне нравятся твои привычки, Том. По-моему, они забавные. Кстати, это одна из причин, почему я за тебя вышла. Я была уверена, что с тобой меня ждет веселая жизнь.

— Будь благословенна, доктор Винго… Вот и мамочка. Тебя не затруднит принести мне связку чесночных головок и распятие?

— Тише, Том! Она услышит.

К нам направлялась моя мать. Безупречно одетая, с идеально наложенным макияжем. Аромат ее духов достиг крыльца прежде, чем она на него поднялась. Она напомнила мне идеально сконструированную дорогую яхту с мощным двигателем. Мать всегда держится так, будто готовится войти во внутренние покои королевы. Слишком хороша, чтобы быть моей матерью. Одно время меня ошибочно принимали за ее мужа; мне не хватит слов описать, насколько ей это нравилось.

— Ну вот и добралась, — сказала мать. — Как

поживаете, мои дорогие?

Она коснулась губами нас обоих. Поцелуй был искренним, однако дурные новости притушили блеск в ее глазах.

— А Салли все хорошеет. Том, ты согласен?

— Конечно, мама. И ты тоже, — ответил я, подавляя стон.

Мать умеет извлекать из меня разную банальщину, которая льется неиссякаемым потоком.

— Благодарю тебя, Том. Как мило, что ты разговариваешь со своей старой матерью.

— Моя старая мать имеет лучшую фигуру во всей Южной Каролине, — выпалил я еще одну банальщину.

— Знал бы ты, каких трудов мне это стоит. Мужчины и представить не могут, какие муки испытывают девушки ради сохранения фигуры. Правда, Салли?

— Где им знать.

— А ты, Том, снова поправился, — бодро добавила моя мать.

— Откуда девушкам знать, какие муки испытывают мужчины, нагуливая лишний жирок.

— Не подумай, что я тебя упрекаю, — тоном обиженной добродетели произнесла мать. — Если ты так чувствителен к этой теме, больше я ее

не затрону. Кстати, полнота тебе даже идет. Лицо округляется, ты выглядишь лучше. Но сегодня я приехала не для препирательств. У меня скверные новости. Можно присесть?

— Разумеется, Лила, — спохватилась Салли. — Принести вам что-нибудь выпить?

— Джин-тоник, дорогая. И выжми туда немного лимонного сока, если есть лимоны. Том, а где девочки? Не хочу, чтобы они нас слышали.

— Наверху, — ответил я, разглядывая закат и ожидая скверных новостей.

— Саванна вновь пыталась покончить с собой.

— Боже милостивый, — выдохнула Салли, остановившись в дверях. — Когда?

— Очевидно, на прошлой неделе. Точной даты врачи назвать не могут. Когда ее обнаружили, Саванна была в коме. Сейчас она вышла из комы, но…

— Что означает это «но»? — почти прошептал я.

— Но сейчас она пребывает в одном из своих дурацких состояний, в которые впадает, когда ей нужно внимание.

— Мама, эти дурацкие состояния называются психотическими промежутками.

— Саванна утверждает, что страдает психо-

патией. Только я-то знаю, она не настоящая психопатка, — резко и зло бросила мать.

— Лила, а где она сейчас? — опередила меня Салли.

— В какой-то нью-йоркской психиатрической клинике. Кажется, Беллвью[11] или что-то в этом роде. Я записала, да бумажку дома оставила. Со мной связалась врач. Такая же, как ты, Салли, только психиатр. Вряд ли она сумела бы стать врачом где-нибудь в другой отрасли медицины, где занимаются серьезными делами. Но я всегда говорю: каждому свое.

— Я едва не стала психиатром, — заметила Салли.

— Как бы там ни было, приятно, что молодые женщины столь успешны в профессиональной карьере. Я такой возможности не имела… Эта врач позвонила и сообщила трагическую весть.

— Каким образом Саванна пыталась покончить с собой? — уточнил я, стараясь не терять самообладания и чувствуя, что все равно теряю.

— В очередной раз вскрыла себе вены, — ответила мать и заплакала. — Почему она так со мной поступает? Неужели я мало настрадалась?

---

[11] Примечания: 11
Муниципальный больничный комплекс Нью-Йорка.

— Она так поступает не с тобой, а с собой, — возразил я.

— Сделаю вам выпить, — сказала Салли и ушла в дом.

Мать вынула из сумочки платок и вытерла слезы.

— По-моему, этот психиатр — еврейка, — рассуждала она. — Очень характерная фамилия. Возможно, Арон ее знает.

— Мама, Арон родился в Южной Каролине. Если он еврей, это еще не значит, что ему знакомы все евреи Америки.

— Но он умеет наводить справки. Узнать бы, что она за птица. Семья Арона осведомлена о таких вещах.

— Если она еврейка, то в семье Арона, конечно же, есть на нее досье.

— Том, не надо добивать меня своим сарказмом. Думаешь, мне сейчас легко? Что, по-твоему, я должна испытывать, когда мои дети творят с собой такие ужасные вещи? Ощущаю себя хуже некуда. Ты даже представить не можешь, как люди из приличного общества будут смотреть на меня, когда все узнают.

— Ты поедешь в Нью-Йорк?

— Ох, Том, это невозможно. Мне сейчас так

тяжело. В субботу мы устраиваем званый обед, запланированный еще несколько месяцев назад. Мы сильно потратились. Уверена: Саванна в хороших руках, мы вряд ли можем что-то для нее сделать.

— Находиться рядом — это уже кое-что. Ты никогда этого не понимала, мама.

— Я пообещала психиатру, что, возможно, приедешь ты, — осторожно, с надеждой в голосе произнесла мать.

— Ну естественно!

— У тебя сейчас нет работы. Не нужно отпрашиваться, объяснять.

— Моя работа — искать работу.

— Зря ты не согласился продавать страховки. Ошибочное решение, хотя ты и не спрашивал моего совета.

— Откуда ты вообще об этом узнала?

— От Салли.

— Неужели она проболталась?

— Салли очень за тебя беспокоится. Мы все беспокоимся, Том. Не жди, что она всю жизнь будет тащить тебя на своем горбу.

— Это тоже она тебе сказала?

— Нет. Это лично мое мнение. Взгляни фактам в лицо. Пока ты живешь в Южной Каролине,

тебе не устроиться ни учителем, ни тренером. Нужно начинать заново, подниматься с самого дна. Работодатели должны видеть, что ты чего-то стоишь. Тогда один из них даст тебе шанс.

— Тебя послушать — так я вообще всю жизнь бездельничал.

Мне хотелось спрятаться от материнского взгляда. Я устал от этого разговора и не мог дождаться сумерек. Скорее бы солнце село.

— Прошло слишком много времени с твоей последней работы, — продолжала мать. — Любая женщина перестает уважать мужчину, который не приносит денег. Поверь мне. Салли — просто ангел, но она не будет вечно кормить семью, пока ты сидишь на крыльце и размышляешь о жизни.

— Мама, я все время хожу на собеседования. Количество компаний уже перевалило за семьдесят.

— Мой муж может тебя пристроить. Он предлагал найти тебе место в бизнесе.

— Ты же знаешь, я не могу принять помощь от твоего мужа. Хоть это пойми.

— Не понимаю я этого! — повысила голос мать. — И вообще, почему я обязана это понимать? Вся твоя семья страдает из-за того, что ты не в состоянии оторвать свой жирный зад от

стула. Мой муж это видит. Он хочет помочь не тебе, а Салли и девочкам, положить конец их страданиям. Они достаточно намучились с тобой. Да, мой муж знает, как ты его ненавидишь, и тем не менее готов протянуть руку.

— Рад, что ему известно о моей ненависти.

На крыльцо вернулась Салли с двумя бокалами. Один предназначался моей матери, второй — мне. Я испытывал сильное желание выплеснуть содержимое и вгрызться зубами в стекло.

— Том мне рассказывает, как сильно ненавидит меня и все, что мне дорого.

— Неправда. Речь шла о твоем муже. К тому же ты сама меня спровоцировала, подняв эту тему.

— Я всего лишь намекнула, что ты болтаешься без дела. Том, это тянется уже второй год. Времени более чем достаточно, чтобы человек с твоими способностями что-то где-то себе подыскал. Думаешь, Салли приятно содержать взрослого мужчину, у которого руки и ноги на месте?

— Довольно, Лила, — сердито прервала ее Салли. — Вы не имеете права говорить за меня.

— Я пытаюсь ему помочь. Неужели ты этого не понимаешь?

— Нет. Такой помощи я не понимаю и никогда не пойму. Так не помогают.

— Салли, завтра мне придется поехать в Нью-Йорк, — сообщил я жене.

— Уже догадалась, — ответила она.

— Том, обязательно передай Саванне, как я ее люблю. Передашь?

— Обязательно, мама.

— Она тоже настроена против меня, — всхлипнула мать.

— Мама, мы не настроены против тебя.

— Не ври. Настроены. Думаешь, я не ощущаю твоего презрения? Не чувствую, как ты меня ненавидишь за то, что в кои-то веки я стала счастливой? Вам всем нравилось, что я страдаю в браке с вашим отцом.

— Нам это совсем не нравилось, мама. У нас было отвратительное детство, которое перекинуло нас прямиком в отвратительную взрослую жизнь.

— Пожалуйста, остановитесь, — взмолилась Салли. — Перестаньте издеваться друг над другом.

— Салли, я в курсе, каково быть замужем за мужчиной из клана Винго. И потому знаю, через что ты проходишь.

— Прекратите ссориться. Немедленно! — потребовала Салли. — Давайте лучше подумаем,

как помочь Саванне.

— Для Саванны я сделала все, что в моих силах, — заявила мать. — А она, что бы ни происходило, во всем винит меня.

— Саванна — больной человек, — напомнила Салли. — И вам, Лила, это известно.

Лицо матери просияло. Она взяла бокал в левую руку и придвинулась к моей жене.

Ты же врач, Салли, — начала она. — Ты меня поймешь. Я тут перечитала целую гору всякой всячины насчет психозов. Ведущие ученые установили, что психотические состояния вызываются химическим дисбалансом и не зависят от наследственности и окружающей среды.

— В нашей семье, мамочка, было предостаточно химического дисбаланса, — вставил я, не в силах сдержать кипевшую во мне злость.

— Некоторые крупные медики считают, что психозы связаны с недостатком соли, — продолжала мать.

— Я слышала об этом, Лила, — снисходительно согласилась Салли.

— Ах, соли! — закричал я. — Куплю Саванне целый ящик поваренной соли и заставлю есть ее ложками. Если все дело в недостатке соли, я устрою своей сестрице такую диету, что она

станет похожа на жену Лота.

— Я лишь ориентируюсь на мнение ведущих ученых. Если тебе угодно насмехаться над матерью, давай, Том, не стесняйся. Удобная мишень: старая женщина, отдавшая лучшие годы жизни своим детям.

— Мам, почему бы тебе не начать производство консервированного чувства вины? Мы бы продавали эти консервы всем американским родителям, которым пока не удалось сделать так, чтобы их дети ощущали себя полнейшим дерьмом. Как-никак, это тонкое искусство, не все им владеют. Тебе бы с радостью выдали патент.

— И тогда, сынок, ты получил бы работу, — холодно заключила мать и встала. — Пожалуйста, позвони мне, когда навестишь Саванну. Можешь перевести оплату разговора на меня.

— Лила, вы поужинаете с нами? — спросила Салли. — Вы еще внучек не видели.

— Я приеду, когда Том будет в Нью-Йорке. Хочу на пару недель свозить девочек на остров Полиз[12]. Конечно, если ты не возражаешь.

— Это было бы замечательно.

— До свидания, сын, — отчеканила Лила Вин-

---

[12] Примечания: 12
Остров вблизи Атлантического побережья.

го. — Позаботься о своей сестре.

— До свидания, мама. — Я встал и поцеловал ее в щеку. — Я всегда заботился о своей сестре.

После ужина мы отправили девочек спать, а сами решили прогуляться по берегу. Мы шли мимо форта Моултри[13], шлепая босыми ногами по кромке воды и держа путь к маяку. Салли взяла меня за руку. Я плелся, отрешенный и погруженный в свои беды. Только сейчас я сообразил, до чего же давно не касался жены, не смотрел на нее как любовник, друг или просто равный человек. Мое тело давно перестало ощущать себя орудием любви или страсти. Его сковала леденящая серьезность жизни; все радужные планы, согревавшие меня в двадцать с небольшим, завяли и погибли. Внутренних сил на новые мечты у меня не было, я с головой погрузился в оплакивание старых, в раздумья о том, смогу ли без них выжить. Я верил, что смогу, но сомневался, что когда-нибудь восстановлю былую яркость красок или головокружительность ощущений. Месяцами я не откликался на зов жены, не ласкал и даже не дотрагивался до нее, пока она не

[13] Примечания: 13

Форт Моултри — крепостные сооружения на острове Салливанс, построенные для защиты Чарлстона. Сейчас — музей и парковая зона.

взрывалась и не начинала разъяренной кошкой извиваться у меня в руках. Я не реагировал, когда ее обнаженная нога касалась моей или когда мы молча лежали в тишине бессонных ночей и она проводила ладонью по моему бедру. Мой разум мучился, не находя успокоения, а тело предательски выдавало мои страдания. И вот мы брели, подставив головы ветру; волны ласкали нам ноги. Луны не было; по звездному небу вместе с нами шагал Орион-охотник.

Салли стиснула мою руку.

— Том, поговори со мной. Расскажи все, о чем думаешь. Ты опять уходишь в себя, мне до тебя не достучаться.

— Пытаюсь понять, как разрушил собственную жизнь, — объяснил я, обращаясь к Ориону. — Хочу знать, в какой момент судьба уготовила для меня на редкость никчемное существование, в которое невольно втягиваются все, кого я люблю.

— Но у тебя есть ценности, за которые стоит сражаться. Том, мне кажется, ты начинаешь сдаваться. Твое прошлое — все идет оттуда.

— Вот и Большой Ковш, — без прежнего воодушевления сказал я, указывая на небо.

— Мне плевать на Большой Ковш, — отрезала Салли. — Речь идет не о звездах, не увиливай. Ты

даже грамотно менять тему не умеешь.

— Почему меня так заводит любое слово матери? Любой слог, любое лживое восклицание? Салли, почему я не в состоянии просто ее игнорировать? Почему не могу сидеть равнодушным тюфяком, когда она появляется? Если бы я не отвечал, ей было бы до меня не добраться. Конечно, она любит меня всем сердцем. Но приезжает, мы садимся и говорим друг другу слова, которые ранят, калечат и разрушают. Уезжает — и мы оба ощущаем, что руки в крови. Она плачет, я пью. Потом и она пьет. Ты пытаешься нас помирить, но мы оба оставляем твои попытки без внимания, а потом еще на тебя же и сердимся. Мы с матерью словно играем в какую-то дьявольскую игру, где по очереди с наслаждением распинаем друг друга. И где ни она, ни я не виноваты.

— Она всего лишь хочет, чтобы ты нашел работу и был счастлив, — заметила Салли.

— И я хочу того же. Очень. А правда такова, что меня упорно не желают брать. Я получил десятки писем, ты просто не знаешь, я их скрывал. Все очень вежливые. И везде одно и то же. Каждое невыносимо унизительно.

— Ты мог бы пойти в страховой бизнес.

— Да, мог бы. Только это никакой не бизнес,

Салли. Я бы сделался сборщиком страховых взносов, отправлялся куда-нибудь на остров Эдисто, обивал бы пороги нищих черных издольщиков и собирал их гроши. Они покупают страховки, чтобы обеспечить себе достойные похороны.

— Но надо с чего-то начать, — возразила Салли, сжимая мне руку. — Все же лучше, чем сидеть дома и вырезать из журналов кулинарные рецепты. Ты хоть что-то делал бы ради собственного спасения.

Меня задели слова жены.

— Я не просто транжирю время. Я думаю.

— Том, не считай, что это критика. Ни в коем случае, но…

— Опять твоя знаменитая фраза! — перебил я жену. — Обычно следом звучит настоящая критика, убойная. Но ничего, продолжай. После мамочкиного визита я выдержу и нашествие гуннов, и вторжение стада диких слонов.

— Не собираюсь тебя критиковать, Том. Мои попытки продиктованы любовью, пойми. После того, что случилось с Люком, ты завяз в самокопании, зарылся в жалости к себе, без конца кормишь себя горечью. Забудь случившееся, посчитай этот момент отправной точкой и двигайся дальше. Том, твоя жизнь не кончилась.

Завершилась лишь одна ее часть, и дальше будет другая, какая — зависит от тебя.

Несколько минут мы шли молча, испытывая тревожное одиночество, которое иногда посещает супружеские пары в самое неподходящее время. Ощущение это не было для меня новым. Мне свойствен неиссякаемый талант отталкивать от себя даже прекрасные, любящие души.

Я попытался вынырнуть из своего одиночества и восстановить утраченную связь с женой.

— Просто не во всем разобрался. Не понимаю, почему ненавижу себя сильнее, чем кого-либо. Бессмыслица какая-то. Даже если родители были чудовищами, мне можно гордиться собой: выбрался из ада и остался жив. Хотя бы так. Честно выбрался оттуда. Но я самый бесчестный человек и толком не знаю, каковы мои чувства по тому или иному поводу. Всегда есть что-то тайное, скрытое от меня.

— Тебе незачем копать до абсолютной правды. Она не открывается никому. Тебе нужно осознать ровно столько, чтобы жить дальше.

— Нет, Салли.

Вдруг я остановился и развернул жену к себе, положив руки ей на плечи.

— Так уже было. Я жил с частью правды и

оказался в ловушке. Давай уедем из Южной Каролины. Уберемся наконец отсюда. В этом штате мне ничего не светит. Слишком многие здесь помнят фамилию Винго, и им не нравится то, что за ней стоит.

Салли опустила глаза и обвила мои руки своими, затем вновь посмотрела на меня.

— Том, я не хочу покидать Чарлстон. У меня прекрасная работа, я люблю наш дом и наших друзей. Почему ты стремишься выбросить из жизни даже хорошее?

— Потому что у наших друзей поменялось ко мне отношение. И еще потому, что я больше в себя не верю.

— А я в себя верю!

— И зарабатываешь деньги!

Меня самого ошеломило, сколько горечи было в моих словах. И сколько уязвленного мужского самолюбия. Скулеж обиженного самца.

— Том, это ты сказал. Не я.

— Прости. Не хочу в Нью-Йорк. Даже Саванну не хочу видеть. Я зол, невероятно зол на нее за повторение ее дурацких манипуляций. Зол, потому что она чокнутая и ей это сходит с рук. Завидую ее ненормальности. Конечно, она ждет, что я окажусь рядом, когда она вновь примется резать себя

по кусочкам. Старый танец, где я изучил все па.

— Тогда оставайся, — предложила Салли, высвобождаясь из моих рук.

— Должен ехать. Это единственная роль, которая мне по-настоящему удается. Герой на час. Галантный рыцарь. Безработный сэр Галаад. Таков фатальный недостаток всех Винго, за исключением мамы. Она устраивает званые обеды, запланированные несколько месяцев назад, и не особо расстраивается, что ее дети пытаются покончить с собой.

— Ты слишком во многом винишь родителей, Том. Когда ты сам будешь отвечать за то, что с тобой происходит? Когда возьмешь жизнь в свои руки? Когда исход твоих поступков будет зависеть только от тебя?

— Не знаю, Салли. Пока не могу разобраться. Не получается извлечь суть. Понять бы, что все это значит.

Салли повернулась и пошла дальше, чуть впереди.

— Том, это мешает нам обоим.

— Знаю.

Я поравнялся с женой и стиснул ее руку, но рука Салли не ответила пожатием.

Вдруг я понял, что плохой муж. А когда-то счи-

тал себя прекрасным супругом: обаятельным, нежным, любящим и внимательно относящимся к любым желаниям своей жены.

— Прости меня, Салли. Я так долго пренебрегал тобой. Мне очень больно это сознавать. Я хочу измениться, но сейчас слишком холоден и скрытен. Клянусь, как только мы покинем этот штат, я стану лучше.

— Не собираюсь уезжать отсюда, — решительно возразила Салли. — Я вполне довольна своей жизнью. Это мой дом, моя родина.

— Салли, о чем ты?

То, что делает счастливым тебя, не обязательно принесет счастье мне. Я ведь тоже постоянно думаю и пытаюсь понять, что к чему. В том числе и о наших отношениях. Мне они уже не кажутся столь прекрасными.

— Салли, сейчас неподходящее время для таких вещей.

— После истории с Люком у нас не было подходящего времени, — ответила Салли.

— Все поменялось, — возразил я.

— Есть кое-что, связанное с Люком, о чем ты забыл, Том.

— И что же это?

— Ты забыл его оплакать.

Я смотрел на полосу пляжа, тянущуюся до маяка. Затем перевел взгляд на огни острова Джеймса, сиявшие по другую сторону гавани.

— Твоя печаль не имеет срока давности, — продолжала Салли. — Она непроницаема. Ты полностью отсек меня от своей жизни.

— Может, сменим тему? — спросил я, не особо скрывая злость.

— Тема — это мы с тобой. Просто мне интересно, ты меня еще любишь, Том?

— Совсем недавно я узнал, что моя сестра пыталась покончить с собой! — закричал я.

— Нет, совсем недавно ты узнал, что твоя жена размышляет, любишь ли ты ее, — спокойно заметила Салли.

— Чего ты от меня хочешь?

Я был раздражен, чувствуя желание супруги добраться до запретного уголка моей души.

— Простых слов, — едва сдерживая слезы, ответила жена. — Что-то типа: я люблю тебя, Салли, и не могу прожить без тебя ни единого дня.

Однако в ее глазах и интонации ощущалось нечто иное, куда более мрачное, чем обиды обделенной вниманием женщины.

— Ты недоговариваешь, есть что-то еще, — произнес я.

Салли заплакала, и теперь в ее голосе звучало отчаяние вперемешку с предательством.

— Не что-то еще, Том, а кто-то еще, — выдохнула она.

— Боже милосердный! — завопил я, обращаясь к огням города Айлоф-Палмс. — Сначала Саванна, теперь это!

— Сегодня ты впервые за несколько месяцев на меня посмотрел. Я вынуждена открыть правду о своем романе, может, так мой проклятый муженек заметит, что я живая женщина.

— Господи, Салли. Прошу тебя, остановись, — прошептал я, пятясь назад.

— Мне противно, что приходится делать это сейчас. Хотела дождаться подходящего момента, но… ведь завтра ты уезжаешь.

— Никуда я не поеду.

— Прошу тебя, уезжай, Том. Мне нужно разобраться, насколько все серьезно. И насколько реально. Возможно, я это сделала, чтобы досадить тебе. Но не уверена.

— Могу я знать, кто он?

— Нет. Не сейчас.

— Обещаю, с моей стороны не будет никаких опрометчивых или диких поступков. Во всяком случае, пока я не вернусь из Нью-Йорка. Кто он?

— Доктор Кливленд.

— Только не он! — заорал я. — Только не этот напыщенный, несносный идиот. Что у тебя за вкус, Салли? Ведь он ездит на мотоцикле и курит пенковую трубку. Вонючую пенковую трубку.

— Он лучше, чем заурядная девица из группы поддержки, на которую тебя потянуло.

— Так и знал, что ты об этом вспомнишь. Та похотливая дура с большими сиськами будет преследовать меня до конца жизни. Да, Салли, я виноват в том романчике. Очень виноват. Но я был невероятно глуп.

— Вряд ли ты понимал тогда, как мне было больно.

— Салли, я просил у тебя прощения. И прошу сейчас, еще раз. Я изменил тебе и, видит бог, пострадал от этого. Я на коленях тебе обещал, что подобного не повторится.

— Можешь больше не придерживаться своего обещания. Доктор Кливленд ответил мне взаимностью.

— Значит, променяла задиру и буяна на доктора Кливленда? Он уже обрадовал новостью миссис Кливленд? Как-никак, эта грустная корова — столп местного общества.

— Нет, он тоже ждет подходящего момента.

Мы оба хотим убедиться. Незачем понапрасну травмировать близких.

— Какие вы оба великодушные. Позволь поинтересоваться, Салли. Когда по ночам у тебя пищит пейджер и тебя вызывают решать очередную неотложную проблему, ты не заворачиваешь по дороге к доброму доктору, чтобы проверить его… пенковую трубку?

— Ты говоришь омерзительные вещи, Том.

— Мне любопытно, не злоупотребляете ли вы волшебным пейджером — этим святейшим и поганейшим символом американского врача?

— Да! — крикнула Салли. — Я сделала это пару раз, поскольку у меня не было иного выхода. И сделаю снова, если потребуется.

Я ощущал неодолимое желание ударить ее, чувствовал, как мной овладевает призрак жестокого отца, как тянется к моему сердцу. Я стиснул кулаки, сражаясь изо всех сил с человеком, в которого мог бы превратиться сам, и совладал с ним, отправив отца назад, в просторы памяти. Кулаки разжались.

— Но почему, Салли? — допытывался я. — Потому что я полнею? Или потому что лысею? Или причина в том, что когда-то я признался тебе в маленьком размере члена? Знаешь, я один из

немногих мужчин в Америке, которые открыто говорят, что «дружок» у них маловат. Я сказал тебе это только потому, что ты вечно комплексовала насчет своей маленькой груди.

— Моя грудь не такая уж и маленькая.

— Мой оклеветанный член — тоже.

Салли засмеялась, и меня это удивило. У нее настолько искреннее чувство юмора, что ей не совладать с ним даже в самые серьезные моменты жизни. Этот смех отражает ее душевную щедрость, и подавить его невозможно.

— Видишь, Салли, у нас есть надежда. Ты по-прежнему считаешь меня забавным. А мне приятно сознавать, что Кливленд в последний раз улыбался, когда Вудро Вильсона[14] избрали президентом.

— Он всего на одиннадцать лет старше нас.

— Ха! Другое поколение. Ненавижу стариков, гоняющих на мотоциклах. И юнцов на мотоциклах тоже ненавижу.

Салли засопела, защищая любовника.

— Он коллекционер. Собирает английские мотоциклы.

— Пожалуйста, не надо подробностей. Не хо-

---

[14] Примечания: 14

Вильсон Томас Вудро — 28-й президент Соединенных Штатов, занимавший этот пост с 1913 по 1921 г.

чу слышать, что жена уходит от меня к парню, который коллекционирует пенковые трубки и английские мотоциклы. Мне было бы легче, если бы ты променяла меня на татуированного циркового силача, фокусника или лилипута на одноколесном велосипеде.

— Том, я еще не ухожу, пока только думаю об этом. Я нашла человека, который считает меня удивительной.

— Я тоже считаю тебя удивительной, — промямлил я.

— Давай закроем тему. Это признание тяжело мне далось. Не хочу усугублять твои страдания.

— Что ты! — Я невесело усмехнулся и шлепнул ногой по воде. — Пустяки, дорогая.

Мы долго молчали, Салли первая нарушила тишину.

— Пойду домой. Поцелую девочек, а то не уснут. Ты со мной?

— Поцелую их позже. Побуду пока здесь. Нужно обо всем подумать.

— Не знаю, что произошло, — тихим нежным голосом произнесла Салли. — Что случилось с борцом, за которого я выходила замуж?

— Нет, ты знаешь, — отозвался я. — Люк. Вот что случилось.

Вдруг Салли порывисто обняла меня и поцеловала в шею. Но во мне пышным цветом цвело чувство собственной праведности. Одновременно я ощущал себя и приверженцем, и рабом мужского эго. Мною владело патриархальное упрямство самца, которого отвергли. Я не желал ответить поцелуем, не желал поступиться своими ценностями ради этого мгновения благодати. Салли молча повернулась и направилась к дому.

Я побежал по пляжу. Вначале спокойно, контролируя дыхание, затем увеличивая скорость. Я несся вперед, обливаясь потом, хватая ртом воздух и собираясь так замучить тело, чтобы распада души было незаметно.

Тело утратило форму, я ощущал его плачевное состояние. Я старался быстрее переставлять ноги, вспоминая, что когда-то был самым стремительным квотербеком[15] в Южной Каролине. Подвижный, светловолосый, я появлялся из-за линии защиты, и игроки противника устремлялись ко мне, словно в каком-то замедленном танце. Я менял направление и шел навстречу восхитительному гулу толпы, затем наклонял голову и отдавался инстинкту движений, живших

[15] Примечания: 15

Квотербек — главный игрок нападения в американском футболе. Квотербек планирует игру нападения и является лидером всех атак.

в моем сознании, где все было пронизано быстротой и гармонией. Участвуя в школьных матчах, я никогда не плакал… Сейчас же тяжело, с отчаянием я убегал от жены, которая завела любовника, потому что я перестал быть ее любовником; от сестры, полоснувшей себя по венам; от матери, не понимающей тонкостей взаимоотношений матерей и сыновей. Я думал, что убегаю от горького, жестокого пласта американской действительности, который назывался моей несостоявшейся жизнью, но, возможно, бежал к ее новому этапу… Я остановился. Пот тек ручьем. Бег забрал все мои силы. Я медленно побрел к дому.

Глава 2



Уметь ненавидеть Нью-Йорк по-настоящему — целое искусство. До сих пор я был слишком легковесным обличителем этого города; мне требовалось изрядное количество сил и энергии, чтобы упомнить нескончаемые обиды, нанесенные мне Нью-Йорком. Если бы я их записывал, получился бы увесистый том размером с «Желтые страницы Манхэттена», и мои слова о Нью-Йорке послужили бы предисловием. Всякий раз, когда я попадаю в мир пренебрежения, которым одаривает меня этот напыщенный город, когда проталкиваюсь сквозь его непомерные толпы, меня захлестывает раздражающее ощущение того, что я растворяюсь. Оно уничтожает клетки, несущие в себе код моей тяжело завоеванной индивидуальности. Город малюет мне душу грубыми несмываемыми граффити. Жуткое

разнообразие всего в пугающих количествах. Приезжая в Нью-Йорк, я непременно иду на один из пирсов. Стою и смотрю на величественную реку Гудзон, повернувшись спиной к городскому шуму, и знаю то, чего не знает ни один из встречавшихся мне ньюйоркцев: когда-то остров Манхэттен окружали большие топкие болота и эстуарии. Под камнями манхэттенских авеню погребен удивительный мир солончаковых болот. Не люблю города, оскверняющие свои болота.

Насколько я презираю Нью-Йорк, настолько моя сестра Саванна испытывает к нему глубокую, хотя и извращенную привязанность. Даже в грабителях, наркоманах, пьянчугах и бомжах — этих ущербных ослабших душах, что печально ковыляют сквозь многомиллионные толпы, — она находит непонятное мне городское очарование. Подбитые райские птицы, опустошенные, опасливо бредущие по грязным закоулкам, — для Саванны это символы невероятных крайностей и контрастов Нью-Йорка. Сестра хранит в душе непоколебимую рыцарскую верность всем потрепанным жизнью ветеранам выживания: всем, кто на грани, вне закона и без надежд, всем сведущим в «черной магии» улиц. Для Саванны они — городской театр. Сестра пишет о них

стихи; она хорошо изучила их покореженные места обитания и в какой-то степени постигла их «черную магию».

Желание поселиться в Нью-Йорке возникло у Саванны задолго до желания творить. Она из тех южан, которые еще в раннем возрасте поняли: Юг — не более чем упоительно пахнущая тюрьма, управляемая толпой любящих, но ненадежных родственников.

Когда Саванне было пятнадцать, она получила от бабушки рождественский подарок — подписку на «Ньюйоркер»[16]. Каждую неделю сестра с нетерпением ждала очередного номера, а потом часами листала журнал, то хихикая, то заливисто хохоча над карикатурами. Потом тот же выпуск брали мы с Люком, недоверчиво вглядываясь в картинки и ожидая, когда шутки рассмешат и нас. Но ситуации, заставлявшие ньюйоркцев гоготать взахлеб и надрывать животики, оставались непонятными для жителей Коллетона, Эта «клинопись остроумия» была нам недоступна, и когда я спрашивал Саванну, что смешного она находит в своем чертовом «Ньюйоркере», сестра глубоко вздыхала и отвечала каким-нибудь

[16] Примечания: 16

Публицистический и литературно-художественный журнал, издающийся с 1925 г.

запомнившимся ей убийственным перлом, взятым все оттуда же. Саванна разыгрывала из себя жительницу Нью-Йорка, которой суждено было родиться в изгнании, вдали от родного города. С такой сестрой я возненавидел Нью-Йорк прежде, чем ступил на его землю.

Вскоре после окончания коллетонской средней школы Саванна упорхнула из Южной Каролины в средоточие своих мечтаний. Она сделала это вопреки воле родителей, не спрашивая у них разрешения и не советуясь с ними. Сестра знала, какую жизнь будет вести, она разработала тщательный план, которому собиралась следовать, а потому не нуждалась в советах ловца креветок и его жены, избравших существование возле речного устья одной из рек Южной Каролины. Интуитивно Саванна ощущала себя жительницей мегаполиса. В родном захолустье она изучила все, что было возможно; выбрав Нью-Йорк, Саванна отдала предпочтение городу, который можно будет постигать всю жизнь. Городу, достойному ее таланта.

С первого дня Саванна полюбила там все: ритм, борьбу, бесконечный поток идей и людей. Желание овладеть этим фантастическим городом, подчинить его, превратить в знакомое место без

запретов наполняло ее вдохновением и вызывало исступленный восторг. Саванна по-своему находила с Нью-Йорком общий язык. Она стала сборщицей и архивариусом истинно нью-йоркских впечатлений; если они возникали именно в Нью-Йорке и на них стояла невидимая печать «Одобрено Манхэттеном», Саванна вбирала их в себя с рвением неофита. С самого начала сестра направила свой лирический талант на поддержку величия Нью-Йорка. Для нее это было аксиомой, не подлежащей обсуждению. Я же сомневался и лихорадочно отрицал восторги сестры.

— Ты никогда не жил здесь. У тебя вообще нет права высказывать свое мнение, — заявила мне Саванна, когда мы с Люком впервые приехали ее навестить.

— Я и в Пекине никогда не жил, но держу пари — там полно низкорослых желтых людей, — ответил я.

— Должно быть, все дело в выхлопных газах, — заметил Люк, глядя на потоки автомобилей; был час пик, машины еле ползли к мостам. — Выхлопные газы пожирают мозговые клетки. И когда клеток не остается, начинаешь любить это дерьмовое логово.

— У вас, мои тугодумные братья, тоже есть шанс остаться без мозговых клеток. Стоит вам подцепить нью-йоркскую лихорадку, и остальной мир померкнет. Почувствуйте энергию этого города. Попробуйте закройте глаза.

Мы с Люком послушно опустили веки.

— Это не энергия, а шум, — подал голос Люк.

— Этот шум и есть моя энергия, — улыбнулась Саванна.

Поначалу сестра работала официанткой в вегетарианском ресторане в Уэст-Виллидже[17]. Она также поступила в Новую школу[18], где слушала курсы по интересующим ее предметам. Жила Саванна на Гроув-стрит[19], близ площади Шеридан-сквер, в дешевой квартирке с регулируемой квартплатой. Жилище свое она оформила с большим вкусом и изяществом. Здесь Саванна наслаждалась уединением, погружалась в тайны и тонкости языка, здесь начала писать стихи. Сестра сделалась известной в избранном кругу,

---

[17] Примечания: 17

Западная часть Гринвич-Виллиджа — района Манхэттена, традиционно населенного писателями, поэтами, художниками и музыкантами.

[18] Примечания: 18

Университет в районе Гринвич-Виллидж. Существует с 1919 г.

[19] Примечания: 19

Гроув-стрит — одна из исторических улиц Манхэттена, где сохранились здания XVIII в.

не достигнув и двадцати пяти лет. Мать и отец неохотно отпустили ее на север, сопровождая проводы апокалипсическими пророчествами. Нам с Люком родители сказали «по секрету», что Саванна не продержится в большом городе и месяца. Но сестра гармонично соединила свои ритмы с ритмами Нью-Йорка. «Жизнь в этом городе напоминает жизнь внутри карикатуры из „Ньюйоркера“», — написала она в первом письме. Достав старые номера ее любимого журнала, мы пытались представить, какой же должна быть новая жизнь Саванны. Мы пробовали растолковывать смысл шуток, доступных восьми миллионам ньюйоркцев. По нашим представлениям, жители Нью-Йорка обожали обеды для узкого круга, где говорилось много умных, но совершенно непонятных вещей. Отец, не обращая внимания на картинки, внимательно разглядывал рекламу и громко вопрошал:

— Да кто они такие, эти ньюйоркцы?

Когда в 1972 году издательство «Рэндом хаус» выпустило первую книжку стихов Саванны, мы с Люком приехали в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на выступлениях и торжествах по этому случаю.

Пока Люк искал, куда бы втиснуть машину

на ночь, мы с Саванной уселись за ее изящный письменный стол под сенью нависающих папоротников. Сестра подписала мне экземпляр «Дочери ловца креветок» — так называлась ее первая книга. Она открыла страницу с посвящением и стала наблюдать за моим лицом, пока я читал вслух: «Моему брату Тому Винго, чья любовь и преданность сделали мой путь достойным. Спасибо за все, мой удивительный брат-близнец». У меня навернулись слезы. Я не верил, что о нашем детстве можно писать стихи.

— Квотербеки не плачут, — обняв меня, сказала Саванна.

— Один из них не сдержался, — ответил я.

Затем Саванна показала мне свежий номер «Ньюйоркера» — от седьмого марта. Там, на тридцать седьмой странице, было напечатано заглавное стихотворение ее сборника. Вернувшись, Люк застал нас в запредельном ликовании. Узнав, в чем дело, он тоже начал беситься. Но этого ему было мало. Люк открыл окно, проворно выбрался на пожарную лестницу и закричал, обращаясь ко всем, кто в ту минуту проходил и проезжал по Гроув-стрит:

— Эй, вонючие янки! Мою младшую сестру напечатали в «Ньюйоркере»!

В тот вечер мы посетили первое крупное выступление Саванны, которое проходило в секуляризованной англиканской церкви в Уэст-Виллидже. Кажется, его спонсировало объединение «Женщины за уничтожение пенисов» или одна из похожих маниакально-радикальных групп, которым симпатизировала моя сестра. Тогдашние ближайшие подруги Саванны изучали феминизм, почитали Вирджинию Вулф, носили черные пояса, тащили на своих плечах груз феминистских понятий и в праздничные дни своим поведением могли обратить в бегство толпу портовых грузчиков, осмелившихся к ним пристать.

— Блокирующие полузащитники, — шепнул мне Люк, когда мы подошли к тускло освещенной церкви.

В дальнем конце вестибюля стояла группа воительниц, проверявших билеты. Глядя на их угрюмые лица, можно было подумать, что они всю свою жизнь переводили Сафо и высасывали кровь из насекомых. В истории полов наступили странные времена; Саванна предупредила нас с Люком, что с этими угловатыми дамочками из женского освободительного движения шутки плохи. В них было что-то от нацистских штурмовиков-коричневорубашечников. Саванна

проходила в своем развитии стадию агрессивной политической активности, и крепкие рослые южане-братья доставляли ей порой немало хлопот. Сестра учила нас выглядеть эдакими благосклонными андрогинами, и мы, оказываясь среди наиболее враждебных ее подруг, совершенствовали приобретенные навыки. Мы подобострастно юлили перед этими девицами и тетками, стремясь убедить их, что между ног у нас ничего не болтается. Мы делали это ради Саванны, боявшейся оставлять нас без присмотра.

— Они все пострадали от мужчин, — не уставала твердить Саванна. — Особенно от отцов и братьев. Вам не понять, как ужасно быть женщиной в Америке.

Судя по виду «билетерш», это и впрямь был сущий ужас. Но у нас имелись другие предположения, которые мы предпочитали не высказывать Саванне. Она наверняка накричала бы на нас, прояви мы равнодушие к ее новой философии или займи жестко противоположную позицию. Однако наша мужская природа все равно бессознательно проникала в мир Саванны. Это нас здорово беспокоило, поскольку тогда мы оба были слишком глупыми и наивными и не понимали, почему у нашей сестры проблемы с мужчинами

и какова их суть.

При входе в церковь Люк потерял бдительность и допустил серьезную ошибку: он придержал дверь для женщины, что шла за нами. Дама была миловидной, вроде преподавательницы колледжа или университета. Будучи уроженцами Юга, в раннем детстве мы получили нечто вроде «прививки вежливости». В то время для нас было просто немыслимым не придержать дверь, если следом идет женщина. Мы делали это инстинктивно. Но симпатичная леди, по-видимому, получила иное воспитание. С необычайным проворством одной рукой она схватила Люка за горло, а пальцы другой нацелила ему в глаза. Перед глазными яблоками моего брата замерли два пугающе острых ноготка.

— Запомни, пентюх: еще раз так сделаешь, и я выцарапаю твои поганые глаза, — прошипела она.

— Уверяю вас, мадам, я не стану придерживать дверь ни перед одной нью-йоркской леди, — тихо ответил Люк, с опаской поглядывая на угрожающие пальчики.

— Женщиной, козел, — снова прошипела она. — Женщиной, а не леди.

— Женщиной, — повторил Люк.

Дамочка отпустила его и торжествующе ринулась в церковь. Люк потирал горло и провожал ее взглядом, пока она не скрылась в толпе.

— Какой поганый город, Том, — наконец прошептал Люк. — Теперь я не придержу дверь даже для вонючего нью-йоркского гризли. Жаль, эта фифа не знает, что я ветеран Вьетнама.

— По-моему, ей совершенно наплевать, кто ты.

— Зато мы кое-что выяснили. Когда дверь открывается, нужно быстрее ввалиться, даже если заедешь кому-нибудь в задницу. В Нью-Йорке у них так.

Саванна поднялась на кафедру, когда зал был почти полон. Публике ее представил бородатый надменный дядька в пончо, берете и сандалиях с кожаными шнурками. В программке вечера я прочел, что он является ведущей фигурой Нью-Йоркской школы[20] и ведет курс под названием «Поэзия, революция и оргазм» в Хантеровском колледже[21]. Я уже готов был возненавидеть его, но после первых же услышанных слов изменил

---

[20] Примечания: 20

Неформальное объединение нью-йоркских авангардистов (литература, живопись, музыка), наиболее активно действовавшее в 1950-60-е гг.

[21] Примечания: 21

Один из колледжей в составе Нью-Йоркского университета, основан в 1870 г.

свое мнение. Этот человек искренне и с большой теплотой стал говорить о Саванне, о ее детстве, прошедшем на прибрежном острове, об отце, зарабатывавшем на жизнь ловлей креветок. Нашу маму он назвал «красавицей с гор», деда, который работал парикмахером и подрабатывал, продавая экземпляры Библии, — «семейным тигром». Про бабушку он сказал, что она часто навещала кладбище Коллетона и произносила монологи перед могилами родственников. Затем дядька в пончо воздал хвалу творчеству Саванны: страстному лиризму ее гимнов, посвященных природе, виртуозности ее поэтического языка, умению возвысить женское начало. Он выразил удивление, что в женщине, выросшей в провинциальной среде американского Юга, существует столько граней и дарований. Завершив свою речь, знаток революции и оргазма уступил место Саванне.

Зал отреагировал вежливыми сдержанными аплодисментами, если не считать восторженного рева и топота моего братца Люка. Саванна была подобна пламени, вспыхнувшему в сумраке церкви: светловолосая, робкая и почти бестелесная. Свои непокорные локоны она зачесала назад, но они все равно вздымались роскошными волнами в такт движению.

Я всегда любил слушать голос сестры. Ясный, легкий, лишенный «пряных» интонаций, напоминающий звон колокольчиков над зеленым городом. Ее голос — это весна и цветение, это отрицание метелей, мрака и зимы. Саванна отчетливо произносила каждое слово, будто пробуя его на вкус. Интонации ее стихов были благоухающим садом, очень личным, предназначенным только для нее.

Но поначалу сестру не было слышно. Я понимал: она взволнована и где-то даже напугана вниманием аудитории. Постепенно Саванна обретала власть над языком и над своим творчеством; ее голос поднимался, креп и становился уверенней. В итоге Саванна Винго взяла аудиторию штурмом, аудиторию Уэст-Виллиджа — этих перекормленных культурой, пресыщенных, поньюйоркски равнодушных людей. Я знал все ее стихи наизусть, и мои губы двигались в одном ритме с губами Саванны. Вместе с ней я проговаривал истории из нашей жизни и ощущал сверхъестественную силу поэзии, приковавшую внимание толпы. Голос сестры поднимался к бывшему клиросу, вырывался за пределы церкви, летел к расцвеченному огнями Эмпайр-стейт-билдингу и еще выше — к звездам, сверкавшим

над Гудзоном. Голос Саванны переносил нас в низины Южной Каролины, где она родилась, чтобы познать горе и печаль, где ее стихи вырастали в темноте, словно острые ветви кораллов, и ждали рождения поэтессы, ждали этого вечера, затаенного дыхания зрителей, слушающих, как она читает написанное сердцем, одновременно поющим и истекающим кровью.

В одну из пауз Саванна подняла голову и обвела зал глазами. Она без труда заметила нас с Люком — мы сидели в пятнадцатом ряду, выделяясь пиджаками и галстуками. Она улыбнулась и помахала нам.

— Эй, Саванна! Ты замечательно читаешь, сестренка! — крикнул Люк.

Аудитория засмеялась.

— Хочу представить вам своих братьев — Люка и Тома. Они приехали из Южной Каролины на мое выступление. Следующее стихотворение я посвящаю им.

Феминистка, угрожавшая выцарапать Люку глаза, сидела совсем недалеко от нас. С церковной скамьи ее не было видно, но когда по просьбе Саванны мы встали, то сразу заметили эту дамочку. Аудитория поприветствовала нас жиденькими аплодисментами. Люк помахал собравшимся,

затем наклонился к своей обидчице и сказал:

— Ну что, дерьмоголовая? Думала, я — пустое место?

Я силой усадил его обратно и предупредил:

— Когда говоришь дерзости подобным особам, прикрывай глаза, иначе придется покупать тебе собаку-поводыря.

Мы продолжали слушать Саванну. Ее выступление длилось больше часа; стихи выстраивались в историю ее жизни. В бедной южнокаролинской семье родилась девочка. Босоногая и загорелая, она росла среди болот Коллетона и училась узнавать времена года по миграциям креветок и птиц, а также по созреванию помидоров. Однажды ей открылся свет ее великого своеобразия; девочка лелеяла этот свет, желая вырасти особенной. Она вслушивалась в стоны сов под крышей сарая и пение буйков на протоках и чувствовала, что внутри рождается ее собственный, только ей присущий язык. Затем окружающий мир нанес ей удар — он всегда бьет, рано или поздно. Маленькая девочка, безоружная и озлобленная, начала сражаться с дикостью и жестокостью мира. В последних стихах Саванна рассказывала о своих срывах и депрессиях, о демонах, одолевающих ее, о своем безумии. Обо всем она говорила с

изумлением, уважением и разрывающей сердце грустью. Даже демонов она наделила необыкновенной красотой, осветив их достоинством. В ее стихах не было уродливых химер — только поверженные ангелы, плачущие по родному дому. То, что Нью-Йорк услышал впервые, мы с Люком знали давно. Мы являлись очевидцами становления поэтессы: Саванна росла на наших глазах, в доме с видом на реку.

Слушая ее последнее стихотворение, я подумал о полусне-полувидении, к которому время от времени возвращался. Я видел нас с Саванной в материнской утробе, бок о бок плавающих во внутреннем море: два одновременно появляющихся сердца, крошечные шевелящиеся пальчики, две пары синих, пока еще незрячих глаз, светлые волосы, похожие на морские водоросли. Два наполовину сформировавшихся мозга ощущали присутствие друг друга, черпая наслаждение в неизъяснимом единстве, возникшем еще до рождения. Мне представлялось, что в этой «жизни перед жизнью», в неподвижности материнской утробы, в безопасной тишине, где не существовало забот, мы с сестрой испытали особое состояние — момент божественного озарения, присущего только близнецам, момент

узнавания. Нам понадобилось несколько недель, чтобы повернуться лицом друг к другу. Сестра сказала: «Привет, Том», и я, привыкший к чудесам и верящий в магию, прокричал в ответ: «Привет, Саванна». Потом мы радостно и безмятежно ожидали рождения, после которого начнется наш диалог длиною в жизнь. Словно еще в утробе я ощутил свет, которым обладает моя сестра. Не знал я лишь о том, сколько тьмы она принесет с собой в мир. Я верю в «узы близнецов» — совершенную сверхъестественную связь.

Когда Саванна закончила чтение, зал разразился громом аплодисментов. Все встали и несколько минут хлопали нашей сестре. Я с трудом отговорил Люка от намерения подбежать к Саванне и подхватить ее на плечи. Брат удовольствовался несколькими оглушительными хвалебными воплями, а я, самый сентиментальный в нашей семье, наклонился к якобы развязавшемуся шнурку и кончиком галстука вытер слезы.

Впоследствии мы с Люком с восторгом вспоминали, как в тот мартовский вечер оказались свидетелями триумфального дебюта Саванны в непримиримом и беспощадном мире нью-йоркского поэтического андеграунда. Самые приятные и удивительные впечатления о Нью-Йорке у меня

связаны, пожалуй, с тем вечером. После банкета в ресторане «Коуч-хаус» мы засиделись допоздна: наблюдали за плывущей над горизонтом луной, явно вдохновленной триумфом Саванны, выпивали, болтали с друзьями сестры; те восхищались легкостью, с какой уроженка Южной Каролины сумела воспламенить сердца рожденных в мире камней.

Если бы я покинул Нью-Йорк на следующий же день, то, возможно, полюбил бы этот город. Но мы с Люком задержались там на неделю. Саванна захотела показать нам, почему любит Нью-Йорк и почему ни за что не вернется на Юг. Мы накупили всякой всячины в универмаге «Мейси», сходили на матч «Нью-Йорк янкиз»[22], прокатились по кольцевой линии метро и устроили импровизированный пикник на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинга. Саванна со знанием дела посвящала нас во все приятные и впечатляющие стороны нью-йоркской жизни. Но в городе существовали и иные стороны — мрачные и непредсказуемые; сестра не принимала их во внимание, водя нас по Манхэттену.

Все в том же квартале Гринвич-Виллидж, на за-

---

[22] Примечания: 22
Бейсбольная команда высшей лиги.

падной части Двенадцатой улицы, мы получили гнусное, но не менее впечатляющее представление о Нью-Йорке. Мы брели по улице, застроенной старыми домами из бурого песчаника. На крыльцо одного из них вышла старуха; прихрамывая, она начала спускаться по ступенькам. За ней ковылял такой же старый карликовый пудель. Хозяйке приходилось останавливаться и ждать, пока пес одолеет очередную ступеньку. Движения обоих были неуклюжими, однако и старуха, и собака двигались с достоинством, сохраняя невозмутимое спокойствие. Хозяйка и пудель были удивительно похожи; чувствовалось, что они давно живут вместе и вместе гармонично стареют. Сойдя на тротуар, старуха не заметила человека, внезапно появившегося у нее за спиной, а мы не успели ее предостеречь. Человек этот был быстр и точен; он точно знал, что ему нужно. Он схватился за золотые сережки в ушах старухи и дернул что есть силы; у той подогнулись ноги, она рухнула на тротуар. Мерзавец выдрал серьги прямо из мочек. Затем он дернул за золотое ожерелье на ее шее и порвал его. Старуха закричала. Из травмированных мочек текла кровь. Грабитель ударил ее по лицу, и старуха затихла. С наигранным безразличием

подонок двинулся дальше. Он не бежал, а шел как человек, которому некуда спешить. Однако он допустил серьезную тактическую ошибку: у него на пути оказались двое парней по фамилии Винго, уроженцев Южной Каролины.

Наше южное воспитание не было безупречным. В нем хватало неприглядных и отвратительных сторон. Но отношение к парням, равнодушно калечащим старух, было однозначным. Заметив нас и услышав отчаянный свист Саванны, дувшей в «полицейский» свисток, грабитель пересек улицу и бросился бежать. Люк метнулся ему наперерез, а я оказался у него за спиной, преграждая путь к отступлению. Позади меня послышался звон разбитой бутылки. Преступник выхватил нож, негромко щелкнула пружина, и я увидел мелькнувшее лезвие.

— Сейчас получишь, хрен недососаный, — пригрозил грабитель.

Он бросился ко мне, выставив нож. Замерев посреди улицы, я одним движением выдернул брючный ремень и намотал на руку, оставив примерно фут кожаной полосы с болтающейся пряжкой. Этот подонок метил мне в горло, но я увернулся и взмахнул ремнем. Пряжка въехала ему по скуле, распоров кожу под глазом. Пре-

ступник взвыл и выронил нож. Он успел лишь взглянуть на меня, поскольку в следующее мгновение получил неожиданный удар от бывшего лайнбекера[23] Всеамериканской школьной лиги. Люк ударил его в спину и ткнул физиономией в капот стоявшего рядом спортивного «форда». Мой брат, держа грабителя за волосы, методично бил его головой о капот, ломая мерзавцу нос и оставляя вмятины на металле. Рядом стояла Саванна с осколком бутылки из-под кока-колы, нацеленным парню в шею. Вокруг нас собралась толпа жителей соседних домов, в основном людей немолодых. Наглость ограбления возмутила их. Кое у кого нашлось оружие. Толпа жаждала разорвать грабителя на куски, не дожидаясь полиции. К счастью для него, вдали уже слышался вой полицейской сирены. Вторая толпа, поменьше, окружила старуху. Ее усадили на ступеньку крыльца. Старуха тихо плакала, пудель лизал ей окровавленные уши.

— Замечательный город ты выбрала для жизни, — сказал Саванне Люк, вдавливая нос грабителя в капот. — А какая замечательная мразь в этом городе.

---

[23] Примечания: 23
Лайнбекер — один из игроков защиты в американском футболе.

— Такое могло случиться где угодно, — оправдывалась Саванна. — Все равно это самый великий город в мировой истории.

— Спроси у той старухи, считает ли она этот город самым великим.

Нью-Йорк неистощим на контрасты и непрестанные испытания как для его обожателей, так и для всех остальных. На каждом углу жизнь разворачивается тысячью граней и оттенков, где прекрасное и омерзительное переплетаются удивительным образом. Город с избытком событий и странных людей.

На протяжении той памятной недели мы с Саванной никак не могли отговорить Люка от помощи каждому встречному выпивохе. Люк был так устроен, что не мог равнодушно пройти мимо этих беспомощных опустившихся людей, валяющихся на тротуарах или сидящих возле дверей обветшалых домов. От них несло перегаром и блевотиной. Люк расталкивал их, поднимал на ноги, отряхивал грязь с одежды и убеждал внимательней относиться к своему здоровью. Затем он совал им в карман долларовую бумажку, наивно полагая, что она будет израсходована на еду. Саванна пыталась убедить Люка, что, очухавшись и обнаружив чудесным образом появившийся

доллар, несчастный тут же напьется снова.

— Да пойми ты, они совершенно счастливы, — втолковывала Саванна. — Это мне объяснил полицейский, когда по неопытности я решила помочь какому-то забулдыге.

Но Люк оставался глух к ее доводам и продолжал возиться с каждым пьяницей, попадавшимся нам на глаза. Однажды мы забрели в небольшой парк на Седьмой авеню. Там на деревянной скамейке растянулся парень. На вид ему было лет шестнадцать или семнадцать. Люк попытался осторожно его растолкать; тот не реагировал. Тогда мой брат перевернул парня — тот был мертв. Скорее всего, смерть наступила несколько часов назад. В кармане его плаща мы нашли иглу от шприца и водительские права с адресом. Парень был жителем города Роли в Северной Каролине.

— Он был совершенно счастлив, Саванна, — мрачно произнес Люк, глядя, как санитары «скорой помощи» уносят труп.

Этот погибший наркоман не выходил у Люка из головы, поскольку тоже был южанином. Мой брат не верил, что уроженец Юга, выросший совсем в других, куда более благоприятных условиях, может счастливо жить на полосе земли между Гудзоном и Ист-ривер. Чтобы стать ньюйоркцем,

южанин должен измениться до неузнаваемости — так считал Люк. Этой своей теорией он поделился с нами за завтраком, когда мы жевали круассаны и запивали их кофе с ликером.

— Пойми, Саванна, это как если бы улитка пыталась стать трамваем, — убеждал Люк, тыча в сестру круассаном. — Такое просто невозможно. Потом сама поймешь. Как ни строй из себя жительницу Нью-Йорка, ты южанка до мозга костей. Эти корни не вырвать.

— Оказывается, мой брат — провинциальный философ с Юга, — улыбнулась Саванна, наливая нам еще по чашке кофе.

— Можешь называть меня провинциалом с Юга, — разрешил Люк. — Беда южан, что они ненавидят ниггеров, и не только. У меня же нет ненависти ни к кому, кроме ньюйоркцев. Я учусь ненавидеть восемь миллионов подонков, которые позволяют сосункам помирать на скамейках и спокойно перешагивают через стариков, валяющихся у подъездов. Мне этого не понять.

— Люк, разве тебе не понравились мои друзья? — спросила Саванна.

— Они ничего. Не потрясающие, но сойдут. Хочу быть предельно честным. Я же видел, как они пялились на нас с Томом. Надо же, прие-

хали из Южной Каролины и умеют говорить. А этот… даже не знаю, как его назвать… который представлял тебя на выступлении. Стоило мне открыть рот, как он начинал потешаться.

— Ему очень понравился твой южный акцент. Он мне потом сказал: «Такое ощущение, что смотришь кино».

— Это не кино. Он говорил с Люком Винго. Я бы тоже мог над ним посмеяться. Уверен, он в жизни не поймал ни одной рыбины. Он хоть рыбу в реке видел? Или только в супермаркете?

— Люк, этот человек — поэт и интеллектуал, — возразила Саванна, утомленная разговором. — Ловить рыбу не его работа.

— Его работа — подтрунивать над теми, кто ловит рыбу? И почему он так странно себя ведет? Какие-то жесты непонятные.

— Люк, он гомосексуалист. Не он один. Многие из моих друзей.

— Ты серьезно? — после напряженной паузы уточнил Люк. — Так он из тех, кто вместо девчонок забавляется с парнями?

— Представь себе.

— Что же ты молчала? — разволновался Люк. — Оказывается, он куда интересней, чем я думал. Много слышал про таких ребят, но никак не пред-

полагал, что увижу своими глазами. Я бы задал ему несколько вопросов… научного характера. Я не все понимаю в их процессе, он бы мне подробно объяснил.

— Какое счастье, что Люк не узнал об этом раньше, — простонал я.

— Люк, это глубоко личные вещи, — добавила Саванна.

— Личные? Да ему вообще плевать на все личное.

— С чего ты взял? — Сестра начала раздражаться.

— Посмотри, где он обитает. В этом проклятом Нью-Йорке! Человек, которому дорого личное, никогда не будет здесь жить. Никакого уединения.

— Ты ошибаешься, Люк. Тот, кто стремится к интимности, кто не хочет вторжений в свою частную жизнь, поселяется в Нью-Йорке. Здесь ты можешь трахаться с орангутангом или попугаем — это никого не волнует.

— Отлично, сестренка. Если меня когда-нибудь потянет совокупляться с попугаями или со штучками от «Санбим»[24], попрошу тебя подыскать мне квартиру. Ты права, у нас в Коллетоне такие

---

[24] Примечания: 24
Компания, производящая бытовые электроприборы.

фокусы не проходят. Но я все-таки хочу, чтобы ты помнила, откуда родом. Страшно, если ты станешь такой же, как твои друзья.

— Люк, я терпеть не могу места, где родилась и выросла. Потому и перебралась в Нью-Йорк. Я хотела полностью убежать от прошлого. Мне ненавистно все, что связано с детством. Я люблю Нью-Йорк, поскольку здесь мне ничто не напоминает о Коллетоне. Все, что здесь есть, никак не связано с моим детством, ни единой ниточкой.

— А мы с Люком напоминаем тебе о детстве? — вмешался я, уязвленный ее словами.

— Вы напоминаете мне о его светлой стороне, — порывисто ответила Саванна.

— Тогда давай напьемся и налопаемся до отвала.

— Этим ничего не изменишь, — вздохнула Саванна. — Том, как ты относишься к своему прошлому? Почему оно не причиняет тебе боли, как мне?

— Я о нем не думаю. Делаю вид, что его не было.

— Сестренка, дорогая, забудь, — добавил Люк. — Мы выжили. Главное, что мы теперь взрослые. Надо смотреть в будущее.

— Пока я не разберусь с прошлым, я не смогу

думать о дальнейшей жизни. Поймите, братья, я измотана, мне что-то мерещится, слышатся голоса. Постоянно. Я ведь не просто пишу об этом. С самого приезда в Нью-Йорк я регулярно бываю у психиатра.

— Что тебе мерещится и какие голоса ты слышишь? — поинтересовался я.

— Обещаю, что обязательно расскажу до вашего отъезда. Обязательно. Но сейчас мне не хочется.

— Это потому, что ты ешь здесь разную дрянь, — заявил Люк, направляя свое недовольство Нью-Йорком на чахлый круассан. — Твой желудок не приспособлен к такой пище. У меня во Вьетнаме понос не прекращался из-за их азиатской жрачки.

— Люк, будь добр, помолчи, — оборвал я брата. — Саванна говорит о душевном расстройстве, а не о поносе.

— Откуда ты знаешь, умница, что душевное расстройство — это не мозговой понос? Механизмы нарушаются; у тела тысяча разных способов намекнуть нам: эй, дружище, что-то идет наперекосяк. Тело не соврет, его надо чувствовать.

Это случилось накануне нашего отъезда. Я проснулся среди ночи, услышав звуки, доносившиеся из комнаты Саванны. Мы с Люком спали на

полу в гостиной. В окно светил уличный фонарь; завеса тумана смягчала свет. Я прислушался. Это был голос Саванны, испуганный и принадлежащий к иной реальности. Сестра говорила с теми, кого называла «прячущиеся». Я встал, подошел к ее двери и тихо постучал. Ответа не последовало. Тогда я открыл дверь и вошел.

Саванна сидела на постели, обращаясь к невидимому для меня миру, находившемуся у противоположной стены. Меня она даже не заметила, хотя я стоял совсем рядом. У сестры дрожали губы, изо рта текла слюна. Я вслушивался в ее слова.

— Нет, я не сделаю того, о чем вы просите. Даже ради вас. Как раз ради вас и не сделаю. Ни за что. Прошу, оставьте меня в покое. Не возвращайтесь. Никогда. Не вторгайтесь в мой дом. Не пущу вас больше. Мне надо работать, не могу работать, когда слышу ваши голоса.

Я подошел к сестре и тронул ее за плечо.

— Саванна, что случилось?

— Том, они опять пришли. Они всегда возвращаются.

— Кто возвращается? — спросил я, присаживаясь на кровать и рукавом вытирая Саванне губы.

— Они хотят причинить мне зло. Том, я их вижу. А ты?

— Дорогая, где они?

— У стены. И возле окна. Том, я вижу их очень отчетливо. Ты сейчас словно из сна, а они совсем настоящие. Слышишь? Слышишь, как они кричат на меня? Том, это плохо кончится. Я должна с ними бороться. Я не могу писать, когда они здесь. Они не уходят. Мучают меня. И не уйдут, они меня не слушаются.

— Кто они, Саванна? Расскажи мне.

— Там. — Сестра указала на стену. — Они висят на стене. Неужели ты их не видишь?

— Саванна, там никого нет. Просто у тебя опять галлюцинации. Все твои видения нереальны, уверяю тебя.

— Реальны. До жути реальны. Реальнее нас с тобой. Они говорят со мной. Ругают меня. Страшные слова. Ужасные.

— Как они выглядят? Может, я смогу помочь тебе.

— Смотри. — Сестра наклонилась ко мне, дрожа всем телом. — Ангелы. Линчеванные. Висят на стене. Десятки. Кричат. Кровь капает с их гениталий. Кричат на меня. Говорят со мной. Том, прошу тебя, заставь их умолкнуть.

— Я с тобой. Послушай, Саванна, все эти ангелы существуют лишь в твоей голове. Их нет ни здесь,

ни вообще в мире. Они живут лишь внутри тебя. Постоянно напоминай себе об этом. Поверь в это — и сумеешь их победить. Я знаю. Запомни, я это уже видел. Ты можешь их прогнать. Просто наберись терпения. На это нужно время.

— Том, что случилось в тот день? Там, в доме?

— Саванна, не думай об этом. Ничего не случилось. Это лишь твое воображение.

— Том, они здесь. Возле двери. Расстегивают свои пояса, кричат. У них черепа вместо лиц. Кричат. И тигр здесь. Он тоже кричит. Мне не выдержать их криков. Том, повтори, что мне все это мерещится. Мне нужно слышать твой голос. Том, они испражняются, стонут и кричат.

Слова сестры очень меня встревожили.

— Саванна, когда ты начала слышать их голоса? Раньше у тебя бывали только видения. Ты уверена, что слышишь их?

— Собаки. Черные собаки. Черные и поджарые. С человеческими голосами. Когда появляются черные собаки, остальные замолкают. Ангелы затихают. Тигр относится к ним с почтением. Том, эти доберманы правят темным миром. Страшнее всего, когда они ко мне приближаются. Том, они будут меня мучить.

— Никто не будет тебя мучить. Я рядом. Никому

не позволю до тебя дотронуться. Если кто-то из них к тебе приблизится, я его убью. Я достаточно силен и справлюсь с ними. Я сделаю это, обещаю. Слышишь? Меня очень тревожит, что с тобой такое творится. Мне больно за тебя. Уж лучше бы они угрожали мне. Тогда бы я очистил комнату от всех тигров, собак и ангелов. Я бы перебил их всех, и больше нам ничего бы не угрожало.

— Том, ты не знаешь, каково жить, когда они приходят. Потом я очень долго избавляюсь от них. Мне тяжело с ними сражаться. Они очень воинственны.

— Прошу тебя, объясни подробно, кто они такие и откуда появляются. Если я не пойму их особенности, я не смогу помочь тебе. У меня никогда не было галлюцинаций. Они что-то вроде снов или кошмаров?

— Хуже. Гораздо хуже. Да, напоминают кошмары. Но вся разница в том, что ты не спишь. И знаешь, что не спишь. Они возникают, когда ты болен и беспомощен и у тебя нет сил прогнать их, когда чуют твою слабость, когда улавливают твое желание умереть. Ты должен бороться с ними, но у тебя нет на это сил. Их слишком много. Тысячи. Им нет числа. Я пыталась их скрывать, особенно от вас с Люком. Делать вид, что их нет. Но сегодня

вечером они явились. Это случилось, когда мы шли по улице сквозь туман. На каждом фонарном столбе висел ангел. Сначала они молчали, потом начали стонать и множиться. Вскоре они уже свисали из каждого окна, истекая кровью. Они всегда приходят, чтобы мучить меня. Я их предчувствовала. Мне ни в коем случае нельзя было соглашаться на это выступление. Оно отняло у меня очень много энергии. Я совсем ослабла. Мне нечего им противопоставить.

— Зато у меня есть силы, уж я им покажу. Но как это сделать? Я ведь не вижу и не слышу их. Для меня эти твари нереальны, и я не понимаю, почему они столь реальны для тебя.

— Том, им смешно, что я к тебе обращаюсь. Они хохочут. Все. Доберман говорит: «Он тебе не поможет. Никто не спасет тебя от нас. Никто на всей земле. Никто и пальцем нас не тронет. Другие не верят в нашу реальность, потому что мы только из твоего мира. Мы раньше появлялись и будем появляться. Снова и снова. Пока ты не последуешь за нами. Мы ждем тебя».

— Не слушай их, Саванна. Это твоя болезнь. Их нет. Это твоя боль прорывается таким способом, порождая жуткие картины. Но я здесь. Ты ощущаешь мое присутствие. Чувствуешь мои

прикосновения. Все это реально. Саванна, я твой брат. Любящий тебя человек.

Сестра повернулась ко мне. По ее лицу струился пот, безутешные глаза были полны отчаяния.

— Нет, Том, я не могу доверять твоему голосу.

— Но почему? — удивился я.

— Потому что они умеют использовать любые голоса. Помнишь, когда я впервые вскрыла себе вены?

— Такое не забудешь.

— Тогда они говорили чужими голосами. Черные собаки. Их набилась целая комната. Их глаза сверкали в темноте. Они скалили свои жуткие зубы. Все, кроме одного. У того была добрая морда. Этот добрый пес обратился ко мне, но я ему не подчинилась.

— Что он сказал, Саванна?

— «Саванна, покончи с собой. Ради блага семьи, ты ведь любишь нас». Сначала добрый пес просил меня маминым голосом.

— Но ведь это была не мама.

— Я закричала: «Нет!» Я поняла, что это уловка. Но потом услышала папу, он велел мне убить себя. Его голос был приятным и убедительным. Это было не самое худшее. Добрый пес наклонился к моему уху. Его морда находилась возле

моего горла. Он произнес с искренней любовью: «Убей себя. Прошу, убей, чтобы семья больше не страдала. Если ты нас любишь, Саванна, возьми бритву. Я помогу тебе это сделать. Помогу». Вот так я вскрыла себе вены в первый раз. Тогда никто не знал о голосах. Я не представляла, кому в Коллетоне могу рассказать о галлюцинациях.

— Но ты ведь не подчинишься им сейчас? Правда, Саванна? Ты не станешь выполнять их приказы?

— Нет. Они задержатся надолго, но сейчас я научилась справляться с ними. Я выдержу. Обещаю. Иди спать. Прости, что разбудила тебя.

— Я останусь с тобой, пока они не уберутся.

— Том, только в одиночестве я могу сражаться с ними. Это единственный реальный способ. Пожалуйста, возвращайся в постель. Мне стало лучше. Спасибо, что проснулся и поддержал меня.

— Меня угнетает, что я ничем не могу тебе помочь. Я не умею воевать с теми, кого не вижу и не слышу.

— Я умею, — отозвалась Саванна. — И должна. Спокойной ночи, Том. Очень тебя люблю.

Я поцеловал сестру и прижал к себе. Ладонями я вытер пот с ее лица и еще раз поцеловал.

Подойдя к двери, я обернулся. Саванна сидела

на постели, откинувшись на подушки, и готовилась к новой схватке.

— Саванна, забыл тебя спросить. Тот голос, что упрашивал тебя покончить с собой. Чей он был?

Сестра взглянула на меня, своего брата-близнеца.

— Это был самый добрый и потому самый жуткий из всех голосов. Тот пес говорил твоим голосом, Том. Самым дорогим для меня.

Когда я вернулся в гостиную, Люк не спал. Он сидел у стены, курил сигарету и смотрел на дверь комнаты Саванны. Люк махнул мне рукой. Я подошел и опустился рядом.

— Том, я все слышал, — прошептал Люк, пуская колечки дыма в сторону папоротников, росших у Саванны в гостиной. — Наша сестренка совсем свихнулась. У нее голова забита совиным пометом.

— Не все так просто, — возразил я, задетый словами брата.

— Почему она не верит, когда ты объясняешь ей, что там никого нет?

— Потому что кто-то все-таки есть, Люк. В этом вся загвоздка.

— Никого там нет. Очередная психологическая срань. По-моему, Саванне это просто нравится.

— Люк, не повторяй за матерью. Она не понимает, насколько Саванна больна.

— Знаешь, мне страшно, когда у Саванны все это начинается. Хочется сбежать подальше. Когда Саванна общается со стенами, она становится другой, абсолютно чужой. А потом начинает винить семью, отца с матерью. Но если они были такими чудовищами, почему мы с тобой не видим собак на стенах? Почему у нас не поехала крыша, как у Саванны?

— Люк, откуда ты знаешь, что на нас это не отразилось?

— Мы с тобой, Том, не свихнутые. Нормальные парни. Особенно я. Правда, тебя иногда заносит, но это наверняка от книжек. Те, кто любит читать, всегда малость с приветом. Давай-ка завтра вытащим ее отсюда и увезем в Коллетон. Возьму ее на лодку, будет ловить креветок. Соленый ветер быстро прочистит ей голову. Тяжелый труд — лучшее лекарство. Когда креветки прут косяком, тут уже не до завихрений. Только успевай поворачиваться. Писание стихов и чтение романов повреждает разум. Саванна — живой пример.

— А ты живой пример того, что ловля креветок приводит к тому же, — раздраженно заметил

я. — Люк, наша сестра больна. Ее болезнь ничуть не легче рака мозга или чего-нибудь подобного. Надеюсь, теперь тебе понятно?

— Не злись на меня, Том. Прошу, остынь. Я пытаюсь понять, но по-своему, а не по-твоему. Мне было бы куда спокойнее, находись Саванна рядом. Мы жили бы вместе, и я бы поддерживал ее. Думаю, я сумел бы помочь.

— Она вспоминала тот день на острове.

— Слышал. Зря ты не ответил ей, что ничего не было.

— Но это было.

— Мама уверяла, что не было.

— Мама уверяла, что отец нас никогда не бил, что мы — потомки аристократического рода. Люк, она сочиняла миллион разных разностей, и все они оказывались неправдой.

— Я мало помню тот день.

Я схватил брата за плечо и притянул к себе.

— А я, Люк, помню все, — зловеще прошептал я ему на ухо. — Каждую мелочь того дня, каждую мелочь нашего детства. Я жалкий обманщик, врущий самому себе, что ничего не помню.

— Ты давал слово, что никогда не заикнешься об этом. Мы все клялись. Некоторые вещи нужно вычеркивать. Забвение — лучший способ. Не

хочу вспоминать то, что было. Не желаю. Сестре это не поможет. Уверен, что сама она ничего не помнит.

— Ладно, — вздохнул я. — Только не делай вид, что того дня не существовало. Когда ты заявляешь об этом, я сам готов свихнуться. Люк, в нашей семье слишком часто притворялись и слишком многое скрывали. Полагаю, мы все дорого заплатим за свою неспособность смотреть правде в лицо.

— Думаешь, Саванна как раз этим и занимается? — вспылил Люк. — Когда говорит с ангелами и собаками, когда слюна капает ей на ноги, когда ее отправляют в психушку. Пытается взглянуть правде в лицо?

— Нет. Но правда просачивается отовсюду. Сомневаюсь, что у Саванны меньше смелости, чем у нас. Только у нас получилось загнать правду поглубже, а ей не хватает сил.

— Она чокнулась из-за своих стихов.

— Нет, из-за того, о чем ей приходится писать. Она размышляет о девочке, росшей в Южной Каролине. О том, что ей ближе, что она лучше всего знает. О чем, по-твоему, она должна рассказывать? О зулусских подростках или об эскимосах-наркоманах?

— Вот и сочиняла бы о том, что ее не ранит, и не приманивала бы этих собак.

— Люк, все ее произведения рождаются из прошлого. Иначе не было бы поэзии.

— Меня это пугает, Том. Однажды она, чего доброго, покончит с собой.

— Саванна сильнее, чем кажется. Ей хочется творить, это смысл ее существования. В ее голове не хватит собак, чтобы заставить ее бросить стихи… Давай спать. Завтра нам предстоит долгий путь.

— Нельзя оставлять ее в таком состоянии.

— Придется. Из этого состоит почти вся ее жизнь.

— Том, послушай меня внимательно. Я не понимаю, что творится с Саванной. Не дано мне этого понять. Но я не меньше тебя люблю нашу сестру.

— Знаю, Люк, и Саванна тоже знает.

В ту памятную нью-йоркскую ночь я так и не сомкнул глаз. Вместо сна я раздумывал о том, как все мы достигли этой временной точки, какие радости и печали каждый из нас унес с острова нашего детства и как каждый из нас играл свою неизменную роль в гротескной семейной мелодраме. С раннего возраста на плечи Саванны взвалили тяжкий груз эмоционального идиотиз-

ма. Потрясающая восприимчивость сделала ее открытой для всех жестокостей и разочарований. Мы превратили ее во вместилище семейной хроники, густо пропитанной горечью и сарказмом. Позже я осознал: искусственный, но неумолимый выбор делает одного из членов семьи кем-то вроде семейного чокнутого; все неврозы, дикости и страдания оседают на впадинах и выступах самой тонкой и самой уязвимой души. Безумие атакует эти добрые и мягкие глаза, подрезает сухожилия на нежных руках. Когда же Саванне навязали роль семейной чокнутой? Когда это решение было принято? Вызвало ли оно одобрение других членов семьи? Наконец, согласился ли с ним я, брат-близнец Саванны? Нет ли моей вины в том, что по стенам ее комнаты висят кровоточащие ангелы, и могу ли я сбросить их оттуда?

Я пытался думать о наших ролях. Люка наделили ролью простого и сильного парня. Он страдал, таща на себе тяжкий груз умственно отсталого. Свое бесхитростное чувство справедливости и долга он превратил в фетиш. Старший ребенок в семье, к тому же не блещущий успехами в школе, Люк принимал на себя внезапные вспышки отцовской ярости. Словно покалеченный пастух, он торопился отогнать нас в укрытие до того, как

примет на себя шквал отцовского гнева. Ущерб, нанесенный душе Люка, трудно было заметить, как трудно измерить всю безысходность его роли в семье. Из-за громадной физической силы Люк часто казался воплощением спокойствия. У него была душа крепости, и он слишком долго смотрел на мир сквозь крепостные бойницы. Все, о чем ему хотелось сказать, всю свою философию Люк выражал исключительно телом. Его раны были внутренними, и я сомневался, осознает ли он их когда-нибудь. Я знал, что ему не дано понять неутихающую войну, которую Саванна вела с прошлым, все хитроумные маневры ее внутренних демонов, донимавших сестру не во сне, а наяву. В равной степени я сомневался и в способности Саванны вникнуть в серьезность дилеммы Люка — бесконечную цепь разрушительных обязательств, которые он тащил на себе. Он действовал, следуя зову сердца. Его поэзия выражалась не в словах. Мой брат не был ни поэтом, ни психопатом. Люк был человеком действия, и тяжеленная семейная ноша легла на его плечи лишь потому, что он родился первым.

А я? Кем стал я, сидящий без сна, выбитый из колеи невидимыми ангелами, кишащими в спальне сестры? Какой была моя роль? Оттенок величия

или поражения она несла? Моим предназначением в семье была нормальность. Уравновешенный ребенок, призванный управлять и проявлять хладнокровие. «Тверд как скала», — так мать говорила обо мне своим друзьям. Пожалуй, довольно точная характеристика. Я рос вежливым, сообразительным, общительным и религиозным. Пример стабильности. Нейтральная страна, семейная Швейцария. Символ правильности. Я с пиететом относился к образу идеального ребенка, о котором мечтали мои родители. Вот так, с вечной оглядкой на правила приличия, я вступил во взрослую жизнь, робкий и готовый ублажать других. И пока моя сестра кричала и сражалась с черными псами из подсознания, а мой брат спал как младенец, я бодрствовал, понимая, что прошедшая неделя имеет для меня чрезвычайную важность. К тому времени я был уже шесть лет женат, работал школьным учителем и тренером и вел обыкновенную, посредственную жизнь.

Глава 3



С момента триумфального выступления Саванны в Гринвич-Виллидже прошло девять лет. Последние три года мы с сестрой не виделись и не сказали друг другу ни слова. Это мы-то, прежде неразлучные двойняшки! Я не мог произнести ее имени, не испытав боли. Стоило мне вспомнить о пяти минувших годах, как все разваливалось на куски. Моя память оставалась хранительницей кошмаров. Я думал об этом, когда такси везло меня на Манхэттен по мосту с Пятьдесят девятой улицы. Я ощущал себя всадником королевской конницы, призванным собрать свою сестру[25].

Психиатром Саванны была некая доктор Лоуэнстайн; ее кабинет находился в районе Семидесятых улиц, в шикарном здании из бурого

---

[25] Примечания: 25
Перекличка с известными детскими стихами про Шалтая-Болтая.

песчаника. В приемной безраздельно господствовали твид и кожа. Тяжеленные пепельницы вполне годились для охоты на белок. Стены были украшены двумя современными картинами, висевшими друг напротив друга; их попеременное разглядывание уже могло вызвать шизофрению. Изображения чем-то напоминали цветовые пятна теста Роршаха[26], помещенные среди цветущих лилий. Прежде чем заговорить, я некоторое время разглядывал одну из этих картин.

— Неужели кто-то платит за такое деньги? — обратился я к симпатичной, но слишком серьезной чернокожей секретарше.

— Три тысячи долларов. И то продавец картин заверил доктора Лоуэнстайн, что отдает эти вещи почти задаром.

— Интересно, каким способом художник создавал свои шедевры? Выблевывал на холст или все же пользовался красками? Как думаете?

— Вам назначено? — спросила секретарша.

— Да, мэм. На три часа.

Серьезная секретарша уткнулась в бумаги, затем окинула меня взглядом.

---

[26] Примечания: 26

«Чернильный» тест Роршаха — тест, в ходе которого испытуемому предлагают ответить на вопросы об ассоциациях, которые у него вызывает форма чернильного пятна.

— Стало быть, вы мистер Винго. Планируете остаться на ночь? К сожалению, у нас не отель.

— У меня не было времени закинуть чемодан в квартиру сестры. Не возражаете, если на время разговора с доктором я оставлю его здесь?

— Откуда вы приехали? — поинтересовалась секретарша.

Мне захотелось соврать, что из Сосалито, штат Калифорния. Выходцы из Калифорнии вызывают всеобщую симпатию, но стоит признаться, что ты с Юга, и тебя начинают либо жалеть, либо ненавидеть. Некоторых чернокожих так и подмывало сделать из меня филе, стоило им услышать мой южный акцент и фразу: «Коллетон, Южная Каролина». Я сразу уловил мысли секретарши. Наверняка она считала, что если избавить мир от этого белого недомерка с грустными глазами, то ее далекие предки, которых несколько веков назад бросили в корабельный трюм и увезли из девственных африканских джунглей на плантации американского Юга, будут отомщены. По глазам чернокожих видно: им до сих пор памятен Нат Тернер[27].

---

[27] Примечания: 27

Нат Тернер (1800–1831) — чернокожий раб из штата Виргиния. Восстание рабов, поднятое им, было быстро и жестоко подавлено, а сам он вскоре был пойман, предан суду и казнен.

— Из Южной Каролины, — ответил я.

— Пожалуйста, извините мое любопытство, — с улыбкой сказала секретарша, однако на меня не посмотрела.

Приемную наполняла музыка Баха. Возле дальней стены стояли несколько кресел и стеллаж, на котором я заметил вазу с цветами. Судя по всему, их поставили недавно. Пурпурные ирисы, подобранные с большим вкусом, склонили ко мне свои головки, напоминающие птичьи. Опустив веки, я попытался расслабиться под музыку, поддавшись ее соблазну. Стук сердца замедлился. Я представил, что нахожусь среди роз. Однако голова продолжала побаливать. Я открыл глаза, пытаясь вспомнить, есть ли у меня в чемодане аспирин. На стеллаже стояли и лежали книги; я поднялся, собираясь изучить названия. В это время концерт Баха сменился сочинением Вивальди. Как и цветы, книги были тщательно подобраны. Чувствовалось, что это не случайное чтиво, призванное развлечь клиентов. Некоторые из изданий были подписаны авторами. Посвящения адресовались доктору Лоуэнстайн. Глядя на знакомые фамилии, я представил, что писатели сидели в этой приемной, вздрагивая от жутких видений, запечатленных неизвест-

ным художником. На верхней полке я нашел вторую книгу Саванны — «Принц приливов». Я открыл страницу с посвящением и, читая его, прослезился. Такая реакция меня обрадовала — она доказывала, что внутри я еще жив, жив где-то очень глубоко, где таились мои страдания, загнанные в жалкую и ничтожную скорлупу взрослости. Моей взрослости! До чего же противно было становиться мужчиной, брать на себя кучу глупейших обязательств, демонстрировать неиссякаемую силу и дурацкую напускную храбрость вперемешку со страстностью. Как же я ненавидел силу, выдержку и долг. Как я боялся увидеть свою прекрасную сестру с повязками на запястьях, а над головой — бутылки глюкозы, напоминающие стеклянных эмбрионов, от которых к ноздрям тянутся прозрачные трубки. Но я отчетливо осознал свою роль, ту тиранию и западню, куда меня загнал образ зрелого мужчины, и решил отправиться к сестре, являя собой столп силы, — властелин растительного мира, едущий по полям нашей с ней общей земли. Мои руки будут излучать энергию пастбищ; уверенный в незыблемости круговорота жизни, я стану петь о возрождении, ободрять словами доброго учителя и хорошими новостями от повелителя времен

года. Сила — мой дар, она же действие. Уверен, что когда-нибудь эта сила меня и убьет.

Перевернув страницу, я увидел первое стихотворение сборника. Я произносил его вслух, под аккомпанемент скрипок, с молчаливого одобрения ирисов и Вивальди, стараясь воссоздать интонации Саванны и то осязаемое благоговение, с каким моя сестра преподносила свои стихи.

Пылаю глубокой и мрачной магией,
пахну страстью, как цапля в огне;
все слова превращаю я в замки,
а затем их штурмую с воздушной армией.

Цель исканий моих далека,
но войска мои храбры и обучены славно.
Поэтесса доверит своим батальонам
превратить ее фразы в мечи и клинки.

На заре я у них попрошу красоты
в подтвержденье, что их не напрасно учили.
А ночью прощенья у них попрошу,
у подножья холма перерезав им глотки.

И флотилии мои поплывут по волнам языка,

запылают эсминцы в открытых морях.

Я для высадки остров готовлю.

Я словами вербую в угрюмую армию,

и стихи мои — бой со всем миром.

Пылаю глубокой и южной магией.

Бомбардиры ударить готовятся в полдень.

Все дома полны горя и криков,

и луна — словно цапля в огне.

Я вернулся на страницу с посвящением и прочитал двустишие:

Человек вопрошает, решает же Бог молчаливо,

Когда время пришло убивать ему Принца приливов.

Я поднял голову и увидел доктора Лоуэнстайн. Она смотрела на меня, стоя в дверях кабинета. Худощавая, в дорогой одежде. У нее были темные глаза без малейших признаков косметики. В полумраке кабинета, в звуках Вивальди, затухающих

пленительным эхом, она была завораживающе прекрасной — одна из сногсшибательных нью-йоркских женщин с неизменной осанкой львицы. Высокая, черноволосая, она выглядела так, словно ретушью ей служили порода и хороший вкус.

— И кто же он, этот Принц приливов? — начала она, не представившись.

— Почему бы вам не спросить у Саванны?

— Обязательно спрошу, когда она будет в состоянии со мной говорить. Пока же приходится ждать. Простите, забыла представиться. Доктор Лоуэнстайн. А вы, должно быть, Том?

— Да, мэм, — ответил я, после чего встал и проследовал за ней в кабинет.

— Том, хотите кофе?

— С удовольствием, мэм, — выпалил я.

— Откуда у вас это старомодное «мэм»? Мне кажется, мы с вами ровесники.

— Крепкое домашнее воспитание. И нервозность.

— Почему вы нервничаете? Да, что добавить в кофе?

— Сливки и сахар. Каждый раз нервничаю, когда моя сестра режет себе вены. Такая у меня особенность.

— Прежде вам приходилось встречаться с психиатром? — поинтересовалась доктор Лоуэнстайн.

Изящной и уверенной походкой она подошла к шкафчику возле письменного стола и достала пару кофейных чашек.

— Да, я общался со всеми врачами Саванны.

— У нее и раньше были попытки самоубийства?

— Да. По двум светлым и радостным поводам.

— Что вы имеете в виду?

— Извините. Мой цинизм дает о себе знать. Семейная черта, от которой сложно избавиться.

— Саванна тоже цинична?

— Нет. Она избежала этой участи.

— Вы никак сожалеете, что сестра не обладает вашим цинизмом?

— Да, доктор, потому что вместо этого она пытается покончить с собой. Лучше бы она была прожженным циником. Как Саванна? Когда можно ее увидеть? Вы задаете все эти вопросы, но даже не сказали, в каком она состоянии.

Доктор Лоуэнстайн продолжала хранить самообладание.

— Том, вам нравится кофе?

— Да. Потрясающий. Давайте перейдем к про-

блемам моей сестры.

— Прошу вас проявить терпение, Том. Мы обязательно обсудим здоровье Саванны, но чуть позже, — покровительственным тоном заявила психиатр. — Если мы собираемся помочь Саванне, я должна выяснить ряд моментов, касающихся ее детства и воспитания. Уверена, это в наших с вами интересах. Согласны?

В ее голосе звучало неоспоримое превосходство.

— Нет, если вы и дальше будете говорить со мной в такой же отвратительно высокомерной манере, будто я шимпанзе, которого учат шлепать по клавишам пишущей машинки. И прежде чем продолжать нашу беседу, хочу выяснить, где моя сумасбродная сестрица.

Я скрестил руки на груди, чтобы они меньше дрожали. Кофе усилил головную боль. Музыка, продолжавшая звучать в приемной, сильно стучала в висках.

Чувствовалось, что доктор Лоуэнстайн повидала разные выплески враждебности от своих пациентов — она явно приобрела закалку. Мою тираду она встретила спокойно.

— Хорошо, Том, я поделюсь с вами информацией. Но тогда и вы мне поможете.

— Не понимаю, что вам нужно.

— Узнать о ее жизни столько же, сколько знаете вы. Хочу услышать о ее детстве. Необходимо выяснить, где впервые проявились эти симптомы, когда вы стали замечать у нее первые признаки болезни. Не сомневаюсь, что вы догадывались о ее душевном заболевании.

— Конечно, — согласился я. — Половина ее творчества — о собственном безумии. Она пишет об этом так же, как Хемингуэй писал об охоте на львов. В стихах сестры отражаются все слабые стороны ее натуры. Я по горло сыт свихнутостью Саванны. Устал от всего этого дерьма в духе Сильвии Плат[28]. Знаете, доктор, когда сестра в прошлый раз вскрыла себе вены, я пожелал ей в следующий раз довести дело до конца. Уж лучше бы она запихнула себе в глотку дуло дробовика и разнесла бы голову. Так нет. Она испытывает пристрастие к бритвам. Понимаете? Видеть не могу ее шрамы. И эти трубки, торчащие из носа. Я был ей хорошим братом, но не знаю, как с ней говорить после того, как она располосовала себе

[28] Примечания: 28

Сильвия Плат (1932–1963) — американская поэтесса, романистка и автор книг для детей. Всю свою недолгую жизнь сражалась с нездоровой психикой, что нашло отражение и в ее произведениях. Покончила жизнь самоубийством.

вены, словно это не ее тело, а оленья туша, которую она взялась свежевать. Я не силен в таких вещах. И ни один психиатр, ни один поганый психиатр — а их были десятки — не помог Саванне утихомирить демонов, которые ее терзают. Вы можете помочь ей, мэм? Ответьте. Можете?

Доктор Лоуэнстайн медленными глотками пила кофе. Ее врожденное спокойствие лишь подчеркивало мое неумение владеть собой, отчего я злился еще сильнее. Затем доктор поставила чашку на блюдце, и та встала строго по центру, в пространство, очерченное круглой бороздкой.

— Том, хотите еще кофе? — спросила доктор Лоуэнстайн.

— Нет.

— Не знаю, смогу ли помочь Саванне. — Психиатр вновь устремила на меня свой профессиональный взгляд. — Со времени попытки самоубийства прошло больше недели. Сейчас Саванна вне опасности, а в первую ночь, когда ее только привезли в Беллвью, она едва не умерла от потери крови. Но дежурный врач оказался просто волшебником. Когда я впервые увидела вашу сестру, она находилась в коме; были сомнения, выживет ли она. Но потом Саванна вышла из комы, стала бредить и кричать. Наверное, вам до-

водилось быть свидетелем подобного поведения. Бессмыслица, но в высшей степени поэтичная и имеющая ассоциативные качества. Я записала ее бред на пленку, надеясь отыскать зацепки и понять, что же могло спровоцировать Саванну в этот раз. Вчера наступила перемена: Саванна замолчала. Я позвонила знакомой поэтессе, и та через соседа Саванны узнала телефон вашей матери. Я послала телеграмму вашему отцу, но он не ответил. Как вы думаете — почему?

— Потому что вы живете в Нью-Йорке. Потому что вы женщина. Потому что вы еврейка. Потому что вы психиатр. К тому же он всякий раз смертельно пугается, когда Саванна срывается с катушек.

— И не хочет отзываться на крик о помощи?

— Если бы о помощи кричала Саванна, возможно, он был бы уже рядом с ней. Он делит мир на Винго, идиотов и идиотствующих Винго. Саванну он относит к Винго.

— А я, стало быть, идиотка, — бесстрастно заключила доктор Лоуэнстайн.

— Вы вне его классификации, — улыбнулся я. — Кроме того, отец мог и не получить телеграммы.

— Ваша семья ненавидит евреев?

— Моя семья ненавидит всех. Просто ненависть.

Ничего личного.

— Когда вы росли, в вашей семье употребляли слово «ниггер»?

— Разумеется, доктор, — ответил я, удивляясь, как это может быть связано с Саванной. — Я же рос в Южной Каролине.

— Наверняка и там были образованные, мыслящие люди, которые отказывались произносить это отвратительное слово.

— Но они не были Винго. Исключение — моя мать. Она утверждала, что это слово — из лексикона белых отбросов общества. Мать говорила «негр» и очень этим гордилась. Она думала, что тем самым оказывается в ряду высокообразованных людей.

— Том, сейчас вы используете слово «ниггер»?

Я смотрел на красивое лицо доктора, пытаясь понять, не шутка ли это. Но у доктора Лоуэнстайн были приемные часы, не допускавшие пауз и юмора.

— Да, когда попадаю к снисходительным янки вроде вас. Тогда, доктор, мне никак не удержаться. Оно само выскакивает. Ниггер. Ниггер. Ниггер. Ниггер. Ниггер. Ниггер, — повторял я как заведенный.

— Вы исчерпали весь запал? — наконец сказала

доктор Лоуэнстайн.

Мне было приятно, что я все-таки пробил брешь в ее дрессированной эмоциональности.

— Весь.

— На моей территории это слово запрещено.

— Ниггер. Ниггер. Ниггер. Ниггер. Ниггер. Ниггер, — выстрелил я новую обойму.

Доктор Лоуэнстайн сделала над собой усилие; ее голос звучал натянуто и глухо.

— У меня и в мыслях не было говорить с вами снисходительным тоном. Если вы восприняли это так, пожалуйста, примите мои извинения. Просто мне показалось странным, что в семье поэтессы Саванны Винго употребляли это слово. Трудно представить, что у нее была расистская семья.

— Саванна потому и стала такой, что появилась на свет в расистской семье. Она всеми силами ей противостояла и писать начала от возмущения.

— Ваше раздражение тоже связано с детством?

— Думаю, я был бы раздражительным в любом случае. Но будь у меня выбор, я бы предпочел клан Рокфеллера или Карнеги. Когда ты Винго, добиться чего-либо гораздо труднее.

— Поясните, пожалуйста.

— Думаю, жизнь так или иначе тяжела для всех

людей. Но когда ты Винго, она почти невыносима. Разумеется, я не был в другой шкуре, так что это чисто теоретические рассуждения.

— Какую религию исповедовала ваша семья? — задала очередной вопрос психиатр.

— Католическую, представьте себе. Римско-католическую.

— Зачем вы добавили «представьте себе»? Чем плохо быть католиком?

— Вам не понять, каково расти в католической семье на «Глубоком Юге»[29].

— Ну почему же? — возразила она. — А вам не понять, каково расти в еврейской семье в любой точке мира.

— Я читал Филипа Рота[30], — заметил я.

— И что? — Теперь уже доктор не скрывала своей враждебности.

— Да ничего. Просто делаю неуклюжую попытку восстановить хрупкий контакт между нами.

— Филип Рот одинаково ненавидит и евреев, и женщин. Чтобы это понимать, не обязательно

---

[29] Примечания: 29

«Глубокий Юг» — понятие, включающее очень многие представления, привычки и предрассудки белых жителей южных штатов.

[30] Примечания: 30

Рот Филип (р. 1933) — американский романист, автор более 25 романов, лауреат Пулицеровской премии.

быть евреем или женщиной.

Это было произнесено тоном, подчеркивающим, что данная тема полностью исчерпана.

— Саванна думает точно так же.

Я улыбнулся, вспомнив пылкость и догматизм воззрений своей сестры касательно женских вопросов.

— А что думаете вы, Том?

— Вам это действительно интересно?

— Да. Очень.

— Что ж, при всем уважении к вам, я считаю, что ваши с Саванной воззрения — полное дерьмо.

— Тогда, при всем уважении к вам, позвольте поинтересоваться: почему мы должны разделять взгляды белого южанина?

Я подался вперед и прошептал:

— Потому что, доктор, когда я не ем ягоды и коренья, не кручу хвосты мулам и не режу свиней на заднем дворе, я очень смышленый мужчина.

Доктор Лоуэнстайн, улыбаясь, разглядывала свои ногти. В тишину кабинета проникала приглушенная музыка, каждая нота звучала ясно и светло, будто вальс над озерной гладью.

— В своих стихах ваша сестра пишет о двух братьях, — начала новый профессиональный заход

доктор Лоуэнстайн. — Каким братом являетесь вы, Том? Ловцом креветок или тренером?

Нет, эта женщина явно меня превосходила.

— Тренером, — признался я.

— Почему вы понизили голос? Вам неловко оттого, что вы тренер?

— Мне неловко от того, что другие думают о тренерах. Тем более в Нью-Йорке. Тем более психиатры. И особенно — женщина-психиатр.

Доктор Лоуэнстайн уже полностью владела собой.

— И как же, по-вашему, я отношусь к тренерам?

— Со многими ли тренерами вы знакомы?

— Ни с одним, — улыбнулась она. — Как-то не сталкивалась.

— А если бы и столкнулись, то вряд ли пустили бы в свою компанию.

— Скорее всего, вы правы. Скажите, в каком кругу вращаетесь вы у себя в Южной Каролине?

— В кругу таких же тренеров, — ответил я, чувствуя, что попал в западню.

В ароматную западню. Запах ее духов был мне знаком, но я никак не мог вспомнить их название.

— Как вы проводите время?

— Сидим, почитываем спортивные разделы газет, балуемся армрестлингом или давим друг другу кровавые мозоли.

— Вы очень странный человек, Том. Скрытный. Если вы будете отделываться исключительно шутками и загадками, я не смогу помочь вашей сестре. Я нуждаюсь в вашем доверии. Понимаете?

— Я ведь вас впервые вижу, мэм. Мне непросто затрагивать личные темы даже с теми, кого я люблю. И гораздо труднее с теми, с кем знаком всего полчаса.

— Мне кажется, вас сильно задевает культурная пропасть между нами.

— Я ощущаю ваше презрение ко мне, — заявил я, опуская веки.

Голова болела все сильнее. Область вокруг глаз ощущалась средоточием боли.

— Презрение? — изумленно повторила доктор. — Даже если бы я ненавидела все, что составляет вашу жизнь, я бы и тогда не презирала вас. Вы мне необходимы ради блага Саванны… если пойдете на сотрудничество. Я проанализировала творчество Саванны, но мне необходимо выяснить подробности ее жизни. Не ради любопытства. Когда рассудок вашей сестры вернется в

здравое состояние, я попытаюсь разрушить ее деструктивный поведенческий шаблон, которому она следует, насколько я понимаю, с давних пор. Если я смогу отыскать ключи в детстве Саванны, возможно, мне удастся ей помочь. Мы вместе создадим нечто вроде стратегии выживания; она и дальше сможет писать, но без разрушительных последствий для себя.

Я вскочил и начал расхаживать по кабинету, сбитый с толку и все более теряющий самообладание. К головной боли добавилось головокружение от пастелей на стенах.

— Все ясно. Вы героиня драмы конца двадцатого века. Тонко чувствующий врач-психиатр, преданный своему делу и стремящийся спасти для будущего поэтессу-феминистку, чье творчество должно остаться в веках. И этот психиатр накладывает свои исцеляющие руки с наманикюренными пальчиками на зияющие раны поэтессы, произносит священные слова Зигмунда Фрейда и оттаскивает несчастную от края пропасти. После этого спасительница занимает в литературной биографии Саванны Винго скромное, но достойное место.

Я стиснул голову руками и потер виски.

— Том, у вас болит голова? — догадалась доктор

Лоуэнстайн.

— Жутко болит, доктор. У вас не найдется капельки морфина?

— Нет, но у меня есть аспирин. Чего же вы раньше молчали?

— Неправильно жаловаться на головную боль, когда речь идет о сестре, вскрывшей себе вены.

Из ящика письменного стола доктор Лоуэнстайн вынула три таблетки аспирина и протянула мне. Затем она налила вторую чашку кофе, и я запил лекарство.

— Хотите прилечь на кушетку?

— Нет уж, спасибо. Когда я сюда ехал, то боялся, что вы уложите меня на кушетку. Ну, как в кино.

— Мои методы обычно не напоминают эпизоды из фильмов… Не хочу вас шокировать, Том, но, когда я впервые увидела вашу сестру, она мазала себя собственными экскрементами.

— Меня это не шокирует.

— Почему?

— Я уже был свидетелем подобного поведения. В первый раз это потрясает. Может, и во второй тоже. Потом привыкаешь и начинаешь воспринимать как часть действительности.

— И где был первый раз?

— В Сан-Франциско. Саванна приехала туда

выступать, а оказалась в психушке. Таких угнетающих мест я еще не посещал. Даже не знаю, почему ее потянуло к дерьму: из ненависти к себе или ей захотелось сменить обстановку в палате.

— Вы смеетесь над психозами своей сестры. Ну и странный же вы человек!

— Это южный вариант, доктор.

— Южный вариант?

— Незабвенная фраза моей матери. Мы смеемся, когда боль становится невыносимой. Смеемся, когда ничтожество земной жизни становится слишком… ничтожным. Смеемся, когда больше ничего не остается.

— Когда же, в соответствии с вашим южным вариантом, вы плачете?

— Когда вдоволь насмеемся, доктор. Всегда. Всегда после смеха.

— Встретимся с вами в больнице. Семь вечера вас устроит?

— Более чем. Доктор, простите за некоторые вещи, которые я наговорил. Благодарю, что не вышвырнули меня из кабинета.

— До вечера. Спасибо, что приехали, — улыбнулась она и игриво добавила: — Тренер.

В психиатрических клиниках, какими бы гуманными и передовыми они ни были, ключи

являются атрибутами власти, стальными звездочками свободы вообще и свободы передвижения в частности. Шествие санитаров и медсестер по больничным коридорам сопровождается умопомрачительной какофонией ключей, висящих у них на поясе и звякающих при ходьбе. Музыка, возвещающая о появлении свободных людей. Когда слушаешь этот перезвон ключей, а сам их не имеешь, очень скоро начинаешь понимать неподдельный ужас запертой души, которую лишили всех контактов с внешним миром. Об этой «тайне ключей» я прочитал в стихотворении Саванны, написанном после ее первого помещения в клинику. Сестра сочинила эти строки в один присест. Ключи как магические символы, управляющие ее тяжелой участью и необъявленной войной с собой. Каким бы ни было состояние сестры, она непременно просыпалась, заслышав лязг больничных ключей.

В тот вечер, когда доктор Лоуэнстайн привела меня в палату, Саванна сидела спиной к двери, сжавшись в комок и обхватив колени руками. Ее голова упиралась в стену. В комнате пахло калом и мочой — гнусный и такой знакомый «букет», унижающий душевнобольных на протяжении долгих часов врачебного плена, характерный

«аромат», по которому сразу узнаёшь американскую психушку. Когда мы вошли, Саванна даже не обернулась. Я тут же понял: встреча будет тягостной.

Доктор Лоуэнстайн приблизилась к Саванне и осторожно тронула за плечо.

— Саванна, у меня для вас сюрприз. Здесь ваш брат Том. Он приехал вас навестить.

Сестра не шевелилась; ее сознание витало где-то в иных мирах. От ее кататонического ступора веяло покоем скалы, безупречным колдовством, черной магией. Кататоники всегда казались мне наиболее праведными из остальных психотиков. Есть какое-то достоинство в их «обете молчания»; в их нежелании двигаться просматривается нечто священное. Безмолвная драма погубленной человеческой души, генеральная репетиция самой смерти. Я не впервые видел Саванну в кататоническом ступоре, поэтому ощущал себя давним свидетелем ее неизлечимого состояния. В первый раз меня буквально разрывало; не в силах смотреть на нее, я прятал лицо в ладонях. Но тут я вспомнил ее слова. Саванна говорила мне, что неподвижность и отчужденность — они лишь снаружи, а глубоко внутри дух самоисцеляется, осваивая несметные богатства, скрытые в недося-

гаемых уголках разума. И еще она сказала, что в такие периоды не может нанести себе повреждений. Наоборот, она очищается, подготавливаясь к моменту, когда снова вернется к свету. Этот момент мне бы очень хотелось встретить рядом с сестрой.

Я обнял Саванну за плечи, поцеловал в шею и сел рядом. Я крепко сжимал ее и зарывался лицом в волосы. На забинтованные руки я старался не обращать внимания.

— Здравствуй, Саванна, — тихо произнес я. — Как ты, дорогая? Все будет замечательно, твой брат рядом. Понимаю, тебе сейчас плохо, и от этого мне тоже плохо. Но я останусь в Нью-Йорке, пока ты не выздоровеешь. Недавно я встречался с отцом. Он просил передать, что любит тебя. Не волнуйся, наш старик ничуть не изменился. Такой же идиот, как всегда. Мама не смогла приехать, она наметила стирку колготок. У Салли и девочек все замечательно. Представляешь, Дженнифер начинает обзаводиться грудями. На днях вылезла из душа, подошла ко мне, распахнула полотенце и говорит: «Смотри, папа, какие у меня бугорочки». Потом захихикала и с воплем понеслась по коридору. Я за ней, и мысли в голове непотребные… Южная Каролина почти

не изменилась. По-прежнему остается чертовым культурным центром мира. Даже остров Салливанс обрастает цивилизацией. Недавно возле шоссе отгрохали новенькую забегаловку с барбекю. Я по-прежнему без работы, но усердно ее ищу. Помню, тебя это волновало. Да, забыл. Навещал тут бабушку Винго. У нее был день рождения, вот я и заскочил в дом престарелых ее поздравить. Представляешь, она приняла меня за чарлстонского епископа и заявила, что в двадцатом году я пытался ее соблазнить. А еще…

Мой монолог, длившийся полчаса, был прерван доктором Лоуэнстайн. Психиатр тронула меня за плечо и кивнула в сторону двери. Я встал, поднял Саванну на руки и отнес на кровать. Сестра сильно похудела, ее щеки потемнели и ввалились. Глаза ни на что не реагировали — две бирюзы в белой оправе. Саванна легла в позу зародыша. Я достал из кармана щетку и начал расчесывать ее потные спутанные локоны. Я водил щеткой, пока к ее прядям не вернулся золотистый блеск; теперь золото волос струилось по ее плечам и спине. Тогда я спел Саванне куплет из песни нашего детства:

Отвези меня к солнцу, в край южный родной,

Где увидел я свет и тепло,
Где баюкали птицы меня в час ночной.
И зачем я покинул его?

Немного помолчав, я сказал на прощание:

— Саванна, завтра я снова приду. Знаю, что ты меня слышишь. Запомни: все повторяется, ты обязательно вылечишься. Это требует времени. Когда-нибудь мы будем петь и танцевать. Я стану говорить разные гадости про Нью-Йорк, а ты — щипать меня за руку и обзывать деревенщиной. Я рядом, дорогая. И буду здесь столько, сколько потребуется.

Я поцеловал сестру в губы и накрыл одеялом.

Мы вышли из лечебницы. В Нью-Йорке пахло поздней весной. Доктор Лоуэнстайн поинтересовалась, обедал ли я, и я признался, что нет. Она предложила посетить ее любимый французский ресторанчик «Petite marmite»[31]. Я мгновенно подумал о ценах в меню. Ничего не поделаешь — автоматическая реакция южнокаролинского школьного учителя, замордованного годами нищенского жалованья. В тот момент я даже забыл, что уже не работаю. Всех американских

---

[31] Примечания: 31
Название можно перевести как «Кастрюлька» или «Котелок».

учителей выдрессировали мыслить категориями бедняков. Мы любим конференции с книжными ярмарками и угощением за счет устроителей. Мы привыкли жевать резиновую курятину со сладковатым французским гарниром и отвратительным горошком.

— Доктор, а это дорогое заведение? Несколько раз мне приходилось расплачиваться в местных ресторанах. На такие деньги шеф-повар вполне может учить своих детей в частной школе.

— По нью-йоркским меркам цены там умеренные.

— Подождите. Позвоню в банк и узнаю, можно ли получить заем.

— Тренер, я вас угощаю.

— А я как мужчина, напрочь лишенный комплексов, на это соглашаюсь.

Метрдотель поприветствовал доктора Лоуэнстайн с неуловимым оттенком интимности, и я сразу понял: она принадлежит к числу завсегдатаев. Служащий провел нас к столику в углу. Рядом страстно вздыхала и постанывала парочка. Они сидели, взявшись за руки и безотрывно глядя друг на друга. Их распахнутые глаза, отражавшие свет свечей, были полны страсти. Чувствовалось, что они не прочь совокупиться прямо на белой

скатерти, подмяв под себя блюдо с беарнским соусом. Доктор заказала бутылку «Макон блан»[32] и пробежала глазами меню в кожаном переплете.

— Могу я выбрать какую-нибудь закуску? — уточнил я.

— Разумеется. Все, что вам нравится.

— А все закуски сразу?

— Нет. Я за сбалансированное питание.

— Это очень по-еврейски.

— Вы правы, черт побери. — Доктор Лоуэнстайн улыбнулась, затем уже серьезно спросила: — Что вы думаете по поводу Саванны?

— Ей хуже, чем когда-либо прежде. Но я чувствую себя гораздо лучше.

— Поясните.

— Мне было бы тяжелее, если бы Саванна бредила и кричала. Словом, если бы она была неуправляемой. А нынешнее ее состояние чем-то напоминает отдых. Сестра набирается сил и готовится вернуться в мир. Доктор, через месяц-другой она выкарабкается. Обещаю.

— Вы отваживаетесь предсказывать?

— Просто небольшой прогноз. Эта ее линия поведения мне знакома.

---

[32] Примечания: 32
Легкое сухое вино с ароматом цветов и муската.

— Почему вы не работаете?

— Уволили.

— Можно узнать причину?

— Сейчас мне не хочется ворошить прошлое.

Сомелье принес вино и налил чуть-чуть в бокал доктора Лоуэнстайн. Она вдохнула букет, пригубила и кивнула. Я люблю эти маленькие спектакли за столом, это изящество ритуала. Я с наслаждением приложился к бокалу и почувствовал, как вино проникает внутрь, начиная затяжную осаду моей мигрени. Конечно, пить мне не стоило, но очень хотелось. Ведь я решил рассказать этой женщине не только о детстве Саванны — я избрал другую стратегию: поделиться историями из своей жизни и тем самым спасти себя от себя же.

— Увы, доктор, ваш аспирин не помог, мигрень нарастает. У меня нет работы и нет перспектив ее получить. У моей жены — она врач-терапевт — роман с кардиологом. Она подумывает меня оставить. Я ненавижу родителей, однако через пять минут буду это отрицать, заверяя, что имел в виду совсем другое и что крепко люблю их. Мой брат Люк — семейная трагедия. Вы о нем слышали, хотя пока не знаете, какое отношение это имеет к Саванне. Кстати, я говорил, что мой

отец сейчас в тюрьме? Потому он и не отреагировал на вашу телеграмму. В истории клана Винго переплелись юмор, гротеск и трагедия, с преобладанием последней. Потом вы поймете: безумие Саванны стало естественным ответом на жизнь нашей семьи. А вот мой ответ совсем неестественный.

— И каков же ваш ответ?

— Я долго притворялся, что все нормально. Умело пользовался унаследованным от матери даром отрицания. Сестра называет меня «невспоминающим тренером», однако я помню куда больше, чем она.

— А сейчас?

— Сейчас я распадаюсь на части. Это не моя роль. Семья определила мне быть бастионом силы, «человеком со свистком», хорошим тренером, первым секретарем и главным свидетелем семейных мелодрам.

— Том, вам не кажется, что вы немного переигрываете?

— Да. Больше не буду. Постараюсь быть обаятельным.

Мы заказали блюда, и, пока их ждали, доктор Лоуэнстайн рассказала мне о себе. Пламя свечей смягчило ее черты. Она ела крабов, фаршированн-

ных миндалем, а я описывал ей ловлю крабов в реке Коллетон. Я поглощал лосося, плавающего в бархатном укропном соусе, и слушал ее историю о шотландских рыбаках, промышляющих лососем. Позже доктор Лоуэнстайн взяла вторую бутылку вина, грибной салат — свежайший, пахнувший лесной землей — и винегрет, украшенный листьями базилика. Головная боль прошла, но мигрень не оставила своих попыток проникнуть в мою голову: она неспешно двигалась вверх по спине, словно поезд, одолевающий горный перевал. Принесли мой десерт — малину со сливками. Себе доктор Лоуэнстайн выбрала фруктовое мороженое и, когда его подали, вновь вернулась к Саванне.

— Том, вы когда-нибудь слышали слово «Калланвольд»? — осведомилась доктор.

— Еще бы. Но почему вы спрашиваете?

— Одно из слов, которые Саванна без конца повторяла, когда пришла в сознание. Точнее, выкрикивала его.

Доктор Лоуэнстайн подала мне сложенный листок бумаги и попросила с ним ознакомиться.

— Я говорила вам, что в первые дни пребывания Саванны в клинике записывала на пленку все ее фразы. Вдруг это пригодится, когда Саванна

окрепнет и мы приступим к лечению. Тут выжимки из десятков часов ее бреда.

Взяв бокал с вином, я начал читать.

«Затычки для Принца приливов. Собаки на моем дне рождения. Они пришли жить в белом доме. Болота всегда опасны. Черный пес не связан с тигром. Папа купил кинокамеру. Папа купил кинокамеру. Собаки бродят стаями. По дороге идут трое мужчин. Калланвольд. Калланвольд. Из лесов Калланвольда, прямо к дому на Роуздейл-роуд. Затычки для Принца приливов. Рот брата таит угрозу. Болтающие всегда опасны. Креветки прибывают, креветки прибывают, собаки прибывают. Цезарь. Красные булавки и гардении. Сейчас. Сейчас. Великан и кока-кола. Отведите тигра к задней двери. Сыграйте тюленям „Дикси“. Корень для мертвецов у вороны. Мама, ты слышишь голоса? Могилы снова говорят. Кто там за дверью? Кто-то красивый, мама. Снег украл реку. Кто-то красивей меня, мама. Сколько цветущих ангелов выпали из чрева в уродство весны? Там, где фрукты и крест, — там дедушка. Останови лодку. Пожалуйста, останови лодку. Мы вместе надолго. Буду мучить тебя. Обещаю, буду тебя мучить. Мучить человека-тигра. Мучить человека-тигра. Убивать человека-тигра. Останови

лодку. Где Агнес Дей?»

— Боже милосердный, — пробормотал я в конце.

Доктор Лоуэнстайн взяла листок и вновь аккуратно его сложила.

— Здесь есть хоть что-нибудь значимое?

— Очень многое. Практически все.

— Как это понимать?

— Она выкрикивала свою биографию… всем, кто слышал… и себе.

— Биографию? Вы согласны задержаться в Нью-Йорке и рассказать мне все, что знаете?

— От начала и до конца, доктор. Столько, сколько потребуется.

— Можете начать завтра в пять?

— Могу, — согласился я. — Это будут жуткие вещи.

— Том, спасибо вам за ваше желание помочь Саванне, — сказала доктор.

— Нет, не так, — ответил я и сдавленно добавил: — Помогите мне. Мне.

До квартиры сестры на Гроув-стрит я добрался уже за полночь. Луны не было. В свете уличных фонарей Шеридан-сквер выглядела декорацией из сюрреалистического фильма. Но она не была пустынной; по ней бродили люди без роду и

племени — население ночного города. Каждую ночь их пути пересекались, но никто никого не узнавал. Их путешествие через полосы унылого света казалось мне ностальгической церемонией. На их лицах отражалось что-то нью-йоркское, устоявшееся, чего приезжему не понять. Любители ночных шатаний, они не испытывали страха. Меня они не замечали, зато я всматривался в каждого. Я пытался подражать их мимике — настоящей, без игры на публику. Однако мим из меня скверный. Эти люди умели гулять по громадному ночному городу, а я — нет. Я был чужаком, временным визитером. Единственным знакомым запахом, встретившим меня в парадной дома, был запах моря. Запах Восточного побережья, разливающийся по манхэттенским авеню.

Старинный лифт, видом и размерами напоминающий гроб, поднял меня на шестой этаж. Я поставил чемодан на мраморный пол и достал связку из двенадцати ключей. Входная дверь Саванны запиралась на четыре громадных замка, и я не сразу подобрал нужные ключи.

Справившись с задачей, я оставил дверь открытой. Пройдя в спальню Саванны, я бросил чемодан на кровать и дернул кисточку настоль-

ной лампы. Увы, в ней перегорела лампочка. Местоположение выключателя я, конечно же, не помнил, и впотьмах стал шарить рукой по стене, попутно задев цветочную вазу из граненого стекла. Ваза упала и со звоном разбилась.

— Стой! Не двигайся, придурок! — донеслось из коридора. — У меня целая обойма, бью без промаха и не церемонюсь, когда разная мразь лезет в чужие квартиры.

— Эдди, это Том! — крикнул я, узнав голос соседа. — Не вздумайте стрелять.

— Том? — озадаченно повторил Эдди Детревилл, после чего тут же начал меня отчитывать: — Здесь Нью-Йорк, Том! Нужно было меня предупредить, даже если у вас есть ключи.

— Зачем вас беспокоить? Это же ключи, а не отмычки. И потом, я открыл квартиру своей сестры, а не вломился в чужую.

— Все равно, радость моя, лучше не изображать Одинокого ковбоя[33]. Тем более что Саванна имеет привычку раздавать ключи от своей квартиры направо и налево, словно сувениры в память о вечеринке.

---

[33] Примечания: 33

Одинокий ковбой — неустрашимый техасский ковбой, одинокий борец за справедливость, герой многочисленных радио- и телесериалов первой трети и середины XX века.

— Эдди, почему вы мне сразу не позвонили и не сказали, что с Саванной беда?

Странно, но только сейчас этот вопрос пришел мне в голову.

— Том, пожалуйста, не сердитесь. Я обещал. Саванна строго-настрого запретила мне звонить родным, что бы ни случилось… кроме смерти. Думаете, мне не хотелось вам сообщить? Я же первым ее обнаружил. Услышал, как она упала в ванной. До этого она несколько месяцев отсутствовала. Представляете? Несколько месяцев! Я даже не знал, вернется ли она. И вдруг… Я подумал: а если ее убивают? Страшно было. Я схватил револьвер и ворвался к ней. Саванна лежала на полу в ванной, вся в крови. Можете себе представить? Я едва не грохнулся в обморок. У меня и сейчас все дергается, как вспомню.

— Значит, это вы ее нашли. Я и не знал.

— Кошмар, Том. Несколько дней я отскребал пол в ее ванной. Столько крови. Как на скотобойне.

Эдди стоял в полосе тусклого света, проникавшего из коридора.

— Фактически вы спасли ей жизнь, — заключил я.

— Да. Мне тоже нравится так думать. Мысли о

собственном героизме.

— Эдди, не надо больше в меня целиться. Спрячьте револьвер.

— Конечно, Том. Извините. — Эдди опустил оружие. — В этом году меня дважды обчистили.

— Так почему не обзаведетесь надежными замками?

— Дорогой мой, у меня их больше, чем волос на голове Ширли Темпл[34]. Но грабители нынче — акробаты и виртуозы. Один перепрыгнул с пожарной лестницы соседнего дома и приземлился на моем кондиционере. Я все оконные лотки с внешней стороны смазал «Криско»[35], но эти воры — настоящие профессионалы. Да-да, профессионалы. Умолчу о суммах моих страховок. Астрономические цифры. Но вы-то как, Том? Боже, мы с вами даже не поздоровались.

Я встал, мы с Эдди Детревиллом обнялись и расцеловали друг друга в щеки. Потом мы прошли в гостиную Саванны. Эдди включил свет. Я повалился в мягкое кресло. Яркий свет резал мне глаза и бил по мозгам.

---

[34] Примечания: 34

Ширли Темпл (р. 1928) — американская кинозвезда и государственный деятель.

[35] Примечания: 35

Марка кулинарного жира.

— Где Эндрю? — поинтересовался я, прикрыв веки.

— Он меня бросил. Ушел к парню помоложе. Назвал меня старым педиком. Старым, ни на что не годным педиком. Даже вспоминать не хочется. Но позванивает время от времени. Возможно, мы восстановим отношения. Знаете, когда это случилось, Саванна была моим ангелом-спасителем. Я не мог оставаться дома. Целыми днями торчал у нее.

— Печальная новость. — Я открыл глаза и тут же зажмурился от едкого света. — Мне нравился Эндрю. Вы были неплохой парой. А сейчас у вас есть кто-нибудь?

— Увы! Никого. Разве что вас соблазню, пока вы здесь. Или вы по-прежнему цепляетесь за свои смехотворные убеждения и называете себя безнадежным «гетеро»?

— Теперь «нейтралом». Никакого секса. Удовлетворяюсь жалостью к самому себе.

— Давайте я налью вам чего-нибудь выпить, — предложил Эдди. — А потом начну медленно охмурять.

— Только не крепкого. У меня мигрень надвигается.

— Вы видели Саванну?

— Да. Говорил с ней, но это все равно что беседовать с папоротником.

— Последнее время она была совсем неуправляемой. Даже не представляете. Кукушкино гнездо какое-то[36].

— У вас нет каких-нибудь таблеток от головной боли? Я ничего не взял.

— Таблеток? — Эдди наморщил лоб. — У меня есть стимуляторы, антидепрессанты, обезболивающие, да много чего. Моя аптечка — филиал «Бристол-Майерс»[37]. Но вообще-то сочетать таблетки с выпивкой — не самое лучшее решение.

— А какое решение лучшее, когда я в таком состоянии?

— Вы ужасно выглядите, Том. Жуткое зрелище. Впервые вижу вас таким. Даже обаяние куда-то пропало.

— Вы таким способом начинаете свое медленное охмурение? — улыбнулся я. — Неудивительно, что вы в одиночестве.

— Не сочтите за критику.

Эдди раскрыл створки бара, стоявшего возле письменного стола Саванны, достал оттуда бу-

---

[36] Примечания: 36
Намек на роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом».

[37] Примечания: 37
Американская фармацевтическая корпорация, существующая с 1887 г.

тылку коньяку и плеснул в бокал.

— Вот и выпивка, мистер Страдалец. Кстати, как вы меня находите? Эдди протянул мне бокал. Я следил за его движениями. Эдди Детревилл был элегантным, рафинированным мужчиной средних лет с седыми бачками и заметной проседью в безупречно причесанных каштановых волосах. Лицом он напоминал усталого короля; гладкая кожа, имеющая оттенок легкой желтизны, с небольшими морщинками вокруг рта и глаз, белки которых прорезали красные прожилки.

— Раньше говорил и сейчас скажу: вы отлично выглядите, один из самых потрясающих мужчин планеты.

— Понимаю, что самым бесстыдным образом напросился на комплимент. Что ж, не стану извиняться.

— Вы выглядите вполне съедобным, — добавил я.

— В таком случае мы могли бы попытаться это осуществить.

— Эдди, я имел в виду совсем не это.

— Обещания, одни обещания. Вы в самом деле считаете, что я еще ничего? Как думаете, я не сильно постарел?

— Эдди, вы каждый раз задаете мне этот во-

прос.

— Он важен для меня. Поскольку мы редко встречаемся, вы можете с предельной объективностью оценить мое увядание. Недавно я наткнулся на свои старые фотографии. Знаете, Том, я просто рыдал. В молодости я был потрясающе красив. А теперь бреюсь в ванной, не включая свет. Мне невыносимо смотреться в зеркало. Печальное зрелище. Я опять начал заглядывать в бары. Как-то увидел молодого человека. Прелестное дитя. Хотел угостить его выпивкой, а он мне: «Клеиться вздумал, дед?» Я просто опешил.

— Ему же хуже, Эдди, — успокоил я.

— Для меня состариться страшнее, чем умереть. Но довольно обо мне. Вы к нам надолго?

— Не знаю, Эдди. Психиатр Саванны хочет услышать все дерьмовые истории о моей семье. Она считает, что это поможет ей собрать Шалтая-Болтая. Вот я и объясню ей: мать у нас свихнутая, отец свихнутый, все Винго свихнутые, а потому и Саванна свихнутая.

— Том, когда вы в последний раз говорили с Саванной или получали ее письма?

— Более трех лет назад, — ответил я, удивляясь, как давно это было. — Тогда она заявила, что я слишком напоминаю ей Люка.

— Том, не хочу вас пугать, но в этот раз сомневаюсь, что Саванна выкарабкается. Слишком далеко зашло. Она измотана и просто устала сражаться.

— Эдди, вы вправе думать что угодно, но не вслух.

— Простите, Том. Я всего лишь поделился своими мыслями.

— Размышляйте, Эдди. Но молча.

— В самом деле, глупо с моей стороны. Беру свои слова назад. Все до единого. Позвольте завтра вечером пригласить вас на ужин.

— С удовольствием. Загляните ко мне утром.

Эдди ушел. Я бродил по квартире и ждал мигрени, надвигавшейся, как полное лунное затмение. До ее удара оставалось еще часа два, она уже сдавила мне основание черепа. Когда мигрень доберется до левого виска, я буду повержен. Эдди оставил мне несколько болеутоляющих таблеток. Я взял первую и запил ее остатками коньяка. Тут я увидел фотографию над письменным столом. Этот снимок отец сделал на палубе своей лодки, в самом начале нашего последнего учебного года. Саванна стояла между мной и Люком. Мы с братом улыбались и обнимали сестру за плечи. Саванна тоже улыбалась и смотрела на Люка с

чистым сестринским восторгом. Все трое были юными, загорелыми и… да, красивыми. Позади нас, за доком и болотом, едва виднелись мать, махавшая отцу, и наш белый дом. Если бы каждый из нас знал, что принесет тот год, мы бы не улыбались. На фотографии замерло время; на ней трое детей Винго так и будут крепко обнимать друг друга. Хрупкие узы нерушимой любви.

Я полез в задний карман, достал бумажник и вынул оттуда сложенный потертый листок. Это было послание Саванны. Тогда я только начал работать тренером. Сестра написала мне после первого футбольного матча, в котором играли мои подопечные. Я смотрел на улыбающуюся девушку со снимка и размышлял о том, когда, в какой момент я ее потерял; когда позволил ей так сильно отдалиться; когда предал и оставил один на один с миром. Я начал читать письмо вслух.

Дорогой тренер!

Том, я думала над тем, чему ты можешь научить своих мальчишек. Прокручивала в голове слова, которыми ты завоюешь их уважение и они, вдохновленные твоей энергией, станут бегать по полю, подстриженному тобой. Когда я увидела, как твоя команда выиграла первый матч, вся магия спорта обрела для меня серебряный голос,

напоминающий трели свистков. Передать не могу, до чего же ты был великолепен, когда отдавал срочные распоряжения квотербекам, предупреждал о тайм-аутах, расхаживал по зеленым, ярко освещенным боковым полосам — обожаемый мною за свою невообразимую страсть к игре, за мягкую и тонкую любовь ко всем мальчишкам и всем играм на свете.

Но кое-чему тренеры могут научиться только у своих сестер. Усвой мои уроки, Том, и передавай подопечным. Учи их негромким глаголам доброты, учи жить, превосходя самих себя. Побуждай их двигаться к совершенству, учи быть мягкими; затягивай в глубины, толкай вверх, к возмужанию, и делай это кротко, как ангел, разносящий облака по небу. Пусть дух твой пронизывает мальчишек так же трепетно, как пронизывает меня.

Вчера, слыша среди гула толпы твой голос, я плакала. Ты ободрял неуклюжего блокирующего полузащитника и медлительного защитника — то была прекрасная музыка твоих похвал. Но, Том, брат мой, лев, сияющий золотом и познавший страдания: научи своих подопечных тому, что можешь лучше других. Никакие стихи и письма не способны вдохнуть в мальчишек

твой возвышенный дар. Передай им свое умение быть самым заботливым, самым совершенным братом.

Саванна

Закончив читать, я снова долго смотрел на фотографию, затем бережно убрал письмо в бумажник.

Я прошел в спальню, сменил перегоревшую лампочку и собрал осколки разбитой вазы. После быстро разделся, бросил одежду на стул возле кровати, откинул одеяло и забрался в постель. Улегшись, я закрыл глаза и тут же открыл снова.

Мигрень настигла меня. Она явилась, словно огненный столп, ударив внезапно и жестоко.

Замерев, я лежал в темноте и клялся изменить собственную жизнь.

Глава 4



Не стану выносить вердиктов детству — только следствие и светлое бремя памяти. Сейчас я говорю о пронизанных солнцем днях, накрепко связанных с малой родиной. Я в большей степени сочинитель, чем историк, но постараюсь передать вам неизгладимый ужас моего детства. Обычно я грешу перед объективностью, поскольку наделяю романтизмом все события, даже грустные. Но в этой драме нет романтизма, есть лишь голое изложение.

Начнем с простого факта: островные собаки лают, переговариваясь друг с другом.

Поздний вечер. Мой дед вслушивается в их перекличку, и звук этот ему не нравится. В мелодии гончих содержится вся тоска одиночества, свойственная моей части мира. Островные собаки напуганы. На дворе — четвертое октября

тысяча девятьсот сорок четвертого года, десять часов вечера. Вода прибывает. Прилив продлится почти до двух часов ночи.

Моя сестра родилась в белом доме у реки. Мать целый месяц не доходила до положенного срока, но теперь это не имеет значения. Младенца принимает Сара Дженкинс, восьмидесятипятилетняя чернокожая повитуха, шестьдесят лет занимающаяся своим ремеслом. Доктор Баннистер, единственный коллетонский врач, в это время лежит при смерти в Чарлстоне.

Сара Дженкинс возится с Саванной, когда вдруг замечает мою торчащую голову. Я становлюсь неожиданностью, послесловием, если можно так выразиться.

На остров Мелроуз надвигается ураган. Дед маскировочной лентой подвязывает подоконники. Затем склоняется над колыбелью, смотрит на спящего и опять прислушивается к собачьему лаю, который едва слышен из-за рева ветра. Электричество отключили час назад, и я появляюсь в мерцании керосиновых ламп.

Сара Дженкинс тщательно обмывает нас и возвращается к нашей матери. Роды были преждевременными и тяжелыми. Повитуха опасается осложнений. Сара родилась еще рабыней, в хи-

жине за плантацией Барнуэлл. В округе Коллетон она последняя из тех, кто родился в рабстве. У нее блестящее морщинистое лицо цвета кофе с молоком.

— Ты гляди, Сара, — говорит дед, поднося Саванну к керосиновой лампе. — Добрый знак. Первая девочка за три поколения Винго.

— Ее матери плохо.

— Ты можешь помочь Лиле?

— Сделаю все, что в моих силах. Но ей нужен настоящий доктор.

— Сара, ты слышишь, как крепчает ветер?

— Совсем как в бурю девяносто третьего года. Страшная буря была. Много бедняков поубивало.

— Не боишься?

— Все равно от чего-то умрешь, — замечает Сара.

— Спасибо, что откликнулась и пришла.

— Люблю быть рядом со своими дочерьми, когда наступает их время. Черными или белыми — без разницы. Они все мои дочери. По островам, поди, наберется с тысячу ребятишек, которых я принимала.

— А ты помнишь, как приняла меня? — поинтересовался дед.

— Ох и крикун ты был.

— Близнецы, — задумчиво произнес дед. — Что это значит?

— Удача, — ответила чернокожая повитуха, возвращаясь к моей матери. — Бог дважды улыбнулся жестокому миру.

В лесу за домом ветер что есть силы согнул деревья. Полил дождь. Волны перехлестывали через настил причала. Чувствуя наводнение, змеи покидали свои норы и ползли на верхние ветви деревьев. В одном месте ветер с корнем вырвал невысокую пальму, и она, совсем как человек, закувыркалась по дороге, ведущей к нашему дому. Птицы перестали петь, умолкли даже насекомые.

Дед заглянул в спальню, где лежала наша мать, изможденная родами. Она почти заснула. Сара Дженкинс полотенцем вытирала ей лицо.

— Лила, дорогая, ты замечательно постаралась. Отличная работа.

— Спасибо, отец, — прошептала мать. — Никак буря начинается?

— Больше шума, — солгал дед. — Ты поспи, с бурей я сам разберусь.

Он вернулся в гостиную и достал из заднего кармана телеграмму. Два дня назад ее присла-

ло Военное ведомство[38]. Мой отец, военный летчик, был сбит над немецкой территорией и отныне считался пропавшим без вести. Вероятно, погиб. Дед горько заплакал по единственному сыну, но вспомнил, что у него есть обязанности и что рождение близнецов — знак удачи.

Он пошел на кухню сварить кофе себе и Саре. Когда кофе был готов, дед отнес чашку негритянке. Снаружи по-прежнему бесновался ветер. Дребезжали оконные стекла — тревожный звук; под напором ветра стекла могли и не выдержать. Вода поднялась почти до уровня причала. Ветер продолжал гнать прилив по суше. С верхушки сухого дерева сорвало гнездо орлика; оно пронеслось по двору, словно женская шляпка, и скрылось в речных волнах.

Дед взял Библию в белом переплете, которую подарил моим родителям на свадьбу, и открыл на глянцевитых страницах, разделявших Ветхий и Новый Завет. Не зная, кто у нее родится, мать заранее выбрала два имени: мужское и женское. Дед отвинтил колпачок авторучки и под именем Люка вывел имя: Саванна Констанс Винго. Ниже он вписал мое: Томас Катлетт Винго.

---

[38] Примечания: 38
Так до 1949 г. в США называлось Министерство обороны.

Впоследствии чернокожие жители низин назовут этот ураган Батшебой и станет известно, что на побережье Южной Каролины он унес двести семнадцать жизней. Дед взглянул на часы: почти одиннадцать. Он открыл Библию на Книге Иова и в течение часа читал о муках этого праведника, думая о сыне и жене. Бабушка ушла от деда во времена Великой депрессии. В жизни деда бывали моменты, когда он гневался на Господа. Он читал об Иове и находил утешение, потом вновь плакал о своем сыне.

Через какое-то время дед подошел к окну. Буря сопровождалась непрекращающимися вспышками молний, озаряя все вокруг ярким мертвенным светом. Реки уже видно не было. Дед надел сапоги, непромокаемый плащ и шляпу. На кухне он взял керосиновый фонарь, после чего еще раз проведал мою мать, Сару и новорожденных. Затем дед направился во двор, в разгул стихии.

Когда он распахнул входную дверь, ее чуть не сорвало с петель. Дед закрыл ее снова лишь ценой громадных усилий. Пригнув голову, он пробирался через двор к реке. Летящий прутик, словно ножом, полоснул его по лбу. Дед прикрыл глаза рукой, слушая треск ломающихся прибрежных деревьев. За двадцать пять ярдов до реки дед

оказался по колено в воде. Испуганный, ничего не видящий сквозь яростную завесу дождя, он опустился на колени и попробовал воду. Она была соленой.

Дед молился Богу Авраама; Богу, раздвинувшему воды Красного моря; Богу, способному потопом уничтожить весь мир. Дед молился, прося сил.

Ветер мгновенно перенес его к дому. Входная дверь не поддавалась — она была наглухо запечатана ветром. Тогда дед пошел к задней двери. В этот момент с дуба, росшего возле окна родительской спальни, отломилась ветка и сбила деда с ног. Удар пришелся по затылку. Все поплыло перед глазами; из раны пошла кровь. Дед на четвереньках добрался до задней двери. Буря все надвигалась. Дед открыл дверь, и в кухню хлынула вода. Какое-то время дед отлеживался на кухонном полу. Воды становилось все больше. Дед подполз к раковине, смыл кровь с головы, затем подхватил фонарь и, шатаясь, побрел в спальню, где лежала моя мать. За ним кралась огромная колышущаяся тень.

Сара Дженкинс дремала на стуле возле материнской постели. Дед осторожно тронул ее за плечо.

— Сара, вода в реке прибывает, — прошептал

он.

В это самое время мой отец лежал на церковных хорах храма вблизи немецкого городка Диссан[39] и слушал католического священника, служащего мессу. Левая сторона отцовского лица была парализована, онемевшая левая рука слегка подрагивала, кровь на лице мешала смотреть. Он оценивающе разглядывал священника; тот читал молитвы на латыни, которую отец, по причине боли и собственной лингвистической невинности, принял за немецкий язык. По движениям священника, по тому, как он преклонял колени перед распятием, по выражению лица, с каким благословлял троих бесформенных старух, в разгар войны пришедших на утреннюю мессу, по тому, как поднимал чашу, — по всем этим признакам отец пытался разгадать характер священника.

«Из тех ли он людей, кто способен помочь мне? — размышлял отец. — Своими бомбами я убивал его сограждан, но что этот служитель Бога думает о Гитлере? Как поступит, если я попрошу его о помощи?»

Прежде отец никогда не был в католическом

[39] Примечания: 39
Возможно, имеется в виду город Диссен.

храме, никогда не видел католического священника и имел лишь отдаленное представление о католической вере.

«Agnus Dei qui tollis peccata mundi»[40], — услышал отец. Эта фраза поразила его своей красотой, хотя он не понял ни единого слова.

«Agnus Dei», — повторил священник.

Отец опустил пистолет, нацеленный в рясу священника. Он наблюдал, как трое прихожанок подошли к перилам и приняли причастие. Отцу показалось, что священник улыбнулся каждой из троих. Возможно, лишь показалось. Его голова раскалывалась от боли; такую боль отец испытывал впервые, он даже не подозревал о ее существовании. Еще до конца мессы он потерял сознание; его затылок уперся в каменную балюстраду, а тело застряло между стеной и органом.

Святого отца звали Гюнтером Краусом. Нервное остроносое лицо этого седого шестидесятилетнего уроженца Мюнхена придавало ему странное сходство с инквизитором. Однако злое лицо принадлежало доброму человеку. Отчасти путь священника был избран им из-за его, как он вы-

---

[40] Примечания: 40

Слова из католической литургии, основанной на стихе 29 из первой главы Евангелия от Иоанна. В переводе означают: «Агнец Божий, уносящий прегрешения мира, даруй им вечный покой».

ражался, неисчерпаемой доброты.

В свое время священник был пастором третьего по величине мюнхенского прихода, но повздорил с епископом — тот сотрудничал с нацистами. Епископ, ради его же блага, сослал патера Крауса в баварскую провинцию. Несколько его более смелых коллег, прятавших еврейские семьи, умерли в Дахау. Однажды патер Краус отказал еврейской семье, искавшей укрытие в его церкви. Он считал, что при всем Своем милосердии Бог не простит ему этого греха. Так что мой отец оказался в церкви отнюдь не храброго пастора, однако в церкви пастора доброго.

После мессы патер Краус проводил прихожанок до двери и еще минут десять о чем-то говорил с ними на церковном крыльце. За это время мальчик-служка погасил свечи, вымыл графинчики для причастия и повесил свою рясу и стихарь в шкафчик возле гардероба священника. Мальчишка был внимательным и заметил разбитое окно в туалетной комнате священника. Но капель крови на полу у раковины он не разглядел. Священник все еще находился на крыльце. Покидая церковь, служка сообщил Гюнтеру Краусу о разбитом окне.

Солнце играло на заснеженных вершинах

Баварских Альп. Минувшей ночью авиация союзников бомбила четыре немецких города.

Патер Краус запер входную дверь, проверил количество святой воды и прошел в боковой алтарь, где зажег свечу перед небольшой мраморной статуей Пражского младенца Иисуса[41]. Он вознес молитву о мире. Тут на его белое одеяние упала первая капля крови, оставив ярко-красное пятно. Вторая капля попала на молитвенно сложенные руки. Гюнтер Краус поднял голову, и третья капля потекла по его лицу.

Когда мой отец очнулся, он увидел над собой священника. Тот внимательно разглядывал раненого и пытался решить, что делать дальше.

— Buenos días, señor[42], — обратился к священнику мой отец.

Тот молчал; отец видел, как у священника дрожат руки.

— Bonjour, monsieur[43], — сделал вторую попытку отец.

---

[41] Примечания: 41
Копия скульптуры, известной в мире как Bambino di Praga, которая с 1628 г. стоит на правом боковом алтаре пражского собора Девы Марии-победительницы. Высота скульптуры всего 48 см.

[42] Примечания: 42
Добрый день, сеньор *(исп.)*.

[43] Примечания: 43
Добрый день, мсье *(фр.)*.

— Англичанин? — спросил священник.

— Американец.

— Вам нельзя здесь оставаться.

— Судя по всему, у нас обоих выбор невелик. Мы вроде как в одной команде.

— Говорите медленнее. Mein английский не настолько хорош.

— Мне нужна ваша помощь. Как только обнаружат самолет, меня будут искать все немцы этой части Краутланда[44].

— Я не могу вам помочь.

— Почему?

— Боюсь.

— Боитесь, — произнес отец. — Я всю ночь боялся. Вы нацист?

— Нет, я священник. Я должен донести на вас. Не хочу, но так будет лучше. Для меня. Для вас. Для всех. Там вам остановят кровотечение.

Мой отец поднял револьвер и навел на священника.

— Ужасная буря, — заметила Сара Дженкинс, вставая со стула. — Совсем как в девяносто третьем году.

---

[44] Примечания: 44

Краутланд — презрительное название Германии, от немецкого Kraut — «капуста».

— Надо перебираться в хлев и подниматься на сеновал, — сказал дед.

— Плохо для детишек. И для мамы плохо.

— Сара, по-другому никак. Тебя я перетащу первой.

— О чем ты, Амос? Сара старая, но пока живая. Я помогу тебе управиться с малышами.

Сара Дженкинс сохраняла за собой право называть по именам всех, кому она когда-то помогла появиться на свет, в том числе и белых.

Дед вынул меня из колыбели (я спокойно спал) и передал Саре. Та накинула на плечи платок и крепко прижала меня к груди. Следом дед вытащил Люка и Саванну. Он завернул их в одеяло, а затем в свой желтый дождевик.

Открыв заднюю дверь, дед и Сара сквозь воющий ветер направились к хлеву. Вокруг них бесновался ветер; его демонические порывы достигали двухсот миль в час. Сара не устояла на ногах. Ветер понес ее по заднему двору; платок раздувался как парус. Повитуху ударило о стенку выносной уборной. Сара успела прикрыть меня, чем уберегла от травмы.

Дед с трудом добрался до Сары. Он обхватил ее рукой за талию и неуклюже поднял на ноги. Некоторое время они стояли плечом к плечу, про-

мокшие до нитки и забрызганные грязью, затем побрели к хлеву, неся троих орущих младенцев. И снова деду пришлось сражаться с ветром, чтобы открыть дверь. Когда это ему удалось, ветер разнес дверь в щепки, хлопнув ею о стену хлева.

Оказавшись внутри, дед забрался по лестнице и скрылся в темноте. Люка и Саванну он уложил на охапку пахучего сена. Хлев наполняло мычание и блеянье испуганных животных. Потом дед спустился за Сарой.

— Сара сильно ушиблась, — жаловалась повитуха. — Не забраться.

Она часто говорила о себе в третьем лице.

Дед взял негритянку на руки. Она была легкой как ребенок. Даже такой подъем причинял ей боль; Сара стонала. Я остался на полу хлева. В дверной проем врывался ветер. Дед усадил Сару возле копны сена. Негритянка потянулась к Люку и Саванне, собираясь их вытереть, но все тряпки, в том числе и одежда, набрякли от воды. Тогда Сара расстегнула кофту и прижала малышей к груди, согревая своим теплом. Дед вернулся за мной, и вскоре я занял место между братом и сестрой. А дед опять вышел в самую гущу урагана. Он не представлял, как доберется до дома, как приведет в хлев невестку и поднимет ее на сеновал.

Когда он приблизился к дому, сквозь входную дверь уже втекали струйки воды. Дед остановился, вглядываясь во тьму. То, что он увидел в следующие несколько минут, осталось с ним до конца дней. Река, исполненная дикой, неукротимой силы, быстро и неумолимо надвигалась на наш дом. Ветер освободил привязанную к шесту шлюпку, и та тоже понеслась к дому. Шлюпка вылетела из темноты, озаряемая дьявольскими вспышками молний. Дед вскинул руку, словно этот жест мог остановить стихию, и зажмурился. Шлюпка, влетев в дом через окно боковой стены, раскрошила обеденный стол. Несколько осколков попали на деда. Бормоча слова молитвы, он бросился в спальню, где оставалась моя мать.

Увидев наведенный револьвер, священник задрожал всем телом. Он зажмурился, сложил ладони на груди и благословил моего отца, используя несколько латинских фраз. Отец опустил оружие. Священник открыл глаза.

— Падре, я не стреляю в людей, одетых, как вы, — слабым голосом произнес отец.

— Вы сильно ранены? — поинтересовался священник.

— Сильно, — рассмеялся отец.

— Идемте. Сообщу о вас позже.

Отец Краус поднял моего отца на ноги и фактически поволок на себе почти до выхода. Сбоку была дверца, ведущая на колокольню, с которой просматривалась вся деревня. Священник и мой отец поковыляли наверх. Каждая пройденная ступенька покрывалась отцовской кровью. Когда они добрались до комнатки, священник опустил отца на пол. Потом снял с себя окровавленную рясу и соорудил из нее нечто вроде подушки для моего отца. Свою ризу священник разорвал на длинные лоскуты; сделав из них подобие бинта, он обвязал им отцовскую голову.

— Вы потеряли много крови, — сказал он отцу. — Я должен сходить за водой и промыть вам рану.

Отец поглядел на священника.

— Gesundheit[45], — выговорил он единственное известное ему немецкое слово, после чего вновь потерял сознание.

Вечером, когда отец очнулся, священник, склонившись над ним, заканчивал совершение таинства соборования. Отец Краус имел на то все основания: у моего отца подскочила температура, он вполне мог умереть. Левый глаз почти

---

[45] Примечания: 45
Здоровье *(нем.)*.

ничего не видел, но отец чувствовал мягкость рук священника. Тот совершал елеопомазание.

— Зачем? — коротко спросил отец.

— Думаю, вы умираете, — ответил священник. — Я вас исповедую. Вы католик?

— Баптист.

— Значит, вы уже были крещены. Но я сомневался и потому крестил вас несколько минут назад.

— Спасибо. Меня крестили в реке Коллетон.

— Ах! Во всей реке?

— Нет, в небольшой части.

— Я крестил вас вторично.

— Это не повредит.

— Я принес пищу. Вы в состоянии есть?

Годы спустя отец с неизменным восхищением вспоминал вкус того черного немецкого хлеба, намазанного драгоценным припасенным маслом, и красного вина, которым священник поил его из бутылки. «Хлеб, масло, вино», — повторял отец, и мы вместе с ним участвовали в трапезе. Вино, словно бархат, наполняло наши рты; хлеб хранил запах земли и таял на языке; масло толстым слоем покрывало нам нёбо. Немецкий священник держал наши ладони; страх заставлял дрожать его мягкие, жилистые руки, пахнувшие

благовониями смерти.

Там, в темноте внешнего мира, немецкий патруль обнаружил обломки самолета. По окрестностям разнеслась весть: где-то поблизости скрывается американский летчик. За его поимку было обещано вознаграждение, а помощь ему грозила смертной казнью.

— Они вас ищут, — поведал отцу священник. — Сегодня они приходили в деревню.

— Они и в церкви были?

— Да. Я их заверил, что если бы нашел вас, то убил бы голыми руками. Им было очень странно слышать такие слова от священника. Уверен, они вернутся. Будут и дальше искать вас.

— Как только я окрепну, я уйду.

— Лучше бы вы вообще не появлялись, — вздохнул священник.

— Я здесь не по своей воле. Меня сбили.

— Ха-ха! — невесело рассмеялся священник. — Вас привел сюда сам Бог.

— Нет, сэр. Думаю, это были нацисты.

— Сегодня я молился за вас.

— Спасибо.

— Я молился, чтобы Он вас умертвил, — пояснил священник. — Это великий грех. И мне стало очень стыдно. Тогда я начал молиться за вашу

жизнь. Священник должен молиться только ради жизни. Прошу великодушно простить меня.

— Gesundheit, — отозвался отец, искренне желая священнику чихнуть, тогда подобная реакция была бы уместной[46]. — Где вы учились говорить по-английски?

— В Берлинской семинарии. Мне очень нравятся американские фильмы. Ковбои и все такое.

— Я тоже ковбой, — заявил отец.

(Историю про немецкого священника мы слышали на протяжении всего детства, и в этой ее части Люк обычно не выдерживал и перебивал отца.

— Пап, зачем ты ему солгал? Священнику и так было страшно. Он хороший человек, приютил, накормил тебя, а ты его обманул.

— Понимаешь, Люк, — отвечал отец, рассматривая события в свете своей собственной истории. — Я рассудил так: вот я, полуслепой, полуживой, и каждый немец охотится за моей молодой задницей. Я попал к боязливому священнику, и оказалось, что ему нравятся ковбои. Тогда, недолго думая, я решил: пусть он считает, что ухаживает за раненым ковбоем. Ему нужен Том

---

[46] Примечания: 46

Слово «Gesundheit» используется как эквивалент русского пожелания «будьте здоровы».

Микс[47]. Вот я и стану для него Томом Миксом.)

— А вы не из Калифорнии? — спросил священник.

— Из Южной Каролины.

— Но ведь это не Запад?

— Нет.

Перед уходом священник сказал:

— Теперь вам надо поспать. Меня зовут Гюнтер Краус.

— А меня — Генри Винго.

Священник благословил отца на латыни, и тот вновь решил, что это немецкий язык.

Мой отец спал, пока немецкие солдаты ночь напролет его искали.

Разбудил отца удивительный свет октябрьского утра и звуки алтарного колокола. Снизу доносился голос Гюнтера Крауса, читавшего красивые древние молитвы. Рядом с собой отец обнаружил завтрак на подносе и записку: «Поправляйтесь. Съешьте весь завтрак. Это придаст вам сил. Вчерашней ночью близ Штассена взяли в плен американского летчика. Надеюсь, теперь вы в безопасности. Будем оба молиться за это. Ваш друг, патер Гюнтер Краус».

---

[47] Примечания: 47

Микс Том (1880–1940) — американский киноактер; фактически первая голливудская кинозвезда в жанре вестерна.

Дед осторожно разбудил мою мать.

— Лила, я понимаю, ты устала, но надо вставать.

— Малыши, — сонно пробормотала мать. — С ними все хорошо?

— Дорогая, они просто прелесть. У них потрясающие легкие. Честное слово, потрясающие.

— Буря еще продолжается?

— Я пришел за тобой, дорогая. Река разлилась.

— Мои малыши! — воскликнула мать.

— Не волнуйся. Мы с Сарой благополучно уложили их в хлеву.

— Вы отважились вынести моих крошек из дому? В такую бурю?

— Лила, нам пришлось это сделать.

— Отец, я абсолютно без сил. Дай мне поспать.

— Переберешься на моих руках. Тебе и так плохо, незачем усугублять. Дорогая, ты отлично потрудилась этой ночью. Два замечательных Винго. Такие красивые младенцы.

— Отец, Генри мертв. Он их уже не увидит. — Мать всхлипнула.

— Помоги мне, Лила. Насколько сможешь.

— Разве ты не слышишь, отец? Генри мертв. У детей не будет отца.

— Если ты не встанешь с постели, у них не

будет и матери, — заметил дед. — И потом, Генри только считается погибшим. Считаться — еще не значит умереть. Генри — деревенский парень, его не так-то просто убить.

Дед подсунул руки под спину матери и поднял ее с постели. Он вынес мать из спальни; каждый его шаг отзывался болью в ее теле. Распахнув заднюю дверь, дед очутился по колено в движущейся воде. Стихия едва не сбила деда с ног. Он брел медленно, тщательно выбирая место, куда ступить. Дождь немилосердно хлестал ему по лицу. Дед думал об Иосифе, уводившем Марию и младенца Иисуса в Египет, дабы уберечь их от преследований Ирода. Дед знал, что Иосиф был сильным человеком и верил в Бога. Но отнюдь не сильнее Амоса Винго, потому что никто на планете не обладал такой простой и удивительной любовью к Богу, как мой дед. Эта любовь поддерживала его. Дед достиг хлева. Мать как ребенок цеплялась за него, когда он, держа ее одной рукой, начал взбираться по лестнице. Матери этот подъем дался еще тяжелее, чем путь от дома до хлева. К тому времени, когда они оба очутились рядом с Сарой и малышами, одеяло, в которое дед завернул мать, пропиталось ее кровью.

Более часа дед пытался остановить у матери

послеродовое кровотечение. Он так и не понял, как ему это удалось и в чем была его роль (если таковая действительно имелась). Разорвав на спине рубашку, дед плотно запихнул матери между ног тряпичный ком. Но каждый материнский вдох, каждый удар ее сердца заливал ему пальцы кровью. В это время Сара, как могла, успокаивала троих орущих малышей. Любое движение давалось ей с болью, и она негромко стонала.

Мать слабела у деда на глазах. Казалось, она умирает, но дед не мог даже допустить эту мысль до своего сознания, которое было целиком поглощено неуправляемой водной стихией, заливавшей хлев. Крики обезумевших от страха животных сливались с завываниями ветра. Дед ощущал напряжение каждого гвоздя в хлеву, будто все стропила, балки и доски вдруг ожили и начали наполняться водой. Вода добралась до загона, где стоял мул, и тот принялся яростно лягать дверь. Рубашка Амоса давно утратила белизну, но он все так же остервенело прижимал окровавленный ком, сражаясь с убийственным кровотечением моей матери. Больше он ничем не мог ей помочь. О дальнюю стену хлева билась небольшая лодка; несколько часов назад дед переплыл на ней реку и оставил на причале.

Уцелевшие ручные часы показывали два часа ночи. По расчетам деда, прилив должен был кончиться. Приливы и отливы являлись символами постоянства этих мест, где река соединялась с морем. Дед не понимал, почему вода не уходит. Отчего река избрала эту ночь, предала свои принципы и обернулась против его семьи? Чудовищный ветер несся над островом все с той же скоростью, круша деревья, вырывая дубы с легкостью ребенка, вытаскивающего свечи из праздничного торта. Деревья кувыркались в воздухе, словно листья. Гудение ветра в хлеву чем-то напоминало шум поезда, едущего по короткому туннелю. И тут до деда дошло: ветер — вот что удерживает прилив. Ветер свел на нет даже лунное притяжение, природный закон был отменен на то время, пока длилось мрачное владычество бури.

Вода не могла отступить. Она поднималась вопреки своей воле. Так рассуждал дед.

Он решился чуть ослабить свое упорное давление на окровавленный тряпичный ком и едва не заплакал, обнаружив, что кровотечение прекратилось. Случившееся вызвало у матери шок, и сейчас она лежала без сознания в луже собственной крови. Сара и малыши исчерпали все

силы и затихли. Дед разыскал на чердаке кусок промасленного брезента и солому. Он прикрыл мать брезентом, расстелив сверху солому.

Затем дед спустился по лестнице вниз и поплыл к загонам. Он дергал заклинившие дверцы, выпуская животных. Лодку он на всякий случай привязал к лестнице. В суматохе бегства деда подмяла и едва не зашибла корова, торопившаяся покинуть хлев.

Когда он вернулся на чердак, малыши, словно белесые полешки, лежали у Сары на груди, удерживаемые ее темными руками. Дед наклонился к матери — жива ли. Та дышала, хотя пульс едва прощупывался.

Измученный, истерзанный сражением с бурей, дед повалился рядом. Он лежал, вслушиваясь в голос стихии, который казался ему теперь почти человеческим. Дед вспоминал своего сына Генри, чей обгоревший обезображенный труп застрял среди искореженных конструкций сбитого самолета. Сильного, мускулистого тела больше не существовало. Дед представлял сыновнюю душу, плывущую, словно маленький теленок, несомую дыханием Бога в рай, полный света и покоя.

— Господи, я отдал достаточно, — произнес дед, обращаясь к ветру. — Больше я ничего не отдам.

Он из последних сил боролся со сном и заснул посреди этой борьбы.

Его разбудил солнечный свет и птичье щебетанье. Дед взглянул вниз и увидел лодку, застывшую на илистом полу хлева. Тут с воплем пробудился и я. Услышав мой плач, мать открыла глаза, и у нее инстинктивно потекло молоко.

Сара Дженкинс была мертва; деду пришлось вынимать из ее похолодевших рук троих белых малышей, которых она помогла спасти. Так закончилась моя первая ночь на земле.

Три недели мой отец прожил на колокольне, вслушиваясь в жизнь немецкой деревни. Священник приходил к нему каждую ночь: менял повязки, учил говорить по-немецки и сообщал военные новости. Он приносил отцу сосиски, хлеб, большущие банки ядрено пахнущей кислой капусты, бутылки вина и лучшее пиво, какое отцу когда-либо доводилось пробовать. Первые дни отца мучила боль. В одну из ночей — она показалась отцу невероятно долгой — ему стало совсем плохо. Он думал, что не дотянет до утра. Священник не отходил от него, мягкие неуклюжие руки Гюнтера Крауса делали все возможное. После той ночи отец пошел на поправку.

Поначалу боязливый священник навещал от-

ца только в темное время суток. Патера Крауса преследовала страшная картина: как нацисты коваными сапогами вышибают его дверь. Священник глядел в простодушное веснушчатое лицо американского летчика и понимал: воображаемые ужасы могут стать реальностью. Присутствие отца сделалось для патера Крауса неотступным кошмаром и вместе с тем испытанием его характера. Священник сознавал, что у него кроличья душа, а времена на дворе такие, что нужна львиная храбрость. Когда прошла первая неделя, он поделился этими мыслями с отцом. Появление моего отца потребовало от Гюнтера Крауса, чтобы божественное начало взяло в нем верх над человеческим.

Мой отец поправлялся; визиты Крауса, для которого ночи были самым тяжелым временем, становились все длиннее. Порою одиночество избранного им пути становилось невыносимым. Священник тосковал по простым дружеским отношениям вроде тех, что существовали между жителями деревни.

После захода солнца Гюнтер Краус поднимался на колокольню и засиживался там далеко за полночь. В моем отце он нашел идеального друга, у которого всегда имелось время для общения.

— Почему вы стали священником? — как-то спросил отец.

— В Первую мировую я оказался в траншеях на территории Франции. Тогда я поклялся, что если Бог сохранит мне жизнь, то я стану священником. Вот так.

— Вам никогда не хотелось жениться, создать семью?

— Я очень некрасив, — бесхитростно ответил священник. — В молодости я не отваживался даже обратиться к девушке.

— У меня есть сын. Его зовут Люк.

— Хорошо. Это очень хорошо… Я часто думаю, каким мог бы быть мой сын. Иногда представляю себе сыновей и дочерей, которых у меня никогда не было и не будет.

— Вы когда-нибудь любили женщину? — полюбопытствовал отец.

— Однажды. — Священник вздохнул. — В Мюнхене. Я любил очень красивую женщину, ее муж был банкиром. Очаровательная женщина. Думаю, я ей тоже нравился, только как друг. Она была очень светлой, но со множеством проблем. Приходила ко мне за советами, и я давал их. А потом полюбил ее. Полагаю, и она любила меня, по-дружески. Я говорил, что ей нельзя уходить

от мужа, поскольку такова воля Божья. Но супруг бил ее. В итоге она оставила его и уехала к матери в Гамбург. Когда она пришла проститься, то поцеловала меня в щеку. Я часто размышлял о поездке в Гамбург. Мне казалось, что я люблю ее больше, чем Бога. Но я так ничего и не предпринял.

— И что же вы не отправились в Гамбург и не постучали к ней в дверь?

— Я боялся Бога.

— Знаете, Гюнтер, Бог бы вас понял, — рассудил мой отец. — Он не напрасно сотворил ту женщину такой привлекательной. Возможно, Бог потратил на это много времени. У нее была красивая фигура?

— Перестаньте, — взмолился отец Краус. — Я же священник и не замечаю подобных вещей.

— Ну да, конечно.

— У нее была красивая душа. Надеюсь встретить ее в другой жизни.

— А вообще-то, Гюнтер, я рад, что вы не поехали в Гамбург.

— Думаете, это был бы грех?

— Нет, просто тогда бы вас не было в этой церкви, когда мне понадобилась помощь.

— Но зачем вы избрали мою церковь? Я об этом не просил.

— Зато вы спасли жизнь ковбою. — Отец поднял голову с подушки и пристально посмотрел на священника. — Когда война закончится, жду вас в гости.

— Увы, эта война вечна. Гитлер безумен. Каждый день я прошу Бога сделать Гитлера хорошим человеком. Но для Бога мои молитвы ничего не значат.

— Из куриного помета куриный салат не сделаешь.

— Простите, не понимаю.

— Да поговорка такая.

— Я усердно молюсь. Но Гитлер остается Гитлером.

В ночь, когда отец покидал колокольню, над Германией светила полная луна. К его левой руке постепенно возвращалась чувствительность, однако лицо оставалось частично парализованным. Священник принес отцу одежду для путешествий. Они в последний раз ужинали вместе. Отец, тронутый участием Гюнтера Крауса, пытался найти слова и отблагодарить старика, но не мог подобрать нужных фраз, и потому ужин завершился почти в полном молчании.

После еды отец погрузился в изучение маршрута, составленного для него священником. На

карте были помечены места наиболее вероятного столкновения с нацистскими патрулями и точное место перехода в Швейцарию.

— Генри, я принес вам мотыгу. Возьмете с собой, — велел священник.

— Это еще зачем?

— Если вас увидят, то примут за крестьянина. Когда устанете, можете спать в амбарах. Только прячьтесь как следует, Генри. Я собрал вам продуктов, но их надолго не хватит. А теперь, Генри, вам пора.

— Вы были так добры ко мне, — произнес отец, захлестнутый чувством любви к этому немцу.

— Вы нуждались в помощи, Генри.

— Вас никто не заставлял помогать мне. Но вы сделали это. Даже не знаю, как вас благодарить.

— Я рад, что вы появились. Это дало мне шанс быть священником. Когда в первый раз Бог меня испытывал, я повел себя не как священник.

— Что за первый раз?

— Задолго до вас ко мне обратилась еврейская семья. Главу семьи я хорошо знал. Он был торговцем из соседнего города. Хороший человек. У него было трое детей. Все девочки. Милая жена, очень полная женщина. Однажды вечером он пришел ко мне и сказал: «Патер, пожалуйста, спрячьте

нас от нацистов». Я отказался, что уже достаточно плохо. Но мой страх был настолько велик, что я выдал их нацистам. Они погибли в Дахау. Я пытаюсь искупить свою вину перед семьей Фишеров. Прошу Бога сделать что-нибудь, что смоет кровь этой семьи с моих рук. Но даже Бог не настолько могуществен. Даже Он не в силах этого сделать. Мне не скрыться от глаз Фишеров. Они пристально наблюдают за мной, когда я служу мессу, насмехаются над моим священническим призванием. Они знают всю правду о Гюнтере Краусе. И только потому, что я сдал этих людей нацистам, я оставил у себя вас, Генри. Я бы не вынес еще пары глаз, следящих за мной. Я очень многого боюсь. Очень многого.

— Горькая история, — вздохнул мой отец. — Значит, я и у Фишеров в долгу. После войны я навещу вас. Мы поедем в Мюнхен пить пиво и волочиться за женщинами.

— Генри, я же священник. Я не волочусь за женщинами. Я молюсь, чтобы Бог благополучно вернул вас вашей семье. Молюсь ежедневно. Я буду скучать по вам, Генри Винго. Теперь идите. Время позднее.

— Но прежде я хочу кое о чем попросить.

— О чем, Генри?

— Это бывало, когда вы служили мессу. После слов Agnus Dei. Вы понимаете? Я слышал, как вы говорили это тем троим женщинам, что приходят в церковь. После звона колоколов вы давали женщинам какое-то угощение. Я видел это в первое утро.

— Это, Генри, называется причастие. Я давал им вкусить от тела и крови Христовой.

— Причастите меня перед уходом.

— Нет, Генри, это невозможно, — возразил священник. — Для этого вы должны быть католиком.

— Тогда я стану католиком, — непоколебимо заявил отец. — Сделайте меня католиком. Прямо сейчас. Возможно, это принесет мне удачу.

— Все не так просто, Генри. Прежде чем стать католиком, вам нужно многое узнать.

— Гюнтер, обещаю, что все изучу, но позже. Сейчас нет времени. Война как-никак. Помните, вы меня крестили, совершали надо мной обряд соборования? Черт побери, причастие мне никак не повредит.

— Это против правил, — вяло пробормотал священник, рассеянно почесывая подбородок. — Но сейчас все идет против правил. Тогда сначала я должен выслушать вашу исповедь.

— Отлично. Что туда входит?

— Вы должны поведать мне обо всех своих грехах. Обо всем плохом, что сделали, начиная с детства.

— Не могу. Грехов слишком много.

— Тогда скажите, что сожалеете о своих грехах, и этого будет достаточно.

Патер Краус начал читать торжественные молитвы. Он отпустил моему отцу все грехи. В окно, словно очищенная душа, смотрела луна; ее белый свет заливал убранство диссанской колокольни.

Затем отец и священник спустились вниз. Гюнтер Краус прошел к алтарю, открыл ключиком дарохранительницу и достал золотой потир. Он встал на колени перед распятием. Отец сделал то же самое. Сверху на отца взирала фигура жестоко распятого Христа. Отец стоял на холодном каменном полу и молился о своем спасении.

Через некоторое время священник к нему повернулся.

— Генри, теперь вы католик.

— Гюнтер, я постараюсь быть хорошим католиком.

— Своих детей вы должны воспитывать в католической вере, — сообщил патер Краус.

— Так я и сделаю, — пообещал отец. — Это и

есть тело и кровь Христовы?

— Я должен благословить их.

— То есть вы должны прочитать над ними Agnus Dei? — уточнил отец.

Священник не ответил. Он благословил на мертвом языке облатку для причастия, затем повернулся к новообращенному католику и… навсегда изменил жизнь моей семьи.

Гюнтер Краус вновь опустился на колени рядом с моим отцом. Они молились вместе: католический священник и воин, преображенные лунным светом, войной, судьбой и настойчивыми, загадочными и невыразимыми стенаниями и тайнами душ, обращенных внутрь самих себя.

Затем отец поднялся и крепко обнял священника.

— Спасибо вам, Гюнтер, — произнес он. — За очень многое я вам благодарен.

— Жаль, Генри, что Фишеры не могут сказать мне то же самое. Теперь я снова священник.

— Я разыщу вас после войны.

— Буду рад. Буду очень рад встретиться с вами снова.

Мой отец постоял еще немного, затем подхватил мешок и взял мотыгу. Прежде чем уйти, он еще раз обнял священника. Гюнтер Краус посмот-

рел отцу в глаза и добавил:

— На три недели Бог послал мне сына, который жил в моем доме. Буду скучать по вам, Генри Винго. Буду скучать.

Генри Винго ступил из боковой двери на немецкую землю, озаренную лунным светом. Обернувшись, он помахал стоящему в проеме Гюнтеру Краусу. Тот благословлял его. Потом отец повернулся и, безгрешный и освященный, сделал первый шаг в направлении Швейцарии.

Две недели отец шел по баварским холмам. Навстречу несла свои прозрачные воды река Лех. Отец пытался ориентироваться по звездам и с доступной точностью отмечал пройденный путь на карте, которой его снабдил патер Краус. Над Германией светили те же звезды, что и в небе над Коллетоном. Отца это трогало и удивляло. Достаточно взглянуть на небо — и ты дома. Созвездия были ему как братья или соседи.

Днем отец спал на чердаке какого-нибудь амбара или прямо в лесу. Передвигался он по ночам. Крадучись пробирался мимо крестьянских усадеб. В таких местах его злейшими врагами были собаки. Как-то ночью отцу пришлось убить двоих псов лезвием мотыги, а потом смывать собачью кровь в чистой речке, текущей откуда-то с гор.

Постепенно местность, по которой он шел, начала подниматься. Как-то проснувшись после дневного сна, отец увидел впереди Альпы. Как человеку из другой части света отыскать нужную долину и неохраняемый перевал, за которым — свобода? Отец родился на юге, где почти не бывало снега. Он вырос среди низин и ничего не знал о тайнах гор. Отец учился на ходу, стараясь действовать осмотрительно.

Однажды, когда он улегся в сарае, туда вдруг заглянула хозяйка — беременная черноволосая крестьянка, миловидное лицо которой напомнило отцу жену. Немка с воплем выскочила из сарая и побежала звать мужа. Отец бросился к реке через пшеничные и кукурузные поля и целый день просидел в пещере. С того дня он перестал спать в сараях и старался держаться подальше от любых построек. Но голод все равно заставлял его приближаться к жилью. В полной темноте отец доил коров и пил молоко прямо из подойника; он воровал яйца и ел их сырыми; он собирал овощи на полях и в огородах. Отец с нетерпением дожидался, когда стемнеет; солнечный свет его раздражал. Этот поход сделал отца приверженцем ночи. Но когда он достиг гор, идти по ночам стало очень опасно; любой шаг грозил

увести не туда.

По чистой случайности отец обнаружил, что мотыга служит ему средством защиты, а также подтверждает его статус. Однажды отца заметил крестьянин, вспахивавший участок на склоне холма. Солнце только взошло. Отец пересекал луг. Крестьянин, находившийся достаточно далеко, поздоровался с отцом, подняв руку. В ответ отец помахал своей мотыгой. После этого случая он стал идти днем, однако по-прежнему выбирал наиболее пустынные места. Однажды отец и вовсе осмелел: мимо него на большой скорости пронеслось несколько открытых грузовиков, в которых сидели сотни четыре солдат. Заметив колонну, отец принялся приветственно махать им мотыгой. Несколько солдат ответили. Мотыга давала отцу право находиться на этой земле — немецкий крестьянин обеспечивал пищей немецкую армию. Обойдя городок Оберраммергау, отец незамеченным перешел тщательно охраняемую границу с Австрией.

Попав в область высокогорных лугов, отец впервые за дни путешествия испытал отчаяние. Неделю он забирался выше и выше. Деревни и хутора исчезли. Он продвигался по красивым и в то же время опасным местам, мимо ущелий и

отвесных скал. Деревья здесь уже не росли. Отец потерял всякие ориентиры. Карта была бесполезна, расположение звезд также утратило свой смысл. Отец на собственном горбу узнал о вероломстве гор с их несуществующими перевалами и тупиками. Он карабкался на очередную громадину и убеждался, что противоположный склон непригоден для спуска. Тогда он возвращался назад и взбирался на соседнюю вершину. Каждая гора имела свой характер, преподносила ему свои сюрпризы. Отец впервые в жизни увидел снег. Он ел его, ел жуков и червей. На ночь отец укрывался еловыми ветками, боясь замерзнуть насмерть. Замерзнуть в октябре? Для уроженца Южной Каролины это было немыслимо. Уже два дня он находился в Швейцарии, но не знал об этом. Наконец, полуживой от голода и холода, отец решился спуститься в швейцарскую деревушку Клостерс. Он думал, что по-прежнему находится в Австрии. В деревню отец вошел с поднятыми руками, чем немало удивил местных жителей. Те обратились к нему на немецком языке. Вечером отец ужинал в доме мэра Клостерса.

Через три дня моя мать получила от отца телеграмму, из которой узнала, что он жив, здоров и отныне католик.

Отец вернулся в свою эскадрилью и до конца войны совершал боевые вылеты над немецкой территорией. Он бомбил затемненные города, смотрел на огненные вспышки внизу и шептал после каждого взрыва: «Фишер. Фишер. Фишер. Фишер». Когда он нырял вниз, сея огонь и смерть, это слово служило ему боевым кличем. Отец был удивительным летчиком, наделенным почти сверхъестественными способностями.

После войны отец перешел в оккупационные войска и приехал в Диссан, чтобы поблагодарить Гюнтера Крауса и признаться, что в Южной Каролине нет ковбоев. Но в местной церкви его встретил новый пастор, юнец с лошадиным лицом. Священник повел отца на задний двор и показал ему могилу Гюнтера Крауса. Оказалось, что через два месяца после катастрофы отцовского самолета немцы сбили двух английских летчиков; тем удалось благополучно спуститься на парашютах. Прочесывание и обыски окрестностей Диссана велись тщательно. У патера Крауса обнаружили окровавленную форму моего отца, которую он хранил как дорогую память о Генри Винго. Под пытками священник сознался, что прятал у себя американского летчика, а затем помог ему бежать в Швейцарию. Нацисты по-

весили патера Крауса на колокольне; его тело целую неделю служило назиданием жителям деревни. По завещанию все скромное имущество Гюнтера Крауса отошло какой-то женщине из Гамбурга. Печальная и странная история, по словам молодого пастора. К тому же, рассуждал тот, Гюнтер Краус был не ахти каким священником и в деревне это прекрасно знали.

Мой отец зажег свечку перед статуей Пражского младенца, стоявшей на том месте, где отцовская кровь упала на патера Крауса — его спасителя. Отец молился об упокоении души Гюнтера Крауса и душ семьи Фишеров. Со слезами на глазах он поднялся с колен и влепил юнцу пощечину, потребовав всегда говорить о патере Краусе с уважением. Перепуганный священник выскочил из церкви. Отец взял статую Пражского младенца и тоже ушел. Теперь он был католиком и знал, что католики хранят реликвии своих святых.

Так для отца закончилась война.

Каждый год в наш с Саванной день рождения мать вела меня, сестру и Люка на небольшое запущенное негритянское кладбище, где похоронена Сара Дженкинс. Нам без конца рассказывали историю жизни Сары, и довольно скоро я вызубрил ее наизусть. Также ежегодно в тот день, по

велению отца, на могилу Гюнтера Крауса возлагались розы. Две эти героические фигуры были для нас бессмертными мифами наравне с классической мифологией. Уже потом я часто задавался вопросом: не было ли их мужество и самопожертвование, их бескорыстный смертный выбор, повлекший их собственную гибель и выживание клана Винго… частью некоей грубой шутки, суть которой станет известна лишь через много лет?

Когда дети Винго выросли, они поставили памятник на могиле Сары Дженкинс. За год до женитьбы на Салли я совершил короткое путешествие в Европу и посетил могилу Гюнтера Крауса. Никакие европейские красоты, включая парижский Лувр и римский Колизей, не вызвали у меня и половины тех чувств, что простой серый могильный камень с именем патера. Я поднялся на колокольню, где прятался отец, побывал в швейцарской деревушке Клостерс, куда отец спустился с гор. Я обедал в доме местного мэра и пытался пережить всю историю заново. Или почти всю — отец рассказал нам ее не целиком, об одном эпизоде он умолчал.

Доктор Лоуэнстайн слушала меня, не перебивая.

— И какой же эпизод утаил от вас отец? — по-

интересовалась она.

— Небольшой и в общем-то незначительный. Помните, как однажды в сарае на отца наткнулась беременная крестьянка?

— Помню. У нее было миловидное лицо, и она напомнила ему вашу мать.

— И она с криками побежала звать мужа. Это правда лишь отчасти. Мой отец не бросился в поля и не спрятался в речной пещере. Он схватил миловидную беременную немку и задушил ее прямо в сарае. Поскольку отец был летчиком, он никогда не видел лиц людей, которых убивал. Лицо немки находилось от него в пяти дюймах. Отец сломал ей шейные позвонки, и женщина умерла в муках у него на глазах.

— Том, когда вы узнали об этом случае?

— В ту ночь, когда от отца ушла моя мать, — ответил я. — Наверное, отцу необходимо было объяснить мне и себе самому, почему он превратился в человека, которого боялись собственные дети. Немецкая крестьянка была его тайной и стыдом. Мы — семейство с тщательно охраняемыми тайнами, которые рано или поздно нас убивают.

— Ваша история завораживает, но из нее я мало что узнала о Саванне.

— Пленки, записи, — напомнил я. — У вас же зафиксирован ее бред.

— Вы о чем, Том? — удивилась доктор. — Она ничего не говорила ни про Германию, ни про бурю. Ни слова о священнике и повитухе.

— Нет, говорила. По крайней мере, я так думаю. Саванна упоминала женщину, Агнес Дей. Я рассказал вам об Агнес Дей и о том, откуда на самом деле она взялась.

— Простите, но вы не рассказывали ничего подобного, — хмурясь и недоумевая, возразила доктор Лоуэнстайн.

— Доктор, в детстве мы без конца слышали эту историю. Она была для нас чем-то вроде сказки на ночь. Но мы не все понимали. Как выглядел патер Краус? Была ли у него борода? Где жила Сара Дженкинс? Сколько людей в семье Фишеров? Мы живо представляли патера Крауса, служащего мессу. Во всяком случае, так нам казалось. Но дети часто многое путают. У нас получалось, что это Сара Дженкинс носила отцу еду на колокольню. Или Гюнтер Краус тащил нашу мать в хлев по залитому водой двору. Вы же знаете, как дети добавляют свои подробности. Их фантазия искажает реальность до неузнаваемости.

— Но кто такая Агнес Дей?

— Первой эту ошибку сделала Саванна, а мы с Люком подхватили. На пленке сестра выкрикивает слова, которые отец услышал из уст немецкого священника.

— Том, я что-то не помню.

— Молитва, начинающаяся со слов «Agnus Dei». Саванна решила, что так звали женщину из Гамбурга, которую любил священник. Причем любил настолько сильно, что произносил ее имя даже во время мессы.

— Удивительно, — заключила доктор Лоуэнстайн. — Просто удивительно.

Глава 5



После первой недели все эти нью-йоркские летние дни приобрели форму и упорядоченность — интроспективные и исповедальные, когда я разматывал перенасыщенное страданиями прошлое нашей семьи перед обаятельным психиатром, работа которой заключалась в устранении ущерба, нанесенного всем нам моей сестрой.

История медленно разрасталась; по мере ее изложения я начал ощущать пробуждающуюся внутреннюю силу. Первые несколько дней я только и делал, что слушал пленки, с холодной объективностью запечатлевшие всю глубину сестринского срыва. Звуки вылетали из уст Саванны болезненными порциями. Я записывал ее слова на бумагу, перечитывал и каждый день поражался новым подробностям, которые я сам забыл или подавил. Каждая ее фраза — какими

бы сюрреалистическими или чудовищными они ни были — имела под собой реальное основание; за каждым воспоминанием следовало новое. В итоге вся эта хитроумная геометрия складывалась в моей голове в единое целое. Бывали дни, когда я едва мог дождаться пятичасовой встречи с доктором Лоуэнстайн.

В своем подсознании я сталкивался как с дикорастущими плодами, так и с ухоженными виноградниками. Я пытался отсекать обыденные или общие моменты. Будучи сборщиком событий из печального прошлого Саванны, я не пропускал ни одной травинки и мечтал найти единственную розу, заключавшую в себе образ тигра. Я знал, что в лепестках клевера, пахучих травах и дикой мяте скрыты значительные части правды.

Сидя в гостиной Саванны, среди книг и папоротников, я чувствовал, что главным моим врагом является неопределенность. Моя задача на лето была довольно простой: совершить путешествие по собственной личности. Я намеревался изучить события и происшествия, сформировавшие посредственность, привыкшую занимать оборонительную позицию. В те дни я никуда не торопился. Время текло, вежливо напоминая о себе перемещением солнца над

Манхэттеном. Я пытался вычленить суть, изучить свои внутренние спутники с бесстрастием астронома, осведомленного о двенадцати лунах, что обрамляют перламутровый шар Юпитера.

Мне начала нравиться тишина утренних часов. В этом спокойствии я стал вести дневник, записывать важные мысли. Мой почерк не особо отличался от того, какому нас учили в средней школе; просто с каждым годом он становился мельче, отражая мое собственное измельчание. Поначалу я сосредоточивался только на истории Саванны, однако постоянно возвращался к себе, пропуская эпизоды через свое видение. Никто и не поручал мне интерпретировать мир глазами сестры. Самой лучшей помощью Саванне было бы с предельной честностью рассказать психиатру свою собственную историю. Я прожил на редкость трусливую и пассивную жизнь, до краев наполненную разными ужасами. Моей сильной стороной было то, что я являлся очевидцем почти каждого значительного события в жизни Саванны.

В Нью-Йорке у меня была миссия, почти работа. Я желал объяснить, почему моя сестра-близнец вскрывает себе вены, почему ее мучают жуткие видения, почему неотступно преследует детство,

полное стольких конфликтов и унижений, что шансы на примирение с ним весьма невелики. По мере того как я буду взрывать запруды памяти, я буду записывать все мелочи, вынесенные потоками на воображаемые улицы единственного города, который я когда-либо любил. Я поведаю доктору Лоуэнстайн о потере Коллетона и о том, как гибель города оставила в памяти следы побелки и отметины цвета яичной скорлупы. Если я сумею набраться мужества и рассказать обо всем этом, не забегая вперед, если смогу напеть мелодии тех мрачных гимнов, что столь решительно заставляли нас двигаться навстречу неумолимой судьбе, тогда мне удастся объяснить, почему моя сестра ведет свою горестную войну с окружающим миром и миром внутренним.

Но вначале нужно время для обновления, для овладения свежим подходом к самонаблюдению. Почти тридцать семь лет я потратил на создание собственного образа. Я устраивал засаду на самого себя, безоговорочно веря определению, данному мне родителями. Они с раннего возраста отчеканили меня, как некий таинственный иероглиф, и я всю жизнь пытался наладить отношения с этим «чеканным образом». Родители изрядно преуспели в том, чтобы сделать меня чужим

самому себе. Они наделили меня точным обликом сына, который был им нужен, а поскольку у меня в характере имелись черты услужливости и оглядки на общепринятые нормы, я позволял отцу и матери лепить и ваять из себя плавные очертания уникального ребенка. Я приспосабливался к их меркам. Родители подавали сигнал, и я танцевал по команде, будто спаниель. Им хотелось учтивого сына — и старомодная южная учтивость изливалась из меня неиссякаемым потоком. Осознав, что Саванна всегда будет тайным источником стыда и неискупимым преступлением, родители страстно мечтали об устойчивом близнеце, о столпе здравомыслия, уравновешивающем семейное здание. Им удалось сделать меня не только нормальным, но и тупым. Конечно, они не подозревали, что передают мне свои самые чудовищные качества. Я жаждал их одобрения, их рукоплесканий, их чистой, бесхитростной любви; даже поняв, что они не могут дать мне такую любовь, я годами продолжал ее добиваться. Любить своих детей означает любить самого себя; мои родители от рождения и в силу обстоятельств были лишены этой «чрезмерной благодати». Мне требовалось восстановить связь с моим утраченным «я». У меня имелись задатки

человека совсем иного типа, но я потерял с ним контакт. Мне нужно было наладить отношения с этим потенциальным человеком и осторожно убедить его стать взрослым.

Снова и снова мысленно я возвращался к Салли и нашим детям. Я женился на первой женщине, которую поцеловал. Я думал, что выбрал ее, потому что она красива, наделена практической сметкой, остра на язык и ничем не напоминает мою мать. Я женился на чудесной, привлекательной девушке и, выбросив как балласт все инстинкты самосохранения, сумел за эти годы превратить ее в точную копию своей матери. Инструментами мне служили пренебрежение, холодность и предательство. Из-за присущего мне недостатка зрелости я не мог просто иметь жен или любовниц; мне требовались неутомимые враги, монотонно напевающие колыбельные о кровавых бойнях; мне были необходимы снайперы в цветастых ситцевых платьицах, целящиеся в меня с колоколен. Я испытывал дискомфорт с каждым, кто не выказывал мне своего неодобрения. Как бы упорно я ни стремился достичь немыслимо высоких стандартов, установленных для меня другими, у меня никогда не получалось сделать что-либо по всем правилам, и потому я

привык к неминуемым поражениям. Я ненавидел свою мать, но вернулся к ней, передав эту роль своей жене. В Салли я взрастил женщину, ставшую более тонкой и усовершенствованной версией моей матери; жена также научилась слегка стыдиться меня и разочаровываться во мне. Мои слабости служили обрамлением ее силе, цветению и свободе.

Своего отца я тоже ненавидел и выражал ненависть, подражая его жизни, с каждым днем становясь все никчемнее, все более соответствуя безрадостным пророчествам, которые мать делала в адрес нас обоих. Я думал, что достиг успеха, не став жестоким, но даже эта убежденность рухнула — моя жестокость была скрытой. Молчание, бесконечные уходы в себя — вот что стало моим опасным орудием. Моя жестокость проявлялась в ужасной холодности синих глаз. Один обиженный взгляд — и самый солнечный и безмятежно прекрасный день покрывался льдом. К тридцати семи, при некотором умении и небольших природных данных, я научился вести совершенно бессмысленную жизнь, которая, однако, исподволь и неминуемо разрушала жизни тех, кто меня окружал.

Вот почему это неожиданно свободное лето

я воспринял как последний шанс всесторонне оценить себя и понять, чего я стою; это лето казалось мне беспокойной паузой перед переходом в средний возраст с его ловушками и ритуалами. Мне хотелось осознанно подвести итоги и, если повезет, — исцелиться и возродить помраченный дух.

С помощью воспоминаний я пытался набраться сил и провести доктора Лоуэнстайн через все ухабы и крутые спуски нашей семейной истории.

Обычно я просыпался на рассвете. После поверхностного анализа снов я вставал, принимал душ и одевался. Потом выпивал стакан свежевыжатого апельсинового сока; язык с радостью принимал эту слегка обжигающую жидкость. Я спускался по черной лестнице, выходил на Гроув-стрит, шел к площади Шеридан-сквер и покупал выпуск «Нью-Йорк таймс» у киоскера, раздражающего своей усредненностью. Он принадлежал к целому подвиду ньюйоркцев, занятых неблагодарным, но необходимым трудом. Их внешность была так же одинакова, как жетоны в метро. Возвращаясь по Бликер-стрит, я забегал во французскую пекарню, которой заправляла какая-то равнодушная мадам из Лиона, и покупал два круассана. Один из них я съедал еще по дороге.

Круассаны были восхитительны: легкие и теплые, они распадались на хрустящие чешуйки и еще хранили жар печи. Когда я входил в гостиную, мои руки вкусно пахли свежей выпечкой. Я усаживался в кресло и раскрывал спортивный раздел газеты. Сколько себя помню, я всегда набрасывался на спортивный раздел утренних газет и запоминал целые колонки результатов. Поскольку в бейсболе священнодействуют над цифрами, эта игра стала моей любимой; в ней каждый день расцвечен и ознаменован четкой нумерологией результатов.

Просмотрев и раскидав вокруг газетные листы, я испытывал знакомое чувство ужаса, таившееся в летнем утре. И знакомый лейтмотив: поражение.

Термостат кондиционера в офисе доктора Лоуэнстайн обычно был поставлен на слишком низкую температуру. Я оказывался там после знойных, прокаленных солнцем и плавающих в дымке улиц, неся на себе слой пыли и пота, и невольно вздрагивал, попадая в хорошо оборудованное помещение с искусственной внесезонной погодой. В приемной, где сидела миссис Барбер, секретарша доктора, было на один-два градуса теплее по сравнению с почти арктическим холо-

дом комнаты ожидания. Всякий раз, приходя на беседу с доктором, я наблюдал, как предвечернее солнце расчерчивает лицо секретарши.

— А, это вы, мистер Винго. — Миссис Барбер заглянула в настольный календарь, где у нее было расписано время приема. — Сегодня некоторые изменения в графике. Доктор Лоуэнстайн выразила надежду, что вы не будете возражать.

— В чем дело?

— Неотложный случай. Позвонила одна из ее подруг, явно расстроенная. Доктор Лоуэнстайн просила вас посидеть какое-то время, в качестве извинения она позже пригласит вас поужинать.

— Меня это устраивает, — согласился я. — Могу я остаться в комнате ожидания? Полистаю пока шикарные журнальчики.

— Я сообщу доктору. Вы в порядке, мистер Каролина? — спросила секретарша, посмотрев на меня с почти материнской нежностью.

— Не совсем, миссис Барбер, — произнес я; мой голос дрогнул от собственной искренности.

— Вы тут скалите зубы и без конца шутите, желая помочь той, у кого дела совсем плохи.

— И вы на это ловитесь?

— Ничуть. — Секретарша взглянула мне прямо в глаза. — Меня не одурачить даже на минутку.

Слишком давно я сталкиваюсь с людьми, попавшими в беду. Их всегда выдает взгляд. Если я могу что-то сделать для вас, хоть что-нибудь, обращайтесь.

— Миссис Барбер, вас не затруднит встать? — попросил я, растроганный простой бесхитростной заботой этой совершенно незнакомой мне женщины.

— Зачем вам это, дорогой? — удивилась она.

— Хочу опуститься на колени и поцеловать вас в зад. Рефлексивное желание. Оно появляется у меня здесь, в Нью-Йорке, в ответ на любую каплю чужой доброты.

— Вы просто беспокоитесь за свою сестру.

— Нет, нет и еще раз нет, — возразил я. — Она всего лишь фасад, которым я прикрываюсь. Как только я разваливаюсь, сестра для меня — причина и оправдание. Я спихиваю на нее вину за свои несчастья и делаю это самым низким и трусливым образом.

— Погодите, — пробормотала секретарша, раскрывая свою сумочку и все время озираясь на коридорчик, ведущий в кабинет доктора Лоуэнстайн. — Если мы с мужем вдруг поцапаемся или я переволнуюсь из-за детей, мне помогает доктор Джек.

Секретарша извлекла полпинты «Джека Дэниелса» и налила мне немного в бумажный стаканчик, взяв его из пачки возле агрегата с питьевой водой.

— Доктор Джек восстанавливает внутренний баланс. Этот парень умеет лечить то, что вас грызет.

Я залпом проглотил бурбон; желудок приятно обожгло.

— Спасибо вам, миссис Барбер.

— Только не выдавайте меня доктору, мистер Каролина.

— Буду держать рот на замке, — пообещал я. — Кстати, как себя чувствуют пингвины?

— Какие пингвины? — удивилась секретарша.

— Здесь такая холодина, что я не удивлюсь, если доктор Лоуэнстайн разводит пингвинов. Или большинство ее пациентов — эскимосы с маниакально-депрессивным психозом?

— Не мешайте мне работать, мистер Каролина. — Миссис Барбер жестом указала мне на комнату ожидания. — Доктор Лоуэнстайн любит прохладу летом и жару зимой. Все лето я надеваю на себя свитера, а в феврале, когда за окнами полно снега, меня так и тянет остаться в бикини.

— Значит, доктор избавляет своих пациентов

от душевных заболеваний, но награждает их пневмонией?

— Марш отсюда, — скомандовала секретарша и застучала по клавишам пишущей машинки.

Я опять вздрогнул, входя в ледяное святилище, где пациенты дожидались вызова к доктору.

Я взял с кофейного столика пачку журналов «Архитектурный дайджест»[48] и принялся лениво перелистывать страницы, усмехаясь при мысли, что какие-то люди могут жить и даже страдать в этих роскошных апартаментах. В убранстве каждого дома ощущалась чрезмерная, перезрелая чувственность. Я остановился на снимке библиотеки, оформленной итальянским дизайнером: такой жар и такой избыток рококо, что едва ли кто-то отважится прочитать хоть страницу, сидя на блестящих кожаных сиденьях стульев, безупречно расставленных вдоль стен через равные промежутки. Даже книги являлись там элементом мебели. Окна декоратор позаимствовал из особняков, идущих на снос, деревянные стенные панели — из захиревших замков. Сам он не разработал ничего. Все было нацелено на эффектность, все состояло из трофе-

[48] Примечания: 48

Ежемесячный журнал, издающийся с 1920 г. Вопреки своему названию, журнал посвящен не архитектуре, а интерьерному дизайну.

ев, добытых в зданиях, продающихся с аукциона; вместо индивидуального почерка — пышное великолепие и избыточное украшательство.

— А где же домики для кошек, детские манежи, корзинки для бумаг и пепельницы? — спросил я вслух, разглядывая снимки отреставрированного замка в долине Луары. — Где бумажные салфетки, туалетная бумага, чистящие средства «Драно», зубные щетки?

Я просто обожаю разговаривать с журналами и газетами, считая это занятие чем-то вроде гимнастики для поддержания душевного здоровья. Поэтому я не увидел и не услышал, как в комнату ожидания вошла женщина. Незнакомка опустилась на стул возле двери.

Она сидела прямая как свеча. Усталость и переживания делали эту женщину почти бестелесной. Она была одной из тех классических красавиц, что вызывают у меня немое благоговение. Иногда от природы женщина получает слишком притягательную внешность; это такая же тяжкая ноша, как простодушие, только куда опасней. Чтобы сжиться с даром совершенной красоты, нужны и внутренняя цельность, и благосклонность судьбы, поскольку для совершенной красоты самым страшным предательством явля-

ется ее непостоянство.

Посетительница плакала без слез; по исходящим от нее звукам можно было подумать, что она задыхается. Она безуспешно пыталась взять себя в руки, ее лицо превратилось в маску горя и стало похоже на изможденные, страдальческие лица мадонн, по всей Европе скорбно склоняющихся над своими поверженными сыновьями.

Женщина не взглянула в мою сторону и не отреагировала на мое присутствие.

«Ну как же! Она родилась в Нью-Йорке», — подумал я. Она не снизойдет до беседы о разных пустяках и не перекинется несколькими вежливыми фразами, пытаясь сгладить неловкость случайной встречи.

Я возобновил листание журналов, но теперь критиковал молча. Так прошло несколько минут. Затем я вновь услышал плач, на этот раз по ее щекам текли слезы.

Какую тактику мне следует избрать? Все мои мысли переключились на обдумывание этого вопроса. Может, не обращать на нее внимания и продолжать развлекаться журналами? Эту линию поведения я сразу же отбросил, поскольку она не вязалась с моим живым и исполненным благих намерений характером. Но как лучше

заговорить с ней? Проявить деликатность или спросить напрямую, что у нее случилось и могу ли я чем-нибудь помочь?

Поскольку эта женщина хороша собой, вне зависимости от моих слов и действий она подумает, будто я пытаюсь за ней приударить. Такая опасность всегда подстерегает красавиц, оказавшихся в беде; мне не хотелось давать незнакомке повод для подобных мыслей. В таком случае, решил я, обращусь к ней напрямую; совру, что я импотент, кастрат, поющий в хоре турецких мальчиков, гомосексуалист, помолвленный с портовым грузчиком. Потом добавлю, что хочу помочь, поскольку мне больно видеть ее в таком состоянии.

Но я молчу, поскольку не знаю, с чего в Нью-Йорке принято выражать сопереживание. В этих блистательных стеклянных долинах я чужак, незнакомый с нормами и кодексами. В итоге я решаюсь заговорить. Иначе, как мне кажется, она подумает, что я — один из множества равнодушных людей и она вызывает у меня не больше сочувствия, чем какая-нибудь алкоголичка, блюющая в метро. Я не сомневаюсь: будь она некрасивой, или обычной, или даже просто хорошенькой, я бы тут же обратился к ней,

предложил бы свой носовой платок, повел бы куда-нибудь в пиццерию, заказал бы ей мартини или цветы на дом, послал красивую открытку и отдубасил бы ее мужа за то, что тот над ней издевается. Но я ослеплен ее бесконечной красотой и потому не нахожу слов. Каждая встречавшаяся мне женщина, которую мир восхвалял и отмечал за исключительную внешность, получала вдобавок ключи от своего невыносимого одиночества — этой обязательной платы за красоту.

Я отложил журнал и, не глядя на женщину, сказал:

— Прошу прощения, мэм. Меня зовут Том Винго. Я из Южной Каролины. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? Мне невыносимо видеть, что вам так плохо.

Женщина лишь сердито замотала головой и заплакала еще сильнее. Судя по всему, звук моего голоса лишь добавил ей страданий.

— Простите меня великодушно, — продолжал скулить я. — Может, вам принести воды?

— Я пришла на прием к чертову психиатру! — воскликнула она сквозь слезы. — И не нуждаюсь в помощи одного из ее чертовых пациентов.

— Вы не совсем правы, мэм. Я не являюсь пациентом доктора Лоуэнстайн.

— Почему тогда ошиваетесь возле ее кабинета? Здесь не автобусная остановка.

Незнакомка раскрыла сумочку и принялась что-то искать. Я услышал звяканье ключей.

— Можете принести мне бумажный платок? Кажется, я забыла свои.

Довольный тем, что хоть как-то пригодился, и избавленный от необходимости объяснять, почему меня сюда занесло, я кинулся в приемную. Миссис Барбер подала мне несколько бумажных платков и шепнула:

— Мистер Каролина, она в ужасном состоянии.

Я вернулся в комнату ожидания и подал женщине платки. Та поблагодарила и высморкалась. Я всегда находил до жути странным, что красивым женщинам приходится сморкаться; это почти неприлично, что и в их организме существуют весьма прозаические отправления. Женщина вытерла слезы, запачкав тушью для ресниц свои подрумяненные щеки. Затем полезла в сумочку от «Гуччи», достала пудреницу и стала умело подправлять макияж.

— Благодарю вас, — произнесла она, постепенно успокаиваясь. — И простите за резкость. У меня сейчас очень трудное время.

— Это связано с мужчиной? — уточнил я.

— А когда это не связано с мужчиной? — печально и устало заметила она.

— Хотите, я его поколочу? — предложил я, берясь за свежий номер «Ньюйоркера».

— Ни в коем случае, — вспылила она. — Я его очень люблю.

— Я просто предложил. Так всегда говорил мой брат Люк. Если в школе кто-то задевал меня или сестру, он спрашивал: «Хочешь, я их поколочу?» Мы никогда не соглашались, но от этой фразы нам становилось легче.

Незнакомка улыбнулась, но улыбка быстро сменилась трогательной гримасой. Женщина была настолько красива, что гримаса лишь подчеркнула очарование ее лица с высокими скулами.

— Я хожу к психиатру более четырех лет, — сообщила она, продолжая возиться с ресницами, — но так и не решила, нравится ли мне этот сукин сын.

— Должно быть, у вас отличная страховка, — предположил я. — Моя не компенсирует расходы на лечение душевных болезней. Она не покрывает даже обычные.

— Я не душевнобольная, — упрямо заявила женщина, ерзая на стуле. — У меня просто повышенная нервозность, и обычно я влюбляюсь в

разных придурков.

— Придурки составляют весьма значительную часть населения. Я пытался выразить это математически. Получилось где-то около семидесяти трех процентов, и эта величина растет.

— И к какой категории вы причисляете себя? — осведомилась женщина.

— Себя? Разумеется, к придуркам. Пожизненное членство. Радует лишь то, что не надо платить членские взносы и что я вхожу в подавляющее большинство.

Смех женщины был резким и натянутым.

— Чем вы зарабатываете на жизнь? — поинтересовалась она.

— Тренер футбольной команды в средней школе. Точнее, бывший, — добавил я, стыдясь искренности своих слов и прекрасно зная, что она мне не поверит.

— Я серьезно.

— Юрист, — солгал я, желая как можно скорее закончить этот унизительный допрос.

Мне всегда нравилось мгновенное восхищение незнакомых людей, когда я фантазировал, что работаю в одной дерзкой многонациональной корпорации, отличающейся неумеренными аппетитами.

— Внешне вы не похожи на юриста, — заключила женщина, подозрительно глядя на мои брюки цвета хаки и выцветшую футболку фирмы «Лакост» с полуоторванным крокодильчиком. — И одеты не как юрист. Где вы изучали право?

— В Гарварде, — скромно отозвался я. — Я мог бы многое рассказать о тамошнем факультете права, но вас это только утомит. Мог бы поведать, как мучительно находиться в шкуре редактора «Юридического обозрения»[49]. И как меня раздражало, что в нашем выпуске я был не первым, а только вторым.

— Мне стыдно, что я расплакалась, — вернулась женщина к прежней теме.

— Пустяки, — ответил я, довольный, что она приняла мое вранье за чистую монету.

— Я подумала, что вы решили приударить за мной, потому и была груба.

— Я не умею ухаживать за женщинами.

— Но вы женаты, — сказала она, заметив у меня обручальное кольцо. — Значит, ухаживали как минимум за одной женщиной.

---

[49] Примечания: 49

«Юридическое обозрение» («Law Review») — серия юридических журналов, издающихся во многих американских университетах, где есть юридические факультеты. Журнал Гарвардского университета, где якобы учился Том Винго, считается наиболее авторитетным.

— Нет, мэм. Она поймала меня в торговом центре и зубами расстегнула молнию брюк. И тогда я понял, что она хочет со мной встречаться. В юности я был крайне застенчив.

— Мы с доктором Лоуэнстайн приятельницы, — сообщила женщина, равнодушным жестом убирая с глаз роскошные золотистые локоны. — Я не ее пациентка. Просто моего паршивца психиатра куда-то унесло из города. В таких случаях я хожу к доктору Лоуэнстайн.

— Очень любезно с ее стороны.

— Она замечательный человек. У нее тоже есть проблемы, как и у всех, но вы попали в умелые руки… Черт! Ну и поганый у меня сегодня день.

— А что случилось?

Женщина странно посмотрела на меня и ответила холодно, но без злобы:

— Знаете, мистер, когда мне понадобится составить завещание, быть может, я и обращусь к вам. Но свои личные проблемы я решаю с профессионалами.

— Простите, пожалуйста. Честное слово, я не собирался совать нос в ваши дела.

Незнакомка снова заплакала, спрятав лицо в ладонях.

Из кабинета вышла доктор Лоуэнстайн.

— Моник, заходи.

Женщина проследовала в кабинет.

— Надеюсь, вы не против, Том, — торопливо обратилась ко мне доктор Лоуэнстайн. — Моей приятельнице совсем плохо. За терпение я угощу вас выпивкой.

— Непременно ее дождусь, доктор.

Итак, мы с сестрой — близнецы Батшебы и дети бури — начали свой жизненный путь в Коллетоне. В течение первых шести лет мы не выезжали за пределы округа. Мне не вспомнить то время; оно затерялось в лабиринтах памяти и тесно переплелось с бесконечно прекрасными картинами прибрежного острова. Если верить нашей матери, эти ранние годы протекали так: ее дети росли, считая это своим первым серьезным делом, а она была рядом, когда мы делали первые шаги, произносили первые неуклюжие слова, выкрикивая их реке, бегали по душистым летним лугам и поливали друг друга из шланга.

Области раннего детства для меня закрыты. Конечно, время текло и там, двигаясь от летнего солнцестояния к зимнему. Я играл под непрестанным взглядом синих материнских глаз, имевших своеобразное великолепие с оттенком боли и страдания. Материнские глаза представлялись

мне прекрасными цветами. Мне казалось, что матери никак не насытиться общением с нами. Любая наша фраза, любая мысль приводили ее в восторг. Мы бегали босиком по траве и резвились под звуки ее смеха. Позже мать заявляла, что относится к тем женщинам, которые обожают младенцев и маленьких детей. И целых шесть лет — изумительных, солнечных — она вкладывала сердце в свои материнские обязанности. В годы нашего раннего детства ей приходилось нелегко, зато потом мы вдоволь наслушались жалоб, каких трудов ей стоил каждый прожитый день. Но это потом. А пока мы были светловолосыми восторженными детишками, готовыми беспрестанно носиться, постигать лесные тайны и перенимать от матери ее изумительное восприятие мира. Тогда мы не знали, что наша мать — глубоко несчастная женщина. Не знали мы и того, что она никогда не простит нам взросления. Взросление было сравнимо лишь с другим тягчайшим преступлением, стоявшим на первом месте, — нашим появлением на свет. Не скажу, что мать схватывала уроки жизни на лету. Мы родились в доме, полном сложностей, драматических событий и боли. Мы росли типичными южанами. В каждом южанине под слоем одних

традиционных представлений залегают другие, более древние.

Мой отец всегда возвращался домой затемно. Когда на крыльце раздавались его шаги, я обычно уже лежал в постели. Постепенно отец начал ассоциироваться у меня с темнотой. Когда он приходил, у матери менялся голос, оттуда исчезала вся музыкальность. Едва отец открывал дверь, мать становилась другой женщиной, обстановка в доме тоже менялась. За ужином родители говорили тихо, стараясь не разбудить спящих детей. Я вслушивался в доносившийся шепот. Обсуждения касались событий прошедшего дня.

Однажды я услышал материнский плач. Отец ударил ее. Но на следующее утро, перед уходом на работу, отец поцеловал мать в губы.

Бывали дни, когда мать вообще с нами не общалась. Она садилась на крыльце и смотрела на реку, на городок Коллетон; ее взор был затуманен меланхолическим смирением и безразличием, нарушить которое не мог даже наш плач. Ее неподвижность пугала нас. Мать рассеянно водила длинными пальцами по нашим волосам. Из ее глаз текли слезы, но выражение лица оставалось неизменным. Мы научились молча переживать материнские приступы меланхолии и окружали

ее светловолосым защитным кругом. Проникнуть внутрь мы не могли; своими душевными мучениями мать с нами не делилась. То, что она раскрывала миру и семье, было лишь частью ее личности, частью малой и наименее значимой, неким парчовым фасадом, расшитым филигранью. Собирать мозаику материнского характера — занятие неблагодарное; к тому же мать утаивала самые важные фрагменты. Всю жизнь я изучаю свою мать и не могу сказать, что знаю ее. В чем-то она была для меня идеальной матерью, в чем-то — образцом апокалипсиса.

Я пытался понять женщин, и это навязчивое желание оставило во мне ярость и недоумение. Между обоими полами лежал громадный океан, пересекать который опасно. Между ними высилась горная цепь, чьи загадки не смогли бы расшифровать никакие экзотические шерпы. Поскольку я не сумел разобраться в собственной матери, мне было отказано в даре познания других женщин, встреченных на моем пути.

Когда мать грустила и отключалась от внешнего мира, я обычно винил себя и чувствовал, что совершил нечто непростительное. Порция вины входит в стандартный набор южного мальчишки; наши жизни — цепь нескончаемых извинений

перед нашими матерями за то, что наши отцы оказались столь ущербными мужьями. Никакой мальчишка долго не выдержит тяжести и глубины материнской страсти, изменившей направление и обрушившейся на него. Однако некоторые все же имеют силы сопротивляться единичным и невинно-соблазнительным материнским поползновениям. Превращение в целомудренного и тайного любовника женщины своего отца таит столько запретной сладости! А какой триумф ощущает мальчишка, становясь демоном-соперником и получая в тени отцовского дома непередаваемо нежную любовь хрупкой женщины! Нет ничего более эротичного, чем мальчик, наслаждающийся созерцанием тела своей матери и ее прикосновениями. Эта страсть наиболее изысканна и запретна. Она же — наиболее естественна и разрушительна.

Моя мать родилась в горах на севере Джорджии. Жители гор склонны к изоляции, жители островов — к космополитизму. Увидев незнакомца, островитянин помашет ему, горец же насторожится и начнет думать, зачем тот явился. Материнское лицо — божественно красивое, постоянно улыбающееся — казалось окном в мир, но то была лишь иллюзия. Мать мастерски

умела вытягивать из незнакомых людей самые незначительные или утаиваемые моменты их биографии и с таким же мастерством скрывала любой мало-мальски существенный или доступный проверке факт о себе. Мать с отцом странным образом подходили друг другу. Их совместная жизнь была тридцатилетней войной; их дети несли на себе бремя военнопленных. Нам пришлось участвовать во множестве переговоров, обманываться передышками, снова договариваться о прекращении огня и зевать на конференциях по установлению мира, прежде чем открылись истинные масштабы разрушений, произведенных этой войной. Такова была наша жизнь, наша судьба, наше детство. И мы, насколько возможно, наслаждались этой порой, где остров был прекрасен и добр к нам.

Но потом вдруг нас увезли с острова. Последующий период своей жизни я помню почти целиком.

В августе 1950 года, неожиданно для отца и к большому его неудовольствию, его вновь призвали на военную службу, приказав явиться на призывной пункт для отправки в Корею. Мать решила, что ей небезопасно оставаться на острове Мелроуз одной с тремя малолетними детьми,

и приняла приглашение свекрови провести этот год в Атланте. Бабушка жила в доме на Роуздейл-роуд. До того времени я и не подозревал о существовании бабушки. Родители никогда не упоминали о ней. Бабушка возникла в нашей жизни как тайна и подарок судьбы.

В Коллетоне мы простились с дедом Винго, заперли наш белый островной дом и отправились в Атланту. Это был единственный год нашей детской жизни, проведенный в городе. На Роуздейл-роуд я впервые поцеловал мать своего отца, и она повела нас по узкому проезду к своему дому. Бабушка жила с человеком по имени Папа Джон Станополус. В разгар Великой депрессии она покинула мужа и сына и отправилась в Атланту искать работу. Целый год она трудилась в отделе нижнего белья универмага «Рич», отсылая в Коллетон половину своей месячной зарплаты. Но возвращаться к деду она не собиралась, и, когда развод с ним был оформлен, вышла замуж за Папу Джона. Тот потерялся и случайно забрел в отдел дамского белья. Так они познакомились, а через неделю поженились. Бабушка соврала ему, что никогда не была замужем. Я едва не открыл рот от изумления, когда отец представил нас Папе Джону как бабушкиных племянников. Только

с годами мы поняли эту историю. По мнению родителей, нам было незачем знать о взрослых взаимоотношениях, поэтому они говорили нам только то, что считали нужным. Ко времени приезда на Роуздейл-роуд мы уже научились держать язык за зубами и не выпаливать свои мысли вслух. Отец познакомил нас с бабушкой — Толитой Станополус и велел мне называть ее тетушкой Толитой. Будучи послушным мальчиком, я повиновался. Вечером я все же потребовал у матери объяснений, но та ответила, что меня это не касается, и добавила, что расскажет потом, когда я стану постарше.

В то время Папа Джон оправлялся после сердечного приступа — первого в череде тех, которые постепенно свели его в могилу. У него было узкое изможденное лицо, фантастически громадный нос, приделанный словно каменный навес, и величественная лысина. Будучи бездетным, Папа Джон полюбил нас с первой минуты, едва мы переступили порог комнаты, в которой впоследствии он умер. Он постоянно целовал нас, это занятие никогда ему не надоедало. Папа Джон обожал запахи и голоса детей. Нашего отца-он называл кузеном Генри.

Дом Толиты стоял на холме, среди таких же

скромных аккуратных построек. Район этот назывался Вирджиния-Хайлэндс, однако бабушка утверждала, что живет на Друид-Хиллс — в более фешенебельном месте, расположенном восточнее. Район был выстроен из кирпича цвета высохшей крови, отчего вся северо-восточная часть города казалась покрытой угрюмой ржавой патиной. Бабушкино жилище отличали острые шпили и крутые крыши. С улицы оно выглядело уютно, но слегка странновато; внутри напоминало лабиринт. Комнаты было бы правильнее назвать клетушками с низкими потолками, зато их было много, и все — причудливой формы, с пугающими нишами и выступами. Уголков, где можно спрятаться, — предостаточно. Дом будто специально спроектировали для взращивания детских кошмаров, имеющих особую направленность.

Внизу находился недостроенный подвал, настолько жуткий и пробуждающий такие мрачные фантазии, что после наступления темноты даже мать не отваживалась туда спускаться. Две стены из бетона — вечно в капельках подвальной влаги или дождевой воды, две другие — земляные, красноватые, как и большая часть земли в Джорджии. Казалось, этот уродливый необорудованный под-

вал выдолблен внутри холма.

Со стороны улицы дом загораживали четыре развесистых дуба, чьи ветви нависали сумрачным зонтом. Деревья были настолько мощными, что в грозы на стены дома попадали лишь редкие капли. Между тем дубы эти не являлись чем-то экзотическим для города или района. Атланту сумели построить, не уничтожив леса. По вечерам к задней двери приходили опоссумы и еноты, и мать кормила их алтейным корнем. Весной в воздухе разливался аромат свежескошенных лужаек; когда мы шли по Стиллвуд-авеню под кронами кизила, небо было совершенно белым, словно брачное ложе.

До переезда в Атланту я ощущал себя просто ребенком. За тот долгий год я многое узнал; можно сказать, понял значение родины. В первую неделю жизни у бабушки она застукала нас троих, когда мы, взяв веревку, ведро и куриные косточки, собрались идти ловить крабов. Мы были полны решимости найти вблизи Атланты морское побережье или приливно-отливную реку. В наших головах не укладывалось, что в городе, где столько развлечений, негде ловить крабов. Мы совершенно не представляли себе мира без островов и без улиц, которые ведут к морю. Но одну

улицу мы запомнили навсегда — улицу, которая вела к подножию горы Стоун-маунтин[50].

В субботу, перед тем как уехать в Корею, отец поднял нас спозаранку. Мы отправились на машине. У подножия Стоун-маунтин было еще темно. Мы выбрались из автомобиля и по пешеходной тропе двинулись вверх, на самую вершину горы. Там мы встретили восход солнца. До этого мы никогда не видели гор, не говоря уже о том, чтобы подниматься на них. Мы стояли на гранитной вершине, смотрели, как над Джорджией разливается солнечный свет, и нам казалось, что внизу распростерся весь мир. Вдалеке, в солнечном обрамлении, виднелся силуэт Атланты. Пока мы шли наверх, нас изумил громадный незавершенный барельеф, конные изображения Роберта Ли, Джефферсона Дэвиса и генерала Джексона, прозванного Каменной Стеной, — гра-

[50] Примечания: 50

Стоун-маунтин (Stone Mountain, «каменная гора») — сравнительно невысокая (514 м) гранитная гора в окрестностях Атланты, имеющая плоскую вершину. Диаметр подножия более 8 км. Этот гранитный монолит уходит в глубь земли более чем на 14 км.

нитные, вечно скачущие всадники[51].

На вершине горы мы устроили пикник. Мать расстелила белую скатерть и выложила угощение. День был безветренным и ясным, и скатерть застыла на поверхности гранитного гиганта, словно почтовая марка. Вершина принадлежала только нам. Мы шутливо боролись с отцом. На вершине Стоун-маунтин я получил первый урок по особенностям отцовского характера, который сильно меня впечатлил. В тот день я увидел и осознал опасности, угрожающие нашей семье.

Отец лежал на спине и смотрел в голубое небо. Я разглядывал его руки с выступающими венами — совсем как канаты на палубе лодки.

— Папа, зачем тебе снова на войну? — спросила Саванна.

— Будь я проклят, если бы знал зачем, мой ангел, — ответил отец, поднимая дочь в воздух.

— А я хочу назад в Коллетон, — сообщил Люк, обводя взглядом местность. — Здесь нет креветок.

---

[51] Примечания: 51

Имеется в виду мемориальный барельеф в память о трех предводителях южан в Гражданской войне 1861–1865 гг.: президенте Конфедеративных Соединенных Штатов Джефферсоне Дэвисе, генерале Роберте Ли и генерале Томасе Джексоне. Работы на мемориале начались в 1916 г., но двенадцать лет спустя были прерваны более чем на тридцать лет и окончательно завершились лишь в 1972 г.

— Так я всего на год. Вернусь, и мы уедем в Коллетон.

Мать разложила сэндвичи с ветчиной, яйца-мимозы и картофельный салат. Откуда-то появились муравьи; мать с удивлением наблюдала, как они стройными рядами движутся по белой скатерти.

— Буду скучать по нашим малышам, — обратился к ней отец. — Каждую неделю буду писать вам письма и запечатывать их миллионом поцелуев. Но поцелуи только для мамы и Саванны. Мальчишкам, я думаю, поцелуи ни к чему.

— Ни к чему, папа, — согласились мы с Люком.

— Правильно! Вас, ребята, я ращу мужчинами. Не хочу, чтобы из вас выросли недотроги. — Отец пальцами сдавил нам головы. — Надеюсь, за время, пока я на войне, вы не позволите матери превратить вас в неженок. Она слишком много сюсюкает с вами. Не разрешайте ей наряжать вас в кружевные костюмчики и водить на разные чаепития. Вы должны пообещать мне, что каждый божий день будете нещадно мутузить кого-нибудь из местных мальчишек. Не хочу вернуться из Кореи и узнать, что мои сыновья ведут себя как городские хлюпики и умеют только важничать и болтать. Договорились? Запомните:

вы — сельские парни, а сельские парни всегда бойцы.

— Нет, — твердым, хотя и тихим голосом возразила мать. — Мои мальчики будут натурами тонкими, самыми обаятельными на свете. Вот твой боец, Генри, — добавила она, указывая на Саванну.

— Да, папа. Я боец, — кивнула Саванна. — Всегда могу поколотить Тома. И Люка, если он дерется одной рукой.

— Нет. Ты девочка. Девчонки всегда неженки. Мне драчунья не нужна. Лучше будь ласковой и сладкой, настоящей красоткой на радость своему папочке.

— Не хочу быть ласковой и сладкой, — заявила Саванна.

— Ты и так не ласковая и не сладкая, — вставил я.

Более сильная и проворная, Саванна вдруг с размаху ударила меня в живот. Я заревел и побежал к матери. Та закрыла меня руками.

— Саванна, прекрати задевать Тома, — потребовала она. — Ты вечно его дразнишь.

— Видел? — Саванна горделиво посмотрела на отца. — Я боец.

— Том, мне стыдно за тебя, парень, — произ-

нес отец, не обращая внимания на Саванну и в упор глядя на меня. — Ноешь, когда девчонка-пигалица тебя дубасит. Это отвратительно. Парни никогда не плачут. Никогда, что бы ни случилось.

— Генри, Том — ранимый мальчик, — вступилась за меня мать, теребя мои волосы. — И застенчивый.

— Ах, ранимый, — передразнил ее отец. — По-моему, я не говорил ничего такого, что могло его ранить. Люк на его месте не стал бы нюни распускать. Я порол Люка ремнем, и никогда ни одной слезинки. Он и родился мужчиной. А теперь, Том, дай сестре сдачи. Проучи ее.

— Пусть только попробует. Еще получит, — пообещала Саванна, однако по голосу чувствовалось, что она и сама не рада случившемуся.

— Не надо, Генри, — попыталась остановить его мать. — Это не способ воспитания.

— Воспитывай дочь, Лила, — прорычал отец. — А сыновей оставь мне. Иди сюда, Том.

Я покинул материнские объятия. Пять ярдов по каменистой поверхности Стоун-маунтин показались мне бесконечными. Приблизившись к отцу, я замер.

— Перестань хныкать, младенец, — потребовал

он, отчего я заголосил еще сильнее.

— Генри, не надо, — вмешалась мать.

— Прекрати реветь, иначе я дам тебе настоящий повод размазывать слезы.

— Я н-не м-могу, — всхлипывал я.

— Папа, это я виновата! — воскликнула Саванна.

Отец ударил меня по лицу, сбив с ног.

— Я велел тебе перестать реветь, девчонка! — заорал он, нависнув надо мной.

У меня онемело лицо; место отцовского удара пылало огнем. Я уткнулся в камень и разрыдался.

— Генри, отойди от него, — услышал я голос матери.

— Я не намерен слушать твою бабью брехню, Лила, — отрезал отец. — Ты всего-навсего женщина. Так и держи свой поганый рот закрытым, когда я разбираюсь с сыном. Я не лезу, когда ты учишь Саванну. Мне плевать, как ты ее воспитываешь. Мне важно сделать из сопливого мальчишки мужчину. Хуже всего, когда из парня вырастает черт знает кто.

Я поднял голову. Отец тряс мать за плечи. Из ее глаз текли слезы, не столько от боли, сколько от унижения. Никогда я не любил мать так сильно,

как в тот момент. Отец стоял ко мне спиной. Я смотрел на него и чувствовал, как в одном из мрачных закоулков моей души рождается ненависть, возвещая о себе исступленными воплями запретного восторга.

— А ну отпусти маму, — потребовал Люк.

Отец и все мы повернулись к Люку и увидели в его руке небольшой разделочный нож, который он нашел в корзине для пикника.

— Люк, дорогой, не надо. Все в порядке, — торопливо проговорила мать.

— Нет, не в порядке. — Большие глаза моего брата пылали гневом. — Отпусти маму и не смей бить моего брата.

Отец поглядел на старшего сына и засмеялся. Я вскочил и бросился к матери, преследуемый отцовским смехом… Всю жизнь я буду бежать от этого издевательского, унижающего смеха, бежать туда, где есть любовь и нежность.

— Что ты задумал, парень? — спросил отец, обходя Люка.

— Люк, пожалуйста, не надо, — причитала Саванна. — Папа тебя накажет.

— Люк, не надо, — следом за ней умоляюще повторила мать. — Папа не сделал мне больно. Он просто пошутил.

— Да, Люк. Я всего лишь пошутил, — согласился отец.

— Ты не пошутил, — возразил Люк. — Ты жестокий.

— Отдай мне нож, пока я не исполосовал тебе задницу ремнем, — потребовал отец.

— Не отдам. Почему ты такой жестокий? Почему обижаешь маму? Зачем ударил Тома? Он ничего плохого тебе не сделал.

— Люк, положи нож, — велела мать.

Она встала между отцом и сыном. Отец грубо оттолкнул ее.

— Женщина вздумала защищать меня от семилетнего сопляка!

— Это его я защищаю от тебя, — крикнула мать.

Ее крик понесся вниз и замер в лесу.

— Люк, я ведь могу отобрать у тебя нож, — пригрозил отец.

Он пригнулся и стал приближаться к моему брату.

— Знаю. — Люк по-прежнему сжимал в руке блестевшее на солнце оружие. — Но только потому, что я еще мал.

Отец бросился на Люка, поймал за руку и выворачивал до тех пор, пока нож не упал на гранит.

Тогда отец неторопливо высвободил поясной ремень и принялся хлестать Люка по заду и ногам. Отцовские руки — крупные, покрытые рыжими волосами, — так и мелькали в своей жестокой лихорадке. Мать, Саванна и я сбились в кучку и плакали в три голоса от ужаса и сострадания к Люку. А тот глядел в сторону Атланты, без единой слезинки перенося всю дикость и унижение отцовской порки. Только стыд и усталость заставили отца ее прекратить. Он вдел ремень в брюки и обвел взглядом место нашего загубленного пикника. Это был его последний день перед отправкой на войну.

Люк повернулся к отцу и с потрясающим достоинством (оно всегда было его отличительной чертой) произнес дрожащим детским голосом:

— Надеюсь, ты погибнешь в Корее. Я буду молиться за это.

Отец вновь схватился за ремень и наполовину выдернул его из брюк. Но остановился, посмотрел на Люка и на всех нас.

— Эй, народ! Из-за чего столько слез? Неужели никто в этой семье не умеет шутить?

Люк отвернулся. На штанах брата была кровь.

На следующий день отец уехал в Корею, на год исчезнув из нашей жизни. Он разбудил нас ран-

ним утром и каждого грубо поцеловал в щеку. С тех пор отец никогда меня не целовал. После пикника на горе Люк целую неделю не мог ходить. Я же носился по городским тротуарам, радуясь как щенок, что остался без отца.

Перед сном я тайно молился о том, чтобы отцовский самолет сбили. Мои молитвы были чем-то вроде зенитного огня, залпы которого раздавались в глубине детской души. Мне часто снилось, как самолет отца, охваченный пламенем и потерявший управление, камнем падает на землю. Но это были не кошмары — это были самые прекрасные сны шестилетнего мальчишки, осознавшего, что он родился в доме своего врага.

Впоследствии я часто поднимался на Стоун-маунтин. И каждый раз на вершине меня ждал шестилетний малыш, замирающий от ужаса, что отец может вернуться. Этот мальчик, этот несостоявшийся мужчина, живет в памяти Стоун-маунтин. Я хожу по гранитной поверхности и замечаю в камне невидимые борозды. Они прочерчены в том месте, где отец обозвал меня девчонкой. Я никогда не забуду отцовских слов, сказанных в тот день, не забуду своего лица, вспыхнувшего после его удара, и пятен крови на штанах брата. Именно тогда я понял, что хочу

быть похожим на мать. С того дня я отказался от всего отцовского в себе, возненавидел сам факт того, что я мужчина.

В сентябре мы с Саванной пошли в первый класс, в школу Святого Сердца. Люк был уже второклассником, и на него возложили обязанность следить, чтобы мы вовремя и благополучно добирались до школы. Каждого из нас мать снабдила запиской, пришпиленной к белой хлопчатобумажной рубашке. В моей было написано: «Привет! Я первоклассник по имени Том Винго. Если вы нашли меня, когда я заблудился, пожалуйста, позвоните моей матери Лиле по номеру BR3-7929. Она очень волнуется. Спасибо за помощь».

В школу мы отправились с новыми чемоданчиками для завтрака, на ногах у нас красовались такие же новые двухцветные кожаные туфли. Учительницей первого класса была щупленькая застенчивая монахиня, сама чем-то напоминавшая ребенка. Наша учеба сопровождалась ее нежностью и заботой.

В первый день мать и бабушка провожали нас до автобусной остановки на Брайарклифф-роуд, затем мать вместе с нами поехала на автобусе. По дороге она говорила нам, что скоро мы смо-

жем читать и писать и что мы отправляемся в первое путешествие разума. Я сдерживал слезы, пока мать не ушла с игровой площадки. Она сделала это очень тихо и незаметно. Я поднял голову и вдруг увидел, что мать стоит на тротуаре Кортланд-авеню и смотрит, как монахиня выстраивает первоклассников. Я огляделся, ища глазами Люка. Второклассники уже заходили через боковую дверь внутрь школы; брат исчез в толпе.

Я разрыдался. Вслед за мной заревела Саванна. Остро ощутив свою отдельность от матери, мы вырвались из строя и понеслись к ней. Чемоданчики для завтрака нещадно колотили нас по бокам. Мать побежала навстречу. Она опустилась на колени и подхватила нас. Мы плакали втроем. Пережив мгновение оторванности от матери, я яростно цеплялся за нее и мечтал навсегда остаться в ее объятиях.

Сестра Иммакулата[52] подошла к нам и, подмигнув матери, повела нас всех в класс, полный голосящих первоклашек, не желавших расставаться со своими матерями, которые среди маленьких парт казались настоящими вели-

---

[52] Примечания: 52

В переводе с латыни «чистая», «незапятнанная», «безупречная».

каншами. Женщины, как могли, утешали своих чад, одновременно спасая нейлоновые чулки от вцепившихся ручонок. Горе и боль были настоящими и невероятно заразительными. Утрата и осознание прошедших лет — вот что читалось в глазах этих добрых женщин. Одну за другой монахиня деликатно выпроваживала их из класса.

Монахиня показала нам с Саванной хрестоматию, которую предстояло осилить за первый год обучения. Она представила нас соседям Дику и Джейн, после чего отвела в «обеденный уголок» и попросила пересчитать яблоки и апельсины для школьного завтрака. Некоторое время мать еще следила за нами из коридора, потом незаметно исчезла. Нежные белые пальцы сестры Иммакулаты запорхали над нашими головами, превращая школу в наш второй дом. К концу дня Саванна знала наизусть весь алфавит. Я дошел только до буквы D. Саванна распевала алфавит на весь класс; таким образом сестра Иммакулата — тонкий и умелый педагог, достойный всяческих похвал, — вручила будущей поэтессе «ключи» от английского языка. В свой первый сборник Саванна включила стихотворение «Иммакулата», посвященное хрупкой подвижной женщине в черной монашеской сутане, которая умела

преображать обыкновенную классную комнату в уголок рая. Через несколько лет, узнав, что сестра Иммакулата умирает в Атланте в госпитале «Милосердие», Саванна прилетела туда из Нью-Йорка; она прочла монахине это стихотворение и держала ее руку, пока та не умерла.

Новым поводом для слез в мой первый школьный день стала материнская записка, которую я нашел в чемоданчике для завтрака. Сестра Иммакулата прочла ее мне: «Я так горжусь тобой, Том. Я люблю тебя и очень по тебе скучаю. Мамочка». И все. Большего и не требовалось — я ревел взахлеб в добрых руках монахини. И молился, чтобы корейская война длилась вечно.

Спальня Папы Джона Станополуса находилась в самом конце дома. Он проводил там почти все время. Нам было строжайше запрещено шуметь, и мы научились говорить шепотом, беззвучно смеяться и играть, словно насекомые. Особую тишину взрослые требовали соблюдать вблизи комнаты Папы Джона.

Каждый день, вернувшись из школы, мы садились на кухне, ели печенье с молоком и рассказывали, чему научились. Саванна обычно успевала узнать вдвое больше нас с Люком. Учительница брата, язвительная сестра Айрин,

исправно отпускала колкости по поводу католического образования, и Люк добросовестно их пересказывал. Мать хмурилась, обеспокоенная и раздосадованная тем, что сын повторяет пересуды взрослых. Потом она провожала нас в спальню Папы Джона и разрешала побыть там полчаса.

Папа Джон полусидел в постели, упираясь в три мягкие подушки. В его комнате всегда было сумрачно. Его лицо словно выплывало из полутьмы. Наполовину поднятые жалюзи делили помещение на симметричные полоски света. Пахло лекарствами и сигарным дымом.

У Папы Джона была бледная нездоровая кожа; его белая безволосая грудь напоминала поросячью спину. Ночной столик загромождали книги и журналы. Когда мы приходили, он наклонялся и включал лампу. Мы влезали к нему на постель, целовали его в щеки и шею, игнорируя материнские и бабушкины требования быть с ним поосторожней. Они обе стояли и молчаливо следили за нами. При нашем появлении в глазах Папы Джона появлялся блеск, как у охотничьей собаки; он махал обеим женщинам, прося их удалиться. Мы умудрялись переползать через него, а он смеялся и щекотал нас своим потрясающим носом. Я впервые видел нос, который

отбрасывает тень.

— Дети, не забывайте, что Папа Джон перенес сердечный приступ, — напоминала нам из коридора мать.

— Лила, пусть дети побудут со мной, — просил он.

— Папа Джон, достаньте монетку из носа, — приставала к нему Саванна.

Произнеся с нарочитой церемонностью несколько греческих слов, Папа Джон извлекал из носа десятицентовик и подавал Саванне.

— Папа Джон, там еще остались монеты? — спрашивал Люк, заглядывая в темные ноздри.

— Не знаю, Люк, — печально отвечал Папа Джон. — Я недавно сморкался, и монеты так и выпрыгивали из носа. Загляни-ка вон туда. Кажется, что-то застряло у меня в ухе.

Мы тщательно осматривали его волосатые уши, но там было пусто. Папа Джон повторял свои греческие фразы, театрально взмахивал руками, выкрикивал: «Престо!» — и доставал из-за мясистых мочек два десятицентовика, которые тут же переходили к нам.

Вечером, прежде чем отправиться в постель, мать позволяла нам еще раз навестить Папу Джона. Только что из душа, чистые как снег, мы

устраивались среди его подушек, словно три спутника вокруг новой луны. Мы по очереди зажигали ему сигары, строго-настрого запрещенные его врачом. Папа Джон откидывался назад; над его лицом плавал нимб ароматного дыма. Обычно перед сном он делился с нами воспоминаниями.

— Толита, а может, рассказать детишкам про времена, когда двести турок взяли меня в плен? — советовался он с бабушкой, стоявшей возле двери.

— Не пугай их на ночь, — отзывалась бабушка.

— Ну пожалуйста, расскажи нам про турков[53], — канючил Люк.

— Турок, — поправлял его Папа Джон. — Надо говорить «турок», Люк.

— Папа Джон, они ведь глаз не сомкнут без вашей истории, — улыбалась мать.

— Мама, пожалуйста, — вторила брату Саванна. — Мы не сомкнем глаз, пока не услышим про турок.

Каждый вечер этот худой, высохший человек уводил нас в чудесные, невероятные путешествия по всему свету, где ему приходилось сталкивать-

---

[53] Примечания: 53

В оригинале Люк говорит «turkeys» (индюшки), путая это слово со словом «Turks» (турки).

ся с вероломными турками; те нападали на него целыми батальонами. Однако Папа Джон изобретал хитроумные способы отбить вражеские поползновения и вернуться на белые простыни своей постели, где медленно и мучительно умирал. И не было рядом верных заступников — воинов Агамемнона; умирал Папа Джон отнюдь не доблестно, окруженный не турками, а всего лишь тремя детьми. Он ежедневно слабел; вскоре его воспоминания сделались для него столь же важными и необходимыми, как для его юных слушателей. Яркие искры его воображения ненадолго зажигали в этой комнате огонь жизни. У Папы Джона никогда не было детей, и эти истории изливались из него яркими нерастраченными потоками.

Бабушка и мать тоже стояли и слушали. Я не знал, кто такой Папа Джон, откуда он приехал и какое отношение имеет ко мне. Никто из взрослых не давал нам никаких объяснений. Наш дедушка остался в Коллетоне; мы плакали, прощаясь с ним. Родители строго приказали нам называть бабушку только по имени, и не дай бог нам проболтаться, что она — мать нашего отца. Возможно, Папа Джон был талантливым рассказчиком, но по части фантазии бабушка его

превосходила.

Потом мать уводила нас из спальни Папы Джона в тускло освещенный коридор. Мы проходили мимо двери, что вела в страшный подвал, и по винтовой лестнице поднимались на второй этаж, где была большая комната, служащая нам детской. Если дул ветер, ветви нависавшего дуба стучали по козырьку окна. Наши кровати стояли в ряд; Саванна спала на средней, мы с Люком — на боковых. Кроме небольшой прикроватной лампочки, других источников света в этой комнате не было. Когда мы двигались, вместе с нами по косым стенам двигались наши громадные тени.

Раз в неделю от отца приходили весточки; мать читала нам их перед сном. Отец излагал сухим, военным стилем, его письма больше напоминали донесения. Каждую свою боевую операцию он описывал, как обыденное дело вроде похода за хлебом или заправки машины.

«Я вылетел на разведку вместе с Биллом Ландином. Мы смотрели, как отряд наших бравых мальчиков взбирается на одну горку, и вдруг чуть повыше я разглядел кое-что забавное. „Билл, ты замечаешь то, что замечаю я?“ — спросил я его по радио. Оборачиваюсь и вижу, что Билли пялится вниз во все глаза. Значит, старина Билл

их тоже заприметил. Где-то на середине горы в засаде залегло около трехсот северокорейских молодцов. Они поджидали наших ребят. Я врубил передатчик и говорю: „Эй, парни, устраивайте-ка привал“. — „Зачем?“ — спрашивает меня их радист. „А затем, что угодите прямо в лапы северокорейцев“. Радист не стал упираться. Тогда мы с Биллом решили спуститься пониже и немного попортить нервы этим желторожим. Я первым ушел на снижение и скинул им несколько напалмовых бомб. Это сразу привлекло их внимание. Корейцы вертелись юлой, пытаясь счистить напалм с одежды. Но это им не пух. Если напалм прилип, его не собьешь. Гляжу, Билли тоже кладет яйца. Началась заварушка. Я сообщил на базу, и нам в помощь послали целую эскадрилью. Три дня мы преследовали этих корейцев. Заправлялись, летели дальше, опять заправлялись и снова продолжали их гнать. Наконец мы настигли их остатки — северокорейцы переправлялись через реку Нактонган. Мы поймали их на открытом участке и немного покрасили реку в красный цвет. Это развеселило нас, но ненадолго. Азиаты плодятся как кролики, и одному черту известно, сколько их еще сидит по джунглям. Скажи нашим малышам, что я их очень люблю. Пусть молятся

за своего отца и не дают в обиду свою маму».

— Мам, а кто такой Папа Джон? — поинтересовалась Саванна как-то вечером.

Ты же знаешь, муж Толиты.

— А нам он кто? Дедушка?

— Нет. Ваш дедушка Амос остался в Коллетоне.

— Но ведь Толита нам бабушка?

— Пока вы живете здесь, она ваша двоюродная тетка. Папа Джон не должен узнать, что вы ее внуки.

— Но кто же мы, если она — папина мать? — не унималась Саванна.

— Пока мы здесь, она — папина двоюродная сестра. Не приставайте ко мне с расспросами. Тут все слишком запутано.

— Разве Толита не жена дедушке Амосу?

— Они уже много лет не вместе. Потом вы все поймете. Довольно вопросов. Никого из вас это не касается. Папа Джон любит вас как своих внуков. С этим вы согласны?

— Да, мама, — ответил за всех Люк. — Но почему ты называешь его папой? Он что, твой отец?

— Нет, конечно.

— А где твои родители?

— Умерли задолго до того, как вы родились.

— Как их звали? — уточнил я.

— Томас и Хелен Трент.

— Как они выглядели? — осведомилась Саванна.

— Они были очень обаятельными людьми. Как принц и принцесса. Так все говорили.

— Они были богатыми?

— До Великой депрессии — очень. Но потом лишились всех своих богатств.

— У тебя есть их фотографии?

— Нет. В доме вспыхнул пожар, и все сгорело.

— И твои родители сгорели?

— Да. Это был ужасный пожар, — бесстрастным голосом отозвалась мать.

У нее было напряженное и настороженное лицо… Моя красавица мать. Мать-лгунья.

В доме Толиты у нас была всего одна обязанность. На чердаке стояли ряды пыльных стеклянных банок с завинчивающимися крышками, в которых Папа Джон хранил свою живую коллекцию пауков «черная вдова». Это было его хобби. Пауков он продавал учителям биологии, энтомологам, зоопаркам и частным коллекционерам. На нас было возложено задание присматривать за этими маленькими злобными созданиями, напоминающими ожерелья из черных бусинок. Дважды в неделю Люк, Саванна и я спускались

во мрак подземелья, включали единственную лампочку без абажура, свисавшую на проводе, и кормили безмолвных существ, каждое из которых, если верить словоохотливому Папе Джону, могло «убить наповал». Кур и индюшек мы кормили, едва научившись ходить, но взаимодействие с пауками требовало смелости; мы возбуждались от сознания причастности к важному делу. Где уж курам тягаться с пауками! В нужный час мы приходили в комнату Папы Джона, слушали его подробные наставления, а затем по деревянной лестнице спускались в подвал, чтобы вновь увидеть крошечных пауков, застывших в неподвижности и ожидавших нас так, словно мы являли собой рой мух.

По субботам мы приносили банки Папе Джону на проверку. Он тряпкой стирал с них пыль и тщательно разглядывал содержимое. Нас он подробно расспрашивал о паучьих аппетитах. После этого Папа Джон подсчитывал количество грушевидных мешочков с яйцами. Появление каждого нового поколения «черных вдов» он отмечал в записной книжечке. Бывало, он осторожно извлекал из банки паучиху и давал ей погулять по тарелке. Поползновения перебраться через край решительно пресекались пинцетом.

Старый грек не раз указывал нам на красные песочные часики, словно вытатуированные на брюшке паучихи.

— Вот оно, предостережение, — говорил Папа Джон. — Эти песочные часики означают: «Я убиваю».

— Папа Джон, почему вы разводите «черных вдов»? — однажды спросила Саванна. — Ведь можно заниматься золотыми рыбками. Они приятнее. Или вообще марки собирать.

— Развожу я их, дорогая моя, потому что был предпринимателем, — ответил Папа Джон. — Весьма удачливым торговцем обувью, черт меня подери. Но продавать обувь — занятие весьма заурядное. И мне захотелось сделать что-то такое, чего не делал никто. Что-то особенное. Вот я и стал торговцем обувью, который у себя в подвале разводит пауков. «Черные вдовы» привлекли ко мне внимание множества людей.

— Их самки действительно съедают своих мужей? — поинтересовался Люк.

— Да, они очень жестокие дамы, — усмехнулся Папа Джон. — Расправляются со своими кавалерами сразу после брачной ночи.

— Они могут закусать до смерти? — осведомился я.

— Насколько знаю, для детей их укус смертелен. Но сомневаюсь, что «черные вдовы» способны убить взрослого. Человека, который приохотил меня к этому делу, они кусали дважды. Он сильно болел и даже думал, что отдаст богу душу. Однако до сих пор жив.

— Он что, был недостаточно внимателен? — задал я новый вопрос.

— «Черные вдовы» довольно смирные до тех пор, пока им не приходится защищать свои яйца. Тогда они становятся агрессивными. А тому человеку нравилось, когда паучихи разгуливали у него по руке.

— Меня от одной мысли дрожь пробирает, — призналась Саванна.

— И тем не менее он разводил изумительных пауков, — добавил Папа Джон, разглядывая своих питомцев.

Забота о «черных вдовах» требовала терпения и сосредоточенности, редко встречающихся у детей нашего возраста. Мы серьезно относились к своей обязанности и с невероятным фанатизмом изучали жизненные циклы пауков. Еще бы, ведь мы присматривали за тварями, способными нас убить. С того времени, когда я прижимался носом к стеклянным банкам и наблюдал за монотон-

ным и одновременно пугающим существованием «черных вдов», началась моя любовь к паукам и другим насекомым. Я смотрел на черные бусинки, застывшие среди почти невидимой паутины, сотканной из слюны этих насекомых. Пауки затягивали пространство банки слоями тончайших нитей, в которых висели дни напролет. Их проворство всегда имело одну цель — убийство. Мы месяцами наблюдали, как самки уничтожают и пожирают самцов. Мы привыкли к круговороту их жизни, к их времени, что исходило из маленьких красных песочных часов и рассыпалось по сверкающим асимметричным нитям паутины. На наших глазах созревшие яйца трескались и по банке коричневыми и оранжевыми зернышками разлетались новорожденные паучата. Постепенно мы перестали бояться «черных вдов»; наоборот, мы восторгались ими и были готовы защищать. В простом строении их тел было столько красоты; они скользили по паутине, неся в своих чреслах тайну плетения шелковистых кружев, и создавали целый мир в банке, заполненной воздухом Джорджии. Пауки мастерски делали то, ради чего появлялись на свет.

За домом Толиты начинался большой лиственный лес. Он был окаймлен невысокой каменной

оградой, которая тянулась вдоль Брайарклифф-роуд; через каждую тысячу футов на ней имелись таблички с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Бабушка, заговорщическим шепотом поведав нам, что там живут «невероятно богатые люди», предупредила: никогда, ни при каких обстоятельствах не перелезать через ограду и не играть в запретном лесу. Это были владения семьи Кэндлеров — наследников фабриканта, начавшего выпускать кока-колу[54]. Бабушка всякий раз говорила о них как о сословии пэров. По ее словам выходило, что Кэндлеры занимают в Атланте положение, почти равное положению королевской семьи.

Однако каждый день после школы мы подходили к ограде, смотрели на сочную зелень и вдыхали аромат леса. Нам казалось, что даже деревья в нем пахнут деньгами. Нам не терпелось хотя бы мельком увидеть кого-нибудь из этого аристократического и загадочного рода. Запреты запретами, но мы были детьми и в итоге перелезли через ограду, собираясь сделать несколько робких шагов и тут же убежать назад. В следующий раз прогулка по чужому лесу была длиннее,

[54] Примечания: 54

Американский промышленник Аса Григгс-Кэндлер в 1892 г. основал «The Coca-Cola Company».

однако смелость вскоре иссякла, и мы вернулись к себе во двор. Вот так, постепенно, мы начали развеивать миф о запретном лесе. Вскоре мы лучше самих Кэндлеров знали каждый уголок этого рая. Мы изучили его секреты и границы, мы прятались в рощицах, влезали на деревья и ощущали шальное чувство неповиновения, бурлящее в юных сердцах, у которых хватает отваги игнорировать странные законы взрослых. Мы забирались в чащу и с рогатками охотились на белок. Мы затаивались на верхних ветвях и оттуда следили за счастливыми детьми семейства Кэндлеров, когда те с серьезным скучающим видом катались по дорожкам на чистопородных лошадях. Мы шпионили за садовником, удобряющим кусты азалий.

В один из теплых ноябрьских вечеров мы тайком покинули нашу спальню, перелезли из окна на громадный дуб, спустились вниз и отправились во владения Кэндлеров. Мы приблизились к их особняку, а затем на животе поползли по густой траве к самым стенам этого мрачноватого здания в тюдоровском стиле. Из застекленных створчатых дверей лился серебристый свет. Мы попали ко времени ужина, когда за столом собралось многочисленное семейство. Слуги

подкатывали тележки, полные неизвестных нам блюд. Хозяева особняка, все исключительно бледные, сидели прямо, как на церковной службе; выражения их лиц были серьезными и благочестивыми.

Затаив дыхание, мы восторженно следили за священнодействием, именуемым ужином. На столе в канделябрах горели свечи. Гроздья их огоньков дополнял мягкий свет люстр. Мы были заворожены незнакомым миром богатых с его апатией и застегнутым на все пуговицы величием. Лежа на лужайке, где недавно скосили траву, мы вбирали в себя каждую мелочь этого случайно подсмотренного медленного ужина. За столом, где восседали наследники, не было слышно ни смеха, ни разговоров. Мы решили, что богатые немы как рыбы. Под стать им двигались и слуги, напоминавшие пингвинов. Нам казалось, что у них не сгибаются ноги. Все движения они соизмеряли со скоростью трапезы: подливали вино в бокалы, перемещались от окна к окну, словно распорядители похорон. Никто из них не догадывался о нашем присутствии. А мы, прячась в темноте, вдыхали изысканные ароматы блюд, глазели на таинственных Кэндлеров и проходили посвящение в особые традиции и ритуалы на-

следников королевства кока-колы. Они не знали, что мы владеем их лесом.

Особняк в тюдоровском стиле назывался Калланвольд.

В лесах Калланвольда (так мы стали называть весь мир Кэндлеров) мы нашли подходящую замену острову, с которым нас разлучила корейская война. На одном из густых дубов мы соорудили нечто вроде хижины. В центре крупнейшего города Юга мы вновь жили жизнью сельских ребят. В сумерках мы слушали крики перепелов. Под воздушными корнями трехгранного тополя обитали серые лисы. Мы приходили в этот лес и там вспоминали, кто мы, откуда появились и куда вернемся. Когда мы переступили запретную черту и освоили чужие владения, Атланта стала для нас прекрасным городом.

Только потом я понял: я любил Атланту, поскольку в детстве это было единственное место на земле, где я жил без отца; однако к тому времени воспоминания об Атланте обрели мрачные тона, а лес Калланвольда стал опасным местом. К тому времени в нашу детскую жизнь проник великан, и дети, не боявшиеся пауков, узнали о том, сколько страшного таит в себе мир взрослых.

Было начало марта. Кизиловые деревья по-

крылись цветами. Земля откликалась зеленым буйством на теплые солнечные дни. Мы брели по лесу, разыскивая коробчатых черепах… Первой его увидела Саванна. Она застыла и лишь показывала пальцем.

Он стоял возле дерева, обвитого ядовитым сумахом, и мочился. Прежде мне не доводилось видеть такого могучего мужчину, хотя рос я среди коллетонских ловцов креветок, отличавшихся легендарной силой. Этот человек взялся из ниоткуда, вырос, словно причудливое дерево. У него было удивительно громадное, крепкое тело. Лицо покрывала рыжая борода. Великан посмотрел на нас, но совсем не так, как взрослые смотрят на детей. Мы почуяли неладное. В его блуждающем взгляде сквозила угроза — мы это сразу ощутили. В его голубых глазах не было ничего человеческого. Он застегнул брюки и повернулся к нам. Рост его был не менее семи футов. Мы бросились бежать.

Добравшись до каменной ограды, мы перемахнули через нее и с криками устремились на наш задний двор. Возле крыльца мы обернулись. Великан стоял на краю леса и смотрел нам вслед. Ограда, через которую мы могли только перелезть, была ему по пояс. Услышав наши крики,

из задней двери вышла мать. Мы указали ей на великана. Мать сделала несколько шагов в его сторону.

— Что вам нужно, мистер? — обратилась она к великану.

Теперь и она заметила что-то дьявольское и ненормальное в лице незнакомца.

— Тебя, — ответил великан.

У него был высокий, почти писклявый голос, немыслимый для такого гиганта. В этом голосе не ощущалось жестокости или неуравновешенности; просто он звучал не по-человечески.

— Что? — Мать удивилась, напуганная равнодушием его интонаций.

— Мне нужна ты.

Повторив это, великан шагнул в нашу сторону.

Мы скрылись в доме. Мать заперла заднюю дверь. Великан смотрел на мать через кухонное окно. Прежде я не видел, чтобы мужчина разглядывал женщину с такой первозданной похотью.

Мать опустила жалюзи и позвонила в полицию.

— Я вернусь, — донеслось с улицы.

Когда приехала полиция, великана уже не было. Полицейские прочесали лес, но нашли лишь нашу деревянную хижину и следы от ботинок

девятнадцатого размера[55]. Мать отшлепала нас за вторжение в запретный мир.

Тогда своим детским разумом мы искренне верили, что сами спровоцировали появление великана, что он стал ответом на наше злостное неповиновение. Мы думали, что великан пришел из глубин преисподней как орудие неподкупной божественной справедливости, посланное в наказание за наше пересечение запретных границ Калланвольда. Мы посмели вторгнуться в мир богатых, и Бог отправил к нам великана, дабы нас покарать. Так нам тогда казалось.

Больше мы не появлялись в лесу Калланвольда; великан обнаружил всю тяжесть нашего греха. Он потребует искупления. Он накажет детей Винго извращенным и впечатляющим способом. Нет, он не тронет самих грешников — он умеет наказывать детей с отменной жестокостью: он явится за их матерью.

К бесконечным тайнам в доме Толиты добавилась еще одна. Нам не позволили рассказать Папе Джону о лесном верзиле.

— Дорогой, у него очень слабое сердце, — объяснила мне бабушка.

---

[55] Примечания: 55
В пересчете на более привычную нам систему — 56-го размера!

Я же считал, что нужно немедленно доложить о случившемся Папе Джону. Если великан вернется, нам будет спокойнее рядом с человеком, способным убить двести турок. Однако бабушка заверила нас, что они с мамой «большие девочки» и сумеют за себя постоять.

Всю следующую неделю мы хранили бдительность и осторожность, однако дни проходили без происшествий. Улицы Атланты полыхали белым пламенем цветущих кизилов. Над клевером и азалиями самозабвенно жужжали пчелы. Мать написала деду Винго письмо, сообщив, что мы вернемся на остров, как только отец прибудет в Штаты. Мать назвала точную дату нашего приезда и попросила деда нанять какую-нибудь негритянку для уборки и подготовки дома. Она не забыла упомянуть, что бабушка передает ему самые наилучшие пожелания. Затем по настоянию матери каждый из нас вывел в нижней части листа: «Я люблю тебя, дедушка». Письмо мать отправила на адрес нашего дома, зная, что тот почтовый ящик дед проверяет чаще, чем свой. В пятницу утром, провожая нас на автобусную остановку, мать опустила письмо на Роуздейл-роуд и подняла красный металлический флажок, чтобы почтальон забрал конверт.

Только летом, вернувшись на остров, мы узнали, что дед не получал того письма. Оно все-таки дошло, но более чем с десятилетним опозданием.

Воскресным вечером мы сидели в гостиной и смотрели по телевизору «Шоу Эда Салливана»[56]. Мать и бабушка расположились в коричневых тяжелых креслах. Я растянулся на полу возле ног матери. Люк лежал на животе, поглядывая на экран и одновременно пытаясь доделать домашнее задание по арифметике. Саванна забралась к бабушке на колени. Мать протянула мне миску с горячим попкорном. Я запустил туда руку и захватил пригоршню. Два зернышка упали на пол; я подобрал их и съел. А потом… гостиная наполнилась ужасом. Саванна произнесла единственное слово, подействовавшее как удар током: «Калланвольд».

Он стоял на крыльце и через стеклянную дверь наблюдал за нами. Неизвестно, сколько времени он вот так за нами следил. Полная неподвижность роднила его с растением; он напоминал дикий плющ, появившийся за то время, что мы

[56] Примечания: 56

Популярное ток-шоу, продержавшееся на американском телевидении с 1948 по 1971 г. Его вел известный журналист и телеведущий Эд Салливан.

смотрели передачу. Великан не сводил глаз с моей матери. Он вернулся за ней, и только за ней. Лицо великана было белым, как алебастр. Он заполнял собой все пространство крыльца, словно колонна, подпирающая обломок здания.

Великан взялся своей лапой за дверную ручку и согнул ее. Мы услышали жалобный скрип металла. Мать вскочила и на ходу шепотом попросила бабушку:

— Толита, звони в полицию. Только двигайся медленно, чтобы он не заподозрил.

Мать подошла к двери и встала напротив великана.

— Что вам надо? — спросила она.

— Лилу, — ответил он.

Его голос был все таким же высоким, не вязавшимся с внешностью. Услышав собственное имя, мать в ужасе отпрянула. Великан зловеще улыбнулся и вторично дернул ручку двери.

И тогда мать заметила его громадный обнаженный член цвета поросячьей кожи. Саванна тоже увидела его и закричала. Люк поднялся на ноги.

— Сейчас приедет полиция, — пригрозила мать.

Неожиданно великан разбил кирпичом застекленную часть двери. В дыру просунулась его

длинная рука. Он потянулся к задвижке, запиравшей дверь изнутри. Ладонь задела острые края в стекле; пошла кровь. Мать схватила великана за руку, пытаясь ему помешать. Тогда он ударил ее в грудь, и мать упала на пол. До меня доносились возгласы Саванны и Люка, но они были где-то далеко и звучали глухо, словно из-под воды. Мое тело онемело, как десна после обезболивающего укола. Великан оторвал задвижку и теперь силился повернуть ключ и открыть врезной замок. Он тихо, по-звериному, рычал и гнул ключ. Тут к нему подскочил Люк с каминной кочергой. Брат ударил великана по запястью. Тот заорал от боли и убрал руку, но вскоре повторил свою попытку. Люк снова ударил со всей силой, какая имелась у семилетнего мальчишки.

За моей спиной послышалось шарканье бабушкиных шлепанцев по натертому коридорному полу. Я обернулся и увидел в руке Толиты небольшой револьвер.

— Люк, пригнись! — приказала бабушка, и брат послушно распластался по полу.

Толита выстрелила по стеклянной двери.

Выстрел пробил стекло вблизи головы великана; непрошеный гость тут же отпрянул. Великан спрыгнул с крыльца и бросился в спасительный

лес Калланвольда. Он бежал, а набухший член колотил его по ноге. Со стороны Понс-де-Леон послышались полицейские сирены.

Бабушка распахнула дверь и крикнула с крыльца в темноту:

— Я отучу тебя трахать провинциальных девчонок!

— Что у тебя за слова, Толита? — возмутилась мать, еще не оправившаяся от случившегося. — Тут же дети.

— Дети видели, как этот мерзавец размахивал своей игрушкой и пытался добраться до их матери. По-моему, такое куда вреднее слов.

Когда все закончилось, мать обратила внимание, что я как ни в чем не бывало ем попкорн и смотрю «Шоу Эда Салливана». Однако целых два дня я не мог говорить. Папа Джон проспал это вторжение. Его не разбудила ни бабушкина стрельба, ни приезд полиции. Когда он поинтересовался причиной моего странного поведения, мать обманула его, сказав, что у меня ларингит, а бабушка поддержала эту ложь. Они были южанками и чувствовали себя обязанными оберегать своих мужчин от опасностей и дурных новостей. Мое молчание, моя ущербная бессловесность лишь подкрепляли их уверенность в изначаль-

ной слабости и уязвимости мужчин.

Целую неделю на Роуздейл-роуд стояла полицейская патрульная машина; по ночам возле нашего дома прогуливался детектив в штатском. У матери пропал сон; после полуночи она не выходила из нашей комнаты, навязчиво проверяя и перепроверяя запоры на окнах. Однажды я проснулся и в лунном свете увидел ее силуэт. Мать стояла у окна и всматривалась в темноту леса. Тогда-то я впервые заметил в ней женщину. Мать опасалась нашего врага, а я с ужасом и стыдом сладострастия разглядывал ее тело, восхищаясь полнотой ее грудей и изгибом талии.

Первоначальный смысл слова «Калланвольд» для нас изменился; с подачи Саванны мы стали называть великана Калланвольдом. «Калланвольд ночью не приходил?» — спрашивали мы за завтраком. «Мама, полиция еще не поймала Калланвольда?» — интересовались мы у матери, когда она читала нам перед сном. Это слово стало нарицательным, превратилось в синоним всего злого и чудовищного в мире. Когда сестра Иммакулата своим мелодичным голосом описывала нам муки ада, для нас с Саванной это был рассказ о пространстве и границах Калланвольда. Когда отец в очередном письме написал, что его самолет

обстреляли из пулемета и он с огромным трудом дотянул до базы, нюхая дым горящего хвоста и боясь, как бы машина не взорвалась в воздухе, мы окрестили этот жуткий полет Калланвольдом. Теперь это слово означало у нас ужасного человека, ужасное место, ужасное состояние мира, который вдруг наполнился страхами.

Через две недели усердного патрулирования полицейские заверили мать, что этот человек больше не вернется в дом Толиты.

Он явился тем же вечером.

Мы опять-таки смотрели телевизор и ели попкорн. Зазвонил телефон. Мать вышла в коридор, чтобы ответить. Это была миссис Фордем — старуха из соседнего дома. Я видел, как мать побледнела. Она положила трубку и совершенно неживым голосом произнесла:

— Он на крыше.

Мы подняли глаза к потолку; вскоре раздались тихие звуки шагов. Великан разгуливал по черепице покатой крыши.

— Не поднимайтесь наверх, вдруг он уже в доме, — шепотом велела мать.

Она позвонила в полицию.

Минут десять мы слушали, как великан лениво бродит по крыше. Он не делал попыток влезть че-

рез окно на второй этаж. Своим присутствием он красноречиво свидетельствовал, что никуда не исчез и по-прежнему будет сеять панику в наших сердцах. Вдали послышался рев полицейских сирен, летевший над Атлантой, словно трубный глас ангелов-спасителей. Великан с края крыши перебрался на дуб, росший возле дома. Мать подошла к окнам музыкальной комнаты. Оттуда было видно, как великан спрыгнул на землю. Он оглянулся, заметил мать и с улыбкой помахал ей своей ручищей. Затем ленивой трусцой двинулся к темной полосе деревьев.

На следующий день полицейские явились с ищейками и стали прочесывать лес, однако собаки быстро потеряли след.

Великан исчез на целых два месяца.

Он исчез, но продолжал незримо присутствовать в доме. Он жил в каждой нише, в каждом укромном уголке. Каждую дверь мы открывали с опаской, ожидая увидеть за нею великана. Мы стали бояться темноты. Хотя великан и не появлялся по ночам, моральное напряжение было ничуть не меньше физического. Окрестные деревья утратили для нас здоровую яркую красоту и превратились в уродливых чудовищ. Лес Калланвольда стал лесом великана, его безопас-

ным убежищем и местом неиссякаемой угрозы. В каждом окне воображение рисовало нам облик чудовища; стоило нам закрыть глаза, и уже сознание воспроизводило его, словно картинку на листе бумаги. Жестокие глаза великана будоражили наши сны. На лице матери появился отпечаток ужаса. Теперь она спала днем, а ночью бродила по дому, проверяя замки.

С позволения матери мы переместили из подвала в нашу комнату сорок банок с «черными вдовами». Мы действовали сосредоточенно, проявляя величайшую осторожность. Теперь, когда Калланвольд угрожал дому, мы откровенно боялись лишний раз спуститься в подвал. К тому же там имелся дополнительный выход. Полицейские предупредили бабушку: подвальная дверь — самый легкий способ проникновения в дом. Толита облегченно вздохнула, когда все банки с пауками выстроились длинными рядами на пустом книжном стеллаже в детской. Когда в нашей школе был День домашних любимцев, мы втроем принесли по пауку и получили общий приз. Наших пауков признали самыми необычными домашними любимцами.

По вечерам ярко освещенный дом Толиты напоминал аквариум. Мы бродили по комна-

там и ощущали на себе взгляд Калланвольда, следящего за нами из сумрака дубовых ветвей. Нам представлялось, что он наблюдает и оценивает наши действия; великан казался нам вездесущим. Но Калланвольд не торопился; он выбирал удобный момент для нового вторжения. В электрическом свете осажденного дома нас окружала напряженная и настороженная атмосфера собственных навязчивых мыслей. По вечерам полиция дважды к нам приезжала. Они с фонариками осматривали деревья, кусты и кромку леса. Они отбывали ни с чем, и пространство снова наполнялось страхами.

В тот год Люк не осилил программу второго класса. Брата это очень удручало, но мы с Саванной только радовались, что пойдем во второй класс все вместе. В тот год я потерял свой первый зуб, мы с Саванной переболели корью, а торнадо разрушил несколько домов в районе Друид-Хиллс. Однако в нашей памяти год этот остался «годом Калланвольда».

До возвращения отца из Кореи оставалась неделя. Вечером мы, как обычно, зашли в комнату Папы Джона и пожелали ему спокойной ночи. Теперь мы говорили с ним только шепотом. Муж Толиты сильно сдал, и врач запретил ему расска-

зывать нам истории на сон грядущий. Мы видели ежедневное угасание Папы Джона. Его бурлящая жизненная сила почти иссякла. Каждый день он преподавал нам еще один маленький урок умирания, уходя все дальше и дальше. Глаза Папы Джона утратили прежний блеск. Бабушка стала напиваться по вечерам.

Скорый приезд отца приободрил маму. Все мы видели в отце героя и спасителя, странствующего рыцаря, способного избавить нас от страхов перед Калланвольдом и от самого великана. Я уже не молился о гибели отца. Теперь я молился о том, чтобы он был рядом и защитил мать.

В тот вечер мама читала нам главу из «Олененка»[57]. Сильный ветер раскачивал дубы вокруг дома. Мы все вместе помолились, затем мать поцеловала каждого из нас, пожелала спокойной ночи, выключила свет и ушла. Ее шаги доносились уже с винтовой лестницы; в темноте комнаты по-прежнему плавал запах ее духов. Под шум ветра я заснул.

Через два часа я открыл глаза и увидел в окне его. Калланвольд глядел на меня. Заметив, что я

---

[57] Примечания: 57

«Олененок» — детская повесть американской писательницы Марджори Киннан Ролингс (1896–1953).

проснулся, он приложил палец к губам, требуя молчания. Я и так был не в состоянии что-то сказать или пошевельнуться. Каждую клеточку моего тела сковал неописуемый ужас. Взгляд великана пригвоздил меня к постели. Я оцепенел, словно птичка перед медноголовой змеей.

Следом за мной проснулась Саванна; сестра закричала.

Великан ногой ударил по стеклу, усыпав пол детской осколками.

Люк вскочил на ноги и позвал мать.

Я по-прежнему не двигался.

Саванна схватила с ночного столика ножницы. Едва великанья ручища просунулась внутрь и стала подбираться к оконному шпингалету, моя сестра с силой всадила в нее острие ножниц. Великан взвыл от боли и отдернул руку. Теперь он ногой крушил оконную раму. В комнату летели щепки и осколки.

Великан вертел своей крупной свирепой головой, оглядывая комнату. Заметив мать в проеме двери, он улыбнулся.

— Прошу вас, уйдите. Уйдите, пожалуйста, — дрожа всем телом, умоляла его мать.

Саванна бросила великану в лицо щетку для волос. Тот захохотал.

И тогда над его головой разбилась первая банка с пауком.

Вторую Люк бросил прямо Калланвольду в лицо, но промахнулся. Банка рассыпалась о подоконник.

Голова великана исчезла. Теперь он просовывал в разбитое стекло свою толстенную ногу. Он не торопился и действовал аккуратно. Люк отвинтил крышки четырех банок и высыпал пауков великану на штанину. Саванна сбегала к стеллажу, вернулась с банкой и швырнула ее в великанью ногу. Банка ударилась о пол и разбилась. Мать кричала, зовя бабушку. Великан просунул в окно вторую ногу и нагнулся, собираясь пролезть целиком. Тут-то он и получил первый укус «черной вдовы», пославшей свой яд в его кровеносную систему. Вой великана от нестерпимой боли мы запомнили надолго. В полосе коридорного света было видно, как опьяненные свободой пауки густо облепили все складки и изгибы его брюк. Насекомые ползали по великану. От боли и страха Калланвольд потерял всякое самообладание и покатился вниз. Его тело с шумом грохнулось на землю. Великан катался по траве и дубасил себя ручищами по ногам, ляжкам и промежности. Потом он вско-

чил на ноги, посмотрел на мать, стоявшую возле сломанного окна, снова завопил и понесся к лесу. Пауки действовали не хуже напалма.

Невозможно сказать, сколько укусов получил великан в ту ночь. На следующий день снова явились полицейские с ищейками; их собаки возле заправочной станции на Стиллвуд-авеню снова потеряли след. Полиция проверила клиники, но рыжебородый великан ростом в семь футов, искусанный «черными вдовами», не обращался ни в одну больницу штата Джорджия. Его исчезновение было таким же загадочным, как и появление.

В следующую субботу вернулся отец; в тот же день мы уехали на наш остров. Мать запретила рассказывать отцу о великане, превратившем нашу жизнь в ад. Когда мы спросили о причине молчания, она ответила:

— Отец только с войны. Он мечтает о счастливой семье и имеет право на спокойствие.

Нахмурившись, мать добавила, что отец может подумать, будто это она привлекла внимание Калланвольда. Оказывается, отец был уверен, что любая изнасилованная женщина сама подала повод. Мать сказала нам об этом сухо, по-взрослому.

— Есть вещи, которых мужчинам никогда не понять, — заключила она.

Целых три дня Люк, Саванна и я собирали пауков. Полдюжины обнаружилось в нашей спальне, еще два — на чердаке, один забрался в мои старые теннисные туфли. Больше мы в той комнате не ночевали. После нашего отъезда бабушка продолжала находить пауков в разных местах дома. Когда Папа Джон умер, она отнесла всех пауков в лес Калланвольд и выпустила на свободу. С тех пор ни она, ни мы не убили ни одного паука. Паук стал первым священным животным в нашей семейной хронике.

Много лет спустя, просматривая газетные вырезки в публичной библиотеке Атланты, я наткнулся на фотографию, снабженную короткой подписью: «Вчера ночью в Остелле, штат Джорджия, был арестован 31-летний Отис Миллер, который подозревается в изнасиловании и убийстве Бесси Фурман — разведенной учительницы местной школы».

Я сделал фотокопию этой заметки и поперек написал одно-единственное слово: «Калланвольд».

Глава 6



Вестибюль отеля «Плаза» встретил нас ухоженными пальмами и брезгливо наморщенными носами коридорных. Пройдя мимо тех и других, мы направились в «Дубовый зал» и заняли столик в углу. Минут через пять появился официант, на лице которого застыла маска высокомерия и тщательно заученного безразличия. Наши заказы он принимал с такой важностью, словно определял курс акций. Я подумал, не выбрать ли мне вяленое мясо, нарезанное ломтиками, или маринованные свиные губы, но вряд ли этот заказ пробил бы броню физиономии официанта. В итоге я предпочел мартини со льдом и лимоном, уже зная, что парень непременно принесет мне бокал, в котором будет плавать чертова зеленая оливка — на сленге некоторых дорогих гостиничных баров слово «лимон» означает «оливка».

Доктор Лоуэнстайн заказала бокал «Пуйи-Фюиссе»[58].

Когда нам принесли напитки, я демонстративно выловил оливку из бокала и бросил в пепельницу.

— Вы же просили с оливкой, — удивился официант.

— Каждый раз я делаю эту ошибку, — отозвался я.

— Вы не любите нью-йоркских официантов? — поинтересовалась доктор Лоуэнстайн.

— Я бы предпочел нацистских военных преступников, хотя не уверен. Не встречал ни одного из них.

Я поднял бокал и предложил тост:

— За вас, врачевательница душ. Боже мой, доктор, и как только вы день за днем выдерживаете людские страдания?

Она сделала маленький глоток, оставив на стекле след от губной помады.

— Я надеюсь, что могу помочь этим людям.

— Но разве их состояние вас не угнетает? — допытывался я. — Разве через какое-то время вам не становится плохо?

---

[58] Примечания: 58

Сорт бургундского вина среднего качества, но почему-то стоящий невероятно дорого.

— Их проблемы — это их проблемы. Мне хватает собственных.

Я засмеялся.

— Держу пари, я был бы рад иметь ваши проблемы.

— Смело! Вы явно уверены, что способны разобраться с моими проблемами, но не можете решить свои. Так и я отношусь к своей профессии. Когда в шесть вечера я покидаю офис, все остается там; ни минуты я не думаю о своих пациентах. Я научилась разграничивать профессиональную и личную жизнь.

— Мне это кажется холодным и безжалостным, — сознался я. — Я бы не мог быть психиатром. Днем я бы выслушивал истории, а ночью они сводили бы меня с ума.

— Тогда у вас не было бы шанса помочь. Поймите, Том, нужно держать дистанцию. Когда вы работали в школе, вам наверняка встречались дети с эмоциональными проблемами.

— Конечно, доктор, встречались.

Я глотнул мартини, поморщившись от соленого привкуса, оставленного этой противной терпкой оливкой, и продолжил:

— И черта с два у меня получалось держать дистанцию. Одно дело, когда плохо взрослому.

Но когда беда с ребенком — это невыносимо. Расскажу вам об одной девочке. Я второй год преподавал у них английский. Девчонка — совсем замухрышка, но с потрясающим характером. Смешная. Училась отвратительно. Лицо — все в подростковых угрях. Но мальчишкам она нравилась. У нее было свое очарование и неиссякаемая энергия. И вот однажды она пришла в школу — все лицо в ссадинах и кровоподтеках. Левый глаз совсем заплыл, губа распухла. Естественно, ребята начали к ней приставать: что случилось? Она молчала и только отшучивалась. Я оставил ее после уроков и задал ей тот же вопрос. Звали эту девчонку Сью Эллен. Едва класс опустел, она заплакала. Оказалось, накануне отец избил и ее, и мать. Обычно он бил их по закрытым частям тела, и никто не видел следов. Но в тот вечер он добрался до лиц жены и дочери. Так вот, док, я вполне профессионально слушал, а эта мужественная девочка описывала, как папочка лупил ее по лицу. Но я не из тех, кто держит профессиональную дистанцию.

— И что же вы сделали? — осведомилась доктор.

— Не знаю, было ли это в чьих-либо интересах, но кое-что сделал.

— Надеюсь, ничего безрассудного?

— Вам это покажется безрассудством, — заметил я. — Весь тот день у меня перед глазами стояло избитое лицо Сью Эллен. Вечером после тренировок я поехал на Пальмовый остров и отыскал невзрачный домишко, в котором жила эта девочка. Постучал в дверь. Открыл ее отец. Я сказал, что хочу поговорить с ним насчет дочери. Он велел мне проваливать в зад. И вдруг я услышал плач девочки. Я оттолкнул ее отца и вошел в дом. Сью лежала на диване с окровавленным носом. Мое появление ее озадачило. Попытавшись улыбнуться, Сью спросила: «Тренер Винго, что привело вас в наше захолустье?»

— Вам следовало действовать через соответствующие инстанции, — перебила меня доктор Лоуэнстайн. — Нужно было обратиться к тем, кто уполномочен заниматься подобными делами.

— Конечно вы правы, доктор. И в этом одна из причин, почему вы богаты и пользуетесь уважением, а я хожу на работу в футболке, и то если есть куда ходить.

— Что же было потом?

— Ее папочка летал у меня по всему дому. Я колошматил его о стены, бил головой об пол. Потом я услышал шум, странный, словно из сна. Это Сью

Эллен во всю мощь своих легких подбадривала меня, а ее мать кричала, требуя прекратить избиение. Когда этот подонок очнулся, я пригрозил, что если он еще хоть раз тронет Сью Эллен, я вернусь и убью его.

— Том, я впервые слышу такую жестокую историю, — поморщившись, призналась доктор Лоуэнстайн.

— Как видите, я взял ее с собой, не смог оставить в классной комнате.

Я опустил голову и разглядывал свой мартини.

— И все же я считаю, что той девочке можно было оказать более эффективную помощь. Вы всегда так эмоциональны?

— Сью Эллен мертва, доктор, — сообщил я, посмотрев в ее темно-карие глаза.

— Как?

— Как многие девочки, выбирающие мужей, похожих на отцов. Кажется, причина в том, что они начинают связывать любовь с болью. Ищут мужчин, распускающих руки, по принципу «бьет — значит, любит». Сью Эллен нашла такое ничтожество. Во время ссоры он убил ее выстрелом из ружья.

— Ужасно, — прошептала доктор Лоуэнстайн. — Теперь-то вы осознаете, что ваши тогдашние

действия не принесли ничего хорошего? Чужая жестокость не оправдывает вашу собственную. До чего же горька жизнь тех людей и сколько в ней безнадежности!

— Сегодня я хотел поделиться с вашей приятельницей Моник этими воспоминаниями. Мне стало любопытно. Ни разу в жизни я не видел такой красивой женщины, как Моник. Раньше я считал, что беды Сью Эллен связаны с ее неказистой внешностью.

— Вы сами знаете, Том, что это неправда.

— Не уверен, доктор. Но почему судьба делает кого-то и некрасивым, и несчастным? По-моему, некрасивой женщиной и так быть непросто. Мне хотелось услышать историю Моник и потом сравнить ее с историей Сью Эллен, чтобы понять, так ли уж плохо вашей приятельнице, как кажется со стороны.

— Для Моник ее переживания абсолютно реальны. Красавицы и дурнушки — страдают все, только каждая по-своему и по разным причинам.

— Паршивый получился бы из меня психиатр.

— Согласна. Психиатр бы из вас получился паршивый. — Доктор Лоуэнстайн помолчала и продолжила: — Том, чему вас научила трагедия

Сью Эллен? Что она значит для вас?

Я задумался, пытаясь воскресить в памяти лицо бывшей ученицы, и наконец произнес:

— Ничего.

— Совсем ничего? — удивилась доктор Лоуэнстайн.

— Несколько лет я прокручивал ее в голове, пытаясь разобраться в себе. Из моего тогдашнего поведения можно многое узнать о моем темпераменте, о понимании добра и зла…

— Вы полагаете, что совершили добрый поступок, явившись в дом девочки и избив ее отца?

— Нет. Но и не считаю, что был абсолютно не прав.

— Поясните ваши слова.

— Не знаю, поймете ли вы. Когда я был мальчишкой и отец несправедливо наказывал брата, сестру или грубо обращался с матерью, я мысленно обещал себе: вырасту — и не позволю ни одному мужчине бить своих жену и детей. Буду делать все, что в моих силах. Это повлекло за собой множество неприятных и даже отвратительных событий. Где-нибудь в аэропорту я вмешивался, уберегая детей от их разъяренных отцов. Я вставал между ссорящимися супругами, которые были мне совершенно незнакомы. Вот

и отца Сью Эллен тогда поколотил. Сейчас со мной творится что-то необъяснимое. По-моему, я меняюсь.

— Возможно, взрослеете.

— Нет. Просто теперь мне все равно.

— Вы когда-нибудь били свою жену или детей? — с внезапной горячностью спросила доктор.

— Почему вы задали этот вопрос?

— Потому что жестокие люди чаще всего проявляют свою жестокость дома. Почти всегда они склонны издеваться над беззащитными.

— С чего вы взяли, что я жестокий?

— А как вы вели себя в доме той девочки? К тому же вы тренер по жестокому виду спорта.

— Нет, — возразил я, покачивая бокалом и встряхивая полурастаявшие кубики льда. — Мне не свойственно поднимать руку на жену и дочек. Я обещал себе ни в чем не напоминать отца.

— И выполнили это обещание?

— Нет, — улыбнулся я. — Почти во всем я похож на отца. Судя по всему, хромосомы сильно на меня влияют.

— А на меня они влияют недостаточно. По крайней мере, иногда мне так кажется.

Доктор Лоуэнстайн допила вино и жестом по-

дозвала официанта.

— Еще по бокалу? — обратилась она ко мне.

— С удовольствием.

Подошел официант и замер над нами. Искривленные губы служили знаком его готовности принять заказ.

— Мне, пожалуйста, мартини со льдом и оливкой, — попросил я.

— А мне белое вино, — сказала доктор Лоуэнстайн.

На этот раз официант не замешкался. Я испытал триумф, увидев зажатое льдом желтое колесико лимона.

Лицо психиатра смягчилось. Она подняла бокал, и я заметил в ее темных глазах лиловые крапинки.

— Том, сегодня я общалась с вашей матерью, — сообщила доктор.

Я поднес к лицу ладонь, словно загораживаясь от удара.

— Лоуэнстайн, я посчитаю великим милосердием с вашей стороны, если вы больше ни разу не напомните мне, что у меня есть мать. В разрушении нашей семьи ей принадлежит ведущая роль. Главное ее занятие на земле — распространение безумия. Потом вы сами в этом убедитесь. Стоит

ей пройтись по супермаркету, и даже брюссельской капусте обеспечена шизофрения.

— Но в ваших воспоминаниях она предстает удивительной женщиной, — заметила доктор Лоуэнстайн.

— Когда я был маленьким мальчишкой, я считал ее самой необыкновенной женщиной в мире, — признался я. — Я не первый сын, который полностью ошибался относительно своей матери.

— В телефонной беседе она была очень любезна. Судя по голосу, она сильно нервничает из-за дочери.

— Обыкновенное притворство, — заверил я. — Однажды прочла в какой-нибудь книжке по психологии, что матери обычно переживают, когда их дочери режут вены. Ее звонок — стратегия, а не спонтанный порыв.

Глаза доктора Лоуэнстайн были спокойны и непроницаемы.

— Том, она считает, что вы ее ненавидите.

— Это неправда, — возразил я. — Просто не верю ни единому ее слову. Я наблюдал за ней много лет и абсолютно изумлен ее способностью врать. До сих пор не оставляю надежды, что она хоть на чем-нибудь проколется и скажет правду.

Но моя мать — лгунья высшей пробы, достойная венка из дубовых листьев. Она умеет искусно обманывать и в мелочах, и по-крупному. Ее ложь способна погубить целые страны.

— Забавно, — улыбнулась Лоуэнстайн. — Ваша мать предупредила меня, что вы способны сочинить о ней множество небылиц.

— Мамочка в курсе, что я намерен всем с вами делиться и открывать такие вещи, которые Саванне слишком больно вспоминать, а матери — признавать.

— Ваша мать плакала в трубку, жалуясь, как вы с Саванной относитесь к ней. Признаюсь, Том, меня очень тронул этот разговор.

— Не ловитесь на ее слезы, — предостерег я свою спутницу. — Моей мамочке в самый раз работать нильской крокодилицей и пожирать толстых туземцев, стирающих белье на речных камнях. Ее слезы — вид оружия, которое в определенный момент умело пускается в ход.

— Ваша мама очень гордится своими детьми. Гордится, что Саванна стала поэтессой.

— Она не похвасталась вам, что за три года ни разу не позвонила Саванне?

— Нет, об этом речи не шло. Зато от нее я узнала, что вы лучший преподаватель английского в

средней школе и что одна из ваших футбольных команд выиграла чемпионат штата.

— Если мамочка вас хвалит, советую быстренько обернуться назад, чтобы не пропустить мгновение, когда она вонзит вам в спину меч. А после всех этих удивительных историй она, не переводя дыхания, поведала, что у меня случился нервный срыв. Так, доктор?

— Да, — призналась доктор Лоуэнстайн, внимательно и даже нежно глядя на меня. — Именно так.

— Нервный срыв, — повторил я. — Мне всегда нравилось, как это звучит: убедительно, а главное — обтекаемо.

— Ваша мать ни разу не упомянула о Люке, — заметила доктор Лоуэнстайн.

— Ничего удивительного. Запретное слово. Мы еще дойдем до ее молчания о Люке. И прошу вас, доктор: в моем повествовании внимательно следите за Люком. Пока мы росли, никто из нас не задумывался, что только мой брат живет настоящей жизнью, что только его существование полно смысла.

Разговор о матери меня утомил.

— Как бы там ни было, Том, вы отлично выбрались из всех испытаний, — тихо и с оттенком

восхищения произнесла доктор Лоуэнстайн.

— Уже долгое время я являюсь объектом жалости своих родных, — сказал я. — И подумывал утаить ту часть истории, где я совсем раскис. Почему? Потому что через беседы с вами я собирался стать совершенно новым человеком. Пытался быть обаятельным, остроумным и втайне надеялся, что вы найдете меня привлекательным.

— Том, зачем вам быть для меня привлекательным? Не понимаю, как это поможет вам и вашей сестре?

Теперь в ее интонациях звенел холод.

— Вам не о чем беспокоиться, доктор, — простонал я. — Я ведь не говорил о попытках блистать красноречием. Ради бога, простите меня. Чувствую, что вся ваша центральная нервная система подает предупредительные феминистские сигналы. Я всего лишь хотел вам понравиться, потому что вы светлая и красивая женщина. Знаете, доктор, я очень давно перестал считать себя привлекательным.

И вновь ее голос стал мягче, напряженность в уголках рта ослабла.

— То же я думаю о себе, Том, — вдруг призналась она.

Глядя на нее, я с изумлением обнаружил, что

она не кокетничает. Позади барной стойки находилось большое зеркало. В нем отражались наши усталые лица, их же улавливали блестящие поверхности наших бокалов.

— Доктор, вы видите себя в том зеркале? — спросил я.

— Да, — отозвалась она, поворачиваясь лицом к бару.

— Так вот, доктор Лоуэнстайн, — продолжал я, поднимаясь из-за столика. — Там отражается не просто привлекательное лицо. По всем меркам и стандартам этого мира ваше лицо прекрасно. Вот уже вторую неделю я имею удовольствие на него смотреть.

— Мой муж не считает меня привлекательной, — продолжала она откровенничать. — И мне приятно слышать ваши слова.

— Если ваш муж не считает вас привлекательной, он либо гомосексуалист, либо идиот. Вы фантастически выглядите, доктор; самое время порадоваться этому факту. Кстати, я смогу навестить Саванну завтра утром?

— Вы переменили тему, — заметила она.

— Да, иначе вы подумаете, что я с вами флиртую.

— Вы разве со мной флиртовали?

— Нет. Лишь подумывал начать, но женщины смеются, когда я с ними заигрываю, и находят меня забавным.

— Кое-кто из больничного персонала считает, что ваше появление расстраивает Саванну.

— Согласен. Мое лицо наполняет ее болью. И не только мое. Лицо любого из клана Винго.

— Сейчас ей подбирают препараты, — сообщила доктор Лоуэнстайн. — По-моему, врачам удается держать под контролем ее галлюцинации, но с недавних пор у Саванны вырос уровень тревожности. Почему бы вам не повременить с визитом? Я обязательно обсужу это с ее врачами.

— Поверьте, доктор, я не буду огорчать сестру. Обещаю. Буду рассуждать только о хорошем. Буду читать стихи.

— Том, она вообще разговаривала с вами?

— Нет, — ответил я. — А с вами она много говорила?

— Речь будет возвращаться постепенно, — ответила Лоуэнстайн. — Ваша сестра сказала мне, что больше не хочет видеть вас в палате.

— Так и сказала?

— Это ее слова. И мне, Том, очень тяжело передавать их.

Моя бабушка Толита Винго доживает свои дни

в одном из чарлстонских домов престарелых. Как мне объяснили, ее разум несколько «заносит», однако бывают редкие моменты замечательной ясности ума, и тогда окружающим открывается яркая, блистательная личность, на которую преклонные годы накинули покров старческого слабоумия. Капилляры ее мозга медленно усыхают. Время для бабушки течет не так, как для нас, и уже не измеряется днями и часами. Ее время подобно реке, между истоками и устьем которой она бродит. Бывают моменты, когда бабушка превращается в маленькую девочку, просящую у матери новую куклу. Не успеешь и глазом моргнуть, как она уже садовница, волнующаяся из-за своих георгинов, или бабушка, сетующая на забывших ее внуков. Она принимала меня и за своего мужа, и за приятеля, и за сына, и даже за родезийского фермера Филиппа, который, скорее всего, был ее любовником. Подходя к ее креслу-каталке, я никогда не знаю, чего ожидать. Когда я в последний раз навещал бабушку, она протянула ко мне ладони и произнесла дрожащим голоском: «Папа, папа! Возьми меня на ручки». Я осторожно усадил ее на колени и ощутил ужасающую хрупкость ее костей, а она опустила голову мне на грудь и заплакала, словно восьмилетняя оби-

женная девочка, утешаемая отцом, которого уже сорок лет нет в живых. Сейчас Толита весит всего восемьдесят пять фунтов. В конце концов она умрет от того, от чего умирают все американские старики: от унижения, утраты самоконтроля, скуки и отсутствия внимания к ним.

Иногда бабушка узнаёт меня. Это случается, если я приезжаю в моменты ее просветления, когда ее ум ненадолго обретает прежнюю остроту и игривость. Тогда мы оба смеемся, вспоминая эпизоды прошлого. Но потом я встаю, собираясь уйти, и ее глаза наполняются страхом. Толита цепляется за меня своей высохшей, изрезанной голубыми венами рукой и умоляет: «Том, забери меня домой. Не хочу умирать среди чужих. Прошу тебя, Том. Хоть это ты можешь понять?» При виде Толиты у меня разрывается сердце. Я люблю бабушку ничуть не меньше других, но не могу поселить ее в своем доме. Мне не хватает мужества кормить ее, убирать за ней, если она наделает прямо на простыни, облегчать ее боль и пытаться хоть как-то уменьшить безмерные глубины ее одиночества и оторванности от близких. Поскольку я американец, я обрек свою бабушку на постепенное угасание вдали от дома. Толита часто просит умертвить ее, проявив таким об-

разом доброту и милосердие. В последнее время мне все тяжелее ее навещать. Приезжая в дом престарелых, я в основном нахожусь в приемной, споря с врачами, медсестрами и сиделками. Я кричу на них, заявляя, что в их заведении прозябает исключительная женщина, достойная заботы и внимания. Я сетую на их холодность и отсутствие профессионализма, упрекаю в том, что они обращаются со стариками, словно те — мясные туши, висящие на крюках в холодильных камерах. Чаще всего мои язвительные тирады приходится выслушивать чернокожей сиделке по имени Вильгельмина Джоунз. Как-то она не выдержала и спросила: «Мистер Винго, если ваша бабушка — такой удивительный человек, почему ваша семья запихнула ее в эту дыру и гноит заживо? Толита вовсе не туша на крючке, мы не относимся к ней как к куску старого мяса. Насколько я знаю, сама она сюда не просилась. Вы поместили ее к нам вопреки желанию».

У Вильгельмины Джоунз есть номер моего телефона. Я — устроитель последних бабушкиных дней на земле, но поскольку мне недостает силы и милосердия, я помогаю сделать эти дни жалкими, невыносимыми и полными отчаяния. Всякий раз я целую бабушку, и эти поцелуи маскируют

мое предательство по отношению к ней. Когда я отвозил Толиту в дом престарелых, я сказал, что ее ждет долгая загородная поездка. Я не обманывал… Просто поездка еще не закончилась.

Папа Джон Станополус умер в конце 1951 года. Толита похоронила его по всем правилам на атлантском кладбище «Оук лон». Затем бабушка продала дом на Роуздейл-роуд и отправилась в экстравагантное турне, за три года трижды обогнув земной шар. Горечь ее утраты была настолько тесно связана с Атлантой, что больше она ни разу, даже на короткий срок, не приезжала в этот город. Она принадлежала к тем женщинам, которые инстинктивно знают, что безмерное счастье не повторяется, и умеют накрепко закрывать дверь в прошлое.

Толита плавала на кораблях, всегда первым классом, и за время своего вольного путешествия успела посетить сорок семь стран. Она посылала нам сотни открыток, в которых описывала свои впечатления, и эти открытки, написанные торопливым, едва понятным почерком, стали нашими первыми путеводителями по миру. В правом верхнем углу каждой открытки неизменно красовалась удивительная марка. Европейские марки воспроизводили шедевры мирового искус-

ства. Марки африканских государств поражали ослепительно ярким солнцем, встающим над джунглями или просторами саванн, и манили сочными экзотическими фруктами. Разглядывая их, мы слышали крики попугаев, восседающих на ветвях деревьев манго; нам строили гримасы радужные морды мартышек-мандрилов; неспешные слоны переходили вброд глубокие реки; стада газелей двигались по равнинам близ горы Килиманджаро. Среди марок были миниатюрные акварели и пейзажи далеких таинственных стран. Бабушка невольно сделала нас страстными филателистами. Также мы с жадностью поглощали ее «путевые заметки», написанные в шторм, когда корабль бороздил «конские широты»[59]. Если Толита присылала письма, то обязательно вкладывала в конверт горсточку монет из всех государств, которые посетила за это время. От монет, как и от марок, веяло экзотикой. Так бабушка познакомила нас с нумизматикой, хотя коллекционирование монет не пошло дальше детских развлечений. Монеты мы хранили в банке из-под виноградного джема. Чтобы следить за перемещениями Толиты, отец купил карту

[59] Примечания: 59

«Конские широты» — районы Мирового океана между 30 и 35 градусами как северной, так и южной широты, где часто бывают штили.

мира. Мы доставали монеты и раскладывали их на карте в соответствии со страной происхождения. Едва бабушкина нога ступала на очередную землю, мы брали бледно-желтый карандаш и закрашивали на карте ее территорию. Мы бегло сыпали таинственными названиями: Занзибар, Бельгийское Конго, Мозамбик, Сингапур, Гоа, Камбоджа. Вкус этих слов был приправлен дымом далеких путешествий; в них звучало что-то первозданное и неведомое. В детстве мы считали Толиту смелой, щедрой и удачливой женщиной. Однако бабушка изрядно рисковала. В тот день, когда епископ Чарлстона совершал над нами троими обряд конфирмации, на кенийской равнине белый носорог протаранил ее джип. Когда мы пошли в третий класс, первая неделя ознаменовалась бабушкиным письмом из Саудовской Аравии, где на ее глазах забили камнями неверную жену; Толита с волнующими подробностями описывала это жуткое событие. Потом бабушку занесло на Амазонку, и там она наблюдала другую ужасающую сцену: несчастный тапир стал добычей стаи пираний. Его душераздирающие крики оглашали прибрежные джунгли, пока эти твари не сожрали его язык. И тут же бабушка со зловещей небрежностью заметила, что язык

тапира считается лакомством. Все это придавало живости ее «путевым заметкам». Чем больше она путешествовала, тем наблюдательней становилась. Побывав в знаменитом парижском кабаре «Фоли-Бержер», Толита заключила, что на тамошней сцене увидела больше сисек, чем на молочной ферме. Из Рима она прислала впечатляющую открытку — горка монашеских черепов, сложенных, как пушечные ядра, в боковом алтаре капуцинских катакомб. В посылках Толиты мы получали ракушки, собранные на побережье Восточной Африки, сморщенную человеческую голову, «за бесценок» приобретенную в Бразилии у бывшего охотника за головами (тут же бабушка добавила, что ее поразили его гнилые зубы); а как-то на Рождество Толита решила угостить нашего отца деликатесом — соленым языком азиатского буйвола. В посылках мы находили дудочку заклинателя кобр, обломок «истинного креста», купленный бабушкой у одноглазого араба, верблюжий зуб, ядовитые клыки бушмейстера[60], а также набедренную повязку, которую, как писала бабушка, один дикарь снял со своего причинного места (мать тут же отправила на-

[60] Примечания: 60

Бушмейстер, или сурукуку, — самая крупная ядовитая змея Южной Америки.

бедренную повязку в огонь, заявив, что в Южной Каролине и так хватает всякой заразы, чтобы добавлять к ней африканских микробов). Толита по-детски наслаждалась всем странным, диковинным и уникальным.

Бабушка хвастливо признавалась, что в двадцати одной стране ее одолевал понос. По ее мнению, понос для путешественника являлся чем-то вроде знака отличия, свидетельством, что человек отважился ступить за пределы уютных обжитых мест и отправиться на задворки мира. В Сирии Толита съела целую миску овечьих глаз; их вкус точно соответствовал ее представлениям о том, какими на вкус должны быть овечьи глаза. Толита была больше авантюристкой, чем гурманкой, но вела подробные записи названий блюд, которые пробовала. На разных континентах она угощалась кайманьим хвостом, ядовитой рыбой-шаром (от этого у нее временно онемели пальцы), филе из акул, страусиными яйцами, саранчой в шоколаде, солеными молодыми угрями, печенью антилопы, козьими яичниками и вареным удавом. После знакомства с этим списком бабушкин понос уже не казался нам странной реакцией. Оставалось лишь удивляться, как ее не выворачивало от такой экзотики.

Целых три года единственным занятием Толиты были нескончаемые странствия, открытие нового, познание себя в контексте географии чужих государств. Позже бабушка признавалась, что ее целью было накопить багаж ярких впечатлений на старость (Толита чувствовала ее быстрое приближение). Она охотилась за удивлением, мечтала превратиться в женщину, которой отнюдь не являлась от природы. Сама того не подозревая, бабушка стала для нашей семьи провозвестницей философии путешествий. Скитаясь по миру, Толита узнала о существовании того, чему можно научиться лишь на месте или при чрезвычайных обстоятельствах. Стремясь побывать в труднодоступных местах, она стала обходиться минимумом удобств. В день летнего солнцестояния 1954 года отряд дружелюбно настроенных шерпов повел бабушку в двухнедельное путешествие по Гималаям. Поднявшись на одну из ужасающе холодных «крыш мира», Толита собственными глазами видела, как лучи восходящего солнца скользят по заснеженным склонам горы Эверест. А месяц спустя, по пути домой, она наблюдала миграцию морских змей в Южно-Китайском море.

В Коллетон Толита вернулась несколько устав-

шей и достаточно скромно одетой. Весьма примечательно, что в ее карманах не было ни гроша. Моя мать, словно одержимая, вслух считала потраченные бабушкой деньги и со стоном объявляла, что Толита просадила более сотни тысяч долларов. Но если своей ненасытной страстью к перемещениям бабушка и удивила своих родных и прочих жителей Коллетона, то ее намерение вновь поселиться на острове шокировало всех по-настоящему. Втайне от нас бабушка занялась налаживанием дипломатических отношений с дедом, воспламеняя симпатии и привязанности, угасшие во время Великой депрессии. Странствуя, она регулярно отправляла деду нежные письма, словно сестра брату. То ли дед считал это глубоко личным делом, то ли из соображений такта, но он никогда не упоминал об этой переписке. Дед Винго был единственным, кого не ошеломило появление бабушки в Коллетоне. Вернувшись на остров после более чем двадцатилетнего отсутствия, Толита направилась прямо в дом деда на Барнуэлл-стрит; там она раскрыла чемоданы и повесила свою одежду в шкаф. «Даже морская птица нуждается в передышке», — единственное объяснение, которым она удостаивала любопытных. Вместе с Толитой в Коллетон при-

были десять чемоданов, набитых диковинными и бесполезными вещами. Дом наполнился эксцентричными сувенирами из разных уголков планеты. Гостиная деда, выглядевшая как многие гостиные в домах южан, заполнилась африканскими масками и фигурками, керамическими слонами из Таиланда и безделушками с азиатских базаров. У каждого предмета была своя страна происхождения, своя история и цепь приключений. Все это бабушка могла восстановить в памяти, просто обведя глазами пространство комнаты. Ее секрет, который мы потом раскрыли, заключался в следующем: если однажды ты пустился в путешествие, оно никогда не кончится, оно повторяется снова и снова, поскольку разум неизменно к нему возвращается.

Когда родители отца воссоединились, ему было тридцать четыре года.

Моя мать с неослабевающим удовольствием поносила бабушку, ее жизнь и привычки. Любую женщину она считала своей соперницей, и потому приезд Толиты после стольких месяцев странствий по континентам вызывал у матери целые потоки праведных возмущений.

— Не понимаю, как мать может оставить своего ребенка из-за экономических неурядиц, — гово-

рила она, презрительно морща лоб. — Мужчинам свойственно бросать семьи, но матерям! Ваша бабушка совершила преступление против природы, она нарушила все естественные законы. Но я ни разу не слышала от нее ни слова раскаяния. Она не встала на колени перед вашим отцом и не попросила прощения. Думаете, на нем это не отразилось? Отразилось, и еще как. Все его беды корнями уходят в то утро, когда он проснулся и узнал, что у него больше нет мамочки, что некому его кормить и заботиться о нем. Вот почему он бывает таким неуравновешенным и иногда ведет себя не по-людски. Мало того, Толита так и не пожелала искупить свою вину. Ей бы положить деньги в банк, под хороший процент. Нет, она разбазарила их на свои прихоти и вернулась в Коллетон без единого цента. На месте Амоса я бы вышвырнула ее из дома. Но мужчины сентиментальнее женщин.

Свое недовольство бабушкой мать высказывала только нам. В присутствии Толиты она восхищалась бабушкиной независимостью, мужеством и абсолютной невозмутимостью, с какой та относилась к мнению горожан. Бабушке было наплевать, что думают о ней в Коллетоне. С нею в мое детство вошла фраза «разведенная

женщина». Во многих отношениях Толита была первой современной женщиной, появившейся в Коллетоне. Она не объясняла своих действий и не извинялась за них. После ее возвращения по городу поползли слухи о ее «дорожных романах», о связях с одинокими мужчинами на кораблях, о том, что Толитой двигала не только страсть, но и шкурные интересы, однако сама она хранила молчание. Бабушка просто вернулась в дом деда и снова стала жить с ним как его жена. Религиозное рвение Амоса по-прежнему нагоняло на нее тоску. Но в их отношениях было что-то невыразимое, что-то уютное и дружеское. Дед обрадовался ее возвращению. Он никогда не смотрел на других женщин. Амос принадлежал к той редкой породе мужчин, которые способны по-настоящему любить только один раз в жизни. Мне кажется, бабушка могла бы полюбить целую сотню мужчин. Став старше и лучше узнав бабушкин характер, я начал склоняться к мысли, что, вероятно, так и было. Мужчины не могли сопротивляться ее чарам; для каждой женщины, оказавшейся на ее пути, бабушка представляла угрозу. Она была на редкость обаятельной, оригинальной и непредсказуемой.

Возможно, бабушка перебралась на остров,

поскольку сделала в жизни все, что хотела. А еще чтобы уберечь внуков от вспышек ярости своего сына и эмоциональной холодности невестки. Что бы ни случилось, она была для нас советчицей, голосом совести, нашим «апелляционным судом». Толита понимала природу греха и знала, что труднее всего уловить замаскированный грех. Подобно многим отцам и матерям, допустившим серьезные и непоправимые ошибки в отношениях с детьми, она старалась это компенсировать и быть хорошей бабушкой для своих внуков. Толита никогда не отчитывала нас, не пыталась дисциплинировать, не высказывала недовольства и не ставила свою любовь в зависимость от нашего поведения. Она просто обожала нас во всех проявлениях нашего детства: и восхищающих, и тревожащих. Собственные ошибки послужили ей основой для создания четкого этического кодекса, согласно которому любовь не являлась подругой отчаяния, любовь не должна была ранить. Вооруженная столь могущественными знаниями, бабушка тихо вернулась к жизни, которую в свое время покинула. Когда отец бил нас, мать обычно говорила: «Он делает это только потому, что вас любит». Когда мать ударяла нас щеткой для волос, шваброй или рукой — это был знак ее любви к

нам. Знаком, естественно, мог быть только Марс — воинственный, опаленный огнем беженец, осколок некоего извращенного зодиака. От такой любви мы готовы были сбежать куда угодно. Но бабушка удерживала нас своими революционными взглядами. У любви, утверждала она, нет ни оружия, ни кулаков. Любовь не оставляет кровоточащих ран. Поначалу, когда бабушка пыталась нас обнять, мы дичились. Толита не сердилась; она гладила нас по волосам и нежно касалась наших лиц. Она целовала нас до тех пор, пока мы не начинали мурлыкать, как котята. Она сочиняла хвалебные песни в нашу честь, убеждая нас, что мы красивые, необыкновенные и что совершим в жизни удивительные поступки.

Появление Толиты укрепило и без того мощную матриархальную сторону семьи Винго. Этот клан давал сильных мужчин, но никто из них не мог сравниться с женщинами клана Винго, в чьих глазах мы видели царственный металлический блеск, холодную рассудительность тиранов. Когда Толита вернулась, между ней и матерью начался неутихающий поединок за власть. Он продолжался целых двадцать пять лет, пока мы с матерью не усадили бабушку в машину и не отвезли в Чарлстон, в дом престарелых.

Амос Винго, мой дед, был одним из самых странных мужчин, какие встречались мне в жизни, и несомненно одним из лучших. Любые раздумья о моем деде превращаются в медитацию о святости. Вся его жизнь была одним нескончаемым, утомительно длинным хвалебным гимном Господу. Его единственным увлечением была молитва; единственным предметом интереса — Бог и Святая Троица. Чтобы понять куда более светскую и неупорядоченную жизнь моей бабушки, нужно отнестись к ней с долей сострадания. Она была не в состоянии полноценно жить с мужчиной, зацикленным на религии. Из святых получаются удивительные деды, но отвратительные мужья. Уже потом бабушка поведала нам одну пикантную подробность: когда они занимались любовью и Амос входил в нее, каждое свое движение внутри бабушкиного лона он сопровождал вздохами и словами: «Благодарю Тебя, Иисус»; незримое присутствие Иисуса напрочь уводило мысли бабушки от плотских утех.

Когда мы были совсем маленькими, дед водил нас на причал острова Мелроуз и рассказывал о своей духовной жизни. Там он садился и опускал длинные тощие ноги в воду реки Коллетон. Меня ничуть не удивило, когда дед Винго поделил-

ся с нами тайной: в молодости ему явился Бог, который повелел ему строить жизнь сообразно Священному Писанию. Впоследствии Бог часто наносил деду неожиданные визиты и общался с ним. После этого Амос писал длинные письма редактору местной «Коллетон газетт», подробно описывая каждое посещение и дословно излагая тему беседы с Творцом. Судя по этим посланиям (Саванна их бережно сохранила), Бог изъяснялся, не особо заботясь о грамотности, зато питал необычайное пристрастие к просторечию южан. Прочтя одно из писем, Люк заявил:

— Бог говорит совсем как деревенщина.

Фактически Бог использовал язык, точь-в-точь повторяющий язык нашего деда. Бессвязные письма Амоса к горожанам были для него и проклятием, и тайной славой. Сам дед признавался, что ему трудно вести нормальную жизнь, когда Бог постоянно отрывает его от дел своими захватывающими продолжительными историями.

Саванна первой спросила у деда:

— Как выглядит Бог?

— На вид — очень симпатичный парень. Но вокруг него всегда зарево, что мешает его хорошенько рассмотреть. Черты лица у него правильные, волосы — малость темнее, чем ты

представляешь. И длинноваты. Я думал, может, предложить ему немного подстричься? Я бы не взял с него ни цента. Просто подровнял бы, сделал бы поаккуратнее с боков.

После этого Саванна первой объявила вслух, что дед Винго — сумасшедший.

Если это действительно было сумасшествием, то приятным и ничем не отягченным. В разгар Великой депрессии Бог являлся нашему деду ежедневно. Ему и сыну приходилось питаться тем, что они вылавливали из реки. Дед оставил работу парикмахера и перестал продавать Библию, посчитав Великую депрессию небесным знамением приближающегося Второго пришествия Христа. Амос проповедовал на уличных перекрестках, выкрикивая каждому, кто находился поблизости, диковинные псалмы о вере и вероломстве. Иногда он начинал что-то бормотать на неведомом языке; казалось, это измученная душа бьется в эпилептическом припадке.

Также у деда Винго была склонность к бродяжничеству. Бабушка говорила, что ему «перепало цыганской крови»; в ее устах это выражение приобретало оттенок цинизма; по ее мнению, дедушкины странствия были напрочь лишены воображения. Ему просто нравилось куда-то

идти, а куда именно — это его мало волновало. Призыв отправляться в путь мог прозвучать в любую минуту, и дед немедленно покидал Коллетон. Бывало, он месяцами бродил по южным штатам, продавая Библии и делая стрижки. Даже во время отдыха у него проявлялась странная особенность: его правая нога все время подрагивала, словно внутри находился вхолостую работающий моторчик. Вздрагивающая нога служила деду напоминанием, что завтра он может отправиться на юг, во Флориду, или на запад — в Миссисипи, где будет распространять Слово Господне и посыпать тальком свежевыбритые шеи. Для него это Слово было подобно пыльце, которой он посыпал каждую человеческую душу, встречавшуюся во время его спонтанных путешествий.

Бродя по проселкам и захолустьям Юга, дед нес два чемодана: один с одеждой и парикмахерскими инструментами, второй, побольше, с Библиями на любой вкус и кошелек. Дешевые издания были размером с детские башмачки, в черном мягком переплете и с мелким шрифтом. Усердное чтение такой Библии, да еще при плохом освещении, грозило близорукостью. Дед считал своей обязанностью убеждать людей приобретать более дорогие и удобные для чтения книги.

Самым роскошным («библейским кадиллаком», если можно так выразиться) было издание в переплете из белой искусственной кожи, с золотыми ленточками-закладками и множеством репродукций с картин великих мастеров, написанных на библейские сюжеты. Но главное великолепие роскошной книжки заключалось в том, что все слова, произнесенные Иисусом из Назарета, были напечатаны ярко-красным шрифтом. Эта Библия стоила дороже всех. Благодаря щедрой рассрочке ее неизменно покупали самые бедные семьи. Дед уходил, а семья христиан-бедняков вставала перед дилеммой: заплатить ежемесячный взнос за Библию или купить еду. Воспоминание о благочестивом деде, которого незримо сопровождал Бог, делало их выбор еще мучительней. Невнесенную плату дед считал тяжким грехом, хотя и не отваживался забрать Библию из семьи, где собственной рукой запечатлел на чистых срединных страницах семейную хронологию. По его мнению, ни один американский гражданин, ни одна семья не могли чувствовать себя в полной безопасности, пока их имена не написаны на чистых страницах той Библии, где слова Иисуса выделены красным. Дед отказывался забирать Библии у неплательщиков, хотя это осложняло

его отношения с компанией-поставщиком. Та была вынуждена посылать по следам деда своих служащих, которые либо изымали книгу, либо заставляли платить. Однако дед Винго продал больше белых Библий, чем кто-либо, и принес компании реальный доход.

Продавая Библии, дед сделался своеобразной легендой в провинциях Юга. Появляясь в деревне или городке, он начинал ходить от дома к дому. Если семье не требовалась Библия, то почти всегда кто-то нуждался в услугах парикмахера. Нередко дед стриг и брил целую семью, беря с них по групповому тарифу. Ему нравилось касаться человеческих волос; лысые вызывали у него неизменное сожаление. За работой — будь то бритье взрослого или стрижка непоседливых ребятишек — дед всегда говорил о жизни Христа. Скрип бритвы, звон ножниц и густые облака талька этому ничуть не мешали. Когда дед удалился на покой, библейская компания-поставщик подарила ему набор позолоченных парикмахерских ножниц и вручила благодарственную грамоту, официально подтвердившую то, о чем мы и так догадывались: Амос Винго продал больше Библий, чем кто-либо из его коллег. Грамота заканчивалась потрясающими, поистине поэтическими словами: «Амос

Винго — король продаж белых Библий с красным шрифтом».

Будучи успешным странствующим торговцем, чья территория охватывала пять штатов, дед часто вручал своего сына ненадежным заботам томных, сентиментальных женщин: двоюродных сестер, теток, оставшихся старыми девами, или кого-то, кого Амос успевал найти. Получалось, что родители моего отца, хотя и по разным причинам, уклонялись от воспитания единственного сына. В отцовской битве с миром было что-то безнадежное и непримиримое. Все свои юные годы он чувствовал себя брошенным и никому не нужным. Так что мои дед и бабушка явились косвенными виновниками его вспышек жестокости к собственной семье.

Дед и бабушка были словно дети, получившие разное воспитание, потому их дом сохранял для меня аромат святилища и детского сада одновременно. Между собой они говорили с необычайной учтивостью. По сути, это даже нельзя было назвать разговорами: ни легкого подтрунивания, ни намека на флирт, ни обмена сплетнями. Казалось, они продолжают жить каждый своей жизнью. Никакие человеческие чувства не нарушали их странную, неявно выраженную привязанность

друг к другу. Я приглядывался к их отношениям, испытывая ощущения, близкие к благоговению, поскольку не понимал, на чем все между ними держится. Я чувствовал: они любят друг друга, но без огня и страсти. Не было в их отношениях и затаенной злобы, лихорадочных выплесков, заметных душевных приливов и отливов — просто брак без «погоды в доме», штиль, смирение; спокойные дни в Гольфстриме такого же спокойного старения. Они бесхитростно радовались тому, что они рядом, и на этом фоне брак наших родителей казался грубым и непристойным. Однако чтобы обрести эту гармонию, деду и бабушке понадобилось прожить врозь более двадцати лет.

Я приглядывался к ним, пытаясь понять отцовский характер, но тщетно. По бабушке и дедушке не чувствовалось, что у них есть сын. Их воссоединение породило нечто новое и невидимое. Не помню, чтобы Толита или Амос повысили голос. Они никогда не шлепали нас и почти извинялись за малейшее вмешательство в наше поведение. Тем не менее они произвели на свет человека, ставшего моим отцом; человека, который избивал меня, мать, моих брата и сестру. В доме Амоса и Толиты я не находил ни объяснений, ни подсказок. Меня раздражала их

порядочность и учтивость, их непоколебимая уравновешенность. Эти люди никак не помогали мне понять мое собственное происхождение. В этой цепи чего-то недоставало; что-то было утрачено и оставлено без ответа. Две кроткие души, у которых жестокий сын, ставший моим отцом. Я жил в доме, где главу семьи боялись. Мать запрещала нам рассказывать кому-либо из посторонних, что отец поднимает на нас руку. Она ценила то, что называла «верностью семье», и не терпела поведения, расцениваемого ею как предательство или подстрекательство к мятежу. Нам не позволялось критиковать отца или жаловаться на его обращение. Люку не исполнилось и десяти, а от отцовских взбучек он уже трижды терял сознание. Если мать пыталась вмешаться, доставалось и ей. Мы с Саванной испытывали тяжесть отцовского кулака, если пытались оттащить его от матери. Замкнутый круг, который не разорвать.

Все детство я провел с мыслью, что когда-нибудь отец меня убьет. Я жил в мире, где детям ничего не объяснялось, кроме безусловной необходимости быть верным семье. Благодаря матери я уяснил, что верность — это когда делаешь приятное лицо и строишь всю свою жизнь на

фундаменте отъявленной лжи.

Избиения отца были отвратительны сами по себе, но еще страшнее была непредсказуемость отцовского характера. Мы никогда не знали, что спровоцирует очередной взрыв, из-за каких его душевных перемен наружу вырвется жестокий зверь. У нас не было поведенческих моделей для подражания, мы не знали, как себя вести. Единственным третейским судьей, к которому мы могли обратиться за амнистией, была бабушка. Наше детство проходило в ожидании очередной вспышки отцовской ярости.

В 1955 году отец бил меня трижды. В 1956-м — уже пять раз. Через год его любовь ко мне возросла. В 1958 году она еще усилилась. Чем взрослее я становился, тем сильнее он меня любил.

После Атланты я часто молился, прося Бога забрать отца. «Убей его. Прошу Тебя, Господи, убей его», — шептал я, стоя на коленях. Я видел, как болотистая отмель затягивает отца по самую шею, как луна накрывает его приливной волной. И вот уже крабы ползали по его мертвому лицу, норовя выесть глаза. Посредством молитвы я учился убивать и ненавидеть. Молитвы выходили из-под моего контроля. Когда я обращал

свой разум к Богу, из меня вместо хвалебных слов изливались ядовитые потоки. Сложив руки, я мысленно уничтожал и мучил; мой розарий превращался в гарроту. Я жил в своем собственном мире. Завалив оленя, я видел под ветвистыми рогами не оленью морду, а отцовское лицо; я вырезал отцовское сердце и поднимал высоко над головой; я свежевал его тело, потрошил его внутренности. Я превратил себя в нечто отвратительное и неестественное.

Когда вернулась бабушка, я сообразил: она единственная, кого боится мой отец. Это заставило меня восхищаться судьбой женщины, у которой хватило мужества оставить свою семью и не просить прощения за содеянное. Кроткая женщина, вместе со своим кротким мужем давшая жизнь человеку, которого боятся собственные дети. Мать учила нас: скрывать раны и улыбаться, видя в зеркале свое окровавленное лицо, — вот высшее проявление верности семье. Благодаря ей я возненавидел слова «верность семье» сильнее любых других.

Если ваши родители недовольны вами и виртуозно это демонстрируют, для вас так и не наступит утро, когда вы проснетесь с ощущением собственной значимости. Покореженное детство

уже не исправить. Самое большее, на что вы можете надеяться, — это дурачить себя и других, что у вас все в порядке.

Глава 7



На вторую неделю своего пребывания в Нью-Йорке я заработал первые безошибочные симптомы нью-йоркской нервозности. В любой из своих приездов в этот город я испытывал невероятное чувство вины за то, что бесцельно транжирю время, когда вокруг столько знаменитых музеев и библиотек, прекрасных спектаклей и концертов. Меня манил бесконечный океан культуры, предоставляющий неисчерпаемые возможности для развития и духовного обогащения. Я стал плохо спать по ночам; мне казалось, что я непременно должен чем-то заняться. Например, прочитать полное собрание сочинений Пруста, начать изучение иностранного языка или отправиться в Новую школу и записаться на курс по истории кино. Когда я прилетал в Нью-Йорк и ехал на такси, пересекая реки, город неизменно

пробуждал во мне дремлющую потребность в самосовершенствовании. Я понимал, что недотягиваю до высоких нью-йоркских стандартов, но мне неизменно становилось лучше, если я хотя бы начинал двигаться в этом направлении.

Когда мне было не заснуть, когда мешал шум ночных улиц или прошлое, предстающее в виде разграбленного замка, я поднимался с кровати Саванны и впотьмах одевался. В свое первое нью-йоркское утро я попытался было совершить пробежку трусцой до Бруклина, но хватило меня лишь до Бауэри[61]; там я наткнулся на спящих бродяг, от которых исходили не самые приятные запахи. Бомжи устроились возле витрин многочисленных магазинов, торгующих электротоварами; сияние люстр и торшеров ничуть не тревожило их. На следующее утро еще затемно я побежал в другом направлении и, к своему удивлению, очутился в каком-то цветочном квартале. Там с пикапов снимали ароматный груз орхидей, лилий и роз. Ощущение было такое, будто бежишь по женской руке, обрызганной туалетной водой. Я помнил множество нью-йоркских запахов, но впервые сталкивался с этой

[61] Примечания: 61

Улица в южной части Манхэттена, одна из первых транспортных магистралей острова.

сладостной симфонией, порожденной тысячью опустошенных садов. В своих лучших проявлениях Нью-Йорк был городом внезапных радостных откровений, и я пообещал себе, что в это лето постараюсь открыться каждому из них.

Я составил список дел, которые хотел осуществить до возвращения в Южную Каролину. Пробегать шесть миль менее чем за пятьдесят минут. Найти в библиотеке сестры десять великих книг, которые никогда не читал, и прочесть. Расширить свой словарный запас и научиться произносить beurre blanc[62] без затяжной паузы посередине. Познакомиться с кухней ресторанов «Lutece», «Фор сизонс», «La Grenouille», «La Cote Basque» и «La Tulipe»[63]. Сходить на бейсбольные матчи «Метс» с «Атланта брэйвс» и «Янкиз» с «Бостон ред сокс». Помимо этого, я запланировал

---

[62] Примечания: 62

Beurre blanc (*фр.* «белое масло») — соус из уксуса, белого вина, серого лука-шалота и сливочного масла.

[63] Примечания: 63

«Lutece» (*фр.* «Лютеция», древнее название Парижа) — известный французский ресторан на Манхэттене, существовавший с 1961 по 2004 г.; «Four Seasons» (*англ.* «Четыре времени года») — ресторан в доме 99 на Пятьдесят второй улице. Открыт в 1959 г.; «La Grenouille» (*фр.* «Лягушка») — французский ресторан в доме 3 на Пятьдесят второй улице. Открыт в 1962 г.; «La Cote Basque» (*фр.* «Баскское побережье») — известный французский ресторан на Пятьдесят пятой улице. Был открыт в середине 50-х гг. XX века и просуществовал до 2004 г.; «La Tulipe» (*фр.* «Тюльпан») на интерактивной карте Нью-Йорка не обозначен.

побывать на трех спектаклях и посмотреть пять иностранных фильмов. Я решил каждый день вести записи в дневнике и трижды в неделю писать домой. По утрам, после пробуждения, я пообещал себе делать по пятьдесят отжиманий в упоре и пятьдесят наклонов из положения сидя. И еще рассказать доктору Лоуэнстайн всю историю нашей семьи, чтобы помочь вернуть Саванну к полноценной жизни.

Мой список не был чем-то фиксированным; в течение лета я намеревался добавлять туда новые пункты. Моя задача виделась мне достаточно простой: я буду вытаскивать на свет болезненные и неприглаженные эпизоды семейной хроники и в итоге вновь увижу того живого, подвижного, прищелкивающего пальцами мальчишку, каким я был, когда рос на острове. Тогда меня переполняли амбициозные замыслы. Я гордился, что знаю название любой живности, которая выплескивалась из сетей на палубу отцовской лодки. Меня сильно угнетало мое текущее физическое состояние, но ведь я был потрясающим тренером и понимал, как исправить положение. Если повезет, я вернусь домой в превосходной форме.

Последний раз я навещал Саванну неделю назад и потому решил наконец выяснить у доктора

Лоуэнстайн, когда же мне вернут право видеться с сестрой. Наша очередная встреча с доктором была назначена на вторник, на самый конец ее рабочего дня. За все время, что мы общались, она была какой-то рассеянной и взвинченной. Когда за десять минут она трижды взглянула на часы, я едва сдержал раздражение.

Было почти семь, когда доктор поднялась со стула, давая понять, что наша сегодняшняя беседа окончена. Я тоже встал, но доктор жестом попросила меня задержаться. Она сняла трубку и набрала номер.

— Привет, дорогой, — беззаботным тоном произнесла она. — Тысяча извинений, но я никак не могла позвонить раньше. Не было ни минутки свободной. Так мы пойдем куда-нибудь ужинать?

Усталость делала ее лицо хрупким и беззащитным. Для своих средних лет доктор потрясающе выглядела. Если бы не морщинки вокруг глаз и «бороздки смеха» в уголках рта, казавшиеся скорее дружественными, нежели враждебными времени, ее можно было бы принять за подростка. Свои черные волосы она откидывала набок. При разговоре она постоянно убирала с глаз непокорные пряди. Движения эти были нервозными,

хотя и не лишенными очарования.

— Дорогой, я не меньше, чем ты, огорчена неудачным ходом репетиций, — продолжала доктор Лоуэнстайн. — Да, конечно, я понимаю. Бернард приедет завтра к ужину. Он обидится, если тебя не будет дома… Хорошо. Потом поговорим. Пока.

Когда она повернулась, на ее лице еще оставались следы некоторой озабоченности, но она быстро взяла себя в руки. Доктор улыбнулась мне и стала листать календарь, выискивая время для нашей следующей встречи.

— Когда я могу навестить сестру? — начал я. — Я приехал в Нью-Йорк, думая, что мое присутствие поможет Саванне. По-моему, я имею право видеться с ней.

— У меня было назначено на два часа, но пациент отказался. Том, вы сможете подойти завтра к двум? — спросила доктор Лоуэнстайн, не поднимая головы.

— Лоуэнстайн, вы проигнорировали мой вопрос. Мне думается, я могу поддержать Саванну. Она должна знать, что я по-прежнему здесь и что остаюсь в городе ради нее.

— Простите меня, Том, но я уже говорила вам: ее команда заметила, что ваши визиты плохо

влияют на Саванну. И потом, вы знаете, Саванна сама хочет, чтобы вас пока к ней не пускали.

— А она объяснила причину? — настаивал я.

— Да, Том. — Доктор Лоуэнстайн выдержала мой взгляд.

— Вас не затруднит ее назвать?

— Поймите, Том, Саванна является моей пациенткой. То, чем она со мной делится, остается между нами. Я надеюсь, вы начнете доверять мне и ее команде…

— Прекратите называть это сборище тупых задниц «ее командой»! Такое впечатление, будто ее лечением занимаются парни из «Нью-Йорк джайентс»[64].

— Но как мне их называть? — возмутилась доктор. — Посоветуйте, и я буду называть их так, как вам нравится.

— Например, «эти задницы из Беллвью». Тоже мне команда! Раз в неделю к ней приходит психиатр, который пичкает ее успокоительным. От такой тонны лекарств не то что человек — голубой кит очумеет. А другой? Кто он у них, этот жалкий рыжий недоумок? А эти грубые медсестры, которым впору мешки ворочать? Ни улыбки,

---

[64] Примечания: 64

«New York Giants» («Нью-йоркские гиганты») — команда американского футбола.

ни приветливого слова. Кого я еще не успел повидать, так это специалиста по трудотерапии. Представляю, как он хихикает и убеждает Саванну заняться шитьем прихваток для кастрюль. Команда! Сброд, а не команда. Надеюсь, я всех перечислил из этого всеамериканского сборища? Конечно же, забыл санитаров, этих крокодилов, у которых коэффициент умственного развития равен точке замерзания воды по шкале Цельсия. Этих досрочно освобожденных преступников, нанятых издеваться над душевнобольными за горсть жареного арахиса. Ну почему, доктор, вы не вытащите ее оттуда и не перевезете в какой-нибудь миленький загородный клуб, где придурки из среднего класса совершенствуются в пинг-понге?

— Потому что Саванна еще опасна для себя и для других, — ответила доктор Лоуэнстайн, вновь садясь за стол. — Она останется в Беллью до тех пор, пока эта опасность не исчезнет и пока ее состояние не стабилизируется в достаточной степени.

— Или пока ее в достаточной степени не напичкают успокоительным, — почти выкрикнул я. — Пока досыта не накормят каким-нибудь теразином, стелазином, артаном, трилафоном.

Какая еще отрава нынче в моде? Стабилизируется! Моя сестра не гироскоп. Она — поэтесса, и она не может сочинять стихи, когда в ее крови отравы больше, чем белых кровяных телец.

— Как по-вашему, Том, сколько произведений напишет Саванна, если покончит с собой? — сердито бросила доктор Лоуэнстайн.

— Это нечестный вопрос, — пробубнил я, опуская голову.

— Ошибаетесь, Том. Очень честный, даже уместный. Знаете, когда я впервые увидела Саванну после попытки самоубийства, я была очень благодарна «этим задницам из Беллвью». Что бы я ни пробовала, моя терапия не действовала. Как и вы, Саванна не доверяет лекарствам и боится их. Она не согласилась принимать прописанные мной препараты, хотя они могли бы предотвратить суицидальную попытку. Я рада, что сейчас она в больнице, где не обращают внимания на ее «не хочу», а вводят необходимые лекарства насильно. Поймите, Том, Саванна должна жить. Мне все равно, чем ее лечат: фармакологией, магией вуду, христианскими ритуалами или картами Таро. Речь идет о ее жизни.

— Вы не имеете права не допускать меня к моей сестре.

— Просто не хочу усугублять ситуацию.

— Тогда зачем я торчу здесь? Какой в этом смысл? Для чего мне разбираться в магнитофонных записях? Вы их делали, когда Саванна находилась в самой безумной стадии, когда ее назначили генералиссимусом «кукушкиного гнезда». Я даже не знаю, что было у Саванны на уме, когда она выкрикивала всю эту бессмыслицу. Кое-что мне понятно, но применительно к себе, и еще неизвестно, совпадают ли наши с ней ощущения. Мне кажется, что вы лечите не ее, а меня. Ну как мои воспоминания о нашем чудовищном детстве могут помочь Саванне? Родиться мальчиком в подобной семье — и то несладко. А родиться девочкой — жуть немыслимая. Так пусть Саванна рассказывает вам ее истории, а я поеду домой, на родину, и буду жарить рыбу.

— Том, вы не являетесь моим пациентом, — заметила Лоуэнстайн. — Я изо всех сил пытаюсь помочь вашей сестре. Ваше присутствие необходимо лишь потому, что вы можете прояснить мне те или иные эпизоды из прошлого Саванны. Меня сильно беспокоит ее состояние. Еще ни с одним пациентом я не испытывала столько отчаяния. Я нуждаюсь в вас. И нам вовсе не обязательно нравиться друг другу. Это неважно, Том. Главное,

мы оба хотим, чтобы ваша сестра была здорова.

— Сколько вам платят, доктор? — поинтересовался я.

— Деньги не играют для меня существенной роли. Я тружусь из любви к искусству.

— Надо же! — засмеялся я. — Психиатр, равнодушный к деньгам, все равно что борец сумо, равнодушный к весу своего тела.

— Можете смеяться. Мне все равно, верите вы мне или нет. Возможно, вы наделены глубочайшей проницательностью и способны заглянуть в мои мотивы. Что ж, думайте об этом как об акте эгоизма, где я силюсь воссоздать душу поэтессы и вновь сделать ее цельной исключительно ради себя.

— И Саванна, излеченная магическим наложением рук, начнет писать бесконечные стихи, превознося чудесные способности доктора Лоуэнстайн, изгнавшей демонов, которые держали в плену эту хрупкую душу.

— Вы правы, Том. Если я сумею спасти Саванну, если дам ей силы и она вернется к творчеству, это значительно повысит мою репутацию. Но один из моих мотивов вам не понять. Я открыла для себя поэзию вашей сестры задолго до того, как стала ее психиатром. Я любила и люблю ее стихи.

Возьмите и почитайте их, Том…

— Что? — Я вскочил со стула и сердито шагнул к доктору. — «Возьмите и почитайте»? Пусть я всего-навсего тренер, но не орангутанг, доктор. Должно быть, вы запамятовали одну мелочь из моего жалкого послужного списка. Я — преподаватель английского. Удивительный преподаватель, обладающий способностями заставлять оболтусов с разинутыми ртами влюбляться в язык, который до этого они крушили и уничтожали. Уважаемый доктор, я читал стихи Саванны задолго до того, как вы начали свою психиатрическую практику.

— Простите меня, Том. Примите мои извинения. Я думала, что вы отрицали ее стихи из-за их тематики. Ее произведения глубоко личные, написанные о женщинах и для женщин.

— Вовсе нет, — устало вздохнул я. — Чушь какая-то. Ее стихи совсем не такие. Ну почему в этом идиотском городе все так глупы? Почему все повторяют одно и то же о ее поэзии? Это обедняет творчество Саванны. И любое литературное творчество.

— Вы не согласны, что ее стихи преимущественно для женщин?

— Не согласен. Они для людей. Для мужчин и

женщин, умеющих страстно чувствовать. Есть назидательные ноты, есть неподдельно изумляющие, но для понимания их и наслаждения ими не нужно придерживаться какой-то точки зрения. Поэзия Саванны замечательна вовсе не нацеленностью автора на определенную аудиторию. Это примитивное, расхожее мнение. Оно ослабляет ее творчество, делает его банальным и предсказуемым. В Нью-Йорке найдется миллион обозленных женщин с такими же воззрениями, как у Саванны. Но только она имеет власть над языком и может заставить его воспарить птицей или петь голосом раненого ангела.

— Вы вряд ли способны понять феминисток, — резко заметила доктор Лоуэнстайн.

Я вскинул голову и уловил в ее взгляде что-то чрезмерно покровительственное и оценивающее.

— Спросите меня, доктор, являюсь ли я феминистом.

Она усмехнулась и спросила с сарказмом:

— Том, вы феминист?

— Да, — кивнул я.

— Да?

Доктор засмеялась. Думаю, это был первый искренний смех, который я слышал от решитель-

ного и непреклонного доктора Лоуэнстайн.

— Почему вы смеетесь? — спросил я.

— Потому что меньше всего я ожидала от вас такого ответа.

— Конечно. Белый южанин и все такое?

— Да. Белый южанин и все такое, — произнесла она вполне серьезно.

— Поцелуйте меня в зад, — буркнул я.

— Так и знала, что вы шовинист.

— Этим словам, доктор, меня научила Саванна. Ваша пациентка-феминистка. Феминисты, расисты, выходцы из стран третьего мира, обскурантисты, дрессировщики львов или однорукие фокусники — нет никакой разницы. Какую бы заковыристую чушь они ни несли, если мне это кажется неправильным, надо доверять своей интуиции и называть их так, как мне заблагорассудится.

— Удивительная философия, Том. Очень продвинутая, особенно для тренера.

— Как ваше имя, доктор? — поинтересовался я. — Я здесь уже почти три недели и даже не знаю, как вас зовут.

— Это неважно. Мои пациенты не называют меня по имени.

— Не забывайте, я не ваш пациент, черт побери.

Я — брат вашей пациентки. Ее дикий братец-кроманьонец, который хочет выяснить ваше имя. Не считая горстки друзей Саванны, в этом городе я никого не знаю и вдруг начал остро чувствовать свое одиночество. Мне запрещают видеться с сестрой, хотя я нужен ей больше, чем кто-либо в этом мире.

— Я бы предпочла сохранить наши отношения на профессиональном уровне, — заявила доктор.

В ее кабинете я вдруг почувствовал себя как в стерильной безвоздушной западне; я устал от избытка пастелей на стенах и недостатка собственного хорошего вкуса, чтобы их по достоинству оценить.

— Вы помогаете мне, — продолжила доктор, — а я в свою очередь оказываю помощь вашей сестре. В конце концов, это из-за нее вы приходите сюда. Так что обращайтесь ко мне «доктор» — наиболее приемлемый для меня вариант. Я опасаюсь слишком близко подпускать к себе такого человека, как вы, Том.

— Замечательно, доктор. — Я устал и был сыт по горло этими учтивостями. — Согласен. Но тогда и вы перестаньте называть меня Томом. Обращайтесь ко мне с упоминанием моей профессии.

— Это как? — удивилась она.

— Называйте меня тренер.

— Тренер по феминизму.

— Да, тренер по феминизму.

— Том, какая-то часть вас ненавидит женщин? — Доктор наклонилась ко мне. — Серьезно их ненавидит?

— Да, — согласился я, выдерживая ее пристальный взгляд.

— Вы хоть знаете, почему ненавидите женщин? — спросила она, вновь обретя знакомую мне профессиональную смелость и невозмутимость.

— Да. Потому что меня воспитывала женщина. А теперь задавайте следующий вопрос. Следующий профессиональный вопрос.

— Простите, я вас не понимаю.

— Спросите у меня, нью-йоркский психиатр и феминистка в одном лице, испытываю ли я такую же ненависть к мужчинам. Поинтересуйтесь, ненавижу ли я этих долбаных мужчин.

— Вы ненавидите мужчин? — послушно произнесла она.

— Да, — ответил я. — Я ненавижу мужчин, потому что меня воспитывал мужчина.

Какое-то время мы сжимали друг друга в крепких тисках взаимной враждебности. Внутри меня

все тряслось, в сердце вновь поселилась печаль. В отчаянии я сжег те крохи благодати, которые достаются порой слабым и обездоленным. Внутри меня что-то умирало, и я ничего не мог с этим поделать.

— Меня зовут Сьюзен, — почти прошептала она.

— Спасибо, доктор. — Мои слова напоминали судорожный выдох. — Я не стану называть вас по имени. Мне просто хотелось его узнать.

В лице доктора что-то смягчилось; мы оба начали добровольное отступление с поля боя. Она быстро сердилась, но так же быстро гасила свое раздражение. С благородством и честностью она уберегла от нашего «турнира своеволий» нечто очень важное. Доктор позволила мне одержать маленькую, второстепенную победу; ее добровольная улыбка сделала эту победу значимой для меня.

— Благодарю вас, Лоуэнстайн, — сказал я. — Вы прекрасно справились с ситуацией. Я не возражаю, когда из меня делают задницу, но ненавижу, когда из меня делают мужскую задницу.

— Том, почему вы так и остались на Юге? — сменила она тему.

— Конечно, мне нужно было уехать. Пройдя

через несчастное детство, я решил, что если останусь на Юге, то сумею исправить его последствия и мое взрослое существование пойдет замечательно. Я был в разных местах, но нигде мне не нравилось. Я нигде не хотел остаться. И потому, как обыкновенный придурок, застрял в Южной Каролине. Дело было не столько в недостатке отваги, сколько в недостатке воображения.

— И?

— И каждый год я терял кусочек того, что в детстве и юности выделяло меня среди других. Сейчас уже не думаю столько, сколько думал тогда, не задаю столько вопросов. Ни на что не осмеливаюсь. Ничего не ставлю на карту. Даже мои страсти перегорели и выглядят жалко. Когда-то, доктор, я мечтал быть великим. Теперь же самое большее, на что я могу надеяться, — это вернуться к жизни среднего человека.

— Вас послушаешь — все у вас абсолютно безнадежно.

— Нет, — возразил я. — Обыкновенно, обыденно… Глядите-ка, из-за меня вы задержались. Позвольте пригласить вас куда-нибудь на ужин, хочу загладить свое непростительное поведение.

— Мы с мужем собирались поужинать, но его расстроила неудачная репетиция.

— Есть один ресторанчик. Когда-то мы с Люком и Саванной праздновали там выход ее первой книги.

— И что это за место? — спросила она.

— «Коуч-хаус», — произнес я.

— «Коуч-хаус»? — со смехом повторила она. — Вы по себе выбирали?[65]

— Ни в коем случае. Саванна решила, что это розыгрыш или что я не понял очевиднейшей игры слов. Но я читал статью — оказалось, никакой не розыгрыш, а довольно обыкновенный нью-йоркский ресторан.

— Вообще-то мне пора домой, — засомневалась доктор. — Завтра сын приезжает на каникулы.

— Грех отказываться от бесплатного угощения и выпивки. Дурная примета и вообще дурной вкус.

— Согласна. К чертям планы. Муж за последние две недели уже четвертый раз меня подводит. Но вы должны обещать мне одну вещь, Том.

— Что угодно, Лоуэнстайн.

— Напомните мне за ужином, что я прекрасна. Вас удивит, но я постоянно вспоминаю те ваши

---

[65] Примечания: 65

В английском языке слово coach означает как «тренер», так и «карета», «экипаж». Следовательно, название ресторана может переводиться и как «Каретный дом», и как «Дом тренера».

слова, которые услышала в «Плазе».

Я протянул ей руку.

— Соблаговолит ли прекрасная Сьюзен Лоуэнстайн отправиться с тренером Винго в обыкновенный нью-йоркский ресторан?

— Да, — улыбнулась доктор. — Прекрасная Сьюзен Лоуэнстайн будет счастлива туда пойти.

До 1953 года члены нашей семьи были единственными католиками в городе Коллетон. Переход отца в католичество, совершенный им во время войны, — этот единственный радикальный духовный поступок в его жизни — представлял собой захватывающее и рискованное плавание по доктринальным морям, где хватало водорослей. Мать приняла католическую веру без малейших возражений. Она, как и отец, рассматривала его спасение в Германии как неопровержимое доказательство того, что Бог жив и по-прежнему вмешивается в повседневные дела людей. Мать отличалась удивительной наивностью; она думала, что переход в католицизм автоматически повысит ее социальный статус. Далеко не сразу, набив множество шишек, мать поняла, что нет людей более чуждых американскому Югу, чем католики.

Родители ринулись в бурные воды новой веры,

словно невинные младенцы; их невежество было очевидным и впечатляющим. Они ничего не знали о разветвленной, запутанной структуре католицизма, поддерживающей Святейший престол в Риме. Католическую теологию они постигали по частям, положение за положением. Подобно большинству новообращенных, они действовали с фанатичным упорством, стремясь стать первыми активными папистами на их отрезке Атлантического побережья. Но хотя родители основательно паслись на тучных полях католических догматов, они оба оставались все теми же твердолобыми баптистами, скрывающимися за пышными покровами и кружевами перезрелой теологии. Их души напоминали плодородные поля, привыкшие к местной флоре, от которых вдруг потребовали взращивать диковинную и неестественную для них растительность. Их понимание церковных законов и маловразумительных добавлений к этим законам было в лучшем случае поверхностным.

Несколько лет подряд мать по вечерам читала нам отрывки из Библии; ее мелодичный голос то взлетал, то опускался, подчиняясь строю

стихов Библии короля Якова[66]. И только когда мне исполнилось десять, мать узнала, что ее новая церковь осуждает чтение этого певучего образчика постъелизаветинской прозы и требует изучения более скучных стихов Дуэ-Реймской Библии[67]. Лила Винго ничего не смыслила в тонкостях католической цензуры, но быстро перестроилась, и последняя часть нашего детства протекала под звуки длинных, тягучих фраз католической Библии. Даже материнский голос, журчащий как вода, не мог войти в ритм стихов Дуэ-Реймской версии. Ощущение было такое же, как от мелодии, исполняемой на слегка расстроенной гитаре. Мать компенсировала поэтичность удовлетворением от осознания исправленной теологической ошибки. После мать утверждала, что Дуэ-Реймская версия для нее куда предпочтительней и что она сразу почувствовала ее подлинность, открыв Библию наугад и начав читать из Второзакония.

Наивность моих родителей достигала такого

---

[66] Примечания: 66

Английский перевод Библии, появившийся в 1611 г. и считающийся каноническим в англиканской и протестантской церквях.

[67] Примечания: 67

Английский перевод Библии для католиков, выполненный в 1582–1610 гг.

уровня, что они, вероятно, были единственными в Америке католиками, которые всерьез относились к наставлениям Папы Римского о планировании семьи. Несмотря на холодность отношений, они вели здоровую и, как мне представляется, интенсивную сексуальную жизнь, если число беременностей моей матери может служить показателем. Позже я узнал, что родители усердно применяли календарный метод и каждый вечер обсуждали, можно заниматься сегодня любовью или нет (их интимный словарь всегда был благопристойным и иносказательным). Однако мне думается, что следование этому способу предохранения принесло в пятидесятые годы больше детей, чем секс без оглядки на календарь. Саванна, разбиравшаяся в подобных тонкостях гораздо лучше своих братьев, впоследствии окрестила нашу мать «менструальной богоматерью». Матери такое прозвище отнюдь не понравилось (о нем она узнала не сразу), хотя было точным и весьма оригинальным.

Четыре года подряд — с 1952-го по 1956-й — мать ходила беременной. Каждого ребенка она полностью донашивала, однако все дети рождались мертвыми. Мы хоронили этих незрячих безгласных полудетей в дубовой роще за домом,

ставили им грубые деревянные кресты, на которых вырезали их имена. Мать тем временем лежала в постели, оплакивая очередную потерю. Отец никогда не участвовал в этих скромных траурных церемониях и никогда не проявлял своих чувств. Он равнодушно крестил мертвых младенцев в кухонной раковине водой из-под крана, затем укладывал в пластиковый мешок и засовывал в морозильную камеру, где трупик ребенка оставался до тех пор, пока мать не выписывали из больницы.

— Эту звать Роуз Астер, — сообщил он летом пятьдесят шестого, когда мать вновь родила мертвого ребенка.

Мы сидели за кухонным столом и молча следили за отцовскими действиями.

— Думаю, от нее было бы мало толку на рыболовецкой лодке, — добавил он.

— Зато от меня много толку на рыболовецкой лодке, — заявила Саванна, не сводя печальных глаз с мертвой девочки.

— Из тебя, Саванна, никудышный ловец креветок, — возразил отец. — Отрывать креветкам головы — это все, на что ты способна.

Затем он крестил крошечную Роуз Астер во имя Отца, Сына и Святого Духа, произнося слова

молитвы бесцветным, монотонным голосом, в котором не ощущалось ни печали, ни сожаления, будто это была молитва перед обедом. Окончив обряд, отец вышел на заднее крыльцо, запихнул крошечное тельце в прозрачный пластиковый пакет, открыл дверцу морозильника и положил мешок поверх коробок с мороженными креветками и рыбой.

— Папа, я даже не успела поздороваться с моей сестрой, — посетовала Саванна, отправившаяся вслед за ним.

Отец открыл морозильник.

— Даю тебе время. Здоровайся. Говори ей, что хочешь. Ей все равно, дочка. Роуз Астер — всего лишь кусок мертвого мяса. Там ничего нет. Слышишь меня? Она — как пять фунтов мороженых креветок. Там не с кем общаться. Просто груз, который надо закопать в землю, когда вернется ваша мать.

На следующее утро отец, как всегда затемно, отправился ловить креветок. Я рано проснулся и лежал в постели. Из темноты доносился негромкий звук, напоминающий мяуканье. Может, это дикая кошка забралась под дом, чтобы произвести потомство? Я вылез из постели, оделся, но Люка будить не стал. Выйдя в гостиную, я

понял, что звук раздается из комнаты Саванны. Прежде чем постучаться, я вслушался в отчаянно подавляемые рыдания сестры — стон души, разрываемой на части. Впоследствии он стал отличительным признаком как начала, так и конца периодов ее безумия. Осторожно, с опаской, я вошел в спальню Саванны. Она что-то крепко прижимала к груди. В ее всхлипываниях было столько внутренней боли, что своим присутствием я вряд ли ее потревожил. Безудержная скорбь сестры имела какое-то странное очищающее свойство, и это притягивало меня, не давая уйти. Саванна лежала ко мне спиной. Я перевернул ее, не отдавая отчета в своих действиях (или охваченный братским состраданием), и забрал из рук холодное неподвижное тельце Роуз Астер.

— Том, не отнимай ее, — взмолилась Саванна. — Она была бы нам сестрой, но никто даже на мгновение не подарил ей свою любовь. Я просто хотела немножко побыть с ней. Она должна знать, что не весь мир такой, как они.

— Саванна, это неправильно, — прошептал я. — Если до родителей дойдет, что ты вытащила ее из морозилки, тебя накажут. Вдруг ты попортишь тело и это откроется раньше, чем мы ее похороним?

Саванна забрала у меня тельце и вновь прижала к груди.

— Я ей уже сказала, что мы заботились бы о ней, не дали бы им ее обижать. Мы бы защитили ее от них. Повтори это, Том. Ей это нужно.

— Саванна, ты не права. Бог все видит. Нарушать волю родителей — грех.

— Том, она четвертый умерший ребенок. Разве ты не понимаешь, что это Божье знамение? Эти бедные крошки просто решили не жить. Они слышали, что творится в нашем доме, и говорили: «Нет, Господи, такое не для меня». Они не знали, что ты, я и Люк — хорошие.

— А мама считает, что мы плохие. И ежедневно повторяет, что с каждым годом мы становимся все хуже. Отец утверждает, что она теряет детей из-за нас. Мы настолько ужасны, что постоянно ее огорчаем, когда ей нужен покой.

— Мама во всем винит нас. Знаешь, Том, что я думаю? Роуз Астер и остальные малыши — счастливчики. Они оказались умнее нас. Они выяснили, что родители жестокие. Когда подходило их время, они еще в мамином животе кончали жизнь самоубийством. Жаль, нам с тобой мозгов не хватило.

— Саванна, отдай мне Роуз Астер, я отнесу ее в

морозилку. Трогать мертвого ребенка — страшный грех.

— Я ее утешаю, Том. Жаль, она не увидит этого прекрасного мира.

— Ее душа уже на небесах. Ведь отец крестил ее.

— Какие имена у других детей? Я все забываю.

— Дэвид Таккер, Роберт Мидлтон и Рут Франсес. Теперь еще и Роуз Астер.

— Если бы все они выжили, у нас была бы большая семья.

— Но они умерли, Саванна. Мама говорит, что все они сейчас на небесах и нам помогают.

— Не очень-то они стараются на своих небесах, — с поразительной горечью сказала сестра.

— Послушай, Саванна. Скоро взойдет солнце и в доме всё будет пахнуть Роуз Астер. Нам здорово влетит.

— Я пробыла с ней всю ночь. У нее такие милые ручки и ножки. Я еще не видела таких крошечных пальчиков. Было бы здорово иметь младшую сестру. Если бы родители сделали ей больно, я бы их убила.

— Мама с папой любили бы ее, как любят нас, — возразил я, смущенный словами сестры.

— Мама с папой не любят нас, Том. — Саванна

громко рассмеялась. — Неужели ты до сих пор этого не понял?

— Молчи! Так даже думать нельзя. Родители, конечно же, нас любят. Ведь мы — их дети.

— Том, они нас ненавидят.

В неярком утреннем свете глаза моей сестры смотрели не по-детски мудро и печально.

— Это ведь так легко понять, — добавила она.

Саванна взяла трупик Роуз Астер и нежно поцеловала в лысую головку.

— Роуз Астер — счастливица. Я плакала от зависти к ней. Жаль, что я не могу быть с ней и остальными малышами.

Я осторожно забрал из рук Саванны посиневшее тельце и понес в тамбур перед задним крыльцом, где у нас стоял морозильник. Солнце уже всходило. Я положил нашу мертворожденную сестренку в пластиковый мешок, и та вновь заняла свое место среди мороженых креветок и рыбы.

Вернувшись, я услышал, как Саванна говорит сама с собой изменившимся голосом. Решив не тревожить сестру, я разжег плиту и положил на чугунную сковородку шесть ломтей бекона. Была моя очередь готовить завтрак. В тот же день, ближе к ужину, из больницы вернулась мать.

Ее привезли бабушка с дедом. Когда мы пришли

из школы, она уже лежала в постели. Толита и Амос хотели остаться с ней, но она отказалась, заявив, что ей нужно побыть одной.

Вечером мы похоронили Роуз Астер на неосвященной земле. Мы с Люком вырыли могилу, а Саванна завернула дважды замороженное тельце в чистую белую простыню, взятую матерью в больнице. Мать оставалась в доме, пока Люк не сходил за ней. Она вышла на задний двор, тяжело опираясь на плечо старшего сына; мать ступала так, словно каждый шаг таил опасность и давался ей с неизмеримой болью. Она села на стул, принесенный Саванной из кухни. Лицо матери, анемичное и опустошенное, напоминало лица измученных страданиями византийских мадонн, застывших под крестом и ожидающих смерти своего распятого сына. Горе превратило губы матери в тонкую скорбную полоску. С момента нашего возвращения из школы она не обмолвилась с нами и словом и не позволила нам рассказывать, как мы скорбим по умершей сестренке. Усевшись, мать махнула нам с Люком, и церемония похорон началась.

Саванна опустила тельце Роуз Астер в деревянный ящик, который мы смастерили для погребения. Ящик был чуть больше крупной птичьей

клетки; младенец напоминал недоразвитого птенца диковинной породы. Мы приколотили крышку гвоздями. Этот импровизированный гробик я положил матери на колени. Глядя на него, мать плакала. Потом прижала к себе и покрыла поцелуями. И вдруг, подняв глаза к небу, мать закричала отчаянно и сердито:

— Нет, Господи, я не прощаю Тебе этого. Так нельзя. Ни в коем случае нельзя. Под этим деревом я хороню своего четвертого ребенка. Больше я не отдам Тебе ни одного. Слышишь, Господи? Мне больше нет дела до Твоей святой воли. Не смей отбирать у меня детей. Не смей.

Потом мать опустила голову и обратилась к нам с Люком:

— Подведите ко мне вашу сестру. Вы все будете молиться со мной. Мы отдаем небесам еще одного ангела. Иди в руки Господа, Роуз Астер. С небес охраняй семью, которая бы любила и защищала тебя, уберегая от всякого зла. Теперь ты станешь одним из Божьих ангелочков. Оберегай этот дом вместе со своими братьями и сестрой. Сейчас на небесах четыре ангела Винго. Вас вполне достаточно для нас, а если нет — да поможет нам Бог. Это решение целиком в руках Господних, не в моих. Его воля на земле есть тайна для тех, кто

Ему поклоняется. О Боже, Боже, Боже, черт Тебя побери.

И хотя мы могли прочесть по-латыни Confiteor[68] и верили в пресуществление[69], во всех нас оставался странный и неокультуренный пласт, заставлявший откликаться на экстаз и безумие острее, чем требовали правила благочестия. Католическая душа развивалась на далеких берегах Средиземного моря, среди пышности барокко, и ей было непросто пустить корни на негостеприимной почве американского Юга.

— Последнее, что вы можете сделать для своей умершей сестры, — это молиться за нее. Вставайте на колени и молитесь. К ужину я вас позову.

— Мама, гроза надвигается, — услышал я голос Люка.

— Вы даже не хотите молиться о душе вашей сестры, — бесцветным, измученным голосом произнесла мать.

Она встала и поплелась в дом, а мы опустились на колени, склонили головы и закрыли глаза.

---

[68] Примечания: 68

«Исповедую» *(лат.).* Краткая покаянная молитва.

[69] Примечания: 69

В католичестве и православии термин для обозначения полного субстанциального превращения хлеба и вина в тело и кровь Христовы в таинстве евхаристии.

Ветер срывал мох с древесных стволов. С севера неслись стада сердитых облаков. Я истово молился за душу маленькой Роуз Астер. Ее душа представлялась мне легкой и хрупкой, словно фарфор. В струях дождя, под раскаты грома душа нашей сестренки поднялась из могилы. Вспышки молнии толкали ее вверх, служа ей ступенями. Гром подбадривал ее душу, уходившую все дальше от нашей невеселой жизни. Хлынул ливень. Мы поглядывали на дом, ожидая, когда мать нас позовет.

— Повезло тебе, Роуз Астер, — вновь сказала Саванна. — Счастливая, тебе не придется жить с ними.

— Если молния ударит в дерево, всех нас убьет, — заметил Люк.

— Мы будем молиться, — настаивал я.

— Если бы Бог хотел, чтобы люди молились под дождем, Он бы не заставлял их строить церкви, — не унимался мой брат.

— Они оба безумны, — громко шептала Саванна, сложив руки на груди. — Господи, они оба безумны. Помоги нам выбраться отсюда.

— Замолчи, Саванна, — потребовал я, — Бог не желает этого слушать.

— Ну и пусть, плевать. Он заставил нас жить

с такими родителями — так путь знает, что они свихнутые.

— Саванна, они не свихнутые. Они наши родители, и мы их любим.

— Том, я постоянно наблюдаю за другими людьми, изучаю их. Никто не ведет себя так, как наши родители.

— Ага. Ты хоть раз слышал, что кто-то под дождем молится об умершем ребенке? — подлил масла в огонь Люк.

— Мы хотим, чтобы Роуз Астер попала на небеса, — продолжал спорить я.

— Чушь, — поморщилась Саванна. — Где еще быть нашей сестре? Что ей мешает туда попасть? Назови хотя бы одну причину. Как Бог может отправить ее в ад?

— Это не нашего ума дело, — с благочестием пай-мальчика отозвался я.

— Не нашего? Так зачем мы тут мокнем и тонем в грязи? Несчастная малышка родилась уже мертвой, ее крестили в раковине и запихнули морозиться вместе с сотнями фунтов креветок и испанской макрели. Ответь мне, Том Винго, чем это бедное существо заслужило адский огонь?

— Это Богу решать. Нас это не касается.

— Она моя сестра! Значит, меня касается! Осо-

бенно когда меня заставляют молиться в разгар грозы!

Саванна сердито встряхнула спутанными, потемневшими от дождя волосами.

Гроза усилилась. Меня начал колотить озноб. Смахивая воду с лица, я повернулся к дому. Может, мама уснула и не знает, как сейчас льет? Дом был едва виден сквозь пелену дождя. Я вновь посмотрел на могилку.

— Почему мама всегда беременная? — спросил я просто так, не ожидая ответа.

Сложив руки в насмешливом подражании молитве, Саванна сказала нарочито громко:

— Потому что они с отцом постоянно вступают в половые сношения.

— Прекрати говорить неприличности, — вмешался Люк.

Из нас он один еще помнил об упокоении души Роуз Астер. Я впервые услышал странные слова, смысл которых меж тем был мне понятен.

— Они это делают? — удивился я.

— Да, они это делают, — отчеканила Саванна. — Меня от этого тошнит. И Люк все об этом знает. Просто он робкий и поэтому молчит.

— Не-а, я не робкий. Я молюсь, как мама велела.

— Когда вы с Томом отвыкнете от этого «не-а»? Разговариваете как деревенщины.

— Мы и есть деревенщины. И ты тоже, — напомнил Люк.

— Говори за себя, — огрызнулась Саванна. — Мама поделилась со мной секретом, что мы происходим из очень высоких аристократических слоев американского Юга.

— Это точно, — усмехнулся Люк.

— Наверняка я не из деревенщин, — продолжала Саванна, елозя коленками по раскисшей от воды земле. — Мама считает, что я обладаю некоторой утонченностью.

— Ага. — Я засмеялся. — В тебе полным-полно утонченности. Особенно вчера, когда ты спала с Роуз Астер.

— Что? — насторожился Люк.

Саванна недоуменно на меня посмотрела, словно я намекал на анекдот, которого она не знала.

— О чем ты, Том?

— Да вот вспоминаю, как увидел тебя в постели в обнимку с мертвой сестренкой.

— Ничего подобного я не делала, — возмутилась Саванна, пожимая плечами в ответ на немой вопрос потрясенного Люка. — И кому такое взбредет в голову? Я вообще боюсь мертвецов, и особенно

мертвых младенцев.

— Саванна, я видел это своими глазами.

— Тебе приснилось, — неуверенно предположил Люк.

— Как такое может присниться? — спросил я. — Саванна, скажи Люку, что это не сон.

— Знаешь, Том, это какой-то кошмар. Не понимаю, о чем ты.

Я уже собирался ей ответить, но тут за шумом дождя послышалось тарахтенье отцовского грузовичка. Мы сразу же склонили головы и принялись истово молиться о новоиспеченном ангеле из клана Винго. Отец остановился за нами. Мы слышали поскрипывание «дворников» по ветровому стеклу. Минуту или две отец молча разглядывал нас, не находя объяснений. Послышался его голос:

— Эй, идиоты, вы никак потеряли последние мозги?

— Мама велела нам молиться за Роуз Астер, — объяснил Люк. — Вот мы и молимся, папа. Сегодня мы ее похоронили.

— Мне придется и вас хоронить под тем же деревом, если вы не уберетесь отсюда. Мало ей мертворожденных младенцев! Она хочет и живых погубить. А ну, поднимайте задницы и

живо в дом!

— Мама очень рассердится, если мы вернемся слишком рано, — засомневался я.

— И давно вы купаетесь под дождем?

— Где-то около часа, — отозвался Люк.

— Господи Иисусе, святой Алоизий, — пробормотал отец. — Не слушайте мать, когда она болтает вам о религии. У нее с детства разные завихрения. Тогда она гремучих змей брала в руки — доказывала свою любовь к Богу. Я крестил Роуз Астер, и теперь этой девчонке куда лучше, чем нам. Валите в дом. С вашей матерью я сам разберусь. У нее… врачи это называют депрессией в связи с потерей ребенка. У женщин это бывает. Так что в ближайшие недели будьте с мамой особенно ласковыми. Приносите ей цветы. Делайте все, чтобы она чувствовала вашу заботу.

— Папа, ты привез ей цветы? — поинтересовалась Саванна.

— Почти. Во всяком случае, я думал об этом.

Отец повел грузовик в сарай.

Мокрые, дрожащие, мы встали с колен.

— Какой чудный парень, — заключила Саванна. — У него умерла дочь, а он явился без цветов.

— Во всяком случае, он думал об этом, — подхватил Люк.

Мы побрели в дом, давясь от запретного, бунтарского хохота. То была горькая реакция детей, научившихся мрачному остроумию неудачников, злой юмор подчиненных чужой воле. Этим смехом кончился час молитв за упокой души нашей маленькой сестренки; этот смех поддерживал нас, когда мы шли с маленького кладбища, где лежали упокоившиеся Винго, в родительский дом.

На всех могилках мать сажала розы. Они расцветали пышными, красивыми кустами, забирая всю красоту из щедрых сердец младенцев. Мать называла их «садовыми ангелами»; каждую весну они говорили с нами на своем языке.

В тот вечер мать так и не вышла из спальни, и мы ужинали сэндвичами с арахисовым маслом и повидлом. Соображая нашим детским разумом, чем бы порадовать мать, мы приготовили, как нам казалось, изысканное угощение, нажарив креветок и сварив кукурузные початки. Все это мы составили на поднос и отнесли в спальню вместе с букетом полевых цветов. Но мать продолжала плакать. Она съела немного креветок, а на початки даже не взглянула. Отец сидел в гостиной и листал старые номера «Южного рыбака». Его пальцы сердито переворачивали

страницы; время от времени он поглядывал на дверь спальни, где лежала его жена. Глаза отца блестели в электрическом свете. Он был из тех мужчин, кто не способен проявить хоть малейшую нежность. Его эмоции напоминали цепь отвесных гор, скрытых за облаками. Когда я пытался думать о душе отца, пробовал представить нечто важное и значимое для него, я видел лишь нескончаемые ледники.

— Том, — обратился ко мне отец, перехватив мой взгляд. — Отправляйся к матери и скажи, чтобы она прекратила свой дурацкий рев. Это еще не конец света.

— Она страдает по умершему ребенку.

— Я в курсе. Но ее стенания не воскресят этого ребенка. Иди к ней. Дети должны утешать свою мать.

На цыпочках я вошел в родительскую спальню. Мать лежала на спине. Слезы градом катились по ее щекам. Она плакала легко и тихо. Я боялся к ней приблизиться и остановился на пороге, не зная, что делать дальше. Прежде я не видел такого измученного, безутешного лица. В ее глазах были безнадежность и глубочайшее поражение.

— Папа спрашивает, не надо ли тебе чего, — произнес я.

— Я слышала его слова, — сквозь всхлипывания ответила мать. — Подойди ко мне, Том. Ляг рядом.

Я вытянулся на кровати. Мать положила голову мне на плечо и зашлась в рыданиях. Ее ногти впивались в мою руку. Мое лицо стало мокрым от ее слез. Я замер, парализованный этой внезапной и страстной близостью. Мать прижималась ко мне; я чувствовал, как в меня упираются ее груди, все еще полные бесполезного теперь молока. Она целовала меня в шею и губы; расстегнув рубашку, она покрыла поцелуями мою грудь. Я боялся пошевельнуться, но внимательно прислушивался ко всем звукам в гостиной.

— У меня есть только ты, Том, — жарко шептала мне на ухо мать. — И больше никого. Это все только для тебя.

— Мы все твои, мама, — тихо возразил я.

— Нет, ты не понимаешь. У меня нет ничего. Когда выходишь замуж за ничто, ничто и получаешь. Знаешь, как в городе относятся к нам?

— Хорошо. Ты очень многим нравишься. И папу считают отличным ловцом креветок.

— Нет, Том, для людей мы дерьмо. Тебе ведь знакомо это слово? Твой отец использует его постоянно. Люди думают, что мы речное дерьмо.

Низший класс. Том, мы должны поставить их на место. И это сделаешь ты. Люк не сможет, он слишком глуп. И Саванна не сможет, потому что она девочка.

— Мама, Люк вовсе не глуп.

— Судя по его школьным отметкам, он — умственно отсталый. Врач считает, что это из-за щипцов, которыми его вытаскивали при рождении. Но мы с тобой обязаны показать этому городу, из какого теста сделаны.

— Что еще за тесто, мама?

— Это такое выражение. Нужно дать им понять, что в Коллетоне мы лучше всех.

— Это так, мама. Мы лучшие.

— Но нужны доказательства. Я хотела наполнить наш дом детьми. Думала, что у меня будет восемь или девять детей, я воспитаю их гордыми и умными и со временем мы завоюем Коллетон. Я собираюсь выдать Саванну за самого богатого парня в городе. Пока не знаю, куда пристроить Люка. Возможно, он будет помощником шерифа. Но ты, Том, — ты моя надежда на будущее.

— Я буду стараться, мама.

— Обещай мне, что ты ни в чем не будешь напоминать отца.

— Обещаю, мама.

— Повтори. Я хочу слышать.

— Обещаю, что ни в чем не буду напоминать отца.

— Дай слово, что станешь лучшим во всем.

— Я стану лучшим во всем, мама.

— Самым лучшим.

— Я буду самым лучшим.

— Том, я не собираюсь умирать в таком доме, как этот. Пока никто об этом не знает, но я — удивительная женщина. Ты первый, кому я об этом говорю. Ты мне веришь?

— Да, мама.

— И ты никому не позволишь обижать меня. Правда, Том? Что бы я ни сделала, я могу на тебя положиться. Верно?

— Да, мама.

Ее глаза, голодные и жгуче пристальные, застыли на мне.

— Ты единственный, кому я могу доверять, — продолжала она. — На этом острове я как в тюрьме. Мне здесь так одиноко. С твоим отцом что-то творится. Я постоянно опасаюсь, что он причинит нам зло.

— Но почему?

— Он болен, Том. Он очень болен.

— Тогда надо рассказать об этом. Например,

врачу.

— Нет. Мы должны быть верными. Верность семье — превыше всего. Дождемся подходящего времени. А пока будем молиться, чтобы его хорошие качества победили дурные.

— Обещаю, я буду молиться. Буду молиться. Можно мне вернуться в гостиную?

— Да, Том. Спасибо, что навестил меня. И еще кое-что, дорогой. Нечто очень важное. Я люблю тебя больше других. Больше, чем всех их, вместе взятых. Знаю, что и у тебя такие же чувства ко мне.

— Но Люк и Саванна…

— Нет, — резко возразила мать и вновь крепко прижала меня к себе, — Саванна — отвратительная девочка. В ней полно ненависти. Она была такой с самого рождения — плохой и непослушной. Люк туп как баран. Ты единственный, кто мне по-настоящему дорог. Пусть это будет нашим секретом, Том. Почему бы нам не иметь общей тайны?

— Да, мама. — Я направился к двери. — Если тебе что-то нужно, только позови, и я принесу.

— Знаю, что так и будет, дорогой.

Я поплелся из комнаты, таща на себе ужасную непомерную ношу. Вернувшись в гостиную, я ед-

ва выдержал удивленные взгляды брата и сестры. Меня потрясла чудовищность и предельная прямота материнского признания, я не понимал, как это связано с потерей ребенка. Горечью и искренностью своей исповеди мать превратила меня в своего узника; воспользовавшись моим доверием, она сделала меня невольным пособником в необъявленной войне против Люка и Саванны. Мать поставила меня перед неразрешимой дилеммой — ведь, соглашаясь быть ее ближайшим союзником, я автоматически давал согласие на предательство брата и сестры, которых любил больше всех на свете. Но обнаженность ее чувств, ее требовательность, следы ее поцелуев на моей шее и груди — все это было запретным, но в то же время соблазнительным и притягивающим. Удивительнее всего, что выплеск материнской страсти произошел в тот день, когда она почти обезумела от горя. Я воспринял свою избранность как нечто почетное и символическое; вот оно, доказательство моей необычности. Скандальный характер материнских откровений служил гарантией того, что я не нарушу обета молчания. Перескажи я услышанное отцу, он бы не поверил ни единому слову. В равной степени нереальным было поведать брату и сестре, с какой решимо-

стью мать отвергла их как союзников. Матери требовались не близкие люди, а лейтенанты для ее войны, и, хотя ее метод был мне непонятен, я догадался, что женщина, которую я до сих пор считал просто своей матерью, располагает неким планом атаки. Естественно, я не знал ни структуры этого плана, ни его пунктов. До нашего разговора я думал о матери как о прекрасной, бесподобной женщине; теперь же я осознал, что за взглядом красивейших синих глаз скрывается неудовлетворенность и коварство. Я вышел из спальни повзрослевшим. Мое сердце было взбудоражено открытием: оказывается, мать мучительно устала от захолустной жизни на речном острове. С того вечера я начал пристально изучать эту женщину, которую прежде недооценивал. Почти ежедневно я пересматривал свои представления о ней. Я стал бояться ее молчания. В тот вечер в моем сознании заново родилась мать; впервые я почувствовал себя живым и знающим.

Много лет спустя я открыл Люку и Саванне правду о той беседе с матерью. Я ожидал, что они рассердятся, узнав о «тайном пакте» между мной и матерью, о том, как она сделала меня своим пособником в непонятных действиях против семьи

и всего Коллетона. Однако материнское вероломство не вызвало у них гнева, только удивление. Услышав о том, что долгое время вызывало во мне сильный стыд и чувство глубокой вины, Саванна и Люк покатились со смеху. Возможно, мать лишь осваивала ремесло заговорщицы, но свои трюки и уловки она совершенствовала с мастерством, указывавшим на ее природную склонность к подобным вещам. На той же неделе, когда мы похоронили Роуз Астер, мать зазвала Люка и Саванну в укромный уголок и заручилась их полным доверием. Она говорила им те же слова, что и мне: она надеется только на них, поскольку мы с отцом ненадежны. Мать взяла с них клятву верности — торжественное обещание, что в любых обстоятельствах, будь то буря или битва, они встанут с ней рядом. Мать пожаловалась им, что я боязлив, нерешителен и в трудную минуту нельзя на меня рассчитывать. Саванну она завербовала фразой: «Ты женщина, поэтому интуитивно понимаешь, насколько трудно и незавидно положение женщины». Люку мать сказала, что он — настоящий солдат, сильный и непоколебимый, и что она нуждается в нем как в защитнике. Всех троих она завлекла своей ложной искренностью. Мать не оставила нам

возможности для отказа; в то время мы не могли понять ее ухищрений. Мы были зачарованы ее верой в нас. Неразрешимая загадка оказалась очень простой: мать разделила нас, сохранив за собой все бразды правления.

Но к тому времени, когда мы втроем обменивались этими впечатлениями, наша мать уже подтвердила свою репутацию самой удивительной женщины, когда-либо ходившей по улицам Коллетона.

В тот вечер дождь не прекращался. Мы ложились спать под его стук. Прежде чем лечь, отец погасил везде свет, вышел на крыльцо и закурил трубку. Когда мать выпускала из рук управление домом, отцу бывало тяжело рядом с нами. Несколько раз за вечер он срывался и орал на нас из-за пустяков. Мы заранее чувствовали моменты, когда он действительно опасен, и убирались с глаз подальше. Отец был прирожденным тираном, но не имел надлежащих стратегий. Он был жесток, но его жестокость никогда не достигала цели, поскольку он постоянно ощущал себя чужаком в собственном доме. К своим детям он относился как к сезонным рабочим: пришли и ушли. Пожалуй, отец считал детство пустым занятием, которое нужно оставить как можно раньше.

Не будь он таким жестоким и непредсказуемым, эта домашняя неприкаянность и эксцентричные выходки вызывали бы даже симпатию. Думаю, отец любил нас, однако я не встречал более неуклюжей и извращенной любви. Удар по лицу он считал чем-то вроде поздравительной открытки. В детстве он рос без родительского внимания, хотя отец и мать ни разу его и пальцем не тронули. Своих детей он замечал лишь тогда, когда их требовалось за что-нибудь отругать. Прикасался он к нам, лишь когда бил. По вечерам в окружении семьи отец казался попавшим в западню. От него я многое узнал об одиночестве людей, созданном собственными руками. Свою жизнь я начинал с плена в отцовском доме; моя зрелость ознаменовалась тем, что я переступил через него и направился к выходу.

В тот же вечер Саванна позвала меня к себе в комнату. Дождь мягко стучал по медной крыше. Я сел на пол возле кровати сестры. Мы смотрели на всполохи молний, разрывавших северный край неба.

— Том, если я спрошу у тебя кое-что серьезное, ты мне ответишь? — прошептала Саванна.

— Конечно.

— Только не смейся и не дразнись. Это очень

важно.

— Договорились.

— Сегодня утром ты действительно видел, что я лежу в кровати с Роуз Астер?

— Что я, шутить буду? — рассердился я. — А вот ты наврала Люку.

— Я не врала. — Лицо Саванны помрачнело. — Я ничего не помню.

— Когда я вошел, Роуз Астер была у тебя в руках. Зайди вместо меня отец, он бы тебя убил.

— Знаешь, когда во дворе ты это сказал, я решила, что ты свихнулся.

— Ого! Кто из нас двоих свихнулся?

— Я тебе не поверила, пока не легла в постель.

— Почему ты теперь веришь?

— На простыне было мокрое пятно.

— До этого Роуз Астер лежала в морозилке. Когда я к тебе вошел, она уже вовсю таяла.

— Том, я совсем ничего не помню. Меня это пугает.

— Помнишь, не помнишь — какая разница? Я буду молчать.

— Том, я очень многое забываю. Мне приходится делать вид, будто я помню все. Получается очень нелепо.

— Что ты еще забыла?

— Помнишь тот день в Атланте, когда мы поднимались на Стоун-маунтин и я тебя поколотила?

— Еще бы! Ты тогда вообще была дура дурой.

— Из того дня я ничего не помню. Он весь пустой, словно ничего не случилось. И великан. Когда он влез в нашу комнату и мы с Люком бросали в него банки с пауками…

— Я тогда лежал в кровати, боясь пошевелиться.

— Ничего не помню из той ночи. Только со слов других, когда они рассказывают, что что-то было.

— Ты серьезно?

— Том, прошу, запоминай для меня все, что происходит. Множество дней просто стираются из моей памяти, и это больше всего меня пугает. Я пыталась говорить с мамой, но она только посмеялась и назвала меня рассеянной.

— Согласен. С удовольствием тебе помогу. Только потом не обзывай меня вруном и не высмеивай. Когда я напомнил тебе про Роуз Астер, Люк смотрел на меня как на круглого дурака.

— Том, и я не верила, пока не увидела мокрое пятно. Ночная рубашка тоже была мокрой. Зачем я так поступила?

— Тебе стало жаль сестренку. Ты подумала, что

ей одиноко. Ты не сделала ничего плохого. Саванна, ты заботливая. Мама считает тебя излишне чувствительной, потому что ты девчонка. Она думает, что тебе это принесет в жизни немало горя.

— Том, со мной что-то не так. Со мной творится что-то ужасное. Саванна держала меня за руку и глядела на молнии над рекой.

— Да брось ты, — воскликнул я. — Ты замечательная девочка. Моя сестра-близнец. Мы с тобой одинаковые.

— Нет! Нет, Том! Из нас двоих ты будешь близнецом, который запоминает. А я обещаю тебе делать все остальное. Я начну вести дневник. Ты будешь рассказывать, а я стану записывать эти истории в дневник.

Так Саванна начала заполнять обыкновенную школьную тетрадку заметками о своей повседневной жизни. В этих ранних записях не было ничего бунтарского или угрожающего. Наивные детские строчки. Саванна фиксировала разговоры со своими любимыми куклами и воображаемыми подругами по играм. Но даже тогда ее внутренняя жизнь была важнее внешней.

В тот год мать заставила нас учить молитву ангелам-хранителям. Все молитвы мы зазубривали

наизусть, далеко не всегда понимая их содержание, и эта молитва не была исключением. Мы уже знали Покаянную молитву и Молитву упования. Однако мать так и не смогла вразумительно объяснить нам, кто же такие ангелы-хранители. Безымянные, они восседали у нас на правом плече и шептали предостережения, если мы сбивались с пути истинного или совершали богопротивные поступки. Данные нам с рождения, ангелы-хранители должны были исправно и безропотно нести свою службу до самой нашей смерти. Словно дотошные бухгалтеры, они вели учет наших грехов. На левом плече у нас сидели посланцы Сатаны, действующие в противовес ангелам-хранителям. Эти черные серафимы пытались завести нас в дебри вероломства.

Такая двойственность вызывала изрядную теологическую путаницу. Однако Саванна с радостью приняла в свою жизнь двух невидимых спутников. Ангела-хранителя она именовала Аретой, темного ангела — Нортоном.

Саванна неверно расслышала, как мать произносит слово «хранитель», и, записывая диалоги между Аретой и Нортоном, называла их свои-

ми садовыми ангелами[70]. Наш дом окружало множество садовых ангелов, они парили над нами, словно души азалий. К ним принадлежали и мертворожденные дети Винго, чьи бренные тельца гнили под розовыми кустами. На садовых ангелов была возложена божественная обязанность любить и охранять наш дом. Они шептали вечерние молитвы деревьям и наблюдали за нами не по велению Бога, а потому что любили нас. Саванна и Нортона сделала пехотинцем этой молчаливой армии, патрулирующей ветры над рекой. Даже темный ангел оказался восприимчивым к ее уговорам. Сестра вообще сомневалась, что Нортон послан Сатаной, и утверждала, что он — пресвитерианин[71].

Увы, садовые ангелы не вмешались, когда мать сожгла в плите дневник Саванны, обнаружив, что дочь дословно записала в нем ссору между ней и отцом. В тетради были заметки за целый год. Разъяренная мать вырывала страницы и по одной бросала их в огонь, не обращая внимания

---

[70] Примечания: 70

Английские слова guardian (хранитель) и garden (сад) звучат очень похоже.

[71] Примечания: 71

Пресвитериане — одна из ветвей протестантской религии, опирающаяся на учение Кальвина. Появилась в XVI в. в Шотландии.

на слезы дочери и просьбы о пощаде. Детские воспоминания дымом разнеслись над островом. Фразы обрели крылья, но лишь затем, чтобы черными птицами упасть в реку. Мать кричала, требуя от Саванны никогда ничего не писать о нашей семье.

Через неделю я застал сестру возле реки. Был отлив. Саванна, опустившись на песок, лихорадочно что-то выводила указательным пальцем. Я полчаса наблюдал за ней с берега. Потом начался прилив, и вода смыла ее строчки.

Саванна встала, обернулась в сторону дома и увидела меня.

— Мой дневник! — весело пояснила она.

В атмосфере «Коуч-хауса» ощущалась изысканность и упорядоченность, делающая ресторан почти домашним. Каретные дома всегда сохраняют тайные воспоминания о породистых лошадях. Пропорции этих зданий отличаются соразмерностью, в них нет показной вычурности. Я еще не встречал бывшего каретного дома, в котором нельзя было бы устроить ресторан или что-нибудь не менее симпатичное. А здание под номером сто десять на Уэйверли-плейс даже превосходило своих собратьев; мне доставляло огромное удовольствие на него смотреть. Ресто-

ран отличался серьезностью меню. Казалось, официанты умеют не только разносить заказы; они непременно отскребут и отмоют породистую лошадь, если, выйдя с кухни, обнаружат за окнами двухколесные экипажи, гремящие по булыжным мостовым Гринвич-Виллиджа. Это единственный в Нью-Йорке ресторан, который я нашел без подсказок Саванны, когда мы с Люком повели ее отметить выход «Дочери ловца креветок» — ее первой книги. Помнится, мы угощали сестру изысканными блюдами и без конца поднимали тосты за ее успех. Мы попросили Саванну подарить Леону Лионидису, владельцу ресторана, экземпляр ее книжки с автографом. Перед тем как мы ушли, мистер Лионидис угостил нас коньяком за счет заведения. Те воспоминания были легкими, почти невесомыми: торжественность, разнообразие, празднество вне времени. Мы купались в любви, мы сидели обнявшись, соединенные нежными чувствами. Возможно, со стороны это выглядело несколько экстравагантно. Пусть. Я хранил в себе тот ликующий, ничем не омраченный вечер; часто я вызывал его из памяти в периоды печали, страданий и впустую проживаемых дней. Я доставал его из темноты, словно заветную бутылку шампанского, — и рот

наполнялся вином, в глазах искрился смех. Я вспоминал его в тяжелое для себя время, когда все в моей жизни рушилось, когда брат ушел навсегда, когда сестра прятала от себя ножи… Наш последний счастливый вечер втроем.

А нынешним вечером шел дождь. В половине десятого я подъехал к «Коуч-хаус». Сьюзен Лоуэнстайн должна была появиться позже. Метрдотель провел меня на второй этаж, к уютному столику, находящемуся в отдалении. Кирпичная стена была украшена несколькими жанровыми полотнами; картины гармонично старились вместе с кирпичами. Я заказал коктейль «Манхэттен»[72], отдавая должное острову, на котором нахожусь. Я забыл вкус этого напитка и, только когда его принесли, вспомнил, почему так и не научился ценить его своеобразие. Официант прекрасно понял мои ощущения и принес бокал сухого мартини, чтобы было чем «прополоскать рот».

В одиночестве я наблюдал за манерами посетителей: как они делают заказ, как беседуют при таинственно мерцающих свечах. Попивая мартини, я чувствовал странное единство с собой; чужак в сложном чужом мире, на кото-

[72] Примечания: 72

Коктейль из виски и вермута; в бокал обязательно добавляется вишенка.

рый он заявил права, как только город начал допускать его в свои уникальные, манящие тайной уголки. Хороший ресторан освобождал меня от жалкой ограниченности, от выпирающей неискушенности — предмета тщеславной гордости провинциала и одновременно его жуткого тупика. Я мог на вечер купить себе уголок Нью-Йорка и заказать угощение, чтобы потом с неослабевающим удовольствием вспоминать об этом до конца жизни. Я неторопливо переливал содержимое бокала себе в рот и думал обо всех изумительных кушаньях, что готовятся в этот час на Манхэттене. Своим приходом в «Коуч-хаус» я соединился с величием и многообразием кухни всех нью-йоркских ресторанов. И хотя я часто ругал Нью-Йорк, произнося длинные язвительные монологи, бывали моменты, когда пища и вино этого ошеломляющего, непостижимого города делали меня счастливейшим человеком в мире.

Я был поглощен изучением закусок в безупречно составленном меню. Сьюзен Лоуэнстайн я не увидел, а унюхал по аромату ее духов, перекликавшемуся с ароматом цветов на столике. Только потом я поднял глаза и посмотрел на ее лицо.

Ее лицо было одним из тех, что всегда выглядят по-разному. Казалось, оно принадлежало целой

плеяде красивых женщин. Возможно, измени она прическу — и мир начал бы воспринимать ее совсем по-другому. Красота Сьюзен была неброской, не приковывающей к себе внимания; я мог побиться об заклад, что на фотографиях эта женщина выходит неудачно. Для ужина она надела белое платье с глубоким вырезом. Я впервые заметил, что у психиатра моей сестры потрясающая фигура. Ее черные волосы были убраны в высокую прическу, в ушах висели длинные золотые серьги, шею украшало крупное золотое ожерелье.

— Лоуэнстайн, на вас сегодня просто опасно смотреть, — заметил я.

Чувствовалось, что комплимент ей понравился; она засмеялась.

— Это платье я купила в прошлом году себе в подарок, но не отваживалась надеть. Муж считает, что в белом я выгляжу слишком невинной.

Я окинул ее долгим одобрительным взглядом.

— Ничего подобного, доктор. В белом вы совсем не выглядите невинной.

Эта фраза ей тоже пришлась по вкусу. Она улыбнулась и спросила:

— Том, что здесь можно пожевать? Я ужасно проголодалась.

— Много чего, и все божественно.

Я заранее попросил официанта подать вино, когда придет моя гостья. Он принес бутылку охлажденного шабли.

— Ресторан славится своим супом из черных бобов, но я предпочитаю суп из омара. У них превосходные поставщики. Здесь безупречно готовят и подают массу блюд из красного мяса. Закуски — выше всяческих похвал, особенно копченый угорь в подливе из хрена. Ну а здешние десерты — настоящая амброзия.

— Откуда вы столько знаете о еде? — осведомилась доктор.

— Тому есть две причины. — Я поднял бокал, чтобы чокнуться с ней. — Во-первых, моя мать превосходно готовит. Она думала, что знанием премудростей французской кухни повысит свое положение в обществе. Положение в обществе так и осталось шатким, зато ее соусы и подливки — пальчики оближешь. Вторая причина — Салли училась в медицинском колледже, и кухаркой пришлось стать мне. Сам удивляюсь, но мне это понравилось.

— Если бы не нанятый повар, моя семья страдала бы от недоедания. Кухня мне всегда представлялась чем-то вроде невольничьей галеры…

Какое превосходное вино.

— Оно настоящее и очень дорогое. Ужин я заказал по своей карточке «Американ экспресс». Счет отправят домой, в Южную Каролину, и его оплатит моя жена.

— Вы хоть ее предупредили? — спросила доктор Лоуэнстайн.

— Нет, — ответил я. — Несколько раз звонил, общался с дочерьми, а ее не заставал дома.

Стенки моего бокала отражали блеск ожерелья на шее Сьюзен.

— Вы скучаете по ней?

— Нет, доктор. Последние пару лет я был никудышным мужем и сейчас даже рад, что нахожусь вдали от жены и детей. Пока я здесь, попробую взять себя в руки и превратиться в нечто напоминающее мужчину.

— Знаете, Том, каждый раз, когда вы говорите о себе, у меня появляется ощущение, что вы увеличиваете расстояние между нами. Временами вы бываете очень открытым, но это ложная открытость.

— Так я же американский мужчина, — улыбнулся я. — Быть открытым не моя работа.

— Что же является работой американского мужчины? — поинтересовалась она.

— Сводить с ума. Быть непостижимым, контролирующим, тупоголовым и бесчувственным.

— Вас удивит, сколько разных точек зрения я слышу от своих пациентов и пациенток, — сказала доктор. — Как будто они рассуждают о жителях других стран.

— Есть лишь единственное преступление, которое мужчина никогда не простит женщине: то, что она вышла за него замуж. Американский мужчина — это дрожащая груда неуверенности. Если женщина совершает ошибку и влюбляется в него, он заставит ее жестоко страдать за полное отсутствие вкуса. Вряд ли мужчины способны простить женщинам то, что те любят их до самозабвения.

— Вроде бы вы упоминали о романе вашей жены. Верно?

— Было такое. Забавная вышла история. Думаю, впервые за долгое время я обратил внимание на свою жену. Только когда она меня разлюбила, я вдруг сообразил, до чего сильно ее люблю.

— Вы говорили жене, что любите ее?

— Я ведь ее муж, Лоуэнстайн. Разумеется, нет.

— Том, почему на мои серьезные вопросы вы отшучиваетесь?

— Мне больно даже думать о Салли, — при-

знался я. — Когда я вспоминаю о ней, у меня перехватывает дыхание. Когда мой мир разлетается на куски, смех — единственная работающая стратегия.

— По-моему, слезы были бы куда эффективней, — заметила доктор.

— Я плачу лишь по пустякам. Смотря Олимпийские игры, например, или когда слышу национальный гимн, а также на всех свадьбах и церемониях окончания чего-либо.

— Вы имеете в виду сентиментальность, а я — горе и страдание.

— Южане, доктор, не считают сентиментальность недостатком. Южанина может растрогать любая мелочь. Это связывает его с остальными южанами и делает предметом насмешек тех, кто родился на северо-востоке. Думаю, причина здесь больше в нашем климате, чем в характере. Печаль только тогда воспринимается серьезно, когда ее переживают молча. На Юге знают мало способов выразить горе.

— Но у Саванны много способов, — возразила доктор, наклоняясь ко мне. — В стихах вашей сестры звучит немало душевной боли, она не скупится на слова. В поэзии Саванны нет ни капли сентиментальности, хотя она тоже уроженка

Юга.

— Однако сейчас моя сестра заперта в палате психушки, — напомнил я доктору Лоуэнстайн. — А я сижу в «Коуч-хаус» и распиваю шабли с ее психиатром. Саванна дорого заплатила за отсутствие сентиментальности.

Я был благодарен официанту, подошедшему принять заказ. Я видел, что разозлил Сьюзен своим неуклюжим наблюдением за особенностями Саванны. Однако доктор ничего не могла поделать с собственным профессиональным любопытством — оно возрастало. Ей было интересно, как на Юге одновременно выросли талантливая поэтесса, склонная к суициду, и брат-близнец — тренер, катящийся по наклонной. Бывали моменты, когда доктор Лоуэнстайн вглядывалась в меня с таким пристальным вниманием, что казалась мне геологом, стремящимся разглядеть в куске гнейса прожилки золота. Интуиция подсказывала мне, что Сьюзен что-то утаивает о состоянии Саванны. Запрет на свидания с сестрой казался странным; Саванна словно задолго до помещения в клинику решила вычеркнуть меня из своего круга. Всякий раз, выдавая очередной фрагмент воспоминаний о родительской семье, я ожидал от доктора Лоуэн-

стайн слов: «Вот и Саванна говорила то же самое» или «Ваш рассказ очень полезен в свете того, что я узнала от Саванны». Я как будто обращался к темной громадной пещере, куда мне было запрещено входить; мой крик тонул в темноте, и даже эхо не откликалось. Доктор Лоуэнстайн, что называется, заказывала музыку, под которую я был обязан танцевать. От меня требовалось объяснять бред сестры, записанный на пленку, однако ответных объяснений я не получал; не было ни рукоплесканий моей честности, ни осуждения моей лжи. Сьюзен Лоуэнстайн попросту задавала мне очередной вопрос и выслушивала очередной ответ. Я превратился в хранителя прошлого семьи Винго, где события были фатально обручены с болью и страданиями. На тот момент я являлся единственным очевидцем, способным понять, почему безумие моей сестры является всего лишь естественной реакцией на хаотичный поток внешних разрушений.

Переключив внимание на меню, я для начала заказал мягкопанцирных крабов в масле и лимонном соке, а в качестве подливы к ним — соус beurre blanc с каперсами. Доктор Лоуэнстайн выбрала на закуску копченого угря, а на первое — каменного окуня. Мне нравились абсолютно

все первые блюда; после некоторых раздумий я остановился на «сладких хлебцах»[73] в вине и грибном соусе.

— «Сладкие хлебцы»? — изумленно выгнула брови доктор Лоуэнстайн.

— Часть нашей семейной хроники, — улыбнулся я. — Саванна вскользь упоминала о них. Расслышал на пленке. Как-то мать подала «хлебцы» на ужин, и это вызвало определенные трения между родителями.

— Вы говорите о своей матери с полублагоговением и полупрезрением, — заметила доктор. — Меня это смущает.

— Наоборот, это уравновешивает, когда речь идет о моей матери, — возразил я. — Она прекрасная и удивительная женщина, которая всю жизнь пыталась докопаться до истины: кто же она на самом деле. С ее способностью к уничтожению ей лучше всего подошло бы точить лезвия гильотин. А так она понапрасну растрачивала свои таланты.

— Саванна разделяет ваши… специфические воззрения на мать? — спросила доктор Лоуэн-

[73] Примечания: 73

«Сладкие хлебцы» (sweetbreads) — зобные части и поджелудочные железы коров, свиней и овец, которые вначале вымачивают, затем варят в молоке и особым образом запекают.

стайн.

И опять я почувствовал, что с каждым вопросом она пытается копать все глубже.

— По-моему, вам это должно быть известно лучше, чем мне, — произнес я, встречая глазами официанта, несущего закуски. — Саванна — ваша пациентка. Ей точно хватает ярких впечатлений, связанных с матерью.

— Том, Саванна стала моей пациенткой за два месяца до попытки самоубийства. Два коротких месяца. Есть вещи, о которых я не могу вам сказать. Мне требуется на них разрешение Саванны, а она сейчас не в том состоянии.

— Получается, вы совсем не знаете Саванну?

— Да, Том, совсем не знаю, — подтвердила доктор. — Но постоянно открываются поразительные факты. И еще, моя интуиция сработала верно. Хорошо, что я попросила вас задержаться в Нью-Йорке.

— Саванна могла бы изложить вам события намного красочнее, чем я.

— Но предложила бы мне она такой восхитительный ужин?

Доктор Лоуэнстайн откусила кусочек угря, пропитанного острым соусом.

— Нет. Саванна из тех, кто ест только по необхо-

димости. Салаты, сыр тофу, диетические напитки. Она избегает всего, что содержит лишние калории или хотя бы чуточку животного жира. Трапеза с Саванной — скорее аскетическое бдение, нежели праздник живота.

— Мы с ней как-то сравнили наши гастрономические привычки, — сообщила Сьюзен. — Оказалось, она спокойно может пропустить завтрак и обед. Я напокупала кучу кулинарных книг. Наверное, все, что выходило в Америке за последние десять лет. Однако…

— Однако что, Лоуэнстайн? — спросил я, похрустывая промасленной клешней краба.

— Муж считает меня слишком толстой, — с неподдельной болью призналась она.

Я улыбнулся. Подошедший официант наполнил наши бокалы.

— Том, чему вы улыбаетесь?

— Ваш муж опять неправ. В вас, доктор, нет ни невинности, ни лишнего веса. Просто стыдно, что ни вы, ни он не радуетесь этому очевидному факту.

Доктор переменила тему и начала вспоминать о своем детстве. Впрочем, от меня не ускользнуло, что ей понравился мой комплимент. Доктор Лоуэнстайн рассказывала о холодности своей

матери; холодности настолько безграничной и естественной для этой женщины, что Сьюзен не могла припомнить ни одного случая, когда бы мать ее похвалила. Зато отец хватил дочь искренне и чрезмерно. Он принадлежал к тем отцам, что не могут смириться с взрослением дочери и ее пробуждающейся сексуальностью. Сьюзен была любимым ребенком, пока не достигла возраста полового созревания. Тогда внимание отца переключилось на ее младшего брата. Родители гордились поступлением Сьюзен в медицинский колледж, но их шокировало, что дочь избрала психиатрию. Сьюзен думала, что собственное ущербное детство с перекошенной родительской любовью поможет ей понять пациентов, которые будут приходить к ней, таща за собой из детства груз проблем. Сьюзен сочувствовала этим измученным душам, не получившим и крупицы любви от тех, кто их растил. Если психотерапевтические методы не помогут, она всегда сможет прописать своим пациентам соответствующее лекарство. Став психиатром, Сьюзен ощутила себя кем-то вроде всемогущего отца, но такого, который прощает своей дочери «грех» превращения в женщину. Возможности психиатрии одновременно пугали и притягивали ее. Ей

нравилась предельная серьезность в отношениях с пациентами, тактичность в подходе к чужим тайнам и необходимая ответственность.

За ужином и беседой я вновь увидел, как с лица Сьюзен Лоуэнстайн начала сходить профессиональная решительность — маска, которую она надевала в офисе. Когда она говорила о родителях, ее голос становился нежнее. Мне подумалось, что здорово, должно быть, попасть под власть этого теплого великодушного взгляда, когда в громадном Нью-Йорке жизнь поставит тебя на колени. Высокий профессионализм был для Сьюзен крепостной стеной, возведенной в качестве защиты от пугающего превосходства мужчин вроде меня и ее отца. Когда Сьюзен рассказывала, как отец вначале боготворил, а затем отвергнул ее, по ее словам выходило, будто история эта уникальна. Тем не менее что-то в ее голосе, какие-то полутона свидетельствовали о тяжело доставшейся мудрости. Она знала, что история ее отца, пожалуй, самая древняя и печальная в мире. Это заставило меня задуматься обо всех женщинах в моей жизни: матери, сестре, жене и дочерях. Я бы мог поведать Сьюзен, как фактически предал их, причем намеренно; я лишил их своей любви, когда они особенно в ней нуж-

дались. Слушая воспоминания Сьюзен об отце, я параллельно думал о вреде, причиненном мною женщинам моей семьи. В счастливые периоды любовь лилась из меня, словно мед из опрокинутого улья. Но в моменты боли и потерь я отступал в построенную собственными руками крепость непроницаемого одиночества, и женщины (все без исключения), пытавшиеся туда пробраться, пытавшиеся любить меня, в ужасе отступали. В такие моменты я мог только ранить. И ранил. Я принадлежал к типу мужчин, убивающих своих женщин медленно. Моя любовь являлась подобием гангрены, поражающей ткани души. У меня была сестра, пытавшаяся покончить с собой и не желавшая меня видеть; жена, нашедшая человека, который ее полюбил; дочери, не знавшие обо мне ничего, и мать, слишком хорошо меня знавшая. «Измени все», — твердил я себе, слушая Сьюзен Лоуэнстайн, расслабившуюся от вина в уютной атмосфере «Коуч-хаус». «Измени себя, окончательно и бесповоротно».

Подали первое блюдо, оказавшееся восхитительным. «Сладкие хлебцы» были сочными и нежными, грибы в соусе напоминали комочки земли, превращенные в темную, с привкусом дыма, плоть. Сьюзен была в восхищении от ка-

менного окуня. Его белое блестящее мясо легко отделялось от костей. Мой вкус был услажден; я благодарил Бога за усердие талантливых поваров и неиссякаемую красоту женщин. Я смотрел, как Сьюзен ест и пьет вино, плоды для которого собрали на щедрых виноградниках Франции, а потом выдерживали в подвалах положенное число лет. В честь этих славных виноградников я заказал еще одну бутылку.

Сьюзен рассказала мне сон, который увидела минувшей ночью: мы случайно с ней встретились во время снегопада. Спасаясь от него, мы забежали в Рокфеллеровский центр[74] и поднялись на лифте на самый верх. Потом мы сидели в «Рейнбоу рум»[75], пили шампанское и смотрели, как город покрывается снежной белизной. А когда метель полностью заслонила от нас Нью-Йорк, мы танцевали под медленную музыку.

— Потрясающий сон, доктор, — заметил я. — А мои сны тут же вылетают у меня из головы. Бы-

---

[74] Примечания: 74

Деловой и культурный комплекс на Манхэттене, состоящий из девятнадцати небоскребов, в которых размещаются правления крупных корпораций, в том числе Эн-би-си, Эй-би-си, «Дженерал электрик» и др.

[75] Примечания: 75

Фешенебельный ресторан и ночной клуб на шестьдесят пятом этаже небоскреба «Дженерал электрик».

вает, вскакиваю, понимаю, что снились какие-то ужасы, но не могу вспомнить ни одной детали.

— В таком случае, Том, вы упускаете удивительную и важную часть своей жизни, — заключила она. — Я всегда думала, что сны — это одновременно и любовные письма, и предостережения нашего подсознания. Кстати, можно научиться их запоминать.

— Вполне могу обойтись без предостережений и без писем — у меня горы разной ерунды, которую я написал самому себе.

— Но разве не странно, что вы попали в мой сон, хотя мы почти не знакомы?

— Я рад, что для вас это не стало кошмаром.

Доктор Лоуэнстайн засмеялась.

— Кстати, Том, вы любите концерты?

— Да, только не те, где исполняют современную музыку. Она для меня — как пуканье угря в соленой воде. Саванна, разумеется, обожает современную музыку.

— Как по-вашему, почему она так открыта сегодняшней культуре, а вы — нет? Признаюсь, Том, меня каждый раз раздражает, когда вы напяливаете на себя балахон культурного иеху, боящегося большого города. Вы слишком умны, чтобы достоверно играть эту роль.

— Простите меня, Лоуэнстайн, мне и самому претит образ ниспровергателя Нью-Йорка и неотесанного бревна. Воспринимайте мою неприязнь к Нью-Йорку не как затертый штамп, а как волнующую новую теорию, созданную Томом Винго.

— Знаете, стоит мне услышать, как кто-то ненавидит Нью-Йорк, и я тут же начинаю подозревать этого человека в антисемитизме, — заявила Сьюзен.

— Пожалуйста, доктор, объясните мне связь между антисемитизмом и ненавистью к этому городу. Как вы помните, я родом из городка Коллетон в Южной Каролине и не понимаю подобных тонкостей.

— В Нью-Йорке евреев больше, чем в Израиле.

— Ну и что? Возможно, здесь больше албанцев, чем в Албании, больше гаитян, чем на Гаити и больше ирландцев, чем в Ирландии. Возможно, здесь и южан больше, чем в Джорджии. Я не люблю Нью-Йорк, поскольку этот обезличенный город на меня давит. А у вас всегда такие параноические штучки?

— Да. Считаю паранойю превосходной оборонительной позицией.

— Теперь вы понимаете, каково мне ощущать

себя южанином, когда я приезжаю в Нью-Йорк? Кстати, что вы думали о Юге до того, как познакомились со мной и Саванной?

— То же, что и сейчас, — ответила доктор. — Юг — наиболее отсталая, реакционная и опасная часть страны.

— Но вам эта часть нравится?

Доктор засмеялась приятным смехом.

— Почему в истории неискоренимы времена, — продолжал я, — когда считается в порядке вещей ненавидеть евреев, американцев, негров или цыган? В каждом поколении обязательно найдется свой объект для ненависти, и если вы относитесь к нему терпимо или никак, на вас начнут косо смотреть. Когда я рос, меня учили ненавидеть коммунистов. Никого из них я и в глаза не видел, однако терпеть не мог этих сукиных сынов. Когда я рос, я ненавидел негров, поскольку у нас существовало чуть ли не религиозное верование, объявлявшее чернокожих ниже белых. А в Нью-Йорке меня ненавидят за то, что я белый южанин. Правда, забавно? Конечно, это дисциплинирует и встряхивает, но странным образом. Поневоле начинаешь понимать вашу теорию паранойи.

— Я спросила вас о концертах не из любопытства. В следующем месяце мой муж выступает

с концертом. Хочу пригласить вас. Надеюсь, вы придете в качестве моего гостя?

— С удовольствием, если ваш муж не исполняет ничего современного.

— Нет. В основном там будет музыка барокко.

— Как зовут вашего мужа?

— Герберт Вудруфф.

— Тот самый Герберт Вудруфф? — воскликнул я удивленно.

— Тот самый и единственный.

— Значит, вы замужем за Гербертом Вудруффом! Черт побери, Лоуэнстайн. Вы каждую ночь укладываетесь в постель с мировой знаменитостью.

— Далеко не каждую. Герберт по полгода проводит в гастрольных поездках. Он буквально нарасхват. Особенно в Европе.

— У нас дома есть его пластинки, — сказал я. — Пара штук точно. Мы с Салли часто слушали их после хорошей порции выпивки. Удивительно. Надо позвонить ей и похвастаться. Скажите, док, а он тоже еврей?

— Нет. Почему вас это интересует?

— Мне казалось, евреи так же переживают из-за браков с чужаками, как и католики. Когда я женился не на католичке, отец бушевал так,

словно я помочился в алтарные сосуды.

— Я всегда считала своего отца наиболее американизированным из всех евреев, — сообщила доктор Лоуэнстайн без тени улыбки. — Мы не ходили в синагогу, не праздновали еврейскую Пасху, а на Рождество обязательно наряжали елку. Я и не подозревала, насколько серьезно отец относится к иудаизму, пока не объявила, что выхожу замуж за христианина. Я боялась, как бы в день свадьбы отец не устроил бдение шивы.

— Что такое шива?

— Молитва по покойнику, — пояснила доктор.

— Но ваш отец должен гордиться таким знаменитым зятем.

— Этого я не знаю, Том, — Сьюзен пожала плечами. — Отец так меня и не простил. Он даже с внуком ни разу не виделся.

— Это многое объясняет. Я-то думал, что вы — пресвитерианка, перешедшая в иудаизм. А почему вы не взяли фамилию мужа?

— Я предпочла оставить свою, — улыбнулась доктор, изящно обрывая дальнейшие расспросы.

— Сколько лет вашему сыну? — осведомился я, меняя тему разговора.

— О нем-то я и хотела с вами поговорить. Я рада, что представилась такая возможность.

— Вы собираетесь говорить со мной о сыне? — недоуменно уточнил я.

— Мой сын очень увлекается спортом.

— Вы шутите.

— Почему вы так думаете? — В голосе доктора прозвучали нотки раздражения.

— Просто меня это удивило. Наверняка вы не одобряете выбор сына.

— Его отец шокирован. Бернард учится в Академии Филипса в Эксетере[76], он там первый год. Недавно нам прислали ежегодник[77], и на снимке муж увидел Бернарда в футбольной команде новичков. Мы не позволяли ему заниматься контактными видами спорта, ведь он может повредить руки. Нам хочется, чтобы Бернард сделал карьеру скрипача, потому мы и беспокоимся.

Не сдержавшись, я расхохотался.

— Просто бомба для вас, верно?

— Ничего смешного, — печально улыбнулась доктор. — Больше всего расстраивает, что Бернард нас обманывал. По крайней мере, скрывал

---

[76] Примечания: 76

Академия Филипса — одна из наиболее старых и престижных школ-интернатов. Основана в 1781 г. Находится в городе Эксетер, штат Нью-Гемпшир.

[77] Примечания: 77

В частных школах существует обычай выпускать ежегодные альманахи, содержащие снимки и рассказы об учебе и жизни воспитанников.

правду. Оказалось, он также играет в баскетбольной команде юниоров. И вроде успешно.

— Почему бы ему не заниматься и спортом, и музыкой?

— По мнению мужа, Бернард должен целиком посвятить себя скрипке.

— И у сына получается?

— Да. Хотя, по правде говоря, Бернард не музыкальный гений. Думаю, вы представляете, до чего тяжело идти по стопам Герберта Вудруффа. Мне всегда казалось, что для сына надо выбрать какой-нибудь другой инструмент, не скрипку. Тогда бы Бернарду не угрожало постоянное сравнение с отцом. Герберт победил на международном конкурсе, когда ему было всего девятнадцать.

— Мне как тренеру это знакомо. Многие мальчишки приходят заниматься спортом только потому, что отцы переносят на них свои юношеские мечты. И грустно, когда из этого ничего не получается.

— Грустно для отцов или для сыновей? — Доктор подалась вперед.

— Для сыновей. Черт с ними, с отцами. Им бы сесть и подумать, так нет же.

— С Гербертом все иначе, — возразила доктор. — Других инструментов для него просто не

существует. Он до безумия влюблен в скрипку. Муж и представить не может, что кто-то не разделяет его любовь. Особенно если этот кто-то — близкий человек, его единственный сын.

— Какие отношения между отцом и сыном? — поинтересовался я.

Лицо Сьюзен помрачнело. Она тщательно, с трудом строила фразы. Чувствовалось, она взвешивает каждое слово.

— Бернард очень уважает отца, очень гордится отцом и его успехами.

— Они дружат между собой? Ходят на матчи? Играют в парке в догонялки? Возятся на полу в гостиной? Я это имел в виду.

Сьюзен рассмеялась; ее смех был нервозным и натянутым. В разговоре о сыне я затронул нечто важное и, возможно, болезненное для нее.

— Не представляю Герберта возящимся на полу в гостиной. Он — человек серьезный, тонкий. К тому же боится повредить руки; руки для него — это жизнь.

— Лоуэнстайн, а шутить, дурачиться он любит?

Сьюзен помолчала.

— Я поняла ваш вопрос, но не решилась бы назвать Герберта балагуром. Хотите знать, ин-

тересно ли Бернарду с отцом? В его нынешнем возрасте, пожалуй, нет. Но с годами Бернард все больше начнет ценить отца.

— Расскажите мне о сыне, — попросил я.

И вновь почувствовал, как Сьюзен закрывается. Вопросы о семье тяготили ее. Этому психиатру было куда привычнее сидеть у себя в офисе и выслушивать чужие проблемы, чем говорить о собственных. Лицо доктора Лоуэнстайн побледнело. Она откинулась назад и прислонилась к кирпичной стене. Сейчас она напоминала женщину с камеи: длинная шея, безупречный профиль. Только фоном служили кирпичи, а не агат.

— Мне трудно описать вам сына, — протяжно вздохнув, сказала она. — У мальчика приятная внешность, но он считает себя некрасивым. Он очень высокий, гораздо выше отца. У него просто громадные для его возраста ступни и черные вьющиеся волосы. Мальчик не слишком разговорчив, особенно со взрослыми. Ученик он средний. Нам пришлось задействовать все доступные каналы, чтобы он попал в Эксетер. Тесты Бернард прошел блестяще, но он ленив и не хочет учиться. Подозреваю, ему нравится расстраивать родителей, получая низкие оценки. Что еще? Сами знаете,

Том, с подростками сложно.

— У него бывали срывы, потрясения?

— Нет, — резко произнесла доктор. — Никаких срывов и потрясений. Бернард — совершенно нормальный ребенок. Мы с мужем не вымещаем на нем свое недовольство. Вероятно, мы допустили ошибку: уделяли ему мало времени, когда у него начался переходный возраст. Я это признаю: да, виновата. И отвечаю за последствия.

— Лоуэнстайн, зачем вы мне все это рассказываете?

Сьюзен придвинулась ко мне.

— Видите ли, Том, поскольку сейчас у вас достаточно свободного времени, вы могли бы тренировать Бернарда пару раз в неделю.

— За два года это первая работа, которую мне предлагают.

— Вы согласны?

— А вы обсудили это с Бернардом?

— Зачем?

— Он может и не захотеть тренироваться. И потом, просто из соображений тактичности. А почему бы Герберту не сходить с сыном в Центральный парк и не поиграть в мяч?

— Что вы! — Доктор засмеялась. — Герберт ненавидит спорт. Если бы он узнал, что я ищу

сыну тренера, то пришел бы в ярость. Однако Бернард заявил нам, что в любом случае в следующем учебном году будет заниматься футболом. И потом, мне кажется, вы благотворно на него подействуете. Вы ему понравитесь. Он всегда мечтал иметь такого отца: спортивного, любящего шутить и непочтительного к условностям. Бьюсь об заклад, вы не умеете играть на скрипке.

— Просто вы не слышали моих записей. Винго, вынимающий душу из великих классиков прошлого. И снова вы шаблонно воспринимаете меня, доктор.

— Как и вы меня, — парировала Сьюзен.

— Вы ошиблись.

— Не ошиблась, Том. Признайте, что это так. Вы наверняка думаете: хороша же эта тетка Лоуэнстайн! Психиатр, врачевательница душевнобольных, а сделать сына счастливым не может.

— Признаю. Вы прочли мои мысли. Должно быть, существует причина, почему психиатрам не удается воспитывать собственных детей. Конечно, это штамп, но и доля правды в этом есть. Согласны?

— Только не в моем случае, — возразила доктор. — Просто Бернард — застенчивый мальчик.

Он перерастет все свои трудности. Вы в курсе, почему у психиатров бывают проблемы со своими детьми? Кстати, не у всех, уверяю вас. Так вот, психиатры слишком хорошо знают о разрушительных последствиях тяжелого детства. Избыток информации парализует их. Они начинают бояться малейшего ложного шага. То, что начиналось с чрезмерной заботы, часто оканчивается запустением. Кстати, сколько вы берете за свою работу?

— Деньги? — удивился я. — Об этом не беспокойтесь.

— Нет. Я настаиваю на профессиональной основе. Так какая у вас шкала гонораров?

— Шкала гонораров. Перестаньте шутить.

— Повторяю: я настаиваю на профессиональной основе. Сколько вы зарабатываете в час?

Доктор достала из сумочки записную книжку и тонкую перьевую ручку Dupont.

— А сколько вы зарабатываете в час? — спросил я.

Сьюзен оторвала взгляд от книжки.

— Едва ли здесь можно провести параллель.

— Параллель есть, доктор. Я не знаю, сколько зарабатывают в Нью-Йорке. Мне нужны цифры, от которых я буду отталкиваться.

— Я беру семьдесят пять долларов в час, — сообщила доктор Лоуэнстайн.

— Прекрасно, — улыбнулся я. — Значит, и я буду брать столько же.

— Нет, я не согласна платить вам столько.

— Хорошо, доктор. Вам, как другу семьи, я сделаю скидку. Шестьдесят баксов в час, и не надо меня благодарить.

— Сомневаюсь, что час работы тренера сопоставим с часом работы психиатра.

Ее голос звучал ровно, но мне не понравился упор на слове «тренера». Доктор Лоуэнстайн явно ставила мой труд ниже своего.

— Вы сомневаетесь? — с деланой небрежностью уточнил я. — Но в чем тогда разница?

— Вы не представляете, сколько стоит обучение в медицинском колледже.

— Отлично представляю. Моя жена там училась.

— Какая у вас была максимальная тренерская зарплата?

— Семнадцать тысяч долларов в год. Это без налогов.

— И сколько выходило в час? — задала новый вопрос Сьюзен.

— Давайте считать. В году триста шестьдесят

пять дней. Преподавание и тренировки занимали девять месяцев. Вдобавок летом я часто проводил тренировки по бейсболу. Где-то сорок шесть баксов в день. Эту сумму надо поделить на десятичасовой рабочий день.

Она записала цифры в книжку, затем подняла на меня глаза.

— Итого четыре доллара шестьдесят центов в час, — объявила доктор. — Предлагаю вам пять долларов.

— Как щедро, — усмехнулся я.

— Но выше этой суммы вы не получали.

— Вот оно, унижение, — простонал я, оглядывая зал ресторана. — Мало того, что на сеансах я работаю наравне с вами, так еще на сверхурочной работе теряю семьдесят баксов.

— Значит, договорились. — Доктор Лоуэнстайн захлопнула книжку.

— Нет. Теперь, когда меня изрубили на поле битвы, хочу вернуть самоуважение. Я готов тренировать Бернарда бесплатно. Я попытался уравнять свой труд с вашим — и меня вновь размазали по стенке. Передайте сыну, что мы начнем послезавтра. А сейчас давайте закажем какой-нибудь сказочный десерт.

— Я и так съела слишком много.

— Можете не бояться, что потолстеете, — успокоил я. — После ужина мы разыщем уличного грабителя, и он погонит вас до самого Центрального парка. Замечательный способ сжечь калории после нью-йоркского сытного ужина.

— Забыла выяснить у вас еще одну вещь. — Доктор помолчала. — Зачем вы соврали Моник, что работаете юристом в крупной корпорации?

— Вначале я сказал правду. Она подумала, что я шучу. Ваша подруга такая красивая; мне хотелось произвести на нее впечатление. А еще мне было одиноко. Решил с ней поболтать.

— Вы находите ее красивой?

— Не видел более привлекательной женщины.

— Второй раз она приходит ко мне в истеричном состоянии, не владея собой. Сейчас у нее мерзкий роман с инвестиционным банкиром из «Саломон бразерс»[78]. Во всяком случае, судя по ее словам.

— Ее психиатра нет в городе. Интересно, в Нью-Йорке найдется хоть горстка людей, обходящихся без визитов к психиатру? Или их уже изгнали в Нью-Джерси?

— Моник играет на флейте в оркестре моего

---

[78] Примечания: 78
Инвестиционный банк на Уолл-стрит, существующий с 1910 г.

мужа, — сообщила доктор Лоуэнстайн. — Через месяц вы снова ее увидите.

— О, черт. Она же спросит меня о юридических делах. Лоуэнстайн, давайте выпьем по рюмке коньяка. Вы правы, можно обойтись без десерта.

Принесли коньяк; мы чокнулись. Вкус напитка перенес меня в прошлое, когда я сидел в этом же ресторане с братом и сестрой. Мы смаковали коньяк, которым угостил нас хозяин ресторана. Саванна тогда работала над четырьмя произведениями. Она достала тетрадку и вслух нам их прочитала. Сестра собиралась написать длинный автобиографический цикл стихов. Она читала нам о белом коллетонском дельфине, о «крестном пути», который дед ежегодно совершал на Страстную пятницу, о первом футбольном матче Бенджи Вашингтона. Ее язык был богатым и пламенным; сестра черпала образы из своей жизни. Стихи ее были сочными как фрукты; в тот вечер их вкус соединялся со вкусом коньяка.

— О чем вы задумались, Том? — услышал я голос Сьюзен.

— Вспомнил время, когда находился здесь с Люком и Саванной. Мы тогда были такими счастливыми.

— А что случилось потом?

— Природа не терпит пустоты, но и полного счастья не терпит. Помните, я упоминал о своем нервном срыве?

— Конечно, — тихо отозвалась доктор.

— Это был не нервный срыв. Меня окутало такой плотной волной грусти, что я едва мог говорить. Я не считал и не считаю это душевной болезнью. В течение двух лет мне как-то удавалось существовать, хотя печаль постоянно сдавливала сердце. Я перенес чудовищную утрату и не находил утешения. В день у меня было по пять уроков английского и по три тренировки. За счет работы я держался. Но однажды груз сделался невыносимым. Я вел урок английского и читал ребятам «Папоротниковый холм» Дилана Томаса. Это стихотворение настолько меня тронуло, что я заплакал. Эти строки и прежде меня впечатляли, но тогда произошло что-то особенное. Я не в силах был остановиться. Класс недоуменно замер. Я и сам был ошеломлен, но ничего не мог с собой поделать.

— И все-таки не посчитали это нервным срывом?

— Нет. Я посчитал это нормальной реакцией на трагедию. Ненормальным как раз было то, что я слишком долго сдерживался и не пролил ни

слезинки. А еще через неделю, гуляя по пляжу, я вдруг увидел человека, похожего на моего брата. И вновь я раскис. Я сел на камни и больше часа безостановочно рыдал. Потом в голову пришла мысль: у меня ведь сегодня какое-то важное дело. Сколько я ни вспоминал, так и не вспомнил. Вечером меня нашла Салли. Я весь дрожал от холода.

— О чем вы забыли?

— О футбольном матче. Играла команда, которую я долго тренировал, хотел сделать из мальчишек настоящих игроков.

— И тогда вас уволили?

— Да, верно. Я засел дома и отказывался принимать чью-либо помощь. Я сдался, тоска навалилась на меня всей тяжестью. Через месяц жена и мать заставили меня подписать какие-то бумаги, а потом отвезли в медицинский колледж. Там, на десятом этаже, меня пару раз угостили шоковой терапией.

— Том, вы не обязаны рассказывать мне такие вещи, — заметила Сьюзен.

— Раз мне предстоит тренировать Бернарда, вы должны иметь в виду, что приобретаете товар с дефектом.

— Вы хороший тренер? — поинтересовалась доктор.

— Невероятно хороший, Сьюзен.

— Тогда я очень счастлива, что вы вошли в мою жизнь именно сейчас. Спасибо, что были со мной честны. Я рада, что услышала вашу историю здесь, а не в кабинете. Надеюсь, мы станем добрыми друзьями.

— Док, есть что-то связанное с Саванной, о чем вы молчите?

— Есть, и очень многое. Я делюсь с вами далеко не всем. — Доктор сделала глоток коньяка. — Когда речь шла о Моник, я едва не грохнулась со стула, услышав, что вы считаете ее красивой.

— Почему?

— Мне кажется, у нее роман с моим мужем.

— С чего вы взяли?

— Просто слишком хорошо знаю мужа. Вот только не могу понять, зачем она обращается ко мне за помощью. То ли это жестокость, то ли обыкновенное любопытство. Она каждый раз заставляет меня клясться, что я ничего не скажу Герберту о ее визите.

— Печальная история, доктор, — вздохнул я. — А может, это всего лишь ваше воображение?

— Не думаю.

— Послушайте, Лоуэнстайн. Я знаком и с вами, и с Моник. Не буду скрывать, Моник красива, но

как личность… В ней есть что-то жалкое. Когда вы пришли в этом потрясающем платье, я сразу заметил, что у вас такая же потрясающая фигура. На мой вкус, вы излишне серьезны, но мне приятно находиться с вами рядом. Дорогая, Моник не идет ни в какое сравнение с вами.

— Что еще за «дорогая»? Не забывайте, Том, я феминистка.

— Моник не идет ни в какое сравнение с вами, феминистка.

— Спасибо, тренер.

— Хотите, поедем в «Радужный зал», потанцуем?

— Не сегодня, Том. — Сьюзен улыбнулась. — Но обязательно пригласите меня туда.

— Вы обещаете надеть это платье?

— Мне пора домой, — спохватилась доктор. — И как можно скорее.

— Вы в полной безопасности, доктор, — я прошел шоковую терапию. — Я поднялся из-за стола. — Идемте. Оплачу счет и найму вам такси с каким-нибудь жутким экстравагантным водителем.

На Уэйверли-плейс шел небольшой дождик. Подъехало такси. Я открыл дверцу.

— Сегодня я провела удивительный вечер, —

призналась Сьюзен Лоуэнстайн, садясь в машину.

Она поцеловала меня в губы, легко и всего один раз. Я стоял и смотрел вслед автомобилю, растворяющемуся в темноте.

Глава 8



Через несколько недель после своего внезапного возвращения моя бабушка отправилась в похоронное бюро Уинтропа Оглтри покупать себе гроб. Так мы узнали, что она любит бывать на коллетонском кладбище и беседовать с мертвыми. У Толиты был свой культ почитания предков. Кладбищенская атмосфера тесного соприкосновения нашего и потустороннего миров доставляла ей удовольствие. Смерть казалась ей таинственным и недоступным меридианом на некой тайной географической карте. Собственную смерть она предвкушала как удивительное путешествие, которое состоится вне зависимости от обстоятельств.

Бабушка не была исправной прихожанкой и вообще обходила стороной вопросы веры в Бога, что давало ей право на экзотические духовные

эксперименты, более яркие и волнующие. Бабушка сохраняла наивную веру в гороскопы. Дни свои она планировала, учитывая расположение далеких звезд, а также тайные намеки и подсказки зодиака. Толита с неиссякаемым любопытством внимала советам предсказателей судьбы, верила в особые силы хрустальных шаров, в таинственную азбуку чаинок на дне чашки, в то, как легли перетасованные ею карты Таро. Словом, во все, что в тогдашнем южном городишке считалось революционным и подозрительным. Когда Толита была в Марселе, какая-то цыганка поглядела на ее короткую разветвленную «линию жизни» и изрекла, что Толита не проживет больше шестидесяти лет. К моменту бабушкиного возвращения в Коллетон ей было пятьдесят шесть. Каждый день она сверялась с рекомендациями «И цзин», хотя дед считал «Китайскую книгу перемен» сатанинским писанием, если не сказать хуже. Толита внимательно относилась к любой бессмыслице, преподносимой «доской Уиджа»[79]. Ее «символ веры» представлял собой хаотическое нагромождение разнообразных истин. Толита общалась

[79] Примечания: 79

Планшетка для спиритических сеансов, содержащая буквы алфавита, цифры и ответы «да» и «нет». Как и «Книга перемен», имеет очень длинную историю, уходящую своими корнями в древность.

с ясновидцами, предсказателями, знахарями и им подобными. Публика эта, что называется, определяла погоду бабушкиной души. И тем не менее отважусь назвать Толиту наиболее последовательной христианкой.

Предсказание марсельской цыганки бабушка восприняла с предельной серьезностью, но спокойно, как настоящий стоик. Она занялась приготовлениями к своей кончине так, словно ее ожидала поездка в сказочную страну, закрытую для туристов. Когда наступило время выполнения очередного пункта — приобретения гроба, бабушка настояла, чтобы все внуки пошли с ней. Ей хотелось научить нас не бояться смерти. О скорой покупке гроба она говорила весело и вела себя при этом так, словно ей нужно подтвердить заказ номера в отеле.

— Это ни в коем случае не конец жизни. Скорее, самый интересный этап, — рассуждала Толита, пока мы шагали по улице Приливов, здороваясь со знакомыми и незнакомыми.

Глядя на бабушку, энергичную, освещенную ярким солнцем, Люк никак не мог понять, что за срочность.

— Толита, у тебя бездна здоровья. Папа утверждает, что ты еще помочишься на наши могилы.

— Твой отец, Люк, — грубый человек. Прошу тебя, не подражай манерам ловцов креветок, — ответила бабушка, гордая и прямая, как корабельная мачта. — Шестьдесят лет — столько мне отмерено в этой жизни. И мне гадала не какая-нибудь цыганка с базара. То была цыганская королева. Я хожу только к специалистам. Ни разу в жизни не была у врачей общей практики.

— А мама считает, что спрашивать гадалок о будущем — это грех, — заявила Саванна.

— Все перемещения твой мамы ограничиваются двумя штатами, — пренебрежительно усмехнулась Толита. — Она не знает мир так, как знаю я.

— Цыганка хоть сказала, от чего ты скончаешься? — спросил я, побаиваясь, как бы Толита не упала замертво прямо на улице.

— От сердечного приступа, — торжественно объявила бабушка, словно на крестинах, где только что выбрала имя для горячо любимого младенца. — Рухну как подкошенная.

— Ты хочешь быть сожженной, как принято в дзен-буддизме? — уточнила Саванна.

— Это слишком непрактично. — Толита приветливо кивнула Джейсону Фордему, владельцу скобяного магазина. — Я попросила вашего деда

отвезти мое голое тело в Атланту и положить на вершине Стоун-маунтин. Пусть грифы клюют мою бренную плоть. Амос был в ужасе, но в Индии хоронят именно так. Правда, не знаю, достаточно ли в Джорджии грифов, чтобы устроить пир на моем трупе.

— Таких ужасов я еще от тебя не слышал, — заметил Люк, восхищенно глядя на бабушку.

— Терпеть не могу заурядных поступков. Но что поделаешь, в каждом обществе свои законы.

— Толита, ты действительно ни капельки не боишься умирать? — поинтересовался я.

— Рано или поздно все протягивают ноги, — вздохнула она. — Мне еще повезло. У меня есть время подготовиться и подготовить всех вас.

— Какой гроб ты себе выберешь? — осведомилась Саванна.

— Простой, сосновый. Никаких излишеств. Пусть черви поскорее проберутся внутрь и сожрут меня. Я понимаю гробовщиков, им надо кормиться. Никогда не осуждаю людей за способы заработка.

— Но как черви могут тебя сожрать? — удивился Люк. — У них же нет зубов.

К этому времени мы проходили мимо парикмахерской Уэйна Фендера.

— Червям придется подождать, пока я сгнию, — объяснила Толита.

Ее голос зазвучал громче. Разные жуткие подробности неизменно возбуждали бабушку.

— Когда в специальном заведении готовят к похоронам тело, из него обязательно выпускают всю кровь. Труп становится сухим, точно кукурузная кочерыжка. А потом туда закачивают особую жидкость, чтобы покойник гнил помедленнее.

— Зачем выпускать кровь? — Глаза Саванны округлились от ужаса.

— В противном случае тело очень быстро начнет разлагаться.

— Но в земле оно все равно разлагается, — возразил я.

— Понимаешь, никому не хочется, чтобы покойник вонял в зале для прощания. Вы когда-нибудь нюхали разлагающийся труп?

— Толита, опиши, как он пахнет.

— Как сотня фунтов сгнивших креветок.

— Такая вонь?

— Еще хуже. Мне противно даже думать об этом.

Мы дошли до места, где улица Приливов встречалась с Бейтери-роуд. На перекрестке стоял один из двух коллетонских светофоров. Из гавани вы-

плывали парусные суда, подставляя ветру свои белые, как бумага, залитые солнцем паруса. В устье готовилась войти пятидесятифутовая яхта; она просигналила смотрителю моста четырьмя негромкими гудками. На перекрестке, облаченный в бейсбольную шапочку и белые перчатки, стоял мистер Фрукт — уличный регулировщик. Дождавшись его милостивого разрешения, мы перешли на другую сторону. Мистера Фрукта не волновало, какой сигнал горит на светофоре — красный или зеленый. Он уповал на собственную интуицию и внутреннее чувство равновесия; этого ему вполне хватало для управления движением.

Фантастический, эксцентричный, неутомимый — самые подходящие эпитеты для описания долговязого чернокожего регулировщика. Судя по всему, он верил, что лично отвечает за город Коллетон. Неизвестно, каким образом его убрали с этого поста: отправили на пенсию или нашли какой-нибудь обманный ход. Возможно, кто-то из чиновных шишек с безобидным и добродушным лицом даровал мистеру Фрукту право ходить по улицам родного города и беззвучно проповедовать благую весть. Не знаю ни настоящего имени мистера Фрукта, ни адреса, ни того, была ли у

него семья. Знаю только, что его считали неотъемлемой принадлежностью Коллетона и никто не оспаривал право мистера Фрукта регулировать движение на перекрестке улицы Приливов и Бейтери-роуд.

Однажды новый помощник шерифа попытался объяснить мистеру Фрукту разницу между зеленым и красным сигналами светофора. Мистер Фрукт сопротивлялся всем попыткам изменить порядок, которому он следовал многие и многие годы. Он не только наблюдал за движением в городе — его присутствие смягчало то зло, что укоренилось и процветало в сознании местных жителей. О гуманности или нетерпимости любого сообщества можно судить по тому, как оно относится к мистерам фруктам. Коллетон сумел приспособиться к своеобразию своего регулировщика. Мистер Фрукт делал то, что считал нужным, и делал это в своеобразной манере. «Южный стиль, — говорила о нем Толита. — Мне нравится».

— Привет, ребятишки, — крикнул нам мистер Фрукт, включая в эту категорию и бабушку.

— Привет, парень, — отозвались мы.

На шее мистера Фрукта висел серебристый свисток, с лица не сходила улыбка. Он изящно

подносил свисток к губам и столь же изящно, хотя и несколько церемонно, взмахивал своими длинными руками. Заметив единственную приближающуюся машину, он повернулся к ней и согнул правую руку под прямым углом. Машина остановилась. Мистер Фрукт разрешил нам пересечь улицу, синхронно сопровождая каждый бабушкин шаг сигналами свистка. Этот человек был прирожденным регулировщиком. Однако у мистера Фрукта имелось еще одно, столь же серьезное дело. Он возглавлял все коллетонские шествия вне зависимости от их характера. В работе мистер Фрукт был усерден и прилежен. Правда, наш дед не расточал ему особых восторгов, утверждая, что на своем веку повидал достаточно усердных и прилежных людей, и мистер Фрукт — лишь один из них.

Когда я родился, население Коллетона равнялось десяти тысячам человек; с каждым последующим годом оно потихоньку уменьшалось. Город был построен на исконных землях йемасси — индейского племени, полностью исчезнувшего с лица земли. Факт истребленного народа придавал слову «йемасси» оттенок значимости. Последнее сражение между белыми поселенцами и индейцами происходило как

раз на нашем острове, на северной оконечности Мелроуза. Коллетонское ополчение, атаковав ночью, застигло индейцев врасплох. Многие из них погибли, не успев даже проснуться. На тех, кто сумел спастись, устроили охоту с собаками; их всю ночь гнали по лесу, словно оленей. К рассвету ополченцы вытеснили индейцев на песчаные речные отмели, а потом стали загонять в воду. Там их убивали с помощью мечей и мушкетов, не щадя ни женщин, ни детей. Однажды, когда мы с Люком и Саванной искали наконечники стрел, я наткнулся на небольшой череп. Внутри глухо позвякивала мушкетная пуля. Я стал доставать череп из густого подлеска, и пуля выкатилась из ротовой щели.

Теперь мы шли мимо великолепных белых особняков, выстроившихся вдоль улицы Приливов. Мы и не подозревали, какие чудовищные планы зарождаются в одном из них; его владелец, Рис Ньюбери, стоял на крыльце и смотрел в сторону реки. Мы помахали ему. Это был самый могущественный человек в Коллетоне. Блестящий юрист, владелец единственного городского банка, обширных земель вокруг Коллетона и вдобавок председатель городского совета. Здороваясь с Рисом Ньюбери, мы словно соглашались

со своим будущим и с планами этого неистового городского мечтателя. С простодушными улыбками мы приветствовали… падение клана Винго.

Похоронное бюро Уинтропа Оглтри находилось в самом конце улицы Приливов, в большом обветшалом здании викторианской архитектуры. Здесь он и готовил покойников к погребению. Оглтри ждал нас в вестибюле. Он был одет в темный костюм. Его руки лежали на животе — поза вынужденного благочестия. Высокий тощий человек с лицом цвета козьего сыра, который надолго оставили на столе. В вестибюле пахло искусственными цветами и молитвами, оставшимися без ответа. Уинтроп Оглтри поздоровался с нами. Его голос звучал одновременно елейно и замогильно, отчего казалось, что этому человеку уютно лишь в обществе мертвых. Он выглядел так, словно сам два или три раза умирал с целью прочувствовать все тонкости дела, которым занимался. Лицом Уинтроп Оглтри напоминал вампира-неудачника, которому никак не удавалось всласть насосаться крови.

— Уинтроп, я сразу же перейду к делу, — официальным тоном заявила бабушка. — Мне известно, что вскоре после своего шестидесятилетия я умру. Не хочу создавать своим близким лишних про-

блем. Я намерена выбрать самый дешевый гроб, какие имеются у вас на складе. Прошу обойтись без завлекающих уловок и не пытаться продать мне ящик ценой в миллион долларов.

Своим видом мистер Оглтри дал понять, что бабушкины слова его задели и обидели, однако ответ владельца был мягким и выдержанным.

— Ах, Толита, Толита. Смысл моей работы — наилучшим образом служить вашим интересам. Мне и в голову не приходило пытаться кого-то уговаривать и заставлять что-то покупать. Я лишь отвечаю на ваши вопросы и предлагаю свои услуги. Но я не знал, что вы больны. Судя по вашему виду, вы проживете не меньше тысячи лет.

— Это было бы ужасно. — Бабушка посмотрела в зал, где в открытом гробу лежал покойник. — Это никак Джонни Гриндли?

— Да, он отошел в мир иной вчера утром.

— Быстро же вы работаете, Уинтроп.

— Стараюсь изо всех сил, Толита. — Мистер Оглтри смиренно наклонил голову. — Он прожил достойную жизнь христианина, и я горжусь привилегией подготовить его к погребению.

— Бросьте, Уинтроп, Джонни был отъявленным сукиным сыном.

Бабушка подошла к гробу и стала вглядываться

в восковое, нечеловеческое лицо покойника. Мы тоже окружили гроб.

— Кажется, что он спит, — горделиво заметил мистер Оглтри. — Вы согласны, Толита?

— Не-а. Мертвый как пень, — отозвалась бабушка.

— Ну уж нет, — оскорбился мистер Оглтри. — Усопший выглядит так, будто вот-вот встанет и начнет насвистывать марш Джона Филипа Сузы[80]. Обратите внимание на выразительность его черт. Присмотритесь — и заметите намек на улыбку. Вы не представляете, до чего трудно создать улыбку на лице человека, умершего от рака. Я говорю не о фальшивой гримасе — ее соорудит кто угодно. Но естественная улыбка на лице покойника — такое по силам только художнику.

— Запомните, Уинтроп, когда я отпрыгаю свое — никаких улыбок на моем лице, — распорядилась Толита. — Не желаю выглядеть как смазливая улыбающаяся вертихвостка, на которую будут глазеть все, кому не лень. И прошу пользоваться моими косметическими средствами, а не вашей дешевкой.

---

[80] Примечания: 80

Суза Джон Филип (1854–1932) — американский композитор и дирижер духовых оркестров, автор знаменитого марша «The Stars and Stripes Forever», ставшего национальным маршем США.

Мистер Оглтри, проглотив новую обиду, выпрямился во весь рост.

— Толита, у меня нет привычки скупиться на грим.

— Хочу быть красивой, — продолжала Толита, пропуская его слова мимо ушей.

— Сделаю вас просто восхитительной, — пообещал мистер Оглтри, вновь смиренно опустив голову.

— Бедняга Джонни Гриндли, — вздохнула Толита, со странной нежностью глядя на покойного. — Знаете, ребята, я помню день, когда Джонни родился. Это было в доме его матери на Хьюджер-стрит. Мне тогда было восемь лет, но вижу все очень ярко, будто прошло четверть часа. Единственная моя странность: до сих пор ощущаю себя восьмилетней девочкой, запертой в старом теле… Джонни с самого младенчества был уродлив как черт.

— Он прожил полноценную жизнь, — пропел мистер Оглтри; его голос звучал внушительно, как органный хорал в тональности ре-бемоль мажор.

— Уинтроп, он ни разу не сделал ничего из ряда вон выходящего, — возразила Толита. — А теперь проводите меня к образцам.

— Я уже знаю, что вам подойдет, — заверил мистер Оглтри.

Он повел нас по винтовой лестнице на второй этаж. Мы миновали часовню непонятной религиозной принадлежности и оказались в зале с гробами всех видов и размеров. Мистер Оглтри уверенно направился к гробу цвета красного дерева, стоявшему в центре зала. Хозяин выразительно постучал по стенке гроба и торжественно произнес:

— Толита, вам незачем искать что-то еще. Это оптимальный гроб для женщины с вашим положением в обществе.

— А где сосновые гробы? — Бабушка оглядела зал. — Не хочу загонять своих близких в долги.

— Никаких проблем. У нас великолепная система рассрочки. Вы платите несколько долларов в месяц; когда наступит момент стяжать свои награды на небесах, вашей семье не придется тратить ни цента.

Толита придирчиво рассматривала гроб. Она водила рукой по шелковой обивке внутренней части. Я приблизился к другому гробу. На внутренней стороне крышки вышивка по шелку изображала Христа и апостолов на Тайной вечере.

— Что, нравится? Согласен, потрясающий гроб, — сказал мистер Оглтри. — Обрати внимание, Том, среди апостолов нет Иуды. Думаю, каждому приятно быть похороненным с Иисусом и его сподвижниками. Изготовители гроба мудро рассудили: в последнем пристанище доброго христианина Иуде не место.

— Мне он очень нравится, — признался я.

— Безвкусица, — прошептала Саванна.

— А мне больше по вкусу гроб «Молящиеся руки», — подал голос Люк с другого конца зала.

— Я заметил, Люк, что эту модель предпочитают методисты, — подхватил довольный мистер Оглтри. — Однако он подходит для приверженцев любых религий. Ведь молящиеся руки могут быть и у буддиста, и у мусульманина. Улавливаешь мою мысль? Только я сомневаюсь, что Толите в месте последнего упокоения требуется картинка. Она всегда предпочитала элегантную простоту.

— Обойдемся без комплиментов, — отрезала бабушка. — Сколько стоит тот гроб, в центре зала?

— Обычно мы просим за него тысячу долларов, — сообщил хозяин заведения, понизив голос. — Но поскольку вы являетесь другом семьи, готов продать вам его за восемьсот двадцать пять долларов шестьдесят центов, плюс налог.

— Надо все взвесить, Уинтроп. Можно нам тут остаться и обдумать? Как-никак, приобретение серьезное, хочется обсудить с внуками.

— Конечно. Отлично вас понимаю. Как раз хотел вам это предложить. Я буду внизу, у себя в кабинете. Если вам все-таки не подойдет ни один из моих образцов, у меня есть специальный каталог заказов по почте. Там перечислены все виды гробов, какие выпускаются в Соединенных Штатах.

— А сколько стоит самый дешевый гроб из тех, что у вас есть?

Уинтроп Оглтри фыркнул, будто намеревался высморкаться, затем высокомерно проследовал в дальний неосвещенный угол зала, где с оттенком отвращения дотронулся до невзрачного гроба, цвет которого напоминал цвет ружейного ствола.

— Вот этот мы продаем за двести долларов. Но, Толита, я бы ни за что не пожелал женщине с вашей репутацией быть похороненной в таком гробу. Они существуют лишь для безродных бродяг и самых бедных негров. Надеюсь, вы не хотите ставить своих близких в неловкое положение. Каково им будет, когда вас увидят в подобном ящике?

Хозяин посмотрел на бабушку так, словно та предложила закопать ее по шею в куриный помет. Низко поклонившись, он ушел, оставив нас совещаться.

— Меня тошнит от одной мысли, что этот идиот увидит меня совсем голой, — заявила бабушка, когда шаги мистера Оглтри стихли.

— Какой стыд, — согласилась Саванна. — Мы ему этого не позволим. Даже подглядывать не дадим.

— Но покойник должен быть голым, иначе как резать вены и выпускать кровь? Мне, конечно, будет уже все равно, однако я бы предпочла, чтобы моим телом занимался не Уинтроп Оглтри, а кто-нибудь другой. Добавьте к его голосу немного уксуса, и можно заправлять салат «Цезарь». Стоит лишь заикнуться о собственном выборе, и у него на несколько дней портится настроение… Ну-ка, держите.

Бабушка достала из сумочки портативный фотоаппарат «Брауни»[81] и вручила Люку.

— Что ты задумала, Толита? — удивился Люк.

---

[81] Примечания: 81

Модель массового фотоаппарата, выпускавшаяся филиалом фирмы «Кодак» вплоть до начала 1960-х гг. Аппарат заряжался роликом пленки на 100 кадров. Когда пленка была целиком отснята, аппарат возвращали на завод для перезарядки, проявки пленки и печати снимков.

Бабушка молча пододвинула стул к первому гробу, предложенному мистером Оглтри. Она осторожно сняла туфли и встала на сиденье. Мы так же молча смотрели. Толита улеглась в гроб, словно это была верхняя полка в спальном вагоне первого класса. Она пошевелила пальцами ног, затем попыталась вытянуться во весь рост. Поелозив немного, Толита закрыла глаза и замерла.

— Пружины никуда не годятся, — наконец изрекла она.

— Но это же не матрас, — резонно возразила Саванна. — Гроб не кровать в номере отеля.

— А ты-то откуда знаешь, какие матрасы у тамошних кроватей? — огрызнулась Толита. — За эту штуку придется выложить немалые деньги. За такую сумму я могу рассчитывать на комфорт. И потом, мне в нем лежать не день и не два.

— Ты лучше поскорее вылезай, — взмолился я, подбегая к окну. — Вдруг тебя заметят. Нам всем тогда влетит.

— Как я выгляжу? — поинтересовалась Толита, не обращая внимания на мои страхи.

— Потрясающе, как всегда, — заверила Саванна.

— Я спрашиваю, как выгляжу в этом гробу, — пояснила бабушка, по-прежнему не открывая

глаз. — Платье удачно подходит к этому цвету? Или лучше пурпурное, которое в прошлом году я надевала на Пасху в Гонконге?

— В прошлом году мы отмечали Пасху здесь, а не в Гонконге, — напомнил ей Люк.

— Да, конечно. Все-таки это платье смотрится благородней. Терпеть не могу, когда покойницы выглядят как разряженные шлюхи. Люк, сделай несколько снимков.

— Не могу, Толита. Здесь нельзя фотографировать.

— Послушай, мальчик, я не потрачу ни цента на этот ящик, пока не увижу, как в нем смотрюсь. Разве одежду покупают без примерки?

Люк пожал плечами и послушно запечатлел бабушку под разными углами.

— Толита, немедленно вылезай из гроба. Сюда поднимается миссис Бланкеншип, — почти закричал я.

— Плевать мне на эту старую суку. Мы с ней вместе учились в школе. Как была серостью, так и осталась. А теперь слушайте меня внимательно. Хочу, чтобы волосы мне укладывала Нелли Рей Баскинс и ни в коем случае — слышите? — ни в коем случае не Вильма Хочкисс. Ей можно позволить расчесывать волосы, но не больше. Скажете

Нелли Рей, что я просила сделать одну из новых французских причесок. Я недавно о них читала. Пусть после моей смерти людям будет о чем посплетничать. И еще… хоть кто-то из вас догадался записать? Вы вечно все забываете… Пусть Нелли Рей покрасит мои волосы в рыжий цвет.

— Рыжий? — удивленно воскликнула Саванна. — У тебя будет дурацкий вид. Это не твой цвет. Ты будешь выглядеть неестественно.

Толита лежала на атласной подушке и по-прежнему не открывала глаз.

— В детстве у меня были красивые рыжие волосы; конечно, не такой тошнотворный медный цвет, как у девчонки Толливер, что живет на Бернчёрч-роуд. В пятнадцать лет я срезала локон и сохранила его. Так что будет с чем сравнить. Нелли Рей хорошо красит волосы. Не то что Вильма; той и пасхальное яйцо нельзя доверить. И потом, Саванна, какой покойник выглядит абсолютно естественно? Капелька веселья, думаю, не помешает.

— На похоронах не веселятся, — возразила Саванна. — Ты лучше выбирайся, пока мистер Оглтри не вернулся.

— А как мой рот? — допытывалась Толита. — Думаю, в самый раз. Люк, сделай еще один снимок.

И запомните: не дай бог этот болван Оглтри растянет мне рот до ушей! Терпеть не могу его дешевки вроде «Счастлива упокоиться в Иисусе», и все такое. Хочу выглядеть серьезной и благородной, как вдовствующая королева.

— Кто вдовствующая королева? — удивился я.

— Точно не помню. Дома посмотрю в толковом словаре. Но именно так я желаю выглядеть. Саванна, девочка, достань из моей сумки пудреницу. Проверю, все ли в порядке с макияжем.

Саванна запустила руку в громадную бабушкину сумку, выловила изящную золотую пудреницу и подала ее нашей временно усопшей бабушке. Толита раскрыла пудреницу и принялась разглядывать себя в круглое зеркальце. Она припудрила нос и щеки. Затем громко щелкнула крышкой, вернула пудреницу Саванне и вновь закрыла глаза.

— Великолепно. Я всегда знаю меру. Люк, дружок, сними меня еще раз. Зарубите себе на носу, губная помада должна быть только такого оттенка. У Оглтри помада, которой лишь пожарные машины красить. Ему надо запретить подводить губы всем, кроме ниггеров.

— Сюда идут! — Я заметался, указывая на дверь. — Толита, ну пожалуйста, вылезай из

гроба.

— Том, истеричность мальчику не к лицу.

— Толита, нельзя говорить «ниггер», — упрекнула бабушку Саванна. — Это дурное слово.

— Ты права, моя принцесса. Больше не буду.

— Сюда идут, — прошептал Люк, наклонившись над бабушкиным ухом. — Пожалуйста, заканчивай с этим.

— Ха-ха-ха, — захихикала Толита. — Вот будет здорово. Пробные похороны.

В зал вплыла величественная и любопытная Руби Бланкеншип. Ее седые волосы торчком стояли на голове, глаза напоминали две изюмины на раскисшем пирожном. Она была массивной женщиной с крупными формами. При виде Руби сердца ребятишек мгновенно наполнялись ужасом. В Коллетоне ее считали чем-то вроде нечистой силы. Эта пожилая женщина ненавидела детей и за многие годы довела ненависть до уровня искусства. Помимо неприязни к детям Руби была известна своим непомерным любопытством к здоровью горожан. Она постоянно толклась в больнице и похоронном бюро. Если где-то случался пожар, ее приходилось оттаскивать силой. Дома и в машине у нее стояло «полицейское радио»; неудивительно, что Руби

первой узнавала обо всех происшествиях, включая самые ужасные, и появлялась там почти одновременно с полицией.

Миссис Бланкеншип встала в проеме.

— А что здесь делают Винго? — властным тоном спросила она, сверля нас взглядом. — Насколько я знаю, в вашей семье никто не умер.

Мы не успели и рта раскрыть, как Руби заметила в гробу Толиту. Бабушка лежала, как настоящая покойница.

— Это что же, скоропостижная смерть? — удивилась миссис Бланкеншип. — Я ничего не слышала.

Игнорируя наше присутствие, она подошла к гробу и принялась внимательно разглядывать бабушку.

— Посмотри, какую идиотскую улыбку сотворил вашей бабушке этот дурень Оглтри, — сказала она, обращаясь к Люку и тыча в него костлявым указательным пальцем. — Теперь весь город будет скалиться. Но вообще-то старина Уинтроп постарался. Ваша бабуля выглядит естественно. Вы согласны, ребята? Почти как живая.

— Да, мэм, — отозвался Люк.

— От чего она умерла?

— Неизвестно, мэм.

В голосе Люка звучало неподдельное горе, в глазах застыла обращенная к нам мольба о помощи. Мы с Саванной пожали плечами, демонстрируя свое неведение. Саванна отошла к окну и уставилась на реку. Ее плечи вздрагивали. Моя сестра с трудом сдерживала истеричный смех. Я же был по-настоящему напуган бабушкиным трюком и не мог оценить всю комичность ситуации.

— Как прикажешь это понимать? — рассердилась миссис Бланкеншип. — Она скончалась от сердца? Или от какой-нибудь формы рака, который подцепила в Африке? Или от печени? Держу пари, от печени. Ваша бабушка любила крепко заложить. Хотя вы-то не в курсе. Она бросила вашего дедушку в самый разгар Великой депрессии. Хорошо помню тот день, когда она уехала. Мне пришлось стряпать еду вашему деду. Думаю, теперь ей придется объяснить Господу, почему она бросила законного мужа. Кстати, когда похороны?

— Точно не знаю, мэм, — пробубнил Люк.

— Ты не знаешь, когда будут предавать земле твою бабушку?

— Совершенно верно, мэм.

— А когда она умерла?

— Прошу, мэм, не надо вопросов. Мне очень

тяжело говорить. Люк закрыл лицо руками; его плечи тряслись от едва сдерживаемого смеха.

— Не расстраивайтесь, молодой человек, — покровительственным тоном произнесла миссис Бланкеншип. — Смерть — естественное явление. В свое время за каждым из нас прискачет черный всадник, чтобы препроводить к месту Страшного суда. В наших силах должным образом подготовиться. Понимаю причину вашей грусти. Наверное, вы думаете, что душа вашей бабушки горит в адском пламени. Но такова была ее воля. Она сама выбрала жизнь грешницы. Пусть наши земные жизни протекают достойно. Давайте-ка я угощу вас жевательной резинкой.

Миссис Бланкеншип извлекла из бумажника упаковку «Джуси фрут» и вытащила из нее три желтых прямоугольничка.

— Пожуйте резинку. Это поможет вам не плакать и освежит дыхание. Я заметила, что нынче у многих детей скверно пахнет изо рта. И все потому, что матери учат их чистить зубы, но забывают, что наш язык тоже нуждается в чистке. Я не сошла с ума, нет, дети. Спасибо моей мамочке. Она научила меня чистить язык не менее тщательно, чем зубы.

Миссис Бланкеншип протянула желтый пря-

моугольничек Люку, и тут бабушка схватила ее за руку. Толита села в гробу, взяла резинку, развернула, отправила белесую пластиночку к себе в рот и улеглась снова, медленно двигая челюстями.

Несколько секунд в зале царила мертвая тишина. Затем Руби Бланкеншип с воплем бросилась к двери. Судя по ее шагам, она перепрыгивала через три ступеньки.

Ухватившись обеими руками за стенку гроба, Толита приподнялась и лихо спрыгнула вниз. Потом столь же проворно надела туфли, дьявольски улыбаясь.

— Выбираемся через черный ход, — скомандовала она.

Снизу доносились истеричные возгласы миссис Бланкеншип. Она пыталась рассказать Уинтропу Оглтри об увиденном кошмаре, но с перепугу утратила связность речи. Мы вслед за бабушкой спустились по узкой черной лестнице и вышли в окаймленный кирпичом садик позади похоронного бюро. Там мы все четверо повалились в траву и принялись хохотать до боли в животе. Толита дрыгала ногами в воздухе, невольно заставляя нас лицезреть ее панталоны. Мы с Саванной уткнулись ртами в плечи друг друга,

старяясь приглушить смех. Люк беззвучно трясся, как вымокший щенок. Зато смех Толиты, напоминавший звон колокольчика, вырывался на улицу и заставлял прохожих вертеть головами.

В промежутках между всхлипываниями мы расслышали бабушкину просьбу:

— Утихомирьте меня. Пожалуйста, остановите меня.

— Зачем? — едва сумел спросить я.

Прошло полминуты, прежде чем она прошептала:

— Когда я так веселюсь, то писаюсь прямо в штаны.

От такого признания я сразу же стих, однако Саванна с Люком захохотали еще пуще.

— Прошу, Толита, не намочи штаны. Ты ведь моя бабушка.

Мой умоляющий голос и достоинство, с каким были произнесены эти слова, вызвали у Толиты новый припадок смеха. Ее тощие ноги опять задрыгались над головой, словно лапки раненой букашки. Солнце освещало ее аккуратные белые панталоны.

— Толита, опусти ноги, — продолжал я. — Мне и так уже видно твое белье.

— Я сейчас обмочусь. Честное слово, обмочусь.

Господи, мне не стерпеть, — вскрикивала Толита.

Ей все же удалось подняться и забежать за куст азалии. Там бабушка сдернула панталоны и зашлась в новом приступе. По ее щекам текли слезы, а струя мочи шумно орошала несчастный куст.

— Боже милостивый! — воскликнул я. — Наша бабушка в самом центре города поливает кусты.

— Тише ты, мальчишка, — шикнула Толита, восстанавливая дыхание. — Чем болтать, лучше подай мне туфли.

Бабушка вновь надела панталоны. Когда она вышла из-за куста, это была прежняя Толита с величественным лицом и безупречной осанкой. Со стороны похоронного бюро все еще слышались вопли Руби Бланкеншип, наполнявшие собой гулкие коридоры викторианского особняка.

А мы пустились по улице Приливов в обратный путь. Мистер Фрукт снова остановил машину, когда мы переходили через его перекресток.

Глава 9



Весной моя мать часто прикалывала к волосам гардении. Когда она входила к нам в комнату, чтобы поцеловать и пожелать спокойной ночи, цветок казался белой драгоценностью, похищенной из королевской оранжереи. Через какое-то время гардения отцветала; ее лепестки устилали землю, а воздух наполнялся сладостным ароматом увядания. Мы знали, что скоро наступит время роз. Череду весенних и летних дней мы узнавали по смене цветов в материнских волосах. Женщина, прикалывающая цветок к волосам… я и сейчас замираю от неописуемой интимной красоты этой сцены. Этот чувственный жест олицетворяет для меня всю печаль и скорбь покинутых матерей.

Так случилось, что эта очаровательная и невинная привычка матери преподнесла мне первый

незабываемый урок обескураживающей жестокости людей из местного «высшего слоя». Затем были другие уроки, но ни один не ранил меня так сильно, как тот. Я запомнил его во всех подробностях.

Отправляясь по магазинам, мать каждый раз прикалывала к волосам гардению. Она редко набирала много товара, но ей нравился сам процесс: любезности, сопровождающие покупки в маленьких городах, обмен комплиментами через прилавок, оживленные сплетни владельцев лавочек, сами улицы, где почти каждый что-нибудь продавал. В такие дни, отправляясь в Коллетон, мать тщательно одевалась. Шагая по улице Приливов, Лила Винго знала, что является самой красивой женщиной в городе. Я любил наблюдать, как она идет, с каким уважением мужчины на нее смотрят. Женщины обычно оборачивались ей вслед. Они без восторга следили, как мать на мгновение останавливается возле витрин, любуется своим отражением и наслаждается проявленным к ней вниманием. Матерью двигала безошибочная интуиция, внешним выражением которой была безупречная внешность.

Майским утром 1955 года, с гардением в волосах и искусно наложенным макияжем, мать вошла в

магазин одежды Сары Постон.

— Доброе утро, — поздоровалась она с Изабель Ньюбери и Тиной Бланшард, которые выбирали себе платья для весеннего бала в Коллетонской лиге.

Обе женщины вежливо ответили на ее приветствие. Мать сняла со стойки платье, на которое у нее не хватало денег, и направилась в дальний конец зала, в примерочную. Саванна проследовала за ней. Мы с Люком в этом время глазели на удочки в скобяном магазине Фордема. Надев платье, мать услышала, как Изабель Ньюбери сказала подруге:

— Меня бы ничуть не удивило, если бы Лила явилась на бал с розой в зубах и прищелкивала бы пальцами, как танцовщица фламенко. У нее прирожденный талант на экстравагантности сомнительного вкуса. Я бы с удовольствием вырвала у нее из волос эти цветочки и научила бы делать маникюр.

Изабель Ньюбери не видела, как мать и моя сестра прошли в примерочную. Саванна вопросительно поглядела на мать, но та лишь улыбнулась и приложила палец к губам. Мать повернулась к зеркалу и критически оглядела свое отражение, затем вытащила из волос гардению и бросила в

мусорную корзинку. Следующим этапом было внимательное изучение собственных ногтей.

Мать и Саванна пробыли в примерочной целый час. Мать делала вид, будто никак не может решить, покупать ей платье или нет, хотя прекрасно знала, что оно ей не по карману. Впоследствии Лила Винго никогда не украшала свои волосы цветами. И с тех пор за все наше продолжительное детство мать ни разу не пригласили на бал. Я скучал по гардениям и по тем моментам, когда мать проходила мимо, а я ловил сладостный терпкий аромат цветов, привлекающий пчел и восторженных сыновей. Сегодня, стоит мне почувствовать запах гардении, я сразу начинаю думать о матери так, как думал в детстве. А мысли о женских ногтях поднимают во мне волну ненависти к Изабель Ньюбери, по сути укравшей цветы из волос моей матери.

Клан Винго состоит из людей двух типов. Есть Винго смиренные; мой дед служил тому наглядным примером. Всю жизнь он прощал соседям большие и малые поступки, совершенные против него. Но есть и другие Винго, способные десятки лет таить в себе злость. Этот тип Винго доминирует в клане, героически храня генетическую память обо всех несправедливостях. Если кто-то

хоть раз схлестнется с Винго этого типа, месть ему обеспечена на поколения вперед. Винго этого типа наследовали обиды и оскорбления, нанесенные их родителям; вражда и месть переходили из поколения в поколение, впитываясь в плоть и кровь. К Винго этого типа принадлежу и я.

Стоя за штурвалом рыбачьей лодки, отец часто просвещал нас относительно нашего кланового наследия. Я не раз слышал от него:

— Если не можешь побить своего врага в школе, выжди двадцать лет и расправься с его женой и ребенком.

— То есть для достижения цели все средства хороши? — уточняла Саванна, повторяя излюбленную фразу нашей матери.

— Людей, Саванна, надо уметь ставить на место. Иначе они так обнаглеют, что будут плевать тебе в физиономию.

— Мама не разрешает нам драться, — заявил я.

Отец расхохотался.

— Мама не разрешает! Ваша мама! Эта дамочка — настоящая потрошительница. Если будете разевать рот, она вырвет у вас сердце и съест его на ваших глазах, — с искренним восхищением добавил отец.

Через год после судьбоносного похода в мага-

зин одежды мне вновь напомнили о гардениях. Я шел из школьной столовой к шкафчику с вещами и наткнулся на Тодда Ньюбери и троих его дружков. Все показывали пальцами на мои ноги. Тодд был единственным сыном Изабель и Риза Ньюбери и вел себя с заносчивостью, весьма характерной для единственных в семье отпрысков. Родители тряслись над ним и потакали во всем. Остальные трое были ему под стать — такие же безмозглые, хотя и с подвешенными языками. У Дики Диксона и Фарли Бледсоу отцы работали в банке, которым заправлял Ньюбери-старший. Марвин Грант был сыном юриста того же банка. Всех их я знал с раннего детства.

— Шикарные у тебя башмаки, Винго, — начал Тодд, когда я с ним поравнялся.

Остальные засмеялись.

Я посмотрел на свои теннисные туфли: ни старые, ни новые, однако порванные во многих местах.

— Рад, что они тебе нравятся, Тодд, — ответил я, и троица загоготала еще громче.

— У них такой вид, будто ты снял их с ног мертвого ниггера, — продолжал Тодд. — Даже издали чую их вонь. У тебя что, нет лоферов?

— Есть. Только дома.

— Решил приберечь для весенней пахоты? — хмыкнул Ньюбери-младший. — Да у тебя никогда в жизни не было настоящих лоферов.

— Мой отец говорит, что вам и на копченые кости для супа денег не хватает, — вставил Фарли Бледсоу. — Как же вам наскрести на пару «Басс виджанс»?[82] Верно, Винго?

— Я же сказал, Фарли, мои лоферы дома. Мне не разрешают надевать их в школу.

— Обманщик ты, Винго, — поморщился Тодд. — Все вы, речные крысы, отъявленные вруны. Моя мама считает, что люди Винго — самый низший вид белого человека. Судя по всему, она права.

Тодд достал из кошелька пятидолларовую бумажку и бросил мне под ноги.

— Бери, Винго. Конечно, лоферы на такие деньги не купишь. Но ведь у тебя они уже есть, мистер лжец? А на новые теннисные туфли хватит. Хоть нос зажимать не придется от твоих вонючих ног.

Я нагнулся, поднял купюру и вернул ее Тодду.

— Спасибо, Тодд, но мне не надо твоих подачек.

— Я хотел поступить как христианин, Винго. Верующие должны помогать нищим.

---

[82] Примечания: 82
Популярная марка лоферов.

— Забери свои деньги. Положи их туда, откуда вынул. По-хорошему прошу.

— Эта бумажка побывала у тебя в руках, речное дерьмо, — нагло заявил Тодд. — Теперь я к ней не притронусь. Еще не хватало подцепить твоих микробов.

Дружки поддержали его хохотом.

— Если ты не засунешь эту бумажку в свой кошелек, я тебя заставлю ее съесть.

По реакции Тодда Ньюбери я понял, что впервые в жизни повел себя как смелый парень.

— Нас четверо, Винго, — произнес он. — Тебе одному не справиться.

— Ничего, справлюсь, — заверил я.

Я охладил пыл Ньюбери-младшего, трижды раскроив ему лицо. Он сполз вниз, сел и заплакал, отчаянно поглядывая на дружков и удивляясь, почему те не кинулись на меня.

— Проучите его. Он разбил мне лицо, — причитал Тодд, однако троица благоразумно отошла подальше.

— Ешь свои деньги, Тодд, не то еще врежу, — пообещал я.

— Не посмеешь, речное дерьмо, — закричал Тодд.

Я опять ударил.

Когда один из подоспевших учителей схватил меня за шиворот, Ньюбери-младший послушно жевал пятидолларовую бумажку. Учитель потащил меня в кабинет директора.

О нашей стычке с Тоддом быстро узнала вся школа. Его кровь запачкала мою белую футболку, так что отпираться перед Карлтоном Роу, директором школы, было бесполезно.

Мистер Роу был худощавым блондином. В колледже он увлекался спортом. Человек этот обладал чувством юмора, но легко выходил из себя. Он относился к числу редких педагогов, вся жизнь которых сосредоточена на школьных делах. Он просто не мог допустить, чтобы в коридорах его заведения мальчишки дубасили друг друга. До этого дня никаких осложнений с директором у меня не возникало.

Мистер Роу дождался, когда приведший меня учитель покинет кабинет.

— А теперь, Том, выкладывай, как дело было, — начал он.

— Тодду не понравилась моя обувь, — глухо отозвался я, глядя в пол.

— И тогда ты его поколотил.

— Нет, сэр. Он назвал нашу семью речным дерьмом и дал мне пять баксов на новые теннисные

туфли.

— И тогда ты его поколотил.

— Да, сэр. Тогда я ему врезал.

За стеной послышался шум, затем дверь распахнулась и в кабинет ворвался Тодд Ньюбери. Он прижимал к губам окровавленный платок.

— Советую вам сурово наказать его, мистер Роу. Лучше всего отстегать розгами, тогда живого места не останется. Я позвонил папе. Он собирается обратиться в полицию.

— В чем дело, Тодд? — спросил директор. — Я тебя не вызывал.

— Я стоял возле шкафчика с вещами. Вдруг этот Винго набросился на меня сзади. У меня есть три свидетеля. Они могут подтвердить.

— Что ты сказал Тому? — обратился мистер Роу к Ньюбери-младшему, устремив на него свои бесстрастные карие глаза.

— Да я вообще его не трогал. Нужен он мне больно. Надеюсь, Винго, в школе для трудновоспитуемых тебе понравится больше.

В это время на директорском столе затрезвонил телефон. Продолжая глядеть на Тодда, мистер Роу снял трубку. По первым словам я понял, что звонит школьный инспектор.

— Да, мистер Эймар, я в курсе случившего-

ся, — произнес директор. — Оба ученика у меня в кабинете… Нет… Если мистер Ньюбери хочет меня видеть, пусть приходит сюда. Это внутришкольное дело, мне незачем идти к нему в офис… Да, сэр, я поступлю как положено. Благодарю вас за звонок.

— Ты еще узнаешь, как связываться с Ньюбери, — прошипел мне Тодд. — Это я тебе обещаю.

— Замолчи, Тодд, — оборвал его директор.

— Не советую так говорить со мной, мистер Роу. Моему отцу это не очень понравится.

— Я велел тебе замолчать, Тодд. А теперь отправляйся на урок. С Томом я разберусь сам.

— Вы отшлепаете его этим веслом? — спросил Тодд, прижимая платок ко рту.

— Да, я отшлепаю его этим веслом.

Мистер Роу взял со стола деревянное весло.

Тодд злорадно ухмыльнулся и вышел из кабинета.

Размахивая веслом, мистер Роу приблизился ко мне. Он приказал мне нагнуться и обхватить руками щиколотки. Затем поднял весло, будто собирался разрубить меня пополам, после чего нежно ударил по заду; так нежно, как священник похлопывает по щеке ребенка, пришедшего на конфирмацию.

— Том, если ты еще раз устроишь в моей школе драку, обещаю, что сдеру с твоей задницы всю кожу. Если ты не найдешь иного способа заткнуть рот Тодду Ньюбери и снова сцепишься с ним — запорю до полусмерти. Ты меня понял?

— Да, сэр.

— Сейчас вместо тебя достанется географическому атласу. После каждого удара громко вопи. Пусть все думают, что я устроил тебе хорошую трепку. Потом я позвоню Рису Ньюбери и доложу, что исполосовал тебя вдоль и поперек.

Директор лупил веслом по обложке атласа, и я послушно орал. Тогда же, в кабинете мистера Роу, я решил стать школьным учителем.

Моей матери уже сообщили о драке с Тоддом, и она дожидалась моего возвращения. Прежде я видел ее разгневанной, однако в этот раз она просто не владела собой. Едва я вошел через заднюю дверь, на меня обрушился град материнских пощечин. Люк и Саванна пытались оттащить ее от меня.

— Что, маленький негодяй? Захотелось кулаками помахать? — кричала мать, продолжая хлестать меня по лицу. — Тогда дерись со мной. Если решил уподобиться разной швали, то и относиться к тебе буду как к швали. Вздумал позорить

меня и нашу семью? Повел себя как отребье!

Мне не оставалось ничего иного, как юркнуть в нишу между плитой и холодильником.

— Прости меня, мама, — вопил я, закрываясь от ее ударов.

— Отпусти его. — Саванна пыталась сдержать материнские руки. — Директор и так отходил Тома веслом.

— Это было только начало. От меня он получит сполна.

— Мама, прекрати, — потребовал Люк. — Тодд Ньюбери получил за дело.

— Что подумают люди? Что я воспитываю своих сыновей головорезами? Дети из приличных домов будут вас сторониться.

— Мама, Тодд оскорбил нашу семью. Потому Том его и побил, — оправдывал меня Люк. — Я бы тоже так поступил.

— И что же такого сказал Тодд?

Материнская рука замерла в воздухе.

— Он назвал нас речным дерьмом, — объяснил я, ослабляя защиту.

— А ты, безмозглый остолоп, только подтвердил его правоту. И этот жалкий маленький паршивец — мой сын? Лучший ответ на любые оскорбления — игнорирование. Неужели до сих пор это не

втемяшилось в твою голову? Если бы ты молча прошел мимо, все сразу бы поняли, что ты образованнее и воспитаннее, чем он. Ты бы показал себя безупречным джентльменом, каким я пытаюсь тебя сделать.

— Мама, ты опять выражаешься как президент «Дочерей Конфедерации»[83], — вмешалась Саванна.

— Я хочу ходить по улицам Коллетона с гордо поднятой головой. А теперь все будут знать, что вместо порядочных молодых людей я вырастила каких-то бандитов.

— И ты согласна, чтобы этот сопляк Ньюбери говорил разные гадости о нашей семье?

Мать в отчаянии заплакала.

— Люди имеют право выражать свое мнение. Я верю в Четвертую поправку…[84] или какая она там по счету. Каждый американец может думать, что ему угодно, и остальных это не касается. Все должны видеть: Винго слишком хорошо воспитаны, им нет никакого дела до сплетен, это ниже

---

[83] Примечания: 83

Организация «Объединенные дочери Конфедерации» создана в 1894 г. в память о войне между Севером и так называемыми Конфедеративными Штатами Америки.

[84] Примечания: 84

Право свободы слова закреплено Первой поправкой к Конституции США.

их достоинства.

— А мне есть дело, — сообщил я.

Мать влепила мне новую пощечину и закричала:

— Тогда прежде всего изволь считаться со мной. Ты у меня научишься себя вести, даже если придется забить тебя до полусмерти. Не хочу, чтобы ты поступал как твой отец, и не позволю. Слышишь?

— Ты сама сейчас поступаешь как отец, — заметила Саванна.

В доме вдруг стало очень тихо. Мать повернулась к своей единственной дочери.

— Запомни, Саванна, я поступаю единственным известным мне способом. В переходном возрасте сила понятна лучше слов. Это опасный период, в который вы все вступили. Если я не буду как следует муштровать вас, подгонять и подталкивать к верхней планке, тогда этот жестокий городишко сожрет вас живьем. И поганый мир сделает с вами то же самое. Думаете, мне не пришлось учиться на своих ошибках? Еще как пришлось. Посмотрите на меня. Кто я? Никто. Полное ничтожество. Жена ловца креветок, у которой ни гроша за душой, которая вынуждена жить в маленьком домишке на острове. Полагае-

те, я не в курсе, как в городе судачат обо мне и как на меня смотрят? Но я не позволю им одержать над собой верх.

— Ты слишком озабочена чужим мнением, — заключила Саванна. — И слишком стараешься быть тем, кем не являешься.

Я думал, что материнский гнев перекинется на Саванну, но мать лишь хмуро добавила:

— Я запрещаю вам решать проблемы на кулаках.

— Да пойми ты, мама, Том хотел, чтобы все поняли простую вещь, — сказал Люк. — Можно насмехаться над семьей Винго, но не везде и не всегда. Пусть себе считают, что Винго — дерьмо, но молчат об этом.

— Раз Винго дерутся, они и есть дерьмо. Джентльмены обходятся без рук.

— Том защищал твою честь, мама. Это тебе важно, что про тебя думают другие. Отцу все равно. Нам тоже, — рассуждал Люк.

— Мне не все равно, — возразил я.

Мать тут же повернулась ко мне.

— Если тебе не все равно, ты пойдешь со мной в дом Ньюбери и попросишь прощения у Тодда, как надлежит джентльмену. И у его матери тоже. Она сегодня звонила, и мне пришлось выслушать

кучу гадостей.

— Так вот почему ты как с цепи сорвалась, — усмехнулась Саванна. — Значит, это из-за нее ты била своего сына? Из-за Изабель Ньюбери?

— Я не стану перед ним оправдываться, — отчеканил я. — Ты не заставишь меня извиняться перед этой гнидой. И никто не заставит.

Особняк семейства Ньюбери окружали черные дубы, придававшие улице Приливов некоторое сходство с загородной дорогой. Их дом стоял в центре квартала старинных зданий, некогда принадлежавших аристократии американского Юга — плантаторам; впоследствии Гражданская война навсегда обрубила питавшие их корни. Перед войной в особняке Ньюбери проходили тайные собрания сецессионистов[85], обсуждавших создание Конфедерации. Председательствовал на них Роберт Летельер — прапрадед Изабель Ньюбери. Впоследствии он погиб во время артиллерийской перестрелки, с которой началось сражение близ

[85] Примечания: 85

От *лат.* secession — отделение. Так называли южан (в основном богатых плантаторов), пытавшихся выйти из состава Соединенных Штатов и основать собственное государство — Конфедеративные Штаты Америки.

Тулафинни. В Гражданскую войну юнионисты[86] захватили эстуарий Порт-Ройял[87], после чего быстро заняли Коллетон, и дом предка Изабель был реквизирован под военный госпиталь. Раненые солдаты-северяне (многим из них предстояла ампутация) вырезали свои имена на мраморных каминных досках и паркетных полах. Списки мучеников, «граффити» искалеченных, искавших хоть какое-то забвение от боли и от мыслей о своей дальнейшей увечной жизни. За старинной дверью с веерообразным окном над ней неразрывно сплелись история и трагедия. И вот в этом здании, под неслышимые стоны, проклятия и молитвы раненых янки, проходило детство Тодда Ньюбери.

Пока мы шли по песчаной дорожке к особняку Ньюбери, мать давала мне последние наставления по части великого искусства пресмыкательства перед дамой из высшего социального слоя.

— Прежде всего скажешь ей, что чувствуешь себя очень виноватым и сделаешь все, чтобы

---

[86] Примечания: 86

Юнионисты — северяне, сторонники целостности Соединенных Штатов.

[87] Примечания: 87

Порт-Ройял — крупный эстуарий в округе Бофорт (Южная Каролина), образованный сразу несколькими реками. Важный плацдарм северян в Гражданской войне.

подобное никогда не повторилось. Тебе было настолько стыдно за свою выходку, что ночью ты не сомкнул глаз.

— Я спал как младенец и вообще не думал ни про какого Тодда.

— Тише ты! Не верти головой и слушай меня. Если будешь по-настоящему вежлив, миссис Ньюбери покажет тебе каминные плиты, где бедняги янки выцарапывали свои имена. Сам увидишь, что случается, если этих парней с Севера пустить в приличный дом. Они ведут себя как в конюшне. А все потому, что их плохо воспитывали. Ни один южанин не посмеет гадить в чужом доме.

Мы поднялись на фасадное крыльцо. На дубовой двери висело блестящее медное кольцо. Мать несколько раз ударила им, но несильно. Дверь откликнулась странным звуком — будто якорь царапнул по корпусу затонувшей лодки. Я стоял на залитой солнцем веранде, откашливался, теребил брючный ремень и переминался с ноги на ногу. Возможно, в моей жизни и бывали минуты похуже, только вот не припомню когда. Тут донеслись легкие шаги. Дверь открылась. На пороге стояла Изабель Ньюбери.

Я впервые оцепенел при виде женщины. У Изабель Ньюбери были тонкие бесцветные губы.

Я сомневался, произносит ли такой рот что-нибудь, кроме слов раздражения и недовольства. У нее был острый правильный нос — пожалуй, единственная привлекательная черта. Миссис Ньюбери была скрыта полумраком прихожей, но я все равно видел, как ее нос брезгливо морщится, словно от нас исходит зловоние. У нее были светлые волосы, судя по всему крашеные.

Но сильнее всего меня поразил холодный блеск ее аквамариновых глаз и густая сеть мелких морщинок вокруг них. Эти морщинки тянулись к ее вискам, как солнечные лучики на детских рисунках. Ее лоб пересекали три глубокие морщины; они двигались, когда Изабель хмурилась. На лице Изабель Ньюбери запечатлелись следы всех бед и огорчений ее жизни, подтверждавшие, что эти события действительно происходили, равно как выцарапанные имена несчастных янки подтверждали их тяжкое пребывание в этом доме. Изабель была на год младше моей матери, и я впервые осознал, что люди старятся неодинаково. Мать с каждым годом становилась все красивее, и я принимал это как должное, думая, что так происходит со всеми женщинами. Но сейчас, онемевший и пристыженный, я вдруг раз и навсегда понял, почему Изабель Ньюбери не

любит мою мать. Причина была отнюдь не в том, что мать — одна из Винго. Время рано и жестоко пометило Изабель всеми левыми перевязями[88] и лапчатыми крестами своей нестираемой геральдики. В ее облике было что-то болезненное, некое гниение, которое начинается в сердце и постепенно выбирается на поверхность.

— Вы? — наконец подала голос хозяйка.

— Изабель, мой сын хочет вам кое-что сказать, — скороговоркой произнесла мать.

В ее голосе ощущались покаяние и надежда на прощение, словно это она расквасила физиономию Тодда Ньюбери.

— Да, мэм… миссис Ньюбери, — подхватил я. — Я очень переживаю из-за того, что вчера случилось, и хочу извиниться перед Тоддом и перед вами, миссис Ньюбери. Это я во всем виноват. Беру на себя полную ответственность за вчерашнюю драку.

— Поверьте, Изабель, Том был очень расстроен, — переняла эстафету мать. — Могу поклясться. Ночью он спать не мог. Даже меня разбудил и сказал: «Завтра обязательно пойду и попрошу прощения».

---

[88] Примечания: 88

Перевязь в геральдике — полоса или черта, проходящая из верхнего угла щита к противоположному нижнему.

— Как трогательно, — процедила Изабель Ньюбери.

— А Тодд дома? — поинтересовался я. — Можно мне с ним поговорить?

— Сомневаюсь, что он этого хочет. Обождите здесь. Спрошу у него.

Хозяйка закрыла дверь. Мы с матерью остались на веранде, беспокойно поглядывая друг на друга.

— Какой замечательный вид, — восхитилась мать.

Она подошла к перилам; оттуда сквозь невысокие пальмы просматривался залив.

— Всегда мечтала жить в одном из таких особняков. Когда твой отец впервые привез меня в Коллетон, он пообещал мне, что разбогатеет и купит такой же дом. — Мать помолчала и со вздохом добавила: — Но даже если выловить всех креветок в здешних водах, на особняк денег не хватит.

— Могла бы и внутрь пригласить, — сердито заметил я.

— Не обращай внимания. Это пустяки. Просто от неожиданности она позабыла все свои учтивые манеры.

— Она это нарочно сделала, — упирался я, но

мать думала о другом.

— Вот бы вечером усесться в кресло-качалку на такой веранде, пить чай со льдом и смотреть, как мимо течет городская жизнь.

— Я хочу домой.

— Домой пойдешь после того, как извинишься перед Тоддом. Мне до сих пор стыдно за твое вчерашнее дикарство.

Дверь вновь открылась. В сумраке прихожей миссис Ньюбери казалась призраком. Вид у нее был суровый. Она неторопливо вышла к нам.

— Моему сыну нечего сказать тебе, мальчик. — Слово «мальчик» прозвучало, как удар молотка. — Он выразил надежду, что ты покинешь наш дом как можно быстрее.

— Изабель, пожалуйста, позовите вашего сына. Всего на минутку. Том мечтает извиниться перед ним. Уверена, они останутся друзьями.

— Друзьями? Я не позволяю Тодду водиться с ребятами вроде вашего сына.

— Но, Изабель, — не унималась мать, — мы же с вами дружим. Мы давно знакомы. Я часто пересказываю Генри ваши шутки на заседаниях родительского комитета, и мы вместе смеемся.

— Да, Лила. Мы с вами давно знакомы. Коллетон невелик. Я знаю в городе почти всех, но далеко не

все мне друзья. Если этот забияка еще раз тронет моего сына, я буду действовать по закону. Всего хорошего. Надеюсь, вы найдете обратную дорогу.

— Да. — В голосе матери появился металл. — Мы найдем обратную дорогу. Тем более что нас сюда не приглашали. До свидания, Изабель, и спасибо, что уделили нам время.

Вслед за матерью я спустился по ступенькам крыльца. Мать шла, бормоча себе под нос проклятия. С обеих сторон дорожки тянулась безупречно подстриженная лужайка. Мать была прирожденным иноходцем — скорость ее шагов точно соответствовала степени ее раздраженности. Мы свернули налево и тут же столкнулись с Рисом Ньюбери.

— Вы никак на пожар, Лила? — улыбнулся он.

— Здравствуйте, Рис, — нервно бросила мать.

— Что привело вас в наши края?

Тут Рис заметил меня и нахмурился.

— Вчера наши мальчишки немного повздорили. Вы, наверное, знаете об этом.

— Да уж, наслышан, — ответил мистер Ньюбери, мрачно на меня поглядывая.

— Так вот, я привела Тома попросить прощения. Он сам этого захотел. Я подумала, что ваш сын заслуживает хорошего к себе отношения.

— Чертовски мило с вашей стороны, Лила.

Взгляд Риса Ньюбери смягчился, однако в его стальных глазах я улавливал оттенок ярости.

— Да, Лила. Иногда мальчишки решают дела с помощью кулаков. Потому они и мальчишки.

— Нет, Рис, терпеть не могу, когда применяют силу. Вчера, после звонка директора, я из Тома всю душу вытрясла.

Мистер Ньюбери посмотрел на меня так, словно видел впервые в жизни или вдруг понял, что я заслуживаю его внимания.

— Знаешь, сынок, чтобы извиняться, надо обладать мужеством, — сказал он. — Не уверен, что даже мне его хватает.

— Вашему сыну тоже не хватает мужества, — заявил я.

— Как это понимать?

— Он не пожелал выйти и принять мои извинения. Передал через миссис Ньюбери, чтобы мы покинули ваш дом.

— Пойдемте со мной, — велел мистер Ньюбери.

Он зашагал к особняку.

Мы последовали за ним. Хозяин взбежал на веранду и скрылся внутри, не став нас дожидаться. Мы с матерью нерешительно потолкались

на веранде, затем робко вошли в прихожую и остановились, ожидая, когда нас позовут. Пол был устлан большим ковром; в дальнем конце виднелась деревянная винтовая лестница цвета красного дерева.

— Восточный, — шепнула мне мать, указывая на ковер. — Привезен из восточной страны.

Потом она кивнула на люстру.

— Английская. Сделана в Англии. Я это помню еще по «Весеннему туру».

— Почему в «Весенний тур» не включат и наш дом? — попытался пошутить я.

— Потому что мы живем в дыре, — все так же тихо отозвалась мать.

— А почему мы с тобой перешептываемся?

— В гостях у Риса Ньюбери нужно вести себя пристойно.

— Так мы что, гости?

— Да. Он проявил любезность и пригласил нас.

Хлопнула задняя дверь. В прихожей появился мистер Ньюбери.

— Изабель отправилась за покупками. Но она просит вас чувствовать себя как дома. Лила, предлагаю вам обождать и чего-нибудь выпить, а я тем временем отведу Тома наверх и позову сына.

Хозяин взял мать под руку. Мы прошли через

гостиную и оказались в комнате с роскошными деревянными панелями и стульями, обитыми кожей. От солнца их обивка нагрелась, и потому в комнате пахло, как в дубильной мастерской.

— Что будете пить, Лила? — спросил мистер Ньюбери. — Выбирайте, здесь есть напитки на любой вкус.

— Пожалуй, вино. Какой прекрасный у вас бар.

Мистер Ньюбери подал матери бокал вина и усадил в кресло возле камина.

— Располагайтесь, Лила. Мы скоро вернемся.

Голос у Риса Ньюбери был настолько густым, что его можно было выдавливать из тюбика.

— Маленький мужской разговор у меня в кабинете, — добавил он.

— Мне даже не выразить, насколько я вам признательна, Рис, — защебетала мать. — Вы проявили столько внимания! Это очень любезно с вашей стороны.

— Мне нравятся ребята с искоркой. Кажется, она есть и во мне, — смеясь, произнес Рис Ньюбери. — Следуй за мной, Том.

Каждый шаг мистера Ньюбери приподнимал брючины, обнажая носки и полоски мясистых белых ног. Он был плотно сложен, но двигался легко и почти бесшумно.

Мистер Ньюбери привел меня в свой кабинет. Одну стену целиком занимали книжные шкафы, за стеклами которых виднелись кожаные переплеты. Хозяин предложил мне стул возле письменного стола и отправился за Тоддом. Я читал надписи на корешках: «Сочинения Теккерея», «Сочинения Диккенса», «Сочинения Чарлза Лэма», «Сочинения Шекспира».

Когда оба Ньюбери вошли в кабинет, я по-прежнему изучал полки. Отец велел сыну сесть на стул напротив меня, а сам обошел стол и опустился в свое массивное кресло. Он раскрыл сигарный ящик, взял сигару, зубами откусил конец, а затем чиркнул золотой зажигалкой, вынутой из кармана пиджака.

— Итак, ты собирался что-то сказать моему сыну, — обратился ко мне мистер Ньюбери.

Я посмотрел на Тодда и оторопел. У него распухли губы, под правым глазом красовался здоровенный синяк. Теперь понятно, почему он отказался со мной встретиться.

— Тодд, я хочу извиниться перед тобой, — начал я. — Мне ужасно стыдно за то, что я сделал. Больше такого не повторится. Надеюсь, мы пожмем друг другу руки и станем друзьями.

— Ни за что не пожму твою руку, — ответил

Тодд, глядя на отца.

Мистер Ньюбери выпустил в мою сторону облачко голубоватого дыма.

— За что ты ударил моего сына, Винго?

Тодд вскочил со стула.

— Пап, они с братом подкараулили меня в школьном дворе. Я просто гулял, думал о своем, как вдруг его брат налетел на меня сзади, а этот начал бить по лицу.

— Почему же твой брат не пришел извиняться? — поинтересовался мистер Ньюбери. — Терпеть не могу, когда двое на одного.

— Зачем ты обманываешь отца, Тодд? — возмутился я. — Люка там и близко не было. И потом, Люк бы с тобой мигом справился, без моей помощи. Сам знаешь.

— Сын, ты говоришь правду? — Мистер Ньюбери выжидательно смотрел на Тодда.

— Если хочешь верить этой гадине, а не своему сыну — пожалуйста. Мне все равно.

— Мистер Ньюбери, — вмешался я, — вчера Тодд назвал мою семью речным дерьмом.

— Тодд, что-нибудь было сказано о его семье.

Тодд дико озирался по сторонам.

— Я просто подразнил его немного, — буркнул он.

— Как? С помощью слов «речное дерьмо»?

— Вроде да. Точно не помню.

Вопрошающий взгляд мистера Ньюбери переместился на меня.

— Ты посчитал себя оскорбленным и вместе с братом вы поколотили моего сына?

— Ты поганый лжец, Винго! — крикнул Тодд, вставая со стула.

— Мистер Ньюбери, я могу отделать Тодда и самостоятельно. Он слабак.

— Сын, зачем ты назвал его семью речным дерьмом?

Мистер Ньюбери продолжал сверлить глазами Тодда.

— Они и есть дерьмо. В нашем городе Винго всегда считались белыми ниггерами, — выпалил Тодд.

— Оттого ваш сын и получает по физиономии, — заключил я. — Он не умеет держать язык за зубами.

— Здесь ему не надо держать язык за зубами. Тодд у себя дома.

— И я не хочу, чтобы мой дом провонял тобой, — бросил мне Тодд, подбодренный репликой отца.

— Потише, сын. Внизу сидит миссис Винго. — Урезонив сына, Рис Ньюбери повернулся ко

мне. — Что ты думаешь о своей семье, Том? Мне интересно знать. Очень даже интересно.

— Я горжусь своей семьей.

— Но почему? — удивился он. — Чем ты гордишься? Согласен, твоя мать — замечательная женщина. Возможно, немного вспыльчивая и резкая, но по крайней мере стремится к лучшей жизни. Кто еще? Твой дед — ненормальный. Твою бабушку можно было бы смело назвать шлюхой, если бы не пара бродяг, которых она убедила обратиться к Богу. Твой отец терпит неудачу во всем, за что ни берется. Я даже помню твоего прадеда. Заурядный пьяница. Тихий до поры до времени. Когда на него находило, он избивал жену до полусмерти. Не понимаю, почему ты так разозлился на Тодда. Он ведь говорил сущую правду. Почему бы тебе не взглянуть на свою семью со стороны и не признать, что вас справедливо называют речным дерьмом? Настоящий мужчина не отгораживается от реальности. Настоящий мужчина смотрит фактам в лицо.

В кабинете воцарилась мертвая тишина. Я был ошеломлен. Мистер Ньюбери улыбался мне из-за облачков сигарного дыма.

— Даже если ты не согласен со всем этим, кое-что все-таки запомни. Если ты еще раз хоть

пальцем тронешь моего сына, будешь кормить крабов на дне реки. Моя жена хотела обратиться к шерифу, но я не люблю действовать подобным образом. Я решаю проблемы по-своему. Если что — я найду способ тебе отомстить, и ты даже не поймешь, что это я, если только не пошевелишь мозгами и не сообразишь. А теперь заруби себе на носу одно очень простое правило: никто из Винго не смеет задевать никого из Ньюбери. Это закон Коллетона. Раньше ты не знал о нем. Теперь знаешь. Усвоил, Том?

— Да, сэр, — пробубнил я.

— Вот и хорошо, сынок. Тодд, пожмите друг другу руки.

— Не буду, — упрямился Тодд.

— Вставай, парень. Сделаешь, как я велю. Но прежде я хочу, чтобы ты со всей силы въехал ему по лицу.

Тодд уставился на отца, не веря своим ушам. Он был готов разреветься. Мы оба были готовы разреветься.

— А вдруг он подкараулит меня в школе?

— Том никогда тебя больше не тронет. Обещаю.

— Не могу, папа. Не заставляй меня. Я не могу просто взять и ударить.

— Ты должен просто взять и ударить, Тодд. Посмотрись в зеркало, тогда увидишь, что он сделал с тобой. Разозлись по-настоящему. Подумай о том, что он унизил тебя. Пусть его поганое лицо познакомится с твоим кулаком. Ньюбери не спускают оскорблений, особенно таким, как он. Тодд, он сидит и ждет. Он хочет, чтобы ты двинул ему хорошенько. Он пришел сюда, чтобы ты мог поквитаться с ним. Ему не нравятся мои слова, но он будет молчать и вилять хвостом, потому что теперь он знает, как глупо обрушивать на себя ненависть Ньюбери.

— Папа, я не буду его бить. Не буду. Ну почему ты всегда все усложняешь?

Мистер Ньюбери встал с кресла, затушил сигару в пепельнице и приблизился ко мне. Я опустил глаза и сидел, изучая узор на ковре.

— Посмотри на меня, Том, — приказал он.

Я поднял голову. Мистер Ньюбери сильно ударил меня по лицу. Один раз.

Я заплакал и вскоре услышал всхлипывания Тодда. Мистер Ньюбери наклонился ко мне и прошептал:

— Не смей никому проболтаться. Слышишь, Том? Я сделал это для твоего же блага. Если хоть одна живая душа узнает, я выброшу твою семью

из города. И прошу тебя, сынок, больше не глупи и не пытайся обижать никого из Ньюбери. Теперь, ребята, пожмите друг другу руки. Я хочу, чтобы вы подружились. Посидите здесь, пока не успокоитесь. Том, когда оклемаешься, вымой лицо и спускайся вниз. Я тем временем пообщаюсь с твоей очаровательной матерью.

Продолжая рыдать, мы с Тоддом Ньюбери пожали друг другу руки, и его отец вышел из кабинета.

Я понимал, что мне предстоит выдержать материнские расспросы о том, что происходило в кабинете. Меня жестоко и всесторонне унизили, но своим позором я не хотел делиться с матерью. Мне по-детски наивно казалось, что я открыл секрет того, как влиятельные люди добиваются своего положения в мире и сохраняют его. В туалетной комнате я вытер слезы и вымыл лицо. Я пустил сильную струю воды, и она забрызгала весь пол. «Вот такой ты, Том Винго, — думал я. — Упрямый неотесанный дикарь»

Когда я вернулся, Тодд все еще ревел, прислонившись к кожаной спинке стула. Слезы градом катились по еще пухлым щекам.

— Том, прошу тебя, молчи. Умоляю, не рассказывай об этом в школе. Меня и так никто терпеть

не может.

— Вел бы себя по-человечески, без вывертов, и все бы к тебе нормально относились, — заметил я.

— Нет, это не поможет, потому что Рис Ньюбери — мой отец. Его все ненавидят. Против него я бессилен. Он все время устраивает эти штучки. И с таким отцом мне приходится жить.

— Но зачем ты наврал ему про Люка?

— Пришлось. Даже ему ясно, что мне с двумя не справиться. Если бы отец выяснил, что ты был один, он бы вновь заставил меня драться с тобой в школе. Когда отец сердится, он совсем теряет рассудок.

— Мой отец такой же.

— Но ты не знаешь, что такое отцовская ненависть. Мой ненавидит меня со дня рождения.

— За что?

— За неуклюжесть. За слабость. За то, что я абсолютно на него не похож.

— Я бы только радовался, что не похож на такого отца.

— Но он самый важный человек в Южной Каролине, — вступился за отца Тодд.

— И что? Ты же сам говоришь — его все ненавидят.

— Отец считает, что если люди тебя боятся, ими легче управлять.

— Вот он и сидит один в большом доме и колотит чужих детей, которые повздорили с его сыном. Конечно, здорово быть богатым и влиятельным и иметь разных знатных предков. Но я бы ни за что не хотел поменяться с тобой местами, Тодд.

Тодд шмыгал носом и вытирал рукавом глаза.

— Том, я не должен был называть так твою семью, — произнес он.

— Наконец-то ты признал это.

— Твоя родня — не такие уж плохие люди. В Коллетоне есть десятки по-настоящему дрянных семей. Даже сотни.

— Спасибо тебе огромное, кусок сала, — огрызнулся я, снова начиная злиться.

— Честно, я не хотел оскорблять никого из твоих. И с чего меня понесло? Можешь заглядывать ко мне в любое время. У меня есть коллекция марок и стол для бильярда. На нем можно и в другие игры играть. Буду ждать тебя сразу после школы.

— У меня вообще нет желания когда-либо переступать ваш порог.

— Хочешь, покажу тебе места, где солдаты-янки вырезали свои имена?

— Меня не интересует даже место, где генерала Шермана[89] пробрал понос. Я не собираюсь болтаться по этому дому.

Тогда я могу прийти к вам в гости, — предложил Тодд.

— Ты даже не знаешь, где я живу.

— Очень даже знаю. На острове Мелроуз.

Тодд встал, сделал несколько шагов и остановился у большой карты округа Коллетон. Это была морская карта с указанными глубинами всех рек и речек.

Я взглянул на очертания нашего острова. Он напоминал зеленый драгоценный камень в голубой оправе воды.

— Почему в наш остров воткнута красная булавка? — удивился я.

Такие булавки красовались на многих участках карты.

— Так отец помечает земли, которые собирается приобрести. Зеленые булавки — это участки, уже купленные отцом.

— Ему и так принадлежит почти вся округа. Зачем ему Мелроуз?

---

[89] Примечания: 89

Шерман Уильям Текумсе (1820–1891) — американский военный, политик и писатель. Во время Гражданской войны один из наиболее талантливых генералов армии северян.

— Такое у него хобби. Отец утверждает, что земля — это деньги.

— Наш остров твой отец никогда не получит. Обещаю тебе.

— Если он чего-то очень хочет, то всегда добивается, — возразил Тодд. — Всегда.

— Тодд, если тебе нужно идти — не задерживайся. Это же твой дом.

— Ты больше не хочешь со мной говорить? Да?

— Ни капли не хочу. Меня мать ждет.

— Том, объясни мне одну штуку: почему ребята в школе любят тебя гораздо больше, чем меня?

— Все очень просто, Тодд. Нет никакого секрета. Я куда общительней, чем ты. Я болтаю с ребятами и совершенно не думаю, чем их отцы зарабатывают на жизнь и сколько получают. Ты другой. Ты никогда не здороваешься.

— Меня не тянет здороваться со всеми подряд.

— Тогда не удивляйся, что все считают тебя пентюхом.

— Я провожу тебя вниз.

Моя мать сидела в том же кресле, красиво скрестив ноги и неторопливо потягивая вино из бокала. Она смеялась каждой фразе мистера Ньюбери. Тот был само обаяние: весело шутил, сопровождая свою историю серьезными жестами,

отчего получалось еще забавнее. Я разглядывал лицо этого человека. У него были такие же голубые глаза, как у его жены, но с зеленоватыми крапинками. Его глаза меняли цвет, но, возможно, мне так показалось из-за солнечных лучей, проникавших в комнату со стороны заднего двора. У мистера Ньюбери были короткие и пухлые руки без мозолей. Не только жесты, все его движения были замедленными. Я запомнил голос мистера Ньюбери: низкий и вязкий. Слова его звучали высокопарно, как проповедь священника, но восхваляли не Бога, а Риса Ньюбери. Конечно же, моя мать была абсолютно очарована.

— И тогда, Лила, я сказал губернатору: «Фриц, не стоит обсуждать подобные дела за коктейлем. Приезжайте на следующей неделе в Коллетон, встретимся у меня в офисе». И можете себе представить — в понедельник он является, с неизменной шляпой в руках. Теперь я укрепляю престиж нашего губернатора в остальном мире. Я, знаете ли, даже входил в его комитет по выборам. Однако я остаюсь верен своей философии: бизнес есть бизнес.

— Целиком с вами согласна, Рис, — с энтузиазмом подхватила мать. — Всегда считала, что дружба не должна мешать деловым отноше-

ниям.

Наконец мистер Ньюбери заметил нас с Тоддом; мы переминались с ноги на ногу в дверном проеме. Он взмахом руки подозвал нас. Увидев Тодда, мать приглушенно вскрикнула:

— Тодд, бедняжка. Как ты пострадал!

Она поднялась, подошла к Тодду и осторожно дотронулась до его распухшего лица.

— Мне так стыдно перед тобой за своего сына. Ты бы знал, какую порку я ему вчера устроила. Бедняжка Тодд, как тебе досталось.

— Не волнуйтесь, миссис Винго. Я это заслужил, — произнес Тодд, к моему облегчению.

— Ну что, мальчики, хорошо провели время? — сурово спросил мистер Ньюбери.

— Да, сэр, — ответил я.

Мистер Ньюбери тоже встал и повел нас к выходу.

— Лила, если у вас возникнут проблемы, — продолжал он, — пожалуйста, не стесняйтесь и звоните мне. Ведь соседи для того и существуют.

На веранде мистер Ньюбери положил руку мне на плечи, и мы с ним вместе спустились. Он сильно стиснул мне левое плечо — напоминание о событиях в кабинете.

— Признать свою вину — это всегда требует

от человека мужества. Я доволен, Том, что ты сделал шаг навстречу, и мы общими усилиями разрядили атмосферу. Я буду молчать. Уверен, и ты тоже. Рад, что имел возможность лучше тебя узнать. Молодежь меня всегда интересует. Она — наше будущее. Да, будущее этого города.

— До свидания, Том. Был рад общению, — подал голос Тодд, стоя за отцовской спиной.

— До свидания, Тодд.

— Всего хорошего, Рис. Тодд, дорогой, до свидания, — попрощалась моя мать.

От выпитого вина и получасовой беседы с Рисом Ньюбери ее слегка пошатывало. Когда мы отошли на полквартала, мать заметила:

— Еще раз убедилась, что была права: самые успешные люди всегда являются самыми обаятельными.

— Том, зачем мне эта история? — спросила доктор Лоуэнстайн.

Наша встреча вновь проходила в ее кабинете и продолжалась почти час.

— Она никак не связана с Саванной. Теперь мне намного понятнее, почему вы стали таким, но при чем тут ваша сестра? Ведь когда мистер Ньюбери ударил вас, ее не было рядом.

— Саванна единственная, кто знал правду.

Отцу и Люку я и словом не обмолвился. Боялся, что они подкараулят Ньюбери и переломают ему ноги. А Саванне я открылся в тот же вечер. Мы засиделись допоздна, пытаясь понять, что все это значит.

— Но случившееся затронуло ее лишь косвенно. Наверняка сестра вас пожалела. В этом я не сомневаюсь. Она испытала те же боль и унижение, однако прямого воздействия это происшествие на нее не оказало.

— Не совсем так, доктор. В определенном смысле этот эпизод очень важен для моей сестры. Пока вам это трудно понять, но я стараюсь излагать короче, убираю те события, которые имеют отношение лишь ко мне. Только сейчас все стало представляться мне взаимосвязанным. Части головоломки начинают складываться воедино. Такое ясной картины у меня еще не было.

— Но вы не делитесь этой картиной со мной. Связующие нити лучше не оставлять на потом, а говорить о них сразу. Понимаю, зацикленность вашей матери на социальном статусе сильно повлияла на Саванну. Примеров вы привели более чем достаточно. Но как связана Саванна с семейством Ньюбери?

— Моя мать писала вам?

— Да. Сразу после нашего первого телефонного разговора.

— У вас сохранилось ее письмо?

Доктор Лоуэнстайн выдвинула ящик картотечного шкафа возле рабочего стола и достала конверт со знакомым почерком.

— Вот. Очень приятное дружелюбное послание.

— Мать это умеет. Она прекрасная сочинительница. Дар Саванны родился не из пустоты. Вы обратили внимание на обратный адрес?

— Письмо отправлено из Чарлстона, — сообщила Сьюзен, вертя в руках конверт.

— Больше вы ничего не заметили?

— Больше там ничего и нет, — недоуменно пожимая плечами, ответила Сьюзен.

— Есть, доктор, — заверил я.

Глава 10



Я стоял в Центральном парке и смотрел на белого медведя, достойно переносившего июньский зной. За моей спиной высились небоскребы, огибавшие парк с юга. От них тянулась громадная тень, она накрывала собой почти всю площадь зоопарка, однако ее прохлада ненамного облегчала участь животных. В небе между зоопарком и отелем «Шерри-Недерланд» парил одинокий голубь. Посетители зоопарка даже не заметили, как с высоты двухсот футов на голубя камнем упал ястреб. Растопыренные когти хищника вонзились в голубиную спину. Хрустнули косточки; на клетку с бабуином упали перья. Наверное, голубь, как и я, думал, что жизнь в Нью-Йорке убережет его от ястребов, но город оказался неистощим на сюрпризы. Не знаю почему, но, проходя через зоопарк, я каждый раз рассчитываю увидеть ди-

ковинных зверей, смотрящих на меня из сумрака клеток. Например, единорога, точащего завитки своего рога о прутья решетки. Или огнедышащих драконов, сжигающих газеты, что вечно валяются в проходах между клетками. Но вместо этого мой взгляд натыкается на ланей, пугливо царапающих копытами утоптанную землю, и оцелотов, занятых ловлей манхэттенских блох в своих нарядных шкурах.

Я шел в парк, где у меня была назначена встреча с сыном Сьюзен Лоуэнстайн. Я выбрал наиболее короткую дорогу. По пути я то и дело задирал голову, ожидая увидеть еще одного ястреба, но видел лишь небоскребы.

Бернард Вудруфф уже ждал меня под молодым дубом. Он жил неподалеку, в одном из богатых домов у западной границы парка. Приблизившись, я отметил, что мальчишка унаследовал от матери живое миловидное лицо, однако нос ему достался отцовский. Бернард оказался выше, чем я ожидал. У него были длинные изящные руки. Сейчас, когда он стоял, его пальцы почти достигали колен. Худощавое лицо украшала копна великолепных черных вьющихся волос. Но меня сразу насторожило выражение лица Бернарда. Мальчик едва сдерживал свое презрение. Харак-

терная для подростков оттопыренная нижняя губа, нарочитое пренебрежение и легкая усмешка. Часто мальчишки, не отличающиеся силой, прячут за такой усмешкой свои страхи и неуверенность. Бернард старался казаться эдаким тертым манхэттенским парнем, уличным бойцом, закаленным в потасовках. По его понятиям, я уже был старым. Старый тренер, воспитавший несколько поколений таких ребят. Мы еще не сказали ни слова, но где-то в глубине темных глаз Бернарда я увидел отблески ночных молний и услышал отдаленные раскаты грома — отзвуки его маленькой войны с большим миром.

— Привет, Бернард! — крикнул я издали, чтобы не напугать его своим появлением. — Я Том Винго.

Парень лишь устремил на меня скучающий и недоверчивый взгляд.

— Я так и подумал, что это вы, — произнес он, когда я с ним поравнялся.

— Как дела? — поинтересовался я, протягивая руку.

— Лучше не бывает.

Бернард смотрел не на меня, а поток автомобилей за пределами парка. Пожимать мне руку он не собирался.

— В такой день приятно погонять мяч. Согласен?

— Можно, — недружелюбным тоном отозвался мальчишка.

Наша первая встреча явно не обещала быть легкой.

— Давно ждешь? — уточнил я.

— Порядочно, — ответил он не столько мне, сколько машинам.

— Понимаешь, я заблудился, — сознался я. — Всегда теряюсь в Центральном парке. И всегда он оказывается больше, чем в прошлый раз.

— Никто и не просил вас сюда приходить, — огрызнулся Бернард, удостоив меня коротким взглядом.

— Ошибаешься, тигренок, — возразил я, понижая голос. — Твоя мама просила.

Я начал уставать от неуклюжих дерзостей Бернарда.

— Она заставляет меня делать то, чего я не хочу.

— Неужели?

— Да, — лениво процедил Бернард. — Представьте себе.

— Не желаешь, чтобы я тебя тренировал?

— До вас быстро допирает. Это хорошо, — усмех-

нулся Бернард. — И потом, у меня в школе есть тренер.

— В прошлом году ты участвовал в играх? — осведомился я, чувствуя, что парень уловил в моем голосе нотки сомнения.

— Тогда я был новичком.

— Я тебя спрашиваю, участвовал ли ты в играх? — повторил я свой вопрос.

— Нет. Кстати, где вы тренируете?

— В Южной Каролине.

— Ого, — засмеялся он. — Рассадник чемпионов.

— Нет, Бернард, не рассадник чемпионов. — Я начал раздражаться. — Но смею тебя заверить, что вырастил ребят, которые любую команду из твоей Академии Филипса размажут по полю и выкинут в Атлантический океан.

— Откуда вы знаете? — Бернард пренебрежительно скривил губы.

— Знаю, потому что не связываюсь с богатенькими мальчиками, которых родители отправляют в закрытые частные школы, чтобы не путались у них под ногами.

Я заметил, что Бернард встрепенулся, — я задел в его душе какую-то болезненную струну. Однако мне вовсе не хотелось на него давить.

— И еще, никто из моих парней не играет на скрипке. Они вообще не переваривают пай-мальчиков.

— Да, — вздохнул Бернард. — Могу поспорить, что никого из них не заставляли пиликать на скрипке.

— Я тебя не принуждаю тренироваться. Не люблю зря тратить время на сопливых умников. Я тренирую ребят, которым действительно нравится спорт, а не тех, кого заставляют мамочки.

— В прошлом году мама даже не знала, что я занимаюсь футболом.

— Бернард, в прошлом году этого быть не могло, — возразил я, удивляясь его упорному нежеланию смотреть мне в глаза. — Пару минут назад ты сам говорил, что не участвовал в играх.

— Да как вы не понимаете? — заскулил он. — Я же отстал от других ребят. Я впервые попал в школу, где есть футбольная команда.

— Какое у тебя место на поле? — уточнил я.

— Квотербек.

— Я тоже был квотербеком.

— Подумаешь! — Ухмылка Бернарда исказила правую половину лица. — Я пришел сюда сказать, что мне не нужны занятия с вами.

Я кинул ему мяч с боковой подачи, и мальчиш-

ка ловко поймал его. Я отбежал на десять ярдов.

— Бросай на меня.

Его подача была вихляющей, но точной. И захват был мягким. Тем не менее я поднял с травы мяч и молча зашагал к выходу из Центрального парка. Я был уверен, что в этот момент он буравит меня глазами.

— Эй, куда же вы? — не выдержал Бернард.

— В гостиницу, — не поворачиваясь, бросил я.

Я услышал шаги за спиной. Парень догнал меня.

— Почему? — удивился он.

— Потому что ты, детка, гроша ломаного не стоишь, — сердито пробубнил я. — Иди домой, упражняйся на скрипке и радуй папу с мамой. И еще, я не терплю такого отношения к себе. А если мне, взрослому человеку, противно, как же ты поведешь за собой команду? Как превратишься из болвана, который плачет от жалости к себе, в квотербека?

— Но это мой первый удар за полгода, — оправдывался Бернард.

— А по-моему, это твой первый удар в жизни, — возразил я.

Я вовсе не собирался баловать его прощением.

— Бросьте мне еще раз. Я попробую снова, —

настаивал Бернард. Впервые за все время в его голосе появились человеческие интонации. Я остановился и обернулся.

— Сначала мы поговорим.

— О чем?

— В первую очередь о твоем рте.

— Что я должен с ним сделать?

— Заткнуть его, парень, — холодно ответил я. — Теперь слушай. Мне, приятель, все равно, нравлюсь я тебе или нет. Также мне плевать, буду ли я твоим тренером или мы видимся в последний раз. Но когда я к тебе обращаюсь, изволь смотреть на меня. Вот так. Это еще никому не вредило. Если в следующий раз я протяну тебе руку, а ты сделаешь вид, что не заметил, я переломаю в твоей руке все кости. Со мной ты должен быть уважительным и дружелюбным. Мне не терпится узнать: почему ты так обозлен на весь мир? С твоей матерью я и словом не обмолвлюсь, обещаю. Ты ведешь себя как поганый сукин сын, и я хочу помочь тебе кое в чем разобраться.

Ошеломленный Бернард тяжело дышал и заметно дрожал.

— А идите вы подальше! — выпалил он, едва сдерживая слезы.

— Раз уж я с тобой связался…

— Я вас не просил. У меня все нормально, — хорохорился Бернард, едва владея собой.

— Нет, у тебя как раз не все нормально.

Я понимал, что добиваю его, и ненавидел себя за это, однако мой голос становился все жестче и холоднее.

— Давно не видел таких несчастных ребят, как ты. За пять минут я понял: у тебя, парень, во всем мире нет ни одного друга. Зимой тебе было очень одиноко в своей Академии. Так, Бернард? Мальчишки тебя задевали? Дразнили? Конечно, они попросту тебя игнорировали, но это еще не самое страшное. Удалось им превратить твою жизнь в кошмар наяву? Как видишь, я изучил мальчишеский мир вдоль и поперек. Знаю, как они относятся к растяпам и неудачникам. А может, я ошибаюсь и у тебя есть друг? Чего молчишь, Бернард? Назови мне его имя.

Тут парень не выдержал. Он пытался сдержать слезы, но те лились по щекам, как вода, вырвавшаяся из запруды. Его плечи вздрагивали; он рыдал громко, закрыв лицо руками.

Затем Бернард поднял голову и уставился на мокрые ладони.

— Я плачу, — удивленно заметил он. — Это вы меня довели.

— Да, Бернард. Я специально на тебя наехал. Я рассчитывал, что ты разревешься и тогда я увижу под твоей поганой бравадой что-то человеческое.

— Это ваш стиль тренировки? — горестно спросил он.

— Да. Применяю его с придурками вроде тебя.

— Мне он не нравится.

— Ну и что? Какое мне дело?

— А мама говорила — вы приятный человек. Значит, обманула.

— С хорошими людьми и я — приятный человек. Очень даже приятный с теми, кто мне не хамит.

— Я расскажу маме, как вы со мной обошлись, — пригрозил Бернард. — Как вели себя. Все расскажу.

— Напугал, малыш. У меня уже поджилки трясутся.

— Мама считает, что взрослые должны обращаться с детьми как с равными.

— Думаешь, это правильно?

— Да. И ей очень не понравится ваше поведение.

Бернард все еще не мог восстановить дыхание.

— Ну так давай отправимся к ней, Бернард, —

предложил я. — Прямо сейчас.

— Она в кабинете. У нее прием пациентов.

— Не беда. У твоей мамы бывают десятиминутные перерывы. Мы подождем. В моем присутствии повторишь все мои слова, после чего я объясню, почему их наговорил.

— Мама не любит, когда понапрасну тратят ее рабочее время.

— Вот и я не люблю, парень. А ты отнял изрядный кусок моего времени.

— Это вы называете работой? — На лице Бернарда вновь появилась ухмылка.

— Я называю это тяжким трудом, Бернард. — Я повысил голос. — Жестоким, изощренным наказанием. Пыткой. Терпеть не могу убивать время на таких, как ты.

— А кто вас просил? — обиделся парень.

— Твоя мать. Так что пойдем к ней и покончим с этим, к нашей общей радости.

— Нет. Мне тогда от нее достанется.

— Что ты, Бернард? Мама побеседует с тобой как со взрослым человеком, — язвительно сказал я.

— Будете на меня давить, я пожалуюсь отцу, и тогда ни вам, ни маме не поздоровится.

— Меня ты своим отцом точно не испугаешь.

— Да? А вы знаете, кто он? — с запалом трехлет-

него малыша продолжал Бернард.

— Не знаю. И кто же?

— Герберт Вудруфф.

— Стало быть, у вас одинаковые фамилии, — заключил я; мне надоела хвастливая болтовня Бернарда.

— Вы хоть в курсе, чем он занимается? — спросил Бернард. — Он один из известнейших скрипачей в мире.

— Всегда до смерти боялся скрипачей. Особенно когда они смычками машут.

— Но он вращается среди очень влиятельных людей. Очень влиятельных, мистер.

Ухмылка исчезла с лица Бернарда. Мне казалось, он снова заревет.

— Что, Бернард, тяжело? — устало произнес я. — Тяжело быть дыркой от задницы? Всегда хотелось спросить у таких, как ты. Только случая не представлялось.

Он вдруг совершенно нелепым жестом вскинул руки над головой.

— Мне тоже все равно, что вы обо мне думаете. Вы со мной почти не знакомы. Нельзя за пятнадцать минут изучить человека.

— И опять ты ошибаешься, Бернард. Иногда и тридцати секунд достаточно.

Парень повернулся, словно собрался уходить. Потом остановился и вновь тяжело задышал.

— Вы это… не говорите маме. Пожалуйста.

— Хорошо, не буду.

— Вы… серьезно? — уточнил Бернард.

— Вполне. Твоя просьба разумна, ты стал нормально изъясняться. Люблю вознаграждать вежливое поведение.

— А что вы ей скажете, когда увидите?

— Что ты — настоящий принц и решил серьезно заниматься скрипкой вместо футбольных тренировок.

Бернард снова опустил глаза. Он стоял, ковыряя землю носком дорогих спортивных туфель.

— В прошлом году я не играл в футбол.

— Но вроде твой отец запримети тебя на снимке школьной команды?

— Я отвечал за снаряжение. А с игрой… Вышел на тренировку. Тренер в первый же день стал учить нас, как делать противникам подножки[90]. А я никогда в жизни никого не сбивал. Все мальчишки потешались надо мной.

— Ты помнишь, кто над тобой смеялся?

— Конечно. Но какая разница?

---

[90] Примечания: 90

Распространенный прием в тактике американского футбола.

— Если ты станешь со мной заниматься, мы отобьем у этих мальчишек чувство юмора… Противники будут уверены, что их сбил не ты, а «бьюик». Но зачем ты соврал отцу, что входишь в состав команды?

— Чтобы он считал меня игроком.

— Зачем, Бернард?

— Не знаю, — честно ответил мальчик. — Может, хотел рассердить его. Он ненавидит спорт. Его злит, что я интересуюсь спортом.

— Нет, Бернард. Спортом ты не интересуешься. И ты отлично постарался, убеждая меня в этом.

— Я вам не нравлюсь, да? — протянул Бернард плаксиво-умоляющим тоном.

— Не нравишься. Мне не понравилось, как ты вел себя со мной. Не понравилось твое отношение. Пока что я вижу перед собой злого и несчастного придурка. Не уверен, поможет ли тебе футбол. Знаешь, почему? Потому что самое замечательное в футболе, единственная великолепная его особенность — это масса наслаждения от игры. Иначе футбол превращается в глупую бесполезную затею. А ты явно ни от чего в жизни не получаешь удовольствия. К тому же, боюсь, занятия с тобой не принесут мне никакого удовлетворения. Пойми, я люблю футбол. Отношусь

к нему серьезно. Футбол для меня — источник радости, и я не хочу, чтобы эта радость уничтожалась твоим равнодушием.

— Отец заставляет меня упражняться на скрипке по два часа в день, — сообщил Бернард.

— Я бы куда охотнее играл на скрипке, чем в футбол. Честно. Если бы я владел скрипкой, я бы зачаровывал всех птиц вокруг; они бы падали с деревьев от удивительной музыки.

— Вы умеете играть на каком-нибудь инструменте? — поинтересовался Бернард.

— Нет. Но я все еще могу послать мяч на сорок ярдов. Поэтому на разных обедах и вечеринках я — знаменитость… Что ж, Бернард, мне пора идти. Был рад познакомиться. Жаль, наша встреча не достигла цели. Мне очень симпатична твоя мама. Буду с ней молчать о случившемся. Даю слово.

Я повернулся спиной к этому угрюмому несчастному мальчишке и двинулся в сторону Пятой авеню. Я прошагал ярдов двадцать, неся мяч в правой руке. Я наслаждался ощущением его упругости и даже тем, что шнуровка врезалась мне в фаланги пальцев. Бернард не попрощался со мной и вообще не проронил ни звука. Я вспомнил об этом лишь тогда, когда у меня за спиной прозвучало:

— Тренер Винго!

Меня так давно не называли тренером, что я был удивлен и тронут. Я обернулся. Бернард стоял с наполовину поднятыми руками, словно умолял меня вернуться. Когда он заговорил, каждая фраза давалась ему с трудом. Голос делался то неестественно высоким, то срывался.

— Научите меня. — В его глазах опять блеснули слезы. — Пожалуйста, научите. Пусть они перестанут смеяться.

Я направился обратно. Теперь я шел как совершенно новый и незнакомый Бернарду Вудруффу человек. Я возвращался его наставником, его тренером.

— Мы заставим их размазывать сопли, — заверил я. — Да, вначале они еще похихикают. Но затем им придется вытирать кровь с разбитых носов. Это я тебе гарантирую. Но и ты мне должен кое-что пообещать.

— Что? — насторожился парень.

— Научись затыкаться, Бернард. Твой рот меня просто бесит.

— Да, — выдохнул он. — О'кей, научусь.

— Правильнее: «Да, сэр». На футбольном поле тоже есть свои правила вежливости, и мы будем их соблюдать. На тренировках называй меня ли-

бо «тренер», либо «сэр». Это уж как тебе удобнее. Никогда и ни при каких обстоятельствах не опаздывай. Ты будешь делать все, что я велю, и делать с энтузиазмом. Немедленно начни заниматься гимнастикой с гантелями. Каждый день я буду гонять тебя до седьмого пота. Меня не волнуют твои домашние дела, уроки музыки, сексуальная озабоченность, прыщи и все остальное. Я не собираюсь становиться твоим дружком или пытаться произвести на тебя впечатление. Буду учить тебя выглядеть как футболист и действовать как футболист. Будем осваивать блокировки, подножки, удары, пробежки и передачи. У тебя хороший рост, Бернард. Я не шучу. Тебе недостает силы. Я сделаю тебя сильным. Ты станешь даже сильнее, чем думаешь, поскольку твоим противником буду я; меня ты будешь блокировать и мне ставить подножки.

— Но вы же гораздо крупнее.

— Заткнись, Бернард.

— Да, сэр.

— И после того, как ты набегаешься до упаду, — продолжал я, — наподнимаешься гантелей так, что не сможешь шевелиться, рухнешь в траву после отжиманий, а от захватов твои руки сведет судорогой, произойдет то, чего прежде никогда

не происходило в твоей никчемной жизни.

— Что именно, сэр?

— Тебе это понравится, Бернард.

Глава 11



Сколько себя помню, мать всегда занималась созданием собственного образа; этот процесс шел безостановочно. Редкий рассказ о ее прошлом был правдивым. Мать изучала свою жизнь, глядя на нее безответственным плутовским взглядом сочинителя дешевых романов. Правда Лиле Винго мешала, обман ничуть не обескураживал ее. Более того, ложь была основным материалом, из которого она лепила личности своих детей.

Тысячи дней детства — и тысячи обликов нашей матери, среди которых нет двух одинаковых. Мальчишкой я так и не смог выработать четких представлений о матери, да и позднее определенности не прибавилось. Я стал пожизненным исследователем географии ее личности, где даже полюса и тропический пояс выражены нечетко. Вот она улыбается застенчивой, почти

ангельской улыбкой, и я действительно начинаю думать об ангелах. Однако в следующее мгновение ее же улыбка наводит на мысль о стае мурен или о логове террористов. Мать слишком превосходит мое понимание.

В потаенных глубинах своего «я» мать создала целый свод законов поведения — нечто вроде собственного масонского ордена с уставом и ритуалами. Жители Коллетона недооценивали силы и способности Лилы Винго, как, впрочем, и она сама. Мне понадобилось тридцать лет, чтобы понять: женщина, растившая меня, является разносторонне одаренным воином. Впоследствии, обсуждая материнские таланты, мы втроем составили целый список амплуа, в которых мать могла бы блистать… Принцесса в какой-нибудь далекой и неизведанной стране в Гималаях. Наемный убийца, расправляющийся с второстепенными государственными деятелями. Глотательница огня. Жена владельца крупной корпорации. Исполнительница танца живота, подносящая царям головы святых[91] на блюде. Как-то я спросил Люка, считает ли он нашу мать

[91] Примечания: 91

Намек на библейский сюжет о царе Ироде, чья дочь плясала перед ним и гостями и в награду за свои пляски попросила голову Иоанна Крестителя.

красивой. Брат напомнил мне, что в Атланте от нее потерял голову похотливый великан, прозванный нами Калланвольдом.

— Ты считаешь это доказательством ее красоты? — уточнил я.

— Да, считаю, — ответил Люк.

Настоящее детство Лилы Винго в горах Джорджии было отвратительным. Отец пил и зверствовал. Он скончался от цирроза печени, когда ей не было и двенадцати лет. Мать Лилы работала на текстильной фабрике и пережила мужа на четыре года, умерев от биссиноза[92]. После смерти матери шестнадцатилетняя Лила села на автобус, уехала в Атланту, сняла дешевенький номер в отеле «Империал» и поступила ученицей в универмаг Дэвисона. Через два месяца она встретила моего отца и совершила типичную ошибку многих девушек — влюбилась в веселого, бойкого на язык летчика из Южной Каролины. Отец представился крупным землевладельцем, занятым выращиванием овощей и серьезно интересующимся «рыбным бизнесом». О том, что он — ловец креветок, мать узнала лишь по прибытии на остров Мелроуз.

---

[92] Примечания: 92

Биссиноз — легочное заболевание, вызванное вдыханием хлопковой или джутовой пыли.

Однако к тому времени она уже начала пересматривать историю своей жизни. Жителям Коллетона она рассказывала, что ее отец был преуспевающим банкиром из городка Далонега в Джорджии, но Великая депрессия начисто его разорила. Ее хмурая мать с изможденным плоским лицом, невыразительным, как котлета (именно так эта женщина выглядела на фотографии), стараниями дочери превратилась в гранд-даму, вхожую в высшие слои общества. «Высшие слои общества» — эти слова мы слышали от матери годами; она произносила их, затаив дыхание. Материнские мечты и голос создавали рафинированный мир избранных: зеленые лужайки для гольфа, кресла на берегу бассейнов с лазурной водой, нескончаемые сумерки с вкрадчивыми голосами джентльменов, бокалы шербета, слуги в белых перчатках. И хотя мы происходили от рыбаков и рабочих, у нас начали складываться ложные представления о себе, основанные на грезах матери, существовавшей в стеклянном дворце собственной лжи. Если Саванна стала первой в нашем роду поэтессой, то Лилу Винго, вне всякого сомнения, можно считать первым семейным фантастом.

Нас троих мать попеременно считала то сво-

ими сообщниками, то врагами. Мне никогда не встречались матери, перекладывающие на детей ответственность за неудачный выбор спутника жизни. Наша мать воспринимала рождение каждого из нас как преступление, совершенное против нее. Вместе с тем она крайне редко жаловалась на судьбу, за исключением редких вспышек откровенности. Мать не могла заставить себя сознаться, что ее удручает все вокруг. Она обладала потрясающим запасом позитивных фраз. На людях она переигрывала, демонстрируя всем безоблачное счастье. Она являлась воинствующей оптимисткой. Как только мы пошли в школу, мать добровольно стана участвовать во всех городских благотворительных делах. Постепенно она приобрела репутацию человека, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. За пределами семьи мать считали обаятельной, учтивой, находчивой и чересчур хорошей для нашего отца. Словом, Лила Винго была мастерицей на все руки и безотказной помощницей.

От отца я унаследовал чувство юмора, способность много работать, физическую силу, опасный темперамент, любовь к морю и синдром неудачника.

От матери я взял иные качества, самыми свет-

лыми из которых можно считать интерес к языку и страстное желание учить. Об остальных я говорю с изрядной долей стыда. Это способность лгать без сожаления, инстинкт разрушения, склонность к вспышкам безумия и романтическая тяга к фанатизму.

В той или иной мере каждый из нас троих перенял перечисленные свойства, и у каждого они определились особой мозаикой генов. Бывало, в припадке отчаяния мать выкрикивала наши главные отличительные черты:

— Фанатик Люк, неудачник Том и двинутая Саванна.

Но к тому времени мать утратила все свои позиции и в городе, и в семье. Мать стыдилась, что она — жена ловца креветок; мы сильно поплатились, вовремя не сумев понять, что этот стыд может привести Лилу Винго и нас к печальным последствиям.

Когда я рос, мое сердце было полно молчаливой ярости к отцу и отчаянных переживаний за мать. Тогда я не понимал, что переживания эти излишни и бесполезны. Просто Генри Винго был человеком другого типа. Отец отличался неуравновешенным характером, громадной силой, крутыми кулаками и бредовыми идеями

внезапного обогащения. Мать отличалась наличием плана. Она доказала всем нам: нет ничего могущественней и неодолимей, чем простая, медленно крепнущая мечта. Ей хотелось быть женщиной, с которой считаются, женщиной выдающихся достижений. Ей было мало уже имевшейся у нее репутации. Мать упорно отказывалась признавать горькую реальность своего положения и стремилась туда, куда ее не звали и где не хотели видеть. В 1957 году ей каким-то образом удалось войти в число кандидаток на прием в Коллетонскую лигу, и она начала отчаянную борьбу за место в высшем обществе.

Несколько слов о Коллетонской лиге. В 1842 году ее основала прапрабабушка Изабель Ньюбери. Устав провозглашал целью Лиги всевозможные добрые начинания и задумки, идущие во благо всем гражданам Коллетона. В Лигу принимали женщин из лучших семей; там состоял цвет женской половины округа Коллетон — это было главное обстоятельство, привлекавшее мать. Она была наполнена радужными ожиданиями: наступит такой день, когда она станет полноправным членом Лиги. Вскоре ее чаяния превратились в неутолимую страсть, бушевавшую до того момента, пока комитет Лиги единогласно не отклонил

ее кандидатуру. Через какое-то время до ушей матери дошли убийственные слова Изабель Ньюбери:

— Лила Винго, конечно же, не человек Лиги.

«Не человек Лиги». Можно только догадываться, какой бомбой разорвалась в душе матери эта вполне нейтральная фраза. Комитет даже не уведомил ее об отказе; жизнь южных городишек изобилует подобными бескровными казнями. Но Лила Винго не оставила своих замыслов. Она отлично играла взятую на себя роль. Она не хныкала и не сетовала. Мать решила убедить членов Лиги, что является ценным кадром для этого привилегированного клуба. Через два года терпеливых ожиданий ей выпал шанс доказать дамам Лиги свою полезность.

В апреле 1959 года Лига поместила в местном еженедельнике объявление, занявшее целую страницу. Активистки клуба задумали выпустить кулинарную книгу с рецептами местных блюд. Всем горожанкам предложили присылать свои рецепты, лучшие из которых войдут в будущее издание. Вот тогда-то мать и почувствовала блестящую возможность поразить отборочную комиссию своими способностями, тем более что комиссия почти полностью состояла из тех дам,

кто пару лет назад отверг ее кандидатуру. Мать открыла шкаф и достала старые номера журнала «Гурме»[93]. За два года до этого Толита подарила матери подписку на этот журнал, открывавший двери в мир высокой кухни. С его помощью мать действительно стала одной из лучших поварих штата.

Мать не просто читала «Гурме», она его тщательнейшим образом изучала. Она и до этого творила чудеса у плиты. Мать пекла изумительное печенье, а из горстки фасоли или свежевыловленной рыбы делала такое, что просто пальчики оближешь. В ее руках даже кулинарный жир становился вкусным. Однако журнал «Гурме» открыл ей не только рецепты экзотических блюд. Она заметила, что гастрономические пристрастия красноречиво свидетельствуют о принадлежности к тому или иному социальному слою. Узнав о существовании кулинарии более высокого уровня, мать тут же приступила к осуществлению очередного долгосрочного проекта

[93] Примечания: 93

«Gourmet» (*фр.* «Гурман») — кулинарный журнал, издававшийся в 1941–2009 гг. Помимо рецептов различных блюд публиковал статьи о здоровом образе жизни, путешествии, знаменитостях и т. д. Основная часть его рецептов — это блюда французской кухни. Журнал был рассчитан скорее на вкусы жителей Нью-Йорка и европейских стран, нежели консервативных южан.

по самосовершенствованию, возведя его в ранг навязчивой идеи. Добавлю, что этот кулинарный проект отдалил мать от отца, зато сблизил ее с нами. Генри Бинго вполне устраивало мясо с картошкой. Беарнский соус, приготовленный матерью, он считал французским заговором против доброкачественного мяса.

— Черт побери, Лила, ты никак налила туда вина? — спросил отец, когда однажды вечером мать подала coq au vin[94]. — Нечего переводить вино на курятину. Лучше уж вылила бы себе в глотку.

— Генри, это всего лишь эксперимент. Я пока не решила, предлагать им несколько рецептов или остановиться на одном. Как тебе вкус?

— Пьяный цыпленок, — отрезал отец.

— А мне понравилось. Очень вкусно, мама, — сказал Люк.

Линия фронта была обозначена.

Несколько месяцев подряд мать не знала покоя. Она снова и снова перелистывала мятые, заляпанные масляными пятнами номера «Гурме» (ведь основным местом их чтения была кухня), что-то помечая своим круглым кокетливым почерком.

---

[94] Примечания: 94

Coq au vin (*фр.* «петух в вине») — традиционное французское блюдо из курятины, тушенной в вине. Название не случайно, поскольку для этого блюда нужны именно молодые петушки.

Ужин стал поводом для ее импровизаций и экспериментов. Мать внимательно просматривала внушительную коллекцию рецептов, внося в них едва заметные изменения. Часть компонентов одного блюда она добавляла в другое, стремясь улучшить или обострить вкус. Постепенно мать дошла до мысли о создании собственного кушанья, яркого и оригинального. Рецепт создавался на основе ее богатейшего воображения и точных, хотя и ограниченных познаний по части различных продуктов и их свойств. Все четыре конфорки газовой плиты работали едва ли не круглосуточно; кухня дышала зноем; голубые лепестки пламени неутомимо нагревали кастрюли и сковородки, где рождались бархатистые соусы и подливки, липнущие к ножу, как масляная краска. Весь апрель и май из-под крышек вырывались терпкие запахи мозговых косточек, дурманящие ароматы куриных ножек, и все это было сдобрено всевозможными травами и овощами с нашего обширного огорода. Все запахи сливались в один. Уже на подходе к дому мой нос начинал улавливать кухонный дурман. Одни кушанья имели золотисто-коричневый цвет и приятный аромат, другие были белыми, воздушными и резко пахли. А варенные особым образом

головы угря отдавали… болотом.

В июне мы помогали отцу ловить креветок и возвращались уставшими, обожженными солнцем и очень голодными. Едва мы выпрыгивали из грузовичка, в ноздри тут же ударял запах материнских кулинарных фантазий и мой пересохший, просоленный рот мгновенно наполнялся потоками слюны. Путь к дому превращался в галерею ароматов, для обозначения которых в моем словаре не хватило бы слов. А мать, раскрасневшаяся и вспотевшая от кухонного пекла, напевала какую-нибудь песенку своих родных мест и лучилась тщеславным счастьем. Ни до, ни после я не питался так обильно, как в те месяцы. За лето я вырос на три дюйма, а мое мальчишечье тело потяжелело на десять фунтов. Все это благодаря тому печальному факту, что мать не являлась членом Коллетонской лиги.

В конце июня мать усердно трудилась над блюдом, которое горделиво называла «большим летним сюрпризом». Она завязала знакомство с мясником из местного «Пигли-вигли»[95], и тот отдавал ей потроха и прочие части мясных туш, обычно не считавшиеся съедобными. Члены

[95] Примечания: 95

Сеть продуктовых супермаркетов, охватывающая несколько штатов. Примерный перевод названия — «Веселая хрюшка».

семьи Винго стали первыми коллетонцами, кто отведал «сладкие хлебцы», приготовленные по рецепту из «Гурме».

Отец занял свое место во главе стола. Мы с Люком ополоснулись в душе, переоделись и тоже сели. Саванна внесла из кухни кастрюлю со «сладкими хлебцами» и, улыбаясь во весь рот, стала накладывать их на отцовскую тарелку. Отец мрачно взглянул на незнакомое блюдо и ткнул вилкой. В это время к нам присоединилась мать. Глядя на отца, можно было подумать, что он совершает ритуал, готовясь вкусить внутренности священного животного и через них узнать какие-то тайны. Мать вся светилась от гордости. Забыл добавить: на столе стоял букет свежесрезанных роз.

— Лила, что это такое, черт побери? — спросил отец.

— «Сладкие хлебцы» в сливках и вине, — ответила довольная мать. — Обрати внимание на подливу. Французский соус Винго.

— А по-моему, это никакие не хлебцы, а дырка калькуттской шлюхи, — заявил отец.

— Как ты смеешь говорить подобные вещи за столом, да еще при детях? — возмутилась уязвленная мать. — Здесь тебе не твоя лодка. Я

не потерплю у себя в доме рыбацкий жаргон. И потом, ты даже не попробовал «хлебцы», а уже хаешь.

— Это вообще не хлеб, Лила. Мне плевать, как это называется у жалких лягушатников. Я всю жизнь ем хлеб и прекрасно знаю все его сорта, включая разные кексы, печенья и бисквиты. Это и близко с хлебом не лежало.

— Серость! Я вышла замуж за дремучего простака, — рассердилась мать. — Это, мой дорогой, название блюда из говяжьих зобных желез.

— Послушай, милая. Я не желаю есть какие-то говяжьи потроха вместо нормальной пищи. Ты знаешь, я никогда не привередничаю. Но уже три месяца ты кормишь меня разными штучками-дрючками, я устал от них.

Изумленный Люк поддел вилкой свой «хлебец».

— Мама, так это что, бычьи яйца?

— Нет, конечно. И ты, Люк Винго, тоже последи за своим языком. По-научному это называется «вилочковая железа». Она находится у коровы внутри.

— Понятно, что внутри. Но где? — поинтересовался я.

— Сейчас не помню, — быстро нашлась мать. —

Но точно далеко от хвоста. В этом я абсолютно уверена.

— Где моя обычная порция красного мяса на ужин? — Отец отложил вилку. — Всего-навсего. Такая малость. И жареная рыба сгодилась бы, и креветочное пюре с подливой. Эти потроха даже ниггеры есть не станут. Даже собаки. Где Джуп? Иди сюда, Джуп. Сюда, малыш.

Джуп дремал на стуле. Тогда мы еще не знали, что это последний год его собачьей жизни. А пока он поднял свою дружелюбную морду в серых пятнах и тяжело спрыгнул на пол. Джуп осторожно приблизился к отцу. Глаза пса были подернуты молочной пленкой, сам он дрожал от сердечных червей[96], которые его и доконали.

— Ближе, Джуп, ближе, — выказывал нетерпение отец. — Черт побери, да шевели же ты своей задницей.

— Джуп — пес умный, — вмешалась Саванна. — Знает, что может получить от папы ногой под дых.

Джуп остановился футах в пяти, ожидая, что будет дальше. Он ластился ко всем, за исключением отца.

---

[96] Примечания: 96

Вид паразитов, живущих в сердце животных и человека (в очень редких случаях). Переносчиком личинок являются комары.

— Давай, глупая псина. Отведай-ка «сладких хлебцев».

Отец поставил свою тарелку на пол. Джуп медленно подошел к ней, понюхал содержимое, слизнул немного сливок и вернулся на стул.

— Я весь день готовила это блюдо, — обиженно сообщила мать.

— Которое даже пес не жрет, — язвительно подхватил отец. — Вот тебе наглядное доказательство. Собака отворачивается, а мне что прикажешь делать? Послушай, Лила. Я встаю в пять утра и целый день ловлю креветок. Как портовый ниггер, я не разгибаю спины. А вечером у меня и обед, и ужин. И что я должен есть? Стряпню, которая даже глупому псу в глотку не лезет?

— Дорогой, попробуй отнестись к этому как к кулинарному приключению. Мне хотелось, чтобы наши дети познакомились с кухней разных стран и народов. Я пытаюсь расширить их горизонты. «Сладкие хлебцы» — французская классика. Классика. Рецепт я взяла из «Гурме».

Чувствовалось, что поведение отца сильно обидело мать.

— Французская? — заорал отец. — Я что, француз? Ненавижу этот поганый народ. Ты когда-нибудь слышала, как они говорят? Боже

милосердный, Лила, это же нечеловеческая речь. Им как будто по двадцать фунтов чеддера в зады понапихали. Я американец, Лила. Простой американец, который корячится на дерьмовой работе, зарабатывая баксы. Я люблю американскую еду: бифштексы, картошку, креветки, окру[97], кукурузу и все такое. Мне не надо икры, улиток, лягушачьих печенок и яиц бабочки… или что там жрут эти французские придурки? Я не желаю никаких приключений за ужином. Я просто хочу утолить голод. Прости, если обидел.

Люк с показным аппетитом принялся уплетать «сладкие хлебцы».

— Мама, это восхитительно, — заключил он. — Ничего вкуснее я в жизни не пробовал.

Я осторожно откусил кусочек. Как ни странно, французская экзотика оказалась вполне приемлемой.

— Замечательно, мама, — похвалил я. — Просто сказка.

— Том прав, — согласилась Саванна. — Потрясающе… Папа, не переживай. Я тебе мигом поджарю ваху[98].

---

[97] Примечания: 97

Окра — однолетнее съедобное растение семейства мальвовых.

[98] Примечания: 98

Ваху — рыба семейства скумбриевых.

— Даже глупый пес не стал лопать вашу сказку, — пробубнил отец, чувствуя, что мы объединяемся против него.

— Джуп питается только чем-то, что из консервной банки, — объяснил отцу Люк.

— Люк, что за нелепую фразу ты построил? — отчитала его мать. — В таких случаях говорят не «чем-то», а «тем». Запоминай правильные обороты речи, пока они не войдут у тебя в привычку.

— Может, нам угостить папу банкой «Алпо»?[99] — предложила Саванна.

— Пусть подерутся с Джупом за порцию, — ухмыльнулся я.

Если бы в тот момент мать подала нам конский навоз в белом вине, мы бы и им восторгались, расхваливая тонкий вкус. Это была часть негласного и весьма сложного этического кодекса, заставлявшего нас бросаться на защиту матери всякий раз, когда отец совершал вылазку против ее достоинства и задевал ее лучшие чувства. Какими бы здравыми ни были отцовские доводы, у Генри Винго не получалось разрушить свой образ грубого и опасного человека. Это злило его и отдаляло от нас, но такова была закрепленная

---

[99] Примечания: 99
Консервы для собак.

за ним роль.

Отец медленно обвел нас взглядом — своих детей, весело поедающих французский изыск. Это был тихий бунт против главы семьи.

— Да, Лила, ты отлично сумела настроить детей против меня. Получается, я один здесь — большое бревно.

— Пап, ну что тебе стоит быть повежливее? — осторожно произнес Люк. — Мама столько сил потратила на этот ужин.

— Молчи, болтун. Я трачу еще больше сил, чтобы ей было на что все это покупать. Смею вам напомнить, что кормильцем в семье являюсь я. И я не стану есть всякую дрянь, сляпанную из журналов. Если мне не нравится ужин, я имею полное право называть вещи своими именами.

— Но ведь можно высказать недовольство помягче, — ядовито заметила Саванна. — Ты же умеешь, когда захочешь.

— Заткнись, — потребовал отец.

— У меня есть право выражать свое мнение, — с полным ртом сообщила Саванна. — Мы живем в Америке, и я — американская гражданка. А вот затыкать мне рот никто не вправе.

— Говорю тебе, заткнись, — повторил отец.

— Слушай отца. Он большой, сильный и сме-

лый, — совершенно некстати вмешалась мать.

— Перестань болтать, Лила, приготовь лучше нормальную еду, — велел отец. — Немедленно. Я работал весь день и имею право на съедобный ужин.

— Да успокойся ты, папа, — примирительно сказал Люк, но голос его звучал напряженно.

Отец ударил брата по губам. Люк оторопел от удивления, затем уткнулся в тарелку.

— Приготовь мне мяса, — приказал матери отец. — Меня устроит любое, какое есть. Я научу свою семью уважать ее кормильца.

— Как ты, Люк? — спросила мать.

— Все нормально, мам. В полном порядке.

— У нас осталось немного вчерашнего рагу. И рис. Сейчас все разогрею, Генри.

— Мама, я тебе помогу, — заявила Саванна.

— И я тоже, — подхватил я, отодвигая стул.

За столом остались отец и Люк.

Я ретировался в кухню, поскольку жизненный опыт научил меня: если отец взорвался, лучше скрыться с его глаз как можно скорее.

— Том, покроши лук, — дала мне задание мать. — А ты, Саванна, пожалуйста, достань рис. Он в холодильнике, в прикрытой тарелке.

— Я так тебе сочувствую, мама, — призналась

Саванна, открывая дверцу холодильника.

— Сочувствуешь? Не надо мне сочувствовать. Я сама выбрала такую жизнь. Жизнь, которую заслуживаю.

Мать заглянула в кладовку, где хранились консервы, и вышла оттуда с банкой собачьей еды. Не обращая внимания на наши удивленные лица, она положила на сковородку кусок сливочного масла и лук.

— Том, прошу тебя, добавь еще одну луковицу, — попросила мать, когда в кухне запахло жареным луком. — И пожалуйста, очисти две дольки чеснока.

Когда лук и чеснок на сковородке стали совсем прозрачными, мать вывалила туда всю банку консервов «Алпо» и начала энергично перемешивать. Она посолила и поперчила мясо, добавила острой соевой приправы, такого же острого мясного соуса и столовую ложку томатной пасты. Следом на шипящую сковородку отправился мелко покрошенный лук-резанец, а затем и вчерашний рис. Дождавшись, когда вся смесь станет горячей, мать выложила ее на большую тарелку и красиво посыпала луком-пореем и петрушкой. Мать отнесла тарелку в столовую и с видом победительницы поставила перед отцом.

Джуп тут же проснулся и теперь без всякого приглашения подошел к столу.

— Видите, даже глупый пес почуял настоящую пищу.

Отец взял мелкую тарелку для хлеба, отложил туда немного риса с собачьим кормом и поставил на пол. Пес мгновенно умял угощение и, довольно пофыркивая, вернулся на стул.

— Королевский дегустатор, — заключила Саванна, возвращаясь к прерванному ужину.

Власть главы семьи была восстановлена. Отец попробовал новое блюдо.

— Вот, Лила, это нормальная еда. Простая, но вкусная. Я рабочий человек и не стыжусь этого. Прекрасный ужин получился. Спасибо, что приготовила.

— Не стоит благодарности, дорогой. Мне это доставило истинное удовольствие, — с непонятной отцу язвительностью ответила мать.

— Терпеть не могу наших вечных ссор за столом, — пожаловался Люк. — Стоит нам собраться на ужин, и я начинаю чувствовать себя как перед высадкой союзников на побережье Нормандии.

— Это, братец, одно из развлечений семейной жизни, — поддела его Саванна. — Пора бы привыкнуть. Съел несколько горошин, и тут тебе

— по губам.

— Не желает ли юная леди попридержать язык? — предостерегающе спросила мать.

— Иногда необходимо поднимать руку. Только так можно воспитать характер, Люк, — добавил отец, с аппетитом жуя собачьи консервы. — Уж лучше бы отец порол меня, чем читать по десять страниц из Библии.

— Но Библия помогла твоему отцу достичь ошеломляющего успеха, — напомнила мать.

— Лила, я приношу тебе свои извинения, что я не кардиологический хирург и не «белый воротничок» в банке. Но по-моему, пора перестать стыдиться моего ремесла. Да, я ловец креветок.

— Да ты даже среди ловцов креветок не являешься лучшим. Найдется с десяток человек успешнее тебя. И половина из них — цветные.

— Зато у них нет планов, которые есть у меня. Их мозги не бурлят идеями, как сколотить капитал.

— А сколько денег ты растратил впустую?

— Это, Лила, потому, что мои задумки всегда опережают время. Ты с этим согласна? Я куда живее какого-нибудь среднего Джо. Мне всего-навсего нужно взять взаймы небольшую сумму, и госпожа фортуна подарит мне свою улыбку.

— Ты прирожденный неудачник, пропахший креветками, — отчеканила мать.

— Креветки — мой способ заработка, — устало отозвался отец. — На реке не пахнет духами.

— А если бы ты еще натер грудь чесноком, получились бы креветки в чесночном соусе, — не унималась мать.

— Мне нравится запах свежих креветок, — вдруг сказал Люк.

— Спасибо, сын, — улыбнулся отец.

— Нюхать их на реке — это одно. А как бы тебе понравилось укладываться в постель с креветкой весом в двести двадцать фунтов?

— Что и требовалось доказать, — вздохнул Люк. — Что бы мы ни обсуждали, все кончается стычкой.

— Мне трудно вообразить папу креветкой, — призналась Саванна, наблюдая, как отец доедает любимое лакомство Джупа.

— Ну почему у нас не так, как в семьях, которые показывают по телевизору? — рассуждал Люк. — Там говорят о повседневных делах, смеются. Отцы садятся за стол в пиджаках и галстуках.

— Люк, может, и мне выходить на лов в костюме? Удобная одежда для забрасывания сетей. Особенно в шторм. Неужели ты не понимаешь,

что по телевизору показывают ненастоящих отцов? Это же голливудские штучки.

— Но они всегда такие счастливые, — продолжал Люк.

— И ты был бы счастлив с парой миллионов баксов, надежно размещенных в банке.

Отец доел остатки ужина и завершил трапезу удовлетворенной отрыжкой.

— Вот теперь мой старый желудок чувствует сытость, — изрек он. — И запомни, Лила, ты готовишь американцу, а не лягушатнику.

— Генри, я могла бы поджарить камни во фритюре, и ты бы мигом их проглотил. Но я стараюсь познакомить наших детей с кушаньями других стран. И учусь сама. Я всюду ищу оригинальные блюда. Мне хочется произвести впечатление на дам из Коллетонской лиги. В прошлый раз они отвергли мою кандидатуру. Я намерена экспериментировать до тех пор, пока не найду самый потрясающий рецепт. И тогда до них дойдет, какую ценность я представляю для Лиги.

Отец пристально смотрел на мать. Слова, которые он затем произнес, прежде не звучали за нашим столом.

— Дорогая, они никогда не возьмут тебя в Коллетонскую лигу. Неужели ты этого не понима-

ешь? Они и Лигу создали только затем, чтобы не пускать туда таких, как ты. Можешь вызубрить всю французскую и итальянскую кухню. Можешь готовить так, что один запах будет сводить с ума. Но тебя все равно не примут в Лигу. И лучше тебе услышать это от меня, чем от них. Пора научиться признавать простые вещи.

— Мама, папа прав, — вмешался я. — Не надо посылать им рецепт.

— Зачем ты вообще пытаешься помочь этим гордячкам из Коллетонской лиги? — тихо сказала Саванна. — На самом деле им ничего от тебя не надо. Они лишь заденут твои чувства.

— Задеть чувства можно лишь тогда, когда человек сам позволяет, — гордо возразила мать. — Я ничем не хуже этих женщин. В глубине души они это знают. Как и они, я вношу свой посильный вклад в благосостояние нашего города. Но и Рим не сразу строился. У этих дам с детства были преимущества, которые мне и не снились. Зато я сполна использую все данные мне природой возможности. Я обязательно вступлю в Лигу. Обязательно.

— Мама, зачем тебе это нужно? — спросила Саванна. — Я бы не хотела попасть в клуб, где меня не желают видеть.

— Я нужна им, — ответила мать. — Но пока они этого не понимают.

— У тебя нет ни малейшего шанса попасть в Коллетонскую лигу. — Отец поднялся из-за стола. — И ты, дорогая, тут ни при чем. Дело во мне.

Мать отмахнулась от этого редкого проявления отцовского милосердия.

— Да, Генри. Помощником в этом деле тебя никак не назовешь.

Весь остаток лета мать была с головой погружена в рецепты местных блюд. Ее сосредоточенность изумляла, это был настоящий героизм. Она готовила курятину десятью различными способами. Под ее умелыми руками каждый вариант становился не только блюдом, но и сотворением птицы нового вида. Стоило отцу пожаловаться, он тут же получал внушительную порцию «Алпо» с рисом, однако даже это кушанье со временем становилось все вкуснее. Мать потрясающе готовила свинину. Если бы она опубликовала рецепт свиного барбекю на углях, это значительно изменило бы жизнь Юга, по крайней мере, мы в этом не сомневались. Однако от барбекю тянулась зримая ниточка к ее прошлому, и мать исключила это блюдо как слишком заурядное. У нас возникали семейные споры насчет того, ка-

кой рецепт предложить привередливым дамам из Коллетонской лиги. Мать остановилась на креветочном муссе — удивительнейшем кушанье, когда-либо попадавшем мне в рот. Саванна предпочитала буйабес[100], приготовленный из рыбы дневного улова. Отец сохранял верность жареной курятине.

Пожалуй, для нашей семьи то лето было самым счастливым. Даже в кончине Джупа ощущалась какая-то приятная грусть. Наши слезы по нему были легкими и светлыми, а похороны запомнились умиротворяющей красотой. Наш пес умер на стуле, где любил лежать. Мы соорудили ему гроб, который украсили фотографиями, запечатлевшими Джупа с нами, начиная от его щенячьих дней и до последнего года жизни. Он и остался с нами; этот пес олицетворял всё лучшее в нас — то, что способно любить бескорыстно. Мы закопали Джупа рядом с нашими мертворожденными братьями и сестрами. В гроб мы положили две банки «Алпо», чтобы пес не голодал по пути в свой собачий рай. И еще мы подумали: если кто-нибудь когда-нибудь вздумает потревожить его кости — пусть видит, что Джуп жил в семье,

[100] Примечания: 100

Буйабес — блюдо французской кухни, рыбный суп, характерный для Средиземноморского побережья Франции.

где очень его любили и заботились о нем.

На следующий день после похорон Джупа Люк поймал королевскую макрель весом в двенадцать фунтов. Это было в воскресенье, накануне обеда. Люк наудачу забросил удочку с причала. Мама начинила макрель креветками, мидиями и гребешками, после чего запекла в вине и густых сливках, добавив пару трав со своего огорода. Кушанье получилось фантастическим. Белое мясо легко отделялось от костей, креветки и мидии вносили свои вкусовые оттенки. Мамин шедевр одновременно пах виноградником, молочной фермой и морем. Еще пару часов назад эта макрель плескалась в реке Коллетон. Люк отыскал у нее в животе креветку, проглоченную за несколько мгновений до того, как макрель попалась на его крючок. Брат извлек креветку, и мама добавила ее к остальным. На счастье.

— Вот она, — сказал я, указывая на крупную креветку. — Наверняка эта.

— Не знаю, — пожал плечами отец. — Может, и эта. А рыба превосходная.

— Такое блюдо вряд ли подадут даже в шикарном ресторане, — заметил Люк.

— Ты-то откуда знаешь? — накинулась на него Саванна. — Ты никогда не был в шикарном ресто-

ране. А тот, где готовят желтую овсянку, только называется рестораном.

— Мне кажется, я несколько перегрузила это блюдо. — Мать медленно жевала, оценивая свое произведение. — Да, оно получилось тяжеловатым. Не надо было столько всего смешивать. Пропала оригинальность. Сегодня я читала, что простота — это ключ к элегантности. Хотя, по-моему, и простота может быть чрезмерной.

— Например, как у нашего папы, — подхватила Саванна.

Отец благодушно рассмеялся.

— Простота, говоришь? В таком случае я — один из самых элегантных сукиных сынов в округе.

— Речь шла совсем о другой простоте, — пояснила мать.

— Мам, ты сегодня выискала какой-нибудь интересный рецепт? — сменил я тему.

— Рецепт неаполитанского супа со свиным легким, сердцем и горлом. Но я решила его не готовить.

— Вот и хорошо, — обрадовался отец, набив себе рот макрелью. — Меня тошнит уже от одного названия.

— Брр, — поморщилась Саванна.

— А я уверена, что суп вкусный, — заявила

мать. — Вас отталкивает не его вкус, а сама идея. Думаю, первый человек, решившийся попробовать улитку, тоже ощущал легкие позывы к рвоте.

— Держу пари, его вывернуло по полной, — ухмыльнулся отец.

В начале августа мать объявила нам, что наконец-то нашла лучший рецепт. Она вынула из морозильника восемь диких уток, подстреленных Люком минувшей зимой. Из утиных потрохов и иных частей, которые обычно выбрасывают, мать приготовила кушанье шоколадно-коричневого цвета, запах которого возбуждал и немного обескураживал. Утиное мясо мать облагородила вином и ложкой коньяка. Затем она целый час вспоминала всевозможные приправы, приемлемые для этого вида мяса. Утки готовились на медленном огне, с луком, репой, кислыми яблоками и круглолистным виноградом, обвивавшим щиты галереи в саду. Мать раздумывала о соотношении компонентов, чтобы никакая мелочь не испортила блюдо. За столом мы все ощущали напряженное ожидание матери. Она волновалась, не зря ли положила виноград. Кулинарные книги были здесь бессильны; мать ступила на неизведанную тропу, где «Гурме» уже не мог

служить путеводителем. По сути, она впервые целиком положилась на свое чутье и содержимое кладовых.

Я выразил сомнение, нужно ли было класть репу, однако мать поспешила меня заверить, что утка — единственное мясо, которое сочетается с репой. На самом деле меня заботило другое: я терпеть не мог этот овощ. Однако яблоки оттянули на себя горечь репы, которая, в свою очередь, уменьшила приторность винограда. Утиное мясо имело цвет диких роз. Даже отец оставил свой ежевечерний панегирик жареной курятине и принялся за еду с молчаливым аппетитом. После ужина мы встали и устроили матери овацию. Седьмую по счету за то лето.

Мать сделала книксен и расцеловала всех нас. Ее глаза сияли от радости, столь редкой в нашем доме. Она чмокнула даже отца; они закружились в вальсе, двигаясь из столовой в гостиную. Мать напевала мелодию, под которую они любили танцевать там, в Атланте, когда только познакомились. И сейчас родители выглядели совершенно естественно, без малейшей скованности. Я впервые заметил, какие они красивые и как здорово смотрятся вместе.

То лето было временем непривычного элеги-

ческого счастья для всех нас. Мать неустанно колдовала над плитой, отец возвращался с богатым уловом креветок. Наш дом стал приобретать черты надежной семейной гавани, о которой я мечтал и тосковал всю жизнь. Лето щедро поджаривало нас на солнце и дарило положительные эмоции. Родители вдруг превратились в обаятельную пару, работа на лодке не была мне в тягость, и я знал, что каждый вечер меня ждет королевский пир.

Когда с уткой было покончено, мать, все в том же приподнятом настроении, аккуратно переписала рецепт и вывела на конверте адрес комитета по изданию кулинарной книги. Все двери в доме были открыты; по комнатам гулял прохладный ветер. Я видел, как мать лизнула почтовую марку и приклеила ее в верхний угол конверта. Саванна тоже следила за матерью, однако глаза сестры были грустными. Затем Саванна бросила на меня совсем короткий, мимолетный взгляд. Но этого мгновения хватило, чтобы сработала телепатия близнецов. Мы оба почувствовали: мать снова подставляет себя под удар, однако были бессильны что-либо сделать.

Через неделю, подъехав к дому и не ощутив никаких дразнящих запахов пищи, мы сразу

поняли: мать получила ответ. В доме было пусто. Мы с Люком бросились на задний двор и нашли мать в галерее. Она плакала, Саванна утешала ее, как могла. Сестра молча протянула нам письмо.

Уважаемая миссис Винго!

Члены комитета по изданию кулинарной книги, и я в том числе, хотим сердечнейшим образом поблагодарить Вас за присланный Вами «старый семейный рецепт» блюда «Canard Sauvage de Casa de Wingo» [101]. *Однако мы единодушно считаем, что в кулинарной книге должна быть представлена местная кухня. Мы решили не занимать ее страницы рецептами весьма экзотических иностранных блюд, пусть даже от лучших кулинаров нашего города. Еще раз большое Вам спасибо за проявленное внимание и потраченное время. Искренне Ваша,*

Изабелъ Нъюбери

P. S. Лила, поделитесь со мной секретом: из какой кулинарной книги Вы позаимствовали рецепт с таким исключительным названием?

---

[101] Примечания: 101

В переводе с франко-испанского жаргона Лилы это означает: «Дикая утка дома Винго».

— Скажи ей, что рецепт ты взяла из «Американского справочника по ядовитым грибам», — взорвался я. — Добавь, что с радостью приготовишь ей это блюдо к ближайшему ужину.

— Вот-вот, — поддержал меня Люк. — А я с ее сыночком… побеседую.

— Ребята, перестаньте! — Мать всхлипнула. — Грубость вас не красит, а Тодд здесь вообще ни при чем. Просто им нужны фамилии, им важно, из какой семьи претендентка. И все равно я рада, что в комитете прочли мой рецепт. Одно то, что я им его послала, уже делает мне честь. Такая пустяковая неудача не выбьет меня из колеи. У меня слишком много гордости, чтобы считать себя уязвленной. Вы заметили, какое необычное имя я дала своему творению? Возможно, они сочли его несколько… экстравагантным.

— Но я его совсем не понимаю, — признался Люк, вертя в руках письмо. — Я думал, ты напишешь по-английски: утка, приготовленная так-то и так-то.

— Мне казалось, что по-французски это звучит более изысканно, — сообщила мать, вытирая слезы.

— Отличное название для великолепного блюда, — ободрила ее Саванна.

— Если бы они его попробовали, — вздохнула мать. — Как думаешь? Может, вначале нужно было их угостить?

— Знаешь, мама, этим теткам было бы очень трудно пробовать твой шедевр, — злорадно усмехнулась сестра.

— Почему?

— Саванна запихнула бы утку прямо в их жирные задницы, — пояснил довольный Люк.

Мать встала со скамейки.

— Конечно, они в курсе, какие у меня грубые дети. И наверняка думают: раз она не сумела воспитать своих детей, то членства в Лиге не заслуживает.

Люк поднял мать на руки и нежно поцеловал ее в щеку. В его сильных руках мать казалась манекеном из магазина детской одежды.

— Мама, я очень огорчен, что они причинили тебе боль, — говорил мой брат. — Не могу видеть, как ты плачешь. Если они еще хоть раз тебя унизят, я приду к ним на собрание и такое устрою! Я заставлю их есть уток с репой и виноградом, пока они сами не улетят по осени на юг.

Люк осторожно поставил мать на ноги.

— Люк, их Лига — всего лишь клуб. — Мать поправила платье. — Вижу, вас троих это рассер-

дило сильнее, чем меня. Я пытаюсь вырваться вперед, чтобы у вас было больше возможностей, чем у меня в ваши годы. А слезы вовсе не из-за их отказа. Судя по всему, я что-то напутала в названии. Изабель Ньюбери восприняла его как шутку. Наверное, они все смеялись. Но ведь верно, что «дом» по-французски — casa?

— Да, — хором ответили мы, хотя никто из нас не знал даже английского написания слова «по-французски».

Ночью мы долго не могли уснуть и лежали в темноте, прислушиваясь к порывам северного ветра и плеску речных волн. Когда стихия на мгновение умолкала, до нас доносились материнские всхлипывания и приглушенный голос отца, пытающегося ее успокоить. Слов мы не различали, но интонация была грубой и неубедительной. Название рецепта не давало матери покоя. После ужина она стала проверять и обнаружила, что вместо casa нужно было написать chez. Мать могла вынести почти любое унижение, но когда ей недвусмысленно намекали на изрядные пробелы в образовании…

— Кто-нибудь из вас знает, почему наша мать так зациклилась на вступлении в Коллетонскую лигу? — спросил я брата и сестру.

— Не желает принимать себя такой, какая есть, — предположила Саванна.

— И где вообще она набралась подобных идей? — недоумевал Люк. — Не представляю. Откуда у нее все это?

— Смотрит на других. Сравнивает. Делает выводы, — объяснила наша мудрая сестра.

— Но ведь на будущий год она станет президентом Садового клуба. Неужели это ее не радует? — возразил Люк.

— Вступить в Садовый клуб легко, — сказала Саванна. — Достаточно быть белым и уметь сажать семена в землю. Нет, маме непременно нужно то, чего у нее нет. Она у нас тянется к недосягаемому.

А потом для нашей семьи настали скверные времена. И не только для нашей — для всех жителей штата, чьи заработки были связаны с морем. Началось это примерно через полгода после знаменитой маминой утки. Вдруг ударили немыслимые для здешних мест морозы. Проснувшись утром, мы впервые в жизни увидели снежный покров толщиной в четыре дюйма. Снег засыпал весь остров Мелроуз; черное озерцо в самом центре острова обледенело. Окрестные болота побелели; мыши-полевки, привычно роющиеся

в поисках корма, сделались легкой добычей для ястребов. Небо приобрело хмурый серый цвет. Температура всю неделю не поднималась выше десяти градусов по Фаренгейту[102]. Водопроводные трубы замерзли, затем полопались, и мы на две недели оказались без водоснабжения. От наледи провисли и оборвались провода нашей электролинии, и мы лишились электричества. Тогда наша семья стала жить при мягком, но тускловатом свете керосиновых ламп. Мы разводили костры. Основным источником тепла стала дровяная плита. Ежедневно мы ходили за дровами, а когда возвращались, мать на плите сушила наши заиндевевшие сапоги. Поначалу разгул стихии воспринимался весело, словно какой-то праздник, не особо благочестивый и наступивший неожиданно. Школы закрылись на целых пять дней. Во всем штате не было ни одной снегоуборочной машины, а в округе Коллетон — ни одних саней. Впервые мы играли в снежки на заднем дворе и лепили снежную бабу.

Клем Робинсон — чернокожий подагрический старик — замерз насмерть. Его тело нашли в трех милях от нашего дома. Только потеплело, как но-

---

[102] Примечания: 102
Минус 12 градусов по Цельсию.

вый удар мороза сковал все низменности льдом, и мы на себе испытали предательские свойства ледяных пространств. По ночам с улицы доносились грустные стоны ломающихся деревьев, чьи ветки не выдерживали непомерного ледяного груза. В их треске было что-то зловещее, словно кому-то заживо ломали кости. Оказалось, что под ледяным панцирем деревья способны гибнуть, и гибнуть не беззвучно. Иногда их предсмертные звуки напоминали ружейную пальбу в сезон охоты. В океане температура воды упала ниже сорока пяти градусов по Фаренгейту[103]. Креветки, которых отец рассчитывал выловить весной, начали гибнуть миллиардами. Об этом никто не догадывался до марта, когда ловцы привычно вышли в море и вернулись с пустыми сетями. В тот год заливчики и реки вовсе не кишели креветками. Редкие беременные самки, в одиночку или парами, мужественно ползли через болота к речкам и ручьям, чтобы отметать икру и сохранить вид. Но зачастую им не хватало сил, и комья икры оставались в болоте. Коллетонский банк изъял за неплатеж семнадцать рыбачьих лодок и продал их с аукциона. За две недели изнури-

[103] Примечания: 103
Ниже 7 градусов по Цельсию.

тельной работы, продолжавшейся от рассвета до заката, отец сумел поймать лишь сорок фунтов. Море опустело. Рыба и морские птицы вели себя странно. Приливы теперь несли не изобильную пищу, а голод. Впервые в современной истории Коллетона креветки стали редким и дорогостоящим угощением.

В мае отец впервые пропустил оплату кредита за свою лодку. На следующий день он поплыл на юг, в воды штата Джорджия. Но и там добыча оказалась настолько скудной, что доходы от креветок не покрыли расходов на топливо. Отец не стал возвращаться в Коллетон, а отправился еще южнее. Он расспрашивал коллег, слушал россказни о якобы фантастических уловах в Мексиканском заливе и в районе Флорида-Киз [104]. В Сент-Огастине власти задержали отца за ловлю в речном канале, который из-за зимнего бедствия был закрыт для рыбаков. Отец знал о запрете, но им двигали отчаяние и желание рискнуть. Лодку конфисковали, а отца приговорили к штрафу в пятьсот долларов. Отец остался во Флориде и устроился автомехаником в ремонтную мастерскую на шоссе номер 17. Там он провел полгода,

[104] Примечания: 104

Флорида-Киз — цепь коралловых островов в северо-восточной части Флориды.

прежде чем сумел погасить штраф, получить назад свою лодку и направить ее в воды Южной Каролины. Помнится, он позвонил матери и сказал, чтобы мы выкручивались любыми способами, но ни в коем случае не пропускали платежи по кредиту.

Теперь мы все трое ежедневно вставали в пять утра и отправлялись на реку ставить корзины, заманивающие голубых крабов. Добычу мы перемещали в большую бочку, стоявшую посередине лодки, а корзины вновь наполняли приманкой — кефалью и сорной рыбой. Мы начинали с двадцати корзин, к концу лета их число достигло пятидесяти, а акватория ловли растянулась на двадцать миль по реке и ее рукавам. Мы пришли не на пустое место, а потому были обязаны считаться с профессиональными ловцами крабов, которым принадлежала река Коллетон. Нам приходилось довольствоваться дальними рукавами и искать другие реки и ручьи. Мы колесили по всему округу, размещая проволочные корзины. К веревкам мы привязывали белые буйки, которые опускали вниз. Эти ловушки мы ставили и в часы прилива, и во время отлива. По буйкам можно было проследить маршруты наших странствий: они уходили в самые глухие и малодоступные

уголки округа Коллетон. Поначалу мы работали медленно, не проявляя особой ловкости. Много сил тратилось понапрасну. Но постепенно мы освоились, приобрели навык, извлекли опыт из своих ошибок. В первый месяц на подъем корзины, выгрузку улова, новое снаряжение и спуск уходило по десять минут, но уже через месяц мы управлялись со всем этим менее чем за две минуты. Мы шлифовали свои движения, учились делать их с изяществом и точностью, без лишних жестов. Мы узнали, что наше ремесло имеет свою красоту, сравнимую с танцем. Уже первый наш месяц оказался безубыточным. Все заработанные деньги мы потратили на покупку новых корзин. Во второй месяц мы оплатили вексель за отцовскую лодку. Опытные краболовы внимательно наблюдали за нашими успехами, видя, что каждый раз мы сдаем все больше крабов. Наши первые шаги сопровождались их шутками и насмешками; в августе они были готовы принять нас в свое братство. Они с восхищением глядели на огрубевшие, мозолистые ладони Саванны, давали нам дельные советы, делились тайнами своего нелегкого труда, молчаливо одобряли наши успехи. Словесных похвал они не расточали, ведь мы родились на реке, мы пришли в мир,

чтобы ловить крабов и креветок, а потому были обязаны делать это как следует.

Но с каким бы усердием мы ни бороздили окрестные воды, наши победы не уменьшали материнских страхов. Денег для оплаты счетов все равно не хватало. В сентябре нам отключили электричество. В мягком свете керосиновой лампы лицо матери выглядело еще тревожнее и беззащитнее. Нечем было заплатить взнос по страхованию лодки. Потом замолчал телефон. В школе меня дразнили за брюки, которые теперь доставали мне до щиколоток. Мать обходила коллетонские магазины, пытаясь устроиться хоть на какую-нибудь работу, но вакансий не было. Вернувшись домой после школы, я отправлялся ловить рыбу к ужину. Сезон охоты на оленей уже закончился, но для нас продолжался. Иногда мы убивали даже самок и детенышей, чтобы на столе было мясо. Мать не жаловалась, но застывший на ее лице ужас повергал нас в отчаяние. Мать велела молчать о тяжком положении нашей семьи; даже дед с бабушкой не должны были знать о нем. Несгибаемая гордость и здесь была для нее важнее всего. Она не могла переступить через свои принципы и обратиться за помощью к соседям. Мать перестала появляться в городе:

денег на продукты и другие необходимые вещи не было, а брать в долг она не хотела. Ей было проще вообще не показываться на улицах Коллетона. Мать замкнулась в себе. Ее безмолвие становилось все более длительным и пугающим. Все время она посвящала саду и огороду, где работала с каким-то исступленным упорством. А мы тихо ждали перемен к лучшему. Ну не может же черная полоса длиться вечно! Вот и креветки вернулись в реку; сети ловцов, как и прежде, были полны добычи. Однако отец все еще оставался во Флориде, продолжая выплачивать штраф за свою конфискованную лодку.

Накануне Дня благодарения до нас донесся шум автомобильного мотора. Со стороны насыпи на остров въехала чья-то машина. Еще минут через десять она остановилась возле нашего дома. Из кабины вышли изысканно одетые женщины. Это были Беттина Поттс, Марта Рэндалл, Тельма Райт и Изабель Ньюбери — четыре «столпа» Коллетонской лиги. Я открыл дверь. Миссис Ньюбери спросила, могут ли они поговорить с матерью.

Когда мать увидела неожиданных гостей, что-то в ее взгляде потухло. Она вытерла руки о фартук и сдержанно пригласила женщин в дом.

Дамы расселись в гостиной. Они явно чувство-

вали себя не в своей тарелке.

— Лила, мы буквально на минутку. До наступления темноты нам еще нужно развезти три индейки, — приятным голосом начала Изабель Ньюбери.

— Простите, я не понимаю, — сухо произнесла мать.

— Вы наверняка слышали, что в нашей Лиге принято преподносить праздничных индеек самым малоимущим жителям, — сообщила Беттина Поттс. — Мы хотим, чтобы вы и ваши дети не остались в такой вечер без угощения.

— Беттина, здесь какая-то ошибка. В нашей семье дела идут замечательно.

— Лила, не могли бы вы зажечь свет? — недовольно протянула миссис Ньюбери. — В таком сумраке ничего не видно.

— Благодарю вас, леди, за то, что подумали о нас, — сказала мать, с трудом сдерживаясь. — Но в округе достаточно людей, которые действительно нуждаются в благотворительности.

— Лила, не надо считать наш приезд благотворительностью, — возразила Тельма Райт. — Просто жест доброй воли от друзей, которые за вас беспокоятся.

— Пожалуйста, не надо жестов, — ответила

мать. — Лучше без них.

— Вспомните о ваших детях, Лила, — вмешалась миссис Поттс. — Вы лишаете их праздника. Нельзя думать только о себе.

И тут из кухни появился Люк. Его голос клокотал от гнева.

— А ну убирайтесь из нашего дома!

— Какой грубый молодой человек, — возмутилась Марта Рэндалл.

Тогда мы с Саванной тоже вошли в гостиную из спальни, где собирались пересидеть визит коллетонских дам.

— Лила, в этой темноте мне не видны лица ваших детей. Я просила вас включить свет, — напомнила матери Изабель Ньюбери.

— Изабель, мой сын хочет, чтобы вы покинули наш дом.

— Мы это сделаем сразу же, как только отдадим вам индейку.

— Оставьте ее во дворе. Я пошлю за ней кого-нибудь из детей, — заявила мать, с большим трудом возвращая самообладание.

— Вы слишком жестоки с нами, Лила, — заметила миссис Рэндалл.

— Куда менее жестока, чем вы со мной, Марта, — парировала мать.

Женщины встали и молча удалились. Замороженную индейку они положили на траву. Хлопнули дверцы машины, затарахтел мотор, и активистки Лиги уехали.

Глаза матери были полны гневных слез. Она направилась к оружейной стойке, схватила свой дробовик, зарядила его и еще несколько патронов сунула в карман передника. Затем она вышла на улицу и некоторое время смотрела на пакет с индейкой, которая олицетворяла унижение, полученное от Коллетонской лиги.

— Они давно ждали этого момента. Знали, когда лучше всего заявиться к нам, и терпеливо ждали!

Мать приставила ружье к плечу.

От первого выстрела индейка закувыркалась по двору. Второй разнес ее на мелкие кусочки.

— Запомните, дети. Они все такие. Все без исключения. Сегодня эти дамочки показали свое нутро.

Мать опустила дробовик и вернулась в дом. Кажется, в тот год мы не отмечали День благодарения праздничным ужином.

В конце декабря, вскоре после приезда отца из Флориды, неподалеку от нашего причала на берег выбросило морскую черепаху. Когда мы

на нее наткнулись, она была уже мертва. Отец велел нам с Люком побыстрее избавиться от этого «подарка», иначе весь двор провоняет разлагающимся животным. Утром, за завтраком, Саванна вслух читала колонку социальной хроники. В числе прочего там сообщалось, что чета Ньюбери и их сын Тодд отбыли на Барбадос, где по обыкновению проводят рождественские праздники. В голове Люка дохлая черепаха странным образом соединилась с Барбадосом. Мы с Саванной, пребывая в неведении, погрузили черепаху в моторную лодку. Перед сном Люк поделился с нами своим планом.

Проснувшись в три часа ночи, мы тихонько вылезли через окно спальни. Столь же беззвучно мы добрались до причала и отбыли на веслах. Мотор Люк завел, когда мы находились в четверти мили от дома. Брат вывернул в главный канал и взял курс на другой берег, где светились огни Коллетона. Люк отключил ограничитель скорости. Мы молниеносно пролетели по морской зыби и оказались в устье. Проходя под мостом, мы шутили и веселились, но когда достигли причала в конце улицы Приливов, смех утих сам собой. Люк заглушил мотор. По инерции мы проплыли еще сотню футов, после чего я спрыгнул на берег и

привязал лодку к тумбе общественного причала. Мы выволокли черепаху из лодки и двинулись по безмолвным улицам города. Черепаха была тяжелой, мы часто останавливались и переводили дух. К тому же я поранил руку о ракушку, прилипшую к панцирю черепахи. Вскоре показались темные громады дубов — спутники всех богатых домов между Чарлстоном и Саванной. Где-то вдали лаяли собаки. Воздух был холодным. В некоторых окнах мигали огоньки рождественских елок.

Добравшись до особняка Ньюбери, мы положили черепаху на заднем дворе и стали думать, как проникнуть внутрь дома. Люк взобрался по колонне на второй этаж. Там, в окне ванной, была оставлена открытая форточка. Вскоре мы с Саванной услышали скрип задней двери. В проеме возник силуэт Люка; брат жестами подозвал нас. Мы подхватили черепаху и вприпрыжку понеслись к нему. По черной лестнице мы поднялись на второй этаж и направились прямо в спальню четы Ньюбери, где стояла просторная кровать с балдахином. Люк откинул покрывало. Мы положили черепаху на простыню, подсунули ей под голову мягкую подушку и прикрыли одеялом. Саванна повернула кран отопления на полную мощность. Люк достал из шкафа одну из

шляпок миссис Ньюбери и щегольски нацепил на крупную черепашью голову. В спальне пахло, как в трюме отцовской лодки. Роскошное ложе Риса и Изабель Ньюбери быстро пропитывалось запахом дохлого животного.

На следующее утро, когда мать позвала нас завтракать, мы, как ни в чем не бывало, вышли из своей комнаты.

По возвращении с Барбадоса семейство Ньюбери было вынуждено полгода жить в другом месте. С тех пор они перестали ездить на Барбадос. Отопительная система, включенная Саванной на максимум, значительно ускорила разложение черепашьей туши и поспособствовала тому, что зловоние пропитало спальню насквозь. Кровать и все матрасы пришлось сжечь. Первый месяц служанки отказывались ступать в изгаженную комнату — их сразу же начинало выворачивать. Рис Ньюбери пообещал тысячу долларов тому, кто располагает достоверными сведениями о дерзком злоумышленнике. В «Коллетон газетт» появилась редакционная заметка, гневно осудившая гнусное преступление. Боже, каким счастьем светились глаза матери, когда она читала эту статью!

На день рождения матери мы купили кулинар-

ную книгу, выпущенную Коллетонской лигой. Это был наш общий подарок. Едва мать увидела это издание, ее лицо исказилось знакомой гримасой боли и унижения. Сюрприз ее вовсе не обрадовал. Наверняка мать решила, что мы собрались зло подшутить над ней.

— Мама, полистай внимательно. Там есть много интересных блюд. На последней странице Саванна старательно вывела материнский рецепт «Canard Sauvage Chez Wingo». А на первой написала свой собственный:

МОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА ОТ CHEZ НЬЮБЕРИ

Возьмите одну черепаху, желательно зрелую. Выберите ночь потемнее и, пока ваши родители спят, перевезите черепаху на другой берег. Внимательно следите, чтобы вас никто не заметил. Найдите открытое окно. Отоприте заднюю дверь. Положите черепаху на кровать с балдахином и включите отопление на полную мощность. Поджаривайте черепаху до готовности; обычно на это уходит недели две. Подавать с припущенными гвоздями и крепким красным вином. Поздравьте мамочку с днем рождения. Расскажите ей о своей любви. И не забывайте про индейку.

С любовью,

Я считал и считаю: этот «рецепт» был первым настоящим стихотворением Саванны.

Вначале мать отругала нас. Она кричала, что воспитывала нас порядочными, законопослушными гражданами, а не ворами-домушниками. Она грозилась, что все расскажет Рису Ньюбери и получит заслуженное вознаграждение. Потом мать заявила, что мы сами должны отправиться к шерифу с чистосердечным признанием. Далее пошли знакомые слова: мы опозорили семью, и теперь мать снова станет посмешищем Коллетона.

Выпустив свой запал, мать еще раз перечитала книжное поздравление. Теперь она засмеялась, как девчонка, и долго не могла остановиться. Она схватила всех нас и крепко обняла, что бывало крайне редко.

— Мои дети — это фантастика, — с восторгом шептала она. — Возможно, Лила Винго — ничто, но, видит Бог, ее дети — это что-то.

Глава 12



Переходный возраст загнал Бернарда Вудруффа в тупик. Он отчаянно ухватился за футбол и, сам того не осознавая, доставил мне удовольствие его тренировать. Бернард принадлежал к тем неуверенным, ранимым подросткам, которых нужно лишь раскрыть и они завоюют восхищение сверстников. Мальчишка страстно желал быть спортсменом и, какие бы нагрузки я ему ни задавал, научился требовать добавки. В наши занятия входил довольно тяжелый курс уважительного отношения к тренерам. Я учил Бернарда завоевывать их расположение проявлением неиссякаемого энтузиазма. Я объяснял: тренеры — это простые парни, которые хотят, чтобы на поле их подопечный был диким зверем, а в школьных коридорах — джентльменом. В игре они ценят бесстрашие, натиск, силу; вне игры —

вежливость и хорошие манеры. Тренеры вполне допускают, что в борьбе за мяч ты можешь травмировать игрока чужой команды, но, если такое случилось, ты первым должен уложить его на носилки, навестить в больнице или написать ободряющее письмо без единой грамматической ошибки.

— Даже если у тебя средние результаты, представляй себя великим спортсменом, — наставлял я Бернарда. — Великим спортсменам это ни к чему, зато всем остальным здорово помогает.

Такие слова говорил я этому мальчишке в первую неделю наших встреч. Главное — держать себя как спортсмен и думать как спортсмен.

Я начал с самых азов, постепенно рассказывая все, что знал о футболе, и демонстрируя это на практике. В первый день мы отрабатывали трехопорную позицию[105] и примерно час упражнялись в низких пасах из нее. Я показывал Бернарду, как правильно бросать мяч, как вскидывать руку, на сколько шагов отступать, защищая свой участок поля, и приближаться, передавая мяч другому игроку, как защищать

[105] Примечания: 105

Позиция в американском футболе, когда игрок почти сидит на корточках, одной рукой касаясь земли. Применяется как в нападении, так и в защите.

мяч, если передача сорвалась. Процесс обучения Бернарда всем оборонительным и наступательным позициям обещал быть долгим. Саванна по-прежнему отказывалась от встреч со мной, и потому времени у меня было предостаточно. Мне нравилось вновь ощущать себя тренером. К моей радости, Бернард быстро бегал, точно бросал и, главное, столь же отчаянно нуждался во мне, как я — в нем.

Как осуществлять передачу, когда защитник противника быстрее тебя? Как действовать, когда он тебя атакует? Все это мы разбирали медленно, по пунктам, и ежедневно повторяли до тех пор, пока действия Бернарда на поле не превратились в инстинктивные.

Начинали мы в восемь утра. Я бежал трусцой из Гринвич-Виллиджа. Бернард уже ждал меня. Тренировку я заканчивал серией спринтерских рывков на сорок ярдов. В первый день мы сделали десять рывков, шесть из которых выиграл я, но уже в пятницу Бернард опередил меня в семи рывках. После занятий я покупал ему бутылочку кока-колы и отправлял домой принимать душ и браться за скрипку. Став тренером, я требовал от моего подопечного холодной и изнуряющей дисциплины, которой Бернард, к его же удивлению, с

удовольствием подчинялся. В конце первой недели Бернард начал думать о себе как о футболисте. С моей помощью он становился тем, кем и не мечтал быть. Мне же он помог ощутить себя тренером и вновь испытать давно забытую радость. Правда, меня по-прежнему донимала его болтливость. Бернард задавал чересчур много вопросов. И азы игры давались ему слишком медленно. Но он очень старался и буквально пылал любовью к спорту. Его усердие вдохновляло меня; я понял загадку своей неистребимой приверженности ремеслу тренера. Понял, почему мне так нравится учить мальчишек основам, которые я сам постиг, будучи в их возрасте. Если парень приходил ко мне с доверием и желанием научиться играть в футбол, я раскрывал в нем такие возможности, о которых он и не подозревал. Я зажигал в нем огонь спортивного азарта. Прежний тихоня на поле становился грозой для своих сверстников. Так что однокашники Бернарда по Академии Филипса, которые в то время благодушествовали где-нибудь в Ньюпорте или Вестчестере, даже не подозревали, чем занимается в Центральном парке Бернард Вудруфф и какая осень их ждет.

Десять дней подряд я не жалел сил, приводя Бернарда и себя в форму.

Теперь, входя в кабинет Сьюзен Лоуэнстайн, я пытался понять, какие же черты она передала сыну. Бернард унаследовал от матери пухлые губы, темные глаза и кожу, гладкую как персик. Если убрать хмурую гримасу с его физиономии, получался очень симпатичный и обаятельный парень. Каждое утро наши занятия начинались с «улыбочной разминки» — я заставлял Бернарда улыбаться. Он с трудом растягивал губы, словно улыбки требуют неимоверного напряжения. Эти разминки были единственной ненавистной Бернарду частью тренировки.

Шла четвертая неделя моей нью-йоркской жизни. За все это время Салли мне ни разу не позвонила и не написала. Я составил подробный план ремонта в квартире Саванны, которая требовала основательной покраски. Я заполнил тетрадь своего дневника и начал вторую. Каждую неделю я сочинял Саванне послание и вкладывал его в пакет с остальной почтой, приходящей на ее адрес. Утром я занимался гимнастикой и тренировал Бернарда, а в послеобеденное время шел в офис его матери, слушал магнитофонные записи с отрывистыми истеричными фразами сестры и пытался комментировать их, излагая Сьюзен подробности детства Саванны. Я читал

замечательные книги из библиотеки сестры, насчитывающей три тысячи томов. Я приводил в порядок свою покореженную жизнь. Мне вновь начали сниться сны о школе. Я видел, как веду урок о творчестве Толстого. За партами сидели ученики разных лет, которые меня любили. Я внушал им, что Толстой велик своей страстностью, яркостью своих чувств, и задавался вопросом: почему я сам с такой страстностью говорю о любимых произведениях? Наяву у меня не всегда это получалось, но во сне происходило легко. Великие писатели словно сидели рядом со мной и делились своими знаниями о мире; это их романы изменили меня. Потом я пробуждался и с грустью сознавал: есть много захватывающих книг, но нет тех людей, кому я бы мог о них рассказать. Я вновь начал рассылать письма во все средние школы Чарлстона. Преподавание приносило мне радость, но вряд ли школьных чиновников волновали чувства бывшего учителя.

Я закончил свое повествование о безуспешных попытках матери добиться избрания в Коллетонскую лигу. Доктор Лоуэнстайн взглянула на часы.

— Думаю, на сегодня хватит. Знаете, Том, что сильнее всего поражает меня в этой истории?

Подписка на журнал «Гурме»!

— Не забывайте, моя бабушка за три года странствий обзавелась множеством необычных представлений. Меня в свое время еще больше удивил ее подарок Саванне — подписка на «Ньюйоркер». Кто бы мог подумать, что Саванна немалую часть своей взрослой жизни проведет в палате знаменитой нью-йоркской психушки?

— А вы продолжаете писать Саванне, — заметила Сьюзен.

Сказано это было почти с упреком, в лучшем случае — как предостережение. Меня рассердил ее тон.

— Да, доктор, продолжаю. Видите ли, она моя сестра. У нас в семье есть давняя традиция: когда нам хочется признаться в любви или просто пожелать всех благ, мы делаем это с помощью писем.

— Послания эти будоражат и расстраивают вашу сестру, — заявила доктор. — Вчера она получила весточку от вашей матери. Врачам пришлось давать Саванне успокоительное.

— Вполне понятно, — отозвался я. — Когда вы читаете письма моей матери, чувство вины так и струится у вас между пальцев. Зато мои письма — образец внешних приличий. У меня большой

опыт по части того, как не задевать душевные струны безумцев, даже если они приходятся тебе родственниками.

— Том, Саванна не безумна. Она очень несчастная женщина.

— Вы не оценили шутку, Лоуэнстайн.

— Неостроумная получилась шутка.

— Согласен, не экстра-класса. Но боже мой, до чего трудно хохмить, когда сидишь рядом с человеком, которому чувство юмора удалили хирургическим путем.

— Меня мало что смешит, — согласилась доктор. — Ничего не могу с этим поделать.

— Нет, Сьюзен, можете, — возразил я. — Поскольку мы видимся с вами ежедневно, у вас есть возможность заняться самосовершенствованием.

— И вы, Том Винго из Южной Каролины, считаете себя в состоянии мне в этом помочь? — с нескрываемой иронией спросила доктор.

— Прошу отметить: я игнорирую ваш выпад по отношению к моему родному штату и сразу перехожу к сути. Смотрите, доктор, я очень веселый человек. И достаточно часто говорю забавные, остроумные вещи. В ответ вы могли бы улыбнуться. Не прошу вас хохотать до колик.

Во всем остальном я считаю вас совершенной женщиной.

— Бернард рассказывал мне, как вы заставляете его каждый день улыбаться, — сообщила доктор и улыбнулась сама. — Сын жалуется на ваше требование. Он чувствует себя полнейшим идиотом, которому надо двадцать пять раз растянуть губы, прежде чем тренер допустит его до мяча.

— Просто он очень симпатичный, — пояснил я. — А когда хмурится, то похож на громилу.

— Может, вы хотите, чтобы и я улыбалась по двадцать пять раз перед началом наших сеансов? — поддела меня доктор.

— Лоуэнстайн, с улыбкой вы выглядите потрясающе, — произнес я.

— А в остальное время?

— Не менее потрясающе. Просто и вы, и Бернард должны научиться чуточку больше любить себя. Кстати, доктор, пригласите меня на обед в один из дней, когда Герберта не будет дома.

— Чем он вам мешает? — Доктор заметно напряглась.

— Видите ли, Герберт не в курсе, что его сын постепенно превращается в квотербека. Полагаю, вы не хотите, чтобы он об этом узнал.

— Вас устроит завтрашний вечер? У мужа будет

концерт в Бостоне.

— Приготовлю фантастическую еду, — пообещал я. — Будем пировать как короли.

— Том, можно вас спросить?

— Об угощении?

— Нет, о сыне. У него действительно есть способности к футболу?

— Да. К моему удивлению, Бернард оказался весьма перспективным парнем.

— Почему вас это удивляет?

— Потому что он рос не в доме Медведя Брайента[106], — нашелся я.

— Кто такой Медведь Брайент? — поинтересовалась доктор.

— Еще одна шутка, Лоуэнстайн, и, кажется, удачная. Вы меня просто провоцируете на юмор. Простите ради бога. В тех местах, откуда я родом, не знать о Медведе Брайенте — это все равно что для вашего мужа не знать, кто такой Иегуди Менухин. Брайент — футбольный тренер.

— А что такое линия розыгрыша?

— Черт побери, зачем вам это?

— Каждый раз, когда я пытаюсь обсудить с Бер-

---

[106] Примечания: 106

Пол Уильямс Брайент по прозвищу Медведь (1913–1983) — знаменитый тренер по американскому футболу. Многие годы был тренером команды Алабамского университета.

нардом его новое увлечение, он смотрит на меня как на непроходимую дуру. Сын теперь трещит о футболе без умолку. Из него вылетают разные странные словечки вроде «кик-офф», «филд-гол», «помеха пасу», «офсайд». Такое ощущение, что я попала в иностранное государство.

— Вы начинаете постигать футбольный язык, доктор.

— Том, Бернарду обязательно заниматься с гантелями?

— Да, доктор. Это входит в систему его тренировок.

— Как вы вообще находите Бернарда? Только честно.

Из ее голоса исчезли прежние спокойные и уверенные интонации.

— Насколько честно?

— Настолько, чтобы я на вас не рассердилась.

Мне показалось, что доктор хочет улыбнуться, но она сдержалась.

— Ваш сын, Лоуэнстайн, — приятный парень.

— Том, у меня крепкий характер, так что я могу выслушивать не только похвалы.

— Судя по всему, Лоуэнстайн, мальчик жутко несчастлив, — заключил я, и лицо доктора помрачнело. — Его состояние мне небезразлично.

Возможно, потому, что оно в чем-то совпадает с моим. Или потому, что я знаю, как Бернарду выбраться из его несчастий, но не представляю, как мне выкарабкаться из своих.

— Он передал мне ваши фразочки, сказанные в первую встречу, — сообщила доктор. — Я тогда страшно на вас разозлилась. Бернард утверждает, что вы дважды довели его до слез.

— Он вызывающе себя вел. Я не занимаюсь с теми, кто не проявляет ко мне элементарного уважения. Я потребовал, чтобы он был вежлив и соблюдал определенные правила, установленные между тренером и учеником. Это ничуть не повредит его психике, обещаю.

— Том, он целых три года ходил к психотерапевту, — прошептала доктор.

— Эти визиты явно не слишком ему помогли. С парнем что-то творится. У него буквально на лице написано, что он никому не нужен. За всю жизнь его ни разу не похвалили. Такое чувство, что иногда ему даже дышать больно.

— Мне казалось — Академия Филипса его изменит. Возможно, появятся новые друзья. Он ведь рос домашним мальчиком. Ни разу не оставался ночевать у приятелей. Бернард с самого рождения был трудным ребенком. Совсем не ангелочек,

как другие малыши, которых я видела в парке. У сына в душе есть потаенный уголок, куда я так и не смогла проникнуть, сколько ни пыталась. Островок одиночества.

— А одиночество передалось ему от вас или от Герберта? — уточнил я.

— Одиночество — это от меня.

— Футбол — игра коллективная, — заметил я. — Должно быть, поэтому Бернарда туда и потянуло. Знаю, вас вовсе не радует его увлечение спортом, но на тренировке ваш сын преображается. И потом, это его самостоятельный выбор, сделанный без согласия родителей. Я действительно считаю Бернарда несчастным, но когда парень делает упражнения или гоняет за длинными передачами, он выглядит счастливее, чем поросенок, нашедший лужу.

— Том, я ни разу в жизни не видела футбольный матч, — призналась доктор Лоуэнстайн.

— Вы чертовски много потеряли, доктор.

— И в будущем не собираюсь смотреть.

— Не зарекайтесь. Держу пари, на следующий год вы с Гербертом специально поедете в Академию Филипса, чтобы побывать на игре с участием Бернарда.

— О, это будет до моего развода или после? — со

стоном сказала она.

Я взял с полки сумочку Сьюзен и поставил ее на пол посередине кабинета. Затем я жестом велел доктору встать напротив меня, по другую сторону сумочки.

— Показываю, Лоуэнстайн.

Я принял трехопорную позицию и дотронулся до сумочки.

— Представьте, что это — мяч. Вы команда защитников. Я команда нападающих. Я пытаюсь удержать мяч и забросить в ворота, которые у вас за спиной. Ваша задача — мне помешать. Пока мяч у моей команды, ваша должна постоянно находиться по эту сторону от мяча. Моя команда — по другую сторону, пока у нее не отберут мяч.

— Том, это же невыносимо скучно, — заключила доктор Лоуэнстайн, но со смехом.

— Не перебивайте тренера, иначе вам придется побегать вокруг озера в Центральном парке. Так вот, то место на поле, где мяч, и есть линия розыгрыша. Теперь понятно?

Сьюзен отрицательно замотала головой.

— Доктор Лоуэнстайн, американка не имеет права не знать, что такое линия розыгрыша.

— Вероятно, ваша система тренировок немного проржавела, — усмехнулась она.

— Возможно, — согласился я. — Но кое-что всегда срабатывает. Сработает и на этот раз. Завтра увидите, какие глаза будут у Бернарда после большого сюрприза.

— Что вы задумали?

— Завтра вашему сыну предстоит то, что я называю «священной ночью». Я выдам форму мальчишкам, которые вошли в команду. Бернард доказал, что достоин играть в команде. Лоуэнстайн, хотите, принесу какую-нибудь популярную книжку об американском футболе?

— Не стоит.

Я встал. Доктор приблизилась ко мне и слегка коснулась моей руки.

— Офсайд, — произнес я и почувствовал, как во мне шевельнулось желание, словно зверь, который находился на грани вымирания и вдруг проснулся после долгой и тяжелой спячки.

Глава 13



Моя жизнь по-настоящему началась только тогда, когда я собрался с силами и простил отца за то, что он превратил мое взросление в затяжной марш кошмаров. Кража краже рознь, и если у вас украли детство, смириться с этим трудно. Скажу просто: когда я был ребенком, отец ужасал и разрушал меня. Тем не менее — для меня это так и останется загадкой — однажды я проникся неослабевающим сочувствием к отцу, ощутил, что люблю его давней, хоть и напряженной любовью. Отцовские кулаки являлись вместилищем силы и власти, однако его глаза были глазами моего отца, и что-то в них всегда было родным мне. Отношения в семье полны противоречий; отец не обладал врожденной склонностью разбираться в них. Он не знал, что такое отцовская нежность; добродетели заботливого отца так и не разви-

лись в нем. В нескончаемой войне, что почти не утихала в нашем доме, искренние попытки отца к примирению ошибочно принимались нами за краткие и фальшивые предлоги для временного прекращения огня. Отец не обладал утонченностью. Он минировал все гавани своей души, все подступы к своему сердцу. И только когда мир поставил отца на колени, я наконец смог прикоснуться к его лицу, не боясь, что он меня ударит. К своим восемнадцати годам я знал все о полицейском государстве и, только покинув родительский дом, почувствовал, что осадное положение закончилось.

Когда появилась на свет моя старшая дочь Дженнифер, Саванна прилетела из Нью-Йорка, чтобы на первых порах помогать Салли. По возвращении жены из больницы мы устроили праздник, где пили коньяк за здоровье новорожденной.

— Том, ты любишь отца? — вдруг спросила Саванна.

В ее голосе звучал оттенок невыразимой грусти.

— Да, — не сразу ответил я. — Я действительно люблю этого жуткого придурка. А ты?

Сестра помолчала какое-то время.

— Да, Том. Удивительное дело: и я люблю его, хотя совершенно не понимаю почему.

— Возможно, это мозговое завихрение, — предположил я.

— Или просто осознание, что он всегда был таким, какой есть, и ничего не мог с этим поделать. Мы тоже такие, какие есть, и тоже ничего не можем с этим поделать.

— Нет, это точно мозговое завихрение.

Где бы ни появлялся Генри Винго, он переполнял пространство избытком энергии. Этот крупный румяный человек говорил, что выбился в люди самостоятельно, и называл себя солью настоящей южной земли. У него полностью отсутствовало все то глубокое и невыразимое, что возникает у человека, склонного к самонаблюдению. Ликующий и неистовый, он врывался в жизнь на полной скорости и несся прямо в сердцевину бури, оставляя за собой пенные волны. Он был больше природной стихией, чем отцом; когда он входил в дом, стрелка моего внутреннего барометра немедленно перемещалась к отметке «шторм».

В отношениях с отцом я научился стратегии молчания и манкирования. Я усердно перенимал у матери ее арьергардные маневры; я постиг

коварное искусство снайпера, исподтишка следя за отцом непокорными, не знающими прощения глазами пострадавшего ребенка. Я изучал отца через перекрестье телескопического прицела, наведенного на его сердце. Первые уроки любви я получил от родителей, любовь которых выглядела как потери и лишения. Мое детство было наполнено хаосом, риском и нескончаемыми колебаниями погоды в доме.

Казалось, неудачи только подзадоривали нашего отца. Саванна сравнивала его действия с «прикосновением Садима»[107]. Я не помню, в какое время это словосочетание появилось в лексиконе сестры; должно быть, в старших классах, когда она с наслаждением сквернословила, считая такой способ самовыражения наиболее доходчивым. Каждую осень, завершив сезон лова креветок, отец переключал внимание на более оригинальные способы заработка. Его мозг наполняли неосуществимые проекты быстрых и легких способов добычи денег. Планы, схемы, наброски лились из него неиссякаемым потоком. Он обещал нам, что скоро мы станем миллио-

[107] Примечания: 107

Садим — обратное написание имени «Мидас». И если мифический царь Мидас своим прикосновением все обращал в золото, Садим, прикасаясь к чему-либо, непременно это разрушает.

нерами. Вся его жизнь строилась на убеждении, что блестящие и необычные идеи приведут нас к богатству и славе. Отец внес свой, хотя и весьма странный вклад в американскую частную инициативу. У него была особенность, которую очень редко встретишь среди предпринимателей: он никогда не делал выводов из своих ошибок. Каждый провал (а они исчислялись десятками) только укреплял в отце уверенность, что приближается его звездный час и его ученичество в суровой школе коммерции подходит к концу. «Мне требуется лишь немного удачи» — эту фразу мы слышали от отца постоянно.

Однако за штурвалом своей лодки, когда рассвет нежными тонами окрашивал воду, а лебедки стонали под тяжестью сетей, отец был настоящим хозяином положения. Время, отданное ловле и реке, наложило на него свой отпечаток. Отец всегда выглядел лет на десять старше своего возраста. Каждый год его обветренное лицо теряло упругость и покрывалось новыми морщинами, а жгучее Каролинское солнце делало мешки под глазами более заметными. Кожа на отцовском лице была жесткой; казалось, проведи по ней спичкой — и та загорится. Подбородок быстро обрастал щетиной. Отцовские ладони — большие

и грубые — были покрыты несколькими слоями блестящих мозолей цвета пергамента. Самое интересное, что свое ремесло отец всегда рассматривал как временную ситуацию. Им владела мысль навсегда распрощаться с креветочным бизнесом. Я никогда не слышал от родителей, что они довольны своим образом жизни. Они держались в стороне от коллег отца, устранялись от приятельского общения, столь естественного между равными по положению. Конечно, ловцы креветок и их жены были чересчур просты для тщательно культивируемых и выставляемых напоказ вкусов моей матери. Близких друзей у родителей не было. Все эти годы они проводили вдвоем, ожидая внезапных перемен, когда фортуна, словно волшебный прилив, накатит и освятит собой островные болота, а нас окропит радужным елеем восхитительной судьбы. Генри Винго непоколебимо верил в себя как в гениального предпринимателя. Редко представления человека о себе бывают столь ложными и приносят так много длительных и совершенно ненужных горестей.

В свободное от работы время отец с катастрофической решимостью хватался за осуществление какой-нибудь блестящей идеи, он становился

одержим ею. Некоторые из его задумок были вполне работоспособными. Это признавали почти все. Отец сконструировал и построил вполне действующие приспособления для отрезания голов у креветок, для чистки крабов и потрошения рыбы. Отцовское изобретательство не было ни полностью провальным, ни впечатляюще успешным. Оно выливалось в забавные вещи, которые отец мастерил в сарае, специально выстроенном за домом.

И все же самые фантастические и немыслимые планы рождались у отца на реке, когда в сумраке он вел свое судно по мелким каналам. Он сидел за штурвалом, слушал мерный стук дизельного мотора и держал курс на основное русло. Предрассветная мгла скрывала окрестные болота, хотя их обширное присутствие все равно ощущалось. В этой штурвальной рубке отец произносил длинные монологи. Слова исходили из него бесконечным свободным потоком. Он любил утреннюю тишину. Его монологи не нарушал даже птичий щебет (птицы пробуждались позже, когда над Атлантикой медленно вставал диск солнца). Ловцы креветок редко брали с собой детей. Отец делал это всякий раз, когда ему удавалось вырвать нас из-под материнской

опеки. Думаю, не затем, чтобы на время притушить одиночество, столь знакомое людям его профессии. Просто мы служили аудиторией для его выступлений.

Летом отец будил нас затемно; в небе еще мерцали звезды. Мы бесшумно одевались и выбирались из дому, оставляя следы на росистой траве. Мы усаживались в отцовский грузовичок, отец выворачивал на проселок и держал путь к другому концу острова, где находился деревянный мост. До причала, где стояла отцовская лодка, было пять миль. Отец включал радио, и мы слушали утренний выпуск новостей. Диктор читал прогноз погоды и сообщал множество данных, полезных для владельцев лодок и катеров, которые в этот час бороздили воды от мыса Гаттерас до Сент-Огастина: скорость ветра, его направление и другие точные цифры. Мы ехали, и я чувствовал, какая это благодать — ранний подъем, сколько силы он вливает в тело. Легкие наполнял влажный воздух болот. К тому времени, когда отцовский грузовичок останавливался у причала, Лестер Уайтхед — гарпунер, с которым отец проработал пятнадцать лет, — успевал наполнить трюм пятью сотнями фунтов льда. С лебедок темными ризами свисали сети. От

стоянки к причалу вели мостки. Идя по ним, мы попеременно вдыхали запах дизельного топлива, кофе, готовящегося в крошечных кубриках, и, конечно же, различных даров моря. В скудном свете ламп серебрился корпус гигантских весов. Вечером, когда мы возвращались с уловом, возле весов нас уже ждали чернокожие женщины. Они отличались изумительным проворством. Когда они обезглавливали креветок, глазу было не уследить за их движениями. Резкий рыбный аромат создавал у меня ощущение, что я нахожусь под водой и порами кожи вбираю соленый прилив. Дети ловца креветок, мы были одной из форм морской жизни, обитавшей в прибрежных низинах.

Отец давал команду запускать двигатель, дизель оживал, мы отвязывали канат от тумбы, прыгали на борт и трогались в путь по каналам и протокам между островами. Справа по борту оставался спящий Коллетон с его магазинами и особняками на улице Приливов. Отец заблаговременно сигналил смотрителю моста, чтобы тот развел створки и выпустил величественную «Мисс Лилу» в открытое море. Вслед за отцом мы привыкли называть его судно лодкой, хотя это было настоящее, хорошо оснащенное рыбо-

ловецкое судно длиной пятьдесят восемь футов; при этом судно имело удивительно небольшую осадку. Еще в детстве, задолго до того, как мы стали полноправными членами команды, отец заставил нас выучить наизусть основные технические данные «Мисс Лилы». У ловцов креветок есть своя нескончаемая нумерология, и когда они обсуждают достоинства судов, разговор изобилует цифрами, понятными только касте посвященных. Главным двигателем на отцовской лодке был дизель 6-DAMR-844 Buda, выпущенный бостонской компанией Allis-Chalmers. Мощность двигателя составляла 188 лошадиных сил, он делал 2100 оборотов в минуту. Понижающая передача составляла 3,88:1. На медном валу вращался четырехлопастной гребной винт Federal размером 44 на 36 дюймов. Трюмная помпа марки Jabsco была 1/4-дюймовой. В палубной рубке стоял 42-дюймовый штурвал Marty's, компас Ritchie, дроссель и сцепление от Marmac и автопилот Metal Marine. «Мисс Лила» была оборудована эхолотом-самописцем Bendix DR16 и радиокомпасом Pearce Simpson Atlantic 70. На палубе стояла тельферная лебедка Stroudsburg 515 1/2 с тросом Wickwire и канатом Wall Manila. Причаливая, судно бросало 65-фунтовый якорь Danforth, а си-

реной, звуки которой нарушали утренний покой Коллетона, служила 32-вольтовая сирена марки Spartan. В лексикон ловцов креветок входили и другие фирменные названия: медные блоки Oil City, свинцово-кислотные аккумуляторы Surrette Marine, опорные подшипники Dodge, подшипники Timken и так далее. Это ремесло, как и многие другие, имело свой профессиональный жаргон, позволявший ловцам креветок безошибочно понимать друг друга. Язык этот ласкал мне слух и служил своеобразным музыкальным фоном тем дням моего детства, которые прошли на борту «Мисс Лилы».

Все эти премудрости означали: если правильно управлять лодкой, можно выловить пропасть креветок.

Сколько их было, этих ранних утренних выходов в море? Наверное, не меньше тысячи. Мы отбывали, когда в небе гасли последние звезды. В детстве отец сажал кого-нибудь из нас на колени и позволял управлять судном, корректируя навигационные ошибки.

— Здесь, дорогая, мы возьмем чуть правее, — наставлял он Саванну.

— Обязательно запомни песчаную отмель, когда выходим за Гандерс-пойнт, — учил он ме-

ня. — Это необходимо.

Но чаще отец говорил сам с собой: о бизнесе, политике, мечтах и разочарованиях. Мы были молчаливыми слушателями, поскольку хорошо представляли, в кого превращается наш отец на берегу, и не доверяли ему. Из этих монологов мы узнали много нового об отце. Двигаясь на свидание к отмелям, кишевшим креветками, он обращался к предрассветной мгле, речным протокам и огонькам других лодок. По утрам отцовский голос звучал без остановки. Под речи отца мы незаметно достигали барьерных островов. В сезон лова каждый его день был точной копией дня предыдущего; завтра сулило продолжение сегодняшней работы, а вчера являлось репетицией будущего. Это была постоянная шлифовка навыков, и без того доведенных до совершенства.

— Эй, ребята, — сказал он нам как-то утром. — К вам обращается капитан, он же старший офицер лодки «Мисс Лила» — пятидесятивосьмифутового судна, имеющего лицензию штата Южная Каролина, которая позволяет вести ловлю креветок, начиная от Гранд-Стрэнд[108] на севере и заканчи-

[108] Примечания: 108

Широкая полоса пляжей, протянувшихся по берегу Северной и Южной Каролины более чем на 60 миль.

вая островом Дафуски на юге. Сегодня наш курс лежит точно на восток от маяка острова Гэтч. Место, куда мы направляемся, имеет глубину пятнадцать футов. Мы будем забрасывать сети по правому борту в полумиле от места крушения судна «Стремительная Мэри». Вчера мы добыли двести фунтов белых креветок разброса тридцать — пятьдесят. Саванна, что означает тридцать — пятьдесят?

— Что в каждом фунте улова содержится от тридцати до пятидесяти креветок.

— Правильно, моя девочка. Ожидается ветер северных направлений. Средняя скорость — восемь миль в час. Предостережения для маломерных судов имеют границу от Брансуика, штат Джорджия, на юге до Вилмингтона, штат Делавэр, на севере. Рынок ценных бумаг понизился вчера в среднем на пять пунктов, поскольку инвесторы обеспокоены тем, чем они всегда обеспокоены. Также вчера Рис Ньюбери купил у Кловиса Бишопа двести акров сельхозугодий по пятьсот долларов за акр. Стало быть, насколько я понимаю, остров Мелроуз по нынешним ценам тянет на полмиллиона. В прошлом году этот сукин сын предложил мне двадцать пять тысяч баксов за весь остров. Я ответил ему, что это прямое

оскорбление. И правильно сделал. Он думает, старина Генри Винго не в курсе, какие в нашем округе цены. У меня лучший кусок земли во всем штате, и мы с вашей матерью это прекрасно знаем. Я настолько опережаю Ньюбери и прочих напыщенных задниц, что им это кажется почти преступлением. У меня, ребята, есть глобальные планы по поводу нашего острова. Начну их осуществлять, как только обзаведусь небольшим стартовым капиталом. Вы пока не рассказывайте маме. Подумываю соорудить вблизи нашего дома небольшую ферму по разведению шиншилл. Разных субчиков, которые мечтают разбогатеть на этих зверьках, в стране полно, но я не собираюсь ждать, пока весь рынок будет захвачен. Возни с шиншиллами не особо много. Вы всяко сможете кормить их, пока я в Нью-Йорке обтяпываю дела с оптовыми торговцами мехом, а затем иду в банк за денежками. Как вам моя задумка? Здорово, правда? Вижу, что понравилась. Поначалу я думал заняться разведением норок, но мех шиншиллы ценится выше. Как видите, я мужчина не промах. Да, леди и джентльмены, прежде чем танцевать с большими парнями, нужно хорошенько подготовиться. Ваша мама смеется надо мной, сами знаете. Конечно, я сделал несколь-

ко ошибок, но лишь из-за неверно выбранного времени. Вы, ребята, больше слушайте меня, а не мамочку. Я гораздо сообразительнее среднего Джо. Мысли так и бурлят у меня в голове. Иногда я просыпаюсь среди ночи, чтобы их записать. Кстати, ребята, вы любите цирк?

— Мы там ни разу не были, — ответил за всех Люк.

— Это будет первым пунктом нашей программы. Обязательным. Как только вблизи Чарлстона или Саванны откроется какой-нибудь цирк, мы тут же возьмем билеты в первый ряд. В городишках выступают одни недоделанные балаганы. Но мы наверстаем упущенное. Мне нравится цирк Барнума и Бейли[109]. У этих парней — никаких дешевых фокусов. Только пока никому ни слова. Если денежки закапают, пусть капают мне, а не другим. Хватит с меня разных проходимцев, которые крадут мои идеи, а потом становятся миллионерами… А теперь, Люк, смотри внимательно. Впереди по курсу — буй. Когда проходишь

[109] Примечания: 109

Цирк, организованный в 1881 г. авантюрным и разносторонне одаренным Барнумом Тейлором (1810–1891) и его бывшим конкурентом Бейли. Это был цирк нового поколения, опрокидывавший многие представления о традиционном цирке. Однако если Генри Винго родился где-то в 1920 г., он мог видеть лишь «представления по мотивам», поскольку цирк Барнума и Бейли успел претерпеть множество изменений и в начале XX в. был поглощен другой цирковой компанией.

его, пересекай реку под углом сорок пять градусов направлением на Полярную звезду. Хорошо, парень. У тебя есть способности. А вон там — каменная гряда. Пару лет назад старик Уинн налетел на нее и пропорол брюхо своей посудине. Как-то в этом рукаве в прилив я добыл двести фунтов креветок. Но вообще-то здесь не особо хлебное место. Сам до сих пор не пойму, почему где-то от креветок не протолкнуться, а где-то — раз, два и обчелся. И так из года в год. Креветки — странные создания. У них, как и у людей, свои предпочтения.

То был нескончаемый монолог, не обращенный ни к кому; темы почти не были связаны между собой. Слова изливались легко, поток отцовского красноречия не прерывался ни на мгновение. Отец говорил не для нас — нас могло и не быть на палубе. То были размышления вслух, беседы с миром. О своих молчаливых, внимательно слушающих детях отец в те моменты думал не больше, чем о звездах в Орионе. На нашем месте вполне мог оказаться пейзаж, натюрморт, какие-либо неодушевленные предметы.

А снизу, из маленького камбуза, доносились ароматы готовящегося завтрака. Там орудовал Лестер Уайтхед. Пахло кофе, беконом и хлебцами.

Эти запахи невидимыми волнами распространялись по всему судну. На подходе к главному проливу мы накрывали на стол. В островных домах были открыты окна; там еще спали. Под нами мерно стучал дизель, его музыка отдавалась в деревянных переборках «Мисс Лилы». Вода в предрассветной реке казалась черной, волны плавно катились в сторону Коллетона. Наш путь лежал к волноломам, что находились за самыми красивыми в мире прибрежными островами. На палубе своего судна отец чувствовал себя спокойней и комфортней, чем где-либо. Не припомню случая, чтобы во время плавания он ударил кого-то из нас. Здесь мы были работниками, собратьями по ремеслу, и отец относился к нам с уважением, как и ко всем, кто зарабатывал на жизнь, бороздя морские и речные воды.

Однако любые успехи отца в его ремесле не имели для нашей матери никакой ценности. Для нее он оставался вспыльчивым, беспомощным и резким человеком. Отец усердно старался себя переделать и стать таким, каким мать хотела его видеть. Он жаждал почитания со стороны матери, настоящего, проявляемого открыто. Его усилия оканчивались прахом, на него было жалко смотреть, но он ничего не мог с собой

поделать. Родительский брак был дисгармонией, состоял из множества острых углов. Отец ловил много креветок, но деньги, вырученные от их продажи, тратились на финансирование его провальных бизнес-идей. Служащие банка смеялись ему вслед. Над деловыми начинаниями отца откровенно потешались. Мы слышали эти шутки в школе, а наша мама — на улицах Коллетона.

Только на реке Генри Винго обретал гармонию. Казалось, креветки сами идут к нему в руки, напевая от радости; за сезон он добывал их тонны. Отец фиксировал все цифры по каждому улову. Заглянув в судовой журнал, он мог сказать, в каком месте забрасывал сети, каким тогда был прилив и погодные условия. «Вся эта кухня» — так он называл свои записи. Река для него была чем-то вроде длинного текста, который он с удовольствием заучивал наизусть. На борту «Мисс Лилы», когда под нами было пятнадцать футов воды, я доверял отцу. Однако на этом же борту в его голове рождались всевозможные мысли, державшие его в состоянии вечного канатоходца, опасно балансирующего между крахом и мечтами о долгожданном богатстве.

— На следующий год я думаю выращивать арбузы, — как-то за ужином объявил отец.

— Прошу тебя, Генри, не делай этого, — взмолилась мать. — Как только ты посадишь арбузы, на Коллетон обязательно обрушится снегопад, наводнение или нашествие саранчи. Пожалуйста, Генри, придумай какой-нибудь другой способ ухлопать наши деньги. По-моему, ты единственный человек, который не умеет сеять кудзу[110].

— Ты права, Лила. Как всегда права. Я в большей степени предприниматель, чем фермер. Мне привычнее иметь дело со здравыми принципами бизнеса и экономики, чем с сельским хозяйством. Мне вообще не надо было в это соваться, но я видел, как все сплошь и рядом заколачивают неплохие деньги на помидорах, вот и решил к ним примкнуть.

— Генри, прошу тебя, не надо больше ни к кому примыкать. Если уж вкладывать, то в солидные акции. Например, в «Южнокаролинскую электрогазовую компанию».

— Сегодня я купил в Чарлстоне кинокамеру фирмы «Белл и Хауэлл».

— Боже милостивый! Зачем, Генри?

— Будущее за кино, — ответил отец с сияющи-

---

[110] Примечания: 110

Кудзу — завезенное из Японии лекарственное, пищевое и кормовое растение. На юге США его высаживали для предотвращения эрозии почв. В настоящее время является широко распространенным сорняком.

ми глазами.

Мать сразу начала кричать, а отец невозмутимо достал из коробки приобретение, всунул в розетку провод от прожектора, щелкнул выключателем и запечатлел весь гневный монолог матери как комедию, которую потом будет весело смотреть. Несколько лет он безостановочно снимал свадьбы, крестины и семейные торжества. Отец поместил рекламу в местной газете, снабдив ее нелепой подписью: «Профессиональная видеосъемка от Винго». Правда, этот отцовский бизнес стоил нам дешевле всего. Глядя в видоискатель кинокамеры, отец чувствовал себя счастливым. А выглядел смешным.

Отец никогда не изменял своим убеждениям. Помню, Саванна как-то сказала, что эта особенность характера — его величайший недостаток.

Итак, отец продолжал с большим успехом ловить креветок, разбрасывая заработок на свои бесплодные увлечения. Тогда мы знали далеко не обо всех его провалившихся проектах; о некоторых нам стало известно только через много лет, когда мы выросли. Оказывается, отец был компаньоном с ограниченной ответственностью в одной из компаний города Мертл-Бич, открывшей курсы по обучению игре в мини-гольф. Курсы

просуществовали один сезон. Еще он вкладывался в магазинчик, где должны были продавать тако[111]. Партнером отца был настоящий мексиканец, скверно говоривший по-английски, а главное — не умевший готовить тако. Между родителями вспыхивали отвратительные ссоры из-за отцовских трат. Мать использовала весь свой арсенал воздействия: насмехалась, кричала, отчитывала, льстила, умоляла, но все было бесполезно. Отец не воспринимал ее призывов быть экономнее и осмотрительнее. Аргументы мать излагала в форме предостережений; когда же они не достигали желаемой цели, мать срывалась и начинала перечислять страшные беды, которые падут на нашу семью, если отец не прекратит бездумно транжирить деньги. Родительские бури и извержения то и дело нарушали хрупкий покой нашего дома. Поскольку ссоры отца и матери были слишком частым явлением, мы не заметили, в какой момент материнские обиды и вспышки гнева превратились в стойкую ненависть к отцу. Несколько лет прошло в бесплодных перепалках, прежде чем мать объявила отцу скрытую войну и ступила на поле боя. Генри Винго считал, что

[111] Примечания: 111

Тако — блюдо мексиканской кухни, кукурузная лепешка, в которую завернута мясная начинка со специями. Подается с острым соусом.

женщинам нечего соваться в бизнес. Южные мужчины делятся на два типа: одни слушают своих жен, другие — нет. По части глухоты к материнским доводам отцу можно было смело присуждать черный пояс.

Если вы растете в доме человека, который любит вас, но при этом ужасно с вами обращается и не понимает парадоксальности своего поведения, вы вынуждены как-то защищаться. С этой целью вы тщательно изучаете его повадки и стараетесь предсказать, когда ждать очередных выплесков его темперамента. Я составил мысленный список наиболее впечатляющих недостатков отца и довольно рано пришел к выводу, что отец сочетает в себе балаганного шута и тупого упрямца. Не будь он жестоким, думаю, дети просто обожали бы Генри Винго и приноравливались бы к любым зигзагам его судьбы. Но я с ранних лет видел перед собой императора-самодура, в государстве которого главной добродетелью женщин и детей был страх. Отцовская политика отличалась тяжеловесностью и бездумностью. В воспитании детей и усмирении своевольной жены он признавал только одну тактику — тактику «выжженной земли».

В одном раннем стихотворении Саванна на-

звала отца «вассалом бури, главою клана ветра». Когда сестра переехала в Нью-Йорк, она с улыбкой заявляла, что у нее и братьев отцом был… блицкриг. Отец сторонился всего прекрасного. Он боялся тактичности, словно порчи, грозившей уничтожить накопленные им сокровища.

Как-то после очередной ссоры мать в слезах выкрикнула, что отцу недостает мозгов.

А однажды, накануне Рождества, мать обнаружила триста пачек непроданных рождественских открыток, которые отец приобрел оптом. Он сумел сбыть лишь семьдесят пять пачек, стучась едва ли не в каждый дом Чарлстона.

— Прикосновение Садима, — прошептала Саванна, когда мы остались одни.

— Это что такое? — поинтересовался я.

— Полная противоположность прикосновению Мидаса, — пояснила сестра. — Все, до чего дотрагивается наш отец, превращается в дерьмо.

— Он скрыл от мамы, что купил еще несколько тысяч пасхальных открыток, — сообщил Люк. — Я нашел их в сарае.

— Он вечно просаживает кучу денег, — вздохнула Саванна.

— А вы видели эти открытки? — спросил со своей кровати Люк.

— Нет, — хором отозвались мы.

— Там Иисус, Мария, Иосиф, пастухи, волхвы, ангелы — словом, все-все — чернокожие.

— Что-о?

— Естественно, на них могут польститься только негритянские семьи. Прошел слух, что на Севере такие открытки расходятся, как горячие пирожки, вот отец и решил попробовать.

— Бедный наш папочка, — заметил я. — Ну и тупица же он.

— Как унизительно! — усмехнулась Саванна.

— Он хоть на чем-то зарабатывает? — поинтересовался я.

— На ловле креветок, — ответил Люк. — Он самый лучший ловец креветок из всех, кто этим занимается. Жаль только, что не следует маминым советам. Иногда она говорит дело.

— Если бы он прислушивался к маме, не было бы прикосновения Садима, — съехидничала Саванна.

— Знаешь, Саванна, ты можешь сколько угодно насмехаться над ним. Только помни, когда отец забрасывает сети, он превращается в Мидаса, — сказал Люк.

Думаю, не купи отец автозаправочную станцию, не пойди мы на представление передвиж-

ного цирка, в кои-то веки остановившегося близ Коллетона… возможно, родительский брак и продолжался бы просто по инерции. И еще я думаю, что их совместную жизнь можно было бы исправить (но не наполнить вдохновением), научись отец контролировать импульсы, приводившие его к крайностям и бесплодным затеям. Свои самые экстравагантные решения он принимал сам, не позволяя матери вмешиваться. Все, что отец задумывал, он осуществлял на манер тайных операций. Он ощущал себя разведчиком, лишившимся связи с центром и вынужденным самостоятельно действовать на вражеской территории. Каждое деловое предприятие должно было стать восстановлением утраченной репутации и возмещением впустую потраченных средств. Отец никогда не терял надежды на реализацию своих планов. Проблеск удачи — и мечты станут явью. Бизнес был для него и заразной болезнью, и прибежищем, и риском, и формой саморазрушения. Если бы отцу вдруг подарили миллион долларов, он изобрел бы тысячу впечатляющих способов растратить эти деньги до последнего цента. Это не было его фатальным недостатком; нет, у отца имелась целая дюжина других. Но этот был самым драматичным, из-за него финансовое

положение семьи почти всегда было шатким. Отец невообразимо, неисправимо верил в себя. Чтобы спасти нас троих, мать научилась хитроумным уловкам. В отношениях с отцом она стала применять скрытую тактику. Все это подрывало не такой уж прочный фундамент их отношений. Отец и мать достигли совершенства в уничтожении лучших качеств друг друга. В чем-то их брак был классическим и очень американским. Они начали со взаимной любви, а превратились в заклятых врагов, где одному было противно даже слышать имя другого. В любви они зачали своих детей, которых потом ломали и калечили.

Обычно свои заявления отец делал во время ужина. И в этот раз он дождался вечера, чтобы сообщить о приобретении бездействующей автозаправочной станции концерна «Эссо», находившейся возле Коллетонского моста. Он верил в учтивость материнских манер, когда она находилась за столом.

— У меня есть потрясающее известие. Особенно для мальчишек, — начал отец, однако в его голосе ощущалась неуверенность и даже некоторая слабость.

— А девчонке остается лишь восторженно охать, — вставила Саванна, неторопливо погло-

щая суп.

— Что за известие, папа? — навострил уши Люк. — Может, ты купил мне новые вратарские перчатки?

— Нет. Тебе и старые сойдут. Когда я играл в футбол, мы были покрепче. Голыми руками мяч ловили и уж точно не клянчили каждый год новое снаряжение.

— Пап, Люку уже малы старые перчатки, — вмешался я. — Да и мне тоже. Он в них играет со времени младшей лиги.

— Сегодня у нас появился небольшой бизнес, — сообщил отец и отвел глаза от матери. — Я всегда считал, что разнообразие — ключ к успеху. После того паршивого сезона, когда креветки передохли, я подумал, что нам нужен резервный источник дохода. Палочка-выручалочка на случай чрезвычайных обстоятельств.

— И что же, Генри, взбрело тебе в голову на этот раз? — осведомилась мать, с трудом сдерживаясь. — Чем теперь ты нас осчастливил? И когда ты вообще чему-то научишься? Когда успокоишься? У нас на счету нет и десяти центов. Как вообще можно было во что-то вкладываться?

— Дорогая, банки затем и существуют, чтобы выдавать кредиты. Это их работа.

— Но кредит открывают тем, у кого есть деньги, — заметила мать. — Что ты представил в качестве гарантии? Ты опять не оплатил закладные по своей лодке?

— Да, — признался отец. — Мне пришлось проявить смекалку, чтобы обстряпать эту сделку. Они это называют творческим финансированием.

— Кто называет?

— Большие парни. Вот кто.

— Поскольку мы практически нищие, тебе наверняка пришлось быть чертовски творческим, Генри. — Губы матери вытянулись в тонкую линию. — Надеюсь, ты не заложил остров? Генри, скажи, что не заложил единственную реальную ценность, которая у нас есть, наше будущее и будущее наших детей. Надеюсь, даже ты не настолько глуп, Генри.

— Я не заложил весь остров, — ответил отец. — Всего каких-то сорок акров у моста. Там настолько топко, что и болотная капуста не растет. И, если желаешь знать, я сделал это на неплохих условиях. Пора выходить на новые горизонты. Теперь, когда я владею заправочной станцией, мне не нужно покупать топливо для лодки.

— И ты потащишь ее триста ярдов по болотистой траве к своей чертовой заправке? — разъ-

ярилась мать. — Я не понимаю этого, Генри. И не собираюсь терпеть. Нашим детям скоро поступать в колледж.

— Колледж? — удивился отец. — Я туда вообще не ходил. Если им приспичило учиться дальше, пусть сами покрутятся и накопят.

— Наши дети были еще совсем крошками, когда мы начали платить по их страховкам. Я подарю им хотя бы этот шанс. У нас его не было, пусть будет у них. Генри, я не позволю, чтобы жизнь загнала их в тупик, как нас. Помнишь, мы говорили об этом, когда поженились? Ты соглашался со мной на все сто процентов.

— На страховые полисы тратился я, между прочим, — напомнил отец. — За заправку потребовали наличными. Ничего, скоро у нас будут деньги. Хватит и на колледж, раз нашим деткам так хочется учиться.

— Генри, ты… ухлопал образование наших детей на какую-то заправку? — Мать охватил неподдельный ужас. — Ты продал их землю и их будущее, чтобы заливать бензин в чужие баки и проверять масло в чужих моторах?

— Наши парни могли бы подрабатывать там летом. А в остальное время на заправке будет трудиться Лэнни Виттингтон. Он мне обещал.

Пойми, Лила, в кои-то веки мы нанимаем людей! А мальчишкам надо привыкать. Со временем я отдам этот бизнес им.

— Думаешь, я жажду видеть, как Том и Люк зарабатывают себе на жизнь подобным образом?

— Мама, я не против, — вмешался Люк.

— Я надеюсь, Люк, тебя ждут более радужные перспективы. И не только тебя. Всех вас.

— Мамочка имеет в виду, что ее драгоценные сыночки должны заливать только самый качественный и дорогой бензин, — ухмыльнулся отец. — И потом, нравится ей или нет, но дело сделано. Через неделю состоится грандиозное открытие «Винго Эссо» — настоящий фурор для Коллетона. Воздушные шары, дармовая кока-кола, серпантин, фейерверки. Я нанял клоуна из передвижного цирка. Пусть развлекает детишек.

— Клоун — это лишнее, Генри. Ты сам клоун, владеющий автозаправкой.

— Тебе, Лила, всегда не хватало широты взглядов, — обиженно заявил отец. — Кто знает, чего бы я достиг, женись я на женщине, верящей в меня?

— Я знаю, Генри. Отлично знаю. Ничего!

С этими словами мать встала, быстро ушла в спальню и шумно захлопнула дверь. Отец погля-

дел на нас.

— Неужели никто меня не поздравит? Сегодня — переломный день в истории семьи Винго.

— Поздравляю, папа, — отозвалась Саванна, поднимая стакан с молоком.

— Великое событие. Я давно ждал такого шанса. Не расстраивайтесь из-за матери. Уверяю вас, она по-настоящему счастлива. Просто ей трудно выражать свои чувства.

— А по-моему, папа, она выразила свои чувства достаточно ясно, — возразила Саванна. — Мама думает, что тебе опять придется снимать последнюю рубашку.

— Ошибаешься, дочка. На этот раз я сорву джекпот. Номер Генри Винго на подходе. Имейте терпение. Скоро ваша мать будет щеголять в горностаевых мехах, обвешанная с ног до головы настоящим жемчугом. Она не понимает, что иногда надо все поставить на карту. Я сделал это ради семьи. Средний Джо никогда не пойдет на такой риск, оттого и довольствуется крохами.

Купленная отцом автозаправочная станция концерна «Эссо» находилась как раз напротив автозаправки концерна «Галф», которая принадлежала Фергюсону и считалась самой процветающей во всем округе Коллетон. Отец

был не первым, кто задался целью оживить «Эссо»; три предыдущие попытки окончились неудачно. Логических причин, объясняющих, почему люди предпочитают бензин «Галф» и игнорируют «Эссо», не существовало. Зато было весьма загадочное обстоятельство, именуемое местоположением. Во всех городишках обязательно есть удачный угол и угол неудачный, и связано это отнюдь не с географией, а с метафизикой. Просто одна часть улицы благоприятствует тому, чтобы на ней стояла автозаправка, а другая — нет. Отец купил станцию, поставленную явно не там. Однако он верил, что его способности и умение привлечь клиентуру обеспечат успех там, где другие с треском проваливались.

У отца был несомненный талант по части устройства экстравагантных зрелищ. Открытие «Винго Эссо» происходило с такой помпой, что первый и единственный раз стянуло к заправке половину населения Коллетона. Отец договорился с дирижером школьного оркестра, и ровно в полдень по улице Приливов двинулась праздничная процессия. Впереди, размахивая палочками, шагали девушки-мажоретки. В пространстве между ними и оркестром шел мистер Фрукт, демонстрируя всем неистовый импровизирован-

ный танец. Он то задирал голову, то сгибался в дугу и почти касался носом ботинок, не забывая при этом все время дуть в свисток и помогать оркестровому барабанщику отбивать ритм. Когда колонна свернула к автозаправке, отец запустил в небо триста воздушных шаров, наполненных гелием. Шары взмыли ввысь и долго покачивались над городом, словно головки срезанных цветов. Детворе отец щедро раздавал леденцы и жевательную резинку. «Римские свечи», установленные на крыше «Винго Эссо», разбрасывали снопы искр. Цирковой клоун опоздал; к удивлению и удовольствию отца, он оказался карликом. Вдобавок клоун явился пьяным и разбил не менее дюжины бутылочек кока-колы, когда пытался жонглировать ими в кузове нашего грузовичка. Потом началась церемония открытия: перерезание ленточки и все такое. Буги Вейтерс — мэр Коллетона — произнес довольно бесцветную речь о необходимости привлечения в округ новой индустрии. Пьяный клоун выкрикнул, что это дело нехитрое, поскольку старую индустрию Коллетон никогда и не привлекал. Толпа встретила эти слова аплодисментами, и клоун сделал впечатляющую стойку на руках, взобравшись на крышу кабины. Тут подъехала новенькая машина доб-

ровольной пожарной команды. Отец бесплатно налил им целый бак — пусть знают, как Генри Винго ценит их труд. Репортер из «Коллетон газетт» взял у отца интервью и сфотографировал его с клоуном на плече. Школьный оркестр играл попурри из патриотических песен, а когда отец поднимал над крышей «Винго Эссо» американский флаг, исполнил «Звездно-полосатый флаг». Правда, к концу церемонии одна из «римских свечей», оказавшаяся дефектной, подожгла флаг, но члены добровольной пожарной команды тут же потушили огонь.

Празднование успешного открытия «Винго Эссо» мы завершили походом в цирк. Хотя мать отказалась от церемонии и от цирка, я еще не видел отца таким ликующим и неугомонным. Уверен, если бы ему взбрело в голову пройтись колесом, он бы осуществил эту затею. Отец был по-новому жизнерадостен и самоуверен. Он горделиво двигался среди толпы, приплясывающей под карнавальные ритмы. В аттракционе перед шатром он с наслаждением сшибал кегли бейсбольным мячом, пока не выиграл для матери плюшевого медвежонка. Мы с Люком тоже развлекались, целясь баскетбольным мячом в косо поставленное кольцо. Отец аплодировал каждо-

му удачному броску.

Еще до начала представления мы насмотрелись разных диковин. Мы впервые увидели бородатую женщину. Она привыкла, что на нее глазеют, и равнодушно сплевывала табачную жвачку в бутылочку из-под «Доктора Пеппера». Люк обменялся рукопожатием со столетним младенцем, после чего мы слушали сиамских близнецов, исполнявших «What a Friend We Have in Jesus»[112]. Альтус Росситер, коллетонский драчун, решил помериться силой с кенгуру в боксерских перчатках. Мы аплодировали, когда ловкое животное сшибло Альтуса с ног и тот на некоторое время потерял сознание.

К отцу подошел Смитти Смит, владелец цирка. Они познакомились, когда цирк только приехал в Коллетон. Смит в первое же утро явился на причал и скупил у отца весь улов рыбы для своих тюленей. Их он называл основой своей труппы. Смит утверждал, что у него лучшее тюленье представление на всем юго-востоке, зато слон и тигр никуда не годятся. Слон чересчур стар, а тигр слишком молод. Отец, помня, как захмелевший клоун заснул на крыше грузовичка, ответил

[112] Примечания: 112

Популярный протестантский гимн, написанный в середине XIX в. просто как стихотворение и затем положенный на музыку.

Смиту, что когда в цирке всего один клоун — это тоже ни в какие ворота не лезет. Правда, клоун успел немного проспаться. Потом мы видели его зазывающим людей в цирк. Его и тогда пошатывало, но на руках он стоял вполне приемлемо.

Отец мог бы и дальше говорить, но представление уже начиналось. Для лучшего обзора мы забрались на самый верх. Вскоре на арену тяжело ступил слон. На нем восседала женщина в наряде из золотистых блесток. Слон действительно был старым и морщинистым. Женщина заставила его опуститься на передние ноги и поклониться зрителям. Но подняться самостоятельно слон уже не мог, и ему помогали наездница, клоун и Смитти Смит. Владелец не преувеличивал: слон был невероятно дряхлым. Казалось, он вот-вот рухнет замертво. Чтобы отвлечь зрителей, клоун принялся жонглировать двумя шариками. Саванна тут же заявила, что так и она может.

— Интересно, за сколько бы он отдал этого слона? — пробормотал отец. — Поставить рядом с автозаправкой — просто красота.

— Чтобы он набирал в хобот самый дорогой сорт бензина и заливал прямо в бак, — добавил Люк.

Прожекторы осветили фигуру владельца

цирка. Смитти встал в центре. Он успел облачиться в блестящий красный смокинг, на голове красовался цилиндр. В руках Смитти держал поцарапанный микрофон. Его голос доносился с четырех сторон, будто к зрителям обращались сразу четверо. Слова, как волны, наплывали одно на другое.

— Леди и джентльмены. Сейчас я войду в клетку с крупным бенгальским тигром по имени Цезарь. Его увезли из родной Индии после того, как он задрал насмерть трех раджей и тринадцать крестьян. Тринадцать очень неповоротливых крестьян. Цезарь — новичок в моей труппе и пока что нервничает в присутствии многочисленных зрителей. Поэтому в течение следующего номера мы просим вас соблюдать абсолютную тишину. Когда мы давали представление близ Эйкена, Цезарь разорвал нашего укротителя. Мне не оставалось ничего иного, как самому занять место нашего покойного товарища, поскольку, леди и джентльмены, шоу должно продолжаться.

Если слон был древним, а кенгуру — довольно старым, то тигр был молод и великолепен. Он следил за Смитти, который вошел в большую клетку, неся кнут и стул. От тигра так и веяло опасностью. В нем не было покорности циркового зверя —

этой успокоенности и раболепной услужливости, которые развиваются за годы выступлений под ослепительным светом прожекторов и жизни в неволе. Тигр смотрел на зрителей так, словно лежал в засаде, высматривая добычу. Смитти щелкнул кнутом над самым его ухом и велел сделать круг. Цезарь даже не шевельнулся, он продолжил наблюдать за Смитти, и взгляд этот будоражил толпу. Кнут щелкнул снова, голос владельца заглушил зрительский гул. Тигр покинул тумбу и нехотя обошел клетку, рыча от негодования. Смитти бросил на пол цилиндр и скомандовал:

— Подай!

Цезарь поддел цилиндр лапой, подбросил и изодрал когтями. То, что упало на пол, лишь очень отдаленно напоминало цилиндр владельца. Смитти хлестнул тигра по плечу, загнал в угол, а сам сердито нагнулся, разглядывая остатки головного убора, который теперь напоминал искореженный обод. Смитти и не думал скрывать досаду. Представление отступило на задний план; сейчас перед нами разворачивался исполненный неприкрытой ненависти поединок между зверем и владельцем цирка.

Однако номер еще не закончился. Смитти за-

жег жгут вокруг проволочного кольца и заставил тигра прыгать через огненную петлю. Раз за разом. Полосатая шкура, подсвеченная пламенем, красиво блестела. Зрители восторженно аплодировали. Смитти весь вспотел от напряжения. Он поднял стул, приблизился к тигру и выкрикнул новый приказ. Над желтыми глазами Цезаря взвился кнут. На этот раз тигр двинулся прямо на владельца, царапая воздух лапой с широко растопыренными когтями. Смитти сделал шаг назад. Разъяренный Цезарь погнал его к прутьям клетки. Возбужденные зрители в ужасе замерли; каждый взмах могучих передних лап вызывал сдавленные возгласы. Смитти пятился, держа на вытянутых руках стул. Если бы не этот щит, тигр, скорее всего, откусил бы владельцу цирка голову. К клетке бросились двое рабочих с длинными шестами. Они прервали яростную атаку тигра, дав Смитти возможность выскочить наружу. Цезарь впился зубами в шест и перекусил его надвое, после чего неторопливо ушел в середину клетки, где и уселся с поистине королевским величием. Смитти в бессильной злобе хлестал кнутом по прутьям клетки, а зрители даже вскочили на ноги, аплодируя свободолюбивому тигру. Потом Цезарь вальяжно растянулся на полу живым

ковром из золотистых и черных полосок. А на арену уже выкатывали тюленей для следующего номера. Лучи прожекторов переместились на них, и клетка с тигром скрылась в полумраке.

Тюлени вели себя иначе: подвижные и увлеченные, они явно обладали талантом веселить людей. Они задорно крутили большие желтые мячи на своих блестящих черных носах. Смитти вел этот номер легко и непринужденно. После каждого трюка он бросал тюленям по рыбине, которую те мгновенно проглатывали. Животные хитро поглядывали на зрителей, вертя изящными головами. Более того, тюлени даже аплодировали себе передними плавниками.

— Ребята, а ведь они едят пойманную мной рыбу. Мою рыбу. Я надеялся, Смитти об этом объявит, — сказал отец.

Тюленей звали Самбон, Елена Троянская, Навуходоносор, Клеопатра и Нашуа, но звездой этого легкомысленного шоу явно был Самбон. Тюлени казались странной помесью выдр и дельфинов. Все свои трюки они проделывали с неожиданной для их комплекции грациозностью. Животные расположились по кругу. Один вертел на носу мяч, после чего подбрасывал его высоко вверх, а ловил мяч уже другой. Затем все повторялось.

Так продолжалось, пока Клеопатра не промахнулась. Мяч упал на неосвещенный участок арены, а Клеопатра обиженно загорланила, не получив рыбины. После этого тюлени состязались в боулинге и бейсболе. Затем рабочие внесли невысокий помост. Самбон забрался туда и начал играть на рожках песню «Дикси»[113]. Остальные четверо ему подвывали. Зрители тоже начали подпевать. Едва мы успели дойти до слов «Оглянись, оглянись», как из полумрака раздался громкий рев Цезаря. Народ замер. Лучи прожекторов переместились на клетку, и все увидели, что тигр стоит, прижав морду к прутьям, и изо всех сил пытается дотянуться до ненавистных тюленей. Самбон, не обращая внимания на тигриный рев, решил повторить «Дикси» и вновь наполнил пространство цирка какофонией рожков. Не прерывая номера, Смитти приблизился к клетке. Схватив кнут, он стал хлестать Цезаря по голове, пока тот с рычанием не отступил в дальний угол.

— Тигр либо тюленей терпеть не может, либо

[113] Примечания: 113

Популярная американская песня, считающаяся народной. В годы Гражданской войны была неофициальном гимном Конфедерации. В эпоху борьбы за гражданские права негров, наоборот, считалась символом расизма и консервативных взглядов американского Юга.

эти рожки бьют ему по ушам, — заключил отец.

— А может, ему просто не нравится «Дикси», — предположила Саванна.

Номер с тюленями приближался к эффектному финалу. Пятерка вновь образовала круг и начала перекидывать мяч. Но теперь каждый тюлень стремился подбросить его как можно выше. Круг становился все шире. Всякий раз, когда казалось, что мяч улетит в сторону, кто-то из тюленей подпрыгивал, перехватывал мяч и тут же запускал его по крутой параболе на другой конец манежа. И вновь все оборвалось по вине Клеопатры. Мяч, отскочивший от Нашуа, почти задел свисавшую трапецию. Клеопатра вовремя не поспела, мяч пролетел мимо ее носа и скрылся в темноте. Самбон поспешил за мячом со страстью центр-филдера[114]. В это время Смитти поднес к губам свисток, и тюлени выстроились в ряд для прощального поклона.

Сквозь гром аплодисментов послышались предсмертные крики Самбона. Прожекторы метнулись в ту сторону и высветили страшную сцену: Цезарь приподнял пойманного тюленя, пропихнул его голову между прутьями и откусил

---

[114] Примечания: 114
Центральный принимающий игрок в бейсболе.

ее. Смитти подбежал к клетке и стал нещадно хлестать тигра кнутом. Публика повскакивала с мест. Над толпой пронесся стон, когда Цезарь, равнодушный к ударам кнута, бросил бездыханную тюленью тушу и одним взмахом располосовал черную кожу, выпустив Самбону кишки. Те выплеснулись склизким потоком, а морда тигра густо окрасилась тюленьей кровью. Зрители истерично бросились к выходам. Матери руками заслоняли глаза детям, которых в тот вечер было никак не меньше трехсот. А тигр, безучастный к людскому негодованию и отвращению, начал свою кровавую трапезу.

В тот вечер отец купил Цезаря.

Когда мы вернулись домой с клеткой в кузове грузовичка, я думал, что мать схватит дробовик и убьет отца и Цезаря. Тигр продолжал возиться с полуобглоданной тушей. Естественно, мать напустилась на отца, но это не были крики рассерженной женщины. Это были крики женщины, готовой на преступление.

После случившегося Смитти едва не застрелил Цезаря. Но тут вмешался отец: он попросил владельца цирка продать ему тигра. Оказалось, перед представлением рабочие забыли накормить зверя. Отец умолял сохранить тигру жизнь,

убеждая, что тот всего лишь подчинился природному инстинкту. Он выписал Смитти чек на двести долларов. Помимо самого Цезаря в эту сумму входила клетка, кнут и проволочное кольцо. Смитти никак не мог успокоиться. Весь номер с тюленями держался на Самбоне. Только он умел исполнять «Дикси» на рожках. «Остальные тюлени, — истерически голосил Смитти, — всего-то и могут, что подбрасывать мяч и уплетать кефаль». А тут еще клоун встрял в разговор, назвав Смитти никудышным укротителем. Рассерженный владелец цирка схватил карлика и повесил за лямку на вешалку, стоявшую в углу трейлера. Клоунские реплики придали отцовской покупке какой-то нереальный шутовской оттенок. Пока отец торговался со Смитти, мы стояли возле трейлера и смотрели на жующего тигра. Люк сказал, что Самбон стал первым в истории тюленем, павшим от лап тигра.

— На воле тюлени не очень-то беспокоятся о тиграх, — развивал свою мысль Люк. — Это не самая большая опасность, которая им грозит.

— Может, теперь тюлени всего мира получат предостережение? — подхватила Саванна. — Когда играете «Дикси» на рожках, остерегайтесь тигров. Вдруг это и есть путь эволюции?

— Я бы на их месте боялся всех, кто крупнее, — заметил я. — Интересно, что наш отец собирается делать с бенгальским тигром?

Я до сих пор находился под впечатлением от трагедии.

— После смерти Джупа у нас не осталось домашних животных, — вздохнула Саванна. — Ты же знаешь, наш папочка такой сентиментальный.

— Значит, опять твои фокусы, Генри, — изрекла мать, издали поглядывая на тигра. — И вновь мы сделаемся посмешищем всего Коллетона. Я требую, чтобы к утру этого тигра и след простыл. Не хочу снова услышать, что я вышла замуж за самого большого дурня во всей Южной Каролине.

— Лила, я не могу просто взять и выпустить этого мерзавца. Ему ничего не стоит заживо сожрать благочестивое семейство, пока оно потешается над Винго. Сейчас зверюга доканчивает тюленя, которого задрал прямо на представлении. Потому-то он и достался мне по дешевке.

— Конечно, как ты мог упустить такую блестящую возможность? Тогда бы, Генри, это был не ты.

— Я купил его для рекламы своей автозаправки, — с гордостью заявил отец. — Эта мысль появилась у меня сразу же, как тюлень испустил

последний крик. Тут-то меня и осенило: а ведь этот монстр создаст нам клиентуру.

— Папа научит тигра исполнять «Дикси» на рожках, — вставила Саванна.

— Нет, он будет каждый вечер запускать к Цезарю живого тюленя, а клиенты будут делать ставки, кто кого, — возразил Люк, давясь от смеха.

— Если мои дети не заткнут свои ротики и не научатся уважать отца, они тоже окажутся в пасти у тигра. Я сегодня в прекрасном настроении, и не надо мне его портить. Ясно? Если вы прислушаетесь к моим словам, то узнаете, как крутятся колесики современного мира. Итак, мы приобрели автозаправку «Эссо». Верно?

— Да, — согласился Люк.

— Реклама «Эссо» натыкана по всему миру. Следите за ходом моих мыслей? Эти парни тратят миллионы, чтобы все средние Джо пользовались услугами «Эссо». Но ведь они вполне могут заливать баки и на заправках «Шелл», «Тексако» и «Галф». Улавливаете?

— Да, сэр.

— Прекрасно, апельсинчики. А какой у «Эссо» самый популярный слоган? — Голос отца звенел от возбуждения. — Он звучит отовсюду, стоит

только включить радио или телевизор. Он заставляет покупать продукцию «Эссо», а не прочую дребедень. Платежеспособные граждане, как мухи, облепляют станции, требуя бензин и масло. А все почему? Да потому что гениальный ход хорошенько промыл им мозги. Теперь дошло?

— Не может быть, — едва сдерживаясь от истеричного хохота, прошептала Саванна. — Я поняла. Поняла!

— Что ты поняла? — нетерпеливо спросила мать.

— Мама, ну ты же слышала. «Заправляясь в „Эссо“, вы запускаете в свой бензобак тигра».

— Совершенно верно! — громко произнес отец. — А кто единственный в стране владелец автозаправки «Эссо», у которого возле насосов сидит настоящий тигр? Чертовски Гениальный Генри Винго — вот кто!

За полгода владения автозаправкой Чертовски Гениальный Генри Винго доказал, что был прав насчет тигра. Он ставил клетку рядом с мостом, предоставляя возможность любоваться тигром, который разгуливал по своему убежищу и рычал, пока водители заправляли машины. Ребятишки упрашивали родителей свозить их «к тигру», даже если тем не нужен был бензин. Дети вызывали

у Цезаря те же чувства, что и тюлени. Поначалу в Коллетоне опасались, что полосатый хищник слопает кого-нибудь из дошколят. Некоторые мамаши боязливо оглядывали дворы — не пробрался ли туда тигр. У Цезаря преобладало два настроения: вальяжное безразличие и неистовство. Появление детей неизменно приводило его в бешенство. Он рычал, пытался вырваться из клетки и протягивал лапы с растопыренными когтями. Взрослые пятились, дети с воплями цеплялись за родителей, и всем это очень нравилось.

Заботы по кормлению Цезаря отец великодушно передал сыновьям. Прежде у меня не было никаких предубеждений насчет тигров. Но пообщавшись с нашим питомцем, я понял: зверюга способен сожрать меня с такой же быстротой, с какой расправлялся с куриными шейками. Даже подойти к тигру с пищей было делом непростым. С самого начала между мной и Цезарем возникли простые и прямолинейные отношения, основанные на взаимной неприязни. Вот Люк ему нравился, тигр даже позволял брату чесать себе спину через прутья решетки. Однако эта любовь возникла не сразу, по крайней мере не в первый месяц существования «Винго Эссо». Ритуал корм-

ления происходил следующим образом. Я приближался к клетке и ласковым голосом начинал заговаривать Цезарю зубы, а он, в свою очередь, пытался оторвать мне голову, замахиваясь лапой со здоровенными когтями. В это время Люк бесшумно подкрадывался сзади и просовывал сквозь прутья колпак от старого автомобильного колеса, доверху наполненный куриными костями и сухим кормом для кошек. Слыша шорох за спиной, Цезарь мгновенно забывал обо мне и одним молниеносным непредсказуемым прыжком оказывался у задней стенки, норовя зацепить Люка лапой. Брат едва успевал отскочить и приземлиться на собственные ягодицы.

— Том, ты недостаточно отвлекаешь его внимание, — частенько заявлял мне Люк.

— И что прикажешь делать? Может, пусть мою ладонь пожует?

— Насвистывай «Дикси», — предлагал брат, отряхивая землю с брюк.

— Не хватало только, чтобы он принял меня за тюленя.

Люк с удовольствием смотрел, как Цезарь расправляется с куриными косточками, которые на шершавом тигрином языке таяли, словно масло.

— Настоящий царь зверей, — восторженно

замечал Люк. — Самый красивый в мире.

— Ну почему «Эссо» не выбрало для своей рекламы какое-нибудь другое животное? — сетовал я. — Например, щенка. Или хомяка.

— Сравнил тоже, — усмехался брат. — Малявки какие-то. Цезарь не позволяет с собой фамильярничать. И мне это нравится. Честно, нравится. Он умеет заставить себя уважать.

А потом «Галф» начал первую в истории Коллетона полномасштабную бензиновую войну. Фергюсон понизил стоимость галлона топлива на десять центов. Отцу ничего не оставалось, как сделать то же самое. Он пускался на любые ухищрения, только бы сохранить автозаправку, но все было напрасно. Ходили слухи, что у Фергюсона есть могущественный покровитель. В итоге цена на галлон бензина упала с тридцати центов до десяти, и банк все же конфисковал «Винго Эссо» за долги. Отец предлагал тигра в качестве платежного средства, но банк зверя не принял. И вновь в стенах дома Винго начались долгие тягостные споры между отцом и матерью. Отцу кое-как удалось выкупить назад те сорок акров земли, но денег на покрытие остальных долгов не было. Мы снова оказались в глубокой финансовой яме, и снова нас спасла рыбацкая удача,

сопутствовавшая отцу. Вскоре после того, как у нас отобрали автозаправку, на остров Мелроуз в своем «кадиллаке» пожаловал Рис Ньюбери. Он предложил за остров пятьдесят тысяч долларов наличными — и никаких вопросов с нашей стороны. Отец отказался. Через неделю он узнал, что бензиновую войну конкурента финансировал не кто иной, как Ньюбери.

— Он думал прибрать к рукам мой остров, — горячился отец. — Он и мой бизнес разрушил только из-за этого.

Отец вернулся на реку. Мать стала еще молчаливее и грустнее. Наша семья лишилась «Винго Эссо», зато осталась единственной в Коллетоне семьей, у которой есть домашний тигр, умеющий прыгать через огненное кольцо.

В детстве я тайком наблюдал за родителями, когда в их сражениях наступала передышка и дом наполнялся покоем. Я пытался выяснить, какие злые или добрые силы удерживают их союз, какая нежность или непокорность затаены в глубинах их странной горячей любви друг к другу. Даже в самые скверные моменты их отношений я ощущал между матерью и отцом некие высшие чувства. Однако я никак не мог понять, что же такого мать находила в отце и почему оставалась

и правительницей, и узницей в его доме. От родителей исходили настолько противоречивые импульсы, что мне никак не удавалось постичь логику их связи. Я видел, что отец обожает мать, но почему-то постоянно унижает и издевается над ней. Мать ненавидела почти все, что было дорого отцу, но иногда между ними возникали моменты странного согласия, и они смотрели друг на друга с такой страстью, что я, оказавшись невольным свидетелем этого, всегда краснел. Я думал, что сам однажды полюблю женщину; с наслаждением и ужасом я представлял, что где-то в мире живет эта поющая, смеющаяся девочка, которая однажды станет моей женой. В мыслях я рисовал ее образ: танцующая, играющая кокетка, она тоже готовилась к тому торжественному и чудесному моменту, когда мы встретимся и, охваченные общим порывом, признаемся в вечной любви. Какую часть своего отца привнесу я во взрослую жизнь? Какую часть матери? И сколько времени пройдет, прежде чем я, Том Винго, дитя бури, навсегда отучу девочку петь, танцевать и смеяться? Она и не догадывается, каким количеством сомнений и несовершенств будут наполнены мои чувства к ней. Я влюбился в образ этой девочки задолго до того, как она мне

встретилась. Она, окруженная невинными радостями детства, росла где-то в Америке и даже не догадывалась об уготованной ей участи. Она не знала, что ей предстоит столкнуться с парнем, который всю жизнь будет пытаться понять, каковы они — ощущения любви, как проявляются между двумя людьми, как любить без гнева, страданий и крови. Мне было тринадцать, когда я решил, что эта удивительная девочка заслуживает лучшей доли.

Во время этих долгих размышлений я часто вспоминал одну историю. Отец иногда рассказывал ее за штурвалом лодки, держа курс на волноломы, за которыми начинался Атлантический океан. И всякий раз лицо его выражало радость, а в голосе звучал восторг. Речь шла о первой встрече моих родителей в Атланте… Отец — тогда молоденький лейтенант — впервые получил увольнительную в город. Мать в то время работала продавщицей детской одежды в универмаге Дэвисона на Пичтри-стрит[115]. Атланта была для отца чужим городом, и ему хотелось познакомиться с местной девушкой. Какой-то

[115] Примечания: 115

Центральная улица Атланты, протянувшаяся через весь город с севера на юг. Фактически город вырос вокруг нее. Является для Атланты тем же, чем Бродвей для Нью-Йорка.

парикмахер обмолвился, что самые лучшие девушки на всем американском Юге гуляют по Пичтри-стрит. Форма военного летчика сидела на отце ладно; в нем было обаяние, присущее молодым мужчинам, готовящимся отправиться на войну. Мать он заприметил, когда та выходила из универмага после окончания смены. В руках мать держала продуктовый пакет и красную дамскую сумочку. Отец уверял нас, что никогда в жизни не видел такой прекрасной девушки. Так вот, эта девушка, ни о чем не подозревая, пересекла улицу и направилась к автобусной остановке. Отец двинулся следом, думая, как заговорить с ней. В общении с противоположным полом отец был стеснительным, но в тот момент испугался, что подъедет автобус, незнакомка исчезнет и он не успеет сказать ей, насколько она красива, и узнать ее имя. И тогда, набравшись смелости, отец подошел, представился и сообщил, что служит в ВВС Соединенных Штатов, сейчас находится в увольнении и будет очень признателен, если она согласится погулять с ним по городу. Наша будущая мать, не обращая на него внимания, молча высматривала автобус. В отчаянии отец заявил, что считает ее поведение непатриотичным, что через год-другой он отправится на

войну, где его, скорее всего, убьют, но он готов принять такую судьбу, если незнакомка позволит пригласить ее на обед. Отец шутил и делал все, чтобы ее рассмешить. Представлялся младшим братом Эррола Флинна[116], сочинял, что его отец владеет универмагом Дэвисона, сожалел о том, что не идет дождь, а то бы он с радостью бросил свой плащ в лужу, чтобы прекрасная незнакомка смогла пройти, не замочив ног. Показался автобус, а отец продолжал болтать. Как и всякая правильно воспитанная южная девушка, мать по-прежнему игнорировала разговорчивого парня, однако отец заметил, что заинтересовал ее. Тогда он вынул из заднего кармана письмо от своей матери и объявил, что это рекомендации от президента Франклина Рузвельта, подтверждающие, что лейтенант Генри Винго обладает надежным характером и ему может доверять любая американка, в особенности — самая красивая девушка, когда-либо ходившая по Пичтри-стрит. Автобус остановился и открыл двери. Мать покраснела, поднялась в салон и купила билет, даже не оглянувшись. Затем заняла свободное место у открытого окна. Отец стоял под окном и

[116] Примечания: 116

Флинн Эррол (1909–1959) — знаменитый голливудский киноактер, игравший романтические и героические роли.

умолял ее продиктовать свой номер телефона. Мать задумчиво улыбалась. Автобус медленно тронулся. Отец затрусил следом. Водитель переключился на вторую скорость. Никогда больше отец не бегал с такой быстротой, как в тот день. Однако автобус набирал обороты. Отец стал отставать. Он уже не видел девушку, но не сдавался и продолжал преследование. Автобус удалялся, когда мать вдруг высунулась из окна и прокричала свои первые слова, обращенные к отцу:

— Мейкон три-семь, два, восемь, четыре.

В этом месте Саванна всегда шептала:

— Мама, скажи ему неверный номер. Пожалуйста, скажи ему неверный номер.

Или же просила:

— Папа, забудь этот номер. Не запиши и забудь.

Но отец не забыл. Генри Винго умел запоминать необходимую для жизни информацию.

Для нашей матери тигр на заднем дворе стал источником тревоги, а для Люка — источником постоянной радости. Мать воспринимала Цезаря как символ самой нелепой и неуправляемой отцовской глупости, живым олицетворением неудачи, разлегшимся возле груды костей. Зато брат открыл в себе естественную безыскусную

привязанность к тиграм. Он стал неспешно завоевывать доверие и любовь Цезаря. По теории Люка, Смитти жестоко обходился со зверем и унижал его достоинство, но, как и любое животное, тигр непременно отзовется на ласковое обращение и грамотно применяемую доброту. Люк был единственным в нашей семье, кто кормил тигра. Прошло более двух месяцев, прежде чем Цезарь, завидев приближающегося брата, перестал бросаться на прутья и угрожающе вытягивать когти. А потом наступил день, когда я увидел, как Люк садовыми граблями чешет Цезарю спину. Тигр мурлыкал, словно довольный кот. Люк протянул руку и стал гладить громадную золотистую голову зверя. Я оцепенел, Цезарь даже не шевельнулся.

Месяца через три после покупки тигра Саванна растолкала меня ночью. Было темно, за окном хлестал дождь.

— Ты не поверишь своим глазам, — заявила она.

— Почему же, поверю, — спросонья пробормотал я. — Два часа ночи. Даже суды присяжных выносят оправдательные приговоры за убийство сестер, которым вздумалось будить братьев в такое время.

— Люк сейчас с Цезарем.

— Мне плевать, с кем он: с Цезарем или с тремя волхвами. Я хочу спать.

— Он вывел тигра из клетки. Они в сарае.

Мы вылезли из окна и неслышно пробрались по двору. Дверь сарая была слегка приоткрыта. Внутри горела керосиновая лампа. Люк, держа в руках цепь и кнут, водил Цезаря по кругу. После брат обернул проволочное кольцо ветошью, смоченной в керосине, поджег ее и велел тигру прыгать.

— Давай, Цезарь, — скомандовал Люк.

Зверь пролетел через кольцо с легкостью солнечных лучей, проникающих сквозь оконное стекло. Затем еще раз обошел сарай и снова прыгнул через пылающее кольцо, демонстрируя силу и скорость. Люк трижды щелкнул кнутом. Тигр послушно вернулся в клетку. Люк наградил тигра куском оленьего мяса, а когда тот проглотил угощение, потерся головой о голову Цезаря.

— Сумасшедший, — шепнул я Саванне.

— Нет, — возразила она. — Это твой брат Люк. Он восхитительный.

Глава 14



Я рос, ненавидя Страстные пятницы. Они были ежегодными помрачениями, никак не связанными с теологией, зато имевшими прямое отношение к ритуалам, верованиям нашего деда и его странному перекосу по части поминовения Страстей Христовых.

Каждый год в Страстную пятницу Амос Винго отворял сарай за домом и смахивал пыль с девяностофунтового креста, сделанного им еще в четырнадцатилетнем возрасте, когда его вдруг охватило религиозное неистовство. В этот особый день дед с полудня до трех часов проходил с крестом всю улицу Приливов, дабы напомнить заблудшим и грешным согражданам о невообразимых страданиях Иисуса Христа, имевших место в незапамятные времена на горе Голгофе близ Иерусалима. Страстная пятница,

завершение литургического года, являла собой «Гран-Гиньоль»[117] моего деда, когда экстаз святого тесным образом переплетался с безумством пациента психиатрической клиники. Каждый раз, когда дед таким образом тащился по улице Приливов, в нем было какое-то непонятное очарование.

Я бы предпочел, чтобы дед отмечал Страстную пятницу более спокойным и разумным способом. Меня коробило, когда я видел, как его костлявое тело сгибается под тяжестью креста, как дед с трудом передвигается по улице, останавливаясь на перекрестках, одинаково безразличный к насмешкам и восхищению земляков. По его одеянию обильно струился пот, а губы безостановочно шевелились, неслышно прославляя Творца. Для одних мой дед казался символом величия, для других — редкостным придурком. Каждый год шериф выписывал ему штраф за нарушение правил уличного движения, и каждый год прихожане баптистской церкви специально собирали деньги на уплату этого штрафа. С течением времени дедовский экстравагантный «крестный путь» сделался чем-то вроде популярного зре-

[117] Примечания: 117
Парижский театр ужасов, просуществовавший с 1897 по 1963 г.

лища, которое стало привлекать внушительное число паломников и туристов. Выстроившись вдоль улицы Приливов, они молились и читали Библию, пока дед пыхтел под тяжестью креста, торжественно воссоздавая далекое событие, которое изменило историю. Каждый год, в один из дней пасхальной недели, «Коллетон газетт» помещала фотографию деда с крестом на спине.

В детстве мы с Саванной часто просили деда перенести его шествие в Чарлстон или Колумбию. Нам представлялось, что эти города в глазах Господа гораздо греховнее и порочнее маленького сонного Коллетона. Бабушка совершала собственное «распятие», удаляясь в спальню с бутылкой джина «Бифитер» и кипой старых номеров «Полицейской газеты», которые заимствовала из парикмахерской Фейдера. К трем часам, когда заканчивался «крестный путь», бутылка пустела, и бабушка почти на сутки впадала в коматозное состояние. В субботу она просыпалась с раскалывающейся головой и заставала деда на коленях — тот молился за ее прекрасную, но нетрезвую душу.

Самые горестные для каждого христианина часы усугублялись для Амоса созерцанием распростертого неподвижного тела жены. Бабушка

использовала джин в качестве самозащиты, не желая участвовать в благочестивом действе мужа. Противоположность их характеров рождала странное благозвучие. Воскресным утром, ослабевшая после выпитого, бабушка, по ее выражению, «восставала из этих чертовых мертвых» и отправлялась вместе с дедом на воскресную службу — единственный раз в году. Наряду с «крестным путем» деда посещение церкви в этот день сделалось традиционным для Коллетона.

Оставалась пара дней до Страстной пятницы. Мы с Саванной купили в аптеке Лонга бутылку вишневой кока-колы и пошли на речную запруду. Мы сидели, потягивая газировку, и смотрели на манящих крабов[118], что ползали в речном иле.

— Опять Страстная пятница на носу, — начал я. — Ненавижу этот день.

Она улыбнулась и ущипнула меня за руку.

— Винго не мешает раз в год пережить полное унижение. Послушать, как весь город смеется сначала над дедом, потом над нами. Это закаляет характер.

Я не отрывал глаз от ползающих крабов. Их движения завораживали меня.

---

[118] Примечания: 118

Манящие крабы — название крабов семейства Uca. Иногда их называют крабами-скрипачами.

— Я бы не прочь отвертеться от всего этого. Отец поставит тебя торговать лимонадом, а сам будет снимать наиболее яркие эпизоды «крестного пути».

— Ох, умора, — хмыкнула Саванна. — Отец пять лет подряд снимает дедовы безумства.

— Он утверждает, что это для семейного архива. Когда-нибудь мы поблагодарим его за хронику нашего детства.

— Обязательно, — сказала сестра. — Это все, что мне нужно. Фотолетопись Аушвица. Ты, конечно же, думаешь, что мы нормальная семья.

— Не знаю, нормальная или нет. В других не жил.

— Это лечебные мастерские для чокнутых. Попомни мои слова.

Дом деда представлял собой простое одноэтажное каркасное строение, возведенное на полуакре земли у реки Коллетон и покрашенное в белый цвет с красной окантовкой. Бабушку мы застали на кухне. Она смотрела, как дед на заднем дворе возится со своим крестом.

— Вот он, — усталым хрипловатым голосом произнесла бабушка. — Ваш дед. Мой муж. Городской идиот. Весь день трудится над своей махиной.

— Что он там делает, Толита? — спросил я.

Бабушка настаивала, чтобы мы звали ее по имени.

— Колесо прилаживает, — засмеялась Саванна, подбегая к окну.

— Он утверждает, что люди не будут возражать, если шестидесятилетний мученик приделает к кресту колесо. Ведь Христу, когда он нес крест на Голгофу, было всего тридцать три. Так что в шестьдесят некоторые послабления простительны. Каждый год ваш дед все слабее и слабее умом. Видно, придется его устраивать в приют для престарелых. Не смотрите на меня так. На этой неделе приходили из дорожной полиции. Пытались забрать у него права. Говорят, что за рулем своего «форда» он опасен для жизни окружающих.

— Толита, зачем ты вышла за него замуж? — поинтересовалась Саванна. — Уму непостижимо, как два настолько разных человека уживаются вместе.

Бабушка снова глянула в окно. В стеклах ее очков отражалось все, что она видела во дворе. Вопрос Саванны застал Толиту врасплох. Я догадался, что сестра подняла одну из запретных тем, намекавших на некую тайну — на события,

произошедшие до нашего рождения.

— Давайте-ка я угощу вас чаем со льдом, — наконец подала голос бабушка. — Амос еще поторчит там какое-то время. Теперь нечасто удается с вами поболтать. Вы выросли, у вас свои интересы, поди, свидания на уме и все такое.

Толита наполнила чаем три тяжелых стакана, добавила туда колотый лед, а сверху бросила листики мяты.

— Еще в первую нашу встречу я догадалась, что Амос — христианин. Тогда здесь все были христианами, и я тоже. Но когда мы с ним поженились, мне исполнилось всего четырнадцать и я многого не знала. Только потом я поняла, что ваш дед — фанатик. Пока мы встречались, он ухитрялся скрывать это от меня, потому что жутко меня хотел и мечтал поскорее на мне оказаться.

— Толита! — воскликнул я, смущенный бабушкиными откровениями.

— Какой же ты еще ребенок, Том, — усмехнулась Саванна. — Стоит только коснуться секса, и ты дергаешься, как от укуса змеи.

— Девчонкой я здорово его возбуждала, — со смехом продолжала бабушка. — Тогда, в постели со мной, он не слишком разглагольствовал про Иисуса.

— Толита, умоляю тебя, прекрати! Мы не хотим этого слушать.

— Нет, очень даже хотим, — возразила Саванна. — Потрясающе любопытно.

— Только такая двинутая девчонка, как ты, и жаждет услышать подробности интимных отношений деда и бабушки.

— Толита, не обращай на него внимания. Что было дальше?

— Через несколько лет он устал от меня… мужчинам это свойственно… и начал молиться Богу. Без остановки, пока не свихнулся на этом. У вашего деда никогда не было достойных заработков. Стриг волосы, продавал Библии, но больше всего — рассуждал о небесах, аде и обо всем, что между ними.

— Наш дед — очень хороший человек, — заметил я.

Толита повернулась к окну и опять посмотрела на работающего деда. В ее взгляде не было страсти, но была нежность и сохранившаяся привязанность. Дед продолжал возиться с крестом; скрючившись, он пристраивал к основанию колесо от трехколесного велосипеда.

— Меня постоянно спрашивают: каково быть замужем за святым? Я отвечаю: скучно. Лучше

выйти за дьявола. Я попробовала немного рая, немного ада и скорее соглашусь на ад. Но ты прав, Том. Ваш дед — замечательный.

— Тогда почему ты бросила его? — осведомилась Саванна, осмелевшая от бабушкиной открытости и бесхитростности. — Папа напрочь отказывается говорить об этом.

— Думаю, вы уже достаточно большие, чтобы узнать. — Голос Толиты сделался усталым и каким-то сонливым. — В самый разгар Великой депрессии дед вдруг оставил работу и начал проповедовать слово Господне у аптеки Бейтери. Денег это приносило еще меньше, чем ремесло парикмахера. Мы жили впроголодь. Амос вбил себе в голову, что Великая депрессия — знак скорого конца света. Тогда многие умники так думали. Я сообщила Амосу, что ухожу от него. Разумеется, ваш дед мне не поверил. В те времена разводы были большой редкостью. Я велела ему заботиться о вашем отце. Так и сказала: «Бросишь ребенка — вернусь и убью». На попутных машинах я добралась до Атланты и в ту же неделю нашла место в универмаге Рича. Вскоре встретила Папу Джона, а через пару дней вышла за него замуж.

— Какой ужас, Толита. Такого я еще не слышал.

— Посмотри в окно, Том, и увидишь святого. — Бабушкины брови за стеклами очков изогнулись, как две гусеницы. — А в кухне перед тобой — просто женщина. Я не каждым своим поступком горжусь, но и ничего от вас не скрываю.

— Неудивительно, что отец так зол на тебя, — присвистнул я.

— Помолчи, Том, — одернула меня Саванна. — Ты слишком традиционно смотришь на вещи. Мы с тобой не знаем, как людям приходилось выживать.

— В тех условиях я делала все, что могла, — добавила Толита. — Тогда весь мир немного слетел с катушек. Ну и я в том числе.

— Что было дальше? Продолжай, а то дед скоро вернется, — поторопила ее Саванна.

— Насчет деда не беспокойся. Он со своей игрушкой провозится до самого обеда… Сложнее всего мне пришлось с вашим отцом. Ему было одиннадцать, когда я привезла его в Атланту. Лет пять мы вообще не виделись. Он едва меня помнил. Генри совершенно не мог взять в толк, почему я его бросила и почему он должен называть меня не мамой, а Толитой. Во сне он часто кричал: «Мама! Мама! Мама!» Эти возгласы просто разрывали чудное сердце Папы Джона.

Он вставал, шел в комнату к вашему отцу и пел греческие песни, пока тот снова не засыпал. Генри и тогда был упрямцем. Он не знал никакой Толиты и знать не желал. Сейчас бы я повела себя по-другому. Честное слово. Но это сейчас. Время не воротишь.

— Мне очень трудно представить нашего папу хнычущим мальчишкой, — призналась Саванна. — Вообще мальчишкой.

— Толита, у тебя были другие мужья? — поинтересовался я.

Бабушка засмеялась.

— Опять ваша мамочка про меня судачила?

— Нет, — заверил я. — В городе ходят слухи.

— После смерти Папы Джона я ополоумела от горя. Находиться в Атланте было невозможно. Я взяла все деньги, которые он мне оставил — довольно кругленькая сумма, — и отправилась путешествовать. Я решила объехать все места, о которых только слышала: Гонконг, Африку, Индию. Я плавала по морям и океанам. Из порта в порт, всегда первым классом. И странная вещь: в меня все влюблялись. В особенности мужчины. Такой уж я человек. Мужчины вились вокруг меня, как пчелы, будто я — ароматный цветок. Я садилась и наблюдала, как они стараются, пыта-

ются меня рассмешить или угощают выпивкой. За двоих старых парней я даже выходила замуж. Самый долгий брак продержался полгода. Другой — ровно столько, чтобы добраться от Мадагаскара до Кейптауна. Этот человек требовал, чтобы я делала ему разные грязные штучки, о которых принято молчать.

— Что за грязные штучки? — навострила уши Саванна, прильнув к бабушке.

— Ну пожалуйста, не надо, — умолял я.

— Почему? — удивилась Саванна.

— Потому что бабушка обязательно расскажет и это будет что-то жуткое и постыдное.

— Он хотел, чтобы я сосала то место, где сходятся ноги, — непривычно чопорным тоном пояснила бабушка.

Она всегда была несколько откровеннее, чем требовалось.

— Как отвратительно, — выдохнула Саванна.

— У него были животные аппетиты, — разошлась Толита. — Кошмар да и только.

— Почему ты снова вернулась к деду? — спросил я, желая сменить тему.

Толита медленно поднесла к губам стакан с чаем. Я решил, что она не хочет или не может ответить, но ошибся.

— Я устала, Том. По-настоящему устала. И еще я начала стареть. Я видела, что старею, и ощущала это. Я не сомневалась, что Амос все так же живет в доме у реки и ждет меня. Я знала, что могу свалиться ему на голову и он ни разу меня не упрекнет. Он даже будет рад мне. Ваш отец относится к Лиле так же. В его жизни была и есть только одна женщина. Это у него от отца. Странная штука — кровь. Ей легче породить в новом поколении фанатика, чем такую, как я. Хотя меня и обожали все подряд.

— Но к деду тоже все хорошо относятся, — заметил я, охваченный внезапным сочувствием к Амосу.

— Том, это потому, что он одержим идеей. Каждый год он взваливает себе на спину этот крест. Кому нужна жизнь со святым? Я бы предпочла вместе выпить и посмеяться.

— Толита, но ты ведь все равно любишь деда, — упирался я.

— Любовь, — произнесла бабушка, словно пробуя это слово на вкус. — Да, допустим, я действительно его люблю. Должна быть привязанность к тому, к кому всегда можно вернуться, чей дом тебя ждет. Я тут думала о времени. Не о любви. О времени. Они каким-то образом взаимо-

связаны. Я не настолько умна, чтобы выразиться точнее. Почти одинаковое количество лет я была замужем за вашим дедом и за Папой Джоном. Но когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что с Папой Джоном я прожила всего несколько дней — настолько я была счастлива. А с вашим дедом — века.

— Вот разговор взрослых людей, — с гордостью заявила Саванна. — Я так давно этого ждала.

— Пойми, Саванна, мама с папой пытаются уберечь вас от некоторых вещей, о которых вам рано знать. Они осуждают меня. Но раз у нас взрослый разговор, вашим родителям ни к чему знать о нем.

— Буду молчать, — пообещала Саванна. — Но Том — он иногда ведет себя как маленький.

— Толита, как ты думаешь, отец пережил то, что ты его бросила в детстве? — спросил я, игнорируя намеки сестры.

— В семейных отношениях можно простить едва ли не все. Есть вещи, которых друзьям не простил бы, а родителям прощаешь, потому что родители — это совсем другое. Вот вам и первый взрослый урок. Будут и другие, куда хуже этого, и вам придется их выучить.

— Надо помочь деду с крестом, — опомнился я.

— А мне — сходить в винный магазинчик, — сообщила Толита.

— Ты опять вдрызг напьешься в Страстную пятницу?

— Какой же ты грубый, Том, — поморщилась Саванна.

Но Толита лишь рассмеялась.

— Чем еще я могу ответить на его «крестный путь»? Заодно напомню Амосу, что не была и никогда не буду его собственностью. Разумеется, несколько дней назад он спрашивал у Бога позволения на свой балаган и, естественно, получил добро. Так что отговаривать вашего деда бесполезно.

— Он просто ведет себя как благочестивый христианин. Так он мне объяснял, — защищал я деда. — И он считает, что если с миром все было бы в порядке, то весь Коллетон таскал бы вместе с ним кресты на спине.

— Тогда бы всех жителей упрятали по психбольницам. Поверь, Том, я вовсе не против религиозности. Надеюсь, и ты вырастешь христианином. Но, черт побери, зачем так серьезно ко всему относиться?

— Толита, а ты грешница? — спросила Саванна. — Как по-твоему, ты попадешь на небо?

— Я не сделала ничего такого, что заслуживало бы вечных мук в адском пламени. Любой бог, обрекающий души на такие муки, недостоин называться богом. Я искренне старалась жить интересно, и едва ли это кому-то помешало.

— А у деда тоже была интересная жизнь? — осведомился я.

— Том, ты задаешь глупейшие вопросы, — отчитала меня Саванна.

— Видишь ли, у каждого свои предпочтения. Не забывай об этом. Когда ваш дед стриг чужие волосы, а ваши родители ловили крабов и чистили креветки, я ехала по Хайберскому проходу[119], переодевшись афганским воином. Возможно, вы никогда больше не встретите человека, сделавшего то же самое.

— Но в итоге ты оказалась в Коллетоне, — возразил я. — Какой смысл тогда в твоих путешествиях? Зачем возвращаться туда, откуда все начиналось?

— Просто я начисто истратила все деньги, — призналась бабушка. — И еще я не сумела осуществить все задуманное.

---

[119] Примечания: 119

Хайберский проход — проход в горном массиве Сафедкох между Пакистаном и Афганистаном. Древний торговый путь, связывающий Южную и Центральную Азию.

— На мой взгляд, ты — единственный успех нашей семьи, — заявила Саванна. — Я действительно так думаю. Ты пример для меня. Я смотрю на тебя и верю, что отсюда можно вырваться.

— Тебе что-то передалось от Толиты, девочка. Я это почувствовала, когда ты еще была совсем малышкой. Но будь мудрее меня. Я славилась необузданностью, но не умом. Тогда женщинам приходилось трудно. Намного труднее. Если сможешь — выбирайся отсюда. Коллетон — сладостная отрава, но тем не менее отрава. Если она проникнет в душу, ее оттуда ничем не изничтожишь. Странная штука. Я видела множество мест в Европе, Африке, Азии. Некоторые были настолько прекрасны, что хотелось плакать. Но ни одно из них не было красивее Коллетона, это правда. Ни одно не заставило меня забыть здешние болота и реку. Куда ни отправься — заберешь запах этого места с собой. Хорошо это или плохо — не знаю.

Толита встала и разожгла плиту. День клонился к вечеру. Прохладный воздух замер. Вверх по реке двигалась баржа, груженная лесом. Дед помахал матросам. Те ответили протяжным гудком, и тут же крылья моста начали расходиться.

— Идите, поболтайте с Амосом, — велела Толи-

та. — А я займусь обедом. Да, принесите с реки пару дюжин устриц. Я их сделаю на закуску, пока готовится курятина.

Мы спустились на задний двор и очутились в совсем ином мире — мире деда Винго. Он как раз в это время поднял крест на плечо и сделал несколько шагов по траве, проверяя колесо. Оно слегка поскрипывало.

— Привет, ребятишки, — улыбнулся дед. — Так до конца и не убрал этот звук.

— Здравствуй, дед.

Мы подбежали и расцеловали Амоса, согнувшегося под тяжестью креста.

— Ну и как выглядит крест? — обеспокоенно спросил дед. — Только честно. Не бойтесь задеть чувства вашего деда. Колесо не портит общий вид?

— По мне, так очень даже красиво, — заверила Саванна и тут же добавила: — Правда, я никогда не видела крестов с колесом.

— В прошлом году после Страстной пятницы я целую неделю провалялся в постели. Тогда и придумал подставить колесо. Одно беспокоит: люди могут неправильно это истолковать.

— Они поймут, — успокоил я деда.

— Этой зимой крест промок от дождей. Цен-

тральная балка начала гнить. Наверное, на будущий год придется сколачивать новый. Может, сделаю полегче, если найду подходящую породу дерева.

— Дед, почему бы тебе не удалиться на покой? — поинтересовалась Саванна. — В церкви есть мужчины помоложе. Передашь эстафету кому-нибудь из них.

— Девочка моя, я много размышлял об этом, — вздохнул дед. — Я надеялся передать свою миссию Люку или Тому. Я молился нашему милостивому Господу. Было бы здорово сохранить эту традицию в нашей семье. Как ты считаешь?

— Уверена, Тому бы очень понравилось носить крест, — решила за меня Саванна. — Знаешь, дед, я тоже просила Бога об этом.

Я ущипнул Саванну за руку и сказал:

— Дед, Толита просила нас набрать устриц на закуску. Пойдешь с нами?

— С превеликой радостью, ребятки. Но вначале, Том, прокати крест до гаража. Я все-таки хочу разобраться, откуда идет этот скрип.

— Том с удовольствием тебе поможет, — ехидно улыбнулась Саванна. — Заодно и поупражняется на будущее.

Я взял крест, уложил на правое плечо и быстро

повез по двору. Из кухни донеслись бабушкины смешки.

— Достаточно, дитя мое, — остановил меня дед. — Теперь я понял, откуда звук.

Он нагнулся, взял ржавую масленку и приставил ее хоботок к нужному месту.

— Полагаю, теперь все в порядке. Попробуй еще раз.

Я вновь угрюмо двинулся по двору, стараясь не обращать внимания на довольную Саванну и бабушку, которая прилипла к окну и всхлипывала от хохота. Дед, конечно же, не замечал никаких насмешек и издевок.

— По-моему, Тому очень идет крест. Согласна, девочка моя? — обратился дед к Саванне.

— Божественное зрелище, — поддакнула сестра. — Наш мальчик просто рожден для этого.

— Тяжелый, между прочим, — пожаловался я.

— Тебе стоило бы нести крест по-настоящему, без колеса. Было бы по-мужски. Как только подумаю о том, через какие страдания Господь прошел ради меня…

— Так что, Том, нечего ныть. Лучше подумай, через какие страдания Господь прошел ради тебя, — тоном строгой учительницы произнесла Саванна.

— Дорогой мой, давай еще разок, — скомандовал дед. — Хочу убедиться, что скрип побежден.

Наконец крест был возвращен в гараж, а мы все трое уселись в зеленую лодочку деда. Амос ручным тросом завел мотор, я отвязал причальный канат, и мы понеслись по зеркалу реки Коллетон, держа курс к устричной отмели. Она находилась близ острова Сент-Стивен, где потерпел крушение «Хардевилл» — старый колесный паром, потопленный бурей в ночь нашего с Саванной рождения. Одно его большое колесо возвышалось над илистой почвой и чем-то напоминало разобранные часы. Основание корпуса было облюбовано тысячами устриц. Во время приливов это место было самым устричным во всем округе. Внутри ржавого корпуса обитало семейство выдр. На моей памяти они жили там всегда. Традиция сделала этих животных священными и неприкосновенными. Ни один охотник не смел поставить на них капкан. Два подросших детеныша выдры гонялись друг за другом между шпангоутами затонувшего парома. Дед заглушил мотор, и дальше мы двигались по инерции. Было время отлива, и вода стояла достаточно низко.

— Вы согласны, что Иисус оказал мне большую любезность, поместив устриц неподалеку от

моего дома? — спросил дед. — Господь знает, как я их люблю.

Мы с Саванной, перегнувшись через борт, хватали устриц. Мы набрали дюжину крупных, величиной с ладонь, потом еще десяток поменьше. Некоторые срослись раковинами, и нам пришлось разъединять их молотком.

Затем я вылез и по колено завяз в иле. Я обошел отмель, высматривая самых крупных устриц и бросая их в лодку.

— Мне всегда кажется, что устрицы молятся, — сообщил дед. — Две молитвенно сложенные руки, которые возносят благодарность.

Дед не замечал, что у раковин острые края, о которые запросто можно порезаться. Я об этом помнил и потому двигался осторожно, словно дно было утыкано ножами. Пока я искал живых устриц, раковины устриц мертвых врезались в каучуковые подошвы моих теннисных туфель.

Мы набрали сорок штук и решили, что этого будет достаточно. Я запрыгнул в лодку, и мы пустились в обратный путь. Деду не удавалось завести мотор. Лодка крутилась в воде, словно дубовый листок. Любопытные выдры проносились рядом; их броски будоражили поверхность, которая теперь еще больше отливала перламутром.

Дед снова и снова дергал трос, утирая рукавом пот со лба. Упрямый мотор не желал заводиться. Взрослая выдра устроилась на нижней части шпангоута затонувшего парома. В зубах у нее бился пойманный угорь. Выдра присела на задние лапы, некоторое время разглядывала странную рыбину, а потом приступила к трапезе. Она глодала угря так, как человек ест кукурузный початок. Вот тогда-то Саванна и высмотрела Снежинку.

— Снежинка! — радостно завопила сестра.

Она вскочила и едва не опрокинула лодку. Мне пришлось обеими руками утихомиривать суденышко, двигая телом в разные стороны, пока лодка не перестала качаться. Дед оставил попытки завести мотор и повернул голову туда, куда указывал палец Саванны. Белая самка дельфина плыла к нам, разрезая волны.

Полное имя дельфина звучало как Каролинская Снежинка. Впервые я увидел это чудо, когда мне было десять лет. В тот день мы ловили креветок вдоль отмелей Сполдинг-пойнт. На обратном пути к нам присоединилась Снежинка. Братство ловцов креветок утверждало, что это единственный белый дельфин на побережье Атлантики. Возможно единственный на Земле. Что же касается округа Коллетон с его изобилием соленых

рек и речек, появление Снежинки здесь всегда воспринималось как явление необыкновенное. Ее ни разу не замечали среди других дельфинов. Некоторые ловцы креветок (в том числе и наш отец) считали, что дельфины, как и люди, не жалуют тех, кто выделяется из толпы. Скорее всего, соплеменники изгнали Снежинку за ее удивительную белизну, и она была обречена бороздить изумрудные воды в одиночестве. В тот день Снежинка сопровождала нас почти до самого моста, после чего вернулась в океан. Наличие белого дельфина придавало округу Коллетон оттенок избранности; все, кому довелось встретить Снежинку, запоминали этот момент на всю жизнь. Люди воспринимали дельфина как свидетельство неистощимой способности моря удивлять своими творениями.

С годами Снежинка превратилась для Коллетона в символ удачи. Говорили, что город живет и процветает до тех пор, пока белый дельфин осчастливливает его своим присутствием. Иногда Снежинка надолго пропадала, потом вдруг снова появлялась близ прибрежных островов Южной Каролины. Даже местная газета отмечала исчезновения и возвращения белого дельфина. Снежинка вплывала в главное русло реки, гра-

циозно двигалась вдоль берегов, и весь город несся приветствовать своего живого символа. Торговля замирала; жители бросали дела и спешили на берег. Но в главном русле Снежинка показывалась редко, что делало каждый ее визит особо чтимым событием. Животное-символ, животное-дар, дельфин, наделенный царственным величием и изгнанный сородичами. Стоя у реки, люди выкрикивали имя Снежинки, приветствовали ее, восхищались ее белизной. Они были ее единственной семьей.

Наконец дед завел мотор, и мы понеслись обратно. Снежинка выпрыгнула из воды. В свете закатного солнца ее брюхо было почти фиолетовым.

— Она плывет вместе с нами, — сказал дед, направляя лодку к Снежинке. — Если это не доказательство живого Бога, тогда вообще доказательств не существует. Вы можете думать: разве Господу мало обычных дельфинов? Разве в них недостаточно красоты и совершенства? Но Бог создает еще более прекрасные существа, дабы усладить глаза человеческие.

— Никогда не видела Снежинку так близко, — призналась Саванна. — Надо же, совсем белая, как скатерть.

Но когда расстояние между нами и дельфином сократилось до двадцати ярдов, выяснилось, что Снежинка не совсем белая. Когда она резко выныривала из воды, кожа ее спины отливала нежнейшими тонами; плавники вдруг становились серебристыми. Оттенки ее кожи постоянно менялись, и ни один не повторялся дважды. Снежинка кружила вокруг лодки и напоминала молоко, вылитое в воду. Выпрыгивая и замирая в воздухе, Снежинка обретала цвет предзакатного солнца, а по возвращении в воду вновь становилась молочно-белой.

Некоторые эпизоды моего прошлого — что разбежавшиеся шарики ртути; мне никак не собрать их, они никак не выстраиваются в одну картину. Только символы, фрагменты, замирания сердца. Помню реку, панораму города, деда, направляющего лодку к другому берегу, мою сестру, охваченную экстатическим восторгом, который впоследствии был выражен в самых лучших и сильных ее стихах. Помню металлический запах собранных устриц, оглушительные детские голоса на берегу… Когда в реке появлялся белый дельфин, к обыденной жизни примешивалось чудо. В моих снах Снежинка плавает по-прежнему — белое божество, питающее и огонь, и темные

холодные воды моей истории. В моем детстве хватало разных мерзостей, но река никогда не обманывала и не предавала меня. И ее богатства, благодаря которым мы существовали, не были фальшивыми.

Когда мы проходили под мостом, я увидел на воде тени людей, собравшихся посмотреть на Снежинку. Горожане облепили бетонные ограждения моста; они стояли кучками, их головы напоминали бусины порванных четок. Какая-то девочка громко умоляла Снежинку вернуться под мост. Зрители сгрудились и на понтонных причалах, качаясь вместе с ними на приливных волнах. Все указывали туда, откуда недавно выныривала Снежинка.

Для моего деда появление белого дельфина было равнозначно белозубой улыбке Бога, вдруг явившегося ему из морских глубин.

— Благодарю Тебя, Господи, — услышали мы слова Амоса.

Если что-то во внешнем мире глубоко его трогало, молитвы рождались в нем спонтанно и так же спонтанно изливались из его уст.

— Огромное Тебе спасибо, Боже, за все это.

Мы с Саванной почти одновременно обернулись к деду, и этот добрый человек нам улыб-

нулся.

Впоследствии, через много лет после смерти деда, я часто сожалел, что не стал таким, как он. Да, мальчишкой я обожал его; он был для меня примером взрослого мужчины, у которого всегда можно найти защиту, который никогда не поднимет на тебя руку и не обидит словом. Однако тогда я не сумел полностью оценить деда. Я не знал, как надо относиться к святому, как почитать его, скромно восхваляя его естественную невинность и щедрую простоту. Теперь-то я понимаю: часть меня хотела бы странствовать по миру, как странствовал он, быть шутом, исполненным пламенной веры, соединять в себе дурака и лесного принца, до краев наполненного Божьей любовью. Я с удовольствием бродил бы по его южному миру, благодарил бы Бога за устриц и дельфинов, восхвалял бы Его за птичье пение и иглы молний, видел бы отражение Бога в воде ручьев и глазах бездомных кошек. Я беседовал бы как с друзьями с дворовыми собаками и танаграми; я бы общался с такими же путниками, встречающимися мне на иссушенных солнцем дорогах, и при этом был бы опьянен Божьей любовью, творил бы добрые дела с упорством радуги, соединяющей своей величественной аркой два отдаленных поля. Я

был бы счастлив видеть мир глазами, способными только удивляться, и иметь язык, скорый на благодарность.

Когда Снежинка двинулась вверх по реке, я остро ощутил ее пронзительное одиночество изгнанницы. Зато мой дед… Ах, я знал, какие чувства испытывает дед, наблюдая за плывущей Снежинкой. Она нырнула, оставив водную воронку, потом снова показалась, прежде чем скрыться за зеленым мысом суши, в том месте, где река поворачивала вправо.

Брат ждал нас на причале. Заходящее солнце светило нам прямо в глаза, и мы могла разглядеть только силуэт Люка. Дед заглушил мотор. Люк ногой прижал лодку к причалу и поймал брошенный мной канат.

— Видели Снежинку? — спросил он.

— Она резвилась, как щенок, — ответил дед.

— Толита пригласила нас всех на обед, — обратился Люк к нам с Саванной.

— Мы ей устриц привезли.

— Отец прислал фунтов пять креветок. Сейчас Толита их жарит.

— А мы подходим, смотрим: ты на причале, великан великаном, — сказала Саванна. — Вот уж не думала, что ты до сих пор растешь.

— Расту, сестренка. И не хочу, чтобы разные карлики мешали мне расти дальше.

Я кидал Люку устриц, а он ловил их и складывал в таз. Потом мы привязали лодку и по траве зашагали к дому.

Мы устроились на заднем крыльце, чтобы поесть устриц. Я открыл створки крупной раковины и стал неспешно, с наслаждением высасывать содержимое. Для меня нет ничего вкуснее свежей устрицы с ее неповторимым букетом ароматов и ощущений. Это запах океана, едва-едва обретшего плоть. Люк пришел не один, а с нашей матерью. Из кухни доносились голоса обеих женщин, занятых серьезным делом — приготовлением пищи для своих семей. На востоке серебристой капелькой взошла Венера. Невидимые цикады начали свои безумные прения в парламенте насекомых. В доме включили телевизор.

— Я сегодня встретил тренера Сэмса, — сообщил Люк, изящно вскрывая устрицу. — У нас действительно будет учиться цветной парень.

— И кто же? — поинтересовалась Саванна.

— Бенджи Вашингтон. Сын работника похоронного бюро.

— Я его как-то видела.

— Он ниггер, — заметил я.

— Не произноси этого слова, Том, — вспыхнула Саванна. — Мне оно не нравится. Очень даже не нравится.

— Могу говорить, что хочу, — огрызнулся я. — И твоего разрешения спрашивать не обязан. Этот Бенджи наделает бед и испортит выпускной год.

— Отвратительное, гадкое слово, — не унималась Саванна. — И ты становишься жестоким, когда его используешь.

— Успокойся, сестренка, — тихо вмешался Люк. — С Томом все в порядке. Просто ему нравится выглядеть грубее, чем он есть.

— Но он ведь ниггер. Разве плохо, что я называю вещи своими именами?

Теперь мой голос действительно звучал грубо.

— Хорошие люди этого слова не употребляют, сукин ты сын, — распалялась сестра.

— Давай, продолжай, — рассердился я. — А «сукин сын» у хороших людей считается вежливостью?

— Как всегда. Ужин — время битвы, — отрешенно резюмировал Люк. — Ради бога, прекратите оба.

— Чтобы я больше не слышала от тебя этого слова, Том, — потребовала Саванна. — Предупреждаю.

— Надо же, я и не заметил, как ты успела превратиться в королеву красоты от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.

— Давайте просто лопать устриц и внимать лягушачьему пению, — с оттенком угрозы предложил Люк. — Терпеть не могу, когда вы затеваете стычки.

— Том, я тебя предупредила. Ненавижу это слово и всех, кто его произносит.

— И отца тоже? Он постоянно его использует.

— Отцу простительно. Он идиот, а ты нет.

— Знаешь, Саванна, я не стыжусь, что южанин. В отличие от некоторых, кто каждую неделю пялит глаза в «Ньюйоркер».

— Южане бывают разные. Ты ведешь себя как ничтожество. По-моему, тебе должно быть стыдно.

— Ах, простите, ваше королевское высочество.

— Заткнитесь оба, — потребовал Люк. Брат повел носом, учуяв в вечернем воздухе аромат бабушкиного печенья. — Том, ты же в курсе, мама не разрешает нам употреблять это слово.

— Ты не имеешь права рассуждать, как местное отребье. Я не потерплю в тебе этого убожества и выбью его, если понадобится, — заявила Са-

ванна.

— Саванна, я ведь могу поколотить тебя так, что мало не покажется, — задиристо пригрозил я.

— Да уж, храбрый ковбой. Можешь. Но если хоть волосок упадет с моей головы, большой Люк переломит тебя пополам. Против Люка тебе не выстоять.

Я взглянул на брата. Тот улыбнулся и кивнул.

— Да, Том. Я не позволю тебе обижать мою маленькую пищалку.

— Согласись, Люк, это она начала. Я всего лишь обмолвился несколькими словами про ниггеров.

— Угу, — кивнул брат. — Она начала и близка к победе над тобой, малыш.

Люк улыбнулся.

— Ты пристрастен, — констатировал я.

— Я всего лишь крупнее тебя, — парировал он.

— Мой принц. — Саванна обняла Люка и поцеловала в губы. — Мой деревенский принц-защитник.

— Обойдемся без прикосновений. — Люк покраснел. — Мое тело — вне игры.

— И все-таки представь, что я ударил Саванну, — продолжал я. — Чисто теоретически. Допустим, хлопнул ее по щеке в порядке самообороны. Что ты сделаешь, Люк? Неужели кинешься

на меня с кулаками? Ты любишь меня меньше, чем Саванну?

— Я так люблю тебя, что мне больно слышать твои речи, Том, — признался Люк, раскрывая очередную устрицу. — Но если ты когда-нибудь тронешь Саванну, я исполосую тебе задницу. И учти, мне будет еще хуже, чем тебе. Но я все равно пересчитаю тебе все косточки.

— Я тебя не боюсь, — пробубнил я.

— Еще как боишься, — усмехнулся он. — И не надо этого стыдиться. Я ведь действительно куда сильнее тебя.

— Том, помнишь, мама читала нам «Дневник Анны Франк»? — задала вопрос Саванна.

— Ну, помню.

— А как ты плакал, когда книжка кончилась?

— Это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Уверен, тогда в Амстердаме не было ни одного ниггера.

— Но там были нацисты. И у нацистов слово «еврей» звучало так же, как у тебя — «ниггер».

— Саванна, дай мне передохнуть от твоих рассуждений.

— Когда осенью Бенджи Вашингтон придет к нам школу, вспомни об Анне Франк.

— Боже милостивый! Могу я спокойно прогло-

тить устрицу?

— Что, братишка? Умыла она тебя! Обожаю слушать ваши перепалки. Ты, Том, всегда начинаешь так, будто намерен завоевать весь мир. А под конец сдуваешься.

— Я вовсе не любитель спорить и этим сильно отличаюсь от Саванны.

— Нет, ты отличаешься от меня не этим.

Саванна встала с явным намерением зайти в дом.

— Тогда чем?

— Хочешь правду? Обижаться не будешь?

— Чем ты можешь меня задеть? Мы же близнецы. Я знаю все твои мысли.

— Не все.

— Тогда скажи.

— И скажу. Я гораздо умнее тебя, Том Винго.

Саванна скрылась в кухне, оставив нас с Люком доедать устриц. Смех моего брата сотрясал крыльцо.

— Отхлестала тебя по заду, парень. Взяла и отхлестала твой тощий деревенский зад.

— Я тоже сделал пару неплохих выпадов.

— Ни одного. Уверяю тебя, ни одного.

— И чего она Анну Франк приплела к этому дерьму?

— По крайней мере, сделала она это ловко.

В полдень Страстной пятницы дед вытащил из гаража крест и взвалил на правое плечо. Он облачился в белое одеяние церковных хористов и надел сандалии, купленные в местном универмаге. Люк, вооружившись плоскогубцами, провел последнюю регулировку колеса.

Мистер Фрукт курировал перекресток и ждал, когда дед подаст ему сигнал, означающий начало «крестного пути». На Страстную пятницу мистеру Фрукту выпадала двойная работа, поскольку он не только управлял вялым уличным движением, но и возглавлял местные парады, а по соображениям, известным лишь самому мистеру Фрукту, считал дедово шествие парадом — небольшим, не особо веселым, но тем не менее.

Дед кивнул. Мистер Фрукт поднес к губам свисток, дунул в него и двинулся по улице Приливов, вышагивая как тамбурмажор. Его колени поднимались едва ли не до подбородка. Дед двигался сзади, футах в десяти. Увидев колесо, несколько зрителей прыснули со смеху. Возле аптеки Бейтери я заметил отца с кинокамерой в руках. Он снимал первую часть действа.

Пройдя около половины улицы, дед рухнул в первый раз. Получилось довольно впечатляю-

ще: Амос тяжело грохнулся на мостовую, крест — сверху. Больше всего за три часа «крестного пути» дед любил падать. Это каждый раз удивляло толпу. Дед был мастером по части падений. Как только он оказался на асфальте, отец тут же дал крупный план. Было понятно, что у них разработана система условных сигналов и отец заранее знает, когда предстоит съемка очередного впечатляющего эпизода. Когда дед вставал, у него очень убедительно подгибались колени. Амос Винго никогда не слышал о театре абсурда, но за многие годы создал свой собственный.

Через час колесо сломалось, и его пришлось выкинуть. У светофора возле моста появился шериф Лукас, который по традиции выписал деду штраф за нарушение правил движения. Тем временем часть зрителей освистывала шерифа. Мистер Фрукт вспомнил про свои основные обязанности и стал пропускать машины через перекресток. Мистер Капсинет, священник дедовой церкви, читал главы Евангелия о шествии Иисуса по улицам Иерусалима и о распятии на Голгофе вместе с двумя разбойниками. Он вдохновенно вещал о тьме, накрывшей землю, и о крике отчаяния, вырвавшемся у Иисуса: «Или, Или! Лама савахфани?» («Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты

Меня оставил?») И вновь, в который уже раз за минувшие столетия, была произнесена фраза: «Воистину Он был Сын Божий».

Дед ходил туда-сюда мимо лавочек, торговавших обувью и нижним бельем, мимо конторы по продаже недвижимости. Пот обильно заливал ему лицо, но глаза оставались безмятежными, поскольку он знал, что служит Господу наилучшим из известных ему способов. Мы с Саванной продавали лимонад напротив магазина одежды Сары Постон. На Люка была возложена обязанность остановить деда посреди пути и поднести к его губам картонный пропарафиненный стаканчик с уксусом. Затем брат играл роль Симона Киринеянина, помогая деду нести крест. К началу третьего часа дед спотыкался уже по-настоящему. Когда он рухнул в последний раз, то не смог подняться до тех пор, пока мы с Люком не подоспели и не убрали с его тела крест. С правого плеча по белым одеяниям текла тонкая струйка крови. Дед встал, улыбнулся и пообещал Люку, что к вечеру его подстрижет. Потом он продолжил свой путь, шатаясь из стороны в сторону.

Ни тогда, ни сейчас я не знаю, как относиться к трепетному дедовскому почитанию Слова Божьего. Будучи подростком, я считал этот

«крестный путь» унизительным. Но Саванна посвятила ему несколько удивительно красивых стихотворений, назвав действо «скромным Оберраммергау[120] странствующего парикмахера».

Когда «крестный путь» Амоса Винго завершился, мы подхватили деда, не дав ему упасть, и понесли к лимонадному лотку. Там мы растерли ему лицо льдом и заставили выпить кружку лимонада. Я чувствовал, что святость — самая опасная и неизлечимая на земле болезнь.

Потом мы уложили деда на тротуар. Он дрожал и заговаривался. Вокруг столпились зрители. Некоторые просили, чтобы дед расписался на их Библии. Отец снимал финальную сцену.

Дав деду немного отдышаться, мы с Люком поставили его на ноги и, поддерживая под руки, повели домой.

— Дед, ты просто великолепен. Ты бесподобен, дед, — повторял Люк.

---

[120] Примечания: 120

Этот городок на германо-австрийской границе упоминается в четвертой главе.

Глава 15



Консьерж в подъезде дома, где жила доктор Лоуэнстайн, встретил меня недоверчивым взглядом. Он так следил за каждым моим шагом, словно был уверен в моих преступных намерениях. Это был крупный мужчина, наряженный в пышную ливрею старинного покроя. Он с чрезвычайной серьезностью выслушал мое имя, после чего позвонил в соответствующую квартиру. Парадная была заставлена мебелью с потрескавшейся кожаной обивкой, что придавало ей меланхоличную элегантность мужского клуба, члены которого почти согласились допускать женщин.

Убедившись, что меня действительно ждут, консьерж махнул в сторону лифта и снова уткнулся в «Нью-Йорк пост». В руках у меня был объемистый пакет и сумка, однако я ухитрился

надавить на нужную кнопку. Кабина вздрагивала, тросы скрипели; лифт полз настолько медленно, что казалось, поднимался откуда-то из морских глубин.

Бернард поджидал меня возле входной двери.

— Добрый вечер, Бернард, — поздоровался я.

— Привет, тренер. Что это вы с собой принесли?

— Еду и еще кое-что, — ответил я, входя внутрь.

Осмотревшись, я даже присвистнул.

— Боже, да у вас не квартира, а филиал музея Метрополитен.

Прихожую украшали несколько стульев с плюшевыми спинками, несколько ваз-клуазоне[121], три столика, небольшая люстра уотерфордского хрусталя[122] и два мрачноватых портрета, написанных где-нибудь в восемнадцатом веке. В створе раскрытых дверей гостиной виднелся рояль и портрет Герберта Вудруффа, играющего на скрипке.

— Ненавижу это, — признался Бернард.

---

[121] Примечания: 121

Клуазоне — техника перегородчатой эмали.

[122] Примечания: 122

Известная марка хрусталя, производство которого было начато в Ирландии в 1780-х гг.

— Теперь понимаю, почему мама не разрешает тебе заниматься с гантелями дома, — усмехнулся я.

— Вчера вечером она изменила правила. Теперь можно, но только когда нет отца и только у себя в комнате. Пришлось спрятать гантели под кровать, чтобы он не видел.

— Если твой отец хочет, я могу составить программу по оздоровлению и для него. Тогда вы могли бы тренироваться вместе.

Потрет маэстро Вудруффа висел над камином; на меня глядел человек с тонкой костью и тонкими губами. Последнее предполагало как рафинированность, так и жестокость характера.

— Мой отец? — удивился Бернард.

— Ладно, это всего лишь предложение. Не будем тут задерживаться. Отведи меня на кухню, там я оставлю продукты. А потом отправимся в твою комнату. Хочу, чтобы маму ты встретил при полном параде.

Комната Бернарда находилась в противоположном конце квартиры. Ее убранство было таким же дорогим и изысканным, как и в остальных помещениях. Никаких намеков на то, что здесь живет мальчишка-подросток: ни плакатов с любимыми героями спорта или рок-звездами,

никакого беспорядка, ничего лишнего.

— Отлично, тигр. — Я резко дернул молнию сумки. — Здесь и начнем. Раздевайся.

— Зачем, тренер?

— Люблю смотреть на голых мальчишек, — сказал я.

— Я… я не могу, — промямлил ошеломленный Бернард.

— Мне что, учить тебя скидывать одежду, парень? Это не входит в мой контракт.

— Так вы гей, тренер? — нервозно спросил Бернард. — То есть, конечно… это нормально. Мне до этого нет дела. В смысле, если вы действительно гей. Я считаю, люди могут делать все, что им нравится.

Я молча достал из сумки комплект красивой уилсоновской[123] экипировки.

— Это для меня? — выдохнул Бернард.

— Нет. Просто примерь все это, прежде чем я отдам форму твоей маме.

— Тренер, зачем маме спортивная форма? — наивно поинтересовался Бернард.

Тем временем я уже надел ему через голову

---

[123] Примечания: 123

«Wilson Sporting Goods» — всемирно известная фирма, производящая спортивную одежду и обувь для разных видов спорта, включая и американский футбол.

футболку и начал ее зашнуровывать.

— Бернард, придется нам временно отложить броски и передачи и переключиться на твое чувство юмора. Два часа в день я буду учить тебя понимать шутки.

— Тренер, простите меня за вопрос про гея. Понимаете, я немного насторожился: мы с вами одни и все такое.

— Нормально, Бернард. Слушай, мне еще с ужином возиться. Но сначала я покажу тебе, как одевается футболист.

Сьюзен Лоуэнстайн задерживалась. Я облюбовал в гостиной кресло с подголовником и сел, разглядывая панораму Центрального парка. Солнца уже не было видно, оно готовилось упасть в Гудзон, находившийся у меня за спиной. Из духовки по квартире разливался аромат жареного барашка. В венецианском окне я созерцал собственное бледное отражение, подсвеченное антикварными люстрами из примыкающих комнат. В наступающих сумерках окно одновременно стало зеркалом и сказочным пейзажем встречающего темноту города. Уставшее солнце завладело одним зданием, целиком окрасив тысячи его благодарных окон в тона кораллового рифа, но потом заскользило вниз, гася окно за окном. Тем

временем город сам превращался в неугомонную огненную птицу. Он стряхивал последние капли заката и в торопливом экстазе становился гигантским светильником, лишенным всякой симметрии. Нью-Йорк казался сотворенным из стеклянных магических свечей, молний и мерцающих углей. Красота этой светогеометрии и причудливых меняющихся очертаний не только усиливала закат, но даже украшала его.

— Я безбожно опоздала. Приношу все мыслимые извинения, — обратилась ко мне Сьюзен Лоуэнстайн, входя в гостиную. — Задержалась в больнице. Трудный пациент. Надеюсь, вы нашли бар?

— Я ждал вас.

— Мясо пахнет божественно.

Сьюзен подошла к креслу.

— Теперь я хочу услышать, как вы хаете Нью-Йорк. Давайте, ругайте его прямо сейчас, когда город раскрывает перед вами все самое лучшее.

— Вид, конечно, потрясающий, — согласился я. — Просто мне не доводилось видеть Нью-Йорк таким.

— Я наблюдаю это каждый вечер и не перестаю восхищаться.

— Этот дом будто специально построили, чтобы

наслаждаться закатами, — с искренним восторгом заметил я. — Знаете, доктор, у вас с мужем изумительный вкус и чертова пропасть денег.

— Мама, — послышалось сзади.

Мы обернулись.

Нашему взору предстал Бернард в полном футбольном облачении. Впрочем, не совсем; он стоял в носках — плотных шерстяных носках футболиста. Новенькие бутсы, сверкающие наклейками против скольжения, парень держал в руках. В этом странном освещении Бернард казался еще выше. Он утратил привычный облик, словно родился для какой-то новой жизни, о которой прежде и не мечтал.

— Полная экипировка футболиста. Тренер Винго принес.

— Боже милостивый, — только и смогла вымолвить потрясенная Сьюзен.

— Мам, тебе что, не нравится? Тогда исполняй привычный репертуар. Скажи, что я в этом не смотрюсь. Кстати, все подходит, кроме шлема, но тренер Винго пообещал, что шлем подгонит.

— Доктор Лоуэнстайн, хочу представить вам вашего сына, отважного нападающего Бернарда. Его называют «Игроком с берегов Миссиси-

пи»[124] за то, что его длинные передачи всегда непредсказуемы. Он обожает нижние подачи и предпочитает сражаться на своей территории.

— Если отец увидит тебя в этом наряде, он сразу же со мной разведется, — заключила мать нападающего Бернарда. — Сынок, ты должен дать мне слово, что никогда не покажешься в этой форме перед отцом.

— Но, мам, тебе-то она как? Как я смотрюсь?

— Непривычно, — засмеялась она.

— Показ окончен, — вмешался я. — Бернард, иди переоденься к ужину. Еще каких-нибудь сорок минут, и мы будем пировать как короли. Кстати, ты сегодня упражнялся с гантелями?

— Нет, сэр, — ответил мальчишка, тяжело дыша от злости на мать.

— Попробуй выжать семьдесят пять фунтов. Думаю, ты вполне готов к этому.

— Да, сэр.

— И когда мы сядем за стол, называй меня просто Томом. От официальностей за ужином у меня пища не переваривается.

— Ты выглядишь очень непривычно, Бернард, — повторила Сьюзен. — Я вовсе не хотела

---

[124] Примечания: 124

«Игрок с берегов Миссисипи» (1953) — киномелодрама о жизни Нового Орлеана середины XIX в.

тебя обидеть. Мне надо немного привыкнуть. Ты такой… свирепый.

— Ты считаешь меня свирепым? — обрадовался Бернард.

— Да, в тебе явно есть что-то от сильного зверя.

— Спасибо, мам, — крикнул Бернард и понесся по восточным коврам к себе в комнату.

— Порой комплименты имеют странное свойство, — задумчиво произнесла доктор Лоуэнстайн. — Налью-ка я нам чего-нибудь выпить.

Ужин проходил угрюмо, хотя поначалу все было неплохо. Бернард говорил преимущественно о спорте: о своих любимых командах и игроках. Мать недоуменно глядела на него, словно видела впервые. Она задала несколько вопросов о футболе и обнаружила такое впечатляющее невежество, что на время я даже утратил дар речи.

Я заметил, что мать и сын взаимно нервируют друг друга и рады присутствию гостя, который сглаживает напряжение. Мне оно было тягостно, и я неожиданно для себя превратился в затейника, в застольного шута, у которого по рукавам распиханы карты и на каждый миг тишины заготовлены шутки. Я ненавидел себя за эту роль, однако продолжал в том же духе. Меня самого ничто так не раздражает, как молчаливая враж-

дебность между близкими людьми. И потому я весь вечер сыпал анекдотами, с профессионализмом хирурга нарезал барашка, наливал вино как сомелье, обученный клоунаде, и накладывал салат с небрежностью циркового жонглера. Когда подошло время десерта и я подал крем-брюле с кофе-эспрессо, собственное паясничанье выжало меня до предела. И тогда верх снова взяло привычное безмолвие матери и сына. Ложки позвякивали о края стеклянных вазочек. Других звуков не было.

— Тренер, как вы научились готовить? — наконец подал голос Бернард.

— Пришлось, когда жена поступила в медицинский колледж. Я купил хорошую поваренную книгу и месяца три экспериментировал над кусками мяса и другими продуктами. Я пек хлеб, который не ели даже голодные птицы. Но в том издании были ободряющие слова: «Если вы способны читать об этих блюдах, вы научитесь их создавать». К моему удивлению, мне понравилось поварское ремесло.

— Ваша жена никогда не готовит? — удивился Бернард.

— Когда мы только поженились, она баловала меня вкусными блюдами. Но потом все время

стала отдавать учебе. После она стала врачом, родила трех дочек, но в остальном мало что изменилось.

— Значит, ваши дети, когда были маленькими, редко видели маму? — спросил Бернард, косясь на Сьюзен.

— Да, Бернард. Салли нечасто с ними занималась, — быстро ответил я. — Но знаешь, ей никогда не нравилось стоять у плиты в переднике. У нее свои интересы, свои цели. Она любит профессию врача. Девчонки гордятся ею.

— И теперь вы всех кормите? — продолжал донимать меня Бернард.

— Верно. Видишь ли, более года назад я потерял работу.

— Это что же? Значит, вы ненастоящий тренер? — Вопрос был задан с оттенком обиды, словно я обманул и предал своего подопечного. — Выходит, мама не смогла нанять мне настоящего?

— Бернард, не перегибаешь ли ты палку? — едва сдерживаясь, вмешалась доктор Лоуэнстайн.

Ее губы вытянулись в знакомую мне тонкую линию.

— Почему вы сейчас безработный? — осведомился Бернард, игнорируя материнское преду-

преждение.

— Потому что меня уволили.

Я отхлебнул кофе.

— За что?

— Это долгая история, Бернард. И обычно я не делюсь ею с мальчишками вроде тебя.

— Заведомая ложь, — заявил Бернард, обращаясь к матери. — Оказывается, Том — обманщик.

— Бернард, немедленно извинись перед гостем, — потребовала мать.

— С какой стати? Он обманывал меня, делал вид, будто он — настоящий тренер. А оказывается, никакой он не тренер. Его даже с работы выгнали. Он не заслуживает моего извинения.

— Тогда я попрошу у тебя прощения, Бернард. — Я всадил ложечку в подтаявшее мороженое. — Не сообразил, что для занятий тебе требуется официально признанное лицо.

— Взрослые меня просто убивают. Надеюсь, я никогда не стану взрослым.

— Возможно, так и будет, Бернард. Ты навсегда останешься подростком.

— Я хотя бы не вру насчет того, кто я, — выпалил он.

— Чуть не забыл, Бернард. Ты сказал родителям, что выступал за школьную команду. Но ты

не участвовал в играх. Конечно, пустячок, но помогает нам прояснить отношения.

— Бернард, ну почему тебе непременно нужно все испортить? — Доктор Лоуэнстайн с трудом сдерживала слезы. — Почему ты ранишь тех, кто пытается сблизиться с тобой или хочет тебе помочь?

— Мама, кажется, я твой сын, а не пациент. Нечего вести себя со мной как психиатр. Почему ты не можешь просто со мной поговорить?

— Бернард, да я не знаю, с какой стороны к тебе подойти!

— Зато я знаю, — заявил я.

Мальчишка сердито ко мне повернулся. Он тяжело сопел, над верхней губой блестел пот.

— Что вы знаете? — с вызовом спросил он.

— Знаю, как к тебе подойти, — отчеканил я. — Твоя мать этого не умеет, а я умею. Потому что понимаю тебя. Сейчас ты ненавидишь себя за испорченный вечер, за то, что не смог удержаться. Это был единственный способ причинить матери боль, и ты им воспользовался. Тут ваши семейные дела, я в них не лезу. Но пока что я остаюсь твоим наставником. Завтра утром мы встречаемся на том же поле, только теперь ты будешь в полной боевой экипировке.

— Почему я должен с вами заниматься? Вы же ненастоящий тренер. Сами только что признались.

— Завтра ты и проверишь, настоящий я тренер или нет, — пообещал я, глядя на этого печального незрелого парня. — А я завтра проверю, настоящий ли ты игрок.

— Это как?

— Выясню, способен ли ты бить. По-взрослому. Примешь ли удар или провалишь. Впервые в жизни ты познакомишься с большим футболом. С контактным спортом.

— Ну, допустим. И по кому я буду бить? По дереву, кусту или по забулдыге, если он окажется рядом?

— По мне, Бернард. Завтра ты попробуешь сбить меня с ног. А я попытаюсь сбить с ног тебя. Поупражняемся в захватах.

— Но вы же гораздо крупнее.

— Пусть это тебя не беспокоит, — сухо сказал я. — Стоит ли бояться ненастоящего тренера?

— Ни капельки не боюсь, — вызывающе бросил мальчишка.

— А знаешь, почему не боишься?

— Что тут страшного?

— Так я тебе объясню. Просто ты никогда все-

рьез не играл в футбол. Если бы играл, то знал бы, чего надо бояться. Но ты мечтаешь быть спортсменом, Бернард. По какой-то неизвестной идиотской причине ты хочешь этого больше всего на свете.

— Похоже на то, — пробормотал он.

— Если ты научишься атаковать и уворачиваться от моих атак, то осенью уже будешь в команде. Это я тебе обещаю.

— Том, по-моему, вы забываете про свой вес и силу, — вмешалась доктор Лоуэнстайн.

— Мама, не лезь, — взмолился Бернард. — Ты же ничего не понимаешь в футболе!

— А теперь, Бернард, помоги мне убрать со стола. — Я встал и начал складывать вазочки из-под десерта и кофейные чашки. — Потом ложись спать, тебе надо отдохнуть как следует.

— Не собираюсь мыть тарелки, — заявил мальчишка. — У нас для этого есть горничная.

— Вот что, сынок, чтобы больше я такого не слышал. И пожалуйста, впредь — никаких наездов на меня или на мать, как сегодня за ужином. Бери посуду и шевели задницей в сторону кухни.

— Том, вообще-то Бернард у себя дома. Завтра придет горничная.

— Замолчите, доктор. Пожалуйста, замолчи-

те, — устало произнес я и пошел на кухню.

Пожелав Бернарду спокойной ночи, я вернулся в гостиную и ощутил безграничное одиночество этой гармонично обставленной и патологически упорядоченной комнаты. Здесь все было дорогим, но каким-то обезличенным. Даже портрет Герберта изображал некий идеалистический образ, а не самого человека. Вудруфф вдохновенно водил смычком по скрипке, и, хотя холст не передавал ни глубины, ни настроения знаменитого музыканта, зритель ощущал восторг от игры маэстро. Доктор Лоуэнстайн молча подала мне рюмку коньяка. Раздвижная стеклянная дверь на террасу была открыта, и Сьюзен вышла туда. Я сел, вдыхая запах «Хеннесси». Напиток манил меня своим ароматом. Я сделал первый глоток. Жидкость потекла по горлу — мягкая как шелк и обжигающая.

— Вам понравилось шоу Бернарда и Сьюзен? — поинтересовалась доктор Лоуэнстайн.

— И часто вы даете такие представления? — вместо ответа осведомился я.

— Нет. Обычно мы стараемся не замечать друг друга. Но всегда пребываем на грани. Даже наша вежливость и та убийственна. Если нам приходится обедать или ужинать вместе с сыном, у

меня даже аппетит пропадает. Знаете, Том, тяжело, когда тебя ненавидит единственный ребенок.

— А при Герберте он тоже так себя ведет? — поинтересовался я.

— Отца он боится и редко устраивает выходки вроде сегодняшней. И потом, Герберт вообще не терпит разговоров за столом.

— Это почему же? — удивился я.

Сьюзен улыбнулась и сделала большой глоток из своей рюмки.

— Семейная тайна. Семейная церемония. За ужином Герберт предпочитает отдыхать. Он слушает классическую музыку, снимая напряжение рабочего дня. Вначале я ссорилась с ним, но постепенно привыкла. Мне это даже стало нравиться, особенно когда Бернард вошел в стадию подростковой агрессии.

— Надеюсь, вы забудете, как в присутствии вашего сына я велел вам замолчать, — обратился я к ее темному силуэту. — Можете сказать, что я зарвался в чужом доме. И добавить, чтобы я вымыл посуду, а потом убирался отсюда и больше не появлялся.

— Зачем вы просили меня замолчать?

— Мне нужно было хотя бы частично восстановить контроль над Бернардом, а вы могли все

испортить. Вам же невыносимо смотреть, как кто-то цепляет вашего отпрыска.

— Бернард очень ранимый мальчик. Я видела его лицо, когда вы ему грубили. Ему очень легко причинить боль.

— Мне, доктор, это тоже не доставило удовольствия. Десять минут мы с ним играли без правил. Мне самому не понравилось. Терпеть не могу мальчишеские капризы.

— Он такой же избалованный, как отец. Я знаю, что задело Бернарда. Он увидел приятельские отношения между нами. Герберта бы это тоже злило. Муж привык отвергать моих друзей. Он вел себя с ними презрительно и с таким утонченным хамством, что я перестала звать их к нам в дом, да и сама перестала их навещать. Герберт окружил себя блистательной плеядой собственных знакомых. Я тоже общаюсь с ними, но урок усвоила четко. Сходиться с людьми, вводить их в близкий круг позволено только Герберту. Вам это не кажется странным?

— Нет, — ответил я. — Семейные отношения, только и всего.

— У вас с Салли так же?

Я заложил руки за голову и некоторое время разглядывал тусклые пуговки звезд, которые едва

пробивались сквозь зарево над Манхэттеном.

— У нас то же самое, — сообщил я. — Несколько лет подряд Салли приглашала к нам врачей с их женами. Я возненавидел эту публику. Если я услышу, как какой-нибудь эскулап рассуждает о подоходном налоге или социальной медицине в Англии, я у него на глазах совершу харакири. Но когда я приводил своих тренеров и они прямо на бумажных салфетках принимались рисовать схемы игр или вспоминали матчи школьных времен, где они «всем показали», у Салли от скуки сводило скулы. Тогда мы провели жесткий отбор и оставили только тех, кто подходил нам обоим. Например, Салли просто обожает одного школьного тренера. Мне нравилась парочка ребят из ее медицинского мира. Правда, один из этих классных парней стал ее любовником. Думаю, по возвращении домой я поменяю систему. Если честно, пример Герберта меня вдохновил.

— Значит, любовник Салли — ваш друг?

— Бывший. Мне был симпатичен этот сукин сын. Поначалу выбор жены меня разозлил, хотя я ее понимаю. Этот доктор обаятелен, успешен, умен, с некоторыми чудачествами. Коллекционирует английские мотоциклы, курит пенковые трубки. Когда Салли призналась мне, я взбеле-

нился. Раскритиковал его хобби. Но у меня нет оснований слишком уж сильно злиться на жену.

— Почему?

— Я понимаю, по каким причинам Салли на него польстилась. Джек Кливленд — тип человека, каким бы я мог стать, если бы держался на плаву. Мой неосуществленный потенциал.

— И когда же вы… сошли с дистанции?

— Думаю, тогда, когда появился на свет. Конечно, принято считать, что родителей не выбирают. Однако у меня было интуитивное ощущение, что я сам предпочел эту семью. Вы растете, взрослеете, и ваша жизнь состоит из ложных представлений и неправильных поступков. Вы настраиваете себя на катастрофу. Вас на каждом шагу подстерегают большие и малые опасности, а всё из-за неправильно сделанного выбора. Затем вы обнаруживаете, что судьба играет против вас и толкает в такие сферы, куда человеку вообще не стоит соваться. А когда вы до всего этого додумываетесь, вам уже тридцать пять и все худшее у вас позади. Нет, неверно. Все худшее впереди, поскольку теперь вы несете в себе груз прошлого. Теперь вы знаете, что до конца дней вам придется действовать по тому же сценарию и тем же законам. Это и есть Великая Печаль, которая является

вашей участью.

— По-вашему, у Саванны тоже такая участь?

— Она, как говорят в покере, получила всю масть, — рассуждал я. — Достаточно вспомнить, где она сейчас. В сумасшедшем доме, со шрамами по всему телу, лающая на собак, которых видит только она одна. А я — ее беспомощный брат — пытаюсь вместе с вами собрать Шатая-Болтая. Но знаете, доктор, когда я заглядываю в память, я натыкаюсь на черные дыры. Черные провалы. Мне в них не попасть. Вы передаете мне пленки; я слушаю жуткие выкрики сестры и многое могу вам объяснить. Я знаю, откуда взялся тот или иной фрагмент. Но ведь есть события, о которых Саванна начисто забыла. Как быть с ними? У меня такое чувство, что от нас с вами ускользает очень и очень многое.

— Том, вам не страшно было бы рассказывать мне о черных дырах, если бы вы в них проникли?

Лица Сьюзен я не видел. Только силуэт на фоне сияющего Нью-Йорка.

— Доктор, я ничего не боюсь. Но достаточно ли вам будет моих рассказов?

— Том, вы очень мне помогли. Это не комплимент. Вы уже прояснили для меня многие вещи

в жизни Саванны, без вас у меня не было шанса их понять.

Я наклонился к доктору Лоуэнстайн.

— И все-таки, что происходит с моей сестрой?

Она ответила вопросом на вопрос:

— Том, за эти три года вы часто встречались с Саванной?

— Редко, — произнес я и тут же признался: — Ни разу.

— Почему?

— Она заявила, что общение с семьей вгоняет ее в глубокую депрессию, в том числе и со мной.

— Я очень рада, Том, что вы приехали в Нью-Йорк.

Сьюзен встала — точеный силуэт на фоне разноцветья городских огней — и взяла мой опустевший бокал.

— Принесу еще.

Я проводил ее глазами. Проходя мимо портрета мужа, она взглянула на него и тут же отвернулась. Тогда я впервые ощутил печаль этой сдержанной, осторожной женщины, играющей столь необходимую, даже ключевую роль в моем меланхоличном нью-йоркском лете. Слушательница, адвокат, врачеватель — я думал о ней. Утром эта женщина вставала и одевалась, ее

ждали очередные встречи с болью и страданиями той части рода человеческого, что попала в ее кабинет случайно или по направлению. Из каждой беседы Сьюзен извлекала определенные уроки. Но удавалось ли ей успешно применять их в собственной жизни? А совершенное владение теорией Фрейда? Позволило ли оно достичь счастья? Я знал, что нет. Но тогда почему всякий раз, когда я украдкой наблюдал за этой женщиной, меня так трогало ее лицо с маской бесстрастия? Казалось, это красивое лицо отражает все гротескные истории пациентов, когда-либо слышанные ею, все исповеди чужих переживаний. Судя по всему, в собственной квартире одиночество доктора Лоуэнстайн делалось глубже. В офисе она держалась куда свободнее; там она была защищена крепостью своих профессиональных умений и навыков; она не несла ответственности за мрачные истории, доведшие ее пациентов до предела. Но дома ее окружали призрачные легионы собственных неудач и разочарований. Отношения с сыном напоминали переговоры двух воюющих стран. Присутствие мужа ощущалось везде и являло собой оборотную сторону его известности. Сьюзен и Бернард не помогли мне создать ясного представления о Герберте Вудруффе. Оба подчер-

кивали его гениальность; оба боялись вызвать его неодобрение и упреки, но не имели понятия, в какую форму может отлиться его грандиозное неодобрение. Вместо разговоров с семьей этот человек слушал за столом классическую музыку. Однако теперь, когда на моих глазах вспыхнула ссора между Сьюзен и ее сыном, кое-что в характере их кумира начало для меня проясняться. И потом, зачем доктор Лоуэнстайн поделилась со мной своими подозрениями относительно романа между ее мужем и той плачущей от горя женщиной, что встретилась мне в приемной?

Даже здесь, в царстве интеллекта, утонченного вкуса и прочих аристократических признаков, разбросал свои манящие и грешные семена секс — этот древний уравнитель и разрушитель. Кто знает, какие смертоносные цветы, какие дикие орхидеи распускались в этих благопристойных комнатах? Плоды моего собственного сада — низкорослые южные экземпляры, были довольно отвратительными. Когда я женился, мне представлялось, что я перестану думать о сексе; вернее — буду думать о нем только в связи с женой. Но брак оказался лишь посвящением в мир фантазий, пугающий своим яростным огнем, тайными изменами и неуправляемым желанием

обладать всеми прекрасными женщинами мира. Я шел по жизни, пылая от любви разных женщин, и ничего не мог с собой поделать. Мысленно я соединялся с тысячью незнакомок. Находясь в объятиях жены, я спал с красотками, которые никогда не называли меня по имени. Я переживал и страдал во вселенной, существующей лишь в моем воображении. В моих ушных раковинах ревели и завывали сатиры, козлы и прочие звери. Я отрицал в себе эту сторону; я вздрагивал, слыша похотливые смешки других мужчин, открыто говоривших о таких же страстях. Способность к совокуплению я уравнивал с силой и ненавидел ту часть себя, где обитала порочная и опасная правда. Я жаждал постоянства, чистоты, отпущения грехов. В секс я привнес один из своих губительных даров. Всех женщин, которые любили меня, прижимали к своей груди; всех, кто ощущал меня в своем лоне; всех, чье имя я шептал и выкрикивал в темноте… всех их я предал, медленно, постепенно превратив из любовниц в приятельниц. Да, любовницы становились мне сестрами, каждой я завещал дар глаз Саванны. Входя в женщину, я, к своему ужасу, слышал голос матери; и пусть моя любовница повторяла: «Да, да, да», ее слова перекрывались холодным

материнским «Нет». Каждую ночь я укладывал с собой в постель свою мать и ничего не мог с этим поделать.

Эти мысли явились неожиданно для меня, в них не было связности. «Да, секс», — думал я, глядя, как Сьюзен Лоуэнстайн возвращается на террасу с двумя рюмками бренди. Секс — центральная тема моей конфликтной и безуспешной зрелости.

Сьюзен подала мне рюмку, сбросила туфли и с ногами уселась в плетеное кресло.

— Том, помните, мы обсуждали вашу закрытость? — немного помолчав, начала она.

Я заерзал в своем кресле и посмотрел на часы.

— Пожалуйста, Лоуэнстайн, не забывайте о моем давнем презрении к психотерапии. Вы сейчас не на работе.

— Простите. Послушайте, что мне пришло в голову, когда я наливала нам бренди. Вы постоянно рассказываете мне о своей семье. Характер Саванны постепенно вырисовывается. И Люка. И вашего отца. Но я все так же ничего не знаю о вашей матери и не понимаю ее. А вы, Том, остаетесь самой туманной фигурой. Вы избегаете говорить о себе.

— Это потому, что я вечно не уверен в себе. Я

никогда не был собой. Всегда пытался быть кем-то другим, жить чужой жизнью. Мне легко влезть в чужую шкуру. Я в курсе, каково быть Бернардом; потому-то мне так тяжело видеть его страдания. Мне легко быть Саванной. Когда ее обступают собаки, я ощущаю то же, что она. Мне хочется взять ее болезнь и взгромоздить себе на плечи. Но мне нелегко быть собой, поскольку этот странный джентльмен мне незнаком. Такое тошнотворное откровение должно удовлетворить даже самого дотошного психиатра.

— А мною вы можете быть? — спросила она. — Вы знаете, каково быть мной?

— Нет, — отозвался я, пригубив из рюмки. — Совершенно не представляю, каково быть вами.

— Врете, Том, — убежденно возразила она. — Скорее всего, насчет меня вы очень проницательны.

— Я встречаюсь с вами в вашем кабинете и целый час добросовестно мелю языком. Несколько раз мы потом выпивали вместе. Трижды мы ходили в ресторан. Но этого недостаточно, чтобы составить о вас ясное представление. Только тот образ, который вы предлагаете миру. Красивая женщина, врач-психиатр, замужем за известным музыкантом, богата, живет как королева. Правда,

Бернард немного портит глянцевую картинку, но во всем остальном вы успешно движетесь к цели и непременно войдете в тот один процент, которому завидуют остальные девяносто девять.

— Вы продолжаете обманывать.

— Вы, доктор, — очень печальная женщина. Не знаю почему, но мне самому от этого становится грустно. Если бы я мог вам помочь, то с удовольствием сделал бы это. Но я всего лишь тренер, не священник и не врач.

— Теперь вы искренни. Спасибо вам за это. Наверное, вы первый друг, который появился у меня за долгие годы.

— Я очень ценю то, что вы делаете для Саванны. Честное слово, — добавил я, чувствуя себя чертовски неуютно.

— Вы были одиноки?

— Вы сейчас болтаете с «принцем одиночества». Так Саванна назвала меня в одном из стихотворений. Этот город обостряет одиночество; оно поднимается на поверхность, как пузырьки в стакане с газировкой.

— В последнее время одиночество буквально убивает меня, — призналась Сьюзен, и я почувствовал на себе ее взгляд.

— Не знаю, что вам ответить.

— Меня очень тянет к вам, Том… Прошу вас, не спешите уходить. Выслушайте меня.

— Не надо об этом, Лоуэнстайн. — Я встал с кресла. — Я так давно считаю себя неспособным на любовь, что меня ужасает одна мысль о ней. Давайте останемся приятелями. Добрыми друзьями. Я бы оказался жуткой добавкой к вашей романтической жизни. Я — ходячий «Гинденбург»[125]. Катастрофа в чистом виде, как бы вам это ни виделось. Сейчас я пытаюсь сообразить, как сохранить брак, на спасение которого почти нет шансов. Даже думать не могу о том, чтобы влюбиться в такую красивую женщину, как вы, и столь не похожую на меня. Это слишком опасно… А теперь мне пора. Спасибо за ваши слова. В Нью-Йорке они особенно нужны и приятны. Это здорово, когда кого-то тянет к тебе, когда тебя хотят.

— Наверное, я в этом не ахти? — улыбнувшись, спросила Сьюзен.

— Нет. Вы в этом потрясающи, доктор. Вы потрясающи во всем.

Я оставил ее на террасе любоваться городскими огнями.

---

[125] Примечания: 125
Немецкий дирижабль, потерпевший катастрофу в США в 1937 г.

Глава 16



В конце весны в Коллетон на шхуне прибыли люди из другого штата. Они начали неутомимую погоню за белым дельфином. Я помню день, когда мы впервые их увидели. Мать пекла хлеб; аромат горячих буханок вперемешку с запахом роз превратил наш дом в самое благоуханное место. Мать вытащила хлеб из духовки, после чего смазала его маслом и медом. От ломтей шел пар. Мы взяли по куску и отправились пировать на причал. Расплавленное масло и мед стекали у нас с пальцев. Разумеется, все дворовые осы тут же обратили на нас свое злобное внимание. Наши руки устраивали полосатых хищниц ничуть не меньше, чем луга с медоносными травами. Мы мужественно терпели это нашествие. Хорошо, мать догадалась наполнить сладкой водой крышку от майонезной банки и отнести ее на

причал; аппетит ос был удовлетворен, что дало нам возможность спокойно подкрепиться.

Мы уже доедали хлеб, когда в одном из рукавов реки Коллетон показалось судно «Желтохвост»[126] с регистрационным номером Флориды. Судно явно не являлось рыболовецким, поскольку вокруг не летали чайки. Очертания не позволяли назвать его и прогулочной яхтой. На борту стояли шестеро загорелых людей; судя по виду — опытные моряки. В тот же день мы узнали, что это первое судно, зашедшее в воды Южной Каролины не ради рыбной ловли, а с целью изучения и охраны обитателей моря.

Команда «Желтохвоста» не делала секрета из своей миссии. Вскоре во всем округе узнали, зачем к нам из Флориды пожаловала шхуна. Капитан Отто Блэр рассказал репортеру «Коллетон газетт», что океанарий Майами получил письмо от некоего жителя Коллетона (его имя держалось в тайне), где было сказано о частом появлении в окрестных водах белого дельфина. Капитан Блэр и его команда рассчитывают поймать редкое животное и доставить в Майами, где дельфин будет привлекать туристов и служить исследователь-

[126] Примечания: 126

Желтохвост — хищная рыба семейства ставридовых. Водится по обе стороны от экватора.

ским целям. Особо подчеркивалось, что команда «Желтохвоста» — морские биологи — прибыла в Коллетон в интересах науки. Их вдохновила идея своими глазами увидеть редчайший феномен.

Возможно, эти люди достаточно знали о повадках дельфинов, но сильно недооценили характер жителей низинной части Южной Каролины. Граждане Коллетона были готовы преподать незваным гостям несколько бесплатных уроков. По городу прокатилась невидимая волна гнева. Появление «Желтохвоста» встревожило и насторожило коллетонцев. Откровенное намерение украсть Каролинскую Снежинку не укладывалось в наших головах, мы даже слов не находили от возмущения. Сами того не желая, чужаки заставили нас вспомнить о солидарности, вновь ощутить ее забытый вкус. Им предстояло в полной мере почувствовать тяжесть нашего неповиновения.

Для гостей из Флориды белый дельфин был всего лишь предметом научного любопытства, для нас же — воплощением неизъяснимой красоты и щедрости Бога, доказательством магии природы и источником экстатического любования.

Мы все, не сговариваясь, решили бороться за Снежинку.

Подражая местным лодкам, «Желтохвост» вышел в море рано утром, однако дельфин в тот день так и не показался. Члены команды вернулись на причал с угрюмыми лицами и с надеждой на подробную информацию. Но ловцы креветок встретили их молчанием.

На третий день нам с Люком вновь попался «Желтохвост». Биологи посетовали на долгие бесплодные дни, проведенные на реке в тщетных попытках встретить белого дельфина. Бойкот горожан был весьма красноречивым, от чужаков он явно не укрылся. Считая нас более бесхитростными, чем взрослых, гости из Флориды жаждали выведать хоть какие-нибудь сведения о белом дельфине.

Капитан Блэр пригласил меня и Люка на борт «Желтохвоста» и показал специальный бассейн, оборудованный на главной палубе. Это было временное пристанище для обитателей моря, пока они не попадут в большие и малые бассейны Майами. Капитан продемонстрировал нам широкие сети; они покрывали площадь в полмили. Такими сетями обычно ловили дельфинов и других крупных морских животных. Капитан Блэр оказался общительным человеком средних лет, с загорелым лицом, получившим в награду

от солнца ряды глубоких морщин. Говорил он совсем тихо. Капитан Блэр рассказывал нам, как они приучали дельфинов питаться мертвой рыбой. На это уходило недели две. Только порядком изголодавшись, дельфины соглашались есть то, к чему на воле никогда не притрагивались. Главная опасность при поимке дельфина заключалась в том, что животное могло запутаться в сети и утонуть. Так что ловля дельфинов требовала быстрых и умелых действий. Потом капитан показал нам матрасы из губчатой резины, на которые укладывали пойманных дельфинов.

— Почему вы сразу не запускаете их в бассейн? — спросил я у капитана.

— Обычно мы так и делаем, но иногда там уже плавают акулы. Бывает, дельфин начинает биться о стенки бассейна и повреждает себе плавники. Мы по опыту знаем: лучше держать их на этих матрасах и постоянно обливать морской водой, тогда у них не высохнет кожа. Мы переворачиваем их с боку на бок, иначе кровь застоится. Вот, пожалуй, и все премудрости.

— Сколько они могут обходиться без воды? — поинтересовался Люк.

— Сложно ответить однозначно, парень. На моей памяти, одного мы так держали целых пять

дней, но довезли до Майами в лучшем виде. Дельфины — создания выносливые. Кстати, ребята, когда вы в последний раз видели Моби в здешних водах?

— Моби? — удивился Люк. — Белый дельфин — самка. Ее зовут Снежинка. Каролинская Снежинка.

— Мне все равно. Такую кличку ей дали в Майами. Белый дельфин Моби. Какой-то умник из департамента общественных связей придумал.

— Тупее имени я еще не встречал, — поморщился Люк.

— Но туристы на него потянутся, как осы на сладкое, — возразил капитан Блэр.

— Раз уж вы напомнили о туристах… Вчера утром Снежинку видели в Чарлстонской гавани. С туристского теплохода, направлявшегося к форту Самтер, — сообщил Люк.

— Ты в этом уверен? — уточнил капитан.

Один из членов его команды вскочил на ноги, чтобы лучше слышать слова Люка.

— Сам я свидетелем не был. По радио передавали, — заявил брат.

На следующий же день «Желтохвост» взял курс на Чарлстонскую гавань. Они утюжили реки Эшли и Купер, высматривая свою добычу. Еще

три дня судно бороздило Уаппу-крик и Эллиотт-кат[127], пока команда не сообразила, что Люк им попросту наврал. А мой брат благодаря биологам из Флориды узнал, как поддерживать дельфину жизнь, если возникнет такая необходимость.

Когда в один из июньских вечеров на глазах у всего города гости из Флориды попытались поймать Снежинку, неприязнь к ним коллетонцев перешла в настоящую войну. Морские биологи заметили белого дельфина в Коллетонском проливе, но глубина оказалась слишком большой для их сетей, и попытка не увенчалась успехом. Весь день они следовали за Снежинкой, держась на приличном расстоянии. Команда «Желтохвоста» с бесконечным терпением ждала, когда их добыча повернет в сторону рек и речек.

Едва только чужаки выследили Снежинку, ловцы креветок через свои коротковолновые рации стали постоянно информировать друг друга о местонахождении пришлого судна. Стоило «Желтохвосту» хотя бы незначительно поменять курс, кто-то из креветочников это замечал и передавал на другие лодки. Радиоволны наполнялись

[127] Примечания: 127

Уаппу-крик, Эллиотт-кат — водные протоки, отделяющие прибрежные острова от суши.

голосами, сообщавшими о каждом шаге моряков из Флориды. В самом Коллетоне жены ловцов креветок внимательно слушали радио и перезванивались с родственниками и друзьями, делясь новостями. «Желтохвост» не мог проплыть и ярда по водам округа, чтобы об этом не становилось известно целой тайной армии.

В нашем доме рация висела над кухонной раковиной. Мать почти постоянно держала ее включенной.

— «Желтохвост» поворачивает к Йемасси-крик, — раздавалось сквозь треск и помехи. — Вряд ли сегодня им удалось найти Снежинку.

— Парни из Майами-Бич только что покинули Йемасси-крик и теперь шныряют по проливу Харпер вплоть до острова Гоат.

Город непрерывно внимал этим разведданным ловцов креветок. Потом Снежинка исчезла на неделю, а когда появилась вновь, один из капитанов тут же предупредил горожан:

— Говорит капитан Виллард Планкетт. Парни из Майами-Бич заприметили Снежинку. Идут следом в направлении реки Коллетон. На палубе видны приготовленные сети. Судя по всему, Снежинка решила навестить Коллетон.

Эта весть распространилась по городу с быст-

ротой разлитой ртути. Сила слухов, на которую и рассчитывал капитан Планкетт, вывела на берег почти всех горожан. Люди пристально следили за рекой и негромко обсуждали последние события. Шериф поставил свою машину на стоянку позади банка и присоединился к толпе. Глаза всех жителей сосредоточились на изгибе реки Коллетон, где должен был появиться «Желтохвост». Изгиб находился в миле от того места, где река вбирала в себя три рукава и превращалась в пролив.

Минут двадцать собравшиеся ждали судно из Флориды и, когда оно показалось, издали общий возглас. «Желтохвост» хорошо просматривался на фоне болотистых низин, да еще и прилив высоко поднимал его. Какой-то матрос стоял на передней палубе с биноклем и внимательно разглядывал водное пространство перед судном. Этот человек застыл, словно статуя, — он весь был погружен в выполнение командной миссии.

Мы трое находились на мосту вместе с несколькими сотнями горожан, пришедшими посмотреть, как чужаки будут ловить живой коллетонский символ удачи. Вскоре напряженное любопытство сменилось тревогой: Снежинка миновала последний поворот и теперь величественно плыла в сторону города. Солнце

серебрило ее бледные плавники, сверкавшие в невысоких волнах. В тот день красота Снежинки вызвала в людях не столько восхищение, сколько отчаяние. Самка белого дельфина совершенно не подозревала, какая опасность ей грозит. Она выпрыгивала из воды в ослепительном блеске солнечных лучей, затем ныряла, и через какое-то время ее спинной плавник, напоминающий белый шеврон, снова разрезал воду, но уже на сотню ярдов ближе к мосту. К нашему удивлению, горожане приветствовали Снежинку громкими криками. Это был апофеоз человеческого восторга. Однако коллетонцы не забывали, зачем они собрались; гнев невидимыми волнами растекался по толпе. Мы и сами не заметили, как перестали быть пассивными наблюдателями, и с наших губ сорвался совершенно незнакомый нам боевой клич. Мы превратились в коллетонское ополчение, слова паролей и команд огненными письменами вспыхивали в нашем подсознании. Снежинка опять скрылась, затем поднялась над водной гладью. Ее встретили аплодисментами. Сейчас она казалась загадочным, неземным существом. Ее цвет непостижимым образом менялся от лилового до жемчужного. На залитой солнцем поверхности реки Снежинка мгновенно стано-

вилась серебристой. Однако наше любование дельфином могло оказаться последним. С борта «Желтохвоста» уже спускали шлюпку.

Городское ополчение нуждалось в застрельщике; им, к моему удивлению, стал Люк.

Движение по мосту прекратилось; водители выбрались из своих машин и тоже стали следить за приготовлениями к поимке белого дельфина. На мост въехал грузовик, перевозивший помидоры с одной из ферм Риса Ньюбери. Судя по всему, водителю не было дела до Снежинки. Он отчаянно сигналил, требуя освободить ему дорогу.

— Нет. Так нельзя, — пробормотал Люк, обращаясь к самому себе.

Брат перелез через борт грузовика и начал сгружать ящики с помидорами на мост. Сначала я решил, что Люк помешался, но потом понял его замысел. Мы с Саванной вскрыли ящик и начали раздавать помидоры присутствующим. Водитель грузовика выскочил из кабины и потребовал прекратить безобразие, однако Люк даже не повернул головы. Он продолжал передавать ящики своим друзьям и соседям. Когда люди стали вытаскивать из своих багажников монтировочные ключи и вскрывать ими тару, водитель завопил еще сильнее. Машина шерифа

со стоянки двинулась в сторону Чарлстонского шоссе, находившегося на другом конце города.

Едва «Желтохвост» приблизился к мосту, на палубу полетели сотни помидоров. Зеленый залп сбил с ног человека с биноклем. Помидоры были твердыми, как картофелины. Тому, кто возился с сетью возле кормы, попало по лицу. Он схватился за нос. По пальцам текла кровь. Следующая овощная атака вынудила экипаж «Желтохвоста» укрыться в трюме и каюте. Кто-то кинул монтировку в болтавшуюся сбоку шлюпку. Толпа одобрительно загудела. Водитель грузовика продолжал истошно орать, но тщетно. Ящики с помидорами расходились, как горячие пирожки.

«Желтохвост» скрылся под мостом, и двести горожан поспешили на другую сторону, чтобы встретить вражеское судно во всеоружии. Мы ощущали себя лучниками, стреляющими с городской стены по скверно вооруженной пехоте. Броски Саванны были сильными и меткими; она нашла свой ритм и даже свой стиль. Каждое попадание она сопровождала восторженным криком. Люк швырнул вниз целый ящик. Тот угодил на заднюю палубу; раздавленные помидоры, как мраморные шарики, покатились к решетчатой дверце трюма.

Когда «Желтохвост» удалился от моста и оказался вне досягаемости (правда, некоторые сильные и ловкие метатели еще обстреливали палубу), у Снежинки вдруг сработал инстинкт самосохранения. Она миновала правый борт своих преследователей и направилась обратно к мосту. Животное возвращалось под нашу защиту. Горожане встретили дельфина аплодисментами. «Желтохвост» стал медленно и не очень уверенно разворачиваться. Руки горожан потянулись к оставшимся ящикам. На этот раз даже водитель злосчастного грузовика поддался массовой истерии и встал у перил с помидором в руке, ожидая приближения вражеского судна. «Желтохвост» пошел к мосту, но неожиданно резко поменял курс и двинулся вверх по реке. А Каролинская Снежинка — единственный белый дельфин на планете — поплыла в воды Атлантики.

На следующий день городской совет подписал постановление, объявлявшее Каролинскую Снежинку гражданкой округа Коллетон, а попытки изъять ее из вод округа — уголовным преступлением. Одновременно власти Южной Каролины издали аналогичный закон, где уголовным преступлением считалось изъятие живых существ

вида Phocaena[128] и вида Tursiops[129] из территориальных вод округа Коллетон. Менее чем за сутки наш округ стал единственным в мире местом, где ловля дельфинов превратилась в преступление.

Вечером, пришвартовав судно к причалу, где стояли лодки креветочников, капитан Блэр отправился прямо к шерифу Лукасу и потребовал, чтобы тот арестовал каждого, кто бросался помидорами в его шхуну. К сожалению, капитан Блэр не мог назвать ни одного имени. Шериф, позвонив по нескольким номерам, нашел четырех свидетелей, которые могли под присягой подтвердить в суде, что в момент прохождения «Желтохвоста» под мостом наверху не было ни одной живой души.

— Тогда откуда у меня на палубе оказалась сотня фунтов помидоров? — возмутился Блэр.

— У нас, капитан, сезон созревания помидоров. А они, знаете ли, растут повсюду.

Лаконичный ответ шерифа по достоинству оценили во всех домах Коллетона.

Однако парни из Майами не собирались так

---

[128] Примечания: 128
Свинья морская.

[129] Примечания: 129
Афалина.

просто сдаваться. Они разработали новый план по поимке Снежинки. В главное русло они больше не заходили, сосредоточив свои поиски за пределами территориальных вод округа, поскольку в территориальных водах дельфины теперь находились под защитой закона. Однако за «Желтохвостом» двигались патрульные суда Комиссии по охоте и рыболовству штата Южная Каролина, а также небольшая флотилия прогулочных лодок, управляемых коллетонскими женщинами и детьми. Стоило только «Желтохвосту» засечь Снежинку и начать преследование, как эти лодки начинали маневрировать на пониженных оборотах между шхуной и белым дельфином. Люди капитана Блэра всеми силами пытались протиснуться между коллетонскими лодками, но горожане искусно блокировали им путь. Так продолжалось, пока Снежинка не поворачивала в сторону реки Коллетон.

Мы с Люком и Саванной каждый день выводили свою лодку и присоединялись к флотилии сопротивления. Люк делал зигзаги перед самым носом вражеского судна, игнорируя его гудки и едва заметно снижая обороты лодочного мотора. Какими бы профессиональными ни были действия капитана Блэра, ему не удавалось обойти

Люка. Мы с Саванной закидывали удочки, делая вид, что промышляем королевской макрелью. Частенько команда «Желтохвоста» собиралась на носу и бросала нам угрозы и язвительные насмешки.

— Эй, ребята, убирайтесь отсюда, пока мы по-настоящему не разозлились! — крикнул нам кто-то из них.

— Мистер, мы просто ловим рыбу, — отозвался Люк.

— И какую же? — устало усмехнулся наш противник.

— Прошел слух, что где-то здесь плавает белый дельфин, — сообщил Люк, еще чуть-чуть сбавляя обороты мотора.

— Ты это серьезно, задира? В таком случае вы занимаетесь недостойным делом.

— Мы занимаемся тем же, чем и вы, мистер, — вежливо произнес Люк.

— Если бы мы были во Флориде, мы бы протаранили вашу посудину.

— Но здесь не Флорида, мистер. Или вы до сих пор не поняли? — спросил мой брат.

— Деревенские чурбаны! — разозлился парень.

Люк взялся за дроссель, и скорость нашей лодки стала черепашьей. Мы слышали, как мощные

двигатели «Желтохвоста» тоже сбросили обороты. Нос судна почти навис над нашей лодкой.

— Он назвал нас деревенскими чурбанами, — сказал Люк.

— Назвать меня деревенским чурбаном? — возмутилась Саванна.

— Это оскорбляет мои чувства, — добавил благородного возмущения я.

А впереди белый дельфин благополучно завернул в Лэнгфорд-крик; вскоре алебастровый плавник исчез среди зелени болот. В устье стояли три лодки, готовые двинуться наперехват, если «Желтохвост» сумеет обойти Люка.

Через тридцать дней безуспешных маневров и обструкции местных жителей «Желтохвост» покинул южные границы коллетонских территориальных вод и отправился в Майами ни с чем. Так явствовало из интервью, данного капитаном Блэром перед отплытием. Капитан заявил, что непонятное упрямство, проявленное жителями Коллетона, сорвало программу научных исследований белого дельфина. Однако последней каплей стал снайперский огонь по его судну со стороны острова Фрименс. Не желая рисковать жизнью команды, капитан Блэр принял окончательное решение завершить охоту на Снежинку.

И действительно, «Желтохвост» миновал последние барьерные острова и повернул на юг, держа путь в открытый океан. Ловцы креветок видели это со своих лодок.

Однако «Желтохвост» направился не в Майами. Проделав миль сорок, шхуна подошла к устью реки Саванны и встала на одном из многочисленных рыболовецких причалов городка Тандерболт. Там члены команды провели неделю: они пополняли запасы и ждали, когда страсти в округе Коллетон немного улягутся. Все это время капитан Блэр и его парни внимательно следили за радиопереговорами коллетонских ловцов креветок. Те, сами того не подозревая, регулярно информировали экипаж «Желтохвоста» обо всех перемещениях Снежинки. Через неделю, под покровом ночи, «Желтохвост» покинул причал Тандерболта и взял курс на север, стараясь двигаться за пределами трехмильной прибрежной полосы и не попадаться на глаза ловцам креветок, что промышляли близ берегов. Парни из Майами ждали условного сигнала.

Через три дня плавания в нейтральных водах команда «Желтохвоста» услышала нужный сигнал.

— Всем капитанам. Только что в Заяц-крик я

наткнулся на топляк[130]. Если кто-то из вас, ребята, находится поблизости, имейте в виду. Прием.

— В Заяц-крик креветки не водятся, — послышался другой голос. — Далеко же тебя занесло, капитан Генри. Прием.

— Я ловлю их везде, где они могут попасться, — ответил мой отец, глядя, как Каролинская Снежинка плывет за косяком рыб к отмели.

Река Заяц-крик текла вне пределов округа Коллетон. «Желтохвост» на полной скорости помчался на запад, к указанному месту. Экипаж готовил сети, а капитан Блэр смотрел на побережье Южной Каролины и надеялся, что больше его не увидит… Ловец креветок из Чарлстона рассказал, как в половине двенадцатого наблюдал поимку Каролинской Снежинки. Самка белого дельфина лихорадочно металась и запуталась в сетях. Но команда действовала быстро и слаженно; им удавалось держать голову Снежинки над водой. Экипаж судна подогнал дельфина к моторной лодке и поднял на борт.

К тому времени, когда весть о захвате Снежинки достигла Коллетона, «Желтохвост» находился в нейтральных водах и держал курс прямиком

---

[130] Примечания: 130

Топляк — затонувшее при сплаве бревно.

на Майами, куда он должен был прийти через пятьдесят восемь часов. В Коллетоне ударили в церковные колокола, но это было лишь выражением бессилия и ярости. Горожанам казалось, что реку, на которой стоит их город, осквернили, лишив присущего ей волшебства.

Слово «топляк» было условным сигналом, придуманным моим отцом. Он согласился помочь капитану Блэру и некоторое время бороздил воды сопредельных округов, пока не заметил Снежинку в территориальных водах округа Гиббс. Генри Бинго и был тем неназванным жителем Коллетона, который сообщил во Флориду о белом дельфине. Через две недели после похищения дельфина и через неделю после статьи в «Коллетон газетт», где был помещен снимок Снежинки в океанарии Майами, отец получил от капитана Блэра благодарственное письмо и чек на тысячу долларов в качестве вознаграждения.

Отец горделиво помахал чеком у нас перед носом.

— Мне стыдно за тебя, Генри, — едва сдерживаясь, сказала мать.

— Я заработал тысячу баксов, Лила. Это самые легкие деньги в моей жизни. Жаль, что не все дельфины, которые мне попадаются, — альби-

носы. Тогда бы я плевал в потолок, ел шоколад и скупал банки.

— Если в этом городе найдется хоть пара человек, способных на поступок, они отправятся в Майами и вызволят Снежинку. А ты лучше помалкивай о своем подвиге. Горожане до сих пор возмущаются.

— Как тебе вообще в голову взбрело продать нашего дельфина? — спросила Саванна.

— Ты так говоришь, дорогая моя, будто Снежинка пошла на мясо. Она плавает себе в богатеньком городе, лопает деликатесную макрель. И всего-то забот у нее — попрыгать через обручи на радость детишкам. Теперь ей не надо опасаться акул. Считай, что в Майами она живет, как обеспеченная пенсионерка. Умей находить во всем положительные стороны.

— А по-моему, папа, ты совершил грех, который даже Бог не простит, — мрачно изрек Люк.

— По-твоему? — усмехнулся отец. — Что-то у Снежинки на спине я не видел клейма «Собственность округа Коллетон». Я всего лишь известил океанарий, что в водах Коллетона водится природный феномен, способный привлечь к ним толпы народа. Я немного подсуетился и получил награду.

— Эти люди не нашли бы Снежинку, если бы ты каждый раз не передавал по радио, где она, — вмешался я.

— Я был их офицером связи. Надо смотреть на вещи реально. В нынешнем сезоне креветки не прут косяками. Тысяча баксов — это еда на столе и шмотки для вас. Это целый год учебы в колледже для кого-то одного.

— Я не притронусь к еде, купленной на эти деньги, — заявил Люк. — И такой одежды мне не надо.

— Снежинка радовала нас более пяти лет, — надтреснутым голосом произнесла мать. — Однажды, Генри, ты наказал Тома за убийство белоголового орлана. Но орланов в мире намного больше, чем белых дельфинов.

— Ты не сравнивай, Лила. Я не погубил Снежинку. Я передал ее туда, где она в безопасности. Морские воды, знаешь ли, не аквариум. Я считаю себя героем.

— Ты продал Снежинку в рабство, — бросила ему мать.

— Какие там научные исследования! — подхватила Саванна. — В Майами ее сделают цирковым дельфином.

— Ты предал себя и свое ремесло, — добавил

Люк. — Я бы еще понял, будь ты каким-нибудь бизнесменом. Одним из этих молодых паршивцев с блестящими волосами. Но ты же ловец креветок, отец. Ловец креветок, поменявший Снежинку на деньги.

— Я и креветок меняю на деньги! — крикнул отец.

— Это не одно и то же, — возразил мой брат. — Бывают невосполнимые потери.

— Да я сегодня видел в реке два десятка дельфинов.

— И среди них — ни одного белого. Ни одного особенного, — заметил Люк.

— Получается, это из-за нашей семьи поймали Снежинку, — заключила Саванна. — Я чувствую себя… дочерью Иуды Искариота, хотя, честное слово, Иуда мне нравится больше.

— Этого нельзя было делать, Генри, — вздохнула мать. — Тебе это принесет несчастье.

— Лила, да жизнь и так меня не особо баловала. И что болтать попусту? Сделанного назад не воротишь.

— Я попробую, — прошептал Люк.

Недели через три, когда родители уже спали и до нас доносился негромкий сбивчивый храп отца, Люк шепотом поделился с нами своими

намерениями. Казалось бы, что тут такого особенного? И все же годы спустя, когда мы с Саванной вспоминали ту звездную душную ночь, нас удивляло, что мы с точностью можем назвать время превращения нашего старшего брата из пылкого мальчишки-идеалиста в человека действия. Нас испугала и взбудоражила дерзость его плана, и нам совершенно не хотелось в нем участвовать. Люк продолжал спокойно и настойчиво убеждать нас, пока мы не попали под магнетизм его своеобразного ненавязчивого красноречия. Сам он решение уже принял и полночи вербовал нас в союзники для своего первого настоящего сражения с миром. В смелости Люка мы не сомневались с той самой минуты, когда увидели его наедине с тигром. Теперь мы столкнулись с вполне очевидным безрассудством брата.

Через три дня, после предпринятых Люком тщательных приготовлений, мы выехали на федеральное шоссе номер семнадцать и помчали на юг. Было раннее утро. Люк без конца давил на акселератор; в кабине во всю мощь гремело радио.

Рэй Чарльз исполнял: «Hit the Road, Jack»[131], а мы ему подпевали. Наш приемник был настроен на станцию «Биг эйп», которая вещала из Джексонвилля. Попивая пиво из холодильника, мы неслись к Саванне по мосту имени Юджина Талмаджа[132]. У шлагбаума мы притормозили. Люк протянул старику служащему доллар, оплатив наш проезд туда и обратно.

— Что, ребятки, решили немного прогуляться по магазинам Саванны? — спросил старик.

— Нет, сэр. Мы едем во Флориду. Будем красть дельфина, — ответил Люк.

В той безумной гонке все мои пять чувств ослепительно пылали. Казалось, стоит мне только взглянуть на какую-нибудь пальму, и она тут же загорится. Я был заряжен электричеством, охвачен экстазом и ужасом одновременно. Каждая песня, звучавшая по радио, воспринималась

---

[131] Примечания: 131

Известный хит Рэя Чарльза (переводится как «Проваливай, Джек»). Однако здесь у автора некоторая нестыковка во времени. Упомянутая песня появилась в сентябре 1961 г., а «освободительная» поездка за Снежинкой состоялась, по всей вероятности, в августе.

[132] Примечания: 132

Имеется в виду старый мост через реку Саванну, названный в честь губернатора Джорджии, дважды избиравшегося на свой пост в 1930–40-е гг. Впоследствии мост был признан опасным для судоходства и в 1990 г. заменен новым.

так, словно ее ставили специально для меня. В общем-то голос у меня отвратительный, но в те минуты, когда мы мчали по прибрежным шоссе Джорджии, обсаженным дубами, он звучал просто потрясающе. Люк вел наш грузовичок на полной скорости, притормаживая только перед городами. Скорость всегда была у брата в крови; неудивительно, что спустя два часа после того, как мы покинули остров Мелроуз, мы пересекли границу штата Флорида. Мы даже не притормозили, чтобы зайти в павильон и выпить по стакану апельсинового сока, бесплатно полагавшегося всем, кто въезжал на территорию штата.

Улицы Джексонвилля несколько замедлили наше продвижение, зато река Сент-Джонс предстала перед нами захватывающим зрелищем. Мы впервые увидели реку, которая текла на север. Затем мы выбрались на шоссе A1A, и под колесами снова заблестел разогретый асфальт, а слева замелькал океан. Нам казалось, что его воды, зная о нашей партизанской миссии и одобряя ее, вместе с нами торопятся на юг.

В глубине души мы ощущали себя и ворами, и людьми, поставившими себя вне закона; мы питались неистовой энергией друг друга. Мой брат засмеялся в ответ на реплику Саванны. Я обер-

нулся и щекой почувствовал завиток ее волос, а носом — душистый их запах. Я вдруг наполнился совершенной, невыразимой любовью своих брата и сестры; любовью настолько сильной, что я ощущал ее вкус на языке, ее сладостное тепло проникало в грудь. Наклонившись, я поцеловал Саванну в шею, а левой рукой стиснул плечо Люка. Он сжал мою ладонь и вдруг, к моему удивлению, с необычайной нежностью поднес ее к губам. Я откинулся на сиденье, позволяя дыханию Флориды наполнять меня радостью.

Через десять часов почти безостановочной езды (две короткие передышки на заправках не в счет) мы миновали указатель поворота на знаменитый ипподром в пригороде Хайалиа. Впереди показались очертания города Майами, окруженного морем. Теплый бриз шелестел в листве кокосовых пальм, по широким улицам разливался аромат садов — в основном благоухание бугенвиллей. Раньше мы никогда не были во Флориде, и казалось несколько странным катить по улицам незнакомого города, выискивая, под каким лимонным деревом или авокадо остановиться на ночлег.

— И что теперь? — спросил я. — Мы же не можем заявиться в океанарий и сказать: «Привет!

Мы приехали украсть вашего белого дельфина. Не будете ли вы так любезны собрать ее вещи?»

— Сначала мы осмотримся, — ответил Люк. — Все продумаем. Предварительный план у меня есть, но нам надо подготовиться. Прежде всего мы тщательно изучим территорию. Там наверняка есть ночной сторож — какой-нибудь дурень, следящий, чтобы ребятня не лазила и не пыталась ловить местную живность шестами и всяческими приспособлениями.

— И что мы будем делать с ночным сторожем? — осведомилась Саванна.

— Лично мне не хотелось бы его ликвидировать, — будничным тоном сообщил Люк. — А вам?

— Ты что, спятил? — накинулся я на него. — Или с дерева только вчера слез?

— Это лишь в случае чрезвычайной ситуации.

— Нет, Люк, — возмутилась Саванна. — В таких чрезвычайных ситуациях мы участвовать не станем.

— Да вы что? Я же пошутил. Кстати, у них тут содержится косатка. Завтра можем освободить и ее.

— Кажется, Люк, мы приехали не за косаткой, — напомнила Саванна. — По голосу чую: ты

готов выпустить весь океанарий. Опомнись и не отвлекайся.

— Я бы не прочь опустошить их чертов бассейн, — мечтательно заметил Люк. — Это бы они надолго запомнили.

— Кстати, почему косаток называют «убийцами китов»? — поинтересовался я.

— Думаю, потому, что им нравится носом бить китов под зад, — предположил Люк.

Мы свернули на дорогу, ведущую в сторону острова Ки-Бискейн[133], и вскоре справа увидели комплекс океанария. Люк сбросил скорость. Мы медленно ехали по территории стоянки. В сторожке горела лампа. Заслышав шум мотора, охранник подошел к окну. Его лицо в ореоле электрического света расплывалось и выглядело нелепо. Территорию океанария от вторжения незваных гостей оберегал восьмифутовый забор, по верху которого была натянута колючая проволока. Люк дал полный газ, и мы вылетели со стоянки. Под колесами пикапа шуршал гравий. Судя по запаху, где-то рядом находился зоопарк. Пахло так, как в клетке Цезаря, только в сто раз сильнее. В темноте протрубил невидимый слон.

---

[133] Примечания: 133

Остров к востоку от Майами, отделенный от материка узким проливом. Место отдыха и занятия спортом.

Люк постарался повторить этот звук.

— Не умеешь ты подражать слонам, — усмехнулась Саванна.

— А я думал, вышло очень естественно, — признался Люк. — Тогда на что это было похоже?

— На пуканье устрицы, застрявшей в «Криско».

Люк взревел еще раз, затем крепко обнял сестру и притянул к себе.

Ночевали мы на скамейке в парке Ки-Бискейн, а утром, когда солнце уже было высоко, собрали свои пожитки и отправились в океанарий.

Мы купили билеты и прошли через турникет. Первые полчаса мы посвятили общему осмотру парка. Территория ограничивалась стальной плетеной сеткой, установленной по параболе. Еще вчера, взглянув на колючую проволоку, находящуюся сверху, мы оставили все мысли перелезть через ограждение. Оглядевшись, мы подошли к стоянке. С внешней стороны забора росли пальмы.

— Подгоню машину к самым деревьям и проделаю в сетке дыру, — сообщил Люк.

— А если нас поймают? — засомневался я.

— Кто мы такие? Безмозглые школьники из Коллетона. Поспорили с одноклассниками, что

вызволим Снежинку. Действовали как деревенские остолопы, у которых любимое развлечение — стрелять арбузными семечками по простыням, повешенным для просушки на заднем дворе.

— Только учти, Люк, у охранника есть револьвер, — напомнила Саванна.

— Знаю, сестренка, но он вряд ли сможет в нас выстрелить.

— Откуда ты знаешь?

— Толита снабдила меня целым пузырьком снотворных таблеток. Ну тех, что она зовет «маленькими красными дьяволятами».

— Ты велишь охраннику разинуть рот и запихнешь туда таблетку? — усмехнулся я.

Грандиозный план Люка и в самом деле начинал казаться мне детской забавой.

— Вообще-то, братец, я пока не решил, как его угостить, — признался Люк. — Зато нашел в заборе место, подходящее для отверстия.

— Интересно, а как мы вытащим Снежинку из воды? — продолжал я.

— С помощью все того же снотворного.

— Ага, легче легкого, — съязвил я. — Прыгаем в воду, направляемся к дельфину и ловим его голыми руками. Парни с «Желтохвоста» — профессионалы с кучей всяких приспособлений — и

то возились целый месяц. Конечно, куда им до нас? Мы подплывем к Снежинке, она радостно разинет пасть, и мы высыпем туда горсть бабушкиных «дьяволят». Великолепная затея, Люк.

— Тут ты прав, Том. Мы должны убедиться, что по-настоящему усыпили Снежинку.

— Снежинка рискует стать первым в истории дельфином, погибшим от передозировки, — пошутила Саванна.

— Нам нельзя ошибиться, — заметил Люк. — Давайте порассуждаем. Снежинка весит четыреста фунтов. Толита — фунтов сто. Она выпивает на ночь одну таблетку. Значит, Снежинке требуется четыре или пять.

— А если серьезно, Люк? Кто вообще слышал, чтобы дельфины принимали снотворное? Том прав.

— Точно, — согласился Люк. — Зато я уверен, что дельфины едят рыбу. Если в рыбу напихать таблеток, в нужное время Снежинка впадет в дрему без всякой колыбельной.

— Люк, с чего ты взял, что дельфины спят? — спросил я.

— Да это пока только наметки. Зато представь, сколько всего мы узнаем о дельфинах за время нашей маленькой экспедиции.

— Тем не менее, Люк, если твой план не сработает? — поинтересовалась Саванна.

— Ничего страшного. — Люк пожал плечами. — Во всяком случае, мы пытались освободить Снежинку. А сколько удовольствия нам принесла эта поездка? В Коллетоне лишь вздыхают и размазывают слезы. Как же, у них отобрали белого дельфина! А мы трое вместо пустой болтовни находимся в Майами и планируем устроить Снежинке побег из тюрьмы. Мы будем рассказывать об этом своим детям. А если сумеем вытащить дельфина, нас ждут парады, конфетти и катание в открытых машинах. Мы будем до конца дней гордиться своим подвигом. Вам нужно все это представить, ярко и образно. Я помогу вам. Закройте глаза…

Послушно зажмурившись, мы внимали голосу брата.

— Итак, мы с Томом подплываем к Снежинке. Буксируем ее туда, где нас с носилками ждет Саванна. Обвязываем дельфина веревками, очень осторожно вытаскиваем из воды и укладываем на носилки. Охранник уже спит. Пару часов назад мы растворили таблетку снотворного в его стакане с «пепси». Создаете мысленную картину? Мы переносим Снежинку в грузовичок — и про-

щай, Флорида. А теперь слушайте внимательно. Представьте: мы стоим на причале в Коллетоне. Вытаскиваем Снежинку из машины, развязываем веревки и отпускаем в реку, где она родилась и где ее настоящий дом. Том и Саванна, вы способны увидеть это?

Голос брата гипнотизировал нас, переносил обратно в Коллетон. Мы с Саванной одновременно открыли глаза и обменялись кивками. Мы увидели.

Наша экскурсия по периметру парка продолжалась. В южном конце, у причала, покачивался знакомый нам «Желтохвост». Судя по всему, команды на судне не было, но мы не стали приближаться. Свернув к павильону с дельфинами, мы прошли по подвесному деревянному мосту, сооруженному над глубоким рвом с прозрачной водой, где безостановочно кружили большие акулы. Они держались на расстоянии двадцати ярдов друг от друга. Рыба-молот и молодая серо-голубая акула плавали рядом. Их хвосты лениво шевелились, каждый поворот был предсказуем. Попав в океанарий, эти грозные существа лишились своего свирепого величия и теперь напоминали смирных аквариумных рыбок. Посетители, затаив дыхание, восторженно следили

за их апатичными движениями.

Зрители представляли собой довольно большую и улыбчивую толпу. Мы пристроились к обладателям бермудских шортов и сандалет на каучуковой подошве и вместе с ними направились к амфитеатру, где в полдень должна была выступать косатка по имени Дредноут. По нашим первым впечатлениям, Флорида была местом, где толпы вяло-дружелюбных людей встречаются с целью пожать белые мягкие руки и продемонстрировать икры таких же белых безволосых ног. Солнце выжгло траву до оттенков бледной зелени. На лужайках работали установки автоматического полива; среди лилий, словно пчелы, жужжали красногрудые колибри. У входа в амфитеатр висел плакат: «Навестите дельфина Моби во время кормления».

— Непременно, — сказал Люк.

Туристы устраивались вокруг большого бассейна, вмещающего два миллиона галлонов воды. До нас долетали обрывки фраз: людям не терпелось увидеть белого дельфина. Когда все расселись, на деревянный помост, укрепленный над водой, вышел стройный загорелый светловолосый парень. Он приветственно всем помахал. Из динамиков раздался записанный на пленку женский голос.

Мы услышали историю Дредноута, пойманного в числе двенадцати косаток в проливе Королевы Шарлотты рядом с островом Ванкувер и доставленного в Майами специальным авиарейсом. За поимку Дредноута океанарий заплатил шестьдесят тысяч долларов. На обучение косатки трюкам ушел целый год. К сожалению, включить Дредноута в шоу дельфинов невозможно, поскольку этот вид косаток — латинское название Orcinus orca — предпочитает дельфинов в качестве своего излюбленного лакомства.

Пока звучал рассказ, в дне бассейна открылись невидимые ворота. Прозрачная вода забурлила.

Ведущий пристально всматривался в воду, глядя на косатку, плывущую к нему из глубины. Парень сосредоточился, что было видно по морщинам на его лбу. Он наклонился, держа за хвост королевскую макрель, сделал круговое движение рукой, и сейчас же вода послушно пришла в движение, словно включились гигантские лопасти. Из середины бассейна к стенкам стали отходить небольшие волны. Дредноут, не снижая скорости, погрузился на дно, затем выпрыгнул, словно небоскреб, внезапно появившийся из-под земли, и взял честно заработанную рыбину. Он сделал это с грациозностью маленькой девочки,

которую угостили мятным леденцом. Затем Дредноут описал в воздухе длинную дугу. Когда же он опустился в воду, казалось, что с высокого утеса упало дерево.

Бассейн ответил мощной волной, захлестнувшей двадцать три ряда. Шоу Дредноута сопровождалось принудительным купанием зрителей. У них с волос стекала морская вода, густо пахнущая косаткой.

После Дредноут носился по бассейну и снова выныривал, чтобы полюбоваться ослепительным солнцем Флориды и вдохнуть аромат цитрусовых растений и бугенвиллей. Мы с любопытством разглядывали белое брюхо косатки и удивительную переливчатость ее черной головы, отливающей словно кожаные туфли. Спинной плавник Дредноута напоминал черную пирамиду; он с шипением рассекал воду, совсем как острый нож, вспарывающий нейлоновую ткань. Я любовался линиями тела животного и мощными зубами, каждый из которых был величиной с настольную лампу. Прежде я не встречал такой могучей и управляемой силы. Дредноут снова прыгнул и позвонил в колокол, подвешенный над водой. Затем разинул пасть и позволил загорелому блондину почистить себе зубы шваброй. Представление

приближалось к концу. Дредноут во всем своем великолепии, блестя плавниками и вздымая за собой галлоны воды, выскочил и зубами дернул веревку с прикрепленным к ней американским флагом. Тот гордо взвился над бассейном. Толпа в который раз приветственно закричала и в который раз получила порцию соленой воды.

— Вот это зверь! — восхитился Люк.

— Можешь себе представить, что за тобой в море погналась косатка? Что бы ты делал? — спросила Саванна.

— Знаешь, сестренка, она такая громадина! Мне останется только одно: покориться своей судьбе.

— Хотел бы я увидеть косатку в Коллетоне, — усмехнулся я.

— Отличный способ наказания преступников, — вдруг сказал Люк. — Дать им купальный костюм, прикрепить к разным частям тела несколько макрелей — и пусть переплывают бассейн. Сумели справиться — свободны. Не сумели — океанарий сэкономит на рыбе.

— Люк, ты великий гуманист, — вздохнула Саванна.

— Я имел в виду отъявленных негодяев. Повинных в массовой гибели людей. Таких, как Гитлер. Убийц детей. Всю шваль планеты. Нарушители

уличного движения и мелкие воришки не в счет.

— Все равно это была бы жуткая смерть, — заметил я.

Дредноут в это время прыгнул через огненное кольцо и брызгами воды потушил пламя.

— Можно было бы сделать это частью шоу, — развивал мысль Люк. — Надо подбросить идею отцу. Он доработает. Например, косатка выныривает из воды и звонит в колокол. В награду ей дают слопать насильника.

Дредноут завершил выступление колоссальным прыжком, после которого с наслаждением плюхнулся в воду. Несколько сотен насквозь мокрых зрителей покинули зал и отправились к дельфинам. В их числе были и мы.

После косатки дельфины показались нам маленькими суетливыми существами. Хотя их трюки были изящней и разнообразней, после бунтарства Дредноута они воспринимались как милые пустячки. Дельфины работали на совесть, но они не были косатками. Впрочем, дельфинов это вряд ли волновало. Они выглядели вполне счастливыми. Словно артиллерийские снаряды, они взмывали на двадцать футов, показывая зрителям свои гладкие яшмовые тела. С морд не сходила шутовская улыбка, что добавляло

искренности исполняемым номерам. Дельфины играли в бейсбол и боулинг, танцевали на хвостах, проходя всю длину бассейна, бросали мячи в кольца и выбивали изо рта дрессировщика сигареты, тщетно пытаясь отучить его от курения.

Каролинская Снежинка одиноко плавала в небольшом бассейне. Толпа туристов облепила ограждение. Снежинка двигалась по периметру, сбитая с толку и слегка скучающая. Из динамиков звучал голос все той же женщины. Она рассказывала о поимке Снежинки, словно об экзотическом и опасном приключении, сравнимом с поисками Северо-Западного прохода в арктических морях.

Кормление Снежинки началось в три часа. Служитель принес ведро с голубыми карангами[134]. Достав рыбину, он кинул ее в противоположный конец бассейна. Снежинка развернулась, устремилась туда с необычайным изяществом и подхватила еду с поверхности. Туристы переговаривались, пытаясь определить цвет Снежинки. А мы, ее будущие освободители, с гордостью слушали слова об удивительной, сияющей красоте этого природного феномена.

Мы наблюдали за процессом и видели: работ-

[134] Примечания: 134
Каранга — рыба семейства ставридовых.

ник не просто бросает рыбу Снежинке, одновременно он дрессирует дельфина. Добившись того, чтобы Снежинка двигалась в нужном направлении, служитель усложнил задачу. Теперь он держал корм на весу, заставляя дельфина выныривать из воды и дотягиваться до его руки. Этот человек был профессионалом, терпеливым и опытным. Когда Снежинка выпрыгнула, зрители наградили ее аплодисментами. Дрессировщик бросил очередного каранга в ее пасть, совсем как пастор, кладущий священную облатку в рот маленькой девочке, пришедшей на причастие.

— Том, мы с тобой пойдем на рыбный рынок, — шепнул мне Люк. — А ты, Саванна, заблаговременно познакомься с ночным охранником. Океанарий закрывается в восемь.

— Мне всегда хотелось поиграть в грешную соблазнительницу, — призналась Саванна.

— Не надо его соблазнять. Просто подружись с ним. А затем усыпи этого сукина сына.

В Коконат-Гроув[135] мы с Люком купили полдюжины мерлангов и картонное ведерко жареной курятины. К океанарию мы вернулись в половине восьмого. Саванна вовсю болтала с ночным

---

[135] Примечания: 135
Пригород Майами.

охранником, готовящимся заступить на дежурство.

— А вот и мои братики, — захихикала сестра. — Ребята, я тут познакомилась с замечательным человеком.

— Она не слишком докучала вам? — обратился к охраннику Люк. — Мы на денек забрали ее из сумасшедшего дома. Под свою ответственность.

— Докучала? Такая милая девушка? Когда я прихожу, все уходят. Словом перекинуться не с кем.

— Между прочим, мистер Биверс родом из Нью-Йорка, — сообщила Саванна.

— Хотите жареной курятины? — предложил Люк.

— Не откажусь.

Охранник взял куриную лапку.

— А как насчет «пепси»?

— Я пью исключительно кофе. О, уже и закрывать пора. Если хотите, идемте со мной. Я должен лично убедиться, что на территории никого не осталось. Единственное неудобство в моей работе.

Охранник включил запись. Послышался громкий рев «туманной» сирены, после чего все тот же женский голос вежливо попросил посетителей не задерживаться и назвал время открытия

океанария. Мистер Биверс вышел из сторожки. Я и брат отправились вместе с ним по проходу между дельфинарием и павильоном с косаткой. Мистер Биверс добросовестно дул в свисток. Тем временем Саванна подняла крышку кофеварки на его столе и приправила сваренный напиток парой таблеток, затем тщательно размешала, следя, чтобы снотворное полностью растворились.

Мы с Люком следовали по пятам за мистером Биверсом. Он с добродушным юмором подгонял туристов, говоря, что им пора домой и что им всегда здесь рады. Ненадолго он остановился возле бассейна, в котором беспокойно двигалась Снежинка.

— Конечно, это отклонение от природных норм, — заметил охранник. — Но зато какое прекрасное!

Оглянувшись, он увидел, как какой-то подросток бросил фантик прямо на дорожку.

— Молодой человек! Мусорить — это преступление против Творца, создавшего нашу зеленую планету.

Пока мистер Биверс читал нотации, Люк кинул Снежинке мерланга. Она дважды проплыла мимо и только тогда заметила рыбину, которую тут же проглотила.

— Сколько таблеток ты засунул в мерланга? — спросил я.

— Достаточно, чтобы навсегда усыпить нас с тобой.

Мы вернулись к сторожке.

— С удовольствием поболтал бы с вами, ребята, но правила запрещают посторонним здесь находиться, — развел руками мистер Биверс.

Мы понимающе кивнули и распрощались. Охранник тут же налил себе кофе.

— Скоро вам будет не до разговоров, мистер Биверс, — тоном заговорщицы прошептала Саванна.

— Хорошо сработано, Мата Хари, — похвалил я.

— Не знаю, как вы, а я весь вспотел, — сказал Люк. — Не поплескаться ли нам в местном море?

— Когда мы вернемся за Снежинкой? — осведомился я.

— Думаю, около полуночи.

В восточной части неба взошла бледная луна, чем-то напоминающая водяной знак. Мы купались, пока солнце не погрузилось в Атлантический океан, который очень сильно отличался от привычного нам: у побережья Флориды он был прозрачным, цвета аквамарина, а в Коллетоне,

стоя в воде по грудь, я не видел собственных ног.

— Какая-то… неправильная вода, — произнес Люк, выражая мои мысли.

Море для меня всегда имело женскую природу, но природу буйную и своенравную. Флорида делала ее ласковой и податливой, предельно открытой. Таинственность Флориды мы в полной мере ощутили на берегу, где впервые попробовали манго. Вкус был очень странным, как и все в этих местах. Мы не привыкли к океану, которому можно доверять, к мягким, едва ощутимым волнам прилива, к душистой прозрачной воде, плещущейся под пальмами. Луна на сотни миль растянула свои серебряные нити, прежде чем они достигли берега и затерялись в волосах Саванны. Люк встал и вытащил из кармана джинсов часы.

— Значит так, братик и сестричка. Если нас сегодня застукают, не вмешивайтесь. Говорить буду я. Я вас подбил сюда ехать, мне и выручать вас в случае чего. А сейчас помолимся о том, чтобы мистер Биверс спал беспробудно.

В сторожке горел свет. Охранник громко храпел, положив голову на стол. Люк подогнал наш грузовичок прямо к пальмам возле металлической ограды и, орудуя кровельными ножницами, вырезал в ней большую дыру. Мы пролезли

внутрь. Акулы, как известно, с рождения страдают бессонницей. Когда мы шли по деревянному мосту, эти твари тревожно метались внизу. Возле павильона с косаткой мы услышали тяжелое дыхание Дредноута.

— Постойте, — шепнул нам Люк.

Он вынул из мешка рыбину, припасенную на случай, если в пути Снежинка проголодается.

— Прекрати, — ответил я, испугавшись его бравады. — У нас нет времени на твои глупости.

Но Люк уже несся по ступеням павильона, и нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Помост был озарен лунным светом. Воду вспорол плавник косатки. Люк встал на самом краю помоста и, подражая манерам светловолосого дрессировщика, начал размахивать рукой. Дредноут погрузился на дно, чтобы набрать скорость для прыжка. Люк склонился над бассейном.

Дредноут стремительно вынырнул из воды и схватил мерланга, слегка поцарапав Люку пальцы. Затем косатка величественно скользнула вниз, причем боком, позволив нам еще раз полюбоваться блестящим белым брюхом. Раздался громкий плеск, и двадцать три ряда стульев вновь оказались мокрехонькими.

— Глупо, глупо и еще раз глупо, — высказал я

подбежавшему Люку.

— Прекрасно, прекрасно и еще раз прекрасно, — заявила восторженная Саванна.

Наш дальнейший путь лежал к «Желтохвосту», где на палубе, в кладовке, хранились нужные нам вещи. К счастью, никто из экипажа не догадался запереть кладовку на замок. Люк вытащил моток веревки, выволок носилки, затем кинул Саванне матрасы из губчатой резины. Подхватив матрасы, наша сестра понеслась назад к грузовичку, где аккуратно разложила их в кузове. Мы с Люком поспешили к бассейну Снежинки. Там, в ограждении, брат прорезал ножницами еще одну дыру.

Мы подоспели вовремя. Снежинка почти не шевелилась, плавая в неглубокой части бассейна. Наверное, опоздай мы на час, она бы утонула. Когда мы влезли в воду, Снежинка, одурманенная снотворным, прекратила всякое движение. Мы поддерживали ее под голову и брюхо и буксировали к носилкам. Снежинка была настолько белой, что моя рука на ее голове выглядела коричневой. На наши действия она ответила тихим звуком, словно человеческим. В это время вернулась Саванна. Втроем мы подпихнули под Снежинку носилки и закрепили ее веревками в трех местах.

И вновь мы шли под тенью пальм и лимонных деревьев. Мы с Люком перемещались быстро, пригибаясь к земле. Совсем как санитары на поле боя. Вскоре мы выбрались наружу, отвязали Снежинку и осторожно переложили ее на матрасы. Мы с Саванной побрызгали дельфина морской водой, заблаговременно набранной в ведра и емкость для охлаждения пива. Люк захлопнул дверцу. Мы с сестрой остались в кузове. Брат завел мотор, и машина рванула со стоянки, держа курс на огни Майами. Наверное, в те минуты нас легко могли поймать. Еще бы: трое детей Винго неслись по пустынному шоссе, вопя во все три глотки!

Вскоре мы покинули Майами. Люк вдавил педаль газа чуть ли не в пол. Теплый ветер свистел у нас в ушах; каждая миля приближала нас к границе штата Джорджия. Поначалу Снежинка дышала прерывисто; ощущение было такое, будто рядом рвут бумагу. Пару раз мы тревожно замирали — нам казалось, что наша спасенная погибла. Я стал вдувать ей воздух в дыхало. Снежинка ответила своим дыханием, но действие таблеток еще продолжалось и ослабело, лишь когда мы подъехали к заправке в Дейтона-Бич. Там Снежинка ожила и весь оставшийся путь

бодрствовала.

Залив в бак бензин, Люк свернул к пляжу. Там мы с Саванной наполнили ведра свежей морской водой и запрыгнули в кузов.

— Мы везем ее домой! — кричал нам Люк из кабины. — Домой! Еще пять часов, и мы будем в Коллетоне.

Мы с Саванной усердно поливали Снежинку и массировали ее тело с головы до хвоста, чтобы не было застоя крови. Мы разговаривали с ней так, как малыши разговаривают с больными или ослабшими собаками. К счастью, кожа Снежинки оставалась мягкой и шелковистой. Мы с сестрой впали в детство: пели Снежинке колыбельные песенки, читали стишки, вспоминали какие-то считалки и постоянно твердили, что на родине ей не придется есть мертвую рыбу. Когда мы пересекли границу Джорджии, то пустились в пляс. Люк поехал медленнее, опасаясь, как бы мы не вылетели за борт.

Сразу за городком Мидуэй (мы еще находились в Джорджии) нас остановил дорожный полицейский. Брат на целых сорок миль превысил допустимую скорость.

— Прикройте Снежинку матрасом. Не суйтесь. Я сам разберусь, — торопливо бросил нам Люк.

К этому времени уже взошло солнце. Полицейский был молодым и тощим, как лезвие ножа. Держался он с обычной для новичков надменностью. Люк попытался взять его своим обаянием.

— Вы тысячу раз правы, — бубнил Люк, подходя к полицейскому. — Я слишком разогнался. Кто ж спорит? Это у меня от волнения. Я выловил шикарную акулу и тороплюсь показать ее отцу, пока она еще живая.

Полицейский направился к кузову, взглянул на укрытую Снежинку (была видна лишь часть головы) и присвистнул.

— И впрямь большая. Но это не дает тебе права, парень, так нестись.

— И опять я с вами согласен. Но поймите, я установил мировой рекорд. Я поймал эту красавицу на спиннинг. Белую акулу. Между прочим, эти акулы — людоеды. Свою я захомутал вблизи мола на острове Сент-Саймонс.

— И на какую приманку?

— Вы не поверите: на живую креветку. В прошлом году во Флориде поймали белую акулу. Так у нее в желудке нашли мужской ботинок и берцовую кость.

— Да, чудеса. Но штраф я тебе выписать обязан.

— Конечно, сэр. Закон один для всех. Превысил скорость — плати. Просто я жутко обрадован. Вам случалось вылавливать какую-нибудь крупную рыбину?

— Я родом из Мариетты. Однажды в озере Ланьер у меня клюнул двенадцатифунтовый окунь.

— Тогда, сэр, вы отлично понимаете мои чувства. Дайте-ка я продемонстрирую вам акульи зубки. Острые как бритвы. Я поручил своим братику и сестренке следить, чтобы хищница не сдохла раньше времени. Ребята полумертвые от страха. Всё боятся, что она их цапнет. Том, покажи офицеру акулью пасть.

— Лучше держаться от нее подальше, парень. Ладно, обойдемся без штрафа. Только ты больше не нарушай. Конечно, такая акула! Тут каждый будет сам не свой от счастья. Кстати, мой окунь был рекордом дня. Я тоже хотел показать его отцу, но не удосужился спрятать, и наш кот слопал его целиком.

— Большое спасибо, сэр. Вы уверены, что не желаете взглянуть на ее зубки? Впечатляющая картинка.

— Я бы предпочел крутить руль, чем сидеть рядом с этим чудовищем, — сказал нам с Саван-

ной полицейский, после чего направился к своей машине.

Когда мы подъезжали к дому, мать развешивала выстиранное белье. Люк сделал несколько кругов почета по лужайке и выключил мотор. Мать подбежала к грузовику и от радости пустилась отбивать чечетку и хлопать в ладоши. Потом Люк подогнал машину к дамбе. Мы погрузили Снежинку на носилки, спустили вниз и вчетвером потащили в воду. Мы шагали навстречу приливным волнам, выбираясь с мелководья на более глубокое место. Просунув под Снежинку руки, мы давали ей возможность вновь почувствовать реку. Затем мы убрали руки. Снежинка двигалась скованно и неуверенно. Люк держал дельфинью голову на поверхности до тех пор, пока Снежинка не ударила по воде своим сильным хвостом. Я поспешно отошел в сторону. Снежинка стала медленно от нас отплывать. Минут пятнадцать она выглядела умирающей, и это были самые тяжелые для нас минуты. Мы стояли на причале и просили за нее Бога. Завершив одну молитву, мы тут же начинали другую, узнав ее по первым словам, произнесенным матерью. Добрым католикам при этом полагаются четки, но мы обошлись без них.

Снежинка все так же неуклюже покачивалась на волнах. Казалось, ей трудно дышать. Пребывание в бассейне отняло у нее пространственную координацию. Но вдруг она переменилась у нас на глазах. К Снежинке вернулись природный инстинкт и прежний ритм движений. Она нырнула и через какую-то минуту была уже в двухстах ярдах.

— Снежинка ожила! — завопил Люк.

Мы обнимались. Я сильно устал, насквозь провонял потом и отчаянно хотел есть. Но еще никогда я не был так счастлив.

Потом Снежинка вновь вернулась к нам и проплыла мимо причала.

Мы плакали и кричали от восторга. Мы исполняли новый танец, родившийся прямо там, на причале самого прекрасного в мире острова, в чудесный… нет, в самый чудесный день в жизни Тома Винго.

Глава 17



Когда Бенджи Вашингтон должен был переступить порог Коллетонской средней школы, в город приехали телевизионщики из Чарлстона и Колумбии. Они торопились запечатлеть момент, когда Бенджи выберется из родительского зеленовато-желтого «шевроле» и медленно пойдет навстречу пятистам белым ученикам, молча следившим за его приближением. В самой школе никаких съемок не было. Атмосфера в тот день была напряженной, отчужденной и даже опасной. Странное безмолвие в коридорах напоминало затишье перед бурей. Ненависть расползалась по всем закуткам. В каждом классе, куда чернокожий ученик приходил на очередной урок, его уже ждало торопливо написанное на доске или стене слово «ниггер». Учителя, сами нервозные и взвинченные, врывались в кабинет

и, орудуя тряпками или резинками, торопливо стирали это оскорбление. Каждый раз Бенджи садился на последнюю парту у окна. Свой первый день в школе он в основном безучастно смотрел на реку. Все места вокруг Бенджи пустовали. Это была запретная зона, пересекать которую не хотел и не имел права ни один белый. По школе бродили слухи, обретая «закалку» в мальчишеском туалете, где малолетние «ковбои» тайком покуривали на переменах. Один парень хвастался, что в столовой, увидев ниггера в очереди, толкнул его. Другой утверждал, что ткнул Бенджи вилкой. Тот не отвечал на провокации. Казалось, он начисто лишен эмоций или специально обучен ничего не чувствовать. Парни перешептывались, обсуждая, как подкараулить Бенджи за спортивным залом и расправиться с ним. В личных шкафчиках главного коридора появились дубинки и цепи. Говорили, что кое-кто даже принес револьвер. Я своими ушами слышал, как Оскар Вудхед — левый блокирующий полузащитник школьной команды — поклялся до конца учебного года убить ниггера. Парни с набриолиненными, зачесанными назад волосами бахвалились, как они разделаются с Бенджи. Задние карманы их брюк оттопыривали ножи с

автоматическими лезвиями. Никогда еще мне не было так страшно.

Мой план, как и все мои планы, не отличался сложностью. Я собирался игнорировать сам факт существования Бенджи Вашингтона и продолжать идти своим путем, не давая поводов заподозрить меня в симпатиях к чернокожим. Я хорошо знал лексикон тех, у кого чесались кулаки, и мог поддержать их разговор о ниггерах. В моем арсенале имелись сотни анекдотов на эту тему, и я готов был ввернуть их, если толпа заподозрит меня в расколе. Однако мой расизм проистекал не из убеждений, а из желания получше приспособиться к социальной среде. Я мог страстно ненавидеть, но только в том случае, если моя ненависть перекликалась с чувствами большинства. Я был начисто лишен морального мужества, и мне это даже нравилось. К сожалению, моя сестра не обладала такой мимикрией.

В тот день шестым уроком у нас был английский. Я не знал, что Бенджи будет присутствовать, пока не увидел угрюмые лица учеников, собравшихся возле двери. Я огляделся, ища глазами учителя, но его не было. Тогда я молча пробрался сквозь толпу. Мне это напомнило дрянные вестерны: плохие парни, решившие кого-то лин-

чевать, и шериф, который невозмутимо идет прямо на них, заставляя расступаться.

Бенджи, как всегда, сидел в заднем ряду и смотрел в окно. Оскар Вудхед устроился на подоконнике. Я опустился за первую парту и сделал вид, что пишу в тетради.

— Ты поганый ниггер, — долетал до меня шепот Оскара. — Слышишь меня, парень? Ты паршивый долбаный ниггер. Думаю, это вполне естественно. Ведь все ниггеры паршивые. Правда, парень?

Я не заметил вошедшей в класс Саванны. Я даже не подозревал, что она здесь, пока не услышал за спиной ее звонкий, поставленный голос девочки из группы поддержки спортивных команд.

— Привет, Бенджи. Меня зовут Саванна Винго. Добро пожаловать в Коллетонскую среднюю школу.

Сестра протянула парню ладонь.

Бенджи, который, конечно же, был больше всех ошеломлен словами белой девочки, робко пожал Саванне руку.

— Она дотронулась до ниггера, — пропищала стоявшая у двери Лиззи Томпсон.

— Бенджи, если у тебя будут трудности, дай мне знать, — продолжала Саванна. — Если нужна моя помощь, просто позови меня. Здешние ребята не

такие плохие, как кажутся. Через пару дней они к тебе привыкнут. Скажи, здесь занято?

Я положил голову на парту и беззвучно застонал.

— Вокруг меня полно свободных мест, — ответил Бенджи, вновь поворачиваясь к реке.

— Вот и отлично.

Саванна положила свои учебники на парту и опустилась рядом с Бенджи.

— Она села с ниггером, — громко возвестил Оскар. — Глазам своим не верю.

Однако Саванне этого было мало.

— Эй, Том! — окликнула она меня. — Бери учебники и двигай сюда. Живее, Том. Я же тебя вижу. Это я, Саванна, твоя любящая сестра. Шевелись, братец.

Спорить с Саванной на людях было бесполезно. Злой как черт я взял портфель и поплелся в дальний угол класса. Естественно, все уставились на меня.

— Брр! — Оскар поморщился. — Я бы не позволил девчонке так с собой разговаривать.

— А с тобой, Оскар, ни одна девчонка и не станет говорить, — тут же парировала Саванна. — Знаешь почему? Потому что ты глуп. И еще потому, что прыщей на твоей физиономии больше, чем

креветок в реке.

— Никак Саванна любит болтать с ниггерами? — Оскар захохотал. — Это правда?

— Вижу, тебе нечем заняться. Сходил бы в кабинет развития, потренировался на тестах для вычисления ай-кью[136]. Глядишь, довел бы показатель до двузначной цифры.

— Я не удивляюсь, Саванна, — тихо обратился к ней Бенджи. — Я понимал, что все так и будет.

— Нет, ниггер, ты еще не знаешь, что тебя здесь ждет, — угрожающе произнес Оскар.

— Слушай, Оскар, начни лучше торговать прыщами. Убедишь малышню, что это признак взрослого парня. Вмиг расхватают.

Оскар подошел к Саванне. Его кулаки были сжаты.

— Ты, сука-негролюбка!

Перепалка приобрела опасный оттенок, потребовалось мое вмешательство. Но мне было страшно. Я молил всех богов, чтобы в классе поскорее появился мистер Торп — вечный любитель засиживаться в учительской столовой.

— Не смей лезть к моей сестре, Оскар, — вступил я вялым голосом, будто евнух, только что

---

[136] Примечания: 136

IQ — коэффициент умственного развития человека. Двузначный показатель свидетельствует о крайне низком уровне.

перенесший кастрацию.

— И что же ты мне сделаешь, Винго? — спросил Оскар, довольный, что у него наконец-то появился противник мужского пола.

— Вот Люк узнает…

— А самому не справиться? Маленький еще?

— Ты больше меня, Оскар. Если мы подеремся, ты меня побьешь. Но Люк тебя подкараулит и попортит глянец на физиономии. Я просто вовремя отойду, чтобы не нарываться на твои кулаки.

— Передай своей сестре, пусть заткнется, — велел Оскар.

— Саванна, заткнись.

— Поцелуй меня в зад, Том, — ласково ответила она.

— Я ей передал.

— Нам не нравится, когда наши белые девчонки общаются с ниггерами, — заявил Оскар.

— Оскар, дорогуша, это мое личное дело, — отозвалась Саванна.

— Сам знаешь, Саванне не прикажешь, — вздохнул я.

— Том, чего ты там стоишь? Иди сюда, — потребовала Саванна.

— Разве не видишь? Беседую со своим другом Оскаром, — попробовал я отвертеться, улыбаясь

этому наглецу.

— Том, иди сюда, — повторила Саванна.

Я без всякого энтузиазма направился в конец класса и обменялся рукопожатием с Бенджи Вашингтоном.

— Он пожал ниггеру руку, — застонала Лиззи Томпсон. — Я бы лучше умерла, чем дотронулась до ниггера.

— Ты бы лучше умерла, чем пошевелила мозгами, — бросила ей Саванна, после чего вновь принялась за меня. — Перемещайся поближе к нам.

— У меня есть своя парта. И нечего мне диктовать условия. Я не хочу, чтобы каждый болван в этой школе валил на меня дерьмо только потому, что в детстве ты читала дневник Анны Франк.

— Тащи сюда свои манатки, — повелительно прошептала сестра. — Я не шучу.

— Я не собираюсь сидеть рядом с Бенджи. А ты можешь выдрючиваться, сколько угодно.

— Бенджи, ты пойдешь играть в футбол? — поинтересовалась Саманта, отвернувшись от меня.

— Да, — ответил он.

— Там-то мы тебя и прикончим, ниггер, — пригрозил Оскар.

Я нервно поглядывал на классную дверь. Куда

запропастился наш чертов учитель?

— Не льсти себе, Оскар, — захихикала Саванна. — Может, ты и сильный, но Том говорит, что на футбольном поле ты дерьмо дерьмом.

— Это правда, Винго?

— Разумеется, нет, — соврал я.

Оскар был одним из тех раскормленных задир, которые не способны направить свои жестокие замашки в русло спортивных состязаний. В южных школах полно разных драчунов и любителей поножовщины, не умеющих выполнить элементарный захват или блокировать противника.

— Том проследит за тобой на тренировке, — пообещала Оскару Саванна. — Правда, Том?

— С меня довольно следить за собой, — буркнул я.

Саванна схватила меня за руки и до крови впилась в них своими ногтями.

— Нет, братик, ты обязательно поможешь ему.

Тут Оскар бросил мне перчатку.

— Знай, Винго, у тебя сестра — пустое место. Негролюбка.

— Возьми свои слова назад, Вудхед.

— И не подумаю. Если тебя они не устраивают, жду после уроков во дворе, возле стены оркестровой комнаты.

— Он обязательно туда придет, Оскар, — вмешалась Саванна. — И выбьет из тебя твои куриные мозги.

— Саванна! — крикнул я.

— От тебя, Оскар, не останется даже крабам на закуску, — не унималась сестра. — Эй, Лиззи, сбегай, позвони в больницу. Пусть их хирург никуда не уходит, чтобы было кому наложить швы.

— Твой братец не боец. Тварь пугливая — вот он кто, — процедил Оскар, весьма точно описывая мое состояние.

— Да, Оскар, ты же не в курсе. Летом Том и Люк занимались карате. Получили черный пояс. Том может ладонью разбивать доски. Присмотрись к его рукам. Они прошли официальное освидетельствование. Потому он и не хочет с тобой связываться. Если Том дотронется до тебя, то может и убить ненароком. А кому охота попадать в тюрьму?

Я поднял свои «смертельно опасные» ладони и стал разглядывать их, будто пару дуэльных пистолетов.

— Это что-то вроде дзюдо? — недоверчиво спросил Оскар.

— Дзюдо калечит. А карате уничтожает, — важно произнесла моя сестра. — Летом Том брал

уроки у настоящего восточного мастера.

— Ниггеры, китаёзы… Может, Винго перестали водиться с приличными белыми людьми? До встречи после уроков, Винго. Не забудь прихватить свои официально освидетельствованные ручки.

Когда я пришел в назначенное место — укромный уголок заднего двора, куда выходила стена оркестровой комнаты, — там уже собралась внушительная толпа. Я сосредоточенно дышал и думал, что, возможно, это мои последние минуты. После того как Оскар меня убьет, уже не подышишь. В общем-то, я даже не шел, а плелся. Но при моем появлении вдруг раздались приветственные возгласы. Ко мне бежала Саванна и еще девять девочек из группы поддержки. Навстречу Оскару я двинулся в сопровождении десяти шапочек с помпонами и десяти глоток, горланящих «песнь победы» Коллетонской средней школы:

Сражайтесь, бейтесь за Коллетон.
Вот наш девиз простой:
Защищайте всегда команды цвета —
Зеленый и золотой.

В глазах Оскара полыхала холодная неукроти-

мая ярость. Прежде я не замечал у него такого жестокого взгляда. Вудхеда окружала стайка парней — сыновей ловцов креветок. Я с раннего детства знал их всех. Сейчас они стояли с закатанными рукавами, молча выражая солидарность с Оскаром. Напротив Оскара возвышался Люк. Я направился к брату. Помпоны двинулись следом, совсем как хризантемы на ветру. Я надеялся, что свидетелями моей гибели станут несколько костлявых речных парней. Но Саванна решила устроить… собрание по повышению бодрости духа[137].

— Я слышал, Вудхед, ты назвал мою сестру пустым местом, — начал Люк.

— Она болтала с ниггером, — буркнул Оскар, поглядывая на меня через плечо Люка.

— Она может говорить с кем угодно и не обязана спрашивать у тебя разрешения. Попроси прощения у Саванны, Вудхед.

— Я догадываюсь, что ты затеваешь, Люк. — Оскар держался с моим братом осторожно. — Ты провоцируешь меня на драку, чтобы твоему изнеженному братцу от меня не досталось.

— Том вполне с тобой справится. Но если ты

[137] Примечания: 137

Такие собрания обычно устраиваются перед спортивными состязаниями.

покалечишь Тома, тебе придется иметь дело со мной. А уж я тебе профиль попорчу, Вудхед. Извинись перед моей сестрой.

— Саванна, прости, что я назвал тебя пустым местом, — протараторил Оскар.

Помпоны замерли, речные парни нервно захихикали.

— Нет, Вудхед. Давай вежливо. Искренне. Если будет недостаточно искренне, я оторву тебе голову.

— Саванна, я сожалею, что у меня вырвались те слова, — тоном кающегося грешника произнес Оскар. — Очень сожалею.

— По-моему, Люк, он недостаточно искренен, — вмешался я.

Голос мой звучал препаршиво.

— Том просто увиливает, надеется уйти без боя, — возмутился Оскар.

Ты хочешь с ним драться? — спросил меня Люк, пристально глядя Вудхеду в глаза.

— Я всегда жду своей очереди, — ответил я.

— Вообще-то, Том, это ваши с Оскаром дела, — напомнил Арти Флоренс — один из «секундантов» Оскара.

— Нам с братом нужно посовещаться. Через пару минут он надерет тебе задницу, Вудхед.

Люк обнял меня за плечи и отвел в сторону. Саванна и ее девчонки принялись, по обыкновению, раскочегаривать толпу.

— Том, ты ведь знаешь, насколько ты быстр, — прошептал Люк.

— Ты предлагаешь мне убежать? — удивился я.

— Я не про ноги, а про руки. Ты задумывался о том, какие они у тебя ловкие?

— К чему ты клонишь?

— Пока ты не допустишь ошибку, Оскар не сможет тебя достать. Он силен, но медлителен. Держись на расстоянии. Танцуй вокруг него. Развлекайся. Но не подходи близко. Как только заметишь, что он открыт, бей и сразу же отходи. Когда возможно, целься в руки. Когда руки у Вудхеда устанут, он их опустит. Ему будет тяжело их поднимать. Вот тогда и атакуй.

— Люк, я боюсь.

— Уверяю тебя, Вудхеду тоже не по себе.

— У него нет и половины моего страха. Где этот чертов Эрл Уоррен?[138] Сказал бы я ему пару ласковых!

— Том, у тебя превосходная скорость. Ты не мо-

---

[138] Примечания: 138

Уоррен Эрл (1891–1974) — американский государственный деятель. В 1953–1969 гг. занимал пост председателя Верховного суда США. Был одним из активных сторонников отмены расовой сегрегации.

жешь уступить Оскару. Главное — не позволяй, чтобы он сбил тебя с ног. Тогда он прижмет тебе руки и начнет молотить по лицу.

— О боже! Можно, перед началом драки я разик стукну Саванну? Она втравила меня во все это. Ну почему меня угораздило родиться в единственной на весь Коллетон семье, где любят ниггеров?

— С Саванной разберешься позже. Вначале отделай Вудхеда. Держись вне досягаемости. Он суровый противник.

Толпа расступилась, освобождая нам место. Я пошел по траве навстречу Оскару Вудхеду. Меня ожидала участь быть избитым из-за решения Верховного суда, отменившего в пятьдесят четвертом году расовую сегрегацию, из-за этой идиотской интеграции чернокожих в белые школы, из-за Бенджи Вашингтона и моей не в меру болтливой сестры. Улыбающийся Оскар поднял руки, сжал кулаки и двинулся на меня. Его первый выпад застиг меня врасплох. Он ударил правой, наотмашь, и только чудом не угодил мне в челюсть. Я потерял равновесие. Оскар наседал, осыпая меня ударами в сопровождении животного рычания.

— Танцуй! — велел мне Люк.

Я отклонился влево, подальше от жуткой правой руки Оскара. Один раз Вудхед едва не задел

мне голову. Второй раз я поставил блок. Затем я закружился и отдалился от противника. Минуты три я действительно танцевал, постоянно уворачиваясь от его кулаков. Вудхед безуспешно пытался настичь меня; его досада только нарастала. Затем, сам того не сознавая, я начал следить за Оскаром. Я внимательно наблюдал за движениями его тела, за выражением глаз. Я видел, когда он готовится нанести очередной удар. А вот Оскар, наоборот, понятия не имел, поскольку я к нему даже не притронулся.

— Перестань бегать и дерись, как положено, трус вонючий, — потребовал Оскар, обливаясь потом.

Я остановился, и он сделал выпад. Оскар решил изменить тактику и оказался в ситуации, которую я понимал намного лучше, чем он, и в которой я значительно его превосходил. Три года я учился ускользать от атакующих игроков команды противника, которые очень организованно на меня наседали. И в этот раз я увернулся от Оскара, а когда он поравнялся со мной, к своему удивлению, сильно врезал ему в ухо. Вудхед шлепнулся на траву. Собравшиеся завопили, а ликующая Саванна с девчонками вновь затянули «победную песнь».

Но Оскар тут же вскочил на ноги и продолжил бой. Я слышал его тяжелое дыхание и чувствовал, что ему не терпится закончить схватку. Я провалил еще шесть его ударов; точнее, просто отходил в сторону или назад. А потом я стал бить его по рукам. Что есть силы я лупил по его запястьям и бицепсам. Оскар не ожидал от меня такой прыти; моя скорость ошеломила его, он начал пятиться. Вудхед предпринял еще одну бесполезную попытку, метя мне в лицо. Сопровождаемый ревом толпы, я отступил, но не прекратил сопротивления.

Оскар попытался направить меня к стене и там прижать. Его действия стали упорядоченнее. Один из его выпадов достиг цели. Оскар ударил меня в правую бровь. Правая половина моего лица мгновенно онемела.

— Танцуй! — заорал мне Люк.

Я сделал обманный ход влево, затем метнулся вправо и двинул Оскара в скулу. Он отшатнулся назад. Его руки повисли, как плети.

— Давай! — скомандовал Люк.

Я приблизился к Оскару и обрушил на него град ударов левой. Вудхед тщетно пытался загородиться, его усталые руки не слушались. Из разбитых губ и носа у него текла кровь. Человеком, коло-

тившим Оскара, был я, однако в тот момент я этого не ощущал. Умом я понимал: да, это мой кулак утюжит физиономию противника. Однако я не чувствовал связи с самим собой.

Подошел Люк и остановил нас.

Я упал на колени; у меня потекли слезы оттого, что все кончилось, от страха и отупляющей боли в половине лица.

— Ты был на высоте, братишка, — шепнул мне Люк.

— Больше я так не хочу, — всхлипывал я. — Ненавижу эту драку. Совсем ненавижу. Передай Оскару, что мне стыдно.

— Это уж ты сам. А сейчас нам пора на тренировку. Ну что? Я же говорил, что у тебя потрясающая скорость.

Саванна пощекотала мне лицо стареньким помпоном своей шапочки.

— Чего расхныкался? Ты же выиграл.

— Я знаю Оскара с раннего детства.

— Подумаешь! Он и тогда был паршивцем.

— Все равно мне от этой бойни никакой радости.

Только сейчас я сообразил, что реву на глазах у нескольких десятков зрителей. Это меня совсем доконало.

— Квотербеки не плачут, — наставительно заметил Люк. — Шевелись, не то опоздаем.

Первую в новом сезоне тренировку наш наставник Сэмс, как всегда, завершил дистанцией в сорок ярдов. Сначала по свистку Сэмса вышли защитники и центровые. Их бег, надо сказать, изяществом не отличался. Затем настал черед блокирующих полузащитников. Я видел, как Люк с легкостью обогнал группу своих однокашников.

Я встал вместе с квотербеками и оказался рядом с Бенджи Вашингтоном.

— Слышал, ты шустрый парень, — сказал я ему. — В прошлом году я был самым быстрым в команде.

— Был, — только и промолвил новичок.

Раздался свисток. Я взял отличный старт и рванул вперед, выбрасывая комья земли из-под теннисных туфель. Я несся с максимальной скоростью и твердой уверенностью человека, который с первого класса был лучшим в этом виде. Тут Бенджи Вашингтон обошел меня слева и финишировал с отрывом в пять ярдов.

Тренер Сэмс еще раз проверил показания секундомера. В прошлом году из всех педагогов он был самым упорным и горластым противником

расовой интеграции. Но секундомер расширил социальные рамки нашего тренера. Бенджи осилил дистанцию в сорок ярдов за 4,6 секунды. Мой лучший показатель равнялся 4,9 секунды, и то когда в спину мне дул ураганный ветер. Вновь прозвучал свисток. В этот раз я бежал с твердой уверенностью человека, который был вторым по скорости. Я бросился к центру поля… и опять Бенджи легко и непринужденно меня обогнал.

— А этот ниггер умеет летать, — заметил кто-то из защитников; в этих словах ощущалось скорее восхищение, чем злоба.

Бенджи выиграл все десять забегов. Я неизменно становился вторым. К тому моменту, когда свисток Сэмса возвестил о конце тренировки и мы поспешили в раздевалку, было ясно, что обстановка изменилась. С участием сильных игроков прошлого сезона у нас и так складывалась неплохая команда. Но теперь в ней появился самый быстрый на всем Юге игрок, и я всерьез задумался о чемпионате штата.

Глава 18



Сентябрь 1961 года. Остров Мелроуз. Последующие месяцы оставят глубочайший след в наших сердцах. Но это будет потом, а пока… Уловы радуют обильностью; каждый вечер отцовское судно подходит к причалу, до краев нагруженное рыбой и креветками. Это лучший сезон отца за минувшие пять лет. Он весел, держится уверенно; его настроение — беззвучная благодарность океану за постоянно проявляемую щедрость. Цена креветок устойчиво держится на уровне одного доллара за фунт. Причальные весы поскрипывают, взвешивая добычу, и отец ведет себя как богач. Он подумывает купить еще несколько лодок и создать флотилию. Он рассказывает матери, что в банке видел Риса Ньюбери и тот заявил присутствующим: «Это Генри Винго, который женат на самой прекрасной даме в округе Колле-

тон». Польщенная мать краснеет и отвечает, что она — всего лишь женщина средних лет, которая стремится сохранить дарованное Богом.

День первой в новом сезоне игры. Саванна выходит из нашей спальни, нарядившись в костюм участницы группы поддержки. Как сестра ни стремится, у нее не получается скрыть радость. Неброская красота Саванны будоражит и тревожит нас с Люком. Летом мы привыкли видеть сестру в простой мешковатой одежде. А тут… Она делает несколько шагов. Мы встречаем ее аплодисментами, которые вдруг замолкают. Мы охвачены благоговейным восторгом. Если честно, мы только сейчас заметили, что за лето наша сестра превратилась из угловатой девчонки в изящную ладную девушку. Пропорции ее вполне женственной фигуры становятся для нас настоящим открытием. Мы не знаем, как реагировать. Саванна останавливается, ожидая нашего одобрения. Потом делает медленный крут по комнате — юная, расцветшая женщина. Кожа ее лица свежа и упруга до безупречности, расчесанные золотистые волосы сияют. Люк поднимается со стула и начинает хлопать в ладоши. Я тоже встаю и присоединяюсь к нему. Саванна растерянно поднимает руки, идет к нам, думая,

что мы решили над ней подшутить. И вдруг останавливается, понимая искренность нашего восхищения. Ее глаза наполняются слезами. Саванна — мечтательница, но она и мечтать не смела о том, что однажды станет красивой. Мы трое отлично понимаем чувства друг друга. Меня переполняет любовь к брату и сестре и их любовь ко мне. Мать стоит у плиты; она не участвует в этой сцене. Отец не настолько включен в жизнь семьи, чтобы заинтересоваться происходящим.

В доме Винго начинается особый этап. Нам предстоит проверка на честь и достоинство, на наличие или отсутствие человеческих качеств. Нас ожидает всего один час ужаса, который навсегда изменит нашу жизнь. Мы увидим жуткие сцены, убийство и разрушение. Когда все закончится, мы подумаем, что пережили самый страшный день в нашей жизни и участвовали в самой поганой пьесе, которую мир для нас приготовил. Мы окажемся не правы… А начинается все с красивых и невинных пируэтов, которые Саванна исполняет для нас с Люком. Все прекрасно. Через три часа нам с Люком предстоит играть в первом матче этого сезона. Итак, сентябрь шестьдесят первого на острове Мелроуз.

Отец первым додумался связать название

нашей школьной команды — «Коллетонские тигры» — с настоящим бенгальским тигром, который каждый вечер оглашал своим рычанием задний двор и окрестности. Отец предложил Цезаря школьному спортклубу в аренду по десять долларов за игру. Мизерная сумма, которой едва хватало на недельный прокорм зверя. Однако сделка вдохновила отца, и он начал строить планы по превращению Цезаря в источник доходов.

— Ребята, как вам такая мысль? — спросил он накануне нашего отъезда на игру. — Можно сдавать Цезаря напрокат для празднования дней рождения. Или когда отмечают День всех святых. Я могу нащелкать кучу отличных снимков. Цезарь проглатывает праздничный торт. Цезарь катает какого-нибудь карапуза. Можно было бы приладить тигру седло на спину.

— Цезарь не ест торты, — возразил Люк.

— Зато любит закусывать маленькими детишками, — добавил я. — Можно будет сделать потрясающие фото. Тигр точит зубки малышом. Еще снимок: истеричная мамаша пытается вырвать из пасти Цезаря то, что осталось от ее ребенка. Если еще подождать, мы запечатлеем, как тигр пожирает мамашу.

— Лучшее, что мы можем сделать, — этот

попросту усыпить Цезаря, — заметила мать, которую всегда злили упоминания о тигре. — Нам и золотые рыбки не особо по карману, не говоря уже о такой зверюге.

— Не скажи! Спортклуб отваливает нам за Цезаря по десять баксов с игры. Забыла? Шесть игр. Умножаем на десять — и вот тебе шестьдесят долларов дополнительной прибыли. Приплюсуй к ним двадцать пять, которые мне заплатят за съемки матча. Согласись, ощутимые денежки.

— Пап, почему бы тебе самому не забраться на тигра? — предложил я.

— Я генерирую идеи, а пользуются пусть другие, — ответил отец, явно обиженный моими словами. — И потом, я сломаю бедному животному шею. Не вышел я телом для наездника… Вообще-то в этом что-то есть. Саванна у нас самая легкая. Она бы…

— И думать забудь, папа, — перебила Саванна. — Я буду ездить на слоне. А на тигре пусть Том катается.

— На каком слоне? — насторожилась мать.

— Не сомневаюсь, вскоре наш папа купит слона, — пояснила Саванна. — Будет сдавать его в аренду сборщикам пожертвований на Республи-

канскую партию[139].

— Я все еще считаю, что мы должны усыпить Цезаря, — завела свою любимую пластинку мать. — Это было бы гуманно по отношению к нему.

— Мы не станем убивать Цезаря, — возразил Люк.

— Не торопитесь. Я еще что-нибудь придумаю, — пообещал отец. — Конечно, мысли по поводу дней рождения… сыроваты. И вообще, нам пора на игру. Пойду грузить клетку с Цезарем.

— Я отправлюсь вместе с детьми, — заявила мать.

— Почему?

— Потому что я еще не утратила достоинства. Не хочу приезжать на каждый матч с тигром в кузове. Над нами и так весь город смеется.

— Лила, я беру тигра, чтобы подогреть дух наших ребят. Помочь им разгромить Северный Чарлстон.

— Том, помнишь, мы встречались с ними, когда вошли в команду? — осведомился Люк.

— Такое не забывается. Они разнесли нас со счетом семьдесят два — ноль.

---

[139] Примечания: 139
Как известно, слон — символ Республиканской партии США.

— А после их оркестр заиграл «Теннессийский вальс»[140], и они начали танцевать. Мы тогда стояли, сбившись в кучу.

— Ты готов, капитан? — спросил я Люка.

— Я готов, капитан, — отозвался брат. — На этот раз я хочу поплясать, когда матч закончится.

— А я, ребята, буду поддерживать вас во всю мощь глотки и прочих частей тела, — пообещала Саванна, хлопая Люка по плечу. — В таких делах везде и всегда женщинам достаются вторые роли.

Команда из сорока игроков в полном боевом облачении шла по длинному коридору, направляясь из раздевалки в зал собраний. Наши шиповки царапали бетонный пол; казалось, это стадо бизонов топает по каменистому плато. Подвесные лампы освещали наши белые футболки; наши диковинные тени плясали и корчились по стенам. В нашей экипировке было что-то сверхчеловеческое, даже неземное, и все это предназначалось для весьма жестокой спортивной игры.

Придя в зал, мы неторопливо расселись на откидных стульях. Сквозь стены до нас доносился гул зрительской толпы. Школьный оркестр под-

---

[140] Примечания: 140
Популярная песня в стиле кантри, появившаяся в 1947 г.

бадривал нас и болельщиков, исполняя попурри из «бойцовских» песен. Музыку перекрыл рев Цезаря. Люк взмахнул рукой, и мы дружно зарычали в ответ. Затем тренер Сэмс обратился к нам с напутственной речью:

— Сегодня я хочу убедиться, что все вы — настоящие бойцы. Город тоже этого ждет. Я в курсе, вы умеете надевать спортивную форму и после тренировок вприпрыжку нестись на свидания и танцульки. Но пока не увижу вас в игре, я не пойму, чего вы стоите. Знаете, кто такой настоящий боец? Охотник за головами. Он изматывает противника на каждом квадратном дюйме поля и бывает очень несчастлив, если после матча противник еще дышит. Настоящему бойцу неведом страх. Страх он видит лишь в глазах соперника, у которого мяч и которого он сейчас рассечет надвое. Настоящий боец любит боль. Ему нравятся все эти крики, пот, угрозы и ненависть. Словом, жизнь во всех ее проявлениях. Он жаждет оказаться там, где льется кровь и вышибаются зубы. Таков наш футбол, парни. Это война, честная и простая. И потому сегодня вы выйдете на поле и начистите задницы этим ребятам из Чарлстона. Если что-то движется — бейте. Если что-то дышит — бейте. А если что-то имеет титьки — трахайте.

Раздался смех, но довольно жидкий. Тренер Сэмс произносил эту речь вот уже четвертый год подряд, повторяя ее слово в слово. Даже шуточка не менялась. Он всегда говорил о футболе так, словно находился в последней стадии горячки.

— Ну так я могу рассчитывать на бойцов? — крикнул он, и жилы на его висках задергались от напряжения.

— Да, сэр, — выдохнули мы.

— Я могу рассчитывать на своих сукиных бойцов?

— Да, сэр.

— А охотники за головами среди них имеются?

— Да, сэр.

— Я сегодня увижу кровь?

— Да, сэр.

— Увижу кишки противников, свисающие с ваших шлемов?

— Да, сэр.

— Услышу хруст их костей по всему полю.

— Да, сэр, — радостно обещали мы.

— Тогда помолимся.

Тренер стал читать «Отче наш», мы повторяли за ним.

После этого Сэмс уступил место Люку и добавил, что ждет нас на поле.

Люк встал. В спортивной форме он выглядел особенно внушительно. Мой брат обвел взглядом парней. При весе в двести сорок фунтов Люк был одним из самых крупных мужчин округа Коллетон и определенно самым сильным. Его присутствие умиротворяло, его спокойствие передавалось и нам.

— Вот что, ребята, — начал Люк. — Не принимайте всерьез все фразы тренера Сэмса. Просто у него такая манера. Ему вовсе не нужно, чтобы мы пускали кровь и ломали кости нашим соперникам. Тренер Сэмс забыл об одной вещи. Мы выходим на поле и играем, поскольку нам это нравится. Это главная и единственная причина. Мы намерены весело провести время: устраивать блокировки и захваты, бегать изо всех сил и действовать как одна команда. Вот на команде я и хочу остановиться. Вообще-то надо было сделать это еще в начале сезона. Нам нужно поговорить о Бенджи.

Игроки заерзали на стульях. Все искали глазами чернокожего парня. Он сидел на самом последнем ряду. Один. Бенджи смотрел на своих товарищей по команде с тем же спокойным молчаливым достоинством, с каким ходил по школьным коридорам. Услышав свое имя, Бен-

джи бесстрастно взглянул на Люка.

— Как вы помните, никто из нас не хотел, чтобы Бенджи учился в нашей школе. Но он все-таки пришел. И принимать его в команду мы тоже не хотели. Но он выразил желание играть в футбол. На тренировках мы всячески поддевали его. Специально делали ему подножки, щипали, бывало, и просто били. Мы старались задеть его и вынудить уйти из команды. Я тоже в этом участвовал. Но Бенджи вытерпел все наши издевательства. И теперь, Бенджи, ты полноправный член нашей футбольной команды, и я горжусь, что ты с нами. Уверен, что с тобой мы стали намного сильнее, чем были, и сегодня я готов вышибить дух из каждого, кто думает иначе. Иди сюда, Бенджи, и садись на первый ряд.

Бенджи мешкал. Игроки вновь зашевелились. Бенджи встал и направился по центральному проходу, ощущая на себе взгляд каждого игрока. Сам Бенджи не спускал глаз с Люка.

— Бенджи, нашим противникам из Северного Чарлстона очень не понравится, что ты на поле. Они будут называть тебя ниггером и прочими словами, и мы не сможем им помешать. Но запомните: когда мы выйдем отсюда, Бенджи для нас — не ниггер. Бенджи — наш товарищ по коман-

де. Я не знаю более прекрасных слов. Товарищ по команде. Бенджи больше не ниггер, и никто не смеет называть его так до конца сезона. Он — один из нас. Один из «Коллетонских тигров». По моему разумению. Надеюсь, Бенджи, я тебя не очень смутил своими рассуждениями. Но я должен был прояснить ситуацию. Несогласные есть?

Звуки смешались: оркестр, гул толпы, нервозное царапанье шиповок по полу. Но никто не возразил Люку.

— Том, ты хочешь что-нибудь добавить?

Я встал, повернулся к игрокам и тихим взволнованным голосом сказал:

— Мы их сделаем.

Я постоянно ношу в себе воспоминания о своем спортивном прошлом, о тех ликующих решающих вечерах, когда я выходил на размеченное поле и мерился силой, быстротой и характером с другими парнями. Я жил восторгом и похвалой болельщиков, зажигательной музыкой оркестров, срывающимися голосами групп поддержки и сопровождающим их боем барабанов. Перед игрой я с эротической страстью и убежденностью верующего повторял банальные слова командных клятв. Я смотрел на серьезные лица

противников в черных шлемах и предвкушал удовольствие, от которого у меня по спине бежали мурашки. Как и мы, соперники подбадривали себя. Я вслушивался в их фразы, как слепец внимает трелям птиц, усевшихся на его подоконник. «Играть, играть, играть», — пел мой внутренний голос, когда мы с Люком вели на поле нашу ритмично шагающую команду. На зеленом поле коллетонского стадиона я в первый и последний раз ощутил бессмертие. Я вдыхал соленый речной воздух. Я узнавал острый запах приливных волн, где к терпкому аромату моря примешивалось благоухание трав с прибрежных островов. Мои чувства крепли и воспламенялись. Я всецело ощущал биение жизни; я был подобен тому еще не совсем человеческому существу, которое глядело в глаза Господу, впервые оказавшись в Эдеме. Я ощущал дыхание Бога молнией, проносящейся в моей крови. Я кричал и подбадривал товарищей по команде; я прыгал от гордости, что родился мужчиной, что выбрал футбол и умею в него играть.

Раздался свисток судьи. Мы с Люком прошли в середину поля, где подбрасыванием монеты решалось, какое положение достанется нашей команде. Судья высоко подкинул серебряный

доллар. Люк предположил, что выпадет «орел». Так оно и случилось. Мы были защищающейся стороной.

В тот вечер я впервые сжал кулак в знак солидарности с Бенджи Вашингтоном. Мы заняли свои места в глубоком тылу и ждали вбрасывания. Команда из Северного Чарлстона называлась «Голубые дьяволы». Их игрок приготовился ударить по мячу. Остальные распределились по местам. Мяч взвился в воздух, освещаемый прожекторами, и я крикнул:

— Ты его возьмешь, Бенджи.

Бенджи поймал мяч в конечной зоне и успел добежать до тридцатипятиярдовой отметки, где путь ему преградили двое игроков из Северного Чарлстона. Они ударили его, причем сильно. Бенджи исчез за скопищем голубых футболок. «Дьяволы» словно с цепи сорвались. Утратив всякий контроль, они ринулись к Бенджи. Пятьсот болельщиков, приехавших из Чарлстона, вскочили с мест и начали скандировать: «Ниггер, ниггер, ниггер!»

Бенджи медленно поднялся на ноги.

— Мы все равно убьем тебя, ниггер, — пригрозил ему двадцать восьмой номер, защитник команды-соперника.

Бенджи несся к месту совещаний. «Дьяволы» двигались следом, словно свора озлобленных псов.

— Ниггер. Ниггер. Долбаный ниггер, — бросали они Бенджи в спину.

Противники продолжали орать, когда я объявил первую игру сезона открытой. Наши ребята были потрясены. Бенджи находился в шоке.

Мы выстроились на своей части поля. «Дьяволы» встали напротив нас, повторяя:

— Убьем ниггера!

Приветствие было смазано. Когда я наклонился в их сторону, все тот же защитник сказал мне:

— Выдай-ка мне этого черножопого.

Я поднялся, ткнул пальцем в его сторону и вежливым тоном ответил:

— Пососи у себя между ног, мальчик.

Раздался свисток. Главный судья назначил против нас пятнадцатиярдовый штрафной за неспортивное поведение. Слова «неспортивное поведение» он произнес с какой-то гнусавой протяжностью, будто куклуксклановец, который судит футбольные матчи в свободное время. Вообще, среди судей на провинциальных матчах Юга я не встречал людей, разделявших принципы Верховного суда.

— Послушайте, как насчет того, чтобы гости перестали обзывать нашего игрока под сорок четвертым номером?

— Я ничего подобного не слышал, — сделал удивленное лицо судья.

— В таком случае вы не слышали, как я предложил тому прыщавому пососать у себя между ног.

Прозвучал еще один свисток, и судья отмерил половину расстояния до линии ворот. Мое блистательное вмешательство украло у нас двадцать пять ярдов. Мне предстояло принять бросок из центра.

— Заткнитесь и продолжайте игру, — велел судья.

— Иди сюда и получи, ниггер, — орал защитник «Дьяволов». — Я вышибу из тебя мозги, ниггер. Сегодня мы прикончим этого ниггера. Сегодня мы попробуем его мяса.

Болельщики из Северного Чарлстона продолжали скандировать: «Ниггер!», их голоса звучали все громче. Коллетонские болельщики смотрели молча. Родители Бенджи сидели на самом верху. Его мать отвернулась, а отец продолжал стоически следить за происходящим. Я понял, от кого Бенджи унаследовал достоинство и невозмутимость.

Я взял тайм-аут.

Мои товарищи по команде выглядели жалко. Сейчас они напоминали бездомных псов, что живут на свалках и кормятся отбросами. В них не было ни капли бойцовской злости, о которой нам недавно говорил тренер. Зато во мне ярости было предостаточно, мне хотелось вцепиться зубами в штангу ворот или начать колошматить по этим застывшим физиономиям. Я перевел взгляд туда, где стояла клетка с Цезарем. Тигр мирно спал. К счастью для себя, он не был искушен в том, насколько ядовитыми могут быть люди.

Я присел на корточки и обратился к команде:

— Эй, парни. Если кто забыл, я — Том Винго, ваш квотербек. Да, тот самый золотоволосый поганец Том. Смотрю, вы остановились. Придется вас немного подогреть.

— Ниггер! Ниггер! Ниггер! — неслось с трибун.

Жители Коллетона безмолвствовали.

— Устроим маленькую разминку. Бенджи, я знаю, каково тебе сейчас. Нам всем не легче. Их вопли устрашают. Но прежде чем мы покажем им, что ты самый быстрый чернозадый игрок в мире, надо провести небольшую подготовку. До сих пор, ребята, вы вели себя как мертвецы. Парни, вы должны ожить. И немного пошуметь.

Послышались ободряющие возгласы. По сравнению с неистовым ревом приезжих болельщиков это был слабый шепот.

Я подошел к Люку, обхватил его за плечи и постучал ладонью по шлему.

— Заставь Цезаря рычать.

— Что? — не понял Люк.

— Сделай так, чтобы Цезарь зарычал, — повторил я.

Люк не стал спорить. Он покинул место нашего совещания и направился в сторону команды-соперника, глядя на клетку, скрытую темнотой. Брат дошел почти до линии розыгрыша и там, перекрывая гул болельщиков, крикнул, обращаясь к тигру семьи Винго:

— Голос, Цезарь! Голос!

И Цезарь, который спал среди рыбьих костей и остатков куриных потрохов, Цезарь, утомленный светом прожекторов и футболом, проснулся, услышав взволнованную, напряженную команду человека, к которому он был привязан больше всего.

Цезарь встал, подошел к прутьям клетки — не домашний любимец, не живой талисман, а настоящий бенгальский тигр. Он зарычал, приветствуя самого крупного правого нападающего штата и

показывая ему свою верность.

Люк так же страстно вторил ему, выражая свою любовь.

Цезарь снова открыл пасть, и его рык пронесся над полем, как самолет на бреющем полете, заглушая беснующихся болельщиков. Рев преодолел пятьдесят ярдов, ударил нам в уши, полетел к стоянке, достиг кирпичной стены спортивного зала и эхом вернулся назад. Казалось, там, во тьме, притаился еще один громадный дикий зверь. Цезарь ответил на собственное эхо, и я крикнул своей команде:

— А ну, младенцы, хватит гадить в пеленки. Берите пример с Цезаря!

И наши игроки словно сами стали тиграми. Они рычали снова и снова, и Цезарь — отнюдь не новичок в таких представлениях — откликался своим удивительным глубоким голосом, рожденным в душных джунглях Индии. Цезарь, чьи родители будили по ночам индийские деревни и повышали слонам уровень адреналина в крови, передавал послание коллетонцам. И тогда наши болельщики проснулись, вспомнили дух игры и тоже взревели, помогая тигру.

Я побежал к боковой линии поля и попросил дирижера мистера Чэппела исполнить «Дикси».

Когда оркестр заиграл эту бесхитростную песенку, Цезарь буквально озверел. Команда Северного Чарлстона оцепенело глядела на взрослого бенгальского тигра, яростно вгрызающегося в прутья клетки. Цезарь просовывал лапы с грозно растопыренными когтями, прорезая воздух.

— Зачем ты это сделал, Том? — сердито накинулся на меня Люк. — Ты же знаешь, что «Дикси» разъяряет Цезаря.

— Конечно. Сейчас он выискивает этих чертовых тюленей, — горделиво сказал я. — Ощути всю прелесть момента, Люк. Это величайший таймаут за всю историю американского футбола.

Я подошел к ошалевшим игрокам Северного Чарлстона. Их болельщики поутихли.

— Вот так-то, парни, — крикнул я, перекрывая звериный и человеческий рев. — Если вы снова разозлите меня, я выпущу тигра прямо на поле.

Послышалась трель свистка. Нас опять наказали штрафным, на этот раз — за задержку игры.

Мы сгрудились для совещания. Случилось чудо. В глазах товарищей по команде я увидел священный блеск единства, огонь солидарности, чувство братства. В мире спорта нет ничего важнее и ценнее этого. Я понял: ребята становятся командой.

— Ниггер! Ниггер! — раздавалось на одном

конце стадиона.

— Рычи! Рычи! — неслось из другого.

Мы просто тонули в воплях трибун.

— Слушайте тактику нападения, — обратился я к «Коллетонским тиграм». — Квотербек продвигается для обманного маневра. Никто мне не мешает. Пока эти уроды меня преследуют, все вы, за исключением Бенджи, добираетесь до их недомерка-защитника. Я немножко повихляю по заднему полю. Так что у вас будет время отделать его.

— Ниггер! Ниггер! — продолжали орать приезжие болельщики.

— Рычи! Рычи! — отвечали им местные.

Получив мяч, я с нарочитой неуклюжестью двинулся в проход, образовавшийся рядом с левым защитником команды-соперника. На меня тут же навалилось фунтов пятьсот тел. Меня сбили с ног. В нашей пятиярдовой зоне я упал лицом в траву и щебень. Судья засвистел. Поднявшись, я увидел того задиристого защитника. Парень лежал на спине, держась за лицо и коленку. Нашей команде назначили пятнадцатиярдовый штрафной за чрезмерную грубость на поле. Судья отсчитал половину расстояния от линии ворот. По моей вине мы оказались на тридцать два ярда дальше ли-

нии розыгрыша. Но я с удовольствием наблюдал, как с поля уносят окровавленного защитника «Голубых дьяволов». Люк восторженно сообщил, что кровь у того хлещет «из всех щелей».

— Ниггер нам за это заплатит, — пригрозил один из их чарлстонских линейных защитников.

Мы вновь совещались. Я присел на корточки.

— Отлично, ребята, — похвалил я. — Просто замечательно. Люблю, когда вы слушаетесь дядюшку Тома. В следующей четверти мы попытаемся заработать очки на тачдауне[141].

— И вот тут-то мы выпустим Бенджи, — обрадовался Люк.

— Пока рано, — возразил я. — Главный стратег пока не считает это целесообразным. Но Бенджи послужит для них приманкой. Тебя, Бенджи, я направлю прямо в середину. Я им сообщу, что мяч у тебя, и покажу им дыру, через которую ты проникнешь на их часть поля.

— Боже, — выдохнул Бенджи.

— Том, это глупый маневр, — нахмурился Люк.

— Но мяча у тебя не будет. Я втихаря проведу

---

[141] Примечания: 141

Тачдаун — один из моментов игры в американском футболе, в частности нахождение с мячом в конечной зоне противника или забрасывание мяча в ворота противника. Тачдаун приносит шесть очков.

его по левому краю. Обеспечьте мне двух блокирующих в центральной части. Двух вполне достаточно. Все, перерыв.

Прежде чем спрятать руки за пропотевшей спиной Милледжа Морриса, я приблизился к игрокам Северного Чарлстона, вновь заладившим: «Ниггер!»

— Вам нужен ниггер? Так я пошлю его прямо туда. — Я указал на промежуток между центральным и левым защитниками. — И ни у кого из вас не хватит мозгов остановить его.

Их линейный игрок сдвинулся, а защитники встали ближе друг к другу.

— Последовательность: четырнадцать, тридцать пять, два, — протараторил я.

Я бросился вперед, крепко держа мяч. Линейные игроки тут же метнулись мне навстречу. Я пригнулся, ткнул мячом в живот пробегающему Бенджи, проследил, как он несется к дыре, и тут же спрятал мяч. Бенджи снова исчез в толпе голубых футболок.

Мяч находился у меня. Я притормозил и оглянулся, сделав вид, будто озабочен попытками «Дьяволов» завалить Бенджи. Затем рванул в угол и двинулся вдоль боковой линии, буквально под носом у болельщиков Северного Чарлстона,

которые вдруг вспомнили, что в нашей команде играют и белые парни. На двадцатиярдовой отметке ко мне присоединился Люк. Мы оба зорко следили за одним из защитников команды-соперника, который сумел распознать наш хитрый маневр. Он поспешил к боковой линии, мне наперерез. Я сделал обманное движение вправо, словно собирался вернуться на свое поле. Защитник сбросил скорость, выпрямился, и тут Люк едва не зашиб его лобовым перехватом. Я перепрыгнул через них и спокойно устремился к нашей двадцатипятиярдовой линии.

Я храню отцовскую кинопленку, запечатлевшую ту игру и мой неистовый пробег вдоль боковой линии поля. Девяносто семь ярдов. Я видел этот ролик раз сто и, наверное, буду смотреть еще и еще, пока жив. Я слежу за движениями парня, которым был когда-то, и восхищаюсь его реактивностью. Качество пленки оставляет желать лучшего; высокая зернистость делает картинку почти сюрреалистичной. Я прокручиваю этот фильм и невольно провожу рукой по редеющим волосам. Я пытаюсь воскресить ощущения момента, когда я летел к конечной зоне, на свою территорию, а парни в голубых футболках безуспешно пытались меня достать.

Толпа одарила меня своим вниманием где-то на линии пятидесяти пяти ярдов. Я ногами ощущал их неистовые призывы. Чарующий гул десятков голосов звал к высочайшим пределам в те дни моей быстроногой юности. И я несся — коллетонский мальчишка, поднявший на ноги весь город, и не было на всей Земле никого более счастливого, более невинного и далекого от людских проблем, чем этот парень. Да, я был молод, умел и неуловим. Я бросился вдоль боковой линии. Судье было не угнаться за мной; я оставил его позади в облаке пыли. Я мчался в лучах слепящих прожекторов; мимо отца, который глядел на меня сквозь видоискатель кинокамеры и кричал от восторга; мимо вопящей и прыгающей Саванны — она ликовала вместе со мной; мимо матери, чья красота обычно не скрывала ее стыда за свое положение и происхождение. Но в тот момент, сравнимый с элегическим мифом, она была матерью Тома Винго, это она подарила миру мои умопомрачительные ноги. Я миновал отметку в сорок ярдов, еще через мгновение — в тридцать ярдов и устремился дальше, к конечной зоне, словно оставляя позади свое детство… Когда теперь я смотрю это видео, я часто задумываюсь: а ведь тот парень не знал, куда он направляется

на самом деле, ведь это вовсе не конечная зона. В какую-то из тех десяти секунд все происходящее превратилось в метафору. Этот великолепный ход, эта замечательная способность постоянно убегать от всего, что ранит, от людей, которые любят, от друзей, способных спасти. Но куда мы несемся, когда нет ни толп, ни прожекторов, ни конечных зон? «Куда бежит человек?» — вопрошает взрослый тренер, смотря на себя, подростка. Где он может спрятаться в тот момент, когда оборачивается и видит, что за ним никто не гонится, кроме него самого?

Я пересек конечную зону и ввинтил мяч в воздух на пятьдесят футов. Затем упал на землю и стал целовать траву. Но этого мне было мало. Я подскочил к клетке Цезаря и прокричал сквозь прутья:

— Молодец, полосатый ты сукин сын!

Цезарь меня величественно игнорировал.

Потом Люк подхватил меня на руки, поднял в воздух и закружил. Наконец-то мы с братом дождались своего вальса.

Мы произвели вбрасывание, и по тому, как ребята бросились к игроку противника, завладевшему мячом, было понятно: это наша игра. На

линии розыгрыша Люк встретил их фулбека[142] лобовой атакой и откинул его на пять футов. Весь правый край линии обороны соперника пытался применять силовые приемы. Люк молнией прорвался к ним и доставил их квотербеку несколько малоприятных мгновений. «Дьяволы» потеряли семь ярдов, и мяч в третий раз за это вбрасывание оказался вне игры. Удивляюсь, что от нашей команды не летели искры — столько в ней было огня. После каждого вбрасывания мы хлопали друг друга по плечам и шлемам, обнимались и подбадривали линейного игрока, первым ударившего по мячу. Все поле было охвачено титаническим невидимым пламенем. Нами владело желание победить. Мы ощущали себя единым организмом.

Вбрасывающий послал мяч на пятидесятиярдовую отметку, что существенно расширило территорию наших возможностей.

Настало время ввести в игру Бенджи. Когда я заработал тачдаун, Бенджи очухивался после вражеской атаки. Он тер глаза и поцарапанную ногу. Чувствовалось, что он сильно разозлен.

— Бенджи, пора показать этим придуркам, что

---

[142] Примечания: 142
Фулбек — игрок за линией розыгрыша.

Браун не зря выиграл процесс против Комиссии по образованию[143]. Видишь вон того игрока? Прорывайся туда.

Мне всегда было немного жаль соперников, которым приходилось бороться против Люка. Они начинали матч вполне здоровыми и сильными парнями, а уходили с поля калеками, по крайней мере на день. При габаритах и изяществе моего брата неудивительно, что у него проявились симпатии к тиграм.

Когда я приблизился к позициям «Голубых дьяволов», слово «ниггер» на время исчезло из их лексикона.

Я передал мяч Бенджи Вашингтону. В Коллетоне это был первый случай, когда белый парень передавал мяч чернокожему. Бенджи грозил захват, но Люк потрудился над противником, который намеревался его выполнить. Бенджи увернулся от переднего защитника, шедшего на таран, обманул заднего, норовившего вырвать мяч. Далее последовала серия потрясающе быст-

[143] Примечания: 143

Процесс, начатый в 1951 г. чернокожим жителем штата Канзас Оливером Брауном, дочь которого не допускали в школу для белых, находившуюся рядом с домом, а заставляли ходить в школу для черных, расположенную гораздо дальше. Браун подал иск в Верховный суд США. Разбирательство окончилось постановлением Верховного суда от 1954 г., отменившим сегрегацию в школах. Однако правительства некоторых южных штатов еще долго противились этому постановлению.

рых обманных движений. Бенджи танцевал на их половине поля: легкий, неистовый, неуловимый. Внезапно он переменил направление и помчался к боковой линии поля мимо правого заднего защитника. Еще один резкий поворот, и Бенджи полетел к конечной зоне через всю часть поля команды Северного Чарлстона. Трое игроков «Голубых дьяволов» пытались его перехватить, но недооценили его скорость. Мы двинулись к линии ворот. Второй тачдаун — менее чем через две минуты после первого. Наверное, коллетонские болельщики испытывали двойственные чувства. Поначалу серию маневров Бенджи встретили прохладными вежливыми аплодисментами. Как-никак, большинство сидевших на трибуне были белые, и притом — южане до мозга костей, впитавшие в себя все отвратительные бесчеловечные традиции того времени. Кое-кто из них желал Бенджи поражения, даже если это вызовет проигрыш всей команды. Возможно, кто-то даже хотел его смерти. И все-таки за семь секунд его молниеносных пробежек расовая ненависть в Коллетоне чуть-чуть ослабла. И потом каждый раз, когда мяч оказывался у Бенджи Вашингтона, трепетная любовь южан к спорту одерживала верх над всеми дрязгами и гнусностями, с кото-

рыми было сопряжено появление в нашей школе и нашей команде самого быстрого парня на американском Юге.

Команда окружила Бенджи, щедро награждая дружескими похлопываниями.

— Ну и медлительные эти белые парни, — сказал Бенджи.

— Не-а, — ответил Люк. — Это ты струхнул, что они тебя поймают.

В тот вечер я понял: с появлением Бенджи Вашингтона моя собственная игра стала несравненно лучше. Я не менее тридцати раз посылал его на прорыв, и Бенджи снова и снова заставлял меня замирать от восхищения. В один из моментов третьей четверти матча я метнулся вправо. У меня был выбор: бросать самому или передать мяч. Внимательно следя за защитой противника, я решился на обман, имитировав боковую передачу на Бенджи. Я видел свободное пространство рядом с левым защитником и кинулся туда, пытаясь достичь боковой линии, но меня перехватил и сшиб с ног внешний защитник. Падая, я уже по-настоящему перебросил мяч Бенджи, и тот, поймав его, молнией пронесся восемьдесят ярдов вдоль боковой линии. И снова никто из «Дьяволов» не смог его догнать.

В последней четверти Северный Чарлстон сумел заработать два тачдауна, но они дались «Дьяволам» дорогой ценой. Оба раза это был длинный и нелегкий путь к центру поля, и оба раза их фулбеку изрядно доставалось. Время неумолимо приближалось к концу матча. Мы вели со счетом 42:14. Школьный оркестр заиграл «Теннессийский вальс». Это было последнее совещание перед последним вбрасыванием, и когда игроки Северного Чарлстона собрались на своей части поля, они увидели, что мы танцуем. Вальсируем в шлемах и потных футболках прямо на линии розыгрыша. Зрители на трибунах подпевали.

Прозвучал финальный свисток, и мы пошли в раздевалку. Весь город ринулся к нам. Наши соученики и болельщики выплеснулись на поле. Каждый протягивал ладонь и норовил похлопать нас по плечу. Ко мне подскочила Саванна, поцеловала в губы и засмеялась, что заставила меня покраснеть. Люк применил задний захват, и мы с ним немного покатались по траве. Трое игроков Северного Чарлстона пробились сквозь ликующую толпу и пожали Бенджи руку. Их средний защитник извинился за то, что назвал его ниггером. Проснувшийся Цезарь вновь зарычал,

и толпа с энтузиазмом подхватила. Отец снимал все это на пленку. Мать прыгнула Люку на руки, и брат донес ее, словно невесту, до самой раздевалки. Мать обнимала Люка за шею, говоря, как он замечательно играл и как она им гордится.

В раздевалке мы запихнули тренера Сэмса под душ в его полном спортивном облачении. Оскар Вудхед и Чак Ричардс подхватили Бенджи и с почти религиозным благоговением потащили в душ, где он принял ритуальное крещение водой победы. Нас с Люком тоже несли в душ на руках. Весь этот радостный кавардак продолжался еще некоторое время, а потом, мокрые и счастливые, мы стояли на кафельном полу, позируя фотографам. Наши отцы, попыхивая сигаретами, обсуждали матч за дверью раздевалки.

Вымывшись, я сел рядом с Люком на длинную деревянную скамью и стал неторопливо одеваться. Я вытерся, но распаренное тело продолжало потеть. Я ощущал ломоту, неизменно наступавшую после таких игр. Она медленно завладевала организмом, как лекарство, которое действует постепенно. Я надел рубашку и с трудом поднял левую руку, чтобы застегнуть верхнюю пуговицу. В помещении пахло разгоряченными молодыми телами, потом и одеколоном. Ко мне, расчесывая

на ходу темные волосы, подошел Джефф Галлоуэй, наш левый крайний.

— Том, пойдешь на танцы? — поинтересовался он.

— Сначала мы с Люком немного передохнем, — ответил я.

— Надеюсь, у тебя на вечер припасена другая одежда? — поморщился Джефф, глядя на мою рубашку.

— Конечно. Я оставил ее в клетке у Цезаря. Посижу здесь немного и заберу.

— Я серьезно.

— Представь себе, я вполне обхожусь и этой.

— Смотрю, у братьев Винго — совершенно никаких понятий. Почему бы вам не обратить на себя внимание и не купить по паре рубашек от Ганта?[144] И потом, ребята, вы единственные во всей школе, кто не носит лоферы «Виджанс». Если заметили, в нашей команде у всех они есть.

— Я не люблю «Виджанс», — отозвался Люк.

— Ты еще скажи, что эти теннисные туфли лучше, — засмеялся Джефф, видя, как я завязываю шнурки. — В них только навоз разгребать. Кстати, Том, какой марки твоя рубашка?

---

[144] Примечания: 144

Gant — марка одежды спортивного покроя, популярная среди американских старшеклассников и студентов тех лет.

Джефф потянул на себя воротник и хмыкнул, увидев ярлык.

— «Белк»[145]. Их фасон. Боже милостивый, вот уж не думал. Выдвигаю вас обоих кандидатами на звание самых элегантных старшеклассников Коллетона. Простите, самых экономных. По-моему, Том, ты уже две недели щеголяешь в этих брюках цвета хаки.

— Не угадал, — возразил я. — У меня две пары. Я надеваю их попеременно.

— Сочувствую. Только и остается вздыхать и разводить руками. Никакого стиля. Никакого лоска.

— Джефф, тебе не нравится наша одежда? — спросил Люк.

— А что в ней хорошего, дружище? Вам, ребята, честное слово, наплевать, как вы смотритесь. Все наши парни после матча стараются принарядиться. Мы ведь не просто красиво играем в футбол. Мы задаем моду. Когда мы идем по коридору, все девчонки и все парни из оркестра разевают рты и говорят: «Сразу видно, это команда. Это чертовски сильная команда, которая умеет и бороться, и классно выглядеть». Даже Бенджи неплохо

---

[145] Примечания: 145

Сеть универмагов эконом-класса, расположенных в основном в городах южных штатов.

прикинут, а он всего лишь…

— Ниггер, — докончил за Джеффа Люк. — Не волнуйся, Бенджи уже ушел. Подумаешь, парень сегодня спас нам положение. Мы не на поле, так что смело можешь называть его ниггером.

— Бенджи — цветной. Я это имел в виду. Цветной парень, который всю жизнь был цветным. Но по сравнению с вами Бенджи одевается как принц. Отовариваться у Белка? Ребята, в моей голове не укладывается. Наши капитаны покупают шмотки в универмаге Белка!

— А ты где, Джефф? — Люк стал раздражаться. — Может, летаешь прямо в Лондон?

— Нет, не так далеко. Мы с парнями катаемся в Чарлстон. Застреваем там на целый день в бутиках Берлина и Кравчека. Это мужские магазины, Люк. Специализированные. Понимаешь? Это тебе не универмаг Белка. Пойми: нельзя приобретать вещи там, где торгуют всем. Спроси наших — они тебе подтвердят. Видел бы ты, сколько у Берлина ремней из крокодильей кожи. Такое ощущение, что у хозяина своя крокодилья ферма. Вам обоим обязательно стоит туда съездить. Пора, ребята, развивать вкус.

— Я рад, Джефф, что у нас с тобой разные вкусы. — Люк закрыл дверь своего шкафчика. —

Никто тебя не заставляет одеваться как мы, так что можно и без комментариев.

— Не сердись, Люк. Всего-навсего дружеский совет. Имею же я право высказать свое мнение вам в глаза, а не за спиной? Согласны? Вы и спортивное снаряжение не больно-то жалуете. Сэмс требует, чтобы на игру все выходили по форме. И потом, так жизнь разнообразнее. Утром — костюм-тройка, затем — спортивная форма, в которой мы потеем на поле. Дальше — душ, пара капель «Инглиш лезер»[146] и снова — костюм-тройка. На девчонок это действует убийственно. Кстати, этот костюм я купил у Кравчека меньше чем за сотню баксов.

— Дерьмо дерьмом, — заключил Люк, взглянув на светло-синий пиджак Джеффа.

— За такую цену отличный прикид. Или поношенные брюки, да еще цвета хаки — лучше?

— Представь себе, мне нравятся, — угрюмо ответил Люк.

— Ладно, законодатели мод, встретимся на танцах. Правда, мы вряд ли пересечемся. Меня там облепят две сотни девиц, которым захочется

---

[146] Примечания: 146

«English Leather» — мужской одеколон, впервые выпущенный в 1949 г. Через двенадцать лет он был уже не столь популярен, что свидетельствует о провинциальности вкусов Джеффа.

потрогать мои классные шмотки. А вообще-то вы сегодня были молодцами, — добавил на прощание Джефф.

В школьной столовой оркестр заиграл рок-н-ролл. Я закрыл шкафчик и сдвинул цифры на кодовом замке. Люк сделал то же самое.

— Люк, хочешь потанцевать? — поинтересовался я.

— А ты?

— Не очень.

— Я тоже. Особенно теперь, когда все будут пялиться на меня и думать: «Надо же, этот парень покупает одежду в универмаге Белка».

— Мне плевать. Я и танцевать-то не умею.

— Я тоже, — признался Люк.

— Почему здесь до сих пор свет горит? — послышался голос тренера Сэмса. — А, это вы, ребята. Я решил, все уже давно на танцах. После такой победы девчонки могут вас просто изнасиловать.

— Мы как раз туда собирались, — отозвался я.

— Кстати, почему вы явились на матч без форменных футболок? Я же велел на встречи с гостями одеваться как положено.

— Забыли, тренер, — соврал Люк. — Так волновались перед игрой, что все мысли были только о ней.

— Хей-ю. — Сэмс хлопнул Люка по руке. — Отличный был бой. Хей-ю.

— Хей-ю, — повторили мы оба.

— Хей-ю, хей-ю, — улыбнулся он нам. — Здорово сражались.

Вместе с тренером мы прошли к задней двери раздевалки. Сэмс открыл щиток и опустил рубильник, выключив свет на поле.

Мы с Люком отправились в школьную столовую.

Когда я пытаюсь вспомнить, каким был голос матери в годы нашего детства, я почему-то слышу нескончаемые, полные мрачной торжественности монологи о нашем тяжелом экономическом положении. Эта мысль повторялась ею на разные лады. Мать была твердо убеждена, что мы живем в нищете. Не могу сказать, правда ли это. Не уверен, скупой была мать или просто экономной. Но я бы скорее попросил мать покормить меня грудью, чем отважился стребовать с нее десять долларов. Финансовые темы сразу же меняли мать, причем не в лучшую сторону. И дело не в том, что у нее не было денег — она пыталась заставить нас поверить, что их нет. Я подозревал, что мать о чем-то умалчивает. И всегда боялся, что купюры она любит больше, чем меня. Так это

или нет — узнать не удалось.

После слов Джеффа и напоминания тренера Сэмса отсутствие формы не выходило у меня из головы. Позавтракав, я подошел к матери. Она развешивала белье на заднем дворе. Я стал помогать ей.

— Мам, можно с тобой поговорить?

— Конечно, Том. Никогда не стесняйся обсуждать со мной все, что угодно. Я буду только рада.

— Мама, я могу выполнять какую-нибудь работу по дому?

— Но у тебя и так есть свои обязанности.

— Я имею в виду дополнительный труд, на котором можно заработать.

— Том, мне ведь никто не дает ни цента за все, что я делаю. Подумай об этом. Если бы я брала плату за приготовление еды, уборку, стирку, починку вашей одежды и многое другое, боюсь, нам бы не хватало на хлеб. Но мне бы и в голову не пришло требовать деньги за свою работу. Я ее делаю потому, что люблю нашу семью.

— Я тоже люблю нашу семью.

— Разве ты забыл, что у нас трудности? — прошептала мать.

Я хорошо знал эти заговорщические интонации, которые намекали на мою посвященность в

самые сокровенные материнские мысли.

— Слава богу, уловы сейчас хорошие, — продолжала мать. — Но покупка отцом автозаправки, а потом и тигра проделала громадную брешь в бюджете. Не хочу тебя пугать. Знаю, как ты за меня беспокоишься. Да, Том, мы в любой момент можем остаться без гроша. Я пытаюсь убедить в этом твоего отца. Но что я могу поделать? Теперь он мечтает о целой флотилии лодок.

— Мама, мне нужно купить форменную футболку.

— Какая ерунда, — возмутилась мать, рот который был полон бельевых прищепок. — Обойдешься без нее.

— Нет, не обойдусь. — Я уже ощущал себя так, словно заикнулся о роскошной яхте. — Тренер Сэмс велит нам в дни игр с соперниками одеваться по правилам. Вчера на матче только мы с Люком были в обычной тренировочной одежде.

— Дурацкие правила. Почему вы должны подчиняться? Ты же в курсе, как неудачно сложился для отца прошлый год. Креветок не было, а его угораздило вбухать деньги в эту чертову автозаправку. Ты хочешь, чтобы я себя неловко чувствовала, отказывая тебе? Каких сил мне стоит держать нашу семью на плаву! И вопрос

не в том, что мы не можем позволить себе раскошелиться на вас с Люком, а в том, что для семьи важнее и нужнее в данный момент. Отец бы на стенку полез, услышь он о новой футболке. С твоей стороны эгоистично даже думать об этом. Я удивлена и, если честно, весьма огорчена твоей просьбой.

— Но у всех остальных ребят есть форма. И потом, необязательно покупать новую. Можно посмотреть в комиссионном магазине.

— Ты не такой, как остальные ребята. Ты — Том Винго, и ты на целую голову выше всех. Возможно, сверстники одеваются лучше, но ведь не они, а вы, мои сыновья, являетесь капитанами команды.

— Тогда почему у Саванны полно вещей, а мы с Люком вечно одеты так, будто собрались ловить креветок?

— Саванна — девушка, для девушки очень важно подчеркивать свою привлекательность. И я ни в малейшей степени не считаю себя виноватой, идя на жертвы и наряжая свою дочь. Удивительно, что тебя это задевает и что ты не понимаешь очевидного.

— Не понимаю. Объясни мне, мама!

— Чтобы выйти замуж за достойного молодого

джентльмена, Саванна должна отлично выглядеть. Парни из хороших семей не будут ухаживать за девушкой, которая не умеет одеваться. Стиль — это первое, что привлекает мужчину в женщине. Может, и не первое, но одно из первых.

— Тогда что же привлекает женщину в мужчине?

— Разумеется, не его тряпки, — усмехнулась мать. — Если мужчина занят серьезным бизнесом или юридической практикой — его внешность играет весьма незначительную роль. Женщина обращает внимание на характер мужчины, его перспективы, честолюбие, происхождение.

— Ты все это учитывала, выходя замуж за отца?

— Я тогда думала, что заключаю брак совсем с другим человеком. Я была глупа и продала себя, можно сказать, за бесценок. Не хочу, чтобы Саванна повторила мою ошибку.

— Тебе не кажется, что девушкам тоже не все равно, во что я одет?

— Если они пустышки, взбалмошные особы и не знают, как достаются деньги, тогда, конечно, твой костюм будет для них важнее всего остального.

— В таком случае, почему мужчин так занима-

ют женские наряды?

— Потому что мужчины сильно отличаются от женщин. Они более поверхностные и ограниченные.

— Мама, ты действительно считаешь, что это так?

— Я уверена в этом. Я прожила на свете дольше, чем ты.

— Ты можешь дать мне хотя бы часть денег?

— Ты не получишь ни цента. Научись сам зарабатывать на нужные тебе вещи. На то, что действительно необходимо. Вот когда ты попотеешь на свою футболку, ты будешь по-настоящему ее ценить. Потрудись ради этого, Том. Так ты будешь больше себя уважать. Когда все преподносится на серебряном блюдечке…

— Мне никогда ничего не преподносилось на серебряном блюдечке.

— Верно, Том. И не будет. Во всяком случае, мной… Судя по всему, ты думаешь, что я скупая.

— Да, мама. Никак не могу отогнать эту мысль.

— Это твое дело. Но я знаю то, чего не знаешь ты. Спроси через год своих товарищей по команде: какого цвета у них были футболки в начале сезона? Уверяю, никто из них не ответит.

— Это почему?

— Потому что они не знают цену вещам. Зато ты, Том, всегда скажешь, как выглядела чужая форма, поскольку у тебя не было своей. Ты сможешь описать и цвет, и ткань, и даже запах.

— К чему ты клонишь?

— Когда у тебя наконец появится собственная футболка, ты будешь ее беречь. Надевая ее, ты будешь думать обо мне. Ты каждый раз будешь возвращаться к вопросу, почему я не дала тебе денег.

— Мне и сейчас интересно.

— Я учу тебя по-настоящему дорожить тем, чего у тебя нет, что для тебя пока недосягаемо.

— Как глупо.

— Возможно, для тебя и глупо. Но ты наверняка будешь долго вспоминать и любить свою первую форму. Поверь мне.

— Мама, но ведь в этом году такие уловы! Самый удачный сезон после пятьдесят шестого года. У нас есть деньги.

— Но не на одежду. Я вынуждена копить, чтобы мы не голодали после очередной дурацкой затеи твоего отца. Если бы он рассуждал как я, у тебя было бы все, чего ты хочешь. У всех нас.

Глава 19



Поселившись в доме Саванны, я начал искать ключи, способные открыть дверь в тайную жизнь сестры, которую она вела до того, как перерезала себе вены. Благодаря ее отсутствию я мог предаваться этому грешному занятию — я стал вуайеристом, подглядывающим за интимными сторонами жизни Саванны. Запущенность квартиры наглядно свидетельствовала о затягивании сестры в воронку безумия. Я обнаружил массу нераспечатанных конвертов, включая письма от матери, отца и меня. Консервооткрыватель был сломан. На кухонной полке для специй находились две баночки с красным перцем, но отсутствовали любимые сестрой душица и розмарин. В спальне я нашел кроссовки «Найк», которые сестра ни разу не надевала. В ванной не было ни зубной пасты, ни аспирина. В кладовке

сиротливо стояла единственная банка консервов из тунца, а холодильник, судя по всему, не размораживался несколько лет. Саванна всегда отличалась маниакальной чистоплотностью, а тут — густой слой пыли на мебели и книгах. Чувствовалось, что эту квартиру занимал человек, желающий умереть.

Но ведь где-то должны быть те самые отмычки от тайн Саванны. Если мне хватит терпения, я обязательно найду их, и тогда многое прояснится. Я старался быть терпеливым и предельно внимательным к любой мелочи, способной пролить свет на мотивы нынешней вспышки сестринского безумия.

Начиналась шестая неделя моего пребывания в Нью-Йорке. Воскресный день близился к вечеру. Я сидел, снова и снова читая стихи Саванны: опубликованные и те, что нашел в квартире. Я вникал в роскошный ямб ее строчек, пытаясь уловить скрытые намеки. Я знал все важные события в жизни сестры, все ее основные психотравмы, однако интуитивно ощущал: мне недостает чего-то важного. Ведь в течение последних трех лет Саванна абсолютно с нами не общалась.

В детстве у сестры была привычка тщательно припрятывать свои подарки. То, что она нам пре-

подносила, никогда не лежало рождественским утром под елкой. Саванна вручала нам подробные карты, помогающие найти ее презенты. Так, тайным местом для агатового кольца, купленного для мамы на деньги бабушки, она избрала болото в центре нашего острова. Кольцо она положила в дупло дерева, в гнездо овсянки, среди мха и стебельков. И хотя Саванна записала, как добраться до этого места, ориентиров оказалось мало, и сестра так и не смогла привести мать к заветной цели. После этого агат неизменно напоминал сестре об украденном Рождестве, и она отучилась от привычки прятать.

Впоследствии Саванна несколько раз писала о потерянном кольце, превратив его из обычного подарка в самый совершенный и чистый дар. Совершенный дар, утверждала она в стихах, всегда тщательно скрыт, но только не от поэтессы, или, исходя из поэтического канона Саванны, «повелительницы сов». Когда поэтесса закрывает глаза, появляется огромная сова; птица полумесяцем раскидывает крылья, бросая золотисто-коричневую тень на зелень лесов. Она направляется туда, где растут кипарисы и где в дупле одного из них находится покинутое гнездо овсянки. Там сова находит потерянный камень желтовато-мо-

лочного цвета с фиолетовыми вкраплениями. И тогда эта когтистая королева неуправляемых инстинктов берет кольцо в свой клюв, на котором запеклась кровь растерзанных ею кроликов, летит сквозь кружево сказочных снов, по воздуху, напоенному ароматом, и возвращает потерянное кольцо поэтессе. Возвращает снова и снова, в каждом стихотворении. У Саванны ничего не пропадало зря; она все умела превратить в загадочный чувственный мир языка. Свою любовь к играм она сохранила и в поэзии, пряча презенты в шпалерах слов и создавая удивительные букеты из собственных утрат и кошмаров. В творчестве Саванны не было мрачности. Она писала о прекрасных фруктах, окруженных цветами и способных навсегда усыпить тех, кто решится их отведать. Даже розы оказывались безжалостными убийцами. Их шипы были густо покрыты цианистым калием. Все произведения Саванны были полны загадок, ложных указателей, двусмысленностей и неожиданных поворотов. Никогда и ни о чем она не говорила напрямую. Саванна так и не смогла избавиться от детской привычки скрывать подарки. Даже когда она упоминала о своем сумасшествии, то делала его привлекательным; неким адом с райскими

кущами, пустыней, усаженной хлебными деревьями и манго. Саванна могла рассказывать о палящем, безжалостном солнце и закончить стихотворение на ликующей ноте, восторгаясь своим загаром. Все свои слабости (отмечу, что слабости особого рода) она окружала атрибутами силы. Саванна гуляла по вершинам Альп, называя те места своей родиной, и не могла подрезать крылья, уносившие ее в высоту. Ей бы признать, что агатовое кольцо потеряно безвозвратно. Но нет, она постоянно его вспоминала. Даже ее крики были приглушены, смягчены гармонией, как шум моря, заточенный в морских раковинах. Саванна уверяла, что ощущает музыку раковин, но я знал, что это не так. Она слышала волчий вой, все мрачные ноты, все сатанинские мадригалы. Но когда она писала об этом, заручившись помощью призрачной совы и мечтая о дымчатом агате, жуткие вещи представали восхитительными. Она говорила о водяных лилиях, которые, словно лебеди, плавали в прудах внутренних дворов лечебниц для душевнобольных. Моя сестра влюбилась в великолепие безумия. Последние ее стихи, найденные мной в укромных уголках квартиры, были редкими по красоте некрологами. Ностальгия по собственной смерти

превратила творчество Саванны в гротеск.

Поселившись в квартире сестры, я оплатил все счета, разобрал и рассортировал почту. Вместе с Эдди Детревиллом мы покрасили стены в теплый льняной цвет. Я навел порядок в библиотеке, расставив тома по темам. Думаю, библиофилы по достоинству оценили бы внушительное собрание книг, к которым Саванна относилась без присущего библиофилам трепета. Стоило мне раскрыть какой-нибудь роман, и я почти всегда натыкался на подчеркнутые шариковой ручкой фразы и абзацы, привлекшие внимание Саванны. Как-то я сказал ей, что скорее смирюсь с бомбардировкой музея, чем с подобными метками на страницах, и Саванна назвала мои слова сентиментальной чепухой. Она старалась выделить чужие мысли и идеи, привлекшие ее внимание, чтобы впоследствии их не забыть. Между творчеством Саванны и ее чтением существовал некий плодотворный обмен. Сестра имела оригинальную привычку покупать книги о совершенно незнакомых ей вещах. Брошюра о жизненных циклах папоротников была исчиркана сестрой вдоль и поперек. Такая же участь постигла «Знаковый язык индейцев Великих равнин». В залежах сестры я обнаружил шесть книг по разным аспектам

метеорологии, три — о сексуальных отклонениях в девятнадцатом веке, книгу о содержании и кормлении пираний, «Морской словарь» и внушительный научный труд о бабочках штата Джорджия. В свое время Саванна сочинила стихотворение о бабочках, прилетавших в материнский сад на острове Мелроуз. Теперь, глядя на записи, оставленные ею на полях, я понял, откуда сестра почерпнула необходимые знания о парусниках, хвостатках и червонцах. Она умела воспринимать информацию; ни один факт, каким бы туманным он ни был, не ускользал от ее пристального внимания. Допустим, если она хотела создать произведение о божьей коровке, она покупала десяток брошюр по энтомологии и находила именно тот вид божьих коровок, который был ей нужен. С помощью подобных бесценных сведений Саванна творила удивительные миры. А поскольку она варварски обращалась с чужими текстами, я мог проследить историю ее чтения; достаточно было приглядеться к наличию или отсутствию подчеркиваний и пометок. И тогда я решил еще раз просмотреть библиотеку сестры, фиксируя, какие книги и по каким предметам она открывала и мучила. Конечно, это было вероломным вторжением в личную жизнь Саванны, но я

пытался получить хоть какое-то представление о ее последних годах.

Я начал с того, что пролистал все томики с дарственными надписями поэтов, друживших с Саванной. Надписи были дружескими, но довольно официальными. Приятели восхищались творчеством Саванны, однако ее личность оставалась для них неизвестной и непонятной. Большинство этих поэтов жили в гордой безвестности, и когда я ознакомился с их произведениями, то понял почему. Все они были трубадурами крошечного мирка. Они вдохновенно описывали плод граната или тычинки цветка, но их темы были бессмысленными. Ничто так не обрадовало Саванну, как мои слова, когда однажды я признался, что не понимаю ее стихотворений. Она сочла это надежным признаком ее верности собственному таланту. Почитав ее друзей, я подумал, что всем современным поэтам не мешало бы сделать прививку против невразумительности. Однако строчки, подчеркнутые Саванной, несли в себе мрачную противоречивую красоту. Я выписал их себе в блокнот и перешел к самой Саванне.

Из ее стихотворений я понял, что Юг перестал быть ее темой. Отдельные вспышки памяти еще мелькали, но она успешно осуществляла свою

давнюю мечту — стать нью-йоркской поэтессой. Я нашел у нее слова о нью-йоркской подземке — идеальное благопристойное описание кошмаров ночного города. Саванна упоминала о Гудзоне и Бруклине. Завершив стихотворение, она уже не подписывала его, как прежде. Листы были сложены безымянными стопками по разным местам квартиры, и только пульсирующая нетронутая магия таланта сестры позволяла узнать автора. За эти годы поэзия Саванны обрела новую силу, стала меланхоличнее, однако не утратила своей прелести. Возможно, какие-то моменты ускользнули бы от моего понимания и, наверное, продолжали меня беспокоить, если бы на ночном столике под Библией я не обнаружил бело-голубой памятный альбом. На центральной полосе зеленели мелкие буквы: «Н. С. Ш. имени Сета Лоу»[147]. Я расстегнул заржавленную молнию и перевернул первую страницу. Там была фотография девочки-восьмиклассницы. Звали девочку Рената Халперн. Имя показалось знакомым, но мне было никак не вспомнить, где я его слышал. Миловидное застенчивое лицо, которое портили

[147] Примечания: 147

Лоу Сет(1850–1916) — просветитель и политический деятель, избиравшийся мэром нью-йоркского района Бруклин и мэром всего Нью-Йорка.

большие нелепые очки. Не красила девочку и вымученная улыбка, обнажавшая неровные зубы. Я так и видел тупого фотографа, произносящего свое идиотское «чи-из». На следующей странице Рената написала фамилии своих учительниц (вероятно, самых любимых): миссис Сатин, миссис Карлсон и миссис Трэверс. Школу Рената окончила 24 июня 1960 года. В своем классе Рената не занимала никакой должности. Зато первую запись в ее альбоме сделал президент класса Сидней Роузен.

Ренате, которую не забуду, пока летают бабочки.

Пусть твой поезд жизни идет без помех

Туда, где тебя ожидает успех.

Шелли, лучшая подруга Ренаты, вывела своим красивым девичьим почерком:

Ренате, которую буду помнить всегда.

Свети, звездочка, свети,

Только пудру нанести

И подкрасить губки снова.

Всё. Красавица готова.

Мои поздравления тебе, покорительница сердец школы им. Сета Лоу.

Итак, в громадном Нью-Йорке у меня появилась новая приятельница по имени Рената Халперн. Но каким образом они с Саванной пересеклись? Правда, этот памятный альбом не был единственным. Саванна обожала рыться в букинистических магазинах и часто покупала подобные вещи. Ей нравилось заглядывать в личную жизнь совершенно незнакомых людей. Но только имя Ренаты Халперн продолжало звучать у меня в голове. Я был уверен, что где-то оно мне попадалось.

Я прошел в гостиную и вновь стал пересматривать подаренные книги с посвящениями. Тут мой взгляд упал на письма и журналы, полученные за последнюю неделю. И я вспомнил!

На имя Ренаты Халперн (но почему-то на адрес Саванны) пришла бандероль с последним номером журнала «Кенион ревью»[148]. Когда я впервые достал бандероль из ящика, у меня возникла мысль прикарманить журнал, однако я быстро отказался от подобного мальчишества и

---

[148] Примечания: 148

«The Kenyon Review» — литературный журнал, издаваемый Кенион-колледжем — учебным заведением свободных искусств, которое находится в городке Гамбьер, штат Огайо. Журнал выходит с 1939 г. В нем публиковались ранние произведения многих американских писателей и поэтов.

вернул пакет на место. Сейчас меня совершенно не грызла совесть. Я вскрыл коричневый конверт и вынул журнал, между страницами которого было вложено письмо редактора, адресованное Ренате.

Дорогая мисс Халперн!

Спешу еще раз сказать Вам, насколько я горд тем, что именно наш журнал имел честь опубликовать Ваше первое стихотворение. Хочу также подчеркнуть, что мы будем рады любому Вашему новому произведению, если Вы пожелаете его прислать. Как и прежде, мы готовы печатать Вас, пока кто-нибудь из «акул» издательского мира Вас не похитит. Уверен, что Вы продолжаете успешно работать.

Искренне Ваш

Роджер Мёррел

P. S. Мазелтов[149] *по поводу выхода Вашей детской книги.*

Я пробежал глазами содержание номера и открыл журнал на тридцать второй странице, где находилось стихотворение Ренаты Халперн.

---

[149] Примечания: 149
Поздравляю, поздравления *(идиш).*

Прочитав восемь строк, я понял: это писала моя сестра.

Из музыки соткал я шкуру, она — творенье рук мечтательных моих.

Но лишь охотник знает опасность истинную шерсти.

Берет он шкуру тигра, всю в полосах, и прячет свое лицо

в мерцанье звезд и тысячу ночей бенгальских.

Та шкура — совершенный текст, творенье, эфир священных джунглей.

И мягкость красоты ее становится блестящим златом на телах тщеславных женщин.

А горностай — не более чем шутка Бога,

когда Он погружен в тягучесть снов о птицах и снегах;

но шкура тигра — свадебная песнь грядущей битвы.

Дочь, возьми слова, наполненные кровью, лавандою и временем.

Неси их к свету, пусть сияют.

И не забудь внимательно проверить на изъяны.

Знай, как недоумевает тигр над хитростью расставленных ловушек,

когда ноздрями чует запах смерти.

Бесстрашно он взирает на людей, что движутся к нему с ножами.

Какой же статной будет женщина, что мех его потом наденет.

Стараньем рук своих я создаю роскошные одежды;

они — любовные посланья, что пишет Зигмунд Халперн;

я адресую их тем женщинам, что чувственно-изящны и восхваляют ремесло мое,

когда ступают в шелесте мехов.

Тебе же, дочь, я выбрал лучшую свою работу —

единственную поэму скорняка.

Подарок мой — священное писанье, что разглядел я на спине у норки,

когда искал, чем мне воздать хвалу
твоей фигуре стройной и высокой.

Эти шкуры — новые гаранты твоей
неброской красоты.

Но прежде, чем грезить о мехах,

пусть поэтесса изучит их строенье и узоры
и пусть научится искусству черпать из крови братьев и из крови тигров.

Закончив читать, я заверил себя, что все это поддается простому объяснению, которое со временем у меня появится. Насколько мне было известно, сестра мало знала о евреях и ничего не знала о скорняках. И все же это стихотворение написала именно она. Упоминание о тигре выдавало ее с головой, не говоря уже о неподражаемой ритмике. Такое не подделаешь. Я снова открыл памятный альбом Ренаты. На первой странице был указан род занятий ее родителей. Мать: домохозяйка. Отец: скорняк.

Я чувствовал, что добираюсь до чего-то очень важного в жизни сестры. Возможно, это связано с яростным отрицанием Саванной ее прошлого, всех лет, прожитых в Южной Каролине. Скорняк вернул поэтессу на остров ее детства; образы

были четкими и будоражили мое воображение. Саванна подбиралась к истории, которую никто из нас не смел рассказывать. Косвенные намеки, недомолвки ослабляли ее мастерство. Она не обманывала напрямую; она недоговаривала, она ходила вокруг да около. Саванна обозначила событие, но не торопилась столкнуться с ним лицом к лицу. Я даже разозлился.

«Уж если ты пишешь о тигре, сестренка, изволь писать о тигре, о том тигре, что когда-то рычал у нас на заднем дворе, — думал я. — Нечего прятаться за ремесло скорняка. Нечего наряжать свои стихи в меха и шкуры зверей, попавших в жестокие зубы капканов. Скорняк согревает, а поэтесса на медленном огне готовит свои магические эликсиры. Скорняк шьет шубу, сочетая мех норки и леопарда. Поэтесса воскрешает норку и бросает ей в пасть извивающуюся рыбину; она возвращает леопарда в его родные джунгли и наполняет ему ноздри запахом бабуинов, разгоряченных гоном. Саванна, ты делаешь так, чтобы ужасу было тепло, и поэтому закутываешь его в мех горностая, шиншиллы и шерсть мериносов, когда на самом деле ужас должен стоять совершенно голым на холодном ветру».

Но ты подбираешься все ближе, сестра, а вместе

с тобой и я.

Я вновь пробежал глазами письмо редактора «Кенион ревью»: «Мазелтов по поводу выхода Вашей детской книги». Имел ли он в виду детскую книгу, созданную самой Ренатой Халперн? Или моя сестра опубликовала ее под этим псевдонимом? Целый час я тщательно осматривал содержимое полок, выискивая детскую книгу Ренаты Халперн. Во всей библиотеке Саванны не оказалось ничего детского. Я вообще не представлял Саванну, пишущую для маленьких. Отчаявшись, я уже готов был забросить это дело, как вспомнил, что «Кенион ревью» на последней странице дает краткие биографические справки по печатающимся у них авторам. Я открыл журнал с конца, добрался до нужной страницы и прочел скупые сведения о Ренате Халперн:

«Рената Халперн живет в нью-йоркском районе Бруклин и работает в библиотеке Бруклинского колледжа. В этом номере помещена ее первая стихотворная публикация. В прошлом году издательство „Рэндом хаус“ выпустило ее детскую повесть „Южный путь“. В настоящее время автор работает над сборником стихов».

Я отправился в «Скрибнер»[150], и, когда продавец подал мне книгу Ренаты Халперн, меня охватила легкая дрожь. Фотографии автора на внутренней стороне обложки не было. Титульный лист украшала картинка, изображавшая трех девочек, которые стояли на причале и кормили чаек. Вдали, на фоне деревьев, виднелся белый домик, напоминающий тот, где я вырос. Даже расположение сарая было таким же, как у нас, и число окон по фасаду дома совпадало.

Я прочел первую страницу. Сомнений не оставалось: детская повесть написана Саванной.

Я понимал, что случайно наткнулся на нечто важное, даже бесценное. Однако это открытие лишь запутало меня еще сильнее. Сестринское отождествление с Ренатой казалось мне очередной формой бегства. Саванна вновь кружилась вокруг острова, не желая взять курс на его пристань. Не заходя к себе, я громко постучал в дверь квартиры Эдди Детревилла.

— Мой дорогой, ужин у нас в восемь, — напомнил Эдди, открыв дверь. — Вы появились на четыре часа раньше. Ладно, милости прошу.

Я вошел и тяжело рухнул на его викторианскую

---

[150] Примечания: 150
Scribner Books — сеть специализированных книжных магазинов.

кушетку.

— Вы скрываете от меня важные вещи, Эдди.

— В самом деле? — иронически спросил он. — Сначала я налью вам чего-нибудь выпить, а потом вы расскажете, какой секрет дядюшка Эдди от вас утаивает. Как насчет мартини?

Он раскрыл створки бара, достал бутылку и бокал.

— Эдди, кто такая Рената? Почему вы до сих пор молчали о ней?

— Есть вполне веская причина, — с дразнящей невозмутимостью ответил Эдди. — Я не слышал ни о какой Ренате.

— Вы обманываете, Эдди. Рената — подруга Саванны. Скорее всего, близкая, раз Саванна свободно подписывает свои произведения ее именем.

— Ну так познакомьте меня с ней. Буду очень рад. Вот ваш мартини, Том. Советую сделать хороший глоток. Пусть алкоголь проникнет вам в кровь. Потом объясните, с чего вы так на меня разозлились.

— Вы не можете не знать Ренату. Она наверняка была у Саванны, и не раз. Возможно, они много времени проводили вместе. Уверен, Саванна непременно говорила вам о своей новой

приятельнице. Она бы не взяла себе новое имя без серьезных на то оснований.

— Мы с Саванной избегаем будуаров друг друга. Причина, думаю, понятна даже вам.

Зачем-то я захватил с собой в магазин памятный альбом Ренаты. Теперь он оказался как нельзя кстати. Я раскрыл его и показал Эдди фотографию Ренаты.

— Эдди, вы когда-нибудь видели эту женщину? Например, в лифте? Или возле почтовых ящиков?

Несколько минут Эдди внимательно разглядывал снимок, затем покачал головой.

— Нет. Никогда. Хорошенькая, однако. Жаль, что это женщина.

— Фото было сделано более двадцати лет назад. Напрягите память, Эдди. Конечно, черты лица изменились. Возможно, добавилось морщин. Или волосы поседели.

— Я уверен, Том, что не встречал никого, похожего на эту женщину.

— А что вы скажете о книге? — Я подал Эдди «Южный путь». — Мне кажется, ее написала Саванна. Она когда-нибудь приносила вам эту повесть?

— Том, я давно не читаю детских историй, —

ответил он. — Возможно, это незаметно, но мне уже сорок два года. Должно быть, в тусклом свете я выгляжу моложе. Спасибо Господу за светорегуляторы.

— Итак, вы утверждаете, что ваша лучшая подруга Саванна никогда не показывала вам эту книгу?

— Да, мистер Шерлок. Именно это я и утверждаю.

— Я вам не верю, Эдди. Попросту не верю.

— А меня это очень мало волнует. И потом, с какой стати мне врать?

— Ради защиты чести моей сестры.

— Защиты от кого? Или от чего?

— Возможно, вы в курсе ее лесбийской связи с Ренатой и боитесь, что я неправильно это пойму.

— Том, я был бы очень рад… честное слово, я был бы невероятно счастлив, если бы ваша сестра вступила с кем-нибудь в лесбийские отношения. И мне было бы абсолютно все равно, как вы это воспримете. Но прошу вас, сделайте мне одолжение: поверьте, что я говорю вам сущую правду. Я действительно ничего не знаю ни о Ренате, ни об этой книжке.

— Я и сам не понимаю, с чего на вас накинулся. У меня голова гудит от странностей Саванны. Я

надеялся, что вы сможете мне кое-что объяснить. Я уже привык к чокнутости сестры. Но мне делается до жути страшно, когда я обнаруживаю намеки на то, что она еще более двинутая, чем я думал.

— Последние годы были для нее сущим адом. Мы с ней почти не виделись. Ей вообще ни с кем не хотелось общаться. Только когда мой вероломный возлюбленный нашел себе тело помоложе, она откликнулась. Тогда она вела себя как принцесса. Когда кто-то из ее друзей попадает в беду, она удивительно умеет помочь.

— Вы тоже, Эдди. Я обязательно приду в восемь. Что у вас на ужин?

— В холодильнике пара омаров дрожит от холода и ужаса. Мне придется их убить, а после я заставлю вас их есть.

— Я заранее отпускаю вам грехи, Эдди. И ради бога простите, что накричал на вас.

— Это придало некоторую пикантность скучному дню, — заметил Эдди.

Вернувшись в квартиру Саванны, я снял телефонную трубку и позвонил в справочную службу.

— Я хотел бы получить номер семьи Халперн, которая живет или жила в Бруклине, на Пять-

десят пятой улице, в доме двадцать три или двадцать четыре.

— Вы можете назвать имя? — спросила меня оператор.

— К сожалению, забыл. С их дочерью мы когда-то вместе учились. Столько лет прошло. Возможно даже, что они давно переехали.

— По названному адресу зарегистрирован Зигмунд Халперн. Его номер два, три, два, семь, три, два, один.

Я поблагодарил и тут же набрал эти цифры. После четвертого гудка мне ответил женский голос.

— Здравствуйте. Это миссис Халперн? — уточнил я.

— Может, так. А может, и нет, — странно сказал голос, выдавая свой восточноевропейский акцент. — А кто говорит?

— Миссис Халперн, это Сидней Роузен. Мы с Ренатой вместе учились в школе, и я был президентом класса.

— Ну конечно, Сидней. Рената никогда не вспоминала о других мальчишках. Только о Сиднее Роузене. По-моему, она была в тебя влюблена. Но сам знаешь, она была такой застенчивой.

— Миссис Халперн, я хочу собрать наш бывший класс. И мне ужасно интересно, как сложилась

жизнь у вашей дочери.

Воцарилось молчание. Тишина.

— Миссис Халперн, алло!

Из трубки донеслись рыдания. Миссис Халперн понадобилась минута или две, чтобы совладать с собой.

— Так ты ничего не слышал, Сидней?

— О чем, миссис Халперн?

— Наша дочь мертва. Два года назад Рената бросилась под поезд метро в Ист-Виллидже. Перед этим она находилась в невероятно подавленном состоянии. Чего мы с мужем только не делали, стараясь помочь ей! Все напрасно. Наши сердца навсегда разбиты.

— Она была замечательной девушкой, миссис Халперн. Мне очень больно сознавать, что Ренаты больше нет.

— Большое тебе спасибо, Сидней. Рената как-то тоже пыталась тебя найти.

— Пожалуйста, передайте мистеру Халперну мои глубокие соболезнования.

— Обязательно. Как любезно с твоей стороны, что ты вспомнил о Ренате. Она была бы очень рада. Ты единственный из ее класса, кто за это время нам позвонил.

— До свидания, миссис Халперн. Храни вас Бог.

Какая утрата. Рената была такой замечательной девушкой.

— Да, Сидней. Невосполнимая потеря.

Затем я набрал Сьюзен Лоуэнстайн. Она подошла к телефону после трех гудков.

— Доктор, завтра мы не будем обсуждать мою семью.

— Почему, Том? Что случилось?

— Завтра вы расскажете мне о Ренате Халперн, которую в школе называли покорительницей сердец.

— Хорошо, мы поговорим об этом.

Я повесил трубку и снова открыл детскую книжку. На этот раз я читал медленно, скрупулезно помечая в блокноте все, что заслуживало внимания.

Рената Халперн
Южный путь



В Южной Каролине на прибрежном острове жила женщина, и было у нее три дочери. Женщину звали Блэз Мак-Киссик. У нее были черные волосы, а у дочерей — каштановые. Блэз обладала той спокойной красотой, что нравится детям, когда те еще совсем маленькие. Этот природный дар Блэз передала своим дочерям; их лица напоминали три разных цветка на одном стебле.

Грегори, муж Блэз, был рыбаком. По утрам он отправлялся в воды Гольфстрима ловить дельфинов и тунцов. Однажды, в начале июня, Грегори поплыл на своей большой лодке, но попал в шторм и пропал. Почуяв неладное, Блэз сообщила в береговую охрану, что ее муж не вернулся с работы. Жители городка, к которому примыкал остров, снарядили на поиски Грегори совсем маленькую

лодочку, однако рыбака не нашли. Еще целых две недели большие и малые суда, ходившие в тех водах, осматривали все отмели, бухточки и заливчики в надежде обнаружить хоть какие-то следы Грегори Мак-Киссика. Каждый вечер три девочки ждали свою мать с причала, где та проводила дни напролет в ожидании мужа. Блэз стояла там и под знойным солнцем, и в дождь. Когда темнело и от воды начинал подниматься густой туман, она возвращалась домой.

На четырнадцатый день поиски были прекращены. Грегори объявили погибшим. Рыбаки в этом городке и раньше пропадали в море; их тоже считали умершими. Им устраивали особые похороны — зарывали в землю пустой гроб. Такой же пустой гроб закопали под дубом, вблизи белого домика, где жила семья Грегори Мак-Киссика. На церемонию явились все местные жители, потому что в округе знали и любили Грегори.

Попрощавшись с Грегори, горожане вместе с женами и детьми разошлись и занялись своими делами. А в белом домике, где раньше не умолкал смех, стало тихо. Каждый вечер Блэз ходила на могилу мужа. Девочки видели, как сначала мать садится за туалетный столик, где стояли хрустальные флаконы и флакончики с таин-

ственными жидкостями, а затем направляется к выходу — благоухающая и печальная. Девочек очень тревожило, что после гибели отца мать словно потеряла дар речи. Когда они обращались к ней, мать улыбалась, пыталась что-то сказать, но не могла.

Вскоре девочки привыкли к переменам и молча горевали по исчезнувшему отцу. Между собой они теперь шептались, чувствуя, что звук их голосов напоминает матери о времени, когда отец был жив. Им не хотелось утяжелять материнское горе. Так, почти в полном безмолвии, проходили день за днем.

Внешне сестры были похожи, но характером очень отличались. Роуз Мак-Киссик — самая старшая — была также самой красивой и самой общительной. Она тяжелее всех переживала трагедию. Она знала отца дольше и лучше сестер, ведь родилась первой. И отец особенно любил ее. Роуз привыкла тараторить без умолку и сейчас с большим трудом отвыкала от этого. У нее было море вопросов. Где находятся небеса и что отец будет там делать? А если отцу удалось встретиться с Богом, то о чем они говорили? Но спросить было не у кого, и это печалило Роуз. Ей исполнилось двенадцать. У нее начала расти грудь.

Роуз очень хотелось обсудить это удивительное событие с матерью. Еще Роуз никак не могла понять, почему лицо отца так быстро забывается; она уже с трудом его вспоминала. Иногда, во сне, Роуз видела отца очень ясно; он смеялся, брал ее на руки, веселил своими неуклюжими шутками и щекотал. А за отцовской спиной всегда виднелись грозные штормовые тучи. Девочка знала, что внутри одной из них прячется страшный огненный кинжал. Еще немного, и оружие вырвется наружу и убьет отца. Теперь все дочери Грегори Мак-Киссика считали штормовые тучи своими злейшими врагами. Роуз жила в доме, где боялись бурь. Ей было труднее всех привыкнуть к жизни в постоянном молчании.

Линдси — среднюю — никогда не тяготила тишина. Как и мать, она думала над каждым словом, прежде чем его произнести. Это не было даже привычкой. Это качество она получила от рождения и за десять прожитых лет только развила. Если ее спрашивали, почему она такая, Линдси медлила какое-то время. Она тщательно взвешивала ответ, а потом объясняла: «Просто я такая девочка». И добавляла: «Да и как говорить, когда Роуз рядом?» Линдси редко плакала, даже в самом раннем детстве. Она обладала душевным

покоем, который и нравился взрослым, и настораживал их. Взрослые подозревали, что Линдси про себя дает им оценки и понимает, какие они смешные и нелепые. Отчасти это было правдой. Взрослые казались Линдси слишком большими и шумными. Ей нравилось быть ребенком, она умела сама себя занимать. Но одна мысль не давала ей покоя: она столько лет прожила рядом с отцом, а он погиб, так и не поняв, как сильно она его любит. От этих переживаний и без того молчаливая Линдси сделалась еще тише. Она ушла в себя, в свой внутренний мир. Девочке нравилось лежать в гамаке и смотреть на воду. Порой в ее синих глазах словно вспыхивал яростный огонь. Казалось, он воспламенит реку и окрестные луга. На самом деле то была никакая не ярость — только чувства к отцу, которого она больше не увидит. И еще она думала, что отец плохо ее знал, а теперь уже не узнает.

Восьмилетняя Шарон Мак-Киссик сполна ощущала, каково быть самой младшей в семье. Ей казалось, что никто не принимает ее всерьез, считая маленькой и слабой. Все привыкли звать ее просто Малышкой; это продолжалось до тех пор, пока ей не исполнилось шесть лет и она не настояла на имени Шарон. Ни мать, ни сестры не

посчитали нужным рассказать ей о гибели отца. Как всегда, они решили, что девочка слишком мала и ничего не поймет. В день похорон мать пришла к ней в комнату и дрожащим голосом сообщила, что отец заснул. «Надолго?» — поинтересовалась Шарон, и мать заплакала. С тех пор девочка боялась упоминать об отце. А над отцовской могилой уже росла трава. Сначала из земли пробилось несколько зеленых травинок, но однажды Шарон проснулась и из окна своей комнаты увидела, что вся могила покрыта зеленым ковром, словно красивым покрывалом, чтобы отцу было теплее и уютнее. «Как ему там одиноко», — вздыхала девочка, ложась спать. Когда с реки дул ветер, она выбиралась из кровати, подходила к окну и смотрела на отцовскую могилу. Ночью это место становилось серебристым от лунного света. Шарон пыталась представить ангелов, собравшихся вокруг отца и помогающих ему коротать ветреные ночи, но у нее ничего не получалось. Тогда Шарон поклялась себе, что если у нее когда-нибудь будет ребенок, к восьми годам он будет знать все о жизни, смерти и о том, что находится между ними. А еще Шарон думала, что в девять лет она покажет и матери, и сестрам, кто она на самом деле. Тогда они непременно к

ней прислушаются.

Остров, где жили Мак-Киссики, назывался Йемасси — по имени индейского племени, которому принадлежала эта земля до прихода белых людей. Люди прогнали индейцев и завладели их собственностью. Грегори часто рассказывал дочерям истории о призрачном племени, что до сих пор бродит ночами. Когда в лесу ухал филин, в его крике слышался клич вождя племени. Звон цикад в деревьях, окружавших дом, напоминал разговоры и смех индейских женщин. А на спинах оленей, чьи стада молчаливо бродили по земле, и сейчас катались индейские ребятишки. Но даже маленькая Шарон понимала, что все это — красивые сказки. Живых индейцев на острове не было. Зато каждой весной, когда отец вспахивал акры плодородной почвы в центре Йемасси, из недр появлялись наконечники индейских стрел. У каждой из сестер была своя собственная коллекция этих единственных свидетелей исчезнувшего племени. Отец утверждал, что индейцы выжили в низинах Южной Каролины благодаря языку, совершенно не похожему на язык белых людей. Осколки его сохранились в названиях мест: иногда певучие, иногда острые, будто стрелы. Отец любил повторять индейские

слова, произнося их шепотом: «Йемасси… Йемасси и Кайава. Комбахи. Комбахи и Эдисто, Вэндо и Йемасси». Так и росли бледнолицые девочки на острове, собирая наконечники стрел и вслушиваясь в странные звуки исчезнувшего племени.

Когда сестры открывали свои коллекции, каждая вспоминала об отце. Он ведь тоже исчез, как племена индейцев, а предметов, напоминающих о нем, не было. Если бы только они умели, они бы снова услышали отца. Он бы говорил с ними голосом филина, пересмешника или ястреба. Они бы поняли его. Увидели бы. В этом сестры не сомневались. Отец как-то рассказывал им, что индейские шаманы распространили свою магию на их остров. Девочки вглядывались в пробегавших оленей, пытаясь заметить отца на загривке одного из них. Они вглядывались в больших зеленых дельфинов, которые резвились неподалеку от острова: не мелькнет ли на дельфиньей спине знакомый силуэт.

Сестры верили в магию, и они обрели ее — каждая в свое время и в своем мире. Ведь они были молчаливыми и наблюдательными.

Роуз почувствовала магию в тот день, когда врачевала птичье крыло в своей больнице для животных. Ее клиника открылась еще при отце.

Однажды ночью он ехал на своем грузовике и случайно задавил бездомную собаку, которая неизвестно откуда выскочила на дорогу. Утром Роуз нашла троих маленьких щенят, лишившихся матери. Она принесла их домой и стала выкармливать из пипетки. Щенята подросли и оказались породистыми. Но в семье Роуз никто не охотился, и она отдала маленьких гончих тем, кто умеет растить и дрессировать собак. Однако это было только начало. Вскоре Роуз поняла, что все природное царство нуждается в ее помощи. Птенцы и бельчата то и дело выпадали из гнезд. Случалось, что браконьеры, промышлявшие в запрещенное для охоты время, убивали самок опоссума и енота, обрекая детенышей на голодную смерть. Что-то всегда приводило Роуз к тем деревьям и пням, где сироты напрасно ждали возвращения своих матерей. Девочка шла по лесу и слышала голоса: «Пройди еще немного, Роуз. А теперь сверни налево, Роуз. Там, Роуз, у пруда». Она всегда подчинялась, поскольку не могла иначе. Роуз хорошо знала, каково тем, кто остался без родителей. Она поняла, что обладает даром лечить, снимать боль и успокаивать тревоги больных и раненых зверей и птиц. Однако не это удивляло ее — она удивлялась своей способности

говорить с ними.

Как-то Роуз увидела в реке раненого лиса, плывущего к острову Йемасси. За ним тянулась широкая кроваво-красная полоса. Гончие, преследовавшие лиса, уже почти догнали его, когда несчастный вдруг заметил на берегу Роуз.

— Помоги мне, — крикнул лис.

Из горла Роуз вырвался странный, непривычный для нее звук. Нечеловеческий.

— Остановитесь, — велела она гончим.

— Но это же наша обязанность — преследовать дичь, — возразили собаки.

— Только не сегодня. Возвращайтесь к хозяину.

— Так ведь это Роуз, — заметила одна из гончих. — Та девочка с каштановыми волосами. Она спасла нас, когда наша мать погибла.

— Я ее помню, — сообщила вторая гончая.

— Спасибо тебе, Роуз, — поблагодарила третья. — Позаботься об этом лисе. Хорошо, что ты ему встретилась.

— Зачем вы охотитесь? — спросила девочка.

— Такова наша природа, — ответила первая гончая, и все трое поплыли в противоположном направлении.

Лис едва сумел выбраться на берег и тут же

упал возле ног Роуз. Девочка отнесла его в сарай, промыла раны и не отходила от него весь вечер. Лис был пятидесятым по счету зверем, обратившимся к ней за помощью. Он рассказывал ей о лисьей жизни, а Роуз с интересом слушала. В доме ей было печально и одиноко, но в своей больнице она никогда не скучала и не грустила.

Сидя в комнате, Линдси слушала песни полей. Ее обязанностью было ухаживать за стадом коров, которые бродили по живописным пастбищам в южной части острова. Линдси помогала матери развозить сено. Она забиралась в кузов грузовика, через каждые тридцать ярдов мать делала остановку, и девочка сбрасывала с кузова копну сена. Благодарные коровы подходили близко к машине, покачивая своими добродушными белыми мордами. Только громадный бык по кличке Бесстрашный держался поодаль. Его темные дикие глаза следили за девочкой. Линдси выдерживала этот взгляд, хотя Бесстрашный был мускулистым и опасным животным. Девочка знала: бык — властитель здешних полей, и старалась дать Бесстрашному понять, что ему нечего опасаться. Лицо девочки излучало любовь к этим животным. «Ты — одна из людей», — словно упрекал ее бык. «Но я родилась человеком, и этого не

изменить». — «Вот и я родился быком, этого тоже не изменить».

Линдси одна бродила по пастбищам, играла с телятами и придумывала им красивые имена, ласкавшие слух. Так в стаде появились Петуния и Каспер, Вельзевул и Иерусалимский Артишок, Румпель-штильцхен и Вашингтон-округ-Колумбия. Но от Бесстрашного девочка держалась подальше. Рассказывали, что однажды он чуть не забодал фермера, случайно забредшего в его владения. У быка была собственная территория. Линдси всякий раз запирала на замок ворота ограды, после чего спокойно гуляла среди коров и телят. Она знала, какая из коров и когда готовится принести потомство, и обязательно была рядом, шепотом успокаивая роженицу и, если надо, помогая теленку появиться на свет. Она восхищалось покорностью этих крупных терпеливых животных. Коровы были хорошими матерями, их жизнь протекала просто и спокойно. И все же Линдси притягивало величественное присутствие Бесстрашного. Он был молчаливым и этим напоминал Линдси отца. Говорили только глаза быка. Так продолжалось до одной памятной ночи, когда магия изменила жизнь девочки.

Линдси спала. По железной крыше домика

барабанил дождь. Девочка видела себя теленком, только появившимся на свет. Ее матерью была корова с красивой белой мордой, а отцом, наблюдавшим за нею издали. — Бесстрашный. Только во сне он был мягче и добрее. Линдси услышала голос, который ее совсем не удивил. Ее поразил собственный ответ — приятный шепчущий звук. Линдси изъяснялась на тайном языке коров.

— Поторопись, — обращались к ней. — Нужна твоя помощь.

— Но кто это?

— Повелитель стада. Поторопись.

Линдси открыла глаза и увидела в окне большую свирепую голову Бесстрашного. Дождь немного смягчал его суровые черты, холодный взгляд был устремлен на девочку. Она спрыгнула с кровати, открыла окно и почувствовала на своем лице теплые капли. Линдси выбралась из комнаты, залезла на спину быку и обхватила руками его шею. Пальцы ощущали жесткие волосы на его шкуре. Линдси схватилась покрепче. Бык вышел со двора на фунтовую дорогу и помчался к пастбищам. Громадная неукротимая сила везла Линдси сквозь темноту и дождь. Они скакали под вековыми дубами, и клочья мокрого мха касались лица девочки, словно белье, которое лесные

ангелы тайком стирали и сушили на ветвях. Внизу стремительно проносилась влажная земля. Между рогов Бесстрашного блестела мокрая дорога. Линдси прижала ноги к бычьим бокам. Теперь ее тело слилось с его телом. Девочке казалось, что у нее выросли рога; она сама в какой-то мере превратилась в быка — этого грозного властелина. Линдси двигалась вместе с Бесстрашным, и часть пути — одну волшебную милю — она сама была Бесстрашным. Наконец бык замедлил свой стремительный бег. У трех пальм, служивших восточной границей пастбища, Бесстрашный остановился. Там молодая корова Маргарита рожала своего первенца. Роды начались раньше времени и проходили не так, как полагается. Бесстрашный опустился на передние ноги, Линдси сошла на землю и поспешила к Маргарите. Она сразу поняла, в чем дело: теленок перевернулся в материнском чреве. Он выходил ногами вперед. Линдси чувствовала отчаяние молодой матери и усилия, с какими та пыталась вытолкнуть свое дитя наружу. Девочка схватила теленка за задние ножки и принялась осторожно тащить на себя. Больше часа Линдси возилась с малышом, умоляя и уговаривая его поскорее покинуть живот матери. Волосы девочки промокли от дождя и

пота. Все это время она буквально спиной ощущала молчаливое присутствие Бесстрашного; бык наблюдал за ней. Линдси не понимала, что она делает. Наверное, сама природа водила ее рукой. Вскоре на траве лежала новорожденная телка — уставшая, но живая. Маргарита облизала дочь шершавым серебристым языком. Ливень не смолкал. Линдси назвала телку Батшебой и поцеловала в морду.

Бесстрашный вновь опустился на передние ноги. Линдси взобралась к нему на спину и ухватилась за правый рог, как за ствол дерева. Она торжествующе покидала пастбище, все коровы провожали ее негромким мычанием. Громадный бык молча несся по дороге, но Линдси уже не испытывала страха. Прильнув носом к его шкуре, она вдыхала влажный запах и слизывала дождевые капли с его шеи. Линдси словно подменили. Она стала красивее и смелее. Вернувшись домой, она опять влезла в окно, тщательно вытерлась большим полотенцем и легла в кровать. Мать и сестры спали.

Линдси понимала: к ней пришла магическая сила, которую нельзя зря растрачивать. Говорить об этой силе означало терять ее. Но в доме, где привыкли обходиться без слов, было несложно

хранить молчание.

На следующий день Линдси решила проведать новорожденную. Она отправилась тем же путем, каким Бесстрашный вез ее ночью. Земля еще хранила следы его мощных копыт. Линдси сплела венок, чтобы надеть Маргарите на шею. Но когда девочка проходила мимо болота, раздался громкий жуткий вопль. Живя на острове, она слышала самые разные звуки, но такой — впервые. Внутри Линдси словно что-то щелкнуло, из ее горла вырвался ответный крик. В этот раз девочка почти не испугалась, поскольку ощущала свою связь с природой и это чувство прогоняло все опасения. Она была открыта окружающему миру.

— Помоги! — звал неведомый голос.

Линдси свернула с дороги и устремилась в ту часть леса, куда отец им строго-настрого запретил ходить. Очень скоро твердая земля сменилась болотистой местностью. Линдси перепрыгивала с кочки на кочку. Лужиц она не боялась. Куда коварнее были зеленые пятачки, ступив на которые легко угодить в трясину. Из воды, словно черные перископы, высовывались головы медноголовых щитомордников. Девочка не понимала их языка, поскольку эти змеи не входили в круг ее магии.

Добравшись до середины болота, девочка

услышала отчаянные удары по зыбкой почве. Невдалеке от кипариса в плавун попал старый дикий кабан со странным именем Дредноут. Его затянуло почти по шею. Отец Линдси несколько лет безуспешно охотился на этого кабана. Сейчас Дредноут столь же безуспешно пытался выкарабкаться, но с каждой попыткой увязал все глубже. Линдси сразу вспомнилась вчерашняя телка, вот так же отчаянно пытавшаяся выбраться из материнского лона. Бивни Дредноута ярко сверкали на солнце, черная щетина на спине напоминала череду сосен на горном кряже. Линдси схватила сухую ветку платана, легла на живот и поползла к Дредноуту. Земля под ней становилась все более опасной. Девочка старалась равномерно распределять вес тела. Передохнув, она двинулась дальше, толкая впереди себя ветку.

— Помоги! — снова и снова отдавалось у нее в ушах.

Последние ярды Линдси преодолела с особенной осторожностью. И вот конец ветки уперся в морду кабана. Дредноут впился в ветку своими крепкими челюстями. Девочка подалась чуть назад.

— Будь терпелив, — велела она кабану. — Плыви, будто по воде.

Дикий кабан расслабил напряженные мышцы, щетина на спине опустилась. Он медленно поплыл по предательской жиже, челюстями ощущая, как десятилетняя девочка тащит ветку. Линдси действовала неспешно и за один раз перемещалась всего на несколько дюймов. У нее за спиной собрались все дикие свиньи острова. Они не верили, что какая-то девчонка спасет их вожака от смерти. Но Линдси не сдавалась. Она тянула ветку и отдыхала, снова тянула и снова отдыхала. У нее болело все тело, но таковы уж особенности магического служения. Наконец Дредноут уперся копытом в упавшее дерево и выскочил из болота, радостно возвестив сородичам и лесу о своем спасении. Он пошел вдоль бревна; перед каждым новым шагом он тщательно проверял почву под ногами.

На мелководье вынырнул пятнадцатифутовый крокодил по имени Люцифер. Он с сожалением наблюдал, как Дредноут выбирается на сушу.

— Слишком поздно, Люцифер, — крикнул ему кабан.

— Ты не в последний раз попадаешь в болото, Дредноут. Я подожду. На прошлой неделе я уже съел одного из твоих сыновей.

— Зато я съел яйца тысяч твоих сыновей.

Затем Дредноут повернулся к Линдси. Один удар его бивней мог бы раскроить ее с головы до ног. Окруженная дикими свиньями, девочка уже начала терять веру в свои сверхъестественные способности. Прежде чем увести свирепое стадо, Дредноут сказал Линдси:

— Я перед тобой в долгу, девочка. Спасибо, что спасла мне жизнь.

И дикие свиньи растворились в сумраке леса. Змеи дрожали и прятались при их приближении. Линдси пыталась обратиться к крокодилу, но Люцифер погрузился на тридцать футов.

«Значит, я не могу устанавливать контакт с крокодилами, — подумала Линдси. — Ну и не надо».

Так она впервые узнала, что у ее магии есть пределы.

Больше всех тишина в доме угнетала маленькую Шарон. Ей хотелось говорить об отце, рассказывать сестрам свои любимые истории о нем. Ей было бы легче сохранять в голове его образ, если бы мать и сестры делились с ней своими воспоминаниями. Вот когда ей исполнится девять, они прислушаются к ее словам — в этом Шарон была уверена.

Шарон была из тех детей, что смотрят либо

ввысь, либо себе под ноги. Все, что находилось между небом и землей, ее почти не интересовало. Случалось, она ударялась о дерево, поскольку шла, задрав голову, и следила за полетом диких уток. Ее манила свобода птиц; она считала, что Бог допустил ошибку, не снабдив Адама и Еву крыльями. Каждый вечер Шарон направлялась к причалу кормить чаек, нагрузившись хлебными корками и прочими остатками со стола. Девочка подбрасывала хлеб высоко в воздух, и птицы подхватывали его на лету. Чайки летали вокруг Шарон, крича и громко хлопая крыльями. Сотни птиц каждый вечер терпеливо ждали ее появления. Мать и сестры не без волнения следили за Шарон с крыльца. Порой девочки было не видно из-за пернатого частокола.

Помимо птиц радость девочке доставляли насекомые. Блэз держала пчел, и Шарон, единственная из сестер, помогала матери собирать мед из ульев. Пчелу девочка считала существом совершенным, поскольку та не только могла летать; у пчелы была замечательная работа — весь день путешествовать над лугами и садами, а потом делиться впечатлениями с подругами. Но главное чудо происходило ночью, когда цветочный нектар превращался в мед. Интерес

Шарон распространялся и на других насекомых. Ее комната была плотно заставлена коробочками с удивительными жуками, кузнечиками и бабочками. В стеклянной банке у нее жили муравьи. Шарон любила удивительный мир насекомых. Пусть их возможности были ограниченны, но то, что они умели, они делали с изумительным мастерством.

Увлечение Шарон вызывало презрительные насмешки сестер.

— Букашки-таракашки, — поморщилась Роуз, зайдя однажды в комнату сестры. — Удивляюсь, как они могут тебя привлекать.

— Конечно, собака или корова нравятся всем, — ответила Шарон. — Но чтобы любить насекомых, нужен особый склад характера.

Роуз лишь рассмеялась.

Однажды Шарон гуляла по лесу невдалеке от дома. Она разыскивала новые муравейники. В руках девочка несла мешок с печеньем, посыпанным шоколадной крошкой. Заметив муравейник, Шарон вынимала печенье и клала возле входа. Ей нравилось смотреть, как несколько работяг-муравьев взбирались на неожиданную добычу, а одного посылали к сородичам с радостной вестью. Через несколько минут лакомство было

густо усеяно муравьями, они по крошкам растаскивали его, унося внутрь своего дома. Шарон уже нашла два новых муравейника и рассчитывала найти еще, как вдруг раздался тоненький писк, звавший ее по имени.

Девочка посмотрела в том направлении, откуда доносился звук, и увидела осу, запутавшуюся в хитросплетении серебристой паутины. К бедняжке уже приближался паук-крестовик. Он взбирался легко, как матрос по веревочной лестнице. Оса вновь заверещала и забилась в паутине. Шарон почувствовала, как внутри ее возникают странные слова, незнакомые, словно принадлежащие тайному сообществу. Девочка испугалась, услышав собственный голос, говорящий на совершенно незнакомом языке.

— Остановись, — велела она пауку.

Паук застыл. Одна из его черных лапок упиралась осе в брюшко.

— Таков закон природы, — возразил паук.

— В этот раз я его отменяю, — заявила Шарон.

Она вынула из волос заколку и разрезала паутину, выпустив осу на волю. Тонкие, причудливо сплетенные нити паутины порвались и повисли клочьями. А оса взмыла вверх, посылая Шарон свою благодарственную песню.

— Прости меня, паук-крестовик, — сказала Шарон.

— Так нельзя, — угрюмо пробурчал паук. — Мое предназначение — ловить мух и ос.

Шарон порылась в листьях и нашла мертвого кузнечика. Подняв его, она положила кузнечика в верхнюю, уцелевшую часть паутины. От прикосновения девочки паутина зазвенела, словно арфа.

— Прости, дорогой крестовик, что я испортила твою паутину. Но я не могла допустить, чтобы ты уничтожил осу. Это было бы ужасно.

— А ты видела, как осы убивают своим жалом букашек поменьше? — спросил паук.

— Видела.

— Это ничуть не лучше. Но такова их природа.

— Жаль, что я не могу помочь тебе с починкой паутины.

— Можешь. Теперь можешь.

У Шарон задрожали руки — в них рождалась магическая сила, кровь в них наполнялась шелком. Девочка протянула ладонь к оборванной паутине, и из-под ногтей заструились серебристые нити. Поначалу у нее не все получалось. Шарон хотела растянуть нить, но та скручивалась петлей. Паук был терпелив, и вскоре Шарон

соткала новую паутину, чем-то напоминающую рыбачью сеть, натянутую между деревьями. Потом девочка говорила с пауком, и он рассказывал ей о своем одиноком труде и о своих врагах, главным из которых была ящерица, живущая под дубовым пнем. Ящерица несколько раз порывалась съесть паука, а дважды он был всего на волосок от гибели. Шарон предложила пауку перебраться поближе к своему дому — тогда они будут чаще видеться. Тот согласился. Он перелез на руку девочки, и она понесла его домой. Она слушала радостные песни муравьев, благодаривших ее за вкусное печенье. Над головой Шарон кружили осы и целовали ее в губы, щекоча нос своими крыльями. Никогда еще Шарон не была так счастлива.

Девочка нашла пауку новое место, где он мог не опасаться ящериц. Между двумя кустами камелии Шарон и крестовик сплели паутину еще красивее прежней. Увидев, что солнце садится, девочка попрощалась с пауком. На причале ее уже ждали чайки.

Птицы кружили над рекой, словно сотни воздушных змеев. Шарон несла им большую продуктовую сумку, куда мать сложила хлебные корки и другое угощение. До девочки доноси-

лись предостережения жуков и сверчков: все просили двигаться осторожнее и ненароком их не раздавить.

Дойдя до конца причала, Шарон подкинула вверх горсть корок. Все они исчезли в клювах чаек, не достигнув воды. Она снова бросила корм, и опять проворные птицы не дали упасть ни одному кусочку. Шарон вовсе не удивляло, что она понимает язык чаек. В основном они ссорились и возмущались, что одним досталось больше, чем другим. А над рекой парил орлик, высматривая рыбу. Вдруг он камнем рухнул вниз. «Попалась», — услышала Шарон его крик. Когда орлик вновь поднялся в воздух, у него в когтях билась пойманная рыбина.

Вот тут-то Шарон и заметила необычную чайку, наблюдавшую за нею. Чайка была крупнее остальных. Перья на ее спине были не белыми, а черными. Шарон поняла: птица прилетела издалека. Чайка планировала над рекой и внимательно разглядывала девочку. Шарон поздоровалась с ней, но птица не ответила. Девочка закончила кормить пернатых, пожелала им спокойной ночи, и они улетели. Шарон уже собиралась домой, как вдруг странная чайка опустилась на доски причала, преградив ей дорогу.

Судя по ее утомленному взору, она проделала долгое путешествие.

— Чего ты хочешь? — спросила Шарон.

— Твой отец жив, — устало произнесла чайка.

— Откуда ты знаешь?

— Я его видела.

— Он в беде?

— Он в большой беде.

— Дорогая чайка, возвращайся к нему. Прошу тебя, сделай для моего отца все, что только сможешь.

Птица взмахнула тяжелыми крыльями, поднялась в воздух и полетела на юг. Шарон следила за чайкой, пока та не скрылась из виду. В траве пели сверчки, и Шарон понимала каждое слово.

Девочка пришла домой. Мать стояла у плиты, готовя ужин. На сковородке в кипящем масле плавали луковицы. Они становились золотистыми и прозрачными. Шарон хотела рассказать матери о встрече с чайкой, но не решилась. Вдруг мать и сестры не поверят ей и поднимут на смех, посчитав, что она все придумала? Однако у Шарон на душе было радостно. Их отец жив, а значит, сумеет вернуться.

Шарон помогла сестрам накрыть на стол. В кухне у матери работало радио. Блэз не выклю-

чала его целыми днями, надеясь услышать хоть что-то о своем муже. Но радио передавало совсем другие новости, которые женщину не интересовали. Цены на свинину продолжали падать… Дожди серьезно повредили урожай помидоров… В городе Колумбия из местной тюрьмы бежало трое преступников. Они убили охранника и выбрались наружу. Скорее всего, преступники направились в Северную Каролину.

Вот и следующий день начал клониться к вечеру. Ветер утих. Из лесу за домом наблюдали трое. Их лица давно разучились улыбаться. Они следили за женщиной и тремя девочками, смотрели, как те входят в дом и выходят во двор. Было ясно, что мужчин в доме нет. И тогда трое злодеев начали незаметно приближаться. Но они ошибались, их давно заметили: паук, гулявший по своей паутине между кустами камелии, чайка, дикая свинья — дочка Дредноута. Над ними, прячась в листве деревьев, летала оса. В сарае лежал щенок, недавно подобранный Розой. Он был еще совсем мал и едва умел ходить. Но и он, принюхавшись, ощутил странный запах — запах зла, появившегося в этих тихих местах. Три беглых преступника подошли к дому.

Они вломились внутрь через разные двери,

отрезав матери и ее дочерям все пути к спасению. Увидев зловещие физиономии и револьверы, Роуз вскрикнула. Она и сестры бросились туда, где сидела мать с книжкой.

Один из злодеев — коренастый коротышка — сразу направился к оружейной стойке. Он сорвал три висевших там дробовика и стал кидать в бумажный мешок коробки с патронами. Второй — толстяк — сразу устремился на кухню. Распахнув дверь кладовки, он начал сгребать все консервы, какие там были. Третий — самый сильный и рослый — навел свой револьвер на Блэз и девочек. Он глаз не мог отвести от черноволосой женщины.

— Что вам надо? — спросила Блэз; по ее голосу дочери сразу поняли, что мать испугана.

— Поторапливайся! — крикнул из кухни Коренастый. — Нам пора сваливать.

По-прежнему не сводя взгляда с Блэз, Рослый ответил:

— Прежде чем мы убьем их, я отведу эту красавицу в дальнюю комнату.

— Нам нельзя задерживаться, — заскулил Толстяк.

Рослый грубо схватил Блэз за руку и притянул к себе. Но тут на него с яростью налетела Роуз. Сжав

пальцы, как хищная птица, девочка впилась ему в щеку и до крови разодрала ее. Рослый с силой ударил Роуз по лицу. Она упала. Слезы хлынули у нее из глаз, а из горла вырвался странный звук, полный злости и ужаса. Он напоминал рев зверя, и трое преступников громко загоготали.

Но щенку в сарае было не до смеха. Этим утром Роуз нашла его на школьных ступенях, где его кто-то оставил. Щенок поднялся и помчался к реке. Большие уши мешали ему. Один раз он даже наступил на них и упал. Весь вспотевший, щенок прибежал к причалу. Там он встал мордой к реке и тоненько завыл. Ответа не последовало. Щенок завыл еще раз и еще. Наконец его услышал лис, когда-то спасенный Роуз. Лис выскочил из норы и стал громко тявкать по-лисьи. Его голос достиг фермы, что находилась на другом берегу. Фермерский пес подхватил призыв о помощи и передал на соседнюю ферму. Вскоре тревожное послание дошло до города. Все городские собаки словно взбесились. Они подкапывались под заборы, срывались с цепи, разбивали окна и выпрыгивали из домов. Все окрестные дороги были полны псов, бегущих в одном направлении. В собачьем приюте, который правильнее было бы назвать живодерней, один смышленый пес проделал ды-

ру в ограде, и пятьдесят его сородичей выбрались на волю. Стая тощих голодных собак со всех ног неслась к острову. Они давно не ели, но сейчас никто не думал о пище. Они знали: большой злой человек угрожает замечательной девочке Роуз, которая очень любит собак, заботится о них и даже выучила собачий язык.

Видя слезы сестры, Линдси схватила пепельницу и швырнула в Рослого. Потом, пригнув голову, двинула кулаком по его ноге.

— Я тебе не позволю обижать маму! — крикнула она.

Но пепельница пролетела мимо. А Рослый ударил по лицу и Линдси, отчего та вверх тормашками пролетела по комнате и упала в дальнем конце, разбив себе нос. Преступники думали, что она сейчас заплачет. Но вместо этого она стала издавать странные звуки, не отличающиеся благозвучием, зато полные гнева и боли. Линдси призывала стадо коров, пасущихся вблизи старых рисовых полей, и диких свиней, что бродили в центре острова.

Первой ее мольбу услышала телка Батшеба. Она убежала от матери и отправилась самостоятельно познавать мир. Телка сама знала лишь несколько слов из тайного языка полей и лугов,

травы и пастбищ, но чутье подсказало ей: в белом домике творится что-то очень плохое. Батшеба поскакала на своих тоненьких, еще не слишком крепких ногах. Она бежала по проселочной дороге и не останавливалась, пока не выбралась из леса и не увидела родное стадо. Батшеба бросилась прямо к Бесстрашному, который щипал траву.

— Что случилось, дочка? Ты никак заблудилась? Иди скорее к матери.

— Девочка, — произнесла запыхавшаяся Батшеба.

— Девочка? Какая девочка? — не понял бык, продолжая жевать.

— Синеглазая девочка.

— Линдси? Подруга нашего стада?

— Да. Подруга нашего стада.

— Что с ней? Выражайся быстро и четко.

— Помощь.

— Какая помощь, дочка? Кому?

— Девочка говорит: помощь. Девочка говорит: стадо… помочь.

Коровы беспокойно замычали. Бык поднял голову и увидел дикого кабана Дредноута. Тот мчался прямо к телке. Бесстрашный встал у него на пути и опустил голову, покачивая грозными

рогами.

— Остановись, — потребовал Бесстрашный.

Старый кабан застыл на месте, чувствуя на себе страх и ненависть коров. Из-за деревьев появились и другие свиньи. Их клыки блестели на солнце, словно копья.

— Что с девочкой? — осведомился Дредноут.

— Тебе-то что? Она наша подруга. Из нашего стада, — угрюмо промычал бык.

— Она любит свиней, — возразил Дредноут.

— Нет, она любит коров, — сердито ответил Бесстрашный.

— Всех, — вмешалась телка Батшеба. — Так сказала девочка. Она любит всех. Она просит помощи.

Коровы и свиньи забыли о своей давней вражде и двинулись к белому домику на берегу. Бесстрашный и Дредноут, как полководцы, шагали впереди. А по мосту, ведущему на остров, бежали громко лающие собаки.

Линдси по-прежнему лежала на полу. У нее из носа текла кровь. Блэз взглянула на дочь, затем на троих вооруженных злодеев. Никогда прежде здесь не было зла. За спинами незваных гостей все так же безмятежно текла река.

— Я пойду в ту комнату со всеми вами, если вы

не тронете моих дочерей, — заявила Блэз.

— У тебя нет выбора, красавица, — отозвался Рослый.

Он дернул на женщине блузку. Ткань порвалась, обнажив плечо Блэз. В это время к Рослому подошла Шарон.

— Убирайтесь из моего дома, — отчеканила девочка и тут же продолжила на удивительном языке, которого не понимал никто из присутствовавших.

Паук-крестовик взлетел по своей сверкающей паутине к окну, влез на подоконник и заглянул в комнату. Он слышал слова Шарон и понимал, что случилась беда. В его капкане билась желтая бабочка-данаида. Паук устремился к бабочке, и та, чувствуя, что настал конец, огласила воздух предсмертным стоном. Но паук, обхватив бабочку задними лапками, оборвал нити и выпустил пленницу. Ошалевшая и озадаченная таким поворотом событий, бабочка взмыла в воздух.

— Поднимай тревогу, данаида. Наша девочка в беде.

Бабочка поднялась над островом и издала призыв о помощи. Паук вторил ей со своей паутины. Их голоса донеслись до муравьев и цикад; сотни пчел перестали собирать мед и полетели к дому.

А между деревьями, словно боевые самолеты, гудели осы. Чайка, до которой тоже докатилась эта волна, передала весть другим чайкам, и вскоре небо над островом потемнело от крыльев рассерженных птиц.

Дикие свиньи, коровы, собаки — все неслись к белому домику. Туда же, по воздуху и по земле, текли реки из насекомых. Весь лес пришел в движение. Вся земля.

Рослый грубо потащил Блэз в другую комнату. Девочки умоляли отпустить их мать. В ответ злодеи только хохотали. Громко. Во все горло… пока не услышали странный звук. Сначала он был похож на низкое гудение, потом на пронзительный писк. Троица недоуменно переглядывалась. Все величие Эдема слилось в песне возмездия, звучавшей вокруг домика у реки. На спинах оленей примчались призраки индейских юношей, все еще охранявших свои земли. Небо было черным от крыльев. Трава кишела насекомыми всех видов и цветов. Угрожающе мычали коровы. Гневно били копытами дикие свиньи. Возмущенно клекотали птицы.

Злодеи застыли на месте.

А девочки продолжали говорить, каждая на своем новом языке.

— Убейте их. Убейте их, — вот о чем просили они.

Рослый, держа револьвер наготове, подполз к окну и выглянул наружу. И тогда он завопил. Его вопль не требовал перевода — то был возглас страха. Вскоре закричали и двое других.

— Они мои, — заявил бык Бесстрашный.

— Мы расправимся с ними быстрее, — возразил кабан Дредноут.

— Пчелы и осы сделают это мгновенно, — зазвенел тонкий голосок.

— Собаки разорвут их в клочья, — рявкнула гончая.

— А птицы скормят их останки рыбам, — заключила старая чайка.

Все царство природы восстало, чтобы покарать мерзавцев. Однако всех его воинов злодеи не видели: красных муравьев, успевших заползти им в брюки и рубашки, пауков, которые, словно парашютисты, приземлялись у них в волосах, ос, готовых впиться своими жалами.

Преступники уже не могли пошевелиться. Они понимали: их конец близок, очень близок. Все пространство в доме и вокруг него звенело, шелестело, гудело и грохотало от зверей, птиц и насекомых. В последние минуты жизни злоде-

ям было дано понять язык природного царства, однако любые их действия были бесполезны и бессмысленны. К таким, как они, лес пощады не знал.

Паук-крестовик взобрался по спине Рослого, перелез на шею и выбрал место за ухом. Попрощавшись с Шарон, паук укусил злодея и ввел свой яд ему в кровь. Вскрикнув, Рослый одним ударом убил паука, но к нему тут же устремились осы и красные муравьи. Троица кружилась по комнате, хлопая себя по всем частям тела. Но было поздно. Незримая сила вытолкнула их во двор. Туда, где их уже ждали клыки, копыта, челюсти и рога.

Блэз и ее дочери сидели на диване и слушали предсмертные крики злодеев. Мать не позволила девочкам подходить к окнам. Преступники не заслуживали снисхождения, однако какую-то жалость к ним Блэз и девочки все же испытывали. И не столько к ним, сколько к их глупо потраченным жизням. Не смотреть на их казнь — вот единственное милосердие, которое четверо обитательниц домика могли к ним проявить.

Вскоре звуки смолкли. И на острове вновь стало тихо.

Когда Блэз выглянула из окна, она увидела лишь траву, воду и небо. И ни следа злодеев: ни

лоскутка одежды, ни осколка кости, ни волоска.

В тот же вечер мать и дочери закопали паука на семейном кладбище, где были похоронены умершие домашние животные. Они молились за душу крестовика, за то, чтобы его паутина протянулась на тысячи миль, соединив планеты и звезды, чтобы ангелы спали в его шелковистых нитях, а его ткачество всегда радовало Бога.

Через два дня лодку Грегори Мак-Киссика прибило к острову Камберленд в Джорджии. Вернувшись домой, он рассказал о своих многодневных странствиях. Оказалось, испортился мотор, и его унесло в открытый океан. Он наверняка бы погиб от голода, если бы не одна странная чайка с черной спиной. Птица появлялась и бросала ему рыбу. А потом случилось второе чудо: Грегори сумел починить мотор и на остатках горючего добрался до острова Камберленд.

С появлением отца в семью вернулось счастье. Девочки становились старше и постепенно теряли свою магию. Ни они, ни Блэз никогда не говорили о трех злодеях, ворвавшихся к ним в дом. Роуз продолжала заботиться о бездомных собаках, Линдси — о коровах и свиньях, Шарон — о птицах и насекомых. Они любили природу и свою семью. Их мать вновь стала петь и смеяться.

И все они прожили замечательные жизни.
Таким был их путь в этом мире.

Глава 20



Стоит мне только рассердиться, как это сразу же… нет, не написано у меня на лице. Это видно по опущенным уголкам рта. Все остальные части тела подвластны моему контролю, а рот — предатель, выдает меня окружающему миру. Знакомые хорошо изучили эту особенность и могут с потрясающей точностью угадывать погоду моей души. Поэтому мне не удается застать врасплох ни друзей, ни врагов. И те и другие всегда могут заранее решить, сделать шаг назад или двинуться в атаку. Когда я взвинчен, рот — самая отвратительная моя часть.

Но даже когда я вполне владею собой, мне не тягаться с доктором Лоуэнстайн. Ее непрошибаемая собранность оставляет меня далеко позади. Сьюзен умеет управлять моим гневом, стратегически отступая в снега своего безупречного

воспитания. Как только я нападаю — она отходит в безграничные просторы собственного интеллекта. Она способна иссушить меня одним лишь взглядом своих карих глаз, которые превращаются в окна времени и за которыми простирается доисторический ледниковый период. Когда я теряю самообладание, она смотрит на меня как на ошибку природы, ураган, обрушившийся на мирный прибрежный городок. Если я спокоен, мы бываем с доктором Лоуэнстайн почти на равных; но малейшее раздражение с моей стороны — и я чувствую себя с ней совершеннейшим южным чурбаном.

Мой рот изгибался в дугу, когда я вошел в кабинет доктора Лоуэнстайн и швырнул на кофейный столик детскую книжку.

— Вот что, доктор, — начал я, усаживаясь напротив нее. — Обойдемся без вежливых мелочей. Без вопросов о том, как я провел выходные. Давайте сразу к делу. Кто эта чертова Рената и какое отношение она имеет к моей сестре?

— Так вы хорошо провели выходные, Том? — спросила Сьюзен.

— Я заявлю на вас кому следует, и вы лишитесь лицензии. Вы не имеете права скрывать от меня факты, касающиеся Саванны.

— Понимаю, — кивнула доктор.

— Тогда давайте без вежливых соплей. Выкладывайте все начистоту. Возможно, так вы еще спасете свою пошатнувшуюся карьеру.

— Должна вам признаться, Том, в нормальном состоянии вы мне очень нравитесь. Но когда вы чувствуете угрозу или когда не уверены в себе, вы становитесь просто отталкивающим.

— Мне что-то угрожает ежедневно и ежечасно, Лоуэнстайн. И непробиваемой уверенностью я тоже не могу похвастаться. Но речь сейчас не об этом. Я всего лишь хочу понять, кто такая Рената. Это она ключ к состоянию моей сестры? Угадал? Если я пойму роль Ренаты в жизни Саванны, значит, я не напрасно проторчал в Нью-Йорке добрую половину лета. Вы ведь все это время знали о Ренате? Да, доктор? Знали и предпочли молчать.

— Я всего лишь выполнила требование Саванны.

— Но разве сведения об этой женщине не помогли бы мне лучше разобраться в болезни сестры?

— Возможно. Но я в этом не уверена.

— Тогда извольте объясниться, доктор.

— Саванна сама с вами поделится, когда сочтет нужным. Она взяла с меня слово, что я не стану

говорить с вами о Ренате.

— Но это было до того, как я выяснил, что Рената была непосредственно связана с моей сестрой. И заметьте, Лоуэнстайн, очень странно связана. Саванна пишет стихи и прозу и публикуется под именем Ренаты.

— Том, откуда вы узнали о детской книжке?

Этот вопрос я пропустил мимо ушей.

— Я звонил в бруклинскую квартиру Ренаты. Оказывается, два года назад она свела счеты с жизнью, бросившись под поезд метро. Мать Ренаты сама рассказала мне о судьбе дочери. Это позволяет сделать ряд выводов. Либо Рената инсценировала самоубийство и ей почему-то нравится терзать и мучить своих бедных родителей. Либо… у моей сестры с головой гораздо хуже, чем мне казалось.

— Вы ознакомились с детской повестью? — поинтересовалась доктор Лоуэнстайн.

— Разумеется.

— И что вы о ней думаете?

— А что, черт побери, я должен думать? Это история о моей семейке!

— С чего вы взяли?

— Во-первых, я не идиот. Во-вторых, умею внимательно читать. А в-третьих, в процессе изу-

чения текста я натолкнулся на тысячи мелочей, которых никакая Рената знать не может. Доктор, я отлично понимаю, почему Саванна воспользовалась псевдонимом. Если бы моей матери попалась на глаза эта повесть, она бы дочери голову оторвала. Саванне не понадобилось бы себя убивать. Мать бы собственными зубами вырвала у нее печень. Итак, повторяю: кто такая Рената? Каковы их с Саванной взаимоотношения? Лесбийская связь? Не бойтесь, меня это не шокирует. У Саванны были любовницы. Некоторых я видел. Даже готовил им сэндвичи с молодой фасолью и угощал супом из картофельной шелухи. Саванну вечно тянуло к самым тоскливым мужчинам и женщинам. Мне все равно, с кем она трахается. Но я требую от вас объяснений. Я здесь полтора месяца и только один раз навестил свою сестру. Почему? Видимо, на то есть причина. Может, это Рената довела Саванну до такого состояния? Если так, то я найду эту грымзу и вышибу из нее все мозги, если они у нее есть.

— И вы бы отважились ударить женщину? — осведомилась доктор. — Вы меня удивляете.

— Если из-за этой женщины Саванна резала себе вены, я бы ей кишки выпустил без колебаний.

— Рената — подруга Саванны. Пока это все, что

я могу сообщить.

— Не юлите, доктор. Я не заслуживаю такого обращения. Я делал все, о чем вы просили. Я выложил столько информации о своей семье. И я…

— Вы лжете, Том, — ровным голосом перебила меня Сьюзен.

— Что вы имеете в виду?

— Вы умолчали о тех событиях, которые действительно важны. Вы подали мне историю своей семьи так, словно это хроника для потомков. Если судить по вашим словам, то получается вот что. Дед — настоящий человек. Бабушка — экстравагантная особа. Отец — мужчина со странностями, который лупил своих детей, когда напивался. Зато мамочка у вас — принцесса, она держала вас силой своей любви.

— Учтите, Лоуэнстайн, я еще не дошел до конца. Я пытаюсь излагать все последовательно, чтобы в вашей голове не было путаницы. В первый день нашей встречи вы вручили мне кучу пленок с бредовыми выкриками Саванны. Некоторые из них были и остались для меня полной бессмыслицей. Не имея представления о начале, вы не поймете концовки.

— Но даже начало у вас пронизано ложью.

— Откуда такая уверенность? Уж о чем, о чем, а

о нашем детстве я знаю гораздо лучше вас.

— Возможно, вы лучше меня знаете лишь одну из версий вашего детства. Назовем ее информативной. Да, она принесла мне немало пользы. Но факты, которые вы опускаете, ничуть не менее важны, чем те, о которых вы говорите. Не надо мне так много рассказывать про вас и вашего брата — эдаких современных Тома Сойера и Гека Финна. Давайте лучше о девочке, которая год за годом послушно накрывала на стол. Она интересует меня гораздо больше.

— Саванна наконец открыла рот, — догадался я. — И потому вы не позволяете мне видеться с ней.

— Вы в курсе, что не я, а Саванна решила не встречаться с вами. Однако ваши истории очень сильно ей помогли. Благодаря им Саванна вспомнила то, что давным-давно подавила в себе и заставила забыть.

— Каким образом? Саванна не слышала ни одной моей фразы.

— Слышала. Я записывала вас на пленку, и кое-что мы с ней прокручивали, когда я приходила в клинику.

— Еще один Уотергейт! — Вскочив, я принялся расхаживать по кабинету. — Извольте связать

меня с судьей Сирика[151]. Доктор, я требую размагнитить эти пленки или использовать вместо углей, когда в следующий раз вы будете жарить барбекю у себя на террасе.

— Я часто фиксирую таким способом свои сеансы с пациентами. В этом, Том, нет ничего необычного. Вы же клялись, что готовы сделать все ради спасения своей сестры. Я поймала вас на слове. Так что садитесь, и нечего мне угрожать.

— Я и не собирался. У меня руки чешутся отколотить вас как следует.

— Том, давайте спокойно обсудим наши разногласия, — предложила доктор Лоуэнстайн.

Я тяжело плюхнулся на мягкий стул и вновь уставился на невозмутимое лицо Сьюзен.

— Знаете, Том, чего я больше всего опасаюсь? Почему против вашего визита к Саванне? Я боюсь вашего мужского эго, переполненного жалостью к себе.

— Сейчас, доктор, вы видите перед собой полностью побежденное мужское эго, — раздраженно заметил я. — Вам не о чем беспокоиться. Жизненные обстоятельства нейтрализовали его.

---

[151] Примечания: 151

Сирика Джон — председатель окружного суда по округу Колумбия, сыгравший важную роль в раскрытии «Уотергейтского дела», в котором был замешан тогдашний президент Ричард Никсон.

— Ничего подобного! Я еще не видела мужчину, который бы не стремился любой ценой оставаться мужчиной. А вы — один из самых худших экземпляров.

— Вы абсолютно не разбираетесь в мужчинах, — заявил я.

— Так научите меня, — со смехом предложила она. — У нас есть на это десять минут.

— Поганые у вас сегодня шутки, доктор. Между прочим, быть мужчиной не так легко, как вам кажется.

— Том, я уже слышала эту печальную песню. Половина моих пациентов мужчин пытаются заручиться моей симпатией и хнычут о том, как им сложно жить в мужской шкуре. Мой муж применяет ту же гнилую стратегию, не зная, что эти фразы звучат у меня в кабинете на неделе по пятьдесят раз. Сейчас вы начнете плакаться, как тяжело нести на своих плечах груз мужской ответственности. Я угадала, Том? Что-нибудь в духе сентиментальных старых фильмов: «Знаешь, малышка, до чего я выматываюсь? Я ведь тащу на себе дом и семью». Не тратьте время. Все это мне знакомо.

— В общем-то, Лоуэнстайн, у мужчин всего одна трудность. Современным женщинам ее действи-

тельно не понять. Во всяком случае, Саванне и ее радикальным подругам-феминисткам. Стоило нам с Люком приехать в Нью-Йорк к сестре, как ее шумные приятельницы начинали на нас кричать. Наверное, Саванна думала, что эти вопли пойдут на пользу ее неотесанным братьям. Еще бы, ведь они не в курсе, что все мировое зло болтается у них между ног и называется пенисом. О, эти радикальные феминистки! Храни меня Бог от дальнейших столкновений с ними. Благодаря Саванне я наслушался их речей больше, чем кто-либо из мужчин-южан. Видимо, эти тетки и девицы были уверены, что у них есть право орать на меня с интервалом в сорок восемь часов. А потом я от избытка благодарности за их уроки засуну свое достоинство в миксер и нажму кнопку.

— Помнится, в нашу первую встречу вы отрекомендовались мне феминистом.

— Я и есть феминист. Один из тех жалких пентюхов, которые научились взбивать суфле и готовить вкусный беарнский соус, пока их жены вскрывают трупы и утешают раковых больных. Мы живем в дурацкое время, доктор. Стоит мужчине объявить себя феминистом, и на него градом сыплются насмешки. Когда я обсуждаю это со своими друзьями, они хихикают и рассказывают

мне свежий похабный анекдот. Когда я говорю об этом южным женщинам, они смотрят на меня с крайним презрением. Они рады, что появились на свет женщинами и что им открывают дверцы машин и пропускают вперед. Но паршивее всего сказать об этом феминисткам. Они тут же примут мои слова за елейный покровительственный жест и сочтут опасным шпионом, который внедрился в их сплоченные ряды. Однако я действительно феминист. Я — Том Винго, феминист, консерватор, белый либерал, пацифист, агностик и потому не принимаю всерьез ни себя, ни других. Я подумываю подать заявление о пожизненном членстве в стане деревенских чурбанов, дабы вернуть хоть малую толику самоуважения.

— А по-моему, Том, вы и без всякого членства — деревенский чурбан. Можете возражать сколько угодно.

— Не стану, доктор.

— Кажется, вы собирались поделиться со мной единственной трудностью нахождения в мужской шкуре. Так что это за трудность?

— Вы будете смеяться, — заметил я.

— Возможно, буду, — согласилась Сьюзен.

— А трудность, Лоуэнстайн, действительно всего одна. И связана она с женщинами. Они не

учат нас любить. Они хранят этот секрет, не раскрывая его. Мужчина всю жизнь пытается найти женщину, которая передаст ему это искусство, но такая женщина не встречается. Единственные люди, которых мы любим, — это другие мужчины, поскольку мы понимаем их одиночество; оно сродни нашему. Когда женщина испытывает к нам чувства, она окутывает нас своей любовью. Мы наполняемся страхом, ощущаем свою беспомощность и раскисаем. Женщины не понимают, что мы не способны им ответить. Нам нечем отвечать. Мы не умеем любить.

— Когда мужчины рассуждают о тяготах своего пола, они никогда не уходят от вечной темы жалости к себе.

— А женщины — от вечной темы обвинения мужчин.

— Быть женщиной в современном обществе действительно трудно.

— Не смешите меня, доктор. Нахождение в шкуре мужчины высасывает все силы. Мне настолько опостылело быть сильным, оказывать поддержку, проявлять мудрость и великодушие, что от одной мысли об этом меня уже тошнит.

— Что-то я не заметила в вас перечисленных качеств, — невозмутимо заявила доктор Лоуэн-

стайн. — По большому счету, я вообще не знаю, кто вы, что собой представляете и каких взглядов придерживаетесь. Иногда вы — один из самых обаятельных мужчин, каких я только видела. И вдруг, буквально на ровном месте, из вас начинает лезть язвительность и обиженность. Теперь вы утверждаете, что не испытываете любви. Но от вас же я слышала, что вас переполняет любовь ко всем. А о своей привязанности к сестре вы напоминаете постоянно. Я делаю все, что в моих силах, пытаюсь ей помочь, но у вас это почему-то вызывает всплеск ярости. Том, я не могу вам полностью доверять, поскольку не знаю, кто вы. Если я поделюсь с вами информацией о Саванне, еще неизвестно, как вы отреагируете. Прошу вас, Том, начните вести себя как мужчина. Станьте сильным, мудрым, ответственным и спокойным. Это нужно и мне, и Саванне.

От отчаяния я перешел на шепот.

— Доктор, я всего-навсего спросил вас о взаимоотношениях между моей сестрой и этой Ренатой. Вполне естественный интерес. Брат вашей пациентки вправе его выражать. Но вы своей изворотливой риторикой вывели меня из равновесия и дали понять, что я — дерьмо дерьмом.

— А вы помните, каким тоном вы задали свой вопрос? Ведь вы не вошли, а ворвались в мой кабинет, швырнув на стол злополучную книжку. Вы кричали на меня. А кричать на себя я не позволяю ни за какой гонорар.

Я прикрыл лицо ладонями, но даже сквозь пальцы ощущал спокойный оценивающий взгляд Сьюзен. Я отнял руки. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Ее мрачноватая чувственная красота пугала и притягивала одновременно.

— Лоуэнстайн, я хочу навестить Саванну. Вы не имеете права препятствовать этому. Никто в мире не имеет такого права.

— Я ее психиатр. Если бы ваше отсутствие помогло Саванне выздороветь, я бы не пускала вас к сестре до конца дней. И такой шаг кажется мне вполне нормальным.

— Доктор, о чем вы?

— Я начинаю понимать доводы Саванны. Она считает, что должна полностью разорвать связи с семьей. Только так она выживет и поправится.

— Самое ужасное, что она может сделать, — это навсегда нас вычеркнуть, — возразил я.

— Сомневаюсь, что это самое ужасное.

— Если вы запамятовали, доктор, я — брат-близнец Саванны. А вы всего лишь ее самоуверенный

психиатр, — язвительно заметил я. — И потому я хочу знать: кто такая Рената? Или, в более вежливом варианте, я хотел бы знать. Свое право я заработал.

— Рената была для Саванны не просто близкой подругой, — начала доктор Лоуэнстайн. — Она занимала совершенно особое место. Хрупкая женщина, очень восприимчивая и очень вспыльчивая. Лесбиянка, радикальная феминистка и вдобавок еврейка. Боюсь, мужчин она не жаловала.

— Боже правый, — застонал я. — Да почти все подруги Саванны — такие же задницы.

— Заткнитесь, Том, или замолчу я.

— Извините. Вырвалось.

— Чуть более двух лет назад у Саванны случился нервный срыв. Рената тогда спасла ее. Они встретились на поэтическом семинаре, который Саванна вела в Новой школе. Когда все началось, Рената была против отправки вашей сестры в клинику и поклялась Саванне, что сама выведет ее из тупика. Саванна тогда находилась почти в таком же состоянии, в каком вы видели ее в больнице. Однако Рената действительно подняла ее из бездны к свету. По словам вашей сестры, у Ренаты был… назовем его ангелом-хранителем. И

потому ей одной удалось то, чем теперь занимаются несколько врачей. Через три недели после возвращения Саванны домой Рената бросилась под поезд.

— Но почему? — удивился я.

— Неизвестно. По той же причине, по какой люди кончают с собой. Жизнь становится невыносимой, и самоубийство кажется единственным выходом. У Ренаты, как и у вашей сестры, было несколько суицидальных попыток. После гибели Ренаты у Саванны вновь началась затяжная депрессия. Она бродила по улицам без всякой цели, не владея собой. Ночевала в парадных трущобных домов, а то и под открытым небом. Но эти странствия сразу стирались из ее головы. Иногда наступало короткое просветление. Саванна возвращалась домой. Пыталась писать. Ничего не получалось. Тогда, Том, она стала вспоминать свое детство и выяснила, что многое забыла. Остались только кошмары. Как-то ей приснилось, что на ваш остров явились трое незнакомцев. Саванна понимала, что это не просто страшный сон. Он что-то содержит, что-то очень важное. Подобное событие однажды случилось в действительности, но какое и когда именно — она сказать не могла. Из ужасного сна родилась детская повесть.

— Зачем Саванна подписала ее чужим именем?

— Это была дань памяти подруги. Саванна отправила рукопись в несколько издательств. Но на том история не закончилась. Саванну вдруг посетила величайшая идея всей жизни. Она нашла реальную возможность себя спасти.

— Продолжайте, доктор. Мне не терпится услышать, что это за идея.

— Ваша сестра, Том, решила стать Ренатой Халперн, — сообщила Сьюзен, слегка наклонившись ко мне.

— То есть как?

— Она решила стать Ренатой.

— Давайте вернемся назад. Видимо, я что-то пропустил.

— Ничего вы не пропустили, Том. Когда Саванна впервые пришла в мой кабинет, она представилась Ренатой Халперн.

— Но вы-то знали, что она Саванна Винго?

— Нет. Откуда?

— В вашей приемной я видел стихи Саванны.

— Думаете, я помню лица всех писателей и поэтов, чьи книги собраны в моей приемной? Там

есть и Сол Беллоу[152]. Но если он вдруг явится сюда под именем Джорджа Бейтса[153], я его не узнаю.

— Боже милостивый, — только и смог произнести я. — Всю душу выворачивает. А когда вы поняли, что Саванна — это Рената, или Рената — это Саванна, или Саванна — это Сол Беллоу?... Я совсем запутался.

— По части еврейства меня трудно одурачить. Фамилия Халперн — еврейского происхождения. Саванна рассказала о родителях, уцелевших во время холокоста. Она даже помнила номера, вытатуированные у них на руках. Потом добавила, что ее отец был скорняком, и назвала место, где он работал.

— Лоуэнстайн, все это очень странно. Ведь люди обращаются к вам за помощью. Зачем Саванне понадобилось выдавать себя за другого человека? К чему скрывать свое настоящее имя? Зачем брать на себя чужие проблемы, когда у нее предостаточно своих?

— Видимо, Саванне хотелось проверить свою

---

[152] Примечания: 152

Беллоу Сол (1915–2005) — американский писатель еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии 1976 г.

[153] Примечания: 153

Бейтс Джордж (1891–1949) — американский политический деятель.

новую личность, если можно так выразиться. Убедиться, принимают ли другие ее историю. Но кем бы она ни назвалась, я сразу поняла: этой женщине очень плохо. Она буквально трещала по швам. То, что она взяла себе чужое имя, было лишь частью ее расстройства. В любом случае она глубоко страдала.

— А когда она призналась вам, что не является Ренатой?

— Я стала задавать ей вопросы о прошлом, а Саванна мялась и изворачивалась. Я спросила, в какой шуль[154] она ходила, а она и слова такого не слышала. Потом я поинтересовалась, как звали раввина времен ее детства. Снова сбивчивые ответы, хотя еврейские дети хорошо помнят имена раввинов. Далее ваша сестра стала описывать кошерную кухню, которую якобы держала ее мать. Я уточнила, ела ли она когда-нибудь трефную[155] пищу. И опять ваша сестра не поняла. На идише Саванна знала лишь несколько слов, хотя утверждала, что ее родители — из галицийского

---

[154] Примечания: 154
Синагога *(идиш).*

[155] Примечания: 155
Не кошерную, нечистую.

штетля[156]. В конце концов я сообщила, что не верю ей и что если она ждет от меня помощи, пусть говорит правду. И еще я сказала, что ее внешность не кажется мне еврейской.

— А вы, доктор, расистка, — заметил я. — Определил это в первый же день, едва взглянул на вас.

— У вашей сестры лицо классической шиксы[157], — с улыбкой отозвалась она.

— Это что, непростительное оскорбление?

— Нет, просто непреложный факт.

— И как повела себя Саванна после разоблачения?

— Встала и ушла, даже не попрощавшись. Следующий сеанс она пропустила, хотя и соблаговолила позвонить и предупредить. Когда мы встретились снова, она заявила, что раньше ее звали Саванной Винго, но она собирается сменить личность, переехать на Западное побережье и провести оставшуюся жизнь под именем Ренаты Халперн. Все контакты с родными она намере-

---

[156] Примечания: 156

Любой городок в предвоенной Восточной Европе (еще до холокоста) со значительным процентом еврейского населения.

[157] Примечания: 157

Так называют молодую женщину, не являющуюся еврейкой. Слово имеет пренебрежительный оттенок.

валась окончательно разорвать, поскольку ей тяжело видеть кого-либо из них. Память была для нее невыносимой; недаром она начала забывать эпизоды своего прошлого. По словам Саванны, она не могла жить с такой болью. Даже Нью-Йорк, куда она так стремилась, не принес ей утешения. Она считала, что у нее есть шанс все наладить, перевоплотившись в Ренату Халперн. Если же она останется Саванной Винго, то протянет не больше года.

Я закрыл глаза и попытался представить нас с Саванной детьми: худощавыми, светловолосыми, загоревшими. Я мысленно видел реку, болотных птиц, летающих над ее рукавами, каролинское солнце. Вот мы втроем плаваем в зеленоватой воде, неподвижной, словно полотно. У нас был ритуал. Мы создали его в раннем детстве и держали в тайне. Всякий раз, когда случалось что-либо дурное или печальное, когда родители наказывали или били нас, мы уходили на дальний конец причала, ныряли в теплую воду, затем проплывали ярдов десять и брались за руки. Мы покачивались на волнах, сохраняя наш совершенный неразрываемый круг. Одной рукой я держался за Люка, другой — за Саванну. Плоть, кровь и вода. Потом Люк подавал нам сигнал, мы

набирали в легкие побольше воздуха и погружались на речное дно, по-прежнему не отпуская рук. Там мы оставались, пока кто-то не сжимал пальцы двум другим. Тогда мы дружно поднимались на поверхность, к солнцу и воздуху. Оказавшись на дне, я открывал глаза. Соленая вода не отличалась прозрачностью; я видел лишь силуэты брата и сестры. Они плавали, словно эмбрионы в материнском чреве. В такие мгновения я ощущал потрясающую связь между всеми нами. То был треугольник бессловесной возвышенной любви. В висках у нас стучало, когда мы выныривали навстречу свету и ужасам нашего детства. На дне мы ненадолго обретали свободу и безопасность в мире, где не было родителей. И только когда наши легкие не выдерживали, нам приходилось возвращаться к новым испытаниям. Это был наш храм, хотя его посещения не отличались ни регулярностью, ни продолжительностью.

Сейчас, в кабинете доктора Лоуэнстайн, мне отчаянно захотелось снова очутиться на речном дне, крепко прижать Саванну к себе и погрузиться с ней в лазурную воду. Я бы разрушил все, способное причинить вред сестре. Когда я думал о Саванне или видел ее во сне, я всегда был героем, ее защищающим. Но в реальной жизни не сумел

уберечь нежные прожилки вен от войн, которые бушевали у Саванны внутри.

— Я пообещала Саванне, что сделаю все, что в моих силах, — продолжала Сьюзен. — Но мне необходимо выяснить, от каких страхов и трагедий прошлого она стремится убежать. Я объяснила ей, что если она не решит проблемы Саванны Винго, ее шансы стать Ренатой Халперн равны нулю.

— Почему вы поощряете желание пациента стать кем-то другим? — удивился я. — Какова этическая сторона? На какие медицинские критерии вы опираетесь? Откуда, черт бы вас побрал, вы знаете, что будет лучше для Саванны? А вдруг доктор Лоуэнстайн ошиблась?

— Случаи превращения одного человека в другого мне неизвестны. Ни о каких профессиональных критериях я тоже не знаю. И потом, я всего лишь сказала, что помогу ей стать максимально целостным человеком. Перед ней стояла дилемма, и не одна. Я просто поддерживала вашу сестру. А выбирала она сама.

— Вы не имеете права способствовать ее перевоплощению, по сути, в покойницу. И не ждите, будто я смиренно приму методы так называемого лечения, после которых моя сестра, родившаяся

на Юге, станет еврейской писательницей. То, чем вы сейчас занимаетесь, — это не психиатрия. Это черная магия, колдовство. Это сочетание самых опасных и сомнительных воздействий. Саванна хочет быть Ренатой Халперн — я усматриваю в этом желании всего лишь очередное проявление безумия.

— А возможно — проявление здоровья. Я не уверена.

Вдруг я почувствовал себя выжатым до предела. У меня не было ни физических, ни душевных сил. Я откинул голову на спинку стула, закрыл глаза и попытался обрести некоторую ясность ума. Я упорно искал логические доводы, чтобы противопоставить их доводам Сьюзен, но мое состояние было далеко от пределов четкости и разумности. Чувствуя, что не могу просто так сидеть и молчать, я собрал волю в кулак и произнес:

— Потому-то, Лоуэнстайн, я и не перевариваю век, в котором родился. Ну почему меня угораздило появиться на свет в эпоху Зигмунда Фрейда? Я терпеть не могу его профессиональный жаргон, его фанатичных приверженцев, его запутанные рассуждения о душе, туманные недоказуемые теории, его бесконечные классификации всего человеческого в человеке. Хочу сделать заявле-

ние, сознательно, после тщательных раздумий… Будь ты проклят, Зигмунд Фрейд. Будьте прокляты его отец, мать, дети и предки. Я ненавижу его собаку, кота, попугая и всех животных Венского зоопарка. Ненавижу его книги, идеи, теории, сны, грязные фантазии и кресло, в котором он творил свою гнусь. Будь же проклято это столетие, год за годом, день за днем, час за часом. Будь проклято все, что случилось в этот мерзкий отрезок времени, испохабленный Зигмундом Фрейдом. И наконец, я ненавижу вас, доктор, Саванну, Ренату Халперн и всех, кем моя сестра пожелает стать в будущем. Как только ко мне вернется энергия, я встану, покину ваш прекрасно оборудованный кабинет, соберу свои нехитрые пожитки, поймаю такси, и один из этих угрюмых охламонов повезет меня в аэропорт Ла Гуардиа. Старина Том вернется домой, где его жена крутит любовь с кардиологом. Как это ни ужасно, но их отношения мне хотя бы понятны, а во всем, что связано с Саванной и Ренатой, я тону, как в дерьме.

— Вы полностью высказались, Том? — подала голос доктор.

— Нет. Сейчас придумаю новую обидную тираду и обрушу на вашу голову.

— Возможно, я поступила неправильно. Надо

было еще в нашу первую встречу открыть вам правду. Но я решила этого не делать. А ведь меня предостерегали насчет ваших… особенностей. Саванна очень хорошо вас изучила. Да, внешне может казаться, что вы стремитесь ей помочь. Но на самом деле стыдитесь ее проблем, боитесь их. Вы готовы сделать что угодно… или почти что угодно, только бы избавиться от них, убедить себя, что их нет, зашвырнуть в темноту. Саванна знает о вашей верности семейному долгу и долгу вообще. Я пыталась все это каким-то образом уравновесить. Если бы я могла обойтись без вас, бог свидетель, я бы это сделала. Говоря вашим языком, я ненавижу день, когда вы узнали о Ренате и добрались до этой книжки. Ненавижу ваше фарисейство и выплески вашей злости.

— А какой реакции вы от меня ждали? Чтобы я горячо поддержал превращение моей сестры непонятно в кого? А если бы я вдруг проделал такую штуку с Бернардом? Если бы вместо футбольных тренировок я стал бы учить этого несчастного озлобленного мальчишку, как выбраться из его никчемной семейки? «Тебе здесь плохо, Бернард? Давай сменим тебе имя. Поедешь со мной в Южную Каролину. Вместо нудного пиликанья на скрипке будешь целыми днями

играть в футбол. Я найду тебе новых родственников, и ты начнешь все с чистого листа на новом месте».

— Неудачное сравнение, Том. Мой сын не пытался покончить с собой.

— Это вопрос времени, доктор. Ему нужно еще немного пожить в вашей антикварной квартире, и тогда…

— Сукин вы сын! — взорвалась доктор Лоуэнстайн.

Она молниеносно схватила с кофейного столика увесистый том «Словаря американского наследия» и с потрясающей точностью бросила в меня.

Книга ударила меня прямо по носу, упала на коленку, шлепнулась на пол и раскрылась на семьсот шестьдесят четвертой странице. Я очумело глянул вниз и увидел собственную кровь, которая успела заляпать начало статьи, посвященной Николаю Ивановичу Лобачевскому. Когда я поднес руку к носу, кровь заструилась по пальцам.

— Боже мой! — воскликнула Сьюзен, потрясенная тем, что потеряла самообладание.

Она протянула мне платок.

— Больно?

— Еще как, — лаконично ответил я…

— У меня есть валиум.

Доктор торопливо открыла сумочку.

Я громко расхохотался, отчего кровь пошла еще сильнее. Пришлось замолчать.

— Вы думаете, я остановлю кровь, запихнув в ноздри по таблетке? Миру повезло, что вы не пошли в терапию.

— Валиум поможет вам успокоиться.

— Я вполне спокоен, доктор. Просто вы меня ранили, и это тянет на большое судебное дело. Теперь вас точно лишат лицензии.

— Я весьма терпеливый человек, но вы окончательно вывели меня из себя. Таких выплесков у меня еще не было.

— Зато теперь есть. Хороший бросок. Профессиональный. Удивительно, как вы мне еще нос не своротили. — Я откинулся на спинку стула. — Теперь вам самое время покинуть кабинет и тихо закрыть за собой дверь. А я останусь умирать от кровопотери.

— Думаю, вам нужен доктор.

— Спасибо. Один уже есть.

— Вы понимаете, о чем я.

— Почему бы вам не отвезти меня прямо в психушку, в палату к какому-нибудь кататонику?

Я прижму его к носу, и через час кровь остановится… Да не дергайтесь вы так. Мне не впервые разбивают лицо. Сейчас все пройдет.

— Том, мне очень стыдно, — призналась Сьюзен. — Простите меня ради бога. Честное слово, я от себя такого не ожидала.

— Ни за что не прощу.

Сцена эта была настолько глупой, что меня снова потянуло на смех.

— Ну и денек! Сначала я узнаю, что моя сестрица пытается перевоплотиться в бруклинскую еврейку. Затем дипломированный психиатр швыряет в меня словарем. Боже милосердный!

— Том, когда вы будете в порядке, позвольте пригласить вас на ланч.

— Вам это дорого обойдется, Лоуэнстайн. Никаких хот-догов у Натана. Пиццей с сыром вы не отвертитесь. Поведете меня в «Lutece». Или в «La Cote Basque». На худой конец — в «Фор сизонс». Все, что я закажу, должно подаваться с пылу с жару. Вам это влетит в кругленькую сумму. Вы будете разорены.

— За ланчем я хочу продолжить этот разговор, но уже в обстоятельной и серьезной манере. Мне надо кое-что объяснить вам относительно Саванны, Ренаты и… самой себя.

Мой громкий хохот оборвал ее на полуслове.

Входя в зал ресторана «Lutece», я чувствовал странную полуреальность происходящего. Я пребывал то ли во сне, то ли наяву. Раскрытие тайны, связанной с Ренатой, и последующее тесное соприкосновение моего носа со словарем достались мне ценой ощутимого головокружения. Нас встретила мадам Сольтнер. Она поздоровалась с доктором Лоуэнстайн, назвав ее по имени, и они немного поболтали по-французски. Меня в очередной раз поразило, с какой легкостью Сьюзен обходится со всеми правилами и требованиями, существующими в ее богатой и цивилизованной жизни. Позы, мимика, слова — все давалось ей без малейшего напряжения, было предельно точным и соразмерным. Блистательная женщина, с детства обученная изысканным манерам. Я понимал, что всему этому можно научиться, когда ты вхож в соответствующие круги и когда ни твоим родителям, ни тебе не приходится считать деньги. Сьюзен была первым встретившимся мне человеком, которого мощь и величие Нью-Йорка не подавили и не сделали жалким и смехотворным. Улицы этого города были ей так же привычны, как мне — коллетонские болота. Скупость и точность ее жестов опять-таки были

порождены средой, в которой она выросла. Уверенность, с какой доктор держалась, я посчитал бы для себя подарком судьбы. Правда, до сих пор мне попадались лишь те, кто в разном возрасте приехал в этот город и поселился в нем. Сьюзен была первой в моей жизни коренной жительницей Нью-Йорка и Манхэттена. И еще я узнал, что под внешней холодной благопристойностью доктора кипят страсти. Мой нос, который продолжал саднить, был тому подтверждением.

Мадам Сольтнер проводила нас к столику в уютном уголке. Она позволила себе лишь мимолетный взгляд на мою левую ноздрю, заткнутую куском бумажной салфетки. Думаю, хозяйке ресторана нечасто приходилось сопровождать гостей, явившихся в «Lutece» с расквашенным носом. Извинившись перед Сьюзен, я отправился в туалет, где вытащил эту жуткую затычку. К счастью, кровотечение прекратилось. Я умыл лицо и вернулся в зал. Нос у меня распух, однако здесь я был бессилен что-либо сделать. Вид у меня был далеко не элегантный, но есть мне действительно хотелось.

Подошел официант, накрахмаленный облик которого застыл в высокомерии. Он принял наши заказы на спиртное. Я перегнулся через стол с

безупречно белой скатертью и такими же салфетками и шепнул Сьюзен:

— Когда принесут выпивку, вас не будет шокировать, если я на минутку суну нос в бокал? Спирт хорошо дезинфицирует раны.

Доктор закурила и выпустила в меня облачко дыма.

— Хорошо, что вы способны шутить по этому поводу. До сих пор не верится, что я бросила в вас книгой. Но иногда, Том, вы способны вывести из себя кого угодно.

— Да, Лоуэнстайн, временами я бываю отъявленным мерзавцем. Мои слова о Бернарде были непростительными, и я вполне заслуженно схлопотал словарем по шнобелю. Так что это я должен извиняться.

— Думаете, я не понимаю, что никудышная мать своему сыну? Понимаю, и меня это терзает.

— Не надо самобичевания, доктор. Бернард — подросток. Этому возрасту свойственно воевать с обществом. Такая у них работа — вести себя как полнейшие идиоты и создавать вечную головную боль своим родителям.

Официант принес меню. Я внимательно в него вчитывался, испытывая некоторое волнение. Впервые я оказался в ресторане, где готовил повар

мирового уровня, и мне не хотелось испортить представившуюся возможность непродуманным или заурядным выбором. Я подробно расспрашивал доктора Лоуэнстайн о каждом блюде, которое ей доводилось здесь пробовать, и восхищался, с какой легкостью она разрушала все мои гастрономические стереотипы, предлагая что-то незнакомое, но божественное по вкусу. Наконец она предложила сделать весь заказ на свое усмотрение, и я облегченно откинулся на спинку стула. Сьюзен попросила официанта подать мне на закуску мусс из утиной печени с ягодами можжевельника. В качестве первого блюда она предпочла soupe de poisson au crabe[158]. Мои мозги отдыхали, а Сьюзен уже перечисляла официанту другие кулинарные изыски. Названия эти мне ничего не говорили. И снова, чувствуя мое замешательство, она через официанта попросила мсье Сольтнера (это и был всемирно известный повар) приготовить для меня rable de lapin[159].

— Кролик? — удивился я. — Что с вами, доктор? Все модные журналы уверяют, что это место — настоящий храм чревоугодия, а вы насмехаетесь

---

[158] Примечания: 158
Рыбный суп с крабами *(фр.).*

[159] Примечания: 159
Спинка кролика *(фр.).*

надо мной, выбирая какого-то кролика.

— Уверяю вас, такого кролика вы еще никогда не ели, — убеждала она меня. — Можете поверить.

— Не возражаете, если я совру официанту, что веду кулинарную рубрику в «Нью-Йорк таймс»? Это наверняка окажет соответствующее воздействие на мсье Андре, и он превзойдет сам себя.

— Полагаю, это лишнее. Лучше поговорим о Саванне.

— Тогда я попрошу официанта убрать со стола все предметы, которые могут в меня полететь. Или лучше надеть защитную маску? На поле, знаете ли, она отлично уберегает от мяча.

— Том, родные и друзья никогда не намекали вам на некоторую чрезмерность ваших шуток?

— Бывало. Обещаю вам, Лоуэнстайн, до конца ланча я буду образцом скуки.

Официант принес бутылку «Шато-Марго» и мусс из утиной печени. Я пригубил вино. Букет был просто восхитительным. Мой организм возликовал. Я наполнился ароматом цветущего луга. Вино в сочетании с муссом заметно улучшило мое настроение. Я начал радоваться, что живу на свете.

— Честное слово, доктор, мусс фантастически

вкусный, — сообщил я. — Целые легионы калорий маршируют теперь у меня в крови. Сюда, случайно, нельзя устроиться едоком?

— Саванна вытеснила глубоко в подсознание огромный пласт своих детских переживаний, — сказала доктор Лоуэнстайн.

— Какое отношение это имеет к утиному муссу?

— Довольно юмора, Том, — одернула меня Сьюзен. — Ваша сестра вычеркнула из памяти целые куски своей жизни. Она называет их белыми пятнами. Мне кажется, они совпадают с теми промежутками времени, когда ее галлюцинации становились неуправляемыми.

— У Саванны всегда были трудности с запоминанием, — заметил я.

— То же утверждает и она. В детстве это ее особенно пугало, но она никому не открывала свою ужасную тайну. По ее словам, из-за этого она всегда чувствовала себя какой-то особенной, одинокой, незащищенной. Она стала узницей утраченного времени. Дней, о которых она начисто забыла. В дальнейшем она пришла к выводу, что из-за этих провалов страдает ее поэзия. Безумие обступало ее со всех сторон. У нее не хватало сил, чтобы сражаться с ним. Больше всего она

боялась, что однажды провалится в одно из этих белых пятен и уже не вернется.

Сьюзен Лоуэнстайн говорила, а я следил за ее неуловимой мимикой. Черты ее лица становились мягче; эту трансформацию производила страстная любовь к профессии. Я уже несколько раз видел в ней этот профессиональный пыл. Отстраненная внимательность отступала, Сьюзен совершенно искренне входила в роль свидетельницы, оказавшейся среди раненых, истерзанных душ. Ее голос зазвучал оживленнее, когда она стала описывать свои сеансы с Саванной. В те первые месяцы моя сестра рассказывала о своей жизни, юности, творчестве. Но истории то и дело прерывались и начинали размываться, когда Саванна добиралась до очередного белого пятна. Подавленность снова и снова загоняла Саванну в тупик. Некий бдительный цензор в подсознании сестры всегда был начеку, полностью отгораживая ее от подростковых лет. Когда же она обращалась к детству, то могла вспомнить лишь разрозненные фрагменты, и все они были пронизаны неясным ощущением ужаса. Бывали периоды, когда любая мелочь, будь то птица, кружащая над болотом, запуск двигателя на отцовской лодке или голос матери, готовящей на кухне, вдруг погружала

Саванну во тьму, в пространство без времени, в чужую жизнь. Так продолжалось два года, и тогда она приучила себя сосредоточиваться только на нью-йоркской жизни. За три месяца, буквально на одном дыхании, Саванна написала цикл стихотворений «Познавая Манхэттен». То был недолгий промежуток, когда к ней вернулись прежние силы и столь ценимое ею ощущение языка, которому она, вновь почувствовав себя в центре мира, отправляла свои любовные песни и реквиемы.

Но когда сестра взялась за детскую повесть, ее отбросило назад, в невесомость безумия. История действительно приснилась ей в кошмаре. Пробудившись, Саванна безостановочно, восемь часов подряд, записывала увиденное, передавая все в точной последовательности. Работая, она вдруг поняла, что речь идет об одном из забытых эпизодов ее жизни. Однако недоставало деталей. Интуитивно Саванна ощущала: они сильнее и важнее тех, которые она включила в повествование. Появление трех злодеев особенно больно отозвалось у нее внутри, пробудило какие-то отголоски воспоминаний, которые зазвенели далеким колоколом церкви, подвергшейся осквернению. Саванна читала и перечитывала

повесть, словно утраченный и вновь найденный священный текст, содержащий явные намеки на загадки. Она продолжала всматриваться в строчки, убежденная, что создала некую притчу или набросок, имеющий далеко идущие последствия. В юности с ней что-то случилось, но к написанному она могла добавить лишь одну недостающую деталь — статую Пражского младенца, которую отец привез из Европы и которая стояла на столике возле входной двери. Саванна не знала, какую роль играет статуя, но чувствовала, что Пражский младенец как-то связан с описываемыми событиями. После самоубийства Ренаты статуя начала появляться в галлюцинациях, неизменно усугублявших страдания Саванны. Пражский младенец занял свое место среди хора внутренних голосов, черных собак и ангелов отрицания. Все эти существа распевали удручающую песнь, знакомую Саванне с детства. Они сетовали на ее никчемность, на разные лады твердили, что ей незачем жить, и призывали к смерти. Саванна стала видеть собак на стенах своей гостиной. Они висели на крюках, на каких обычно вешают мясные туши. Их тела корчились от боли. Псов было много — сотни; и все они требовали от нее покончить с жизнью. «Они ненастоящие,

они мне только кажутся», — убеждала себя Саванна, но ее голос терялся в демоническом вое изуродованных псов. Устав сражаться с ними, Саванна вскакивала и бежала в ванную. Но там, на рогульке для душа и на потолке, ее ждали истекающие кровью ангелы с перебитыми шеями. Они нежными тихими голосами звали Саванну отправиться с ними в благословенное место с длинными дорогами, коридорами вечного сна. Там правит долгая ночь безмолвия, там нет звуков. Там ангелы исцелятся от ран и одарят ее своей добротой. Они протягивали к Саванне руки и внушали, что она — одна из них. У них не было глаз, из их черных глазниц сочился гной. А над ангелами Саванна видела ножки линчеванного Пражского младенца. Его лицо превратилось в кровавую лепешку. Младенец разговаривал с ней голосом матери, призывая хранить молчание. Каждую ночь, пересчитывая лезвия, Саванна слышала удовлетворенное завывание собак и восторженные восклицания ангелов; ее незваные гости рассуждали о каких-то законах бури и толкали ее на самоубийство.

— До суицидальной попытки я наблюдала вашу сестру не более двух месяцев, — продолжала доктор Лоуэнстайн. — Я не вполне осознавала

реальность того факта, что ваша сестра может покончить с собой. Наши сеансы давали замечательные результаты. Я просто радовалась. Психиатру подобная безоглядность непозволительна. Нужно оставаться спокойным, отстраненным и не забывать, что ты — доктор, а не подружка. Но и Саванна была необычной пациенткой. Я впервые работала с поэтессой. Она завораживала меня словами и образами. Каюсь, Том, я допустила ошибку. Мне хотелось, чтобы обо мне знали как о психиатре, сумевшем вернуть поэтессу к творчеству. Я была ослеплена своей чудовищной самонадеянностью.

— Нет, доктор, это не самонадеянность, — возразил я, вонзая нож в спинку кролика. — Все это было для вас слишком необычным. Как и для меня сейчас.

— Что-то не совсем понимаю.

— Поделюсь с вами своими ощущениями. Менее двух месяцев назад приходит известие, что моя сестрица, живущая на благополучном острове Манхэттен, перерезала себе вены. Я мчусь в Нью-Йорк с целью сыграть свою ритуальную роль спасителя, эдакого Христа двадцатого века. Привычный для меня образ, в который я могу перевоплотиться во сне и наяву в каком угодно

состоянии. Эта роль создает у меня ощущение нужности. Заставляет чувствовать себя героем. Светловолосый брат скачет во весь опор на быстром коне, чтобы спасти свою прекрасную, талантливую и ненормальную сестру от последствий неудавшегося самоубийства.

— А если бы вы сразу узнали о планах Саванны исчезнуть из Нью-Йорка, перебраться в другой город и жить там под именем Ренаты Халперн? — поинтересовалась доктор Лоуэнстайн.

— Я бы хохотал до колик в заднице, — признался я.

— Не сомневаюсь. Вы и не делали тайны из своего презрительного отношения к психиатрии.

— Ах, доктор, я рос в счастливом городишке. Мы даже не слышали о существовании психиатров.

— Да, — иронически усмехнулась Сьюзен. — Невероятно счастливый городишко. Судя по вашим описаниям, весь Коллетон страдал коллективным психозом.

— Теперь он уже ничем не страдает… Кстати, вы так и не объяснили мне, почему Саванна не может рассказывать вам те же истории, что и я.

— Я пыталась, Том. Но вы либо не слушали меня, либо не верили. В памяти Саванны существуют обширные области подавления. Очень часто эти

провалы охватывают периоды в несколько лет. Между прочим, это Саванна подсказала мне вас расспросить. И вы как-то говорили об общности близнецов. Поначалу я не придала значения ее словам, считая вас частью ее проблем. Но вы заставили меня изменить мнение.

— Благодарю, Лоуэнстайн.

— В детстве и подростковом возрасте вы с Люком играли очень важную роль в жизни Саванны. Вы защищали ее от мира, и в особенности — от ее внутреннего мира. Хотя Саванна с самого начала была не такой, как все, братья создавали видимость ее нормальности. Вы оба провели ее через очень трудное взросление. Саванна довольно рано начала блокировать сознание. Она стала удалять из него травмирующие события. Я бы назвала это подавлением, но вам противна фрейдистская терминология. С ранних лет Саванна возложила на вас важную обязанность. Вы стали ее памятью, ее окном в минувшее. Когда Саванна выныривала из очередного темного периода, вы могли рассказать ей, что произошло, где она была и как себя вела.

— Но как тогда она стала поэтессой? — удивился я. — Ведь она писала о своем прошлом.

— Саванна обладает поэтическим гением. Ее

стихи рождаются из боли человеческой и женской.

— И как по-вашему, когда она передала мне функцию памяти?

— Кстати, она многое помнит из раннего детства. Гораздо больше, чем вы. Например, жестокость вашей матери, когда вы были совсем маленькими.

— Чепуха. Мать не отличалась совершенством, но и жестокой не была. Саванна путает мать и отца, — возразил я, медленно жуя кроличье мясо.

— Почему вы так решили?

— Потому что у меня те же родители, доктор, — огрызнулся я. — Перед вами непосредственный свидетель.

— С какого момента вы начали рассказывать мне семейную хронику? С вашего рождения в ночь, когда бушевала сильная буря. То есть с того, что никак не могли помнить. Вы просто повторили ваш семейный миф. Вы слышали его много раз и выучили наизусть, абсолютно в него поверив. Это вполне естественно, Том. А затем перескочили на целых шесть лет — к вашему первому школьному году в Атланте. Но что происходило в течение этих шести лет?

— Сосали материнское молоко, пачкали пелен-

ки, учились ходить, говорить. Росли. Делали то же, что и все малыши.

— А вот Саванна многое помнит из того времени.

— Чушь, Лоуэнстайн. Полнейшая и абсолютная чушь. Единственным моим впечатлением тех лет была луна, взошедшая «по приказу» нашей матери.

— Возможно. Но опытный специалист отыщет в этой груде мусора колечко правды.

— Доктор, умоляю, не надо использовать профессиональный язык. Иначе я уеду из Нью-Йорка с прежней ненавистью к психиатрии.

— Том, я прекрасно знаю о вашей неприязни, — сухо отозвалась Сьюзен. — У меня не осталось ни малейших сомнений в искренности ваших слов, только они меня ничуть не задевают. Мне даже начинает нравиться ваша очаровательная глупость по части психиатрии.

— Давайте обсудим это не здесь и не сейчас, — поморщился я. — Мы находимся в прекрасном месте. Мне всегда хотелось побывать в «Lutece». Я читал об этом ресторане. «Нью-Йорк таймс» называет его гастрономическим раем. Люблю сидеть в гастрономическом раю и стонать от наслаждения. Такого потрясающего вина я еще

не пробовал. А какая удивительная обстановка. Скромная элегантность. Конечно, в силу своего провинциального происхождения и воспитания я бы предпочел подчеркнутую элегантность, поскольку социально еще не дорос до понимания скромной элегантности. Но в целом здесь прекрасно. Когда человек ест в «Lutece» в первый и единственный раз в жизни, ему хочется рассуждать об искусстве, поэзии, изысканной кухне. Возможно, немного о философии. Но все очарование блекнет, когда вы начинаете описывать ангелов, которых видела Саванна, и гной, вытекавший у них из глазниц. Вам понятен ход моих мыслей? Здесь гастрономический рай, у меня по-прежнему болит нос, и к тому же мне требуется время, чтобы переварить не только пищу, но и события сегодняшнего дня. Каких-то три часа назад я считал сестру обыкновенной чокнутой. Поймите, Лоуэнстайн, мне очень… очень тяжело принять все новости. Взгляните моими глазами. Представьте: вы знакомите меня с моей сестрой, которую я знаю вот уже тридцать шесть лет и считаю, что знаю достаточно хорошо. Но нет, Томми, у нас для тебя припасено известие. Это вовсе не твоя сестра, Том, а Рената Халперн. Подожди, Том, тупоголовый южный чурбан, сюрпризы еще

не кончились. Эта женщина, которую ты считал своей сестрой, собирается уехать далеко отсюда, и ты до конца своих дней ее не увидишь. И когда я позволил себе немного разозлиться из-за того, что меня столько времени дурачили, высокопрофессиональная госпожа психиатр швырнула в меня тяжеленным словарем, который едва не сломал мне нос и лишил целой пинты крови. Это пиршество — акт вашего покаяния за пролитие моей драгоценной крови. Теперь я желаю сменить тему. Давайте поговорим о недавних фильмах или книжных новинках.

— Например, о детской повести Саванны, — предложила Сьюзен.

— Ага! Розеттский камень[160] моей сестры. Саванна попыталась написать о злодействе, но не смогла. Она сварганила миленькое повествование для детишек и тем самым предала себя и свой дар.

— Но это всего-навсего художественное произведение, Том, а не документальный отчет. И фантазия автора вполне допустима.

---

[160] Примечания: 160

Гранитная плита, найденная в 1799 г. в городке Розетта (Рашид) близ Александрии. Наличие одинаковых по содержанию надписей на древнеегипетском и древнегреческом языках дало ключ к расшифровке египетской письменности.

— Нет, недопустима. Это нельзя было создавать как литературную выдумку. Такое надо подавать как холодные беспощадные факты. Саванна вполне могла преподнести это так, что весь мир бы всколыхнулся. Те события не заслуживают приукрашивания и превращения в сказочку. Они для взрослых людей, которые способны встать на колени, дрожа от ярости и сострадания. Саванна погрешила против истины. Превращать все это в занимательное чтиво со счастливым концом — преступление с ее стороны. После таких историй люди должны плакать. Завтра я все вам расскажу. Без болтливых пауков, благородных собак, косноязычных телок, грозных быков и прочего литературного дерьма.

— Том, художник не обязан рубить правду-матку.

— В данном случае нужно либо молчать, либо рубить правду-матку.

— Вы меня поняли, надеюсь. Творческий человек видит реальность по-своему.

— И лжет тоже по-своему. Уверяю вас, завтра вы убедитесь, что Саванна соврала.

— Возможно, у Саванны не получилось воплотить задуманное.

— И опять чушь, мой дорогой доктор. Я был

уверен, что рано или поздно Саванна об этом напишет. Моя мать всегда этого опасалась. Наверное, и сейчас боится. Мы никогда не говорили об этом вслух. С того самого дня, когда все произошло. Начав читать повесть, я подумал: наконец-то. А потом… потом я понял, что Саванне не хватило мужества. Даже знаю, с какого места начался обман. Когда у детей проявился магический дар. Мы таким даром не обладали. Нас никакое волшебство не защитило.

— Том, ваша сестра рассказала достаточно, раз это произведение толкнуло ее на самоубийство.

— Согласен, — кивнул я. — Вы можете передать ей мои слова? Если она решит стать Ренатой Халперн, я навещу ее в Сан-Франциско, Гонконге или любом другом месте, где она поселится, и никто не будет в курсе, что я — ее брат. Я ничем себя не выдам. Всего лишь приятель с Юга, с которым она познакомилась на поэтическом вечере или на открытии какой-нибудь выставки. Для меня самое скверное, если она бесследно исчезнет. Я этого не вынесу. Саванна поймет меня лучше, чем кто-либо. Хочу, чтобы она жила и была счастлива. Я могу любить ее, даже когда мы не видимся. Что бы она ни делала, я люблю ее.

— Я передам ей. И обещаю, если вы и дальше

будете мне помогать, я вытащу вашу сестру из пропасти. Она тоже трудится над своим спасением. Трудится упорно.

Сьюзен Лоуэнстайн взяла мою руку в свои ладони, поднесла к губам и слегка укусила. Пожалуй, это было самым ярким впечатлением от моего похода в «Lutece».

Глава 21



В тот же вечер я позвонил матери в Чарлстон; мне понадобилось всего лишь два глотка бурбона. Я набрал замысловатую комбинацию цифр, после чего материнский голос зазвучал в настоящем, а я, потеряв самообладание, понесся назад, в прошлое. Матери понадобилось всего лишь две минуты, чтобы собраться с мыслями и заняться своим обычным и весьма серьезным делом — разрушением моей жизни.

До этой беседы я коротал остаток дня, читая сборник о разных психопатах, любезно одолженный Сьюзен Лоуэнстайн. Истории были одна печальнее другой: все эти люди вдоволь настрадались и намучились в детстве, отчего потом стали возводить крепостные сооружения, пытаясь защититься от невыносимых вторжений в свою жизнь. Книга показалась мне ярмаркой

галлюцинаций и душевной боли. Все, о ком шла речь, имели сомнительное счастье родиться в жутких семьях, «теплые» объятия которых ощутили на себе с ранних лет. Сам текст и комментарии психиатров утомляли непрестанным восхвалением своей профессии. Бедолагам-пациентам повезло попасть в руки чудо-докторов, которые заштопали их искалеченные души и превратили в стандартных граждан, способных без вреда для себя выращивать бермудскую траву на лужайках. Сборник был сплошным триумфом психиатров, настоящей оргией этой касты, чуть ли не в каждом абзаце восклицавшей: «Вот мы какие!» Настроение у меня стало портиться. Однако я понял, ради чего Сьюзен Лоуэнстайн подсунула мне эту книжонку. Каким бы шокирующим ни казалось мне состояние Саванны, всегда есть повод надеяться на лучшее. Если сестре повезет, если Лоуэнстайн окажется на высоте и на столе наконец-то появится весь набор карт, возможно, Саванне и удастся выкарабкаться из пропасти и уйти от демонов прошлого.

Пока шло соединение, я успел сделать еще один глоток бурбона. В трубке раздался длинный гудок. В далеком Чарлстоне зазвонил телефон.

— Алло, — послышался голос матери.

— Привет, мам. Это Том.

— Ой, Том, дорогой. Как там Саванна?

— Она у нас молодец. Уверен, все будет в полном порядке.

— Я тут читала об удивительных открытиях в области лечения душевных болезней. Я пришлю тебе вырезки. Обязательно покажи их психиатру.

— Хорошо, мама.

— И пусть она читает их в твоем присутствии. Внимательно, а не пробегая по строчкам. Я могу поговорить с Саванной?

— Думаю, в скором времени сможешь. Когда именно — это зависит не от меня.

— Том, почему ты застрял в Нью-Йорке? Так и лето пролетит. Мне уже начинает казаться, что ты просто избегаешь жены и детей.

— В общем-то, ты права. Есть такой момент. Но я скоро приеду… Мам, я беспокою тебя по другой причине. Я собираюсь рассказать психиатру о том дне на острове.

— В тот день ничего не случилось, — твердым спокойным голосом отчеканила мать. — Том, ты ведь давал обещание. Надеюсь, ты останешься ему верен.

— Это была дурацкая идея, мама. Те события

будоражат Саванну. Если я о них расскажу, это поможет и ей, и ее психиатру. Я не собираюсь молоть языком направо и налево. И потом, это же дела давно минувших дней.

— Я не хочу, чтобы ты даже заикался о них.

— Мам, я догадывался, какие слова от тебя услышу. И не должен был звонить. Я мог бы просто ввести доктора Лоуэнстайн в курс дела, и этим бы все кончилось. Но я думал, что, если мы наконец вытащим эту историю на поверхность, нам всем станет легче. В том числе и тебе.

— Нет! — закричала в трубку мать. — Ты не посмеешь! Те события почти разрушили жизнь каждого из нас.

— Разрушили, но лишь часть жизни. Я существую под гнетом своего обещания. Я не мог открыться даже жене. Люк молчал. Саванна — та вообще забыла. Но воспоминания все равно сидят у нас глубоко внутри. Жуткие, отвратительные. Настало время вырвать их из себя.

— Я запрещаю тебе это делать.

— Мама, ты меня не переубедишь.

Воцарилась тишина. Мать собирала силы для атаки. Когда ее голос зазвучал снова, я услышал в нем знакомые угрожающие нотки и весь сжался, приготовившись обороняться.

— Том, тогда и я поделюсь с тобой новостью. Противно, что именно мне приходится говорить сыну такие вещи, но и скрывать я не могу… Салли завела весьма предосудительные отношения с врачом из больницы. Весь Чарлстон об этом судачит.

— А мне кажется, тебе очень нравится, что именно ты мне об этом сообщаешь. Спасибо, мамочка, за приятную и пикантную подробность. Но Салли мне уже рассказала. Тебя, наверное, интересует, как я к этому отношусь? Видишь ли, мы с Салли — современная пара. Любим горячие ванны, китайскую еду, иностранные фильмы и секс на стороне. И потом, мама, это личное дело Салли. Тебя оно не касается.

— Возможно. Но то, что ты хочешь выставить на всеобщее обозрение, меня касается. Пойми, Том, если все всплывет, Саванна рано или поздно напишет об этом.

— Вот что тебя волнует!

— Нет, — возразила мать. — Меня волнует, что откроются новые ужасные раны. Я забыла обо всем. Я вообще не думаю о прошлом. И ты обещал никогда не вспоминать о том дне.

— Мой рассказ никому не повредит.

— Еще как повредит. Я могу потерять все, что

у меня есть. Я могу потерять мужа, если он вдруг узнает. На твоем месте, Том, я бы постыдилась говорить о подобных вещах. Ведь тебе придется упомянуть и о том, что было тогда с тобой.

— Обязательно… Рад, что мы поняли друг друга. А теперь ответь, как там девочки? Ты их давно видела?

— С ними все в порядке, если такое определение подходит трем милым созданиям, брошенным обоими родителями. Хочешь, я встречусь с Салли и намекну, до чего мне противно ее поведение?

— Ради бога, не надо. Это самое скверное, что ты можешь сделать. Пусть события развиваются естественным путем. В последние два года я отнюдь не был заботливым и любящим мужем.

— Ты точная копия своего отца.

— В переводе на обычный язык — никчемное дерьмо. И все же я буду тебе очень признателен, если ты не станешь заводить с Салли никаких бесед.

— Мы могли бы заключить с тобой сделку, — предложила мать. — Если ты будешь молчать там, я ничего не скажу здесь.

— Мама, я это делаю ради Саванны. Конечно, ты мне не веришь. Ты считаешь, что я просто хочу в очередной раз досадить тебе, но это не так.

— Мои дети настолько часто делали мне больно, что их нежности и любезности всегда подозрительны. Постоянно думаешь: что еще они затеяли? Как еще они решили меня предать? Если бы я знала, в кого вы все превратитесь, я бы задушила вас прямо в колыбели.

— Учитывая наше детство, пожалуй, это было бы актом милосердия, — заявил я.

У меня кровь стучала в висках. Я пытался сдерживать свой язык и, как всегда, не мог.

— Мам, давай остановимся, пока мы действительно не начали проливать кровь. Я позвонил только потому, что посчитал нужным поставить тебя в известность. Это произошло почти двадцать лет назад. Те события никоим образом не бросают на нас тень. Они случились по воле Бога.

— Скорее, по воле дьявола, — заметила мать. — И все же советую тебе жить так, словно этого вообще не было. И для Саванны так будет лучше, учитывая болезненное состояние ее ума.

— Откуда ты выкопала свою теорию? — кипятился я. — Откуда у тебя эта идея? По-твоему, стоит сделать вид, что чего-то никогда не было, и это что-то моментально потеряет власть над тобой?

— Это не теория, а обычный здравый смысл. На твоем месте, Том, я бы поменьше оглядывалась назад. Я бы смотрела в будущее. Я так и делаю. За эти два года, например, я ни разу не вспомнила о твоем отце.

— Но ты более тридцати лет была за ним замужем, — произнес я. — Он наверняка появляется в твоих кошмарных снах в облике графа Дракулы или иного злодея.

— Он мне ни разу не приснился, — сообщила мать. — Когда я прощаюсь с прошлым, то закрываю туда дверь и забываю, что это было в моей жизни.

— Мам, а как насчет Люка?

— Что? — насторожилась она.

— Ты когда-нибудь думаешь о Люке? — спросил я и тут же пожалел о неприкрытой безжалостности своих слов, но они уже вылетели и понеслись к Чарлстону.

— Жестокий ты человек, Том, — дрогнувшим голосом сказала мать и тихо положила трубку.

Я подумал, не позвонить ли ей еще раз, но между нами пульсировало слишком много событий, которые мы оба так и не переварили. Возрождение материнской доброжелательности представлялось мне весьма тяжелым делом, тре-

бующим деликатности и такта. Такие разговоры не для телефона. Дружеские отношения между мной и матерью были давно утрачены. Я уже не помню, когда просто слушал ее слова, не пытаясь истолковать каждое из них как хитрый стратегический ход, имеющий целью застать меня врасплох и атаковать. В моей ненависти к матери таилось какое-то скованное уважение и восхищение. Не понимая мать, я на всех женщин мира смотрел как на чуждых и враждебных существ. Не сумев оценить ее порывистой и вероломной любви ко мне, я не смог принять чувств ни одной женщины, не испытав при этом глубокого ужаса. Красоту и нежность приходящей ко мне любви я всегда воспринимал как отвлекающие уловки.

Я набрал другой чарлстонский номер. Телефон прозвонил четыре раза, прежде там взяли трубку.

— Привет, Салли, — начал я. — Это Том.

— Здравствуй, Том, — сестринским тоном отозвалась жена. — А мы сегодня получили твое письмо. Девчонки сразу же уселись на кухне сочинять тебе ответ.

— Замечательно. Салли, мать угрожала с тобой побеседовать, выказать недовольство твоим безнравственным поведением. Каким-то образом ей

стало известно про тебя и твоего кардиолога.

— Боже, только этого мне не хватало. Том, я надеюсь, не ты ей сказал?

— Разумеется, не я.

— Но ты ее успокоил, что все это злобные сплетни и ты уверен в безупречности своей жены?

— Нет. Как-то в голову не пришло. Я просто держал себя так, будто мы с тобой — парочка стареющих свингеров, для которых вполне нормально потрахаться с кем-то на стороне. Я сообщил матери, что в курсе происходящего.

— И как она отреагировала?

— Впала в легкий экстаз. Ее сын скатился до уровня ухмыляющегося рогоносца. Потом стала грозить, что позвонит тебе и устроит моральное судилище. Вот я и решил тебя предупредить. Мать уверяет, что весь Чарлстон знает о вашем романе.

Салли молчала.

— Ты пришла к какому-нибудь решению? — поинтересовался я, утопая головой в мягкой спинке любимого кресла сестры. — Относительно нас. Относительно себя. Относительно его. Относительно всего этого долбаного общественного мнения.

— Том, прекрати.

— Он хоть свою жену поставил перед фактом? — спросил я. — Вас ждет великий момент, когда он откроет глаза своей жене.

— Джек собирается это сделать на будущей неделе.

— Тогда мне пора возвращаться.

— Боюсь, это будет не слишком удобно.

— Почему же? Ты выедешь из дома, и вы поселитесь в отеле «Фрэнсис Марион»… Салли, я не хочу, чтобы ты куда-то уходила. Оставайся моей женой. Я намерен волочиться за тобой, заниматься с тобой сексом на пляже, на кухонном столе, на крыше машины, прямо на мосту через Купер. Я станцую для тебя чечетку, покрою все твое тело взбитыми сливками и буду медленно их слизывать. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Обещаю. Я здесь много думал. Обо всем. И понял, что люблю тебя и не собираюсь уступать тебя без борьбы.

— Я не знаю, Том.

— Чего ты не знаешь? — заорал я в трубку.

— Том, все это звучит удивительно. Но мне хочется, чтобы это прозвучало без… интеллектуальной подоплеки и юмора. Твои фразы о любви… в них всегда ощущается оттенок шутки.

— Неправда, Салли. Я тебе говорил, что по ночам люблю тебя с великой робостью и смущением.

— Не начинай, Том. Джек тоже признается мне в любви. Но у него нет ни робости, ни смущения. Он делает это просто, искренне и ласково.

— Такие темы трудно обсуждать по телефону. Поцелуй за меня наших девочек.

— Завтра позвони пораньше. Они будут рады поболтать с тобой.

— Я позвоню. Береги себя, Салли. Подумай о том, что я сказал. Как следует подумай.

— Я редко думаю о чем-то другом, Том.

— До свидания, Салли.

Повесив трубку, я произнес:

— Я люблю тебя, Салли.

Я сказал это просто, искренне и ласково, сидя в темной пустой комнате; в моих словах не было ни оттенка шутки, ни интеллектуальной подоплеки.

Глава 22



Когда мы одевались, готовясь отправиться на выпускной вечер, мать преподнесла нам с Люком по объемистому пакету, а Саванне — небольшую, нарядно упакованную коробочку.

— Будь я богатой, сегодня на лужайке перед домом стояли бы три новеньких «кадиллака» и я бы вручила каждому из вас по ключу.

В ее голосе звучали несбывшиеся мечты и чувствовались близкие слезы.

— Кстати, насчет богатства. У меня тут возникла блестящая идея… — начал было отец, но взгляд матери заставил его умолкнуть.

Саванна первой развернула подарок. В коробочке лежала перьевая авторучка с позолоченным корпусом.

— Ею ты напишешь свою первую книгу. Там, в Нью-Йорке, — заявила ей мать.

— Спасибо, мамочка! Какая потрясающая вещь! — восторженно воскликнула Саванна, порывисто обняв мать.

— Конечно, это было дороговато, но я купила ее на распродаже. Я подумала, что хорошей ручкой легче писать хорошие стихи.

— У меня все получится. Обещаю тебе, мама.

— Не забудь о своем большом папочке, — добавил отец. — По-настоящему великое произведение требует крупной темы. Вроде меня.

— Глупости ты мелешь, Генри, — вздохнула мать.

— Я сочиню множество стихов обо всех вас, — пообещала улыбающаяся Саванна.

— Мальчишки, открывайте ваши подарки, — скомандовала мать.

Мы послушно начали разворачивать пакеты. Я управился быстрее и достал… темно-синюю форменную футболку, изготовленную матерью. Люк вынул точно такую же, но большего размера. Мы примерили обновки и убедились, что они сидят великолепно. Несколько недель подряд, пока мы были в школе, мать шила эти футболки за швейной машинкой. Я отправился в родительскую спальню, где было большое зеркало. Впервые в жизни мне понравилось собственное отражение.

Мать вошла неслышно, словно облако, и встала позади меня. В тот момент в ней было что-то нереальное.

— Помнишь, однажды я тебе сказала, что ты навсегда запомнишь свою первую форменную футболку? — шепотом спросила она.

— Как я выгляжу?

— Будь я вдвое моложе, я бы стала к тебе клеиться, — призналась мать.

— Мама, не говори таких неприличных вещей, — оторопел я, заливаясь краской.

— Но это правда. Ты смотришься гораздо привлекательнее, чем твой отец в свои лучшие дни.

— Я все слышал, — крикнул из гостиной отец. — И это — наглая ложь.

Выпускная церемония проходила в спортивном зале школы. Под звуки «Выпускного марша»[161] мы вплывали парами через парадные двери. Приветствие от имени выпускников произносила моя сестра. Когда объявили ее имя, мать, дед и бабушка поднялись со своих мест и стоя при-

---

[161] Примечания: 161

В США так называют среднюю часть (трио) марша № 1, написанного в 1901 г. английским композитором Эдвардом Элгаром и открывшего его цикл «Торжественных и церемониальных маршей». По традиции «Выпускной марш» исполняется на выпускных церемониях в средних школах.

ветствовали Саванну, пока она шла к подиуму. Отец уже находился там, собираясь заснять для потомков исторический момент. Выступление Саванна начала так:

— Мы росли под музыку рек, безыскусную и бескорыстную. Мы проводили свое детство в волшебных красотах самого прекрасного из городов прибрежных низин Каролины.

Яркая впечатляющая речь Саванны была насыщена образами, знакомыми каждому из нас. По сути, то было ее первым поэтическим чтением на публике. Сестра наслаждалась словами, любовалась ими, как павлин любуется своим разноцветным хвостом, и не стеснялась выставлять это напоказ. Саванна обладала несомненной гениальностью по части написания подобных текстов. Она за всех нас прощалась с миром, который мы оставляли за спиной, и делала это в присущей ей необычной запоминающейся манере.

Затем школьный инспектор Морган Рэндел вручил каждому из нас аттестат и пожелал успехов во взрослой жизни. В зале было жарко; потеющие зрители награждали нас скромными аплодисментами. Когда за своим аттестатом поднялся Бенджи Вашингтон, по верхним рядам

пронесся шепот. Выпускники же встали и устроили ему овацию. Мы хлопали Бенджи, пока он принимал аттестат из рук мистера Рэндела, и потом, когда он все с тем же достоинством одиночки пересекал подиум и возвращался на свое место. Такая реакция удивила и смутила чернокожего парня. Я взглянул туда, где сидели его родители. Мать Бенджи уткнулась в плечо мужа, искренне радуясь, что суровое испытание для ее сына, зовущееся интегрированным обучением, теперь позади. «А ведь это история, — думал я, вместе с другими приветствуя Бенджи. — Это перемены в жизни Юга, это мужество, какое я едва ли когда-нибудь увижу. Вряд ли во мне снова вспыхнет это яркое пламя преклонения перед идеалом…» Когда Бенджи приблизился к своему месту, наши аплодисменты стали еще громче. Сколько таких бенджи вашингтонов получают сегодня аттестаты в школах американского Юга? Сколько их, черных сынов и дочерей, созданных «по образу и подобию», испытывали свои силы во враждебной среде белых парней и девчонок, которых с детства учили любить Иисуса и всем сердцем ненавидеть ниггеров?

Церемония окончилась. Под музыку мы покинули душный зал и вышли в зной июньского

вечера. Я был насквозь мокрым; вопреки всем уговорам, я надел под церемониальную мантию свою новенькую форменную футболку.

Полночь. Торжества выпускного вечера позади. Мы втроем сидим на деревянном мосту, связывающем наш остров с континентальной частью Соединенных Штатов. В волнах дрожит бледный диск луны. Над нашими головами куда-то движутся звезды и созвездия, попутно отражаясь в зеркале воды. По обеим сторонам болотные берега с растительным сладострастием вбирают в себя прилив. В воздухе разлито древнее благоухание природного вожделения и обновления. Людям, попавшим сюда из других мест, запах низинных болот кажется отвратительным, но для тех, кто здесь родился, он подобен благовониям. Наши ноздри раздуваются, вдыхая запах родины — терпкий и резкий. Невысокие пальмы обрамляют многочисленные полуострова. Рукава рек дробятся на мелкие протоки — совсем как кровеносные сосуды. Почти на самой поверхности воды, словно диковинная птица из кошмарного сна, плавает электрический скат. С острова подул ветер, принеся с собой ароматы шалфея, жимолости и жасмина. На какое-то время островные запахи забивают болотные, затем слабеют. Нос

пощипывает, словно в воздухе разлит уксус, но в следующее мгновение он улавливает пряный дурман гвоздичного дерева.

Саванна сидит посередине, красивая и хрупкая. Одной рукой я обнимаю ее за плечи, а другой едва дотягиваюсь до могучей шеи Люка. В руках у брата — бурбон «Дикая индюшка». Он делает глоток и передает бутылку нам. Напиток этот стоит недешево, но Люк потратился, поскольку название напомнило ему, как зимой, по утрам, он охотился на диких индюшек.

— Вот и все, — вздохнула Саванна. — Что все это значило?

— Что нужно было просто перетерпеть и дождаться конца, — подхватил Люк.

— Не так уж было и плохо, — возразил я, поддавшись расслабляющему действию алкоголя. — Могу поспорить, потом мы будем вспоминать это время как лучшее в жизни.

— Этот ужас? — удивилась Саванна.

— Сестричка, не начинай. Взгляни на светлую сторону. Тебя всегда циклит на мрачностях. — Я передал Саванне бутылку. — Вокруг голубые небеса, а ты начинаешь кричать об урагане.

— Я реалистка, — заявила Саванна, пихнув меня локтем в живот. — А ты жалкий романти-

ческий тупица. По-моему, из всех, кого я знаю, только тебе нравилось учиться.

— И это делает меня мерзким человеком в глазах моей сестры?

— Я всегда буду относиться с недоверием к тем, кто любил школу, — продолжала Саванна, игнорируя мой вопрос. — Даже к тем, кто просто терпел школу. А уж если я почувствую, что кто-то играл в футбольной команде старшеклассников, то с таким человеком и говорить не стану.

— Я играл в футбольной команде старшеклассников, — напомнил я, задетый безапелляционными утверждениями сестры.

— Беру свои слова обратно, — засмеялась Саванна, запрокинув голову.

— Не понимаю твоей ненависти к школе. Ты же хорошо успевала. Возглавляла группу поддержки. И прощальную речь произносила. Ты была секретарем класса, а когда голосовали за самый лучший характер, набрала большинство голосов.

— Лучший характер! — крикнула Саванна, размахивая бутылкой. — Но каких усилий стоило мне это звание. Особенно если учесть, что людей с характером у нас можно было пересчитать по пальцам, как и настоящих личностей.

— У меня великолепный характер, — заметил

я. — И я личность.

— У тебя великолепные передачи на поле. Но мир ты явно своей личностью не освещаешь.

— Да, Том, — подыграл сестре Люк. — Не дорос ты до того, чтобы называться полноценным дерьмом.

— Послушай, Саванна, что это за громадина торчит слева от тебя? — поинтересовался я, сдавливая шею Люка. — Для человека он слишком большой, для гиппопотама — слишком молчаливый. А теперь посмей сказать, что мои слова не обладают глубоким смыслом. Или ты еще сомневаешься, что твой брат — личность мирового уровня?

— Я бы не прочь быть гиппопотамом, — улыбнулся Люк. — Сидишь себе на речном дне и иногда покачиваешь задом.

— Том, почему бы тебе не пойти в колледж? — уже всерьез спросила Саванна. — Там и узнаешь, какая голова у тебя на плечах и кто ты есть на самом деле.

— Я — Том Винго, родившийся и выросший на Юге. Обычный парень, который намеревается прожить обычную жизнь. Я женюсь на обычной женщине, и у нас будут обычные дети. И это невзирая на мое рождение в семье редкостных

идиотов и наличие брата, желающего стать гиппопотамом.

— Ты настолько зауряден, что готов жениться на первой подвернувшейся девице с большими сиськами, — обвинила меня Саванна.

— По мне, так это нормально, — поддержал меня Люк, глотнув очередную порцию бурбона.

— А как насчет тебя, Люк? — продолжала Саванна. — Что ты решил для себя?

— О чем?

— Обо всем, братец. Сегодня — канун нашей взрослости. Нам нужно думать о будущем, строить планы и намечать судьбу.

— Я собираюсь ловить креветок, как наш отец, — сообщил Люк. — В конце лета он обещал взять в банке кредит и помочь мне с покупкой лодки.

— Кредит? При его-то репутации? — удивился я. — Да ему даже на сеть денег не дадут. Даже на багор.

— Отец это знает. Он собирается сначала расплатиться с долгами, а потом будет просить кредит.

— Люк, ты ведь способен на большее, — укорила Саванна. — На глобальное. Но ты слушал чужие мнения и верил им.

— В самом деле, Люк, почему бы тебе не связаться с тренерами Клемсона или Каролины[162] и сказать, что ты решил войти в их состав? Да эти ребята просто писались бы от радости, если бы ты играл за них.

— Вы же в курсе, что мне не сдать вступительные экзамены даже в колледж, — вздохнул Люк. — А без ваших подсказок я бы и выпускные провалил. Сунуться в колледж и услышать: «Ты туп, парень»? Это я понимаю и без них.

— Нет, Люк, ты совсем не туп, — решительно возразила Саванна. — Тебя пичкали этим враньем, а ты его послушно глотал.

— Сестренка, я ценю твою поддержку. Но давай смотреть правде в лицо. Бог наделил меня мышцами и забыл добавить к ним мозгов. По успеваемости я был предпоследним, обходил лишь Вирина Гранта.

— В конце учебного года я помогала мистеру Лопатке проставлять оценки в наших аттестатах. Как-то он ушел обедать, а я сунулась в бумаги и выяснила ай-кью каждого из нас.

— Не обманывай, — возмутился я. — Это же строго секретные данные.

---

[162] Примечания: 162
Университеты штатов Южная и Северная Каролина.

— Лопатка сам виноват: не запер шкаф. Я все видела. Очень интересные цифры. Люк, ты знаешь, что твой уровень интеллекта выше, чем у Тома?

— Что? — Я почувствовал себя изрядно оскорбленным.

Люк издал боевой индейский клич, вспугнув болотную курочку.

— Дай Тому глотнуть из бутылки, а то совсем испортишь парню выпускную ночь, — велел он Саванне.

— Почему это испорчу? Все знают, что ай-кью ровным счетом ничего не значит.

— И какой же показатель у тебя, хитрая сестренка? — осведомился я.

— Сто сорок, что ставит меня на одну доску с гениями. Думаю, это не обидит моего любимого братика?

— А мой каков? — уточнил Люк.

Мне было невыносимо слышать его торжествующий голос.

— У тебя, Люк, — сто девятнадцать. У Тома — сто пятнадцать.

— Я же твой брат-близнец! — закричал я. — Близнец, черт тебя побери. Я требую подробного отчета.

— Всегда считал Тома немного запаздывающим

в развитии, — заявил ухмыляющийся Люк.

— Поцелуй меня в задницу, Люк, — зло огрызнулся я, расстроенный словами Саванны. — Я считал, что у близнецов одинаковый ай-кью.

— Нет, Том. Даже у однояйцовых близнецов такого не бывает, — пояснила Саванна, наслаждаясь своей эрудированностью. — Но ты и в самом деле вытащил короткую палочку.

— Только представь, Том: я сообразительнее тебя. За это надо выпить, — веселился Люк.

— Зато я куда лучше реализую свои возможности, — ответил я.

— Конечно, братишка. Ты используешь все до последнего пунктики своего скромненького ай-кью, — прыснул Люк, и они с Саванной повалились на мост, трясясь от смеха.

Я протянул руку за бутылкой.

— Можете гоготать. Я решил стать футбольным тренером, а для этого не обязательно иметь мозги мирового уровня.

— В этом деле можно вообще обойтись без мозгов, — подхватила Саванна. — Боже, Том, какая напрасная трата времени и сил.

— Это почему?

— Потому что я подговорю банду ассасинов и мы начнем истреблять всех тренеров мира.

Будем выискивать и мучить существ обоего пола старше двадцати одного года, которые щеголяют в потных футболках со свистками на шее.

— Можно поподробнее о мучениях? — спросил Люк.

— Во-первых, я заставлю их слушать классическую музыку. Затем они у меня целую неделю подряд будут заниматься балетом. Так, что бы еще придумать? Ага, заставлю их читать собрание сочинений Джейн Остин. И самой главной пыткой будет операция по смене пола. Без анестезии.

— Сколько жестокости, Саванна, — упрекнул я. — Ну и странные же мысли роятся в твоей умненькой головке.

— Если Том хочет, пусть будет тренером, — смилостивился Люк. — Почему нельзя быть тем, кем нравится?

— Потому что он способен на большее. — Саванна повернулась ко мне. — Но продается Югу по дешевке. Мне жаль тебя, Том. Ты, братец, — жертва «южной болезни», и в мире не существует вакцины для спасения твоей задницы.

— Зато ты, сестрица, станешь жуткой знаменитостью в этом чертовом Нью-Йорке.

— Я решила удивить Нью-Йорк, — без намека на шутку отозвалась Саванна.

— А мама до сих пор хочет, чтобы ты поступила в колледж имени Конверса[163], — заметил Люк. — На днях я слышал ее беседу с Толитой.

— Я лучше умру, чем соглашусь задержаться в Южной Каролине хотя бы на один день. А знаете, какие у нашей мамочки планы на мой счет? Она считает, что за время учебы я должна познакомиться с каким-нибудь врачом или юристом, выйти за него замуж, осесть в одном из здешних городишек и нарожать четверых или пятерых детей. Мальчикам уготована карьера врачей или юристов, а девочкам — замужество за врачами или юристами. Для меня даже ее мечты попахивают болотом. Но я не куплюсь на ее планы. Буду жить, как захочу. В Коллетоне тебе уже заранее определяют будущее и верят, что ты так и пойдешь, не особо отклоняясь от курса. Девчонкам — удачный брак. Парням — завидная карьера. И наша мама туда же. Я устала скрывать свою истинную сущность, прятать то, что у меня внутри. В Нью-Йорке не нужно бояться быть собой.

— А ты вообще чего опасаешься? — поинтере-

---

[163] Примечания: 163

Учебное заведение для обучения женщин свободным искусствам. Колледж, основанный в 1890 г., назван по имени одного из соучредителей, хлопкового промышленника Декстера Конверса, стремившегося дать своей дочери разностороннее образование. Расположен в городе Спартанберг (северная часть штата Южная Каролина).

совался Люк.

Над нами, тихо хлопая крыльями, пронеслась кваква.

— Если я останусь здесь, то кончу, как мистер Фрукт. Либо чокнусь, либо впаду в слабоумие. Буду клянчить еду в барах и ресторанах. Я мечтаю жить там, где на тебя не обращают внимания. Даже если ты на какое-то время и свихнешься, этого никто не заметит. А здесь я схожу с ума от одной лишь необходимости делать вид, что я такая, как все. Но я не такая. Я родилась на Юге, но ни одного дня не ощущала себя южанкой. Ребята, мне иногда действительно бывает страшно за себя. Я с детства сражаюсь со своим безумием. У меня с малолетства бывают видения. Я слышу голоса. По ночам меня мучают кошмарные сны. Я несколько раз пыталась говорить об этом матери. И что я слышала? «Прими две таблетки аспирина и не ешь сладкого на ночь». Каково выдерживать все это в одиночку?

— А почему ты нам не рассказывала? — удивился Люк.

— Но что бы вы сделали?

— Мы бы посоветовали тебе принять три таблетки аспирина и вообще не есть, — вставил я.

— Ребята, я ведь не шучу, — изменившимся го-

лосом произнесла Саванна. — Знаете, что я вижу прямо под нами? Сотни утонувших собак. И все они смотрят на меня.

Я опустил глаза и не нашел ничего, кроме воды и колышущейся лунной дорожки на ней.

— М-да. Наверное, тебе действительно надо уезжать в Нью-Йорк, — пробормотал я.

— Закрой пасть, Том, — потребовал Люк, покровительственно глядя на Саванну. — В реке нет никаких собак, дурочка ты моя маленькая. Это твой разум подстраивает тебе ловушки.

— А иногда я вижу Пражского младенца. Статую, что наш отец привез из Германии. У него из глазниц сочится гной. Он жестами зовет меня, чтобы я пошла за ним. Или наших родителей. Они голышом висят на мясных крюках и переругиваются. Или рычат, показывая зубы, и лают по-собачьи.

— Вот что значит иметь ай-кью сто сорок, — заключил я.

— Да заткнись ты, — уже настойчивее повторил Люк.

Мы все умолкли. Тишина была тягостной и угрюмой. Первым не выдержал я.

— Боже милосердный, какая жуть. Дай-ка мне бутылку, Люк. А тебе, Саванна, я рекомендую зал-

пом выпить половину того, что останется. Если бы меня так глючило, я бы просто не трезвел. С утра просыпаешься — и сразу глоток. И так целый день, пока не провалишься в сон.

— Том, может, тебе стать врачом? — сердито пробубнил Люк. — Впрочем, нет. Это тебе не с мячом бегать. Разве ты не понимаешь, что наша сестра в беде? Речь идет о серьезных вещах, а ты сидишь и отпускаешь шуточки. Тут не до смеха. Мы должны помочь Саванне.

— Вы мне ничем не поможете. Я давно сжилась со всем этим. Однажды я попросила маму свозить меня к психиатру в Чарлстон, но она узнала, что психиатр берет сорок долларов за час.

— Сорок долларов за час? — присвистнул я. — Да за такие деньги они бы мне еще колбаску подергали и коробку сигар подарили… А что? Денежная профессия. Может, мне и вправду стать психиатром? Работаю по десять часов в день, шесть дней в неделю. Помогаю людям, которым мерещатся их мамочки, висящие на мясных крюках. Это сколько выйдет за год? Боже милостивый! Без уплаты налогов сто двадцать тысяч! Я и не подозревал, что на чокнутых можно так разбогатеть.

— Ты перебрал, Том, — хмуро заметил Люк. —

Застегни свой рот на молнию, иначе будешь у меня трезветь в воде.

— Думаешь, у тебя получится сбросить меня в воду? — Я громко расхохотался, чувствуя прилив храбрости. — А ты в курсе, с кем сейчас говоришь? Со взрослым мужчиной. С большим взрослым мужчиной. С футболистом сборной колледжа. Это тебе не какой-нибудь придурок школьник с пушком на щеках.

Люк нежно ущипнул Саванну за щеку.

— Прошу меня извинить, моя маленькая, но я должен проучить своего младшего брата. Он забыл об уважении к старшим.

— Не трогай его, Люк. Том просто не умеет пить.

— Это я-то не умею пить? — заорал я, вновь прикладываясь к бутылке. — Да я переплюну любого в нашем округе. А ты, Люк, сядь и успокойся. Мне неловко давать тебе отпор на глазах у сестры.

Люк молча встал. Я тоже поднялся на нетвердых ногах, но пары бурбона уже окружили меня ореолом собственной непобедимости. Пошатываясь, я двинулся на Люка. Я попытайся ударить его головой в живот, однако у меня перед глазами почему-то мелькнул ковш Большой Медведицы. Люк схватил меня и швырнул в воду. Я барахтал-

ся, откашливаясь и отфыркиваясь. Эхо разносило над болотами смех Саванны.

— Беда с этими футболистами из колледжей, — сказал Люк, наблюдая, как я сражаюсь с приливом и плыву к мосту.

— Хочешь испортить мою новую футболку? Одумайся, Люк, иначе мы будем драться с тобой ежедневно.

— Нечего было наряжаться в нее по такой жаре, — ответил брат, подскакивая ко мне.

Мы с ним немного поборолись. Я несколько раз оказался под водой, прежде чем сдался и запросил пощады.

— Прыгай к нам, Саванна! — позвал Люк. — Оставь свои туфельки здесь. Никто их не возьмет. Поплывем к дому, как в детстве.

Я разделся до трусов, вручив мокрую одежду Саванне. Она сбросила легкое платьице, оставшись в лифчике и трусиках. В лунном свете сестра была похожа на статуэтку.

— Здесь как раз на три глотка, — Саванна подняла над головой бутылку. — Выпьем напоследок за наше будущее. Сначала за тебя, Том. Чего ты хочешь от жизни?

— Стать обыкновенным добропорядочным гражданином, — сообщил я, лежа на спине.

— Тогда за твою обыкновенность.

Саванна сделала глоток.

— Теперь ты, Люк.

— Я — ловец креветок. Стремлюсь быть устойчивым и надежным.

— За устойчивость и надежность.

— А о чем мечтает будущая жительница Нью-Йорка? — поинтересовался я. — Позволишь нам произнести тост?

— Вначале я сама. Я собираюсь писать стихи и выпускать свои дикие инстинкты. Буду ходить голой и участвовать в парадах на Пятой авеню. Я намерена вступать в интимные отношения с мужчинами, женщинами и животными. Я заведу попугая и научу его сквернословить. И, как наш папочка, буду все это снимать на пленку и отправлять вам для семейной хроники.

— Давай нам бутылку, сестренка.

Люк подгреб к мосту, взял почти опустевшую емкость и, держа ее одной рукой, направился ко мне.

— За твою дикость, Саванна, — провозгласил он и передал бутылку мне.

— За Саванну Винго! — проорал я. — За самую дикую и необузданную женщину, проезжавшую

когда-либо через туннель Холланд![164]

— До свидания, Коллетон! — крикнула Саванна, поворачиваясь лицом к Атлантическому океану. — До свидания, Юг. До свидания, футбол. До свидания, местные придурки. До свидания, мамочка и папочка. Здравствуй, «Большое яблоко»![165]

Пока я допивал остатки бурбона, Саванна бесшумно нырнула в воду.

Нежный прилив понес нас к дому.

То лето было моим лучшим летом на острове. Я медленно готовился к расставанию с островом Мелроуз. К собственному удивлению, я обнаружил, что не умею жить вне семьи. Я крайне редко ночевал в других домах, поскольку не слышал там знакомого храпа и сопения. По сути, я еще не был готов покинуть единственный знакомый мне уклад или, если быть точным, тот уклад, который на время детства и отрочества определила мне судьба. Взросление нельзя было остановить. Каждый день я понемногу прощался с остро-

---

[164] Примечания: 164

Автомобильный туннель под Гудзоном, соединивший Нью-Йорк и Джерси-Сити.

[165] Примечания: 165

«Большое яблоко» — утвердившееся в американской среде название Нью-Йорка.

вом, пронизанный ужасом грядущего отъезда. Я продумывал слова, которые будет выкрикивать сердце, исполненное бесхитростной и неизъяснимой любви к родным местам. Празднество света и горестей, продолжавшееся восемнадцать лет, подходило к концу. Мне было невыносимо это сознавать; я даже не мог поделиться с домашними своими ощущениями. Родительская семья — один из первичных компонентов жизни; он растворяется подобно соли в дождевой воде… И вот опять лето. Жара и тишина, словно два соперника, захватили берега рек и речек. В газете писали о рыжих лесных муравьях, сумевших переправиться через реку Саванна и устроить первые поселения на территории Южной Каролины. Вблизи острова Кайава Люк поймал своего первого тарпона, которого после часового сражения вытащил на поверхность. Большущая рыбина, будто лошадь, прыгала и танцевала в волнах. Когда же мы наконец затащили тарпона в лодку, Люк поцеловал добычу, а потом, переполненный восторгом и благодарностью за такой подарок моря, отпустил обратно. Саванна рисовала акварели и писала стихи, подражая Дилану Томасу. Дни тихо сменялись вечерами, когда в траве вспыхивали призрачные огоньки

светляков.

Я пытался собрать воедино осколки мудрости, которую постиг за свое островное детство, и упорядочить их наподобие архипелага, куда бы я мог при желании наведываться. Дни медленно таяли, и я считал их, как бусины на четках. Только каждая такая бусина не оставалась на нитке, а исчезала в прошлом. Я рано просыпался и видел, как отец в очередной раз отправляется на работу. А вечером, прежде чем лечь спать, я наблюдал за странствиями светляков. Мы все трое были внутренне напряжены и погружены в себя. В то лето мы относились друг к другу с какой-то особой нежностью.

В глазах нашей матери мы читали что-то, по-настоящему понятное лишь ей. Но мы догадывались: страх среднего возраста, потеря смысла жизни. Она привыкла быть матерью и не знала, как смотреть на мир иначе. Мы обрели свободу, а она утратила прежнюю значимость. Нам самим было тягостно думать о том, что вскоре ей предстоит существование вдвоем с отцом. Мать злилась на нас, воспринимая наше взросление как непростительное предательство. За все лето она ни разу не позволила нам ступить на борт отцовской лодки. По ее убеждению, последнее лето

нашего детства мы должны были сделать запоминающимся. Ей было всего тридцать семь лет; ее материнские обязанности подходили к концу, и она не могла себе представить, как останется в доме, где уже не будет раздаваться детский смех и плач. Понимая это, мы проводили с матерью почти все время. В рукавах и протоках кишмя кишели креветки; маленькие белые колоннады египетских цапель заполняли поля в центре острова. Все шло как обычно. Никто и не подозревал, что вскоре для нас четверых наступит ужасная перемена. Мы приближались к моменту, который жестоко перевернул привычное течение жизни.

Девятнадцатого июля матери исполнилось тридцать семь, и мы устроили ей праздник. Саванна сделала шоколадный торт, а мы с Люком сплавали в город и купили самый большой флакон «Шанель № 5», какой имелся в магазине Сары Постон. Миссис Постон уверяла нас, что этими духами пользуются лишь женщины très élégante[166]. Ее чары продавца были гораздо лучше ее французского. В итоге мы взяли «Шанель». Хозяйка магазина завернула нам коробочку в бумагу нежно-сиреневого цвета.

---

[166] Примечания: 166
Исключительно, в высший степени изысканные *(фр.).*

В торжественный вечер матери пришлось трижды дунуть, чтобы загасить все свечи. Мы поддразнивали ее, а она полушутя утверждала, что опасается за свои легкие и что в таком возрасте можно им сильно повредить. В золотистом свете свечей материнское лицо было необычайно красивым. Когда она улыбнулась мне, я почувствовал себя перенесенным в тайную пещеру ее особой любви ко мне. Мать поцеловала и обняла меня. Ее шея пахла «Шанель № 5». Мне хотелось кричать, кричать со всем неистовством и нежностью мальчишки, на которого возложена обязанность любить свою мать. Мне хотелось сказать ей, что я все понимаю и ничуть не сержусь ни на нее, ни на отца за свое детство и жизнь на острове. Но я молчал и только вдыхал сладковатый запах ее волос, перемешавшийся с ароматом духов.

В тот вечер нас всех неожиданно удивил Люк. Мы с Саванной говорили, что к концу августа покинем остров. И тут Люка прорвало. Как и мать, он отказывался признавать очевидное: наше детство кончилось безвозвратно, подобно отзвучавшей музыке, и теперь у каждого из нас своя жизнь. Люк вдруг заплакал. Его плечи вздрагивали; он усилием воли пытался подавить свою

печаль. В такие минуты отчетливее понимаешь меланхоличное одиночество королей или отчаяние израненных львов, изгнанных сородичами из прайда. Мне безумно хотелось обнять Люка, прижаться лицом к его лицу. Но я не мог. Это сделала Саванна. Она обвила брата руками и стала уверять, что по большому счету ничего не изменилось. Просто Люк принадлежит острову, а мы с Саванной всего лишь на нем родились и никогда не ощущали себя неотъемлемой частью острова Мелроуз. Конечно, то был миф, но он хотя бы поддерживал нас и питал наши радостные мечты о путешествии за пределы семейной тюрьмы.

— Это что за нюни? — спросил отец.

— Люку взгрустнулось. Ведь скоро мы с Томом уезжаем, — пояснила Саванна.

— Сын, не позорься, возьми себя в руки, — отрезал отец. — Ты же теперь настоящий ловец креветок. А ловцы креветок нюней не распускают.

— Помолчи, Генри, — вмешалась мать. — Не трогай мальчика.

— Ну и сентиментальная у меня семейка, — пробурчал отец, вновь почувствовав себя в изоляции. — Больше всего ненавижу семейные сопли.

Потом мы втроем пошли на причал, легли на спины и ощутили под собой все величие реки, которая торопилась встретиться с напором моря. Нам были видны все звезды, какие Бог открыл человеческому глазу в этой части мира. У меня над головой лениво тек Млечный Путь. Достаточно было приподнять руку, и половина звездной реки тут же исчезала. Прилив слабел, и из своих илистых пещер вылезли манящие крабы. Самцы дерзко и с умопомрачительной гармонией покачивали большими клешнями. В свете луны и звезд их клешни казались вырезанными из слоновой кости. Крабы подавали сигналы: все в мире идет так, как и должно быть. Они тысячами докладывали Господу, что прилив уменьшился, а созвездие Пегас светит с надлежащей яркостью. Далее шли сообщения о дельфинах, радующихся удачной охоте, и о луне, верной своим обещаниям. Это поведение крабов напоминало танец, церемонию утверждения незыблемости божественных законов. Подражая им, я тоже помахал воинственному Ориону, двигавшемуся неспешной походкой со всей своей боевой свитой. Его пояс находился в миллионах миль, но казался мне ближе, чем огни дома.

Третьего августа я опять спал на причале. Ме-

ня разбудил ветер, подувший с юго-востока. К полудню прилив достиг максимальной высоты, но направление ветра не позволило ему отступить. Началась титаническая битва водной и воздушной стихий. Ветер успел набедокурить в садах, пригнуть к земле фасоль на грядках. После обеда Люк позвал нас с Саванной на южный край острова. Брат намеревался удобрить землю под рощицей пекановых деревьев, которые вот уже два года не давали орехов. Мне вовсе не улыбалось выходить из дому в такую погоду, о чем я тут же сообщил Люку, добавив, что не стану огорчаться, если в ближайшие пятьдесят лет роща не даст ни одного орешка. Саванна тоже не пошла. Мы остались с матерью, а Люк зашагал по проселочной дороге. Путь его лежал через болото; ветер дул ему в спину.

Мы настроили приемник на одну из радиостанций соседнего штата Джорджия. Когда звучали наши любимые композиции, мы неуклюже подпевали. Вскоре поставили песенку, которая очень нравилась матери. Тут уж мы с Саванной продемонстрировали всю мощь своих голосов. Мы держали в руках невидимые микрофоны и представляли, что выступаем перед залом, полным восторженных поклонников. Когда мелодия

закончилась, мы наградили друг друга аплодисментами, поклонились воображаемым зрителям и щедро послали им воздушные поцелуи.

Музыку сменил выпуск новостей. Мы болтали между собой, слушая их вполуха. Местные новости чередовались с общенациональными… Губернатор Джорджии попросил у федерального правительства денег для предотвращения дальнейшего размыва пляжей на острове Тайби… Из тюрьмы города Рейдсвилл, что в центральной части штата, бежало трое заключенных. Все они — опасные преступники. Они убили охранника и завладели его оружием. Предположительно направляются во Флориду… Историческое общество Саванны выступило против строительства нового отеля в исторической части города… В кафе на Ривер-стрит арестован бармен за продажу спиртного несовершеннолетнему…

Мать была в хорошем настроении, ее смех заглушал голос диктора.

После выпуска раздались первые аккорды популярной песенки ансамбля «Ширелс»[167] Мать

[167] Примечания: 167

«The Shirelles» — вначале квартет, а затем трио певиц, исполнявших песни в ритме рок-н-ролла. Были особенно популярны в начале 1960-х гг., хотя их карьера продолжалась до начала 1980-х гг. и затем возобновилась в конце века.

даже застонала от радости и пустилась танцевать каролинский шэг[168] на пару с Саванной. Как и большинство школьных спортсменов своего поколения, я научился премудростям футбола гораздо раньше, чем премудростям танцев. Я с восторгом и стыдом следил за чувственными движениями сестры и матери. Застенчивость не позволяла мне попросить их научить меня танцевать. Я даже не мог представить, как буду держать мать или Саванну за руку. В их паре мать была ведущей. Она умело и властно вертела Саванну по всей гостиной.

Мы не знали, что за нашим домом следят. В счастливом неведении мать с Саванной кружились, а я подпевал «Ширеллс» и хлопал в такт музыке. Над рекой гремел гром, но наш наполненный звуками дом был вне стихии, дождь воспринимался как дополнительные барабаны. Очень скоро нам предстояло понять, что страх — это искусство черной магии и оно требует хорошего учителя. Скоро здесь прольется кровь, которой мы напишем свои имена на безучастных страницах книги времени. Наши хорошие

[168] Примечания: 168

Танец в умеренном ритме. Возник в конце 1930-х гг., в эпоху биг-бэндов. Особенность танца в том, что верхняя часть туловища остается практически неподвижной, зато ноги имеют полную свободу движений.

учителя были совсем рядом. Не ведали мы и того, что музыка так и будет сопровождать весь этот кошмар.

Во входную дверь постучали. Мы удивленно переглянулись. Обычно вначале мы слышали шум подъехавшей машины. Я пожал плечами и пошел открывать.

Я отпер дверь… и почувствовал возле виска холодную сталь револьверного дула. Человек, державший оружие, был без бороды, но я сразу же узнал его лицо. Я помнил жестокость и магнетизм этих водянистых глаз.

— Калланвольд, — произнес я и тут же услышал у себя за спиной крик матери.

Двое спутников Калланвольда ввалились в наш дом через заднюю дверь. В это время радио вновь передало сообщение о побеге троих вооруженных преступников из тюрьмы Рейдсвилла. Диктор повторил, что они, скорее всего, направились во Флориду, затем назвал их имена: Отис Миллер, которого мы в детстве прозвали Калланвольдом, Флойд Мерлин и Рэнди Томпсон. Я был парализован страхом, бессилием и трусостью и потому просто рухнул на колени и издал тихий стон.

— Я никогда не забывал тебя, Лила, — сказал великан. — Все годы в тюрьме я думал о тебе. И

вот это напоминало мне о тебе.

Он вытащил из кармана засаленные кусочки письма, которое мать написала деду из Атланты. Письма, так и не дошедшего до Коллетона.

Один из преступников, самый толстый, схватил Саванну за горло и потащил в нашу комнату. Сестра кричала и отбивалась, но он грубо держал ее за волосы, заставляя двигаться к двери.

— Пора позабавиться, — бросил он, подмигнув двоим головорезам, после чего с шумом захлопнул дверь.

— Эта женщина — моя, — объявил Калланвольд, пожирая мать глазами.

Он глядел на нее с похотью доисторического ящера, которая сразу же разлилась по всей комнате.

— Том, умоляю, помоги, — едва выговорила мать.

— Я не могу, мама, — прошептал я и сделал внезапный бросок к оружейной стойке в дальнем углу комнаты.

Калланвольд перехватил меня и швырнул на пол. Сам он подошел к матери, наставив револьвер ей в лицо. Он произнес слова, которые я не понял:

— Мальчишка твой, Рэнди. По-моему, в самом

твоем вкусе.

— Сырое мясо, — засмеялся Рэнди, приближаясь ко мне. — Нет ничего лучше свежего сырого мяса.

— Том, ты должен что-нибудь сделать, — простонала мать.

— Мама, я не могу.

Рэнди приставил к моей шее нож. Я закрыл глаза и только слышал, как Калланвольд втащил мать в родительскую спальню и бросил на кровать, где были зачаты мы с Саванной.

Рэнди разрезал мне рубашку на спине и велел снять пояс. Не зная, чего ему от меня нужно, я подчинился. Мои брюки упали на пол. Я вырос в провинциальном городишке Южной Каролины и даже не представлял, что парней тоже насилуют.

— Миленько, очень миленько. Как тебя зовут, красавчик?

Он притиснул лезвие ножа к моей шее. Из комнат доносились крики матери и Саванны. Дыхание Рэнди было кислым и каким-то металлическим. Я почувствовал его губы на своей шее. Он слюнявил меня, причмокивая, а его рука трогала мои яички и член.

— Скажи Рэнди свое имя, красавчик, пока я не

перерезал твое долбаное горлышко, — пригрозил Рэнди.

— Том, — отозвался я и не узнал своего голоса.

— У тебя, Томми, до меня были мужчины? — осведомился Рэнди под громкие всхлипывания Саванны. — Нет, Томми, никого у тебя не было. Я стану твоим учителем. Отымею тебя по всем правилам, Томми, а потом чикну.

— Умоляю, — прохрипел я.

Он тут же сильно сдавил мне горло. Я едва не потерял сознание. Его нож был где-то возле моей талии. Рэнди зачем-то разрезал мне майку и трусы. Потом схватил меня за волосы и заставил опуститься на колени. Я не понимал его действий до того мгновения, пока пенис не уперся мне в зад.

— Нет, — взмолился я.

Он грубо дернул меня за волосы. Потом царапнул ножом по ягодице. Я почувствовал, что из раны пошла кровь.

— Я буду трахать тебя, Томми, пока ты не истечешь кровью и не сдохнешь. Но мне без разницы. Я могу и с мертвым.

Когда он вошел в меня, я попробовал закричать, но не смог. Я не смог выразить свой стыд и неимоверное унижение. У него был громадный член,

который он пихал в меня, разрывая все внутри. Потом по моей ляжке что-то потекло. Я решил, что это сперма, но ошибся. Это была моя кровь. Рэнди извивался, стремясь вогнать свой член еще глубже. Мать и сестра звали меня, просили вмешаться и спасти их.

— Том! Том! — умоляла Саванна. — Он делает мне больно. Том!

Теперь Рэнди двигал своим членом туда-сюда. У меня от боли выступили слезы.

— Томми, скажи, что тебе это нравится. Скажи, что тебе это очень, очень нравится.

— Нет, — прошептал я.

— Тогда, упрямый мальчик, я перережу тебе горло и продолжу долбать твою задницу. А ты будешь истекать кровью. Ты же не хочешь этого, Томми? Тогда скажи, что тебе нравится, как я тебя имею.

— Мне нравится.

— Почему такой вялый голосок? Скажи это приятным голосом, Томми.

— Мне нравится, — повторил я.

Я был полностью уничтожен и раздавлен. Рэнди вошел в экстаз; он стонал и двигался внутри меня, больше ни на что не обращая внимания. Он не заметил, как у меня по кровеносным сосудам

прошла легкая пульсация. Он не ощутил волны убийственной ярости, заставившей вздрогнуть мое тело. Я поднял глаза вверх, пытаясь избавиться от сковавшего меня ужаса. Над камином под наклоном висело зеркало. В нем я увидел лицо Люка, наблюдавшего за происходящим через южное окно. Я замотал головой и прохрипел: «Нет». Все наше оружие находилось в доме, и для Люка самым правильным было бежать за подмогой. Когда я снова взглянул в зеркало, лицо брата исчезло.

— Поговори со мной, Томми, — вновь зашептал Рэнди. — Скажи мне что-нибудь ласковое и нежное.

Тут за порывами ветра раздался знакомый звук, однако я никак не мог узнать его. Он напоминал крик кролика, попавшего в когти ястреба. Я снова и снова вслушивался, но не мог определить, откуда он исходит. Больше всего меня занимало, слышат ли его трое громил. Я громко стонал, пытаясь заглушить этот звук. Ветер яростно завывал в ветвях деревьев, и они стучали по крыше.

— О, тебе хорошо, Томми, — обрадовался Рэнди Томпсон. — Мне это очень по вкусу.

— Пощади. Пощади, — донесся до меня голос матери.

Я опять уловил звук и теперь понял его происхождение. Это был скрип колеса, вращающегося на несмазанной оси. Он напомнил мне о тех веселых и беззаботных днях, когда мы с Люком начали изнурительную подготовку к нашему последнему футбольному сезону. В прошлом году, в это же время, мы с братом решили надлежащим образом развить и закалить свои тела для сентябрьских игр. Способ был простой, но тяжелый. Мы выкатывали из сарая клетку с Цезарем и оба толкали ее по дороге до тех пор, пока не падали от усталости. Изматывая себя, мы стремились преодолеть пределы обычной человеческой выносливости и стать сильнее всех отчаянных ребят, с которыми нам доведется встретиться по другую сторону от линии розыгрыша. Ежедневно, без малейших поблажек, мы следовали своей жесткой дисциплине, не замечая ссадин и синяков. Перерыв наступал только тогда, когда ноги отказывались нас держать и колени подгибались сами собой. В первую неделю нам удавалось за один подход переместить клетку всего на несколько ярдов, В начале наших варварских тренировок общее расстояние не превышало четверти мили, после чего мы буквально падали на дорогу, сморенные усилиями и августовской жарой.

Сейчас Люк один двигал клетку к дому. Колеса вязли в раскисшей земле, а левое предательски скрипело.

Рэнди Томпсон получил свое гнусное удовольствие. Его сперма перемешалась с моей кровью. Я громко закричал. Он отвалился от меня, по-прежнему держа нож возле моего горла.

— А теперь, Томми, скажи, как ты хочешь умереть? Чего боишься сильнее: ножа или пушки?

Бандит припечатал меня спиной к стене. Револьвер был приставлен к моей голове, а нож замер напротив моего паха.

Рэнди приблизил лезвие к моим яичкам.

— Думаю, это страшнее. Да, Томми? Можешь не отвечать. Я так и думал. Сейчас я отрежу тебе яйца и дам подержать. Они же тебе больше не нужны, правда? Как ты думаешь, Томми? Я буду постепенно отрезать от тебя разные ненужные кусочки. Здорово я отделал тебя в задницу. Теперь ты мой. Так что тебя найдут с моим подарочком в заду.

Я закрыл глаза и широко раскинул руки. Лицо преступника было совсем рядом. Он целовал меня, запихнув свой язык мне в рот. В это время моя рука соприкоснулась с куском холодного мрамора. Глаза Рэнди оставались открытыми. Он

лобызал меня, а мои пальцы сомкнулись вокруг мраморной шеи Пражского младенца, статую которого отец похитил в Германии из церкви патера Крауса.

Саванна и мать рыдали в своих комнатах.

— Том! — вновь позвала мать; от ее голоса у меня разрывалось сердце.

Колесо снова скрипнуло, после чего у задней двери послышался какой-то тихий звук. И вдруг в нее громко постучали, как будто к нам зашел сосед.

— Не двигайся, Томми. Вякнешь хоть слово, и ты покойник, — шепнул Рэнди Томпсон.

Из материнской комнаты, застегивая на ходу брюки, вышел Калланвольд. За ним на кровати я заметил совершенно голую мать. Она лежала, прикрыв ладонью глаза. Следом за великаном показался толстяк. Он был в майке и трусах, из которых выпирал теряющий эрекцию член. Оба заняли позиции напротив двери, наведя на нее револьверы.

— Беги, Люк! Беги! — крикнула мать.

Калланвольд стремительно распахнул дверь и увидел открытую решетку клетки. Существо, изнасиловавшее мою мать и надругавшееся над ней еще и морально, встретилось с бенгальским

тигром.

Рэнди Томпсон оторопел. Его взгляд остановился на клетке. Оттуда, из полумрака, выскочил Цезарь.

Между прыжком тигра и воплем Калланвольда прошло не более секунды. Великан попятился назад, но тут когти Цезаря впились ему в лицо. Рэнди Томпсон направил на тигра свой пистолет. Он и не догадывался, что моя правая рука сжимает мраморную статую так, словно это была знаменитая бита марки «Луисвилл слаггер». Пока Цезарь расправлялся с насильником моей матери, по гостиной полетели сгустки мозга Рэнди Томпсона. Мой яростный удар почти снес ему голову. У меня во рту еще оставалось ощущение от его языка, и это добавляло мне злости. Я молотил по лицу Рэнди Томпсона до тех пор, оно не перестало напоминать человеческое. С холодной сосредоточенностью я вгонял осколки черепа в остатки его серого вещества.

Флойд Мерлин вопил и палил куда попало. Одна из пуль угодила Цезарю в плечо, оттуда потекла кровь. Придавленный тигром Калланвольд тихо стонал, пока Цезарь не качнул лапой и не располосовал ему горло. Флойд Мерлин продолжал пододвигаться к двери, голося и стреляя. Наш

дом превратился в сущий ад, где к запаху смерти примешивался сладковатый запах человеческих мозгов и где по радио звучала песенка Джерри Ли Льюиса. Это была последняя музыка, которую Флойд Мерлин слышал в своей жизни. Не знаю, успел ли он понять, что вместе со своими дружками совершил грубейшую ошибку, посмев вторгнуться в дом Винго. Толстяк еще надеялся улизнуть. Он выпустил последнюю пулю в тигра и тут заметил меня. Моя рука по-прежнему сжимала статую Пражского младенца. Я метнулся влево, наперерез Флойду. Но смерть он принял не от меня. В это время из своей комнаты выбежала Саванна. Девчонка, которую Флойд Мерлин счел легкой добычей, подскочила к нему, приставила к паху заряженный дробовик и нажала курок. Выстрелом толстяка расчленило надвое. Мне в лицо хлынула его кровь и куски внутренностей. Люк проскочил мимо со стулом в руках, который он прижал к тигриной морде.

— Стой на месте, — велел Люк сестре. — Я сейчас загоню Цезаря в клетку.

— Давай, иначе я и Цезаря отправлю к праотцам, — пообещала всхлипывающая Саванна.

Раненый тигр повернулся и поковылял к Люку. Челюсти Цезаря были в крови. Он пострадал не

меньше нас и не понимал, что произошло за эти бешеные секунды. Увидев стул, тигр взмахнул лапой и сломал переднюю ножку. Однако Люк упрямо подгонял его к задней двери.

— Давай, парень. Возвращайся домой, Цезарь. Ты хорошо поработал.

— Люк, Цезарь умирает, — раздался голос матери.

— Нет, мама. Не говори так. Прошу тебя, не говори. Он нас спас. Теперь мы должны помочь ему.

Тигр брел к задней двери, оставляя кровавые следы, напоминающие странные розы. У клетки он обернулся и вошел в знакомое и надежное пространство. Люк захлопнул дверцу и запер ее.

Мы не могли смотреть друг другу в глаза. Мы просто повалились на пол и плакали навзрыд, словно сокрушенные ангелы. Снаружи бесновался ветер, радио продолжало передавать веселую музыку, не испытывая к нам ни малейшего сострадания. Мы горько рыдали, перепачканные кровью преступников. Она была не только у нас на руках и лицах. Стены, мебель, пол — везде остались следы жуткого побоища. Рядом со мной валялась статуя младенца Иисуса, целая, но тоже окровавленная. Менее чем за минуту мы с помощью тигра убили трех насильников, принесших

в наш дом хаос и разрушение. Этому деянию суждено было переместиться в безжалостную череду наших будущих кошмаров. Мы уничтожили трех мерзавцев, однако в наших снах они будут восставать из праха и тысячу раз насиловать нас снова. Мир ужаса сделает их бессмертными, возродит их изуродованные тела. Они будут являться к нам в обличье злых правителей, мародеров и завоевателей, мы вновь ощутим на себе их дыхание и услышим треск разрываемой на нас одежды. Изнасилование — это преступление против сна и памяти, навечно застревающее в подсознании. На протяжении жизни каждого из нас эта страшно убитая троица будет снова и снова учить нас стойко выносить страдания. Телесные раны заживут, а вот ущерб, нанесенный нашим душам, скорее всего, будет невосполнимым. Жестокость пускает в сердце глубокие корни; она неизменно цветет, не зная смены времен года.

Мое тело сотрясалось. Мне было недостаточно просто закрыть глаза. Я прижал к векам ладони, не сразу сообразив, что они густо перепачканы кровью Рэнди Томпсона. Я чувствовал, как из меня на пол вытекает его сперма. В общем-то, он сказал правду: что-то во мне всегда будет принадлежать ему. Даже теперь, когда самого Рэнди уже

нет в живых. Он испоганил и уничтожил целый пласт моего отрочества; он похитил мою картину мира, управляемого Богом, где небо и земля были актом божественного творения и проявлением божественной радости. Рэнди Томпсон осквернил мое представление о вселенной, с чудовищной наглядностью продемонстрировав, что не стоит верить пустым сказкам о рае.

Сколько времени мы пролежали на полу бойни, еще недавно бывшей нашим родным домом и святилищем? Где-то около четверти часа. Первым пришел в себя Люк.

— Мама, надо вызвать шерифа, — произнес он.

— Ни в коем случае, — рассерженно заявила мать. — Мы Винго. У нас слишком много гордости, чтобы посторонние узнали о случившемся сегодня.

— Но у нас в гостиной три мертвых человека. Это ведь требует какого-то объяснения, — настаивал Люк.

— Это не люди, — возразила мать. — Это животные. Звери.

Она плюнула на труп толстяка, изнасиловавшего Саванну.

— Мама, надо показать Тома врачу, — продолжал Люк. — Ему плохо.

— Где у тебя болит, Том? — спросила она.

Голос матери казался незнакомым. И со мной она говорила как с чужим мальчиком, пытающимся обмануть взрослых.

— Тома изнасиловали. У него до сих пор идет кровь.

Мать громко рассмеялась. Смех ее был безумным и совершенно неуместным.

— Люк, мужчина не может изнасиловать другого мужчину.

— Только тому парню этого не объяснили. Я видел, как он… кое-что делал с Томом.

— Хватит болтать! Нужно поскорее убрать трупы. Вы, ребята, отнесете их в лес подальше и закопаете. Мы с Саванной дочиста отскребем комнаты. К возвращению вашего отца здесь не должно остаться ни одного напоминания об этом зверье. Саванна, приди в себя. Все уже позади. Думай о чем-нибудь приятном. Допустим, о покупке нового платья. И оденься, а то стоишь тут голой перед братьями. И ты, Том, оденься. Немедленно. Перестань реветь, Саванна. Слышишь? Возьми себя в руки. Представь, ты плывешь на речном пароходе по Миссисипи. Играет музыка. Ты сидишь за столиком. На нем — бокал чудного вина. Тебе в лицо дует приятный ветерок. Палуба освещена

луной. Вдруг откуда-то появляется изысканно одетый джентльмен и приглашает тебя на вальс. Его лицо тебе знакомо. Ты его видела в колонках светской хроники. Он принадлежит к одной из богатейших семей Нового Орлеана, занимается разведением чистопородных лошадей и питается исключительно устрицами и шампанским…

— Мама, что за ерунду ты несешь? — вмешался Люк. — Лучше позвони шерифу. Он точно знает, что надо делать в таких случаях. И ветеринару тоже. Цезарю срочно нужна помощь.

— К телефону не подходи, — отчеканила мать. — Здесь ничего не происходило. Ничего! Всем понятно? Ничего не было. Если ваш отец даже заподозрит, что у меня были интимные отношения с другим мужчиной, он больше ко мне не прикоснется. Ни один достойный молодой человек не женится на Саванне, если распространится слух, что она не девушка.

— Боже милосердный, — оторопело бормотал я, глядя на голые тела матери и сестры. — Господи, скажи мне, что все это было шуткой.

— Давай одевайся, Том. И поживее, — велела мать. — У нас куча работы.

— И все-таки мы должны сообщить об этом, — умоляющим тоном настаивал Люк. — Вас всех

нужно показать врачу. И помочь Цезарю. Ведь он спас ваши жизни, мама. Эти люди убили бы вас.

— Их уже нет, а репутация семьи осталась. Представляешь, что будет, если об этом узнают? Что ждет Амоса с Толитой? А всех нас? Правда обрастет чудовищными слухами. Я не смогу пройтись по городским улицам без того, чтобы за моей спиной не шептались. Ты еще молод и не представляешь, какие сплетни поползут по Коллетону. Вдруг я была знакома с этим чудовищем? Вдруг тайком писала ему письма в тюрьму? В таком случае я получила по заслугам. Ты этого хочешь для своей матери? Нет, они не дождутся лакомого кусочка. Я не стану игрушкой в их руках.

— Мама, он мне всю задницу разорвал, — пожаловался я.

— Я запрещаю в своем доме изъясняться на таком отвратительном языке. Я не потерплю вульгарных словечек в устах своих детей. Я растила вас достойными и вежливыми людьми.

Мы с Люком погрузили трупы в кузов старенького грузовичка. Для остановки кровотечения мать дала мне женский гигиенический тампон. Когда мы уехали, мать с Саванной принялись отмывать пол, стены и мебель. На заднем дворе

мать развела костер, в котором сожгла два безнадежно залитых кровью коврика и такое же бесповоротно испорченное кресло. Она всячески пыталась скрыть свое состояние (и прежде всего — свою надломленность) за кипучей деятельностью. Мать покрикивала на нас. Цезарь, невзирая на боль, не подпускал Люка к клетке. За все это время Саванна не произнесла ни слова, только плакала.

Трупы мы вывезли подальше в лес и похоронили в неглубокой могиле, выкопав ее под деревом, окруженным зарослями кудзу. Рыть глубже не имело смысла — на следующий год корни кудзу своим хитросплетением надежно скроют все следы погребения. Мы напряженно работали и молчали. Я не решался заговорить с Люком. Мне было стыдно, что он видел гнусности Рэнди. Шок от случившегося сменился невероятной усталостью, действующей как снотворное. Я сел на землю. Меня трясло, сил встать не было. Люку пришлось меня поднять и на руках отнести к грузовичку.

— Том, я понимаю, каково тебе, — сказал брат. — Очень жалею, что не пришел раньше. Но вообще-то я вернулся по чистой случайности. Забыл в сарае одну штуку. Представляешь, сейчас

даже не помню, что именно. Иду назад и вижу: следы на дороге.

— Люк, мама совсем свихнулась.

— Нет, это временно. Она просто напугана. Нам нужно потерпеть и не задевать ее.

— Но почему она думает, что люди обвинят нас самих? По-моему, никто бы не стал нас упрекать. Люди прониклись бы к нам состраданием и оказали бы нам поддержку.

— Мама не допустит сочувствия со стороны посторонних. Ты сам это знаешь. Уж такая она. Нам нужно помочь друг другу и Саванне.

— И опять все наперекос. Ну почему в нашей чертовой идиотской семье всегда все делается не так?

— Мы же с детства слышали: семья Винго — особенная.

— Преступники изнасиловали троих особенных Винго. И были убиты. Жестоко. Так, что вся гостиная залита их кровью и завалена кишками. И после этого мы должны делать вид, что ничего не произошло?

— Это и есть особенность семьи, — заметил Люк.

— Дурь это, вот что. Сумасшествие. Болезнь. Получается, что из-за чокнутости мамы и папы

мы тоже обречены на свихнутую жизнь? А потом и наши дети? И так — до скончания времен? Что теперь будет с Саванной? Ей и раньше приходилось несладко. Люк, я тогда чего-то не понял. О чем она говорила на мосту? Она видит каких-то собак на дне или на мясных крюках. Это наверняка от жизни с такими родителями. Что с ней будет дальше?

— Что должно быть, то и будет. Как и со всеми нами.

— А со мной? Что будет со мной? — выкрикнул я и снова заплакал. — Из такого дня не уйдешь, не заплатив. Два часа назад этот Рэнди всаживал мне в зад свою штуковину. Он держал нож у моего горла. Я думал, что умру. Он грозил отрезать от меня по кусочку. Представляешь, Люк? Он целовал меня и описывал, как будет убивать. Ты можешь представить, что убиваешь человека, которого минуту назад целовал?

— Не могу, — признался Люк.

— Люк, нам нельзя идти у мамы на поводу. Это неправильно.

— Уже поздно, Том. Все доказательства мы только что зарыли в землю. Теперь пришлось бы очень многое объяснять.

— Люди поймут наше состояние. Мы все нахо-

дились в шоке.

— Через месяц ты и не вспомнишь о том, что было.

— Да проживи я пятьсот лет, я и тогда буду помнить.

— Лучше всего забыть. Что случилось, то случилось. Надо подумать, как помочь Цезарю.

Вернувшись, мы застали тигра на последнем издыхании. Он лежал, прислонившись к прутьям, и тяжело дышал. Когда Люк потрепал его по голове, Цезарь даже не зарычал. Люк прижался своей головой к его голове и погладил тигра по спине.

— Ты был хорошим парнем, Цезарь, — шептал Люк. — Настолько хорошим, что мы не имели права запирать тебя в этой вонючей клетушке. Ты показал себя настоящим тигром. Ты и раньше был потрясающим, Цезарь. Я буду сильно по тебе скучать. Ты был самым великолепным тигром, какие только водятся в мире. Клянусь тебе, это так.

У брата текли слезы, когда он приставил винтовку к голове тигра и нажал курок. Цезарь был его зверем, и Люк решил, что такой уход лучше агонии естественной смерти.

Я молча наблюдал за этой сценой, понимая, что

не могу утешить брата. Вряд ли когда-нибудь я снова увижу, как парень из Южной Каролины оплакивает гибель бенгальского тигра.

К возвращению отца мы успели похоронить Цезаря и ликвидировать в доме все следы чудовищного события. Я вывел из сарая трактор и заровнял все отпечатки ботинок, оставленные бандитами на мокрой дороге. Мы с Люком нашли машину, украденную ими в Джорджии. На переднем сиденье валялась подробная карта нашего штата, где шариковой ручкой был обведен остров Мелроуз. Автомобиль мы столкнули с моста и утопили в протоке. Дом просто сверкал благодаря неистовому желанию матери удалить малейшее напоминание о зловещих визитерах. Дубовый пол она отдраивала металлической щеткой, не обращая внимания на стертые в кровь колени. Статуя Пражского младенца отмокала в ведерке, куда мать щедро плеснула нашатырного спирта; вода там была темно-красной. Саванна больше часа простояла в душе, одержимо отмывая все, что оставил толстяк. Мать велела нам с Люком переставить мебель. Ничто не должно оставаться таким, каким было с утра. Мы протерли окна, выстирали занавески, соскребли засохшие пятна крови с обивки стульев и кромок ковров.

В ожидании отца мать взбодрила себя выпивкой. Вернувшись, отец объявил, что поймал всего сорок фунтов креветок. В доме несло нашатырным спиртом и чистящей жидкостью. Отец пах, как всегда, креветками и рыбой, его нос не улавливал необычных запахов. Отец поставил возле раковины ведерко с рыбой и велел Люку и мне почистить ее, пока он моется в душе.

Мать пожарила рыбу. За ужином родители говорили так тихо, что я едва удерживался от желания заорать во все горло и опрокинуть обеденный стол. Саванна к ужину не вышла. Отец удивился ее отсутствию, и мать объяснила, что дочь слегка простыла и не хочет вылезать из теплой постели. Отец ничего не заподозрил. Он устал после долгого дня и сражения с ветром, который вдруг налетел с юго-востока. Мне пришлось собрать все самообладание, чтобы только не проболтаться об ужасах этого дня. Думаю, я был раздавлен не столько изнасилованием, сколько необходимостью скрывать случившееся. Эти требования мать возвела в ранг закона. За какой-то час, пока мы ели, я усвоил, что молчание может быть самой красноречивой формой лжи. Я ковырял вилкой кусок камбалы. Наверное, камбала всегда будет напоминать мне о крови Рэнди

Томпсона на моих руках и о его языке внутри моего рта.

Перед приходом отца мать собрала нас в гостиной и с каждого взяла слово никогда и никому не рассказывать о происшедшем. Уставшим, но бескомпромиссным голосом она заявила: если мы хоть чуточку нарушим это обещание, она нам больше не мать. Она поклялась, что перестанет с нами общаться и вообще вычеркнет нас из своей жизни. Наше понимание или непонимание такого шага ее не заботило. Мать знала особенности провинциальных городишек и понимала, какую презрительную жалость вызывают в их жителях изнасилованные женщины. Удар по репутации был для нее страшнее всего.

Последующие годы мы строго соблюдали это соглашение. Даже между собой мы никогда не вспоминали о случившемся. Это был тайный завет, заключенный провинциальной семьей, известной своей глупостью и особой этикой, не раз заводившей упомянутую семью в тупик. Позор Винго стал личным позором каждого из нас.

Тем не менее Саванна нарушила данное слово, но сделала это безмолвно и с леденящим душу достоинством. Через три дня после того кошмара она впервые перерезала себе вены.

Наша мать воспитала дочь, которая умела молчать, но не умела врать.

Закончив историю, я взглянул на Сьюзен Лоуэнстайн. Некоторое время царила тишина, затем я произнес:

— Теперь вам ясно, почему меня рассердила детская книжка Саванны? Я не верю, что она напрочь забыла тот день, и не хочу, чтобы она превращала его в красивую сказочку.

— Но ведь тогда могла погибнуть вся ваша семья.

— Возможно, это было бы не самым плохим вариантом.

— Но что же может быть хуже?

— Сначала я тоже так думал. Но я ошибался. Это было нечто вроде разминки.

— Я не понимаю вас, Том. Что же тогда для вас самое тяжелое? Болезнь Саванны?

— Нет, доктор. Вы еще не знаете об уничтожении Коллетона. И про Люка я еще не рассказывал.

Глава 23



В мальчишечьей жизни тренер занимает важное место. Это главный аргумент в защиту моей бесполезной, как многим кажется, профессии. Хорошие тренеры, если им повезет, становятся для ребят почти отцами, воплощением мечты, поскольку собственные отцы редко дотягивают до этого идеала. Хорошие тренеры лепят характер, умеют убеждать и требовать. Красивы не только сами игры, красиво все, что называется спортивным процессом. Почти каждый сентябрь моей учительской жизни я проводил, следя за передвижением мальчишеских толп по размеченным акрам зеленого поля. Но все начиналось раньше, в конце августа, когда солнце еще пекло по-летнему. На стадионе гремела веселая музыка, а я смотрел на своих будущих воспитанников. Кто-то из мальчишек вымахал за лето и сейчас

неуклюже переминался с ноги на ногу. Вскоре эта неуклюжесть пройдет. Кто-то не подрос ни на дюйм и стоял, боязливо озираясь по сторонам. Потом, когда начинались тренировки, я наблюдал, как они набивают синяки и шишки на блокирующих санках[169], как осваивают групповой захват. Свои годы я могу отсчитывать по командам, выведенным на поле. Я помню имена всех своих подопечных. Каждый раз я терпеливо дожидался момента, когда все сильные и слабые стороны юных спортсменов сольются воедино. И когда этот поистине волшебный миг наступал, я обводил глазами поле, разглядывая ребят, и в порыве созидательного всемогущества мне хотелось крикнуть солнцу:

— Смотри! Я создал еще одну команду!

Любой мальчишка драгоценен тем, что стоит на пороге взросления и непременно боится. Тренер знает: детская невинность всегда священна, а вот в страхе нет ничего священного. Тренировки становятся той тайной тропой, по которой наставник ведет мальчишку к возмужанию.

В свое нью-йоркское лето я посвящал Бернарда

---

[169] Примечания: 169

Спортивный снаряд, нечто вроде брусьев с мягким защитным покрытием. Применяется для развития силы и отработки блокирующих приемов.

Вудруффа во все премудрости футбола. Наши занятия в Центральном парке продолжались два часа, и за это время я стремился передать парню весь свой накопленный опыт. Он учился блокировать нападающего и делать это на совесть. Его противником был я. Бернард не относился к числу прирожденных спортсменов, но обладал упрямством и не боялся обидеть соперника. Бывало, мне от него доставалось, а ему от меня — еще чаще. Парень, весящий сто сорок фунтов, должен обладать настоящей смелостью, чтобы выступить против взрослого мужчины. Вот так мы и играли; небоскребы вокруг Центрального парка служили нам молчаливыми трибунами.

Наши тренировки прекратились совершенно неожиданно для нас обоих. В тот день я учил Бернарда блокировать соперника, завладевшего мячом.

— Смотри, Бернард. Дерево у тебя спиной — это твой квотербек, — сказал я. — Если я дотронусь до его ствола, будет считаться, что я обошел квотербека и моя команда получила очки.

Бернард стоял передо мной, одетый по всей форме. Он был полон решимости, однако между нами существовала разница в опыте и в весе. Я был на шестьдесят фунтов тяжелее.

— Следи за ногами, — наставлял я. — Сохраняй равновесие и старайся не допустить меня до своего квотербека.

— Я сам хочу играть в позиции квотербека, — признался Бернард.

— Сейчас мы противостоим нападающему противников, — напомнил я.

Я пересек линию захвата, ударил ладонью по шлему Бернарда и сбил парня с ног. Затем коснулся дерева и сказал:

— Как видишь, я сильно разозлил твоего квотербека.

— Вы сильно разозлили игрока нападающей стороны. Давайте еще раз.

Теперь Бернард уперся мне шлемом в грудь. Я хотел обойти его слева, но он не пропускал меня, мельтеша перед глазами и медленно отступая. Парень немного согнул колени и тем самым удерживал равновесие. Когда я попытался прорваться, Бернард, к моему удивлению, метнулся мне под ноги и произвел захват. Я шумно рухнул в траву, чувствуя, как у меня перехватило дыхание.

— Ну что, тренер Винго? По-моему, сейчас я очень обрадовал своего квотербека, — торжествующе произнес Бернард.

— По-моему, ты покалечил своего тренера, —

прохрипел я, с трудом поднимаясь. — Судя по всему, я становлюсь стар для таких вывертов. Но ты действовал здорово, Бернард. Ты заслужил право играть в позиции квотербека.

— Сочувствую вашей заднице, сэр. Ей досталось, — усмехнулся парень. — А что это вы хромаете?

— Так ты врезал мне по ноге, — отозвался я, делая осторожные шаги и ощупывая свое левое колено.

— Хорошие игроки не волнуются из-за мелких травм, — заявил Бернард.

— Кто тебя этому научил?

— Вы и научили. Плюньте и продолжайте, тренер Винго. Так вы мне говорили, когда я вывихнул лодыжку.

— Бернард, ты начинаешь меня раздражать.

— Тогда займемся делом, сэр. Посмотрим, сумеете ли вы на этот раз дотронуться до ствола, — с невыносимым апломбом добавил юнец.

Я вновь встал против него. Наши лица находились всего в каком-нибудь футе друг от друга.

— На этот раз, Бернард, я тебя просто прикончу.

И снова он пошел на стремительное соприкосновение, но, как и в первый раз, я ладонью сбил

его с ног. Бернард быстро вскочил и блокировал мою лобовую атаку на дерево. Я нагнулся и почувствовал, что парень снова готовится произвести захват. Я рассчитывал обойти его, но он ударил мне по лодыжкам. Я упал и придавил собой радостно хихикающего Бернарда.

Некоторое время мы добродушно боролись друг с другом.

— А знаешь, маленький паршивец, по-моему, ты все-таки стал футболистом, — заметил я.

— Вот именно, — раздался у меня за спиной мужской голос.

— Папа! — воскликнул изумленный Бернард.

Я обернулся и увидел Герберта Вудруффа. Вероятно, он подошел несколько минут назад и видел нашу импровизированную схватку. Знаменитый скрипач стоял со скрещенными на груди руками; его пальцы почему-то напомнили мне лезвия швейцарского армейского ножа. Позой и фигурой Вудруфф-старший походил на танцора фламенко. Он явно был ошеломлен увиденным, но его лицо сохраняло холодное, бесстрастное выражение.

— Так вот на что ты тратишь время при попустительстве матери, — отчеканил Герберт Вудруфф. — Ну и дурацкий же у тебя сейчас вид.

Бернард сник и даже не пытался возражать

отцу, который всячески игнорировал мое присутствие.

— Мне недавно звонил профессор Гринберг. Оказывается, на этой неделе ты пропустил уже два урока. Между прочим, профессор только из глубокого уважения ко мне согласился с тобой заниматься.

— Он жестокий, этот Гринберг, — промямлил Бернард.

— Строгий, — поправил его отец. — Великие учителя всегда отличаются большой требовательностью. Свой недостаток таланта ты должен компенсировать усердием.

— Здравствуйте, мистер Вудруфф, — вмешался я. — Меня зовут Том Винго. Футбольный тренер Бернарда.

Я протянул ладонь Вудруффу-старшему и услышал:

— Я не отвечаю на рукопожатия.

Он поднял вверх свои длинные красивые кисти.

— Мои руки — это моя жизнь. Ведь я скрипач.

— Может, тогда потремся носами? — весело предложил я, надеясь отвести внимание рассерженного отца от его сына.

Герберт Вудруфф вновь проигнорировал меня

и обратился к Бернарду:

— Горничная рассказала мне, где тебя искать. Возвращайся домой. Свяжись с профессором Гринбергом и извинись. А потом — за скрипку. Будешь упражняться не менее трех часов.

— Но у меня еще не закончилась тренировка, — пробубнил Бернард.

— Нет, закончилась. Твои занятия спортом закончились навсегда. Надеюсь, теперь ты убедился, что я неизменно раскрываю ваши с матерью маленькие хитрости.

— Бернард, на сегодня достаточно, — опять вклинился я. — Беги домой и берись за скрипичные упражнения. Возможно, мы с твоим отцом сумеем договориться.

Бернард быстро зашагал к западному выходу из Центрального парка. Мы остались одни.

— Знаете, мистер Вудруфф, ваш сын — очень хороший футболист.

Бернард, лавируя среди машин, перебегал улицу. Мы с Вудруффом-старшим провожали его глазами.

— Кому важна эта чепуха? — поморщился скрипач, поворачиваясь ко мне.

— Прежде всего самому Бернарду. — Я всеми силами сдерживал раздражение. — Ваша жена

просила меня потренировать его.

— Ничего не обсудив со мной. Впрочем, теперь вы и сами в этом убедились, мистер… Простите, как вы представились?

— Винго. Том Винго.

— Жена говорила о вас. Вы ведь, кажется, с Юга?

— Я слушал вас на Сполетском фестивале[170] в Чарлстоне. Вы потрясающе играли.

— Благодарю, — сухо произнес Герберт. — Мистер Винго, вам знакома Чакона Баха?

— Стыдно признаться, но я плохо разбираюсь в классической музыке.

— Жаль. Я в десять лет играл Чакону без единой ошибки. Бернард только в этом году включил ее в свой репертуар, и его исполнение изобилует небрежностью.

— А как вы играли в футбол в свои десять? — осведомился я.

— Никак, мистер Винго. Я терпеть не могу спорт

---

[170] Примечания: 170

Сполетский фестиваль — аналог Фестиваля двух миров, проводящегося с 1958 г. в итальянском городе Сполето. Местом проведения фестиваля в Америке был избран Чарлстон, наиболее похожий на Сполето по климату и обилию концертных площадок. Американский Сполетский фестиваль проводится с 1977 г. и длится 17 дней. Направленность включает в себя оперу, драму, балет, концерты классической музыки и джазовые концерты. Создателем обоих фестивалей был американский композитор итальянского происхождения Джанкарло Менотти.

и все, что с ним связано. Бернард об этом осведомлен. Должно быть, футбол кажется ему чем-то экзотическим по сравнению с концертными залами, в которых он вырос.

— Не думаю, что футбол может серьезно повредить вашему сыну, — заявил я.

— Эта прихоть может навсегда перечеркнуть его желание стать скрипачом, — отрезал Герберт Вудруфф.

— Ваша жена как-то обмолвилась, что вы рассердились, узнав о наших с Бернардом тренировках.

— Сьюзен относится к Бернарду… сентиментально. А я — нет. У меня тоже был тяжелый период отрочества, но родители мне не потакали. Они считали дисциплину высшей формой любви. Если Бернард жаждет движений, Чакона всегда к его услугам.

— Мистер Вудруфф, почему бы вам обоим как-нибудь не выйти сюда и не погонять мячик?

— У вас удивительное чувство юмора, мистер Винго, — заметил скрипач.

— Я серьезно, мистер Вудруфф. Футбол для Бернарда — всего лишь проходящее увлечение, но ваш сын оценит, если вы проявите к этому хобби хоть каплю интереса. Возможно, тем самым вы

даже приблизите время, когда Бернард полностью охладеет к спорту.

— Я уже предпринял ряд шагов в этом направлении. На весь остаток лета я отправляю сына в музыкальный лагерь у подножия Адирондакских гор. При попустительстве моей жены и с вашей помощью Бернард напрочь забыл о музыке.

— Конечно, это не мое дело, сэр, но я бы не стал так поступать с мальчишкой.

— Вы совершенно правы, мистер Винго. Это не ваше дело, — раздраженно-учтивым тоном сказал Герберт Вудруфф.

— Если вы увезете его в лагерь, он никогда не станет тем скрипачом, каким вы хотите его видеть.

— Я его отец и смею вас уверить: Бернард станет именно таким скрипачом.

С этими словами Герберт Вудруфф повернулся и зашагал к своему дому.

— А я — его тренер и бьюсь об заклад, сэр: своими действиями вы уже превратили Бернарда в футболиста, — вдогонку крикнул я.

Я вернулся в квартиру сестры. Когда зазвонил телефон, я не удивился, услышав в трубке голос Бернарда.

— Он выбросил мою спортивную форму, — со-

общил Бернард.

— Напрасно ты пропускал музыкальные уроки, — ответил я.

Парень помолчал, потом спросил:

— Тренер, вы когда-нибудь слышали игру моего отца?

— Было дело. Между прочим, твоя мама пригласила меня на его концерт. На следующей неделе.

— Отец входит в число пятнадцати лучших скрипачей мира. Во всяком случае, так утверждает Гринберг.

— И какое отношение это имеет к твоим прогулам? — не понял я.

— А такое, что мне не светит даже десятка лучших скрипачей того лагеря. Вы понимаете, тренер Винго, о чем я?

— Понимаю. Когда ты уезжаешь?

— Завтра.

— Можно тебя проводить?

— Конечно. Будет здорово, — обрадовался Бернард.

На следующий день мы взяли такси и напра-

вились в сторону вокзала Гранд-Сентрал[171]. Я остался присматривать за багажом, а Бернард отправился покупать билет. Потом мы прошли к платформе, с которой отходил поезд. Парень нес футляр со скрипкой, а я — его чемодан.

— А ты подрос за лето, — заметил я, когда мы присели на скамейку.

— На полтора дюйма. И прибавил восемь фунтов.

— Я написал твоему тренеру в Академию Филипса.

— Зачем?

— Сообщил ему, что несколько последних недель занимался с тобой. Порекомендовал тебя как перспективного игрока для сборной команды юниоров.

— Отец запретил мне играть в футбол.

— Жаль, — вздохнул я. — Думаю, из тебя мог бы получиться классный футболист.

— Вы серьезно? — спросил Бернард.

— Ты крепкий парень, Бернард, — продолжал я. — Когда ты вчера пару раз сшиб меня с ног, я в

---

[171] Примечания: 171

Центральный вокзал Нью-Йорка, расположенный на 42-й улице Манхэттена. Построен в 1913 г. Нынче (после нескольких реконструкций) является крупнейшим железнодорожным вокзалом мира; его пути располагаются на двух подземных уровнях.

этом убедился. Мне пришлось напрячься изо всех сил. Я давно так не собирался на тренировках.

— Сэр, повторите это.

— Что именно?

— Что я крепкий парень. Мне такого никто никогда не говорил.

— Ты чертовски крепкий парень, Бернард. В первую неделю я опасался, что загоняю тебя и ты сломаешься. Но ты меня приятно удивил. Ты, что называется, съедал все мое угощение и просил добавки.

— А вы лучший тренер из тех, что у меня были, — признался Бернард.

— По-моему, единственный.

— Я имел в виду — учитель. Меня учат музыке с пяти лет. Но вы, тренер Винго, — лучший.

Мальчишка так растрогал меня, что какое-то время я не мог вымолвить ни слова.

— Спасибо тебе, Бернард, — наконец произнес я. — Мне этого давно никто не говорил.

— А почему вас уволили?

— У меня случился нервный срыв.

— Простите, — торопливо пробормотал Бернард. — Я не имел права поднимать эту тему.

— Почему же? Тут нет никакого секрета.

— Как это — нервный срыв? — поинтересовался

он и тут же добавил: — Извините. Можете велеть мне заткнуться.

— Это трудно передать. Но ощущения не из приятных.

— Почему с вами это случилось? — не отставал Бернард.

— Погиб мой старший брат.

— Ну что меня несет на вопросы? — спохватился парень. — У вас были хорошие отношения?

— Я преклонялся перед ним.

— Я напишу письмо, — заявил Бернард. — О том, какой вы потрясающий тренер. Только скажите, куда его отправить.

— Не беспокойся об этом, — улыбнулся я. — Но у меня к тебе будет просьба.

— Какая?

— Хочу послушать твою скрипку.

— Это проще простого. — Бернард щелкнул замком футляра. — Что вам исполнить?

— Как насчет Чаконы? — спросил я.

Бернард провел смычком по струнам. В это время к платформе подали поезд. Парень играл великолепно и, что меня особо удивило, со страстью.

— Знаешь, Бернард, если бы я так умел, я бы к мячу даже не притронулся, — заключил я, когда

стихли завершающие звуки.

— А разве плохо, когда играешь и на скрипке, и в футбол? — возразил он.

— Нет, конечно. Пришли мне как-нибудь весточку. Мне интересно, как у тебя пойдут дела в новом сезоне.

— Обязательно, сэр, — пообещал Бернард, укладывая инструмент в футляр.

Я подал ему пакет из универмага «Мейси».

— Что это? — осведомился Бернард.

— Новый футбольный мяч. В лагере сам его надуешь. А потом найди себе приятеля, с кем можно будет его попинать. И вообще, Бернард, постарайся стать более общительным. Заведи друзей. Не груби учителям. И будь внимательней к своим словам и поступкам.

— Мой отец возненавидел вас, тренер Винго, — сообщил Бернард.

— Зато он любит тебя, — улыбнулся я. — До свидания, Бернард.

— Спасибо вам за все, тренер, — дрогнувшим голосом произнес парень, и мы с ним обнялись.

В тот же день мне позвонил Герберт Вудруфф и предложил прийти на ужин после его субботнего концерта. Я удивился: зачем приглашать неприятного тебе человека в свой дружеский круг? Но

ведь я родился в Южной Каролине и не понимал всех тонкостей общения, принятых в больших городах.

Я появился в зале за несколько минут до начала концерта. Сьюзен уже находилась в ложе. На ней было длинное черное облегающее платье. Я сел. Доктор Лоуэнстайн наклонилась и поцеловала меня. Черный цвет добавлял чувственности застенчивой красоте Сьюзен.

— Том, хочу вас познакомить с нашими друзьями — Мэдисоном и Кристиной Кингсли.

Я обменялся рукопожатием с одним из самых известных американских драматургов и его женой.

— Лоуэнстайн, тут нет поблизости кого-нибудь еще из знаменитостей? — прошептал я. — Будет чем похвастаться, когда вернусь в Южную Каролину.

— Кингсли — наши соседи. Живут на третьем этаже, — тихо отозвалась она. — Мэдисон и Герберт знакомы еще с начальной школы. Кстати, Герберт рассказал мне, как прервал вашу тренировку в парке.

— Судя по всему, он был весьма рассержен, — заметил я.

— Том, будьте сегодня с Гербертом поосто-

рожней, — предупредила Сьюзен, сжав мне руку. — Он бывает очаровательным, бывает невыносимым, но он всегда непредсказуем.

— Хорошо, — пообещал я. — Доктор, вас не удивляет, что он пригласил меня на ужин?

Сьюзен повернулась ко мне. Ее черные волосы разметались по плечам. Кожа имела приглушенный блеск, какой имеет тончайший фарфор. В кабинете доктор Лоуэнстайн скрывала свою красоту под практичными деловыми костюмами. Но в этот раз Сьюзен не постеснялась показать все изгибы красивого тела. В ее глазах была все та же привычная мне меланхоличность, однако сейчас они смотрели на меня в полумраке концертного зала, подсвеченные сиянием женственности. Аромат духов Сьюзен кружил мне голову и пробуждал желание. Мне было стыдно, хотя и не слишком, за всплески страсти к психиатру своей сестры.

— Я была просто шокирована, — призналась Сьюзен. — Возможно, вы ему вдруг понравились. Хотя…

До нас доносилась перекличка настраиваемых инструментов. Потом занавес поднялся. На сцене стоял безупречный элегантный Герберт Вудруфф. Он сдержанно кивнул в ответ на аплодисменты и

подал знак музыкантам, которые встали и тоже поклонились публике.

Я почти забыл о существовании печальной заплаканной блондинки-флейтистки, которую встретил в приемной доктора. Я не думал о ней до того момента, пока не увидел на сцене. Тогда я разом вспомнил все: что ее зовут Моник, что я еще не встречал более прекрасной женщины, что я соврал ей о себе, назвавшись юристом, и что Сьюзен подозревает эту блондинку в интимных отношениях с Гербертом. Моник села на свое место и плавным движением поднесла к губам флейту. Она сделала глубокий вдох и выдохнула мелодию, рожденную радостной гармонией звуков. Своими пальцами, губами и дыханием Моник наполнила зал музыкой Вивальди. Внезапный, страстный взмах руки — и Герберт Вудруфф откликнулся. Флейта и скрипка повели свою утонченную эротическую беседу. Герберт извлекал звуки из скрипки так, словно разматывал рулон шелка, лежащий на столе портного. Его подбородок покоился на деревянном теле инструмента, напоминающем женское. В его руках и пальцах была светлая сила. Во время игры Герберт отчасти превращался в танцора и спортсмена. Потоки музыки

смешивались и перетекали друг в друга, задавая вопросы на языке молока и меда и давая ответы языком бури. Камерный ансамбль превратил концертный зал в удивительное место, где впору было рождаться бабочкам и ангелам. Два часа мы внимали голосам безупречно изготовленных музыкальных инструментов. Герберт Вудруфф наглядно демонстрировал силу и безграничную широту гения. Каждое движение его смычка подчинялось некоему священному порядку. Он был настоящим жрецом исполнительской техники, умеющим приводить публику в восторг виртуозным сочетанием жара и холодной сдержанности. Никогда еще я так не завидовал другому человеку. Когда-то я был способен послать футбольный мяч на пятьдесят ярдов. Я гордился этим, однако сейчас подобная способность показалась мне жалкой дешевкой. Под звуки финальной сонаты Баха, разрывающей пространство своей тайной гармонией, я размышлял о том, что в моей семье никто не знает нот и не умеет ни на чем играть.

Мы стоя рукоплескали Герберту Вудруффу и троим музыкантам его ансамбля, служившим оправой этому бриллианту. Я аплодировал и думал, что меня тяготит не отсутствие у меня таланта, а полное смирение с этим фактом.

Круг приглашенных в квартиру Герберта и Сьюзен был весьма узок, и мое включение в него казалось мне странным и вызывало некоторую тревогу. Я поехал на такси вместе со Сьюзен и четой Кингсли. Только в машине я по-настоящему ощутил всю избранность тех, кто удостоился этого ужина.

Сьюзен держалась отрешенно. Она сразу направилась на кухню и почти не выходила оттуда, помогая горничной. Я смешал коктейли для Мэдисона и Кристины. Я рассказывал им о жизни в Южной Каролине, когда в гостиной появился Герберт, держа под руку Моник. Его худощавая фигура еще хранила отсвет блестяще проведенного выступления, в его жилах вовсю пульсировал адреналин, полученный от игры и зрительских оваций. Такое состояние я видел у футболистов, уставших, но перевозбужденных после удачно проведенного матча. Чувствовалось, что Герберт пытается удержать неповторимые мгновения концерта. В его глазах сохранился экстаз недавнего триумфа. Маэстро Вудруфф одарил меня на удивление очаровательной улыбкой.

— А-а, южный парень тоже здесь. Я рад, что вы смогли прийти.

— Вы были великолепны, — сказал я ему.

— Мы еще никогда вместе так здорово не играли, — призналась Моник.

Герберт представил ее мне.

— Мы знакомы, — отрезала она, и по ее тону я понял: в подробности нашего знакомства лучше не вдаваться.

— Хотите чего-нибудь выпить? — предложил я обоим.

— Сделайте мне шотландского виски со льдом, — попросил Герберт. — И бокал белого вина для прекрасной Моник. А пока вы готовите нам выпивку, хочу сыграть что-нибудь лично для вас, Том. Полагаю, еще рано укладывать спать шедевр Страдивари. Так что заказывайте.

— Я слабо разбираюсь в классической музыке, — заметил я, наполняя бокал виски. — С удовольствием послушаю любую вещь в вашем исполнении.

— А знаешь, Моник, наш друг Том — футбольный тренер из Южной Каролины, — сообщил Герберт, прикладывая инструмент к подбородку.

— Я думала, он юрист, — с заметным недоумением произнесла флейтистка.

— Я тут никак не мог понять, с чего вдруг Бернарду расхотелось быть скрипачом, — продолжал Вудруфф-старший. — Оказалось, Том обучал его

истинно мужскому занятию — игре в футбол.

— А я считал, что твой сын далек от спорта и даже не представляет, как выглядит мяч, — вступил в разговор Мэдисон Кингсли.

— Замечательно, что у Бернарда появился хоть какой-то интерес, — добавила Кристина.

Я чувствовал, что становлюсь центром внимания, но радости от этого не испытывал. Внутри у меня все напряглось. Однако я как ни в чем не бывало улыбнулся, подавая Моник вино. Затем поставил на кофейный столик виски со льдом для Герберта. Уроженцы Юга часто ошибаются, думая, будто достаточно повести себя со старомодной учтивостью, и собравшиеся тут же от тебя отстанут. Я понимал, что своим присутствием нарушаю равновесие этого изысканного общества. Возможно, даже представляю для него некоторую угрозу. Но я и сам ощущал опасность в пристальном взгляде Герберта. Музыкант буквально не сводил с меня глаз. И зачем только я сюда пришел? Но мысль о допущенной ошибке явилась ко мне слишком поздно. Теперь оставалось лишь искренне погрузиться во все развлечения, какие обещал вечер после сольного концерта маэстро Вудруффа. До сих пор мне казалось, что я обладаю свойствами человека-хамелеона и могу подстро-

иться под любую компанию. Я вообразил себя героическим слушателем, благодарно впитывающим чужую мудрость. К тому же я обладал присущим каждому южанину качеством — знал свое место. Все это за доли секунды пронеслось у меня в голове. Я отдался течению. Будь что будет.

Дурные предчувствия не ушли, но на более глубинном уровне я воспринимал приглашение в этот дом как подарок судьбы. Слишком много вечеров я провел один, в замкнутом пространстве сестринской квартиры. Одиночество приятно в меру, но когда ты вынужден поглощать его лошадиными дозами, оно делается невыносимым. От одних только человеческих голосов в этой уютной гостиной я подобрел и размяк. К тому же мною владело любопытство. Было интересно взглянуть на знаменитость в домашней обстановке, послушать, о чем он будет говорить, склонившись над салатом. Мне хотелось быть частью вечера, и я верил, что сумею завоевать сердца собравшихся, проявив свойственные южанам рыцарство и галантность.

Герберт Вудруфф нашел для меня композицию. На своем шедевре Страдивари он заиграл «Дикси».

Наверное, никогда еще эта незамысловатая мелодия не исполнялась так виртуозно и с такой подчеркнутой иронией. Чтобы усилить гротеск, Герберт подражал неуклюжим движениям плохого деревенского музыканта. Окончив играть, он с лукавой улыбкой посмотрел на меня. В это время из кухни вышла Сьюзен. Вид у нее был испуганный и сердитый.

— Ну как, Том? Что вы об этом думаете? — спросил меня Герберт.

— Что Бетховен умел сочинять приятные песенки, — ответил я.

Собравшиеся засмеялись. Сьюзен предложила нам пройти в столовую.

Прежде чем туда отправиться, Герберт залпом осушил свой бокал и налил себе еще. Он сел во главе стола. Слева от него устроилась Моник, справа — Кристина Кингсли. На тарелках лиможского фарфора подали закуски. Еда была скорее красиво оформленной и удачно подобранной по цвету, нежели вкусной. Зато вино оказалось настоящим «бордо», мой язык сразу же ощутил этот непередаваемый букет. К моему несказанному облегчению, за столом восстановилось утраченное равновесие. Казалось, Герберт совсем позабыл обо мне. Вначале он о чем-то шептался с Моник,

затем началось то, что отлично умеют делать в Нью-Йорке: оживленный разговор со взаимными выпадами. Главными участниками были двое — Герберт Вудруфф и Мэдисон Кингсли.

Их общение отличалось наличием смелых утверждений и полным отсутствием почтения к предмету обсуждения. Каждое слово казалось умело выбранным, отличалось спонтанностью и язвительностью. Я довольно громко смеялся над грубоватыми эпитетами Мэдисона, которыми он награждал собратьев по перу, не снискавших и половины его известности. Женщины изъяснялись кратко, в основном добавляя остроумные комментарии или подытоживая очередную тему, затронутую мужчинами. Сам того не желая, я вдруг обнаружил, что запоминаю (или пытаюсь запомнить) интересные фразы драматурга и музыканта. Потом Герберт вспомнил свое выступление на бенефисе Иегуди Менухина. Гости замерли, а он с необычайной подробностью описал каждую деталь своей встречи с Менухиным. Во всем, что касалось музыки, Герберт Вудруфф был серьезным человеком. Когда он закончил, Мэдисон коснулся технических проблем с компоновкой сцен в своей новой пьесе. Они оба вновь погрузились в беседу, которая тут же приобрела

неуловимый оттенок соперничества. Два щедро одаренных человека, достигших вершин успеха каждый в своей сфере, они прекрасно сознавали свое непреложное право доминировать за столом, удивляя и развлекая собравшихся. Они оба были реалистами, оба имели превосходный вкус. Если честно, я наслаждался своей ролью слушателя. Один раз я поймал на себе взгляд Сьюзен и улыбнулся, когда она мне подмигнула. Я утратил бдительность и никак не ожидал, что Герберт Вудруфф снова вспомнит обо мне и из блестящего рассказчика мгновенно превратится в опасного человека.

Мэдисон Кингсли вкратце обрисовал сюжет своей новой пьесы. Он назвал ее «Погода в сухой сезон». Речь шла об антисемитизме в Вене накануне Второй мировой войны. Кингсли рассуждал о трудностях в создании образа добропорядочного гражданина, запятнавшего себя сотрудничеством с нацистами. И вдруг Герберт, перебив друга, обратился ко мне:

— Том, у вас в Чарлстоне сильны проявления антисемитизма?

— Полным-полно, — сообщил я. — Но чарлстонских снобов, Герберт, это не волнует. Они привыкли ненавидеть всех подряд.

— Не могу себе даже представить жизнь на Юге, — заметила Моник. — И что там вообще делать?

— У тех, кто там родился, зачастую не бывает выбора. Так что они вынуждены привыкать, — ответил я.

— Я до сих пор не привыкла к Нью-Йорку, — призналась Кристина, — хотя это мой родной город.

Однако Герберт не собирался выпускать меня из поля своего непредсказуемого внимания.

— Меня интересует ваша реакция, Том. Как вы ведете себя, когда антисемитизм поднимает свою уродливую голову? Например, когда кто-нибудь из ваших друзей вдруг заявляет, что ненавидит евреев?

— Герберт, перестань цепляться к Тому, — вмешалась Сьюзен, с шумом кладя вилку на тарелку.

— Хорошую проблему ты затронул, Герберт, — подхватил Мэдисон. — Именно ее я пытаюсь решить в своей пьесе. Главный герой — Хорст Веркман — вынужден стать нацистом, но в душе он не антисемит. Так что вы делаете в подобных ситуациях, Том?

Моник опередила меня.

— Если я сталкиваюсь с любыми проявлениями расизма, то просто ухожу из этого дома.

— Однако вопрос адресован Тому, — напомнил Герберт. — Как поступает в таких случаях Том Винго? Как поступает наш гость, школьный тренер по футболу из Южной Каролины?

— Иногда так же, как и Моник. — Я нервно взглянул на Сьюзен. — Но чаще прыгаю на антисемитов. Стремлюсь застать их врасплох. Сбиваю с ног и, прежде чем остальные антисемиты, если они есть поблизости, успевают прийти на помощь, разрываю этим антисемитам глотки, зубами выгрызаю голосовые связки и разбрасываю по полу. Я очень жесток к ним.

— Замечательно, Том, — весело сказала Кристина. — А ты, Герберт, вполне заслужил такой ответ.

— Очень остроумно, Том. — Герберт захлопал в ладоши. — А теперь, после вашей маленькой клоунады, давайте серьезно. Что вы в таких случаях делаете? Мне действительно интересно.

— А мне интересно, чтобы ты замолчал, дорогой, — подала голос Сьюзен.

Герберт наклонился вперед. Его расставленные локти упирались в стол, придавая скрипачу сходство с богомолом. Глаза светились сосредо-

точенностью хищника. Что-то происходило, но что именно — я не понимал. Я лишь смутно догадывался, что оказался свидетелем очередного действия давней и печальной пьесы, называемой супружеской жизнью. Герберт был просто ненасытен; казалось, вся его дальнейшая карьера зависела от моих слов. Вероятно, остальные привыкли к такой манере его поведения и не раз наблюдали этот спектакль. Мои недобрые предчувствия были недалеки от реальности. Атмосфера за ужином стала весьма напряженной. Я лихорадочно обдумывал, как мне выбраться из внезапного пекла. На губах Моник я заметил легкую улыбку. Флейтистка явно видела мое замешательство. Я не решался просто встать и уйти. Я попробовал разобраться в ролях остальных участников. Почему вдруг муж приводит в дом свою любовницу, а жена это терпит? Зачем Герберту нужны все эти изощренные приготовления к смертельной атаке на жертву? Вероятно, я совершил непростительный грех, когда подружился с его женой и взялся тренировать его сына. Подобная игра была для меня в новинку, и стараниями Герберта мне предстояло быстро узнать ее правила.

— Том, вы никак язык проглотили? — наруши-

ла молчание Моник.

— Доктор, мне пора идти. — Я поднялся из-за стола.

— Нет, Том. Погодите, не торопитесь, — тут же вмешался Герберт. — Вы принимаете это на свой счет? Напрасно. Изложу в более понятных вам выражениях. Отнеситесь к нашему разговору как к… послеобеденному спорту чертовски умных ньюйоркцев. Нам еще не приходилось ужинать ни с футбольным тренером, ни с южанином. И вполне естественно, нам хочется узнать, что вами движет. Моя жена — еврейка. Должно быть, вы и сами догадывались об этом. Вы не находите очаровательным, что она упорно сохраняет каплю еврейской тождественности, цепляясь за свою неблагозвучную девичью фамилию? Я говорил Сьюзен, что подозреваю вас в антисемитских взглядах. И не вижу в этом ничего необычного. Уверен, что для южан такое — в порядке вещей.

— А вы, Герберт, откуда родом? — осведомился я, опускаясь на свое место.

— Из Филадельфии, Том. Признателен вам за вопрос.

— Герберт, это уже не кажется забавным, — подала голос Кристина.

— Что ты, Кристина. Мы должны подбросить

Мэдисону свежий материал, а то он мучается в поиске новых сюжетов.

— Так вот, Герберт. Я не антисемит. Но я ненавижу всех, кто из Филадельфии, — заявил я.

— Отлично, тренер Том, — похвалил меня довольный Вудруфф. — Видимо, я несколько недооценил нашего южного парня. Но мы вновь подходим к щекотливой теме, от которой до сих пор вы столь искусно увиливали. Как вы поступаете у себя на Юге, когда слышите антисемитское высказывание? Что вы делаете?

— Ничего, — ответил я. — Ничего не делаю и когда слышу антисемитское высказывание, и когда оказываюсь среди тех, кто ненавидит белых южан. Просто сижу и слушаю.

— У меня такое же отношение к Югу, как к нацистской Германии, — продолжил Герберт. — Для меня Юг — воплощение зла. Потому мне и интересны взгляды тех, кто там родился. Кстати, Юг я знаю не понаслышке. Я участвовал в Сельмском марше[172]. Рисковал своей жизнью ради перемен.

---

[172] Примечания: 172

Марш активистов за права избирателей-негров, совершенный в 1965 г. из города Сельма в столицу штата Алабама, город Монтгомери. Этот марш был организован известным чернокожим борцом за равные права Мартином Лютером Кингом.

Его слова заставили меня улыбнуться.

— Все южане, черные и белые, будут вечно вам за это благодарны, мистер Вудруфф.

— Давайте сменим тему, — предложила Сьюзен.

Нараставшее отчаяние сделало ее голос резким, даже пронзительным.

— Ну зачем же, дорогая? — возразил Герберт. — У нас потрясающе интересная тема. Она оставляет далеко позади привычную нью-йоркскую застольную болтовню. Ты не согласна? И потом, мы все у тебя в долгу. Ведь это ты открыла малыша Тома и привела его в наш круг. Человека, который умеет создавать напряженную обстановку. И неприязнь у него настоящая. Настоящие чувства, выражаясь языком моей жены-психиатра. Мы все ощущаем это в полной мере, так что очень признательны нашему другу Тому. Будем честными: вечер тянулся скучновато, пока мы не вызвали его на откровенность. Кто знает, какие глубины посредственности могут нам сегодня раскрыться.

— Мэдисон, скажи Герберту, чтобы он прекратил, — не выдержала Кристина.

— Дорогая, они уже большие мальчики. Сами разберутся.

На лице Мэдисона проступало тайное удовольствие. Я понял: он — любитель подобных зрелищ и, наверное, сам не раз провоцировал их.

— Но почему Том так тебя занимает? — обратилась к Герберту Моник, даже не взглянув в мою сторону.

— Потому что малыш Том просто восхитителен, — заметил Герберт, и я почувствовал, как сникаю под недобрым блеском глаз скрипичного гения. — Моя жена почти все время говорит только о нем. Она пересказывает мне некоторые его доморощенные поучения и образцы мудрости. Невольно видишь перед собой эдакого современного Марка Твена, лениво жующего слова. Мне нравятся его поступки. Его гордость в духе плантаторов Тары[173]. Его смелость.

Уютный полумрак столовой с золотистыми огоньками свечей становился все более зловещим.

— Том, не обращайте на него внимания, — попыталась сгладить ситуацию Сьюзен. — Должна тебе напомнить, Герберт, Том — наш гость. Прекрати свои наскоки. Ты обещал мне, что не станешь этого делать.

---

[173] Примечания: 173

Плантация, описанная в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».

— Ты права, дорогая, — согласился Герберт. — Это так бестактно с моей стороны. Нет бы мне посочувствовать Тому. Ведь он прибыл в Нью-Йорк не просто так, а из-за своей сестры, бывшей провинциалки, а ныне — известной поэтессы-феминистки, которая, находясь под либеральным присмотром моей жены, недавно пыталась покончить с собой.

— Том, извините меня, — упавшим голосом пробормотала Сьюзен. — Людям свойственно делать ошибки. Иногда кажется, что своему мужу можно доверять.

— Ничего страшного, доктор, — ободрил я ее. — По сравнению с тем, чего я уже наслушался, это мелочи.

Герберт повернулся к жене.

— Не надо мелодраматических фраз, дорогая. Мы же все знаем, как ты гордишься своей клиентурой литературных психопатов. Да, Том, в высоких артистических кругах Нью-Йорка профессиональные услуги моей жены очень востребованы. Сьюзен постоянно сыплет именами знаменитостей, будто бы невзначай. Мы уже привыкли к этой ее милой особенности.

— Сьюзен — чудесный психиатр, — заявила Моник. — Знаю по собственному опыту.

— Моник, не надо защищать меня от Герберта. Он принадлежит к тем мужьям, кому скучно нападать на жену и унижать ее с глазу на глаз. Он всегда позаботится о зрителях. Таких, как он, гораздо больше, чем ты думаешь. У себя в кабинете я постоянно выслушиваю похожие истории. Том, прошу у вас прощения за все сегодняшние выходки Герберта. Вы мой друг, и это для него самое чудовищное преступление. А тут еще и Бернард к вам привязался.

— Не могу поверить, что вы с Томом просто друзья, — заметила Моник, кокетливо помахивая изящным пальчиком.

— Заткни свой поганый рот! — крикнула Сьюзен, поднимаясь на ноги.

— Что? — ошеломленно промямлила Моник. — Это всего лишь мое мнение.

— Держи свою пасть на замке! — негодовала Сьюзен. — А ты, Герберт… если услышу хоть слово в адрес Тома, переколочу все тарелки о твою гениальную голову.

— Успокойся, дорогая, — произнес улыбающийся Герберт. — Могут подумать, что мы с тобой затеваем семейную сцену. Зачем же создавать ложные представления?

Я не узнавал выдержанную, умеющую владеть

собой доктора Лоуэнстайн. Сейчас она была в бешенстве.

— Вот что, Моник. Убери-ка руку с ширинки моего мужа. Не гляди на меня так. Да-да, руку убери, и подальше. Ты еще попробуй возражать, что не гладила и не дергала его достоинство, пока он оскорблял моего друга. Я достаточно насмотрелась на твои отвратительные трюки, меня уже тошнит от них. Потому-то я обычно и стараюсь рассаживать вас подальше друг от друга. Я еще могу стерпеть, что ты трахаешься с ним наедине, но ваши любовные утехи на публике — это переходит все границы.

Моник вскочила со стула. Она обвела глазами комнату и направилась к выходу. Судя по всему, Герберт впервые за этот вечер потерял контроль над ситуацией. Когда мы с ним встретились взглядами, я сказал:

— Прилив кончился, большой мальчик.

Герберт пропустил эту фразу мимо ушей.

— Сьюзен, иди и немедленно попроси прощения у Моник, — потребовал он. — Как ты смеешь оскорблять…

— Чего замолчал? Договаривай! — кипятилась Сьюзен. — Как я смею оскорблять гостью в нашем до чертиков счастливом доме? Ты об этом?

Ты только что оскорблял Тома, другого гостя в нашем доме. И он не первый. Ты это проделывал со всеми, кого я отваживалась к нам пригласить. Ни у меня, ни у Мэдисона с Кристиной не хватало смелости одернуть тебя. Мы опасались, что все твое изощренное дерьмо обрушится на нас. Но сколько можно бояться? Сам извиняйся перед этой дешевой шлюхой.

— По правилам вежливости, Сьюзен, просит прощения тот, кто обижает, — отчеканил Герберт.

— Вам нравится вечеринка? — спросил я у Мэдисона и Кристины, которые сидели, уткнувшись в тарелки.

— Что, Герберт, никак не встать из-за стола? — Сьюзен рассмеялась. — Поделись с гостями, в чем причина. Хорошо, давай я. Просто у тебя до сих пор стоит торчком после ее поглаживаний и подергиваний. Поднимайся, Герберт. Пусть все посмотрят. Не сомневаюсь, она мастерски управляется с флейтой и иными предметами, отдаленно ее напоминающими. Здесь все, кроме Тома, в курсе, что твой роман с этой флейтисточкой длится вот уже два года. Но мы же такая тесная дружеская компания, всегда готовы подставить плечо. Кристина с Мэдисоном отлично

тебя поддержали, когда минувшей зимой предоставили вам свой дом на Барбадосе.

— Сьюзен, мы не знали, что она туда приедет, — попытался оправдаться Мэдисон.

— Об этом позже поговорим, — прервал его Герберт.

— Тогда, когда ты прекратишь отношения со своей флейтисточкой, — подхватила доктор Лоуэнстайн.

— Всего лишь легкий флирт, дорогая, — заверил Герберт, обретая прежнюю самоуверенность. — Но, как и ты, Сьюзен, я волен выбирать окружение по собственному вкусу.

— Есть небольшое различие. Мы с Томом не трахаемся.

— Рад, что хоть здесь ты все понимаешь, — усмехнулся хозяин дома.

— Герберт, это уже слишком, — простонал Мэдисон Кингсли.

— Помолчи, Мэдисон. И нечего на меня пялиться с благочестивым огорчением. Будто раньше ты не видел наших перепалок со Сьюзен. — Герберт повернулся к жене. — Тебе нравится быть миссис Герберт Вудруфф. Слава — это твоя слабость, дорогая. Знаете, Том, я давно проанализировал характер своей жены. Ее притягивают лишь бо-

гатые и знаменитые. Вы, Том, ничто. А вот ваша сестра — она придает вам значимости. Но повторяю: сами по себе вы — ничто. А теперь, Сьюзен, иди и заглаживай свою вину перед Моник.

— Прежде ты попросишь прощения у Тома.

— Мне больше нечего сказать твоему дружку.

Тут вмешался я, воспользовавшись короткой паузой:

— Доктор, я могу заставить Герберта извиниться перед нами обоими.

— Вы еще здесь, Том? — удивился Герберт. — Вот досада! И каким образом вы заставите меня извиняться?

— Я перебрал несколько вариантов. Вначале подумывал спустить вас с лестницы. Но отверг эту мысль. Такое поведение подтвердило бы, что я — варвар, каким вы меня считаете. Я бы с удовольствием вас поколотил, но мы не мальчишки. Приходится учитывать общественный резонанс. И тогда мне в голову пришла идея. Более остроумная и, несомненно, более культурная.

— Герберт никогда ни у кого не просит прощения, — выразила сомнение Кристина.

Я подошел к столику в дальнем конце столовой и налил себе большой бокал коньяка.

— Для осуществления замысла я должен быть

слегка пьян, — сообщил я собравшимся.

Коньяк легко проскользнул мне в желудок и тут же отозвался горячей волной в крови.

Затем я направился в гостиную. На рояле лежала бесценная скрипка работы великого Страдивари. Я щелкнул замками футляра и подумал: «Я достаточно выпил, раз не боюсь брать в руки этот шедевр».

— Эй, Герберт! — крикнул я. — Южный парень завладел вашим инструментом. Торопитесь, а то пропустите самое интересное.

Когда они прибежали на террасу, я стоял у ограждения, держа скрипку в вытянутой руке. Восемью этажами ниже по ярко освещенной улице неслись машины.

— Том, это же Страдивари, — сделал большие глаза Мэдисон Кингсли.

— Спасибо, я помню. Слышал раз пятьдесят за вечер, — с веселой небрежностью бросил я. — Симпатичная штучка. Напоминает леденец на палочке. И еще кое-что.

— Винго, она стоит триста тысяч долларов, — заметил Герберт, в интонациях которого я уловил легкую тревогу.

— Это пока, Герби. Когда я швырну ее вниз, за нее и десяти центов не дадут.

— Том, вы сошли с ума? — вмешалась Сьюзен.

— Несколько раз со мной такое бывало. Но сейчас я более чем нормален. Извинитесь перед своей женой, Герберт. Я люблю вашу жену. Думаю, она могла бы стать мне самым лучшим другом за всю жизнь.

— Вы просто блефуете, Том, — заявил Герберт.

Что-что, а восстанавливать самообладание он умел. Его голос обретал прежнюю уверенность.

— Возможно. Но как я это делаю! Вы только взгляните, маэстро! Я подкинул скрипку в воздух и поймал ее на лету, перегнувшись через перила балкона.

— Инструмент полностью застрахован, — холодно произнес Герберт.

— Пусть так, Герби. Но если он шмякнется вниз, другого шедевра Страдивари вам не видать.

— Том, вы можете не уважать Герберта. Но скрипка — действительно произведение искусства, — упрекнула меня Кристина.

— Проси прощения у жены, гадина, — велел я Герберту.

— Я очень виноват перед тобой, Сьюзен, — пробормотал он. — А теперь, Винго, верните мне скрипку.

— Погодите, маэстро. Извинитесь перед друзья-

ми за то, что без их разрешения потащили свою подружку на Барбадос.

— Кристина и Мэдисон, не держите зла за ту зиму.

— Больше раскаяния, Герби, — приказал я. — От души. Отключите всякую иронию, иначе ваша скрипочка будет прыгать между такси, словно пляжный мячик.

— Кристина и Мэдисон, я плохо поступил. Простите меня, пожалуйста, — уже без иронии произнес Герберт.

— Твое извинение с благодарностью принимается, — откликнулась Кристина.

— Вот так-то лучше, Герберт, — похвалил я. — Искренность творит чудеса. Остался я. Извиняйтесь за свое непростительное нарушение правил приличия за столом. Печально, что вы не позволяете жене заводить друзей. Впрочем, это не мое дело. Но вы не имели права так себя со мной вести. Слышите, скунс от музыки? Ни малейшего права.

Вудруфф посмотрел на Сьюзен, затем на меня.

— Прошу прощения, Том.

— В вашем голосе, Герберт, недостаточно раскаяния. — Я покачал головой. — Имейте мужество выдержать это унижение. Проявите немного

смирения, прежде чем я навсегда покину этот дом. В противном случае бомжи пустят куски вашей драгоценной скрипки на зубочистки.

— Я виноват перед вами, Том. Очень виноват. — Герберт помолчал и добавил: — Сьюзен, я бы и так это сделал, даже если бы он сейчас не угрожал мне.

— Вот так-то лучше, Герби. — Я подал ему скрипку. — Лоуэнстайн, если я вас обидел, приношу свои самые глубокие извинения.

Устраивать церемонию прощания было ни к чему. Я молча вышел из квартиры и вызвал лифт.

Я стоял на улице и ловил такси, когда за моей спиной раздался голос Сьюзен Лоуэнстайн.

— Так вот почему у тебя в глазах вечная печаль, — сказал я ей. — Надеюсь, сегодня ты многое расставила по местам.

— Ты когда-нибудь занимался любовью с психиатром? — поинтересовалась она.

— Нет. А ты когда-нибудь занималась любовью с футбольным тренером?

— Тоже нет. Но завтра утром я рассчитываю дать другой ответ.

Я поцеловал Сьюзен, такую красивую в своем черном платье. Это было началом моей самой удивительной ночи на Манхэттене.

Проснувшись воскресным утром, мы вновь занялись сексом. Солнце грело мне спину. Кровать сестры вовсе не казалась нам узкой. Потом мы уснули, обнявшись, и проспали до десяти. Я встал первым.

Пройдя в гостиную, я высунулся в окно и крикнул:

— Обожаю Нью-Йорк. Черт возьми, я действительно обожаю Нью-Йорк.

Никто из прохожих даже не поднял головы. Я отправился на кухню готовить омлет для моей гостьи.

— И что же тебя заставило изменить мнение о Нью-Йорке? — спросила из спальни Сьюзен.

— Твое прекрасное грешное тело. Великолепное, сказочное! Оно так потрясающе двигалось, что я вдруг понял ошибочность своих прежних суждений. Понимаешь, до сих пор, приезжая сюда, я ни в кого не влюблялся. В этом-то вся разница. Мне сегодня необычайно хорошо, ничто не испортит моего настроения.

Сьюзен вошла в кухню, и мы поцеловались под шипение бекона на сковородке.

— Ты здорово целуешься, — прошептала она.

— Ты еще не пробовала моего вкуснейшего омлета. А когда попробуешь, уже никогда меня не

оставишь, — пообещал я. — Побежишь за мною куда угодно и будешь умолять повторить это чудо снова и снова.

— Том, тебе понравилась наша ночь? — спросила она.

— Не забывай, Лоуэнстайн, я католик. Мне нравится секс, но только в темноте и когда потом не надо об этом говорить. Весь день я буду чувствовать себя виноватым, поскольку это было фантастично.

— Фантастично? — уточнила она.

— А что тебя удивляет?

— То, что речь идет о сексе со мной. Я всю жизнь получала от мужчин одни жалобы. К тому же я невротичка, и мою уверенность в себе нужно постоянно подтверждать.

В гостиной зазвонил телефон.

— О каких еще ужасах мне поведают, если я отвечу? — задал я риторический вопрос.

— А ты не подходи, — предложила Сьюзен, переворачивая поджарившиеся ломтики бекона.

— Привычка.

Сняв трубку, я едва не рухнул на пол, услышав голос матери.

— Это ты, мама? Вот уж не ожидал.

— Я в Нью-Йорке. Хочу взять такси и приехать

к тебе. Нам надо поговорить.

— Нет! — вырвалось у меня. — Не торопись, мама. Я тут затеял ремонт. Вокруг — сплошной беспорядок. Я только встал и даже одеться не успел.

— Я твоя мать, и мне все равно, одет ты или нет.

— С какой целью ты в Нью-Йорке?

— Хочу встретиться с психиатром Саванны.

— Боже. Ты хочешь встретиться с психиатром Саванны? — специально повторил я, чтобы Сьюзен слышала.

— Пусть немного подождет, пока я натяну колготки, — донесся из кухни голос Сьюзен.

— Мам, но ведь сегодня воскресенье. Здешние психиатры на выходные разъезжаются по своим загородным домам. Сегодня ты не найдешь в Нью-Йорке ни одного психиатра.

— Прошу прощения, сэр, — прошептала Сьюзен. — Один психиатр стоит перед вами.

— Том, я хочу побеседовать с тобой сегодня же, — продолжала мать. — К тому же мне очень любопытно взглянуть на жилище Саванны. Я у нее ни разу не была.

— Мама, дай мне полчаса, я хоть немного приведу это жилище в порядок.

— Не надо никаких лишних хлопот.

Во входную дверь постучали.

— Пока, мама. Жду тебя через полчаса.

Сьюзен уже открыла дверь. На пороге стоял Эдди, держа в руках пакет со свежими круассанами.

— Привет, Салли! Я Эдди Детревилл, сосед Саванны. Много слышал о вас от Саванны и Тома.

— Привет, Эдди. Только меня зовут Сьюзен.

Я повесил пикающую трубку.

— Том, вы меня слышите? Ничто не вызывает у меня такой ненависти, как эта дешевая гетеросексуальность, — заявил Эдди.

Войдя в квартиру, мать приложилась к моей щеке и тут же повела носом.

— Пахнет женскими духами, — заметила она.

— В соседней квартире живет гомосексуалист. Как раз перед тобой заходил. Просил одолжить ему сахарного песку.

— Но при чем тут женские духи? — недоверчиво осведомилась мать.

— При том. Надо знать гомосексуалистов, мама. Они поливают себя духами пуще любой женщины. А еще им почему-то нравятся афганские борзые.

— Я понимаю, насколько тебе противно видеть

меня в Нью-Йорке, — сказала мать.

— Совсем наоборот, — торопливо возразил я, довольный, что мы отошли от темы запахов. — Когда я услышал эту ошеломляющую новость, мне захотелось выбежать на улицу и танцевать от радости. Сделать тебе омлет?

— Я уже завтракала в «Сент-Реджис»[174], — сообщила она.

Я пошел на кухню приготовить матери чашку кофе.

— Твой муж тоже приехал? — спросил я из кухни. — Или он занят покупкой островов Индонезийского архипелага?

— Он знал, что ты не захочешь его принять, потому остался в гостинице.

— Проницательный человек, — усмехнулся я, неся кофе. — Умеет заглянуть мне прямо в душу.

— Сколько еще ты собираешься мстить ему за чужие грехи? Уж если на то пошло, это я виновата, а не он… Кстати, вкусный кофе.

— Возможно, я прощу твоего мужа, когда он будет лежать на смертном одре, — пообещал я. — Я всех прощу на их смертных одрах.

— Даже меня? — уточнила мать.

---

[174] Примечания: 174

Вероятно, имеется в виду нью-йоркский отель на Манхэттене, построенный в 1904 г.

— Тебя я давно простил.

— Нет, Том. Все эти годы ты отвратительно себя со мной вел. Ты и сейчас настолько сердит на меня, что даже глаза отводишь.

— Я, мама, сердит не только на тебя. Я сердит глобально. Охвачен титанической всепоглощающей злостью на всех обитателей планеты.

— Зря я рожала детей, — вздохнула мать. — Делаешь для них все, жертвуешь всей своей жизнью ради их благополучия, а они ополчаются против тебя. Лучше бы мне в двенадцать лет перевязали маточные трубы. Теперь я дала бы этот совет любой девушке.

— Каждый раз, когда мы встречаемся, ты смотришь на меня так, словно хочешь найти врача, который проникнет в прошлое и сделает там запоздалый аборт. — Я приложил к лицу ладони. — Давай не будем болтать о пустяках. Объясни лучше, какая чудовищная причина привела тебя в Нью-Йорк? По какому кругу ада ты намерена прогнать меня на этот раз?

— Том, ты слышишь свои слова? Кто научил тебя быть таким жестоким?

— Ты, мама. А еще ты подала мне пример, как испытывать нежные чувства к человеку, который целиком ломает твою жизнь.

— Это, надо понимать, должно обрадовать материнское сердце. Ты каждой своей фразой намеренно стараешься причинить мне боль.

— Мой единственный способ защиты от тебя, мама. Лучшее оружие в наших с тобой стычках — предельная честность. Хотя она сильно горчит.

— Тебе, наверное, наплевать, когда я признаюсь, что люблю своих детей больше всего на свете. Или ты мне не веришь?

— Верю, мама. Иначе задушил бы тебя голыми руками.

— И это после твоих слов, что ты меня любишь?

— Не надо приписывать мне то, чего я не говорил. Я сказал, что простил тебя. Но я не упомянул любовь. В твоем тощем мешке эмоций это одно и то же. Но для меня это разные понятия.

— Ты говоришь невероятные вещи, Том, — прошептала мать, и ее глаза наполнились слезами.

— Извини, мама, ненароком вырвалось, — сознался я. — Честно, я не хотел тебя обидеть. Но согласись, у нас с тобой есть общая история. Я привык, что у тебя в рукаве припрятан какой-нибудь ужас.

— Не возражаешь, если я закурю? — спросила мать, доставая из сумочки пачку «Вэнтидж».

— Не возражаю, — отозвался я. — Даже не возражаю получить рак легких от дыма, выдыхаемого моей матерью.

— И ты не предложишь мне огня?

— Мамочка, мы на пороге полного освобождения женщин, — устало заметил я. — Мне как-то неловко зажигать тебе сигарету, зная, что ты не веришь в необходимость равных избирательных прав для женщин.

— Неправда, — поморщилась мать. — Но во многом другом я придерживаюсь старомодных взглядов. Мне просто нравится быть женщиной. Мне приятно, когда мне открывают двери или когда джентльмен придерживает стул, на который я усаживаюсь. Разумеется, я не суфражистка и не верю в Поправку о равных правах[175]. Я всегда считала, что женщины намного превосходят мужчин, и старалась не совершать поступков, которые могут убедить мужчину, что он мне равен. А теперь, пожалуйста, дай огня.

Я чиркнул спичкой. Мать поднесла мою руку

---

[175] Примечания: 175

Поправка о равных правах появилась еще в 1923 г., но каждый новый состав Конгресса США в течение почти пятидесяти лет проваливал ее принятие. Даже после ее принятия в 1972 г. ратификация растянулась на многие годы, поскольку администрация ряда штатов оказывала яростное сопротивление предоставлению женщинам равных прав с мужчинами.

с зажженной спичкой к своей сигарете. Таким образом ее просьба была выполнена.

— Как дела у Саванны? — поинтересовалась мать.

— Смирительная рубашка ей очень идет.

— Кажется, Том, ты решил стать комиком. Что ж, я очень рада. Хоть какой-то сдвиг в поисках работы. В таком случае, я арендую тебе концертный зал или ночной клуб, где ты сможешь упражняться в остроумии. Но только не надо пробовать свои шутки на мне.

— Саванна в очень плохом состоянии. За все это время мне позволили увидеть ее всего один раз. Я рассказывал доктору Лоуэнстайн о подростковых годах Саванны. И наше нелегкое детство я тоже описал во всех подробностях.

— И конечно же, ты ощутил необходимость изложить психиатру хронику того дня в подробностях.

— Да, мама. Именно так. Я посчитал это крайне важным.

— Ты настолько уверен в этой женщине, что делишься с ней такими сведениями?

— Вообще-то всякий раз, когда я травил доктору Лоуэнстайн очередную байку, на следующее утро подробности неким таинственным образом

появлялись на страницах «Нью-Йорк таймс». А если серьезно, доктору можно доверять. Она — профессионал своего дела.

— У меня слишком много гордости, чтобы открывать постыдные эпизоды своей жизни совершенно незнакомому человеку.

— А я, мамочка, нахожу это удобным способом завязывать знакомства. Подходишь к первому встречному: «Привет! Меня зовут Том Винго. Однажды меня трахнул в зад беглый зэк, а я его потом прикончил статуей младенца Христа». И между нами моментально возникают добрые отношения.

Мать бесстрастно глядела на меня, выпуская дым.

— А как насчет твоих проблем? Ты с готовностью рассказываешь доктору о тайнах нашей семьи. Надеюсь, о собственных тайнах упомянул?

— Мне, мама, вообще нечего скрывать. Всякий увидит, что я несчастный, отчаявшийся человек. Пародия на мужчину. Подробности лишь добавляют скуки.

— Ты похвастался психиатру, как в прошлом году мы с Салли возили тебя на десятый этаж медицинского колледжа?

— Нет, не стал, — соврал я. — Мне хотелось создать у доктора Лоуэнстайн представление, что моя ненависть к ее профессии возникла на основе обширных книжных знаний, а не из личного опыта.

— Думаю, этой Лоуэнстайн необходимо понимать, что она выслушивает разные истории от человека, который сам побывал в психиатрической клинике.

— Предпочитаю называть то место психиатрическим отделением учебного заведения. — Я закрыл глаза. — Так гораздо лучше для моей самооценки. Мама, я же помню, как ты была шокирована, что я целую неделю проторчал у них на десятом этаже. Но я находился в депрессии. Что еще? Я и сейчас в депрессии, но потихонечку начинаю выкарабкиваться. Невзирая на Салли и ее дружка-кардиолога, я замечательно провожу лето. У меня было время пересмотреть собственную жизнь и жизнь своей семьи. Согласись, мама, это редкая роскошь в наши суматошные времена. Бывает, я даже нравлюсь себе. Ненадолго.

— Я сообщу доктору Лоуэнстайн, что ты солгал ей об изнасиловании и обо всем остальном. — Мать затянулась. — А потом добавлю, что твои мозги, с целью их вправить, угощали солидной

порцией электричества.

— Электрошоковых процедур было всего две. Мне потом пришлось долго восстанавливать память.

— Вот-вот, — подхватила мать. — Я скажу доктору, что у тебя начались нелады с памятью. Путаница, провалы, отчего ты и начал выдумывать разные небылицы.

Мать раздавила окурок в пепельнице и тут же достала вторую сигарету. Я поднес ей зажженную спичку.

— Мама, в Америке люди ежедневно подвергаются насилию. И мы тогда не были ни в чем виноваты. Просто настал наш черед. Пойми, тысячи женщин в Штатах каждый день становятся жертвами преступников. Мужчины, которые это делают, — либо психи, либо животные. Ты в курсе, с какой скоростью растет число изнасилованных в тюрьмах парней? Я не говорю, что это неприятность типа уличного ограбления. Это ужасно, отвратительно. Это навсегда что-то меняет в тебе. Но делать вид, что этого с тобой не случилось, — глупо и бесполезно.

— Я не была изнасилована, — заявила вдруг мать.

— Что-о?

— Ты не видел того, что происходило в спальне. — На глазах матери выступили слезы. — Ничего не было. У тебя нет доказательств.

— Доказательств? Какие доказательства тут нужны, мама? Едва ли вы говорили о фильмах с участием Хамфри Богарта. Причина, почему я в этом сомневаюсь, очень проста. Когда ты выскочила из спальни, ты была совершенно голой.

Мать заплакала громче. Я подал ей платок.

— А ведь мы тогда показали им, Том. Правда? — спросила она сквозь всхлипывания.

— Да, мама. Мы их сделали. Навечно отбили охоту соваться в чужие дома.

— Он делал со мной жуткие вещи, — призналась мать, давясь рыданиями.

— В последние мгновения жизни этот парень лежал под тигром и проверял, нет ли у Цезаря дурного запаха изо рта. Не знаю, как они собирались завершить тот день, но мы полностью изменили их планы. Думаю, в ту ночь у них из глазниц уже торчали корни кудзу.

— Смотри, сколько странностей, Том. Я ругала твоего отца за автозаправку. А ведь если бы он ее не купил, вы бы не поехали в цирк. Тогда не было бы и Цезаря. А ведь это тигр спас нас.

— Люк нашел бы какой-нибудь другой способ, —

предположил я. — Ему всегда это удавалось.

— Не всегда, — заметила мать и замолчала.

Потом она размяла в пепельнице второй окурок и поинтересовалась:

— Когда я смогу навестить Саванну?

— Она не хочет видеть никого из нас. Саванна решает, стоит ли ей вообще поддерживать с нами отношения.

— Ты в курсе, что за три года она мне ни разу не написала и не позвонила?

— И мне тоже. И отцу. Дрянные вещи творятся в нашей семье, мама.

— Мы ничем не отличаемся от всех остальных семей на свете.

— Саванна так не думает. Она убеждена, что наша семья — самая отвратительная за всю историю человечества.

— Вряд ли можно считать Саванну беспристрастным арбитром. Как-никак, она сейчас в психиатрической клинике.

— А по-моему, это придает весомости ее аргументам, — возразил я. — И все-таки, мама, зачем ты приехала в Нью-Йорк?

— Я хочу, чтобы мои дети вновь полюбили меня, — дрогнувшим голосом ответила она.

Я ждал, пока мать успокоится. Она выглядела

надломленной и глубоко уязвленной. Мне с трудом верилось, что я мог обожать эту женщину, которой теперь совершенно не доверял.

— Я не в состоянии исправить прошлое, — выдохнула мать. — Если бы могла, я бы с радостью изменила каждую минуту. Но это не в моей власти. Тем не менее не вижу причин, чтобы остаток жизни мы прожили врагами. Это невыносимо, когда собственные дети тебя ненавидят. Мне нужна твоя любовь, Том. Думаю, я этого заслуживаю.

— Я сердился на тебя, мама, злился, но никогда не переставал любить. Ты учила меня, что даже чудовища — и те люди. Прости, я пошутил.

— Неостроумно, — фыркнула мать.

— Мама, давай вновь станем друзьями. Я серьезно. Возможно, мне это надо даже больше, чем тебе. Да, тебя злит любая моя фраза. Я попробую не говорить тебе гадостей. Честное слово. С этого момента постараюсь вернуть себе статус послушного и прекрасного сына.

— Ты отобедаешь с нами сегодня? — вдруг предложила мать. — Для меня это очень важно.

— С нами? — повторил я. — О боже. Мама, ты просишь слишком много. Почему я не могу вновь проникнуться к тебе нежностью, но при этом сохранить свое неизменное презрение к твоему

мужу? В Америке это сплошь и рядом. Я ведь ему пасынок. А обязанность пасынка — ненавидеть отчима. Это же классический литературный сюжет. Вспомни: Гамлет, Золушка и все такое.

— Том, пожалуйста, сделай мне одолжение. Я хочу, чтобы ты наладил отношения с моим мужем.

— Отлично, мама. Буду рад принять приглашение.

Мать встала, собираясь уйти.

— Я скучала по тебе, Том.

— Я тоже скучал по тебе, мама.

Мы обнялись; было трудно понять, кто из нас плакал сильнее, чувствуя на себе груз многих лет отчуждения.

— Не будь больше такой несносной задницей, — улыбнулся я матери.

— Я имею полное право быть несносной задницей. Я же твоя мать, — рассмеялась она сквозь слезы.

— Мам, сколько хороших лет мы потеряли.

— Мы их наверстаем. Я до сих пор не могу свыкнуться с потерей Люка. Знаю, это из-за него ты меня оттолкнул. Но я оплакиваю Люка каждый день.

— Люк оставил нам немало оснований для

горя.

— Салли просила тебя позвонить ей. Я общалась с ней накануне отъезда.

— Салли собирается уйти от меня. В Нью-Йорке, помимо всего прочего, я учусь жить без Салли.

— Вряд ли она это сделает. Мне кажется, тот человек обманул ее.

— А Салли сама не может поднять трубку и набрать мой номер?

— Возможно, не решается. Она сказала, что в твоих письмах и звонках почувствовала прежнего Тома.

— Прежнего Тома, — повторил я. — Ненавижу прежнего Тома. И нынешнего тоже.

— А я люблю прежнего Тома, — заявила мать. — И нынешнего люблю, за то, что он согласился отобедать со мной и моим мужем.

— Только будь терпелива со мной, мама, — предупредил я. — Многие из твоих слов по-прежнему меня злят.

— Если мы пообещаем любить друг друга, все остальное решится само собой.

— Пусть твой муж накормит меня до отвала. Пусть наше примирение обойдется ему в кругленькую сумму. Хочу, чтобы от этой страшной цифры у него подскочило давление. Сегодняш-

ний обед отнимет у него несколько лет жизни.

— Мы заказали столик в «Фор сизонс», — сообщила мать. — На троих.

— Хитрая бестия! Ты знала, что я поддамся на твои чары.

Мы с матерью встретились в баре отеля «Сент-Реджис». Она сидела одна. Едва я подошел и опустился рядом, она подняла голову, заметив кого-то. Я обернулся. В бар входил ее муж. Я встал, чтобы с ним поздороваться.

— Привет, Том, — улыбнулся он. — Весьма признателен, что ты согласился прийти.

— В прошлом я частенько вел себя как последний осел. Приношу вам свои извинения.

Я пожал руку своему отчиму Рису Ньюбери.

Глава 24



В конце августа 1962 года я поступил в один из колледжей Университета Южной Каролины и, не дожидаясь начала занятий, стал гонять мяч на футбольных тренировках. До меня студентов в семье Бинго не было. Рядовое событие в истории колледжа, однако монументальное в истории семьи. День моего приезда в Чарлстон совпал с первым выходом Люка в коллетонские воды на своей новой лодке, названной им «Мисс Саванна». В тот же день он поймал креветок больше, чем отец. Саванне родители заявили, что раньше ноября они ее в Нью-Йорк не пустят; сначала надо «привести голову в порядок», а потом уже ехать. Сил противостоять родительскому напору у сестры не было, и она нехотя подчинилась. Над нами довлел «обет молчания». Я начал тренировки, снедаемый противным чувством,

что я, наверное, единственный в колледже парень, изнасилованный беглым преступником. Я стыдился раздеваться в душевой, боясь, как бы другие не обнаружили на моем теле каких-нибудь компрометирующих следов. Я поклялся себе начать жизнь заново, вернуть кипучий энтузиазм, исчезнувший после нападения на дом, и показать себя со всех положительных сторон. Увы, удача оказалась переменчива; за годы учебы в колледже мне предстояло узнать, что я — один из множества посредственностей, жаждущих покорять вершины, но не обладающих необходимыми способностями.

В первую же неделю тренер объявил мне, что с моими данными о позиции квотербека придется забыть. Он доверил мне защиту, где я играл все годы учебы, распростившись со многими своими спортивными иллюзиями. Три года подряд мне суждено было выступать во втором эшелоне, следя за вбрасываниями и ударами противников. Только в последний, выпускной год мне удалось с блеском перехватить четыре передачи, и я был включен во второй эшелон университетской сборной. Но сам я за все матчи не провел ни одной передачи и ни разу не бежал с мячом от линии розыгрыша. Мои спортивные качества

были средними, а желания далеко превосходили возможности. Главное, что ценили во мне тренеры, — это неистощимость обманных маневров. Когда соперники прорывались через нашу линию защиты, я напоминал им о себе. Я смело шел на захват; мною двигала целенаправленная ярость, вполне допустимая при моих скромных физических данных. И только я знал, что эта ярость порождена страхом. Во время каждой игры я безумно боялся, хотя держал это в глубокой тайне, которую не собирался открывать миру. Я сделал страх своим преимуществом, и за четыре года он во многом помог мне разобраться в собственном характере. Да, я играл, объятый ужасом, однако ни разу не опозорился. В итоге я горячо полюбил спорт, а также себя — за умение выжимать из страха весь свой пыл, энтузиазм и даже экстаз.

До поступления в колледж я и не представлял, каким простаком и деревенщиной кажусь другим. В команде первокурсников собрались парни со всей Америки. Помню, с какой завороженностью я вслушивался в разговор четырех ребят из Нью-Йорка. Все они были моего возраста, но держались самонадеянно. Сколько важности и уверенности сквозило в каждом их слове и жесте! Мне они казались не меньшей экзотикой, чем

турки, а их быстрая отрывистая речь воспринималась как чужой и отнюдь не благозвучный язык.

В первый год я был настолько захвачен новизной атмосферы колледжа и масштабностью своего превращения из парня с острова в студента, что почти ни с кем не подружился. Я старался везде поспеть, не терял бдительности, держал свои мысли при себе, вбирал в себя все и стремился развиваться, подражая парням из южных городов, вызывавшим во мне восхищение, граничащее с идолопоклонством. Уроженцы Чарлстона — будь то первокурсники или старшекурсники — ходили с величавостью королей. Я усиленно копировал элегантность их манер и раскованную утонченность и пытался демонстрировать такой же живой, подвижный ум. Моим соседом по комнате оказался чарлстонский парень Буафейе Гайар. Ему нравилось, когда его называли просто Бу. В нем сразу чувствовалась порода и унаследованные привилегии. Для меня его имя звучало названием французского блюда. Без тени хвастовства Бу поведал мне, что один из его предков-гугенотов был губернатором колонии, пока не случился мятеж французов против короля

Георга[176]. Я благодарил судьбу, пославшую мне такого приятеля. Мать, узнав, что я делю комнату с человеком из рода Гайаров, просто возликовала. Сейчас-то я понимаю: сам Бу был далеко не в восторге от такого соседства, но этот парень получил слишком хорошее южное воспитание, чтобы хоть чем-то выказать свое недовольство. После первоначального шока он решил заняться моей шлифовкой и взял меня под свою опеку. Бу установил для меня единственное, но непреложное правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не надевать что-либо из его одежды. Шкаф моего соседа был заполнен множеством великолепных костюмов на все случаи жизни — от официальных церемоний до занятий спортом. Вид моего скромного гардероба его явно ошеломил, но опять-таки Бу ничего не сказал. Лишь в его глазах мелькнуло легкое удивление, когда я с гордостью показывал темно-синюю форменную футболку, сшитую матерью ко дню окончания школы. Зато сосед обрадовался, узнав, что я играю в футбол, и спросил, не могу ли я достать для его семьи несколько билетов на матч с Клемсоном. Я тоже

[176] Примечания: 176

Имеются в виду события середины XVIII в., когда французы предприняли ряд шагов, чтобы расширить и укрепить свое влияние в Северной Америке, однако потерпели поражение от войск Георга II.

обрадовался и в течение всех лет учебы исправно снабжал его родных бесплатными билетами, хотя к тому времени мы с Бу уже жили в разных комнатах. Тогда я не знал, что в лице Буафейе Гайара встретил прирожденного политика особого, типично южного склада. В первую же неделю нашего знакомства Бу сообщил мне, что к сорока годам станет губернатором штата. Я не удивился, когда за два года до намеченного срока его действительно избрали губернатором. А тогда в колледже он попросил меня присматриваться к студенткам и обязательно говорить ему о подходящих кандидатурах на роль первой леди штата. Я пообещал, что буду глядеть в оба. Жизнь впервые свела меня с таким человеком, как Бу. Я был неискушенным провинциальным парнем и считал, что если знакомишься с девушкой, то главное, чтобы она тебе нравилась, и неважно, насколько она соответствует твоим карьерным планам на будущее.

Не кто иной, как Бу, заразил меня желанием вступить в одно из студенческих братств. Пока

длилась суматошная неделя[177], мы ходили с ним по разным братствам. Стоило нам оказаться в очередном шумном прокуренном помещении, как Бу сразу же исчезал, оставляя меня один на один с изысканно одетыми «греками». Все они казались мне самыми дружелюбными людьми, каких я только видел. Я проявлял одинаковую любовь ко всем братствам и их членам, однако Бу убедил меня, что моего внимания и усилий достойно только САЭ[178]. Однако я ходил на все обеды, куда приглашали первокурсников, смеялся всем шуткам и высказывал свои мнения по всем темам, какие затрагивались в разговорах.

Когда настало время подавать прошение о приеме, я глубокомысленно почесал затылок и выбрал пять самых популярных в кампусе братств. Приглашения должны были раздаваться в тот же день, с пяти часов. На университетской

---

[177] Примечания: 177

Неделя (иногда две и даже три в зависимости от страны и учебного заведения), в течение которой первокурсники имеют возможность всестороннего знакомства с учебным заведением, в которое они поступили.

[178] Примечания: 178

Сигма-Альфа-Эпсилон — название одного из старейших в Америке студенческих братств (по традиции все они обозначаются тремя буквами греческого алфавита — начальными буквами «тайного» девиза, состоящего из трех греческих слов). САЭ примечательно тем, что было создано в университете Алабамы в 1856 г., еще до Гражданской войны.

почте, там, где шли ряды именных почтовых ящиков, собралась внушительная толпа студентов и студенток. Конверты не были разложены по ящикам одновременно, что еще больше подогревало атмосферу ожидания. То и дело слышались радостные возгласы. Девушек в братства не принимали; у них были свои общины. Обстановка радости захватила и меня. Затаив дыхание, я через каждые десять минут протискивался к своему ящику и заглядывал в узкую щель.

В семь вечера я по-прежнему находился в зале, поглядывая на пустой ящик и успокаивая себя тем, что, должно быть, при раздаче произошла какая-нибудь ужасная ошибка. В восемь, когда настало время закрывать почту, я все еще торчал там, расстроенный и раздраженный. Я даже не заметил подошедшего Бу.

— Я получил пять приглашений, но вступлю только в САЭ. У меня в семье все туда вступали. Идем, отпразднуем. Угощу тебя пивом.

— Мне пока нечего праздновать, Бу, — сообщил я. — Завтра раздача приглашений продолжится?

— Ни в коем случае, — засмеялся он. — Все заканчивается одним днем. Ребята бы с ума посходили, заставь их ждать до завтра.

— Я не получил ни одного приглашения, — по-

жаловался я.

— Неужели тебя это удивляет? — забыв о благовоспитанности, спросил Бу.

— Да, и очень сильно.

— Том, мне надо было заранее тебя предупредить, но я боялся задеть твои чувства. Ты сделался всеобщим предметом для шуток. Все тебя обсуждают.

— Почему? — не понял я.

Ты везде появляешься в одной и той же футболке. Потом кто-то узнал, что ты очень дорожишь ею, поскольку твоя мать сшила ее своими руками. Ты думал, это вызовет взрыв умиления? Кое-кому из девчонок такое нравится: вот как парень ценит мамин подарок. Но в братствах над этим только смеялись, у них еще не было такого, чтобы кто-то ходил по кампусу в одежде домашнего пошива. Возможно, на картине Нормана Рокуэлла[179] это и смотрится, но имидж братства… сам понимаешь. Послушай, тебя что, даже Деки завернули?

— Похоже на то.

— Туда, в общем-то, берут всех. Если уж и они тебя не позвали, тогда у тебя вообще никаких

---

[179] Примечания: 179

Рокуэлл Норман (1894–1978) — американский художник и иллюстратор. Известен изображением сцен жизни провинциальных городков.

шансов. Но ты не расстраивайся. В университете полно отличных ребят, которым вообще плевать на всякие членства. Пойдем лучше пива выпьем.

— Мне нужно позвонить домой.

Телефоны-автоматы находились почти рядом, у дверей почты. Я вошел в темную будку, сел и попытался собраться с мыслями. Меня переполняли боль и стыд. Я стал вспоминать свое поведение во время головокружительной череды вечеринок суматошной недели. Может, я слишком громко смеялся, употреблял не те выражения или чересчур старался понравиться? Я всегда считал, что люди мне симпатизируют. Прежде меня не особо волновало, как я выгляжу в глазах окружающих. Но в тот вечер все изменилось. Вот если бы поговорить со студентами из братств, рассказать им историю этой футболки и то, какое место она занимает в моей жизни. Возможно, они поймут и изменят свое мнение обо мне… Но даже при всей своей наивности я осознавал жалкую никчемность подобного шага. Не понимал я лишь природы сообщества, куда мечтал вступить. И тут мне вспомнилась Коллетонская лига. Как наша мать стремилась туда попасть! И к чему привели все ее лихорадочные усилия? В конце концов, я приехал в колледж не ради братства.

Эта мысль меня немного успокоила. Я набрал знакомый номер. Трубку сняла Саванна.

— Привет, Саванна. Это Том. Как ты?

— Привет, первокурсник, — слабым хрипловатым голосом ответила сестра. Чувствовалось, она еще не до конца оправилась. — У меня все хорошо. С каждым днем набираюсь сил. Не волнуйся, я все равно уеду в Нью-Йорк.

— Мама дома?

— На кухне.

— Саванна, меня не приняли ни в одно братство, — сказал я.

— Для тебя это так важно?

— Да. Сам не знаю почему. Саванна, они все были такими приятными ребятами. Я наслаждался, посещая их встречи, и вдруг…

— Том, они просто лицемерили. Они играли в искренность. Раз они не взяли тебя, то они всего лишь жалкие твари, — заключила сестра, понизив голос, чтобы мать не услышала.

— Должно быть, я сделал что-то не так. Вот только не могу понять, где допустил промах. Представляешь, ребята, которые вообще двух слов связать не могут, получили приглашения. А я — нет. Знаешь, Саванна, колледж — странное место.

— Ты не переживай. Хочешь, я приеду на выходные? Раны на запястьях совсем зажили.

— Не стоит. Я очень скучаю без тебя и Люка. Плохо мне без вас. И мир кажется другим.

— Я всегда рядом с тобой. Помни об этом. А расстояние — чепуха… Мама идет.

— Что-то не хочется с ней говорить.

— Понимаю. Я люблю тебя, Том. Учись как следует.

— Том, здравствуй, дорогой, — услышал я голос матери. — У тебя сегодня великий день. Наверное, до сих пор не отошел от волнений.

— Привет, мама. Я тут много думал и решил повременить с вступлением в братство. Ничего страшного, если я обожду год-другой.

— Твоя мысль мне не кажется удачной, — заявила мать. — Не забывай: братства существуют не ради развлечений. Там ты можешь встретить молодых людей, которые после колледжа окажутся тебе полезными. Нужно видеть перспективу.

— Братства отнимают много времени от учебы. Я тут походил на разные вечеринки. Чувствую — запустил занятия.

— Что ж, это зрелые рассуждения. И все-таки я бы не тянула. Лучше войти в братство сразу же, но если у тебя появились «хвосты»…

— Да, мама. На прошлой неделе я завалил пару контрольных. Куратор уже вызывал меня для беседы.

— Вот уж не ожидала от тебя. Том, если ты лишишься гранта на обучение, мы не сможем оплачивать колледж из своего кармана.

— Знаю, мама. Потому я и считаю, что братство подождет. Науки все-таки на первом месте.

— Теперь ты взрослый человек и сам принимаешь решения… Саванна поправляется. Напиши ей письмо, отговори от переезда в Нью-Йорк. Этот город опасен для девушек с Юга.

— Не опаснее, чем наш остров, мама.

Часто в общении с матерью я доходил до этой черты и… всегда кто-то из нас тут же менял тему.

— Перечисли мне, на какие лекции ты ходишь, — попросила мать, избегая возможных споров.

Попрощавшись в матерью, я продолжал сидеть у телефона. Как смотреть в глаза всем этим милым улыбающимся парням, которые с таким единодушием голосовали против меня? А может, перевестись в другой колледж, поменьше и поближе к дому? Кто-то будет меня жалеть, чего мне тоже не надо. Наверное, лучше поболтаться по кампусу, чтобы не натыкаться в коридорах

общежития на сочувственные взгляды.

В соседнюю будку вошла девушка. Ее лица я не видел. Звякнула брошенная в щель монета. Девушка спросила, можно ли сделать звонок за счет вызываемого абонента. Я уже хотел подняться, как вдруг услышал такой безутешный плач, что застыл на месте. Теперь выходить было просто неудобно. Девушке станет еще хуже, если она поймет, что ее подслушивали.

— Ни одного приглашения, мама. Ни одного! — воскликнула она. — Меня не позвали ни в одну общину.

Я замер, слушая ее слова, без конца прерываемые всхлипами.

— Мама, я им просто не понравилась. Я им не нужна… Да как ты не понимаешь, мама? При чем тут «кого-то обидела»? Я была приветливой. Со всеми… Со всеми, мама. Я старалась… До чего мне плохо… Нет, хуже не бывает…

Минут десять она говорила сквозь плач и замолкала, внимая материнским утешениям. Затем девушка повесила трубку, но продолжала рыдать. Я приоткрыл дверь своей будки.

— Со мной сегодня случилось то же самое. Пойдем запьем это кока-колой.

Девушка вздрогнула и подняла голову. Слезы

катились у нее по щекам.

— А я думала, здесь никого нет.

— Я звонил своей матери. Хотел сообщить ту же новость, но не смог. Соврал. Духу не хватило сказать, что меня не приняли ни в одно братство.

— Тебя не приняли? — удивилась она. — Но ты же такой симпатичный парень.

Ее неожиданная откровенность заставила меня покраснеть.

— Как насчет кока-колы? — промямлил я.

— С удовольствием. Только сначала мне нужно умыть лицо.

— Меня зовут Том Винго.

— А меня — Салли Пирсон. Очень рада с тобой познакомиться. Так я встретил свою будущую жену.

Наша совместная жизнь началась в тот момент, когда каждый из нас был преисполнен жалости к себе и остро переживал горечь поражения, что повлияло на нас обоих. Мне эта неудача подрезала крылья и показала мое истинное место в большой и сложной жизни. Попытка вступить в братство была моим последним поступком, требовавшим смелости и полета воображения. Я сделался осторожным, подозрительным и тусклым. Я научился держать язык за зубами,

постоянно оглядываться назад и с тревогой смотреть в будущее. В конце концов я лишился присущего мне оптимизма и беспечности, что всегда было сильной стороной моего характера и не раз меня выручало. Несмотря на тяжелое детство и недавнее надругательство, я считал мир удивительным, пока САЭ не отказало мне в приеме в свои ряды.

А вот Салли Пирсон была сделана из другого теста. Как и я, она родилась в Южной Каролине, но на северо-западе штата, в крошечном городишке Пельзер[180]. Ее отец и мать работали на хлопкопрядильной фабрике. К тяжелым условиям Салли привыкла с раннего детства, поэтому провал с приемом в общину стал для нее не крушением надежд, а очередным социальным потрясением. По своей наивности Салли думала, что ловец креветок — экзотическая профессия, приносящая много денег. В университет она тоже поступила по гранту. Каждый год фабрика, где «тянули лямку» ее родители, выдавала один такой фант. Не в пример мне, в школе Салли училась только на «отлично», да и в колледже «хорошо» у нее было всего по двум предметам. Ее мотивы отличались

[180] Примечания: 180

Возможно, в 1962 г. там было больше жителей, а вот по результатам переписи 2000 г. в Пельзере жило всего 97 человек.

простотой и эффективностью: при малейшем появлении лени или расхолаживающих мыслей в ее голове включалась «музыка» ткацких станков, а перед глазами вставали изможденные, преждевременно состарившиеся лица отца и матери. Они обрекали себя на изнурительный труд, чтобы их единственная дочь смогла пойти по другому пути. В первый же вечер Салли поделилась со мной, что хочет стать врачом и родить троих детей. Она планировала свою жизнь, как стратег — военную кампанию. Во второй вечер она попросила меня не пугаться и объявила, что решила выйти за меня замуж. Я не испугался.

Такие девушки, как Салли Пирсон, мне еще не встречались.

Каждый вечер мы вместе занимались в библиотеке колледжа. Салли относилась к учебе очень серьезно, эта серьезность передалась и мне. Каждый вечер, кроме субботы, мы садились за один и тот же стол в отделе литературы и погружались каждый в свои учебники. Ежедневно Салли позволяла мне написать ей одно любовное послание, на этом все и заканчивалось. Еще в школе она убедилась, что усердный труд приносит свои плоды, о чем постоянно мне твердила. Сама она сердечных писем не сочиняла, зато составляла

длинные списки планов, которые я непременно должен осуществить.

Дорогой Том!

Ты будешь принят в «Фи-Бета-Каппа»[181]*, твое имя войдет в справочник «Кто есть кто в американских университетах и колледжах», ты станешь капитаном футбольной команды и первым на факультете английского языка и литературы.*

С любовью,

Салли

На обороте я выводил ответ, точнее, вопрос:

Дорогая Салли!

Что такое «Фи-Бета-Каппа»?

С любовью,

Том

Дорогой Том!

Дорогой деревенский недотепа!

Это единственное братство, в которое ты мо-

---

[181] Примечания: 181

Студенческое братство, созданное в 1776 г. в колледже Уильяма и Мэри (Уильямсбург, штат Виргиния). Было первым братством, установившим традицию называться по трем греческим буквам — начальным буквам тайного девиза братства: «Любовь к учебе — проводник по жизненному пути».

жешь вступить. А теперь продолжаем занятия. Хватит отвлекаться.

С любовью,

Салли

Как и Саванна, Салли верила в силу написанного слова. Два года спустя, когда меня принимали в члены «Фи-Бета-Каппа», я пережил удивительные минуты. Оказалось, я был единственным из присутствующих, кто не только слышал об Уильяме Фолкнере, но даже читал его произведения. Я страстно любил лекции по литературе и долго не мог привыкнуть к выпавшему мне счастью — моя учеба состояла в том, чтобы читать самые великие из когда-либо написанных книг. У меня начался длительный роман с факультетом английского языка и литературы университета Южной Каролины. Мои сокурсники удивлялись, что футболист способен написать фразу на правильном английском и не наделать ошибок. Они не знали, что я рос вместе с сестрой, которой предстояло стать лучшей поэтессой на американском Юге, и что каждый вечер я занимался рядом с девушкой, ограничившей свой список целей всего одной: произнести прощальную речь по окончании колледжа.

Однако мою мать вовсе не умиляло, что я влюбился в «девчонку из фабричного городишки». Мать делала все, надеясь отвратить меня от Салли. Она послала мне несколько писем о том, какую девушку следует выбирать в спутницы жизни. Я прочитал их Салли. Как ни странно, она согласилась с моей матерью.

— Да, Том. Фабричный городишка сидит у меня в крови и никуда оттуда не денется, — сказала она. — Я никогда не смогу дать тебе то, что дали бы девушки, о которых говорит твоя мать.

— Но и мне не выбить из себя лодку, чья палуба густо пропахла креветками.

— Мне нравятся креветки.

— А мне нравится хлопок.

— Том, мы им еще покажем. — Салли поцеловала меня. — Пусть у нас с тобой будет не все. Чего-то мы недополучим. Зато у наших детей будет все. Наши дети получат все на свете.

Казалось, только этих слов я и ждал. Я знал, что мы с Салли пойдем рука об руку.

А на футбольном поле я почти три года боролся с чувством неполноценности. Меня окружали потрясающие игроки, ежедневно демонстрирующие, чего мне недостает. Но в межсезонье я буквально дневал и ночевал в зале тяжелой атле-

тики. Я начал планомерно накачивать мышцы. Поступая в университет, я весил сто шестьдесят пять фунтов, а когда через четыре года я покидал его стены, мой вес возрос до двухсот десяти фунтов. На первом курсе я выжимал лежа всего сто двадцать фунтов. На четвертом — уже триста двадцать. Два с лишним года я играл в защите второго состава, проводя весь матч в третьем кольце обороны. И вдруг, когда мы вышли против сборной Клемсона, наш центровой Эверетт Купер получил травму.

Когда Клемсон повел в счете, тренер Басс выкрикнул мое имя.

Бесцветные дни на университетском поле вдруг превратились в золотые.

Идя на перехват подачи, я понимал, что из всех болельщиков мое имя известно лишь Салли, Люку и моим родителям.

Как всегда, мяч установили на специальную подставку. Центровой Клемсона разбежался, и я увидел решительное перемещение противников в оранжевых шлемах и услышал рев шестидесяти тысяч голосов на трибунах. Тем временем мяч взмыл в солнечное Каролинское небо, пролетел по воздуху шестьдесят ярдов, после чего я поймал его в конечной зоне, зажал в руке и припустил

влево.

— Леди и джентльмены! Моя фамилия — Винго! — крикнул я.

На отметке в двадцать пять ярдов один из соперников попытался применить захват, но я сумел вывернуться, бросившись по диагонали. Я направился в сторону нашей защиты и буквально перепрыгнул через двоих наших ребят, которые блокировали двух игроков Клемсона. Я несся по полю, пока не увидел нужного мне защитника, а рядом с ним — просвет, о котором я молил небеса. Я ринулся в этот просвет на открытое поле и почувствовал, что меня пытаются подрезать сзади. Я зашатался, но сохранил равновесие, взмахнув левой рукой. Передо мной, на отметке в тридцать ярдов, стоял последний противник, способный не допустить меня в их конечную зону.

Шестьдесят тысяч зрителей на трибунах не ведали моего имени; исключение составляли лишь четыре человека, которых я любил и голоса которых подбадривали меня на этом стадионе со странным названием «Долина смерти». В мои планы не входило пасть жертвой захвата со стороны нападающего команды Клемсона. Я пригнул голову. Мой шлем ударил ему в грудь на уровне цифр его номера, и этот парень, распластанный

единственным игроком на поле, знавшим имя и стихи Байрона, растаял, словно мартовский снег. Двое других пытались перехватить меня на пятиярдовой отметке, но я оставил их с носом и помчался к конечной зоне. Этот рывок полностью изменил мою жизнь в колледже.

Счет был тринадцать — шесть в пользу Клемсона, до конца матча оставалась еще одна четверть, когда динамики разнесли по стадиону восхитительные слова диктора:

— Том Винго, выступающий в команде гостей под номером сорок три, только что совершил пробег в сто три ярда и тем самым установил новый рекорд в пределах «Конференции Атлантического побережья»[182].

Я вернулся к боковой линии поля, где меня окружили товарищи по команде и тренеры. Но на мгновение я забыл о них. Я размахивал руками и орал во все горло, пытаясь докричаться до одной из верхних трибун, где Салли, Люк и родители стоя меня приветствовали.

Джордж Ланьер принес нам еще одно очко, и мы вступили в последнюю четверть, отставая от

[182] Примечания: 182

Спортивная лига, объединяющая 12 университетов и проводящая соревнования по 20 видам спорта. Создана в 1953 г.

«Тигров» из Клемсона[183] на шесть очков.

До конца игры оставалось две минуты, когда мы остановили соперников на их двадцатиярдовой отметке. Я услышал, как один из помощников тренера Басса посоветовал ему:

— Дайте Винго взять мяч.

— Винго! — скомандовал тренер Басс, и я подскочил к нему, на ходу поправляя шлем. — Винго, сделай так еще.

Тот день стал для меня великим. Слова тренера Басса прозвучали магическим заклинанием, и я, занимая позицию на нашей тридцатипятиярдовой отметке, думал, отчего они кажутся мне знакомыми. Болельщики неистовствовали. Нападающий передал мяч тому, кто должен был ударить. Я следил за их движениями и вдруг представил давнишний закат, когда нам с Саванной было три года, а Люку — четыре. Мать тогда повела нас на причал и сотворила маленькое чудо, якобы заставив луну подняться из-за деревьев нашего острова. И Саванна, замирая от восторга, закричала своим тоненьким голоском: «Мама, сделай так еще!»

— Сделай так еще, — повторил я себе, наблюдая

[183] Примечания: 183

Тигры в этом городке в большом почете. Недаром прозвище Клемсона — Tigertown («тигровый город»).

за полетом неторопливо снижающегося мяча.

Я поймал мяч и оглядел поле.

То был мой первый шаг в пробеге, принесшем мне славу самого знаменитого футболиста Южной Каролины. Потом целый год я грелся в ее лучах. Пока я жив, я буду с восторгом и трепетом вспоминать ту игру.

Поймав мяч на наших сорока ярдах, я кинулся к правому краю поля, но на моем пути уже маячили оранжевые шлемы противников. Трое бросились ко мне с явным намерением произвести захват с левой стороны. Я остановился как вкопанный и переменил направление, устремившись к нашей голевой линии, чтобы по ней перебраться на другую сторону поля. Игрок Клемсона почти догнал меня на отметке в семнадцать ярдов, но его тут же перехватил наш защитник Джим Лэндон. Какое-то время они бежали вровень со мной. Потом я обернулся и увидел нечто поразительное: наша линия обороны практически распалась; все игроки моей команды смотрели, как я несусь вперед, а за мною гонятся все одиннадцать «тигров». Цепочка моих преследователей растянулась на пятьдесят ярдов. Но мои товарищи не ограничивались пассивным созерцанием. Стоило сопернику оказаться у меня на пути, как сразу

кто-нибудь из наших подрезал его, производя захват. Я словно летел внутри колоннады. Тот день подарил мне фантастические мгновения. Я ощущал себя самым реактивным, ловким и обаятельным парнем, когда-либо дышавшим чистым воздухом Клемсона. Я достиг тридцати-ярдовой линии противника даже скорее, чем предполагал. На поле не было ни одного «тигра», способного мне противостоять. Когда я пересек голевую линию, я упал на колени и поблагодарил Бога, сделавшего меня столь быстрым и позволившего пережить поистине королевские, незабываемые эмоции.

А потом Джордж Ланьер принес нам еще одно очко, и мы остановили атаку парней из Клемсона на наших двадцати трех ярдах. Прозвучал финальный свисток. На поле хлынули болельщики. Если бы они раздавили меня, я бы, как пишут в книгах, умер в минуту своего высочайшего триумфа. Фоторепортер подловил момент, когда Салли отыскала меня в толпе, прыгнула мне в объятия, вопя от восторга, и поцеловала в губы. На следующее утро снимок попал в спортивные разделы всех газет штата, наверняка достиг и Пельзера.

В одном из ресторанов комплекса «Файв

пойнтс»[184] родители устроили нам праздничный ужин. Мы просидели до полуночи. Я покидал столик, понимая, что этот восхитительный день позади, отчего мне было немного грустно.

На следующей неделе автомобильные бамперы по всей Южной Каролине пестрели наклейками: «Попробуй обойти Винго, Клемсон!» А в воскресном выпуске газеты «Коламбиа стейт» спортивный обозреватель Герман Вимс посвятил мне целую колонку, назвав спортсменом-интеллектуалом и величайшим секретным оружием в истории южнокаролинского футбола. В статье приводились слова тренера Басса: «Он отнюдь не лучший футболист, но я никогда не сумею убедить в этом команду Клемсона».

В последнем абзаце Вимс писал, что я встречаюсь со студенткой, которая считается первой по успеваемости. Вдобавок она необыкновенно хороша собой. Эта часть заметки нравилась Салли больше всего.

Через две или три недели ко мне явилась целая делегация от САЭ во главе с Бу Гайаром. Меня спросили, не желаю ли я вступить в их братство. Я вежливо отклонил предложение. В течение

[184] Примечания: 184

«Five Points» («Пять лучей») — торгово-развлекательный комплекс в городе Колумбия, штат Южная Каролина.

года меня приглашали еще в семь братств, однако я неизменно отвечал отказом. Никогда еще слово «нет» не звучало для меня с такой неземной красотой. Община «Три Дельты» отправила к Салли самых красивых и влиятельных студенток, настаивающих на том, чтобы она немедленно пополнила их ряды. Лучезарно улыбаясь, Салли сказала:

— Девочки, лучше поцелуйте меня в мой провинциальный зад.

Мне очень понравилась эта фраза.

Больше у меня никогда не бывало столь полного преображения. Все оставшееся время учебы я неплохо играл в футбол, понимая, что щедрость судьбы на этом кончилась. Одарила меня золотом один раз и сочла, что хватит. Будь я по-настоящему талантлив, мне бы выпало много таких дней. А так я должен считать себя счастливчиком и везунчиком, что получил хотя бы один. Впрочем, я не имел права жаловаться. Ведь когда мне было совсем скверно, я встретил девушку, которую буду любить всю жизнь. И потом, фортуна улыбнулась мне, подарив целый день славы, дала почувствовать, каково быть знаменитым. К моему удивлению, ничего особенного.

После окончания колледжа мы с Салли поже-

нились в Пельзере. Люк был моим шафером, а Саванна — подружкой невесты. Медовый месяц мы проводили на острове Мелроуз, в двухкомнатном домике, который Люк построил себе возле моста, получив от отца два акра земли. Саванна решила погостить неделю у родителей. Люк, чтобы не мешать нам, ночевал на своей лодке. Я водил и возил Салли по всем своим любимым местам, рассказывая о жизни прибрежных низин.

По вечерам, обнимая меня, Салли шептала:

— Вот закончу медицинский колледж, и у нас появятся замечательные малыши. Нам уже сейчас нужно учиться их любить.

В то долгое лето мы повторяли самую прекрасную и нежную главу в истории мира. Неторопливо и деликатно мы изучали каждую тайну, каждый секрет, что хранили наши стыдливые тела. Наша близость напоминала длинное стихотворение, написанное щедрым языком пламени.

Медовый месяц закончился, и я пошел к Люку помощником. Мы с Салли поднимались на рассвете и ехали на причал, где стояли суда ловцов креветок. Отец отплывал первым. Люк следовал за ним. Я помогал брату забрасывать сети и следил, чтобы они нигде не запутались и ни за что не зацепились. Набив трюм креветками и

присыпав их сверху льдом, я мыл палубу. Люк стоял у штурвала «Мисс Саванны», держа курс на Коллетон. С каждого фунта пойманных креветок брат платил мне десять центов; так что когда я начал работать в Коллетонской школе учителем английского языка и футбольным тренером, на моем банковском счете уже были деньги.

В конце августа журнал «Сатердей ревью»[185] напечатал первое произведение Саванны в специальном выпуске, посвященном молодым поэтам. Бандероль пришла одновременно с уведомлением о том, что призывной статус Люка изменен на 1-А[186]. Саванна написала антивоенное стихотворение, не зная, что война постучится в нашу семью.

На следующий день Люк заглянул к нам с Салли после работы.

— Что вы думаете насчет этой вьетнамской заварухи? — спросил он.

— Когда она только началась, Салли заставила меня уйти из Службы подготовки офицеров резерва, — сообщил я, подавая брату чашку чер-

---

[185] Примечания: 185

Литературный еженедельник, ориентированный в основном на Соединенные Штаты. Издавался в 1924–1986 гг.

[186] Примечания: 186

То есть годен без ограничений во все виды войск.

ного кофе.

— Из мертвых мужей получаются никудышные отцы, — заметила Салли. — Тому нечего там делать.

— Я вряд ли сумею отвертеться, — вздохнул Люк. — Вчера звонил в призывную комиссию старине Ноксу Доббинсу. Он заявил, что отмазывать ловцов креветок они больше не будут. Якобы этой публики и так предостаточно.

— Что ж, Доббинс нашел радикальный способ уменьшить их численность, — сердито произнес я.

— Том, так они могут и тебя загрести? — уточнил брат.

— Они не призывают учителей мужского пола из провинциальных районов Южной Каролины. Поэтому государство считает, что нам можно платить нищенскую зарплату. А мы будем сидеть тихо и не искать себе другого места, чтобы не загреметь во Вьетнам.

— Ты видел хоть одного вьетнамца? — поинтересовался Люк.

— Как-то разговаривал в Колумбии с желтым парнем. У него китайский ресторан.

— Ну так он из Китая, — вмешалась Салли. — Это не одно и то же.

— По мне — одно и то же.

— Мама считает, что я должен идти служить, — невесело усмехнулся Люк. — Нас ведь учили любить Америку.

— Вот мы и любим. Но при чем тут Вьетнам? Он что, американцам угрожает? — рассуждал я.

— Я ответил матери, что не люблю Америку. Я люблю округ Коллетон, а остальную часть вьетнамцы могут забирать себе. Самое паршивое, что придется лодку продавать.

— Не надо, — запротестовала Салли. — На будущий год, когда начнутся каникулы, Том будет плавать вместо тебя. Так мы сможем хотя бы покрывать выплаты за лодку.

— Пойми, Салли, Том не для того учился в колледже, чтобы ловить креветок, — возразил Люк.

— Том получил образование, чтобы самостоятельно решать такие вещи, — вмешался я. — Хочу сам сделать выбор. Почту за честь поддерживать твою лодку в порядке, пока ты не вернешься.

— Я ценю это, Том, — просто сказал Люк. — Мне будет приятно сознавать, что лодка тоже меня дожидается.

— Люк, надо бороться за себя, — упрекнула Салли. — Соври, что не можешь служить по соображениям совести. Придумай что-нибудь.

— Тогда, Салли, меня отправят в тюрьму. По мне, лучше умереть, чем там оказаться.

Осенью у меня началась размеренная и скучноватая жизнь преподавателя провинциальной школы. Люк выпал из привычного ритма, играя свою скромную роль в единственной войне, которая пришлась на молодость нашего поколения. Я давал уроки в классах, где когда-то мы занимались сами, и гонял мальчишек по футбольному полю, на котором так недавно бегали мы с Люком. Саванна писала антивоенные стихи и участвовала в каждой антивоенной демонстрации, проходившей в Нью-Йорке. А Люк тем временем патрулировал вьетнамские реки в составе морского спецназа — элитного и самого таинственного подразделения военно-морских сил США. Во время, когда никто не штурмовал призывные участки и пытался любыми способами увильнуть от призыва, начальство в военно-морском ведомстве сумело по достоинству оценить моего брата — сильного и сообразительного парня, к тому же отправившегося служить добровольцем. И пока я обучал мальчишек выполнять броски и захваты, а Саванна выбирала произведения для своей первой книжки, Люк постигал премудрости подводных взрывов, парашютных

прыжков с низко летящего самолета, войны с партизанами и бесшумного убийства людей во время нахождения на вражеской территории. Все вместе наши судьбы составляли странную гармонию — гармонию хаоса, когда мир выходит из-под контроля, а звезды меняют свои очертания и устраивают заговор против таких семей, как наша, чтобы использовать их в качестве наживки.

Узнав о том, куда попал Люк, Саванна прислала мне тревожное письмо.

«…Это дурной знак, Том, очень дурной. Мне сразу бросилось в глаза, с каким словом совпадает аббревиатура его морского спецназа[187]. В семейной мифологии Винго это слово имеет только одно значение — опасность. Помнишь, как ты рассказывал мне о матче с командой Клемсона? Той самой, где ты сумел сделать единственные два тачдауна за все годы учебы в колледже? Тебе помогло магическое слово „тигр“. И игроки команды Клемсона называли себя „тиграми“. Это счастливое слово, и нашей семье оно всегда приносило удачу. Но аббревиатура его спецназа… Вспомни того несчастного тюленя в цирке. Вот

[187] Примечания: 187

SEAL (Sea, Air, Land), то есть «море, воздух, суша». Аббревиатура совпадает по написанию и произношению со словом seal — «тюлень».

как тигры поступают с тюленями. Люк, словно тюлень, отправляется в страну тигров. Меня это пугает. Поэты всюду ищут знаки и символы. Прости меня, но я не верю, что Люк вернется».

Я переживал вьетнамскую войну по весточкам от брата, приходящим на адрес школы. Он исправно писал всем членам нашей семьи: родителям, деду с бабушкой и Саванне. Им он отправлял бодренькие послания, полные красивой лжи, где речь шла о закатах в Южно-Китайском море, о названиях экзотических блюд, которые он якобы ел в Сайгоне, о диких животных, замеченных на границе джунглей, а также о шутках сослуживцев. Его письма ко мне напоминали исповедь тонущего человека. Люк говорил про операции по взрыву мостов в Северном Вьетнаме, ночные налеты на вражеские позиции, миссии по спасению попавших в плен американцев и засады на тропах, по которым осуществлялось снабжение партизан. Однажды он проплыл четыре мили по реке и перерезал горло деревенскому старосте, связанному с Вьетконгом. Люк один выжил в ударном отряде, посланном перехватить отступавшую колонну северовьетнамских солдат. Его лучший друг скончался у него на руках, подорвавшись на мине. Но друга убила не мина, а

Люк. Раненый уговорил брата сделать ему укол морфия, сказав, что предпочтет погибнуть, чем вести растительную жизнь без ног и с оторванными яйцами. Этот солдат все равно бы умер, но он умер быстрее, потому что мой брат любил его.

«Том, я совсем не вижу снов, — жаловался брат. — А когда бодрствую, когда мои глаза открыты, они смотрят на сплошные кошмары. Я никогда не думал, что убивать так легко. Легкость убийства — вот что ужасно, Том».

Всякий раз, когда Люк убивал, он просто и сухо сообщал мне об этом и просил поставить свечку за упокой души погибшего, как только я окажусь в Саванне, где был католический собор. В этом соборе нас всех крестили, и для Люка он всегда оставался самым любимым храмом. Мне пришлось тридцать пять раз зажигать свечи перед статуей Божьей Матери Непрестанной Помощи и под дрожащие огоньки читать молитву.

В остальных членах семьи Люк продолжал поддерживать иллюзию, что ему вообще не приходится участвовать в боях. Его послания к родителям казались написанными агентом туристической фирмы, который пытается соблазнить осторожных путешественников восточной экзотикой. Люк собирал в джунглях орхидеи

для матери и засушивал их между страницами Библии, подаренной ему дедом перед отправкой во Вьетнам. Потом эту Библию Люк отправил родителям в качестве рождественского подарка. Она пахла, как увядший сад, из раскрытых страниц выпадали засушенные цветки, и лепестки их напоминали драконов. Впервые в жизни Люк встречал Рождество вне дома.

— Мертвые цветы, — морщился отец. — Ничего себе война. Люк в этом своем Вьетнаме становится сентиментальной девчонкой.

— Мой заботливый малыш, — всхлипывала мать. — Какое счастье, что Бог уберегает его от сражений.

Моя жизнь в Коллетоне была весьма монотонной. Пять часов подряд я преподавал английский язык и литературу, проводя смотры на ненадежном плацу английской грамматики и устраивая своим ученикам марш-броски через чащи страниц «Юлия Цезаря» и «Сайласа Марнера»[188]. Я допустил оплошность, похвастав шись директору своими успехами в колледже. По-видимому, он расценил это как зазнайство и определил

[188] Примечания: 188

Нравоучительный роман Джордж Элиот (псевдоним писательницы Мэри-Энн Эванс), вышедший в 1861 г.

меня учительствовать в девятые и десятые классы. Подростки, у которых бурлили гормоны и которые зверели, не зная, что делать со своим меняющимся телом, откровенно дремали на моих уроках или сидели, раскрыв рот и тупо уставившись в одну точку. А я распинался перед ними о достоинствах активного залога, о правильном употреблении слов «какой» и «который» и пытался пронять их историями о вероломстве Кассия. Слово «вероломство» звучало из моих уст почти постоянно. Я забывал, что нахожусь не в аудитории колледжа, а в школьном классе. Представляю, как этим парням и девчонкам было тяжело меня слушать в первый год моей педагогической карьеры.

Во время перерыва на ланч я приходил в столовую для учителей и совмещал еду с проверкой жутких сочинений моих подопечных, которые ухитрялись до неузнаваемости исковеркать английский язык, изгнав оттуда всякую красоту и стройность. После занятий я переодевался в спортивный костюм, вешал себе на шею свисток и до шести вечера тренировал школьную команду. В семь я уже был дома и принимался готовить обед, служивший нам и ужином. Затем возвращалась Салли, уставшая от дороги в Чарлстон и обратно.

Она снова училась в колледже, на сей раз — в медицинском. Мы снимали домик невдалеке от Амоса и Толиты. Люк предлагал нам поселиться у него, но Салли быстро оценила характер моей матери и решила, что на острове может быть только одна хозяйка. Мне нравилось, что наше новое жилье находится рядом с протокой и в прилив можно нырять прямо с причала. Утром, прежде чем отправиться на работу, я опускал на дно корзину для ловли крабов. А в конце сентября ловил заходящих в протоку окуней. После тренировки, препровождая орущих от возбуждения мальчишек в столовую, я представлял, как Саванна идет в Центральный парк на очередной антивоенный митинг, а Люк ставит мины на одной из рек Северного Вьетнама.

В пасхальные каникулы мы с отцом вытащили «Мисс Саванну» из реки и переместили в сухой док. Там мы отчистили днище от ракушек и старой краски, и я его заново покрасил. Я заблаговременно заказал сети для летнего лова. Потом мы возились с мотором и добились того, что вместо стука он стал негромко мурлыкать. После всего этого мы вновь спустили лодку на воду и отправились в пробное плавание.

В то лето я впервые самостоятельно занимался

ловом креветок и гордо именовал себя капитаном, хотя был всего лишь зеленым новичком в этом прожаренном солнцем сообществе.

«Мисс Саванна» стояла на причале рядом с отцовским судном, и каждое утро мне приходилось пересекать палубу «Мисс Лилы».

— Доброе утро, капитан, — приветствовал меня отец.

— Доброе утро, капитан, — отвечал я.

— Спорим на пиво, что сегодня я поймаю больше креветок, чем ты, — поддразнивал меня отец.

— Не посмею лишать старика его пива, — говорил я.

— А лодка-то великовата для тебя, капитан, — посмеивался отец, глядя на «Мисс Саванну».

Я словно вернулся в детство, когда вот так же стоял на палубе и слушал нескончаемые отцовские монологи про новые способы разбогатеть и заработать миллион. Только теперь не он, а я стоял за штурвалом лодки, сделанной из самой прочной части сосновых стволов, и вел ее по большим и малым протокам, знакомым мне, как свои пять пальцев. Я спокойно поглядывал на буйки и прочие знаки морской азбуки, однако, заплывая в неизвестные места, не спускал глаз с эхолота. Я понимал, что отец гораздо опытнее

меня, и потому старался не уходить далеко от его судна. Зачастую мы работали в тандеме.

Еще на причале мы договаривались, куда направимся. Через какое-то время я сбрасывал скорость, сбавляя обороты мотора с полутора тысяч до девятисот, и слушал музыку лебедки. Айк Браун, нанятый мною в помощники, готовил сети к погружению. Сети уходили под воду и начинали серьезно тормозить лодку. «Мисс Саванна» почти останавливалась. Тогда я еще понижал скорость, доводя ее до полутора узлов.

В то лето я поймал тридцать тысяч фунтов креветок, что позволило мне хорошо платить Айку, иметь самому достойный доход и покрыть все платежи по лодке. Двадцатого августа мой креветочный сезон закончился — нужно было приступать к летним тренировкам. За это время я успел подучить Айка, и тот теперь мог плавать самостоятельно, взяв в помощники своего сына Ирвина. Позже, когда Люк приехал, он ссудил Айку денег для покупки собственной лодки, которую тот назвал «Мистер Люк». Добавлю, что имена лодок никогда не бывают случайными; их дают в честь тех, кого любят или уважают.

Лето близилось к концу. Я начал трудиться в школе, Саванна устроила свое первое публич-

ное выступление, а Люк готовился вернуться в родные края. И вновь невидимые сети тащили нас по невидимым каналам, чтобы восстановить целостность семьи.

Поздним вечером бомбардировщики, как обычно, возвращались с боевого задания. Они атаковали территорию Северного Вьетнама и теперь держали курс на свой авианосец, стоявший в Южно-Китайском море. Тут один из пилотов радировал командованию, что его подбили и ему придется совершить вынужденную посадку на рисовом поле, в миле от побережья. Пилот успел передать точные координаты своего местонахождения, и связь с ним оборвалась. Совещание командования на мостике авианосца было недолгим, а решение — однозначным: парня нужно немедленно спасать.

Операцию поручили младшему лейтенанту военно-морских сил Кристоферу Блэкстоку. Когда начальство спросило, кого он возьмет с собой, Блэксток сразу назвал фамилию: Винго.

Они спустили на воду черный спасательный плот и на нем проплыли по бурным волнам три мили. Луна была полной, что не играло им на руку, однако Люку и Блэкстоку удалось беспрепятственно достичь берега. Плот они спрятали

в пальмовой роще, а сами двинулись в глубь суши.

Примерно через час они нашли самолет. Он упал посреди рисового поля, представлявшего собой множество лужиц, в которых отражалась луна. Позже Люк рассказывал, что это сочетание растительности и воды — самое удивительное зрелище в мире.

Рисовое поле заворожило обоих, однако мирный пейзаж мог скрывать смертельную опасность. Люк и младший лейтенант Блэксток ползли на животах по узкой полоске земли, разделявшей поле на аккуратные сияющие квадратики. У самолета отвалилось крыло. Он лежал на боку и тоже поблескивал под луной; стебли риса, склоненные от ветра, доходили ему почти до самого фюзеляжа. Люку вспомнились соленые болота Южной Каролины, но на вьетнамском поле пахло иначе: тоньше и как-то чувственней.

— Представляешь, Том, это был настоящий рис, а не дерьмо от дядюшки Бена[189], — восхищался потом Люк. — Как ни крути, но вьетнамцы — потрясающие крестьяне.

— Как по-твоему, пилот мог уцелеть? — спро-

---

[189] Примечания: 189
То есть от фирмы «Uncle Ben's».

сил я.

— Нет. Когда мы увидели самолет, то сразу это поняли.

— Тогда что же вы сразу не пошли обратно?

Наш разговор происходил через год после возвращения Люка в Коллетон. Но брат и тогда ответил с гордостью:

— Мы были морскими спецназовцами, Том.

— Но вы напрасно рисковали собой.

— Приказы отдавал Блэксток. Он решил убедиться наверняка. Блэксток был для меня не просто старшим по званию. Первоклассный солдат. Если бы он приказал мне ползти на брюхе до самого Ханоя, я бы пополз.

Когда они приблизились к врезавшемуся в поле самолету, Блэксток жестом приказал Люку прикрывать его, а сам взобрался на уцелевшее крыло и заглянул в пустую кабину. И тут на границе поля и джунглей, среди деревьев, возникло движение. Блэксток едва успел спрыгнуть на хлюпающую землю, как залп автоматного огня из АК-47 начисто снес фюзеляж. Со стороны джунглей к ним бежали северовьетнамские солдаты. Люк насчитал пятерых, чьи фигуры мелькали среди рисовых стеблей. Он подождал, пока ветер пригнет стебли, и одиночными выстрелами

из своего автомата уложил всех, о чем свидетельствовали шумные всплески воды. Но уже в следующее мгновение Люку и Блэкстоку показалось, что против них поднялся весь Северный Вьетнам, преграждая путь к отступлению.

Вьетнамцы решетили самолет из минометов, стараясь зацепить американцев. Люк с Блэкстоком, пригибаясь, побежали по кромке земли. В темноте слышались отрывистые команды на вьетнамском языке. К счастью, самолет по-прежнему принимал на себя значительную часть беспорядочной пальбы. Мой брат и Блэксток удалились от него на максимально возможное расстояние и только тогда переменили направление. Противники не жалели боеприпасов, наращивая интенсивность огня. В ста ярдах от Люка разорвалась ручная граната.

— Ведь их всего около сотни, — шепнул Люку младший лейтенант.

— А я уж подумал, что у них численное преимущество, — отозвался Люк.

— Жаль мне этих ребят. Не знают, что напоролись на спецназовцев, — продолжал Блэксток.

— Вряд ли, сэр, они представляют себе, кто мы такие.

— Давай к деревьям. Там темно, пусть нас

ищут, — закончил короткий разговор Блэксток.

Пока они ползли к спасительным джунглям, северовьетнамские солдаты продвинулись за изрешеченный самолет и обнаружили, что американцы прорвались через засаду. Сзади слышался топот ног, плеск воды и возбужденные крики. Но поле было большим; обилие рисовых чеков и перемычек делало организованные поиски бессмысленными. За считаные секунды Люк и Блэксток убили семерых вьетнамцев и теперь, не обращая внимания на свистящие пули, бросились бежать к спасительной кромке джунглей. Блэксток достиг ее первым. Со стороны деревьев прозвучала одиночная очередь из «Калашникова». Младший лейтенант вскинул свой автомат и ответил. И вдруг он упал. Подбежавший Люк наугад поливал пространство из автомата. Он стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. Тогда Люк подхватил автомат младшего лейтенанта и продолжил пальбу. Когда замолчал и второй автомат, он швырнул несколько гранат. Люк признался мне, что толку от этого не было, но он делал все возможное, стремясь отвлечь внимание противника.

Безоружный Люк оттащил тело Блэкстока от тела убившего его вьетнамца, взвалил себе на

плечи и двинулся к берегу Южно-Китайского моря. Солдаты не прекращали погони, но земля уже была иной. Люк шел и все время прислушивался. При каждом подозрительном шорохе он замирал и дожидался тишины. Свой путь к берегу он воспринимал как долгую охоту на оленей. Брат хорошо знал повадки белохвостых оленей и сполна использовал эти знания. Для оленя каждое движение становилось либо губительным, либо спасительным; все зависело от мудрости сделанного выбора. Оленю помогало еще и развитое обоняние. Люку помогали разум и смекалка. Почти час он прятался под корнями поваленного дерева со странными плодами. Где-то рядом раздавались шаги, голоса, выстрелы. Потом звуки удалились. Выждав еще немного, Люк взвалил на плечи тело своего командира и продолжил идти, ожидая плеска еще далеких волн. Расстояние в полмили заняло у него три часа. Люк не поддавался панике. Он перемещался только тогда, когда был уверен, что поблизости нет ни одного вьетнамца. Люк постоянно твердил себе, что находится на вражеской территории и противник обладает громадным преимуществом, поскольку хорошо знает местность, впрочем, не слишком отличную от прибрежных районов Южной Ка-

ролины; в детстве брат любил забредать в самые глухие уголки. Однако Люка укрывала темнота — это было его главным преимуществом.

В четыре часа утра Люк добрался до берега, по которому как раз шагал патруль с заряженными автоматами в руках. Брат подождал, пока вьетнамцы отойдут на три четверти мили, а затем направился прямо к воде, неся мертвого Блэкстока и не оглядываясь по сторонам. Конечно, в тот момент Люк был легкой мишенью. Но если бы он стал дожидаться рассвета, его шансы уцелеть уменьшились бы до нуля. Он опустил тело младшего лейтенанта на воду, затем вошел сам. За четверть часа Люк миновал прибрежные волноломы и выбрался в открытое море. Он не представлял, сколько времени ему придется провести в воде. Но знал главное: здесь, в соленом море, главное преимущество снова на его стороне. Здесь ни один вьетнамец не сможет тягаться с Люком Винго.

В море он сориентировался по звездам и выбрал направление. Люк проплыл три мили, не оставляя и тела Кристофера Блэкстока. В одиннадцать часов утра их подобрал американский сторожевой катер. К этому времени Люк находился в воде шесть с половиной часов.

Адмирал Тихоокеанского флота захотел лично услышать донесение Люка. Брат доложил, что пилота в сбитом самолете не оказалось, в чем младший лейтенант Блэксток убедился лично. Был ли пилот убит, взят в плен или выпрыгнул с парашютом — ему неизвестно. Далее Люк сообщил, что на рисовом поле они столкнулись с большим отрядом солдат Северного Вьетнама и были вынуждены с боем отступать к берегу. На границе прибрежных джунглей младший лейтенант Блэксток был сражен вражеской автоматной очередью. Люк сумел выбраться из леса, был подобран сторожевым катером и теперь готов продолжать несение службы.

— Рядовой, почему вы с таким упорством тащили за собой тело младшего лейтенанта, зная, что он мертв и ему уже ничем не помочь? — спросил адмирал.

— Нас так учили в лагере подготовки, сэр, — ответил Люк.

— Учили чему?

— Тому, что морской спецназ не бросает своих погибших товарищей, сэр, — сказал Люк.

Когда Люк вернулся в Коллетон, мы устроились с ним на том же мосту, где несколько лет назад праздновали окончание школы. Люк был

награжден медалью «Серебряная звезда» и двумя медалями «Бронзовая звезда».

Как и тогда, мы сидели с бутылкой «Дикой индюшки». Не хватало лишь Саванны.

— Люк, ты научился ненавидеть северовьетнамцев и вьетконговцев? — поинтересовался я.

— Нет. Вьетнамцы вызывали у меня только восхищение. Трудолюбивые люди. Великолепные крестьяне. Умелые рыбаки.

— Но ведь они убивали твоих друзей. Блэкстока, например.

— Когда я попал на то рисовое поле, то подумал, что, возможно, я — первый белый человек, который там появился. Но пришел не на экскурсию. У меня был автомат. Вьетнамцы имели полное право меня прикончить. Они нас не звали.

— Тогда за что же ты боролся? — удивился я.

— Мы живем в стране, где за отказ от службы могут запихнуть в тюрьму. Я зарабатывал свое право вернуться в Коллетон. Больше с нашего острова я никуда не уеду. Я заслужил возможность оставаться здесь до конца своих дней.

— Нам повезло родиться в Америке, — заметил я. — Мы можем не бояться войны на своей территории.

— Не знаю, Том. Мир — до жути поганое место.

— Зато в Коллетоне жизнь как текла, так и течет.

— Потому-то я и люблю Коллетон, — улыбнулся Люк. — Здесь как будто все происходит впервые. Такое ощущение, что пребываешь в раю.

Глава 25



Хотя брак моих родителей и мог бы служить «боевым уставом» по мезальянсам, мне думается, он продержался так долго исключительно из-за силы привычки. Почтение матери к отцу напоминало песчаный берег, подвергающийся непрестанной эрозии. В детстве и подростковом возрасте мне это было очень заметно, но когда у меня появились свои дети, степень уважения Лилы Винго к ее мужу перестала меня занимать. Да и мать обратила свою кипучую энергию на цели и замыслы вне дома. Взрослея, мы утрачивали внушенное матерью восхищение ее необыкновенными качествами, что воспринималось ею как ужасное преступление. Но одновременно мы освобождали мать от ее прежней ограниченной роли, успевшей ей надоесть. Мать давным-давно ждала подходящего момента, когда ее

инстинктивная тяга к власти и интригам найдет применение в провинциальном городке. Когда этот час настал, он не застиг ее врасплох. Одной своей красотой Лила Винго могла бы потревожить сладострастные мечты королей. Однако, соединив внешность с изобретательностью, она могла бы заставить восторженных анархистов и цареубийц принести ей на голубых тарелках веджвудского фарфора головы дюжины королей, украшенные розами и петрушкой.

Впоследствии мы, ее дети, не раз сообща пытались понять, были ли предпринятые матерью действия результатом ее многолетних тщательно продуманных планов, или она обладала гениальной способностью к импровизации и умело воспользовалась подвернувшейся возможностью. Мы давно подозревали, что ее таланты простираются далеко за пределы домашнего хозяйства, но из нас троих только Саванну не удивила напористость и беспринципность матери. Мать никогда не извинялась и не объясняла своих поступков. Она делала то, ради чего появилась на свет. Нашу мать не мучили ни вспышки угрызений совести, ни внезапная потребность в самоанализе.

Она была террористкой, блестяще владеющей

техникой применения своих женских чар; она была королевой бескровного аутодафе. В процессе осуществления своих замыслов она, по сути, съела Генри Винго заживо. Однако за все это матери пришлось дорого заплатить.

В час своего величайшего триумфа, когда она наконец-то достигла славы, почестей и богатств, когда доказала свою ценность и значимость всем, кто прежде недооценивал ее, Генри Винго, сделав отчаянную попытку вернуть ее любовь и уважение, оказался в тюрьме. Но это было не все. Вместо головы короля судьба подала ей голову старшего сына. Горсть праха, а не упоение победой — такой ответ получила она на свои молитвы.

В один из летних дней 1971 года я вместе с Люком ловил креветок возле отмели Кусо. Мы неторопливо двигались к юго-востоку, когда на лодке ожила рация. Вызов исходил от нашей матери.

— Капитан Винго. Капитан Люк Винго. Прошу ответить. Прием.

— Привет, мама. Прием, — отозвался Люк.

— Передай Тому, что он вот-вот станет отцом. Мои поздравления. Прием.

— Я немедленно еду. Прием, — крикнул я в микрофон.

— Это событие означает, что я становлюсь бабушкой. Прием, — напомнила мать.

— Конечно. Мои поздравления, бабушка Лила. Прием.

— Это не предмет для шуток, сын. Прием.

— Поздравляю, Том. Прием, — раздался голос отца.

— Поздравляем, Том, — радировало не менее десятка других капитанов, пока я спешно вытаскивал сети, а Люк разворачивал лодку в сторону Коллетона.

Больница находилась к югу от города. Причала там не было. Люк подвел лодку на максимально близкое расстояние к берегу, я прыгнул в воду и поплыл. В итоге я вбежал в родильное отделение, оставляя за собой лужицы соленой воды. Санитарка принесла мне полотенце и белый халат. Сев возле Салли, я держал ее за руку, пока доктор Кайзерлинг не сказал, что моей жене пора в родильную палату.

Ближе к ночи, в двадцать пять минут двенадцатого, на свет появилась наша первая дочь, Дженнифер Линн Винго. Ее вес при рождении составлял семь фунтов две унции. Все ловцы креветок слали нам цветы и едва ли не весь педагогический коллектив пришел взглянуть на

малышку. На следующее утро дед Амос принес новорожденной Библию в белом переплете, где в середине, на чистой странице, аккуратно выписал все наше генеалогическое древо.

Придя к Салли, мать увидела в больничном коридоре болезненную и перепуганную Изабель Ньюбери. Та легла на обследование, желая выяснить, почему у нее в испражнениях появилась кровь. Привередливая миссис Ньюбери пожаловалась матери на отвратительную больничную пищу, и мать, навещая Салли и малышку, стала приносить Изабель ее любимые блюда. Коллетонская больница не обладала всем необходимым оборудованием, и для уточнения диагноза миссис Ньюбери отправили в Чарлстон. Там подтвердилось: рак прямой кишки. И снова мать взяла хлопоты на себя. Она возила Изабель в Чарлстон и утешала ее до и после тяжелой операции. Из всех своих внучек мать всегда особо выделяла Дженнифер, но вовсе не потому, что та родилась первой, а потому, что моя дочь стала причиной внезапно возникшей крепкой дружбы между матерью и Изабель Ньюбери.

Никто толком не помнит, когда в нашем округе появились отряды геодезистов со своими теодолитами и мерными лентами и начали обширные,

кропотливые измерения земель и границ округа Коллетон. Но большинство соглашается, что это случилось тем летом, когда отдел дорожного движения аннулировал водительское удостоверение моего деда. Амос Винго даже в молодости был на редкость плохим водителем. Теперь же, садясь за руль, он становился угрозой всему живому, оказавшемуся на шоссе или поблизости. Не знаю почему, но дед терпеть не мог очков и никогда их не надевал. Также он считал, что не должен отвечать за проезд на красный свет, если он его не заметил.

— Нельзя вешать светофоры так высоко, — сетовал дед. — Я же не птица, чтобы задирать голову. Когда я в пути, мои глаза смотрят на дорогу, а разум покоится в Господе.

— На прошлой неделе ты едва не сбил мистера Фрукта, — напомнил я. — Говорят, он кубарем откатился на тротуар, чтобы не оказаться у тебя под колесами.

— Не видел я никакого мистера Фрукта, — отмахнулся Амос. — Он всегда был слишком тщедушным для регулировщика. Для такой работы нужен человек внушительной комплекции. Мистер Фрукт стареет. Ему пора менять род занятий. Хватит с него парадов.

— Инспектор Сассер рассказывал, что остановил тебя на Чарлстонском шоссе. Ты ехал по встречной полосе.

— Сассер! — вскипел дед. — Я водил машину, когда родители этого мальчишки еще под стол пешком ходили. Я ведь объяснял этому бревну в шлеме, что был заворожен зрелищем поля, которое облюбовали себе воловьи птицы; их было просто море. Я подумал: это знак от Господа. Наверное, Он желает, чтобы я обратил внимание на этих птиц и вспомнил об изобилии Божьего мира. И потом, на встречной все равно никого не было. Так из-за чего весь шум?

— По-моему, его нужно отправить в приют для престарелых, — заявила бабушка. — Того и гляди, собьет кого-нибудь насмерть на своем чертовом автомобиле.

— У меня организм вполовину моложе моего возраста, — сообщил уязвленный дед.

— Речь идет не о теле, а о сером веществе, — возразила бабушка. — Знаешь, Том, жить с Амосом — все равно что с Мафусаилом[190]. Правда, неизвестно, как у того было с памятью. Твой дед вечно забывает, куда сунул свои вставные челюсти.

---

[190] Примечания: 190

Мафусаил — библейский персонаж, синоним долгожителя. Согласно Библии, жил 969 лет.

Обычно я нахожу их в холодильнике.

— Дед, полиция предлагает тебе самому принести удостоверение, — сказал я.

— Что-то много новых порядков развелось в Коллетоне. Не припомню, чтобы кто-то делал это добровольно.

— Может, ты отдашь его мне? — предложил я. — Сассер грозился сам к тебе наведаться.

— Я обдумаю твои слова. И потом, мне надо посоветоваться с Господом.

— Слышал, Том? — подмигнула мне Толита. — Ему точно пора в приют.

Мы не удивились, что после долгой беседы Господь разрешил деду оставить удостоверение, но потребовал впредь, садясь за руль, надевать очки. Бог для Амоса был сразу всем: полицейским инспектором, посредником и окулистом.

Через два дня дед снова врезался в мистера Фрукта на том же перекрестке. Амос был в очках, но его заинтересовала работа геодезистов. Те измеряли участок, выходивший на улицу Приливов и Бейтери-стрит. Дед не видел красного сигнала светофора, не слышал отчаянных свистков мистера Фрукта, и только когда несчастный регулировщик буквально навалился на капот дедовского «форда» 1950 года выпуска, дед нажал

на тормоз. Мистер Фрукт отделался мелкими ссадинами, однако для дорожной полиции это стало последней каплей в чаше их терпения. Дедовым фокусам за рулем настал конец.

Инспектор Сассер выхватил у Амоса удостоверение и искромсал на куски ножницами своего швейцарского армейского ножа.

— Я крутил баранку, когда тебя еще на свете не было, — обиженно пробурчал дед.

— А я, мистер Винго, хочу дожить до вашего возраста. Если я позволю вам и дальше водить машину, боюсь, живых на дорогах нашего округа не останется. Давайте смотреть фактам в лицо: вы, сэр, человек немощный и на дороге представляете угрозу для общества.

— Немощный! — сердито повторил дед.

Его голос перекликался со стонами мистера Фрукта и сиреной подъезжавшей «скорой помощи».

— Я делаю это для вашего же блага, мистер Винго. И для блага общества, — добавил Сассер.

— Немощный! — продолжал возмущаться дед. — Давай-ка поборемся, парень, и тогда посмотрим, кто из нас немощный. А судьями нам будет весь город.

— Нет, сэр, — возразил Сассер. — Я должен

ехать в больницу. Хочу убедиться, что с мистером Фруктом все в порядке.

В это время моя мать направлялась в аптеку Лонга за лекарствами для серьезно больной Изабель Ньюбери и видела стычку деда с инспектором Сассером. Однако, услышав вопль мистера Фрукта и скрип тормозов дедовского «форда», она тут же нырнула в магазин Вулворта. Мать не любила быть свидетельницей того, как кто-то из Винго оказывается на публике полнейшим придурком. Впоследствии мы выяснили, что мать в тот день была единственным человеком на улице Приливов, который знал, чем в действительности занимаются геодезисты на просторах округа Коллетон.

Через неделю дед написал письмо в «Коллетон газетт» и пожаловался на возмутительное поведение инспектора Сассера, публично изрезавшего на куски его водительское удостоверение. Дед намеревался доказать Сассеру и всему Коллетону, что он вовсе не немощный. Он бросил вызов «этому щенку» Сассеру, заявив, что осуществит сорокамильное путешествие на водных лыжах от Саванны до Коллетона. В случае успешного завершения воднолыжного пробега дед требовал официального извинения от Департамента

дорожного движения и немедленной выдачи нового водительского удостоверения.

Услышав об этом, бабушка начала обзванивать пансионаты для престарелых по всей Южной Каролине, спрашивая, есть ли у них свободные места. А мы с Люком, отложив дела, занялись подготовкой моторной лодки к будущему пробегу. Дед был простым человеком, однако его голову неизменно посещали какие-нибудь идеи, спасавшие от скуки. Когда ему было пятьдесят, он первым в нашем округе встал на водные лыжи и первым в Южной Каролине прокатился на них без специальной обуви. Целых десять лет он удерживал рекорд штата по прыжкам с трамплина на водных лыжах, пока устроители Водного фестиваля обманным путем не включили в соревнование профессионального спортсмена. Увы, все это было в прошлом; к моменту своего дерзкого заявления дед уже десять лет как не вставал на водные лыжи.

— Дед, ты не хочешь приделать к ним колесики? — подтрунивал над ним Люк, когда мы грузили на борт лодки пару новеньких водных лыж.

— То колесо было моей грубейшей ошибкой, — вздохнул Амос. — Тогда все и подумали, что я

начинаю сдавать. Нельзя было осквернять крест колесом.

— Далось тебе это удостоверение, — возмущалась бабушка. — Если тебе куда-то надо, я всегда тебя отвезу. Незачем выставлять свой идиотизм напоказ всему миру. Люди и так знают, что ты никудышный водитель. Зачем показывать им, что ты еще и на голову слаб?

— Господь сказал мне, Толита, чтобы я был более внимательным за рулем. Да, я совершаю ошибки, но не намеренно, а потому что постоянно вслушиваюсь в слова Господа.

— Уж не Господь ли посоветовал тебе этот пробег на водных лыжах? — съязвила бабушка.

— А кто же еще? Не из головы же я это взял, — всерьез ответил дед.

— Не сердись, Амос. Это я так. Ребята, вы уж присмотрите за дедом, — обратилась она к нам.

— Можешь не волноваться, — успокоил я Толиту.

— Кстати, папа, я рассчитываю заработать на тебе сто баксов, — сообщил наш отец, похлопывая Амоса по спине.

— Я не одобряю, когда спорят на деньги, — назидательно произнес Амос.

— И с кем же ты заключил пари? — осведомил-

ся Люк.

— Да с этим сукиным сыном, с этим мальчишкой Сассером, — захохотал отец. — Сассер будет ждать на причале с новым удостоверением, но он считает, что дальше Стенсил-крик деду не уехать.

— Стенсил-крик? Постой. Это же всего в миле от Саванны, — нахмурился дед.

— Ты бы лучше навестил доктора Кайзерлинга. Пусть он тебя обследует, — предложила деду Толита. Потом она повернулась к нам. — Амос в жизни к врачам не ходил.

— Я верю в вас, — вдруг вмешалась Салли. — Вы совершите это путешествие. Обязательно.

— Взгляни сюда, Салли. — Дед с гордостью согнул руку, демонстрируя мышцы. — Господь не наградил мужчин Винго выдающимся умом. Зато сделал их сильными и наделил необычайно тонким вкусом в выборе женщин.

— Как жаль, что меня Господь не наделил более тонким вкусом в выборе мужчин, — подхватила Толита. — Опять ты делаешь из себя посмешище, Амос. Лила даже постыдилась сюда прийти.

— Нет. Она занята с Изабель Ньюбери, — пояснил отец. — С тех пор как Изабель заболела, Лила — будто святая. Днюет и ночует там. Я ее почти

не вижу.

Люк достал из бумажника пять двадцатидолларовых бумажек и подал отцу.

— Вот тебе сто баксов. Можешь спорить с кем угодно, что Амос Винго продержится на лыжах от Саванны до Коллетона.

— А мне вчера из Нью-Йорка позвонила Саванна, — сообщил дед. — Пообещала, что, если я совершу этот пробег, она напишет обо мне стихи.

Мы полезли в грузовичок.

— Боже, до чего у тебя дурацкий вид в этом гидрокостюме, — поморщилась Толита.

— Подожди, пока я вернусь с новеньким водительским удостоверением. Тогда я надену все лучшее и повезу тебя кататься по всему штату.

— Спасибо, что сказал. Я предупрежу мистера Фрукта, — вздохнула Толита.

В моих воспоминаниях о Юге есть удивительные и благоговейные моменты, удерживающие меня в вечном долгу перед жизнью и крепко привязывающие меня к ней. Обычно я боюсь пустоты и бессодержательности, скуки, безнадежности, порожденной бездействием. Смерть при жизни, свойственная среднему классу, — вот что заставляет отчаянно вздрагивать мои нервы

и открывает поры моей души. Если я встаю раньше солнца и ловлю рыбу — я вновь соединяюсь с пульсом планеты. Если же вечером я включаю телевизор, поскольку не могу находиться наедине с собой или семьей, — я подтверждаю свое гражданство в стане живых мертвецов. Все, что связано с Югом, — это наиболее существенная, наиболее яркая часть меня. Вся моя человеческая идентичность обязана своим существованием моим глубинным воспоминаниям о Юге, интенсивность которых обусловлена тем, что я родился и вырос в семье, обладающей фатальной склонностью к необычным поступкам. У нас было принято откликаться на заурядные внешние события так, будто от этого зависит судьба страны. Бравада и экстравагантность были своеобразным павлиньим хвостом Винго, и каждый из нас, оказавшись во враждебной среде, стремился распушить свой хвост и блеснуть всеми красками и оттенками. Мы в большей степени управлялись инстинктами, чем разумом. У нас не получалось перехитрить противников, зато мы всегда удивляли их непредсказуемостью своих реакций. Лучше всего нам удавалось амплуа знатоков риска и опасности. Мы не бывали по-настоящему счастливы до тех пор, пока не затевали

очередную семейную войну с остальным миром. Даже в красивых и благозвучных стихах моей сестры непременно ощущается надвигающаяся опасность. Все ее произведения звучат так, словно составлены из тонкого льда и рушащихся скал. Они обладают подвижностью, объемом, притягательностью. Поэзия моей сестры всегда неслась в потоках времени — дикая и неуправляемая. Совсем как старик, погрузившийся в воды реки Саванны с намерением проделать сорок миль на водных лыжах и доказать миру, что по-прежнему остается крепким мужчиной.

— Эй, дед, судя по всему, сегодня холоднее, чем мы рассчитывали, — сказал я Амосу, стравливая ему буксирный канат. — Сплошные облака, солнца нет, дождь собирается. Может, выберем более удачный день?

— Нас будут ждать на общественном причале, — возразил дед, хватаясь за канат.

— Как хочешь. Хорошо, что прилив нам помогает. Можем не опасаться мелей. Мы будем двигаться по прямой с максимальной скоростью, какую можно выжать из мотора.

— То есть я должен мчаться с ветерком до самого Коллетона? — спросил дед.

— Во всяком случае, туда тебе нужно прибыть

на двух лыжах, — заметил я.

— Разумеется. После пробега я собираюсь показать зрителям несколько трюков на воде.

— Давай только без этого. И запомни, я буду подкармливать тебя апельсинами.

— Что-то не слышал, что водные лыжники едят в пути апельсины.

— Просто ты давно не вставал на лыжи, — крикнул я, перекрывая шум мотора, работающего на холостых оборотах. — Как-никак, тебе предстоит покрыть сорок миль, а на это нужны силы. И следи, чтобы апельсин не ударил тебя по голове, иначе нам придется хоронить тебя в открытом море.

— Не смеши меня, — захорохорился дед.

— А ты мотай на ус, что тебе тренер говорит. — Я поднял вверх оба больших пальца. — Ну что, старик, готов?

— Не называй меня стариком, — потребовал дед.

— Не буду, если продержишься молодцом до самого Коллетона, — пообещал я, глядя на его задранные к небу водные лыжи.

— И как ты будешь называть меня после этого?

— Неистовым стариком.

Люк взял с места, и мы поплыли на юг вдоль

берега, где собралась кучка зрителей, желающих увидеть начало дедова пробега. Раздались приветственные возгласы. Держась за канат, дед плавно встал над водной поверхностью. Он направил лыжи к берегу, обрызгав собравшихся, и, довольный, повернул обратно к лодке.

— Давай без фокусов! — велел я деду, но он уже вошел в раж.

Амос лавировал вправо и влево, начинал бежать, как на настоящих лыжах, и оказывался почти вровень с лодкой.

— Мальчишки любят пошалить! — веселился он.

Дедовская клоунада продолжалась, пока мы не достигли Стенсил-крик и не оказались в водах Южной Каролины. Дед просто держался за канат и позволял силе мотора нести его вперед. Я следил за дедом, Люк — за навигационными знаками. Мы проходили мимо небольших островов; места эти изобиловали мелями. Без солнца зелень деревьев приобрела черный оттенок, а цвет моря из изумрудно-зеленого стал серо-стальным. Лучи еще силились прорваться сквозь нагромождения кучевых облаков, но вдалеке, на севере, собирались зловещего вида грозовые тучи.

Позади лодки на своих лыжах несся наш упря-

мый дед. Он держался стойко; его тонкие, но сильные руки и ноги напоминали карандаши. На теле Амоса не было ни единой лишней жиринки; о таких телах обычно говорят «сжатая пружина». Мышцы рук и предплечий были напряжены, являясь своеобразным продолжением туго натянутого буксирного каната. Лицо, шея и кисти рук были прокопчены солнцем, а плечи сохраняли изначальную белизну кожи. Постепенно вокруг становилось темнее и холоднее, и тело деда все больше приобретало голубоватый оттенок. Мне почему-то вспомнились голубоватые крапинки на яичной скорлупе диких птиц. После десятой мили дед начал дрожать. От недавней бравады не осталось и следа, за нами на водных лыжах ехал уставший старик. Но он по-прежнему стоял на удивление прямо.

— Амос напоминает смерть после разминочных упражнений, — сказал Люк. — Брось ему апельсин.

Я открыл складной нож, вырезал в апельсине лунку, затем перебрался на корму и поднял апельсин над головой. Дед кивком показал, что понял мое намерение.

Я подбросил апельсин в воздух, но не рассчитал высоту. Апельсин прошел слишком высоко.

Дед подпрыгнул, надеясь его поймать, и едва не потерял равновесие.

— Не надо прыгать! Жди, когда апельсин к тебе подлетит, — крикнул я деду.

Подбирая оптимальную высоту и скорость, я подарил волнам еще три плода. Четвертый дед схватил с ловкостью бейсболиста, от успеха которого зависел исход игры. Люк торжествующе помахал ему рукой. Дед с жадностью высосал из апельсина весь сок и только тогда кинул желтоватую мякоть в воду. Такой перекус и в самом деле придал Амосу бодрости и сил. Дед стал подскакивать, держась за канат одной рукой, пока мы не напомнили ему, что силы надо беречь.

— Пятнадцатая миля, — сообщил Люк, когда мы прошли мигающий сигнальный буй, отмечавший вход в Ханаханский пролив.

Бывают моменты, когда понимаешь, из какого теста сделана твоя семья. То был как раз один из таких моментов. В глазах деда мы с Люком видели решимость и твердость характера, записанные в генофонд Винго, и это заставляло нас испытывать гордость, что мы его внуки. На двадцатой миле деда уже заметно трясло. Его глубоко посаженные глаза помутнели. Однако лыжи по-прежнему скользили по зеркалу воды.

Пусть он дрожал от холода и усталости, но держался прямо и по-прежнему был полон желания приплыть в Коллетон.

Мы достигли Коллетонского пролива, и тут дед не выдержал. Поднялись волны — предвестники скорой бури. На севере небо то и дело прочерчивали молнии.

— Дед свалился, — крикнул я Люку.

— Давай к нему, — скомандовал брат, разворачивая лодку.

Описав широкую дугу, Люк перевел мотор на холостые обороты.

Мы приблизились к деду. Я прыгнул, держа над головой апельсин и стараясь, чтобы соленая вода не залила проделанную в кожуре лунку.

— Как ты, дед? — спросил я, подплывая к нему.

— Сассер прав, — едва слышно отозвался Амос. — У меня судороги.

— Где у тебя судороги? Ты, главное, не волнуйся. Тебе крупно повезло. Не каждый водный лыжник возит с собой массажиста.

— Я весь — одна большая судорога, — жаловался дед. — Пальцы ног. Даже зубы свело, хотя они искусственные.

— Съешь апельсин, ложись на спину, а я разомну тебе тело.

— Бесполезно. Судя по всему, меня этот пробег доконал.

Я принялся растирать ему руки и шею. Брат подгреб к нам.

— Люк, дед утверждает, что выдохся.

— Это правда, Люк, — подтвердил Амос.

— Тогда, дед, у тебя серьезная проблема, — заявил Люк.

— Что еще? — простонал дед, не то от боли, не то от моего массажа.

— До Коллетона всего десять миль. Их легче преодолеть на лыжах, чем вплавь, — пояснил Люк.

Он достал из кармана свое водительское удостоверение и поднял вверх.

— Такая же штучка ждет тебя всего в каких-нибудь десяти милях. Я хочу видеть, как вытянется физиономия у этого юнца Сассера, когда ты лихо подкатишь к причалу.

— Том, разотри мне ноги! — велел дед. — А ты, Люк, брось мне еще один сочный апельсин. Никогда не думал, что они бывают такими вкусными.

— Дед, тебе придется отцепить лыжи, иначе я не смогу разминать твои ноги.

— У меня всегда были самые красивые ноги, — вдруг сообщил дед.

Я невольно вздрогнул: Амос начинал заговариваться.

— У тебя всегда были сильные ноги, дед, — поправил я. — Настолько сильные, что они спокойно выдержат десять миль.

— Подумай об Иисусе, идущем на Голгофу, — тоном проповедника произнес Люк, возвышаясь над нами. — Что, если бы Иисус не дошел? Как ты думаешь, дед, где был бы сейчас наш мир? Когда требовалось быть мужественным, Иисус был мужественным. Попроси Господа поддержать тебя.

— Он не ехал на Голгофу на водных лыжах, — возразил дед. — Времена были иные.

— Но если бы понадобилось, Иисус встал бы и на водные лыжи, — убеждал деда Люк. — Он бы сделал все ради спасения человечества. И не жаловался бы, что выдохся. В этом-то и смысл. Иисус бы не сошел с дистанции.

— Том, еще раз помассируй мне шею, — попросил дед. — Что-то ее не отпускает.

Глаза его были закрыты, искусственные зубы впились в апельсин.

— Ты расслабься, дед, — посоветовал я, принимаясь за его шею и виски. — На тебе спасательный жилет. Ты не утонешь. Просто качайся на волнах и дай отдых всем своим мышцам.

— Вспомни, как в Страстную пятницу ты таскал крест три часа подряд, — продолжал подбадривать деда Люк. — Ты ни разу не заканчивал шествие раньше времени. Ты никогда не сдавался, дед. Подумай: уже завтра ты будешь катать нас всех на своем «форде».

— Только без меня, — усмехнулся я. — Брось мне фляжку, Люк. Пусть дед выпьет воды.

Казалось, что Амос заснул на волнах. Он лежал, закрыв глаза, пока не услышал слова Люка:

— Возможно, я зря тебе все это говорю, дед. Залезай в лодку. Ты и так уже сделал Сассера самым счастливым человеком в Южной Каролине.

— Где мой канат? — Дед мгновенно открыл глаза. — И хватит болтать разную чепуху. Не дети уже.

— Дед, смотри, какие волны, — осторожно заметил я.

— Тем сладостнее будет победа, когда я достигну причала.

Я вернулся в лодку и вновь стравил канат Амосу. Дед взялся за него и встал.

— Трогай, — крикнул я Люку.

Мотор взревел, и лодка понеслась по неспокойным волнам. Амос все так же крепко держался, однако сейчас напоминал умирающего. Он

побелел от усталости и соленых брызг. Дед противостоял всему: канату, волнам, ветру, самому себе. А непогода уже вовсю разыгралась над нами. Хлынул ливень; Амос то и дело скрывался за его пеленой. Над островами хлестали молнии; каждым своим ударом гром возражал против затеи деда. Дождь застилал нам с Люком глаза; брат правил вслепую, благо, он прекрасно знал все глубины и коварные места. А дед продолжал воевать с бурей и временем.

— Вдруг мы его угробим? — встревожился я.

— Его угробит, если он не доберется до пристани, — ответил мне брат.

— Смотри, дед опять свалился!

Одна из волн оказалась Амосу не по силам, и он потерял равновесие.

Люк вновь завернул лодку, я вновь прыгнул в воду и, сопротивляясь волнам, погреб к деду, чтобы растереть ему руки и шею. Напряженные мышцы болели, и дед, не стесняясь, кричал, когда я их массировал. Цвет его тела изменился; теперь оно напоминало чучело крупной рыбы, над которым поработал умелый таксидермист. Амос обмяк, его мысли путались. Это пугало меня больше всего, хотя я продолжал усердно мять его руки и ноги.

— По-моему, деда надо поднимать на борт, — обратился я к подплывшему Люку.

— Нет! — сердито прошептал дед. — Сколько еще осталось?

— Всего каких-нибудь семь миль, — сообщил Люк.

— Как я выгляжу? — спросил дед.

— Как совершивший побег из преисподней, — сказал я.

— Не обращай внимания на Тома. Ты выглядишь на миллион баксов, — подбодрил деда Люк.

— Меня надо слушать. Я — тренер.

— А ведь это я учил тебя кататься на водных лыжах, — напомнил дед.

— И при этом всегда считаться с погодой, — заметил я, продолжая растирать его задубевшие ляжки.

— Значит, хорошо научил, — засмеялся дед. — Добросовестно.

— Раз ты это признаёшь, давай в лодку, — скомандовал я. — Ты сделал все, что мог. Ты прошел на лыжах наибольшую часть пути. Никто не посмеет тебя упрекнуть.

— Господь велит мне не сдаваться, — упирался Амос.

— А вот гром велит тебе лезть в лодку.

— Нет, Том. Гром вторит Господу: «Не останавливайся, Амос». Вот что он говорит.

— Тому всегда плохо давались иностранные языки, — засмеялся Люк.

Брат подплыл ближе, втащил меня на борт, а дед вновь встал на водные лыжи.

— Не нравится мне все это, Люк, — признался я.

— Через семь миль тебе это очень понравится, — заверил он, наблюдая, как дед вцепился руками в канат, приготовившись к заключительному этапу своего путешествия.

Люк рванул рукоятку дросселя, и вновь дед помчался против ливня и белоголовых волн. Он делал невозможное. Мне показалось, что дед буквально горит желанием окончить пробег по всем правилам. Его душу воспламенила прежняя страсть к спорту и состязаниям, и этот огонь не могли погасить ни высокие волны, ни ветер, ни буря; они атаковали тело Амоса, но до души им было не добраться.

За две мили до города мы заметили на берегу вереницу машин. Люди смотрели из автомобильных окон, стояли на причалах. Когда зрители увидели Амоса на лыжах, воздух огласился ка-

кофонией гудков и приветственными криками. Машины замигали фарами. Когда мы достигли излучины реки, Амос вновь ухватился за канат одной рукой, а второй весело помахал зрителям, благодаря за признание его победы. У него хватило сил на несколько трюков, что вызвало новый всплеск восторга. Мы плыли вдоль улицы Приливов. Теперь раскаты грома тонули в оглушающем реве автомобильных клаксонов и человеческих голосов. Мост пестрел зонтами всех размеров и расцветок. Дед торжествующе проехал под мостом. Люк направил лодку к общественному причалу, где, конечно же, тоже собралась внушительная толпа. Брат гнал лодку на полной скорости и вдруг резко поменял направление. Дед понесся к причалу, но вовремя отпустил канат. Теперь он двигался по инерции. Несколько секунд казалось, что дед идет по воде. Наконец он достиг причала, где отец тут же подхватил его и вытащил на берег.

Люк вновь развернул лодку, и мы стали свидетелями кульминации благополучно закончившегося пробега: под восторженный рев зрителей Амос Винго получил из рук ошеломленного инспектора Сассера новенькое водительское удостоверение.

Оборотной стороны дедова триумфа мы не застали. На автостоянке дед потерял сознание, и отец спешно повез его в больницу. Доктор Кайзерлинг констатировал у деда крайний упадок сил в сочетании с переохлаждением и велел не менее суток соблюдать постельный режим.

Примерно через год после этого события Толита послала Амоса в магазин за острым томатным соусом к мясу и особой мукой, тесто из которой поднималось быстрее. Дед прошел к нужному стеллажу и вдруг остановился, испустил сдавленный крик и рухнул на груду банок с овощными консервами. Амос Винго умер еще при падении, и напрасно дорожный инспектор Сассер пытался делать ему искусственное дыхание. Говорят, когда приехавшая бригада «скорой помощи» укладывала мертвое тело деда на носилки, Сассер просто рыдал. Дорожный инспектор стал первым, кто в тот вечер проливал слезы по Амосу Винго. Многие в Коллетоне оплакивали деда, понимая, кого они потеряли, и сознавая невосполнимость потери. Ничто так не действует на провинциальный городок, как смерть редкого по своему характеру и душевным качествам человека. Ничто так не затрагивает любую семью южан, как уход личности, столько лет поддерживавшей

хрупкое равновесие в искаженном, утратившем истинные ценности мире. Пусть вера деда имела форму восторженного помешательства, зато его любовь к жизни была вдохновенным гимном Творцу и Агнцу Божьему. Теперь уже не будет писем в «Коллетон газетт» с подробным пересказом доверительных бесед Господа с Амосом. Отныне они смогут общаться лицом к лицу, и дед будет стричь Господу волосы в небесной парикмахерской, под сладкозвучное пение ангелов. Так говорил проповедник Тёрнер Болл в день, когда мы хоронили деда, и его слова звенели под белыми деревянными сводами церкви.

Мне казалось, что в тот день Юг для меня умер. Во всяком случае, я потерял самую яркую и великую часть Юга. Он утратил для меня светлую магию, которую мы привыкли видеть в дедовых нелепостях и чудачествах. Мне вдруг вспомнилось, как дед ловил в банки мух и комаров, а затем относил на задний двор и выпускал, поскольку у него рука не поднималась на Божью тварь.

— Они тоже часть нашего мира. Часть Божьего замысла, — объяснял дед.

Его смерть заставила меня познать тайную мудрость, что естественным образом проистекала из созерцания жизни. Дед отрекся от всего

материального и преходящего. В детстве меня восхищало его бесхитростное рвение в вопросах веры. Став взрослым, я был обречен на вечную зависть к простоте и величию его воззрений, к его пониманию того, что значит быть человеком полноценным и жертвенным. Вся его жизнь была безукоризненным подтверждением его веры, его жертвой. На похоронах я плакал не из-за личной утраты; я знал, что Амос будет всегда со мной. Мне было жаль, что мои дети уже никогда не увидят его и не услышат его изумительных бесхитростных речей. Я могу сколько угодно рассказывать им про их замечательного прадеда Амоса Винго, но все слова останутся словами. Я не в силах передать все совершенство и харизму человека, всерьез принимавшего каждую букву Библии и поступавшего сообразно ей. Он не был странствующим торговцем, он был миссионером, исходившим вдоль и поперек дороги пяти штатов американского Юга. Добродетель — она и есть добродетель, но этого определения недостаточно, чтобы охарактеризовать Амоса Винго.

Под возгласы «Аллилуйя» и «Хвалите Господа» шестеро прихожан начали негромко постукивать по полу основаниями шести новеньких деревянных крестов. То был знак особого уважения к

памяти деда. Они действовали в унисон, наполняя церковь суровой музыкой приговоренных к распятию. Мой отец встал, помог подняться Толите и, поддерживая ее, повел по проходу туда, где находился гроб. Амос лежал с волосами, зачесанными назад, и слегка мученической улыбкой (тут не обошлось без стараний владельца похоронного бюро Уинтропа Оглтри). Дед напоминал мальчика-певчего, только-только вступившего в отрочество. Библия в белом переплете была раскрыта на странице с напечатанными красным словами Иисуса: «Я есть Воскресение и Жизнь». Органист заиграл «Благословенны связующие узы»[191], прихожане запели, а Толита склонилась и в последний раз поцеловала мужа.

Из церкви мы отправились на кладбище. Я — с женой, Люк — с нашей матерью, а Саванна — с отцом и Толитой. За нами скорбно и торжественно следовал весь город, белые и черные. Посредине улицы шли те шестеро, неся на плечах кресты. Впереди, дуя в свисток и обливаясь слезами, шагал мистер Фрукт. Одним из несущих носилки с гробом был дорожный инспектор Сассер.

В день последнего упокоения небеса почему-то

[191] Примечания: 191

«Blessed Be the Tie that Binds», распространенный в англоязычном мире протестантский гимн.

не даровали Амосу синеву и солнце, вместо этого они густо покрылись облаками. После того как гроб опустили в могилу, мы — трое внуков — сами засыпали его землей. Постепенно кладбище опустело. Через час на нем вырос свежий могильный холм. Закончив, мы сели под развесистым черным дубом. В ясные дни этот дуб затенял весь участок, принадлежащий семье Винго. Мы плакали и говорили о том, как нам повезло, что у нас был такой дед. Сейчас мне думается, нам нужно было погрустить в тишине, вслушиваясь в звучавшие в наших головах слова деда. Прощание с покинувшими этот мир — целое искусство, но мы тогда были слишком молоды, чтобы это понимать. Мы просто рассказывали истории про человека, который с раннего детства стриг нам волосы и который превратил свою жизнь в непрестанный псалом, восхваляющий Творца.

— Тем не менее при всем уважении к деду я и сейчас считаю, что он был сумасшедшим, — вдруг заявила Саванна.

— Это у тебя называется «при всем уважении»? — удивился Люк.

— Вспомни, Люк, как дед запросто беседовал с Иисусом. Тебе любой психиатр подтвердит, что это признак безумия.

— Между прочим, ты у нас болтаешь с ангелами и собаками, — сердито напомнил Люк. — По-моему, куда нормальнее, когда человек обращается к Иисусу.

— Это жестоко с твоей стороны. — Саванна опустила влажные от слез глаза. — Нечего выставлять мои проблемы напоказ. У меня сейчас очень трудный период. Впрочем, мне никогда не будет легче.

— Саванна, ты напрасно взъелась на Люка, — вступился я за брата. — Он вовсе не хотел тебя обидеть.

— Зря я сюда приехала. В который раз убеждаюсь, что мне не стоит общаться с семьей. Это опасно.

— Почему? — осведомился я. — Не поэтому ли мы тебя почти не видим?

— От нашей семьи исходит отвратительная энергетика, — сообщила Саванна. — Сначала она подкосила меня. Со временем и вас подкосит.

— Зачем ты вообще поднимаешь эту тему? — не выдержал Люк. — Сидели себе спокойно, и вдруг тебя понесло рассуждать о каких-то дерьмовых психиатрах и их дерьмовых идеях.

— Следующим будешь ты, Люк, — произнесла Саванна. — У тебя это на лице написано.

— Следующим в чем? — не понял брат.

— Вы оба старались отгородиться от всех ужасов нашего детства. Что тут удивительного, ведь вы — южные парни. Скорее всего, вы ничего не осознаете.

— Приношу тебе свои извинения за то, что я — южный парень, — кипятился Люк. — Кстати, кем я, по-твоему, должен быть? Эскимосом? Японским ныряльщиком за жемчугом?

— Я хочу, Люк, чтобы ты огляделся вокруг и увидел, что происходит, — спокойно ответила Саванна. — Вы с Томом просто не отдаете себе в этом отчета.

Слова Саванны задели и меня, во мне тоже стало нарастать раздражение.

— Ты уж прости нас, дорогая сестра, что мы родились на Юге.

— Люк, почему ты ненавидишь женщин? — продолжала Саванна. — Почему ни с кем не встречаешься? Почему за всю жизнь у тебя не было серьезных отношений ни с одной девушкой? Ты вообще задавался этим вопросом?

— Нет у меня ненависти к женщинам, — с болью в голосе возразил брат. — Я их просто не понимаю, дорогая сестренка. Не знаю, о чем они думают и почему.

— А ты, Том? — переключилась на меня Саванна. — Какие у тебя чувства к противоположному полу?

— У меня? Терпеть не могу то, чем они набиты. Считаю женщин отбросами общества. Потому-то я женился на одной из них и вместе с ней произвел на свет троих дочерей. И главной движущей силой всех моих поступков была неприязнь.

— И почему ты сразу пытаешься защищаться? — поинтересовалась Саванна, словно наслаждаясь своим самообладанием.

— Ошибаешься. Это наша с Люком реакция на твою отвратительную правильность. Каждая наша встреча с тобой — это обязательно назидания. Лекции о том, как никчемно мы растрачиваем свои таланты в южном захолустье. А вот ты живешь в Нью-Йорке плодотворной, насыщенной и фантастически интересной жизнью. Тебя там окружают лучшие умы современности.

— Я не это имела в виду, — возмутилась Саванна. — Когда приезжаешь сюда раз в два года, лучше видишь истинное положение дел. Я смотрю на все со стороны, а вы принюхались и не замечаете. Вы давно говорили с матерью?

— Да каждый божий день говорим, — ответил Люк.

— Вы знаете, о чем она думает? — спросила Саванна, пропуская мимо ушей иронию брата. — Вы хоть представляете, что она затеяла?

— Наша мамочка все время проводит с этой сукой Изабель Ньюбери, хоть о больных и нельзя так. Домой она является настолько уставшей, что у нее едва хватает сил рухнуть в постель, — сообщил Люк.

Не переводя дыхания, Саванна принялась за меня.

— Том, а ты заметил, какой у Салли несчастный вид? Она выглядит совсем измотанной.

— Салли — врач и мать троих маленьких детей. Уже одно из этих занятий требует массу сил, особенно когда муж преподает в школе и тренирует три футбольные команды, а его нищенская зарплата не позволяет нанять прислугу.

— Ей хотя бы не придется быть домохозяйкой.

— Чем нашей просвещенной сестре не угодили домохозяйки? — осведомился я.

— Одна из них меня растила. И почти сломала мне жизнь.

— В детстве мне здорово доставалось от одного ловца креветок. Но я не виню всех ловцов креветок подряд, — резонно заметил Люк.

— Мать собирается разводиться с отцом, — со-

общила Саванна. — Вчера вечером я узнала это от нее.

— Тоже мне новость, — усмехнулся Люк. — Сколько раз мы слышали это от матери!

— Не так уж часто. Где-нибудь шестьдесят восемь миллионов раз, — добавил я.

— Вспомни, сестренка, сколько раз мама сажала нас в машину, неслась прочь с острова и клялась, что больше никогда не вернется в дом Генри Винго.

— Думаю, раз двадцать или тридцать наберется, — подхватил я.

— А куда ей было деться? — вступилась за мать Саванна. — На что бы она кормила и одевала нас? Как бы она выжила без мужчины? Юг загнал мать в ловушку и сделал ее жестокой. Но в этот раз ее слова не пустая угроза. На следующей неделе она подает документы на развод. Она наняла юриста, который специально занимается оформлением всех нужных бумаг.

— Отец уже знает? — уточнил я.

Саванна покачала головой.

— Пока нет.

— Как ты понимаешь, Том, сначала делаются наиболее важные дела, — сказал Люк.

— Так вот, братья, не странно ли, что наша

мать принимает такое важное решение, а никто из вас не в курсе? — тоном судьи произнесла Саванна. — Какие-то сомнительные семейные отношения получаются.

— Ну почему ты всегда приезжаешь в Южную Каролину и начинаешь учить нас с Томом? — рассердился Люк. — Мы еще ни разу не лезли к тебе с советами, а у тебя тысяча причин для недовольства нами. Мы пришли сюда проститься с дедом. Нечего устраивать на кладбище сеанс групповой терапии. Если мама собирается уйти от отца, — это их дело. Наша с Томом задача — помочь им, чем сможем. А ты в это время будешь сидеть в Нью-Йорке и по телефону выговаривать нам, что мы опять все делаем не так.

— Я стал избегать общения, — признался я Саванне. — В последние дни наши беседы с тобой кончаются стычками. И вообще, как только я начинаю говорить с кем-то из семьи Винго, я узнаю или больше, чем нужно, или… гораздо меньше.

— Тебе все равно, что наши родители разводятся? — удивилась Саванна.

— Нет, не все равно. Теперь, когда я уже не боюсь отцовских кулаков, я испытываю к нему… нет, не сострадание. Что-то вроде жалости. Грустно мне на него смотреть. Я рос, ненавидя его. Мне

всегда было страшно в его доме. Трудно простить того, кто лишил тебя детства. Но я простил его, Саванна. И маму тоже.

— А я не могу простить никого из них, — вздохнула сестра. — Они причинили мне слишком много вреда. Я каждый день вынуждена разбираться с их ошибками.

— Но они же не специально. — Люк обнял Саванну за плечи и притянул к себе. — Они были отвратительными придурками и даже не знали, каково быть хорошими придурками. Пыхтели, суетились, и все без толку.

— Ребята, я не собиралась наезжать на вас, — стала оправдываться Саванна. — Просто я боюсь, что этот город опустит вас до своего уровня.

— Любить Коллетон вовсе не грех, — изрек Люк. — Грех — недостаточно его любить. Слова деда.

— И вот куда завела его жизненная философия.

Саванна кивнула в сторону могилы.

— Небеса не такое уж плохое место, — заметил Люк.

— Ты ведь не веришь в небеса.

— Верю. Я всегда там, — возразил брат. — И в этом большая разница между тобой и мной. Коллетон — это все, что мне было и будет нужно.

— Но здесь же болото. Нет блеска. Людского водоворота. Здесь ничего не бурлит.

— А как насчет траурной церемонии, когда те шестеро начали стучать крестами в пол? — напомнил я.

— Чокнутые парни, не более того, — отозвалась сестра.

— Разве это не взбудоражило собравшихся? — спросил Люк.

— Что-то не заметила. Просто парни от горя малость тронулись. Когда они колотили этими крестами, мне хотелось убежать из города.

— Может, у вас в Нью-Йорке так не принято, но я знаю этих парней, — заявил Люк. — Серьезные люди. Такой уж они выбрали способ показать свою любовь к деду.

— А вообще, из этого можно сделать стихотворение, — принялась размышлять вслух Саванна. — И назову я его… «Крестобойцы».

— Кстати, ты уже закончила стих о лыжном пробеге деда? — поинтересовался я.

— Он еще в работе. Требует шлифовки.

— Неужели за год нельзя было написать? — удивился Люк.

— Искусство не терпит суеты и гонки, — произнесла Саванна.

— Понял, провинциальный братец? — поддел я Люка. — Искусство не терпит суеты и гонки.

— Кажется, мы остались здесь, чтобы проститься с дедом, — как ни в чем не бывало напомнила сестра, поднимаясь с травы.

— Вот тут когда-нибудь похоронят и нас. — Люк вышел на зеленый прямоугольник, поросший травой. — Это место — для меня. Дальше — для вас двоих. Остается еще достаточно земли для наших жен и детей.

— Мне становится жутко, когда люди заранее присматривают себе место на кладбище, — передернула плечами Саванна.

— А мне, наоборот, надо знать, где я буду лежать, когда откину копыта, — сказал Люк.

— Меня пусть кремируют и развеют пепел над могилой Джона Китса в Риме, — выразила пожелание сестра.

— Скромненько, — хмыкнул я.

— Нет уж, сестренка. Я приволоку тебя в Коллетон и закопаю здесь, чтобы присматривать за тобой, — улыбнулся Люк.

— Нелепица какая, — поморщилась Саванна.

— Идемте домой, — предложил я. — Самое время. Толпа соболезнующих уже схлынула.

— Прощай, дед, — прошептала Саванна, по-

сылая воздушный поцелуй могильному холмику. — Если бы не вы с Толитой, не знаю, что бы было с нами.

— Если, дед, ты сейчас не на небесах, тогда дерьмо везде, — заключил Люк напоследок.

Я жил в той части Соединенных Штатов, где не выпадает снег и не растут рододендроны. Третий десяток моей жизни мне больше всего запомнился тренировками нескладных, но подвижных и проворных мальчишек. Сезоны года я делил по преобладающим видам спорта. Осенью это, конечно же, был футбол с его азартом и бросками, посылающими крутящийся мяч под облака. Зимой — скрип резиновых подошв на сверкающем деревянном полу, на котором долговязые парни штурмовали баскетбольные корзины. Поздней весной наступал черед бейсбола и ясеневых бит. Мое наставничество не было пустой страстью; это была миссия по привнесению смысла в детство мальчишек. Я не считал себя первоклассным специалистом, однако не допускал и постыдных промахов. Я не фигурировал в кошмарных снах ни одного из своих подопечных. Моим игрокам ни разу не удавалось побороть фантастически дисциплинированные команды великого Джона

Мак-Киссика[192] из Саммервилла. Он был создателем футбольных династий, я — обыкновенным тренером с ограниченными возможностями и кругозором. Но я и не имел болезненного пристрастия к победам. Мои парни выигрывали и проигрывали, и хотя выигрыш нравился им больше, в нем отсутствовало обостренное и возвышенное чувство, какое возникает, когда выкладываешься по полной, но лавры достаются твоему противнику. Я учил своих ребят умению достойно вести себя в любой ситуации. Я говорил им, что выигрыш пьянит, а проигрыш отрезвляет. И то и другое было им совершенно необходимо для взросления и закалки характера.

В маленьком городке я старался вести полноценное существование: наблюдал за полетами птиц, увлекся коллекционированием бабочек, ставил жаберные сети, когда начинался сезон лова сельди, собирал записи Баха и Каролинской пляжной музыки. Я стал одним из тех безвестных американцев, которые живут жизнью среднего класса, но стараются сохранять активность. Ис-

[192] Примечания: 192

Мак-Киссик Джон — легендарный футбольный тренер команды Саммервиллской средней школы (Южная Каролина). В 2004 г. был назван первым тренером в истории американского футбола, чьи команды побеждали в общей сложности 500 раз.

пользуя учительские льготы, я подписался на пять журналов: «Ньюйоркер», «Гурме», «Ньюсуик», «Атлантик» и «Нью рипаблик». Я тогда думал, что этот мой выбор характеризует меня как мыслящего либерала с разносторонними интересами. Мне и в голову не приходило, что этот список изданий свидетельствует о непреложном факте моего штампованного мышления, подчинявшегося клише семидесятых годов. Саванна присылала мне коробки книг, приобретенных во время разных рекламных акций в магазинах «Барнс энд Ноубл»[193]. Она искренне думала, что раз я остался на Юге, я начну стремительно тупеть. Сестра относилась к книгам с благоговением бакалейщика, считающего их чем-то вроде «зеленых марок»[194]. Я понимал, что Саванна тревожится за меня, видя мое стремление к стабильности и безопасности. Она ошибалась, мой «южный недуг» имел куда более странное выражение. Я принес во взрослость ностальгию

[193] Примечания: 193

Система крупных книжных магазинов, возникшая в 1873 г. в Нью-Йорке и постепенно охватившая все Соединенные Штаты.

[194] Примечания: 194

«Зеленые марки» — купоны, появившиеся в 1930-е гг. и просуществовавшие до конца 1980-х гг. Имели различный номинал, давались в качестве сдачи и наклеивались в особые купонные книжки. Собрав определенное количество купонов, их можно было обменять на товары хозяйственно-бытового обихода.

по утраченному детству. Я страстно желал воспитать своих дочерей на том Юге, которого меня лишили родители. Я хотел сделать мир девочек ярким и разнообразным, чтобы все силы шли на познание окружающего, а не на выживание в непредсказуемом родительском доме. У меня имелись знания, и я мечтал передать их дочерям; суетливая обстановка больших городов для этого не годилась. Я испытывал жгучую потребность быть достойным человеком, и только. Этот огонь поддерживал меня, я считал его своим первым жизненным принципом. Неудача, которую я потерпел, в меньшей степени связана со мной, в большей — с безжалостным стечением обстоятельств. Если бы после окончания колледжа, когда я принял решение вернуться в Коллетон, мне кто-нибудь сказал, что через каких-нибудь десять лет этот город перестанет существовать, я бы лишь посмеялся над неуклюжей шуткой. Увы, век припас для меня больше уроков, чем я думал. Лучше бы их не было.

Через три недели после похорон деда, вернувшись с тренировки, я увидел у нашего дома отцовский грузовичок. Сзади красовалась бамперная наклейка со знаком пацифистов и словами: «Это всего лишь след лапки американского цыплен-

ка». Когда я вошел, отец в гостиной разговаривал с Салли. На коленях у него сидела Дженнифер, а Салли на кушетке меняла Люси подгузник.

— Привет, отец, — поздоровался я. — Хочешь чего-нибудь выпить?

— Это очень кстати, сынок. Меня устроит все, что у тебя есть.

Я отправился на кухню. За мной последовала Салли.

— Может, и тебе сделать выпивку? — спросил я жену. — Или подождешь, пока маленькие тигрицы улягутся спать?

— С твоим отцом что-то случил ось, — прошептала Салли. — Буквально минуту назад он плакал.

— Мой отец? Плакал? — недоверчиво повторил я. — Быть такого не может. Слезы — это от душевных потрясений. Мой отец родился без эмоций, как некоторые рождаются без мизинцев.

— Будь с ним поласковей, Том, — велела Салли. — Пожалуйста, не подкалывай его. Я возьму девочек и проведаю Толиту. Он хочет остаться с тобой наедине.

— Уж лучше мы с ним куда-нибудь пойдем. Так проще.

— Он хочет говорить с тобой немедленно, — со-

общила Салли и ушла собирать дочек.

Когда я вернулся в гостиную, отец сидел, откинувшись на спинку кресла. Он тяжело дышал. Таким потерянным я его никогда не видел. Казалось, он находится не в кресле, а на электрическом стуле. Руки у него дрожали, костяшки пальцев были пурпурными.

— Как успехи твоей команды? — поинтересовался он, принимая от меня бокал.

— Мальчишки стараются изо всех сил. Думаю, у нас неплохие шансы в игре с Джорджтауном.

— Сын, могу я быть с тобой откровенным?

— Конечно, папа. Я тебя слушаю.

— Два дня назад твоя мать собрала свои вещи и ушла. — Отец с трудом произносил каждое слово. — Поначалу я не придал этому особого значения. У нас с ней всякие завихрения бывали, но потом все быстро приходило в норму. А сегодня… я получаю бумаги от шерифа. Она требует развода.

— Печальная новость, — только и мог вымолвить я.

— Ты был в курсе ее намерений? — осведомился отец. — Может, это только я узнал последним?

— Саванна о чем-то таком упомянула после похорон деда. Но тогда я не придал особого зна-

чения ее словам.

— Что ж ты молчал, сын? — сокрушенно спросил отец. — Я бы купил ей цветов или свозил бы в самый лучший ресторан Чарлстона.

— Мне казалось, это не мое дело. Я считал, что такие вопросы родители должны решать вдвоем.

— Не твое дело! — закричал он. — Я твой отец, а она твоя мать. Если это не твое чертово дело, тогда чье? На кой мне все это нужно, если она бросит меня? А, Том? Что хорошего останется у меня в этой проклятой жизни без твоей матери? Думаешь, почему я столько лет гнул спину? Я хотел дать ей все, о чем она мечтала. Конечно, не каждый замысел удавался, но я не опускал руки и всегда искал другие пути.

— Рук ты действительно не опускал, — согласился я. — Этого никто не станет отрицать.

— Если бы я хоть раз попал на золотую жилу, твоя мать ни за что бы не сбежала от меня. Ты даже не представляешь, как она любит денежки.

— Почему же? Представляю.

— Вот потому она и вернется, — успокоил себя отец. — Зарабатывать она не умеет, да и стара она уже, черт ее побери, чтобы этому учиться.

— Мама — женщина находчивая. Если она от

тебя ушла, у нее наверняка имелся план.

— Она может завалить своими планами весь мир. Вот только баксов у нее нет, чтобы эти планы осуществить… Сын, ну почему она это сделала? Ради чего затеяла эту возню с разводом?

Отец закрыл лицо своими крупными ладонями. Никогда прежде я не видел Генри Винго не то что рыдающим, но даже прослезившимся. Сейчас он плакал. Казалось, он распадается на части. Это не было горем; это была агония человека, который знал, что когда-нибудь ему придется заплатить сполна за все годы своей тирании, длившейся тридцать лет. Способностью к раскаянию отец не обладал.

— Я обращался с ней как с королевой, — всхлипывая, жаловался он. — Я разбаловал ее. Теперь я это ясно вижу. Слишком нежничал. Покупал все, что только она хотела. Позволял строить из себя светскую леди, какой она никогда не была. Потакал прихотям, когда еще в самом начале нужно было показать ей ее настоящее место.

— А ты и показывал, — не выдержал я. — И не только ей. Всем нам.

Отец хотел что-то ответить, но не смог — приступы слез накатывали волнами, угрожая размыть берег его привычной жизни. Мне даже

стало жаль отца, пока я не вспомнил свое восемнадцатилетнее ученичество в его «гильдии штормов». «Плачь по своей жене, отец, — хотелось мне сказать. — Плачь по моим брату и сестре. И по мне». Он мог бы рыдать сутками напролет, но ему и тогда не хватило бы слез, чтобы смыть боль и горечь бессмысленных преступлений, совершенных им как мужем и отцом. Нет, не мог я объявить свое помилование человеку, который в детстве ни разу не потрепал меня по плечу и не провел ладонью по моим волосам. Его руки умели лишь хлестать наотмашь и сбивать с ног. Но я чуть не подскочил от изумления, когда отец, несколько успокоившись, заявил:

— Я ведь никогда вашу мать пальцем не тронул. И вас тоже.

— Что? — заорал я, чем вызвал у него новый взрыв рыданий.

Я дал ему успокоиться, после чего присел на корточки рядом с креслом и сказал:

— Вот это, отец, больше всего и бесит меня в нашей семье. В детстве ты меня бил, но сейчас я отношусь к этому спокойно. Прошлое и есть прошлое, его не изменишь. Никому из нас этого не сделать, как бы мы ни старались. Мне невыносимо другое. Послушать вас с матерью — у нас

была идеальная семья. А стоит мне вспомнить какой-нибудь мелкий неидеальный эпизод — вы тут же утверждаете, что ничего такого не было. Пойми, отец, сейчас я смотрю на тебя другими глазами. Я люблю тебя, однако ты сделал много чего плохого и нашей матери, и нам, твоим детям. Слава богу, ты не всегда был дрянью. К счастью, нет. Не всегда. Не каждый день и не каждый месяц. Но мы никогда не знали, в какой момент ты сорвешься с катушек, что вызовет очередную вспышку твоей ярости, из-за какого пустяка сильнейший ловец креветок начнет расшвыривать нас своими ручищами. И потому, отец, мы научились вести себя тихо и ходить вокруг тебя на цыпочках. Научились бояться беззвучно. А мама была тебе верной женой. Мы не смели никому говорить, что ты нас поколачиваешь. Мама настрого запрещала нам это делать. Стоило нам о чем-то напомнить — и она, как и ты, утверждала, что мы все это придумали.

— Врун ты, Том, — возмутился отец. — Поганый врун. Ты позволил матери настроить тебя против меня. Всех вас она настроила. Я слишком миндальничал с вами. Потакал вам, и в этом была моя единственная ошибка.

Я схватил его правую руку, до локтя закатал

рукав и повернул тыльной стороной. Там темнел характерный шрам пурпурного цвета, словно оставленный большим когтем. Я смотрел на него, ощущая прилив нежности. Недаром Саванна написала стихотворение об отцовских руках, о тяжелом труде, сделавшем эти руки такими большими и сильными. Вздувшиеся вены были похожи на корни больших прибрежных деревьев. Наша мать восхищалась бледной белизной мужских рук, не знавших физического труда, и отец стал выходить на лов в рубашке с длинными рукавами и надевать шляпу. Но он ничего не мог сделать со своими ладонями: они оставались грубыми, мозолистыми, с въевшейся в поры чернотой. Мозоли на больших пальцах можно было срезать бритвой, слой за слоем, и углубиться на полдюйма, прежде чем лезвие доберется до кожи. Да, эти руки нещадно били меня, но они же трудились ради того, чтобы я мог получить образование. Без них я бы не стал учителем.

— Отец, откуда у тебя этот шрам? — спросил я. — Твой сын-врун, сын, который любит тебя, хочет знать, где ты получил этот шрам?

— Почем я помню? — огрызнулся отец. — Я же ловец креветок. У меня такие метки по всему телу. Работа такая.

— Извини, отец, но это не ответ.

— К чему ты клонишь, Том?

— Ты не сможешь изменить свою нынешнюю жизнь, пока не признаешь, каким было твое истинное прошлое. Поразмышляй об этом, отец. Вспомни, где ты получил этот шрам. Я тебе немного помогу… Мы с Саванной сидим за праздничным столом. Это наш десятый день рождения. На столе — торт. Нет, два торта. Мама всегда считала, что каждому из нас полагается по торту.

— Что за околесицу ты несешь? Зря я не пошел к Люку. Вижу, ты хочешь выставить меня никчемным человеком.

— Не преувеличивай, папа. Ты обозвал меня вруном, а я пытаюсь доказать, что очень хорошо, до мельчайших подробностей, помню, когда и как ты получил этот шрам. Мне он потом снился в кошмарных снах.

— Не понимаю, о чем ты, хоть убей. Невелик грех что-то забыть! — выкрикнул он.

— Иногда велик. Иногда это преступление. Тогда я сам попытаюсь восстановить картину. Это важно. Тот вечер — один из десяти тысяч, но, может, ты хоть как-то начнешь понимать причины маминого ухода.

— Я не об этом просил. — Отец смахнул слезу. —

Я просил о помощи.

— Этим я как раз и займусь.

И я начал рассказ под аккомпанемент отцовских вздохов и всхлипываний.

Сезон лова креветок подходил к концу; он выдался неудачным, что обычно делало отца опасным и непредсказуемым. Началось это, как всегда, неожиданно: без предупреждения и возможности отступления. Отец молча поужинал и удалился с бурбоном в гостиную, собираясь смотреть по телевизору «Шоу Эда Салливана». Пока что его поведение не настораживало нас. Его молчание казалось нам не назревавшей бурей, а благом, результатом усталости. Мать зажгла по десять свечек на каждом торте. Саванна радостно захлопала в ладоши.

— Том, у нас теперь двузначный возраст. И так будет, пока нам не исполнится по сто лет.

— Генри, иди к столу, — позвала мать отца. — Детям не терпится задуть свечки на торте.

Ответа не последовало. Может, родители накануне поссорились? Или не успели закончить очередное сражение? Не знаю, да теперь это и не важно.

— Генри, ты где там? — Мать направилась в гостиную. — Нам пора спеть Саванне и Тому

«Happy Birthday».

Отец не шевельнулся и ничем не показал, что слышал слова матери.

— Мама, не приставай к нему, — попросил я, глядя на огоньки свечей.

— Генри, встань, — потребовала мать. — У твоих детей день рождения.

Она подошла и выключила телевизор.

Я не видел отцовских глаз, но заметил, как напряглись его плечи. Он поднес к губам бокал с бурбоном и залпом осушил.

— Не смей лезть, куда не просят, Лила, — сердито пробурчал он. — Я что, вам мешаю? Сижу себе и смотрю, что мне интересно.

— А день рождения собственных детей тебе не интересен? Ты не хочешь их поздравить? Они подумают, что ты вообще их не любишь.

— Включи телевизор, иначе пожалеешь, что родилась на свет, — ровным металлическим голосом приказал отец.

— Мама, мы не обидимся, — упрашивала Саванна. — Включи телевизор и иди к нам.

— Нет. Пусть отец вначале поздравит вас, а потом смотрит свой ящик хоть всю ночь.

Я забыл про праздник. В моих висках застучала кровь, но я был бессилен что-либо сделать. Я мог

лишь оцепенело наблюдать. Отец встал. Думаю, в тот момент он остро сознавал свою отчужденность, но злость уводила его еще дальше от нас. Отец толкнул мать к телевизору, потом дернул за волосы. У матери подогнулись ноги, и она оказалась на коленях. Свет в столовой был погашен, наши испуганные лица освещались лишь язычками именинных свечек.

— Больше не вздумай указывать мне, что я должен делать. Это мой дом, вам всем я лишь позволяю здесь жить. Включай!

— Нет, — упиралась мать.

Отец с силой ткнул ее лицом в экран, и мать только каким-то чудом не разбила стекло кинескопа.

— Нет, — повторила она, не обращая внимания на текущую из ноздрей кровь.

— Мама, включи! — закричал я.

Саванна подбежала к телевизору, и вскоре гостиная вновь наполнилась голосом Эда Салливана.

— Это сделала Саванна, не я, — прошептала мать.

Отец протянул руку и щелкнул выключателем. В пронзительной тишине было что-то невыразимо грустное.

— Лила, я велел тебе включить телевизор, — прорычал отец. — Ты подаешь дурной пример сыновьям. Им нужно усвоить, что женщина обязана уважать мужчину в его доме.

Саванна опять включила. Ручка включения одновременно была и регулятором громкости. Сестра повернула ее больше, чем надо, и теперь Эд Салливан буквально орал. Левой рукой отец ударил свою дочь. Саванна перелетела через кофейный столик, упала на пол и свернулась калачиком.

Мать бросилась к Саванне. Обе, обнявшись, заплакали. Отец медленно двинулся в их сторону. Он уже навис над ними, когда шесть выстрелов из револьвера тридцать восьмого калибра оборвали не только шоу Эда Салливана, но и жизнь телевизора. Пол был усеян осколками и щепками.

Брат стоял на пороге спальни, спокойно перезаряжая револьвер, из дула которого шел дымок.

— Твой ящик сломан, папа. Теперь ничто не мешает тебе спеть «Happy Birthday», — произнес Люк.

Отец повернулся и так же неторопливо направился к Люку. Отцовские глаза сверкали тускловатым звериным блеском. Он и был тогда совершеннейшим зверем, умеющим лишь

бить свою самку и потомство. Единственным его чувством оставался бурлящий безудержный гнев, который требовал выхода. Люк перезарядил револьвер, щелкнул барабаном и прицелился отцу в сердце.

— Почему ты так себя ведешь? — продолжил Люк. — Думаешь, если ты взрослый и сильный, тебе можно бить женщин и девочек? Откуда в тебе столько жестокости?

Отец, не обращая внимания на оружие, шел на своего старшего сына. Люк отступал, по-прежнему целясь отцу в грудь. Саванна и мать в ужасе всхлипывали, я вскрикивал; это были единственные звуки праздничного вечера.

Люк не рискнул нажать курок. Отец вывернул ему запястье. Револьвер упал на пол. Отец кулаком двинул Люку по лицу. Брат рухнул на колени, но отец поднял его за волосы и ударил снова.

Я плохо помню, как подскочил к отцу и залез ему на спину. Я только помню, что впился ему зубами в левое ухо. Отец взревел, а я оказался в воздухе и приземлился на плиту. Спрыгнув с нее, я увидел, что мать ногтями впилась в отцовское лицо. Я бросился разнимать родителей. В это время отец хлестнул мать по лицу. Я принялся молотить его в грудь и живот и тут получил

сильный удар по голове. Голова закружилась, шум вдруг стал очень громким, а свет — нестерпимо ярким. Надо мной сверкнул кухонный нож, которым мать еще недавно собиралась делить наши торты. Вдруг мне прямо в лицо хлынула струя крови. Я не знал, кто кого порезал и чья эта кровь. Мы с Саванной вопили в два голоса, а мать кричала, чтобы мы бежали прочь из дома. Но мне было не открыть глаз, слипшихся от крови одного из моих родителей.

Люк поволок меня к выходу. Сквозь красную дымку я видел отца. Он пятился к двери родительской спальни, из его правой руки хлестала кровь. Мать стояла с ножом в руке и угрожала отцу, что, если он еще хоть раз посмеет нас тронуть, она всадит этот нож ему в сердце. Люк вытолкнул нас с Саванной во двор и велел направляться к грузовичку.

— Если отец выйдет, прячьтесь в лесу, — добавил он и бросился в дом за матерью.

Мы с сестрой поковыляли к машине, наши голоса сливались в единый вопль страха и боли. Потом я узнал, что Саванна решила, будто отец ножом порезал меня. Ничего удивительного: в тот момент мое лицо напоминало чудовищную красную маску, а руки сошли бы за губки с опера-

ционного стола.

Уже не помню, как мы забрались в кузов. Тут показались мать с Люком. За ними, бормоча что-то нечленораздельное, следовал отец. Люк запрыгнул в кузов, мать хлопнула дверцей кабины и стала рыться в сумочке, разыскивая ключ.

— Мама, скорее! Он приближается! — торопил Люк.

Отец шел к нам. Кровь так и лилась на мокрую траву, но он упрямо двигался к грузовичку, а мать никак не могла найти в связке ключей нужный.

— Мама, он почти рядом! — заорала Саванна.

Крик сестры совпал с чиханием ожившего мотора. Мы рванули со двора, оставив позади шатающегося окровавленного Генри Винго.

— Дети, мы больше никогда сюда не приедем. Обещаю вам, — клялась мать, пока мы неслись по грунтовой дороге к мосту. — Больше никогда. Что я за мать, если позволю своим детям жить рядом с этим человеком?

Два дня мы гостили в доме Амоса и Толиты, а потом… потом вернулись на остров. Перед этим мать собрала нас и настрого запретила рассказывать кому бы то ни было об этом жутком вечере. Мы вновь услышали слова о том, какой редкой добродетелью является верность семье и что

только очень немногие люди обладают этим замечательным качеством.

В вечер нашего прибытия родители были необычайно нежны друг с другом, и почти целых полгода отец не поднимал руку ни на жену, ни на детей.

— Я и сейчас думаю, сумей ты тогда добраться до грузовичка, ты бы убил нас всех, — заключил я.

— Неправда, — надтреснутым голосом возразил отец. — Все неправда, от начала до конца. Как ты можешь говорить такое о своем отце?

— Представь себе, довольно легко.

— Я ничего этого не помню, — отмахнулся он. — Если что-то и происходило, должно быть, я был сильно под градусом. Понимаешь? Сам не ведал, что творил. От этого чертова бурбона у меня всегда голову сносит. Я как сумасшедший делаюсь.

— Представь себе, Саванна тоже все забыла, хотя и не пила. Я у нее спрашивал. А Люк не захотел это обсуждать.

— Сдается мне, у тебя слишком богатое воображение, сын, — заметил отец. — Да. Ты всегда любил сочинять про людей разные истории. Наверняка вы с матерью сели и состряпали эту небылицу для судьи. Признайся.

— И все-таки, отец, откуда у тебя этот шрам?

— Я ловлю креветок. Работа опасная. Может, лебедкой задело. Или трос порвался и по мне чиркнул.

— Это след от кухонного ножа, папа, — спокойным тоном заявил я. — А как быстро мы купили новый телевизор! Как же! Семейка твердолобых южных гордецов скорее предпочла бы голодать, чем сутки прожить без ящика. Во всяком случае, тот расстрелянный мы очень быстро заменили новым. По-моему, когда мы вернулись, в доме уже был другой телевизор. И ни следа крови. Словно ничего не происходило. Жизнь продолжалась, и мы снова сделали вид, что ничего не было.

Отец вздохнул.

— Нам бы и сейчас не мешало сделать вид, что ничего не случилось. Хотя, конечно, мои слова тебя в этом не убедят.

— Но на этот раз тебе пришлось посмотреть правде в глаза. И сейчас не получится просто так все замять. Верно? Наконец-то наша семья достигла такого момента!

— Почему ты меня ненавидишь? — обиделся отец.

— Потому что у меня есть на то причины. В общем-то, легко ненавидеть человека, который избивал тебя в детстве. И когда я вспоминаю

об этом, во мне просыпаются не самые лучшие чувства.

— Если я что-то такое и делал, прости меня, Том. — Отец поднял голову. — Честно, я все начисто забыл. Ну что мне сделать, чтобы ты поверил?

— Можешь начать с финансирования в крупном размере. Желательно наличными, лучше двадцатидолларовыми купюрами.

Отец озадаченно на меня посмотрел.

— Успокойся, папа. Это была попытка пошутить. А теперь о серьезном. Чем я могу помочь тебе? Я знаю только одно: ты первостатейный южный придурок и никогда не перестанешь им быть. Таким уж ты родился.

— Может, пообщаешься с матерью? Узнаешь, чего она ждет? Передай ей: если она вернется, я сделаю все, что она захочет. Исполню любое ее желание. Обещаю.

— А если она откажется? — осведомился я.

— И что мне тогда делать? Кем я буду без твоей матери?

— Ты будешь все тем же лучшим ловцом креветок, — ответил я. — И владельцем самого прекрасного в мире острова.

— Зачем мне это, если я потеряю самую пре-

красную в мире женщину?

— Возможно, так оно и будет. Но ты долго старался, чтобы это случилось. Кстати, где мать? Схожу к ней прямо сейчас.

— Она все там же. Возится с этой сукой Ньюбери. Не пойму, с чего твоей матери любезничать с той, которая только и ждала случая, чтобы извалять ее в дерьме?

— Просто мать всю жизнь ждала момента, когда Изабель Ньюбери начнет в ней нуждаться.

— Я тоже в ней нуждаюсь, — всхлипнул отец.

— Ты ей когда-нибудь говорил об этом?

— Зачем? Я же на ней женился. Разве этого мало?

— Конечно. Прости, что задал тебе такой дурацкий вопрос.

Отец снова заплакал. Я не пытался его утешать. Возможно, горе хоть в какой-то мере искупит грехи Генри Винго. Рациональная часть меня оставалась холодной и напоминала, что все мы слишком долго ждали его слез и вполне их заслужили.

— А ты знаешь, что Толита оставила деда, когда я был ребенком? — вдруг сменил тему отец.

— Да.

— Передо мной не было модели поведения, как

муж должен обращаться с женой. Мне казалось, Толита бросила Амоса из-за его слабости, поскольку он недотягивает до настоящего мужчины. Я делал все, чтобы со мной такого не случилось.

— Моя мать не уходила от моего отца, когда я был совсем маленьким. — Я наклонился к отцу. — У меня был впечатляющий пример, как муж должен обходиться с женой. Мне продемонстрировали, что для настоящего мужчины вполне нормально избивать свою жену и детей. Терроризировать всю семью, когда ему только заблагорассудится, потому что все они слабее его, не могут дать отпор и им некуда деться. Ты учил меня, что значит быть мужчиной. Спасибо тебе за уроки. Из-за них я захотел вырасти таким, как Амос. Я решил быть слабым, кротким и добрым ко всякой живой твари. Если честно, я бы лучше умер, чем стал тем мужчиной, какого ты пытался из меня сделать.

— Полагаешь, ты лучше меня? — спросил отец. — Твоя мать тоже думала, что она лучше. Она называла меня деревенщиной, хотя сама родилась в жуткой глуши, и уж кто настоящая деревенщина — так это ее родители.

— Я не считаю, что лучше. Но я мягче и отзывчивей.

— Зря я не обратился к Люку, — вздохнул отец. — Он бы не наговорил мне гадостей. От тебя я их вдоволь наслушался.

— Но и беседовать с матерью он бы тоже не согласился.

— Так ты все-таки пойдешь к ней? — оживился отец.

— Да. У тебя впервые в жизни есть шанс что-то понять. Кто бы мог подумать, что старая горная горилла способна плакать из-за расставания со своей женой? Значит, не все так безнадежно. Но даже если мама бросит тебя, у тебя сохраняется возможность стать нам хорошим отцом. Я был бы рад впервые в жизни получить нормального отца.

— Не люблю я просить других, — буркнул отец.

— Тогда другим очень трудно что-либо для тебя сделать, — заметил я.

— Не забывай, это я подарил тебе жизнь, — вдруг напомнил отец.

— Премного благодарен, папа.

Я едва сдерживался, чтобы не наорать на него.

Глава 26



Я стоял на веранде особняка Ньюбери. Взошедшая луна воспламенила окрестные болота, залив их серебристым блеском. Под лунным сиянием их пространство всегда казалось каким-то нереальным пейзажем из снов. На мой стук открыл сам Рис Ньюбери. Лунный свет и его изменил — лицо выглядело несколько мягче. Мешки под глазами стали еще больше, но в глазах светилась знакомая мне жажда руководить. Тело Ньюбери одряхлело, а вот взгляд сохранил свою чудовищную силу.

— Добрый вечер, мистер Ньюбери. Мне необходимо поговорить с матерью, — начал я.

Хозяин прищурился. Думаю, он сначала узнал меня по голосу и лишь затем разглядел.

— Здравствуй, Том. Твоя мать — просто ангел. Не знаю, что бы мы делали без нее. Необыкновен-

ная женщина. Надеюсь, ты это знаешь.

— Да, сэр. Согласен с вами. Вы ей передадите, что я жду внизу?

— Ну не на веранде же. Входи. Прошу, входи.

Я последовал за ним в освещенную прихожую.

— Она сейчас с Изабель, — тихо сообщил Ньюбери. — Ни на шаг не отходит от постели моей жены. Даже еду ей туда приносит. Врачи утверждают, что жена долго не протянет. Рак захватил весь…

Рис Ньюбери смолк, ему было явно тяжело говорить об этом. В возникшей тишине раздались ровные металлические удары напольных часов. Их черные стрелки показались мне лезвиями, режущими хрупкую материю времени. В этом доме было много часов, и все они принялись на разные голоса отбивать девять. Может, в доме умирающего тиканье часов ощущается как-то по-особому?

— Пойдем в мой кабинет. Там вам будет удобнее. Это наверху.

— Я еще помню, где это, — вырвалось у меня.

Ньюбери пропустил мои слова мимо ушей. Возможно, он их даже не услышал. Мы поднялись по устланной ковром лестнице. Сначала я подумал: не является ли этот выбор сознательным? Но по-

том решил, что вряд ли. Рис Ньюбери совершил в своей жизни столько гадких и отвратительных поступков, что давно забыл, как однажды ударил по лицу двенадцатилетнего мальчишку, подравшегося с его сыном. В кабинете меня встретили все те же полки с явно нетронутыми книгами и карта округа, где зеленые булавки отмечали владения Ньюбери.

— Изабель хочет тебя видеть, — вместо приветствия сказала вошедшая мать. — Зайди к ней, Том. Она так рада тебе. Ты не находишь, что это очень мило с ее стороны?

С чего это вдруг Изабель Ньюбери обрадовалась моему приходу? Я не стал ломать голову. Удивительно, как Изабель еще помнит, что мы с ней обитаем на одной планете? Мать за руку повела меня по тихому и тускло освещенному коридору.

— Вот здесь, — шепнула мать, забыв, что в свое время мы с братом и сестрой волокли в эту комнату двухсотфунтовую морскую черепаху.

Мои чувства к Изабель Ньюбери не отличались сострадательностью, однако я тут же забыл о них, увидев среди груды подушек высохшую, изможденную женщину. Как говорится, такого и врагу не пожелаешь. Передо мной был живой скелет, обтянутый сероватой кожей. Болезнь сжигала

эту женщину изнутри. Запахи лекарств, цветов и одеколона перемешались в один тяжелый сладковатый запах смерти, чем-то напомнивший мне дрянное вино.

— Здравствуй, Том, — еле слышно произнесла Изабель Ньюбери. — Твоя мать — единственная, кто скрашивает мои дни. Остальные боятся даже заходить сюда.

— Это не совсем так, Изабель, — тут же возразила мать. — Я делаю то, что на моем месте сделал бы любой нормальный человек. Тебе грех жаловаться на невнимание людей. Вспомни, сколько цветов и карточек ты получаешь каждый день.

— Том, я была жестока к тебе и твоей семье, — медленно продолжала Изабель. — Я уже сотню раз извинилась перед твоей матерью.

— А я сотню раз отвечала, что незачем извиняться, — торопливо вставила мать. — Я всегда считала тебя одной из своих добрых подруг. Просто тогда у каждой из нас были свои семейные заботы и нам не хватало времени, чтобы просто посидеть и поболтать.

«Зато у миссис Ньюбери однажды хватило времени привезти нам благотворительную индейку, — подумал я. — А у тебя хватило времени разнести ее подарок из дробовика».

— Я принимаю ваши извинения, миссис Ньюбери. Очень рад, что вы все-таки попросили прощения.

— Том, как тебе не стыдно грубить? — возмутилась моя мать.

— Спасибо, — отозвалась миссис Ньюбери. — За последние две недели я много размышляла о своей жизни. Есть поступки, которых мне просто не понять. Сейчас мне кажется, их совершала другая, совершенно незнакомая мне женщина. Стыдно, когда приходится умирать с такими вот мыслями.

— С чего ты взяла, что умираешь? — нарочито бодрым тоном возразила мать. — Ты обязательно выкарабкаешься, и вы с Рисом отправитесь в длительное путешествие.

— Меня ждет единственное путешествие — в похоронное бюро Оглтри, — заметила миссис Ньюбери.

— Не надо так, Изабель! — Мать отвернулась, не желая показывать своих слез. — Даже мысленно не смей опускать руки. Ты должна продолжать бороться за свою жизнь.

— Умирание — это последняя стадия жизни. Мы все проходим через это, Лила. Хотя признаюсь, мне она не доставляет никакого удовольствия.

— Как Тодд? — поинтересовался я.

— Тодд? — повторила миссис Ньюбери. — Ни капельки не изменился. Эгоистичный, избалованный мальчишка. Женился на хорошенькой девушке. Какая-то Ли из Вирджинии. Все свободное время утверждает свое мужское превосходство над ней. С тех пор как я заболела, он был здесь всего дважды. Правда, раз в месяц звонит, причем в такое время, когда удобно ему.

— Тодд приезжал в прошлый уик-энд, — напомнила мать, обращаясь в основном ко мне. — Я свидетель: болезнь матери разрывает ему сердце. Изабель, он горячо тебя любит. Просто Тодд не умеет выражать свои чувства. Мужчинам этого не дано.

— Почему же? Тодд вполне красноречив в этом. Он избегает меня.

— Изабель, дорогая, ты устала, — тоном сиделки заворковала мать. — Пожелай Тому спокойной ночи, я приготовлю тебя ко сну.

— Лила, будь любезна, принеси мне еще воды со льдом. Жажда совсем замучила.

Больная указала на пустой кувшин.

— Я мигом, — пообещала мать.

Она взяла с ночного столика кувшин и вышла из спальни. Вскоре ее шаги уже слышались с

устланных ковром ступеней лестницы. Тогда Изабель Ньюбери повернула ко мне свои уставшие, почти неживые глаза и произнесла слова, которым предстояло изменить мою жизнь:

— Мой муж влюблен в твою мать. И я это одобряю.

— Что? — оторопело пробормотал я.

— Рис нуждается в заботе. Один он просто не выживет, — спокойным, будничным тоном сообщила миссис Ньюбери. — Твоя мать все это время очень добра ко мне. Я ее обожаю.

— Великая перемена, — не удержался я. — А вы учли моего отца?

— Лила мне все рассказала о твоем отце. Думаю, тебе тоже есть за что его ненавидеть.

— Нет, мэм. Отец мне в миллион раз симпатичнее, чем Рис Ньюбери.

— Любовь Риса к твоей матери совершенно платоническая, уверяю тебя. Скорее всего, Лила даже не догадывается о ней.

— Миссис Ньюбери, и вы не против, если через какое-то время в постели с вашим мужем окажется женщина, не попавшая даже в вашу долбаную кулинарную книгу?

— Мне неприятна твоя вульгарность, — слабым, но раздраженным голосом заявила Изабель.

— И у вас еще хватает наглости называть меня вульгарным? А то, что вы на смертном одре занимаетесь сводничеством для своего мужа, — это, наверное, благочестивое дело.

— Я всего лишь смотрю дальше своей смерти, — заметила Изабель. — Я подумала, что должна поставить тебя в известность. Не хотелось бы, чтобы эта новость явилась для тебя полной неожиданностью.

— Согласен. Терпеть не могу сюрпризы. Моя мать хоть знает об этом?

— Нет. Но мы с Рисом все обсудили. Каждую мелочь.

— Тогда передайте Рису, что они с моей матерью поженятся только через мой труп. Я со многим могу смириться, но только не с ролью пасынка Риса Ньюбери. И мне вовсе не улыбается заиметь Тодда в сводных братьях… Точнее, в неродных братьях. Это что, ваша прощальная гадость моей семье? Сколько себя помню, от Ньюбери мы только гадости и получали.

В коридоре послышались шаги матери. Миссис Ньюбери приложила палец к губам. Мать внесла запотевший кувшин и налила больной стакан холодной воды.

— Надеюсь, вы тут без меня не скучали? Том, я

все рассказала Изабель о тебе. Она говорит, что еще не встречала матери, которая бы так гордилась своими детьми. Изабель права. Вы всегда были смыслом моей жизни.

— Спасибо, что навестил меня, Том. — Миссис Ньюбери пожала мне руку. — Всегда рада тебя видеть.

— Надеюсь, вам станет лучше, миссис Ньюбери, — произнес я обычную в таких случаях фразу. — Если нужна будет помощь, вы только дайте знать. Спокойной ночи, мэм.

Мы с матерью сидели в кабинете Риса Ньюбери. Я мысленно прокручивал бесконечные возможности выставить себя последним идиотом. Если мать и Рис Ньюбери любезничали у постели его умирающей жены, меня это не касалось. Особенно учитывая то, что умирающая жена фактически занималась их сватовством, гордясь своей заботой о муже.

— Мам, почему она не в больнице? — осведомился я, не решаясь сразу перейти к вопросу об отце.

— Изабель хочет умереть в доме, где умерли все ее предки, в своей постели. Таково ее решение.

— А какая у нее разновидность рака?

— Теперь уже сложно определить. Поражено

все тело. А началось с рака прямой кишки.

— Серьезно? В таком случае даже у Господа Бога плоховато с чувством юмора.

— Том, таких циничных слов я от тебя не ожидала! — Мать подошла к двери — не подслушивает ли кто. — Мы с Изабель Ньюбери очень сдружились, поэтому не отзывайся дурно об этой женщине. Она и так сильно переживает, что бывшие лучшие подруги бросили ее наедине с болезнью. Разумеется, они соблюдают правила приличия и один-два раза в месяц приходят на какой-нибудь час. Но Изабель видит, как им не терпится поскорее убраться из ее спальни.

— Меня не слишком удивляет поведение этих женщин. Удивительнее другое: Лила Винго, один из злейших врагов Изабель Ньюбери, теперь проводит с ней каждый день и почти каждую ночь.

— Нечего ворошить прошлое. Я никогда не держала зла на Изабель. Знал бы ты, каково приходится бедному Рису. Он совсем сник.

— Приятно слышать, что хоть что-то выбило его из колеи. Если честно, я думал, что ты измеряешь глубину своей человечности тем, насколько сильно ненавидишь Риса Ньюбери.

— Его просто неправильно понимают, — возразила мать.

— А мне кажется, его очень хорошо понимают. Если вдруг и он заработает рак прямой кишки, можно будет говорить, что у Бога есть четкий план для всех нас.

— Я не потерплю гадостей о Ньюбери в его же собственном доме, — вспылила мать. — И я не шучу. Он и Изабель — мои самые близкие друзья в Коллетоне. Ты бы видел, с какой трогательной признательностью они меня принимают. Я себя неловко чувствую: меня благодарят за обыкновенную добрососедскую поддержку. Я привыкла помогать соседям, ничего не прося взамен. Чем ближе я знакомлюсь с Ньюбери, тем больше удивляюсь, до чего же они одиноки. Не ухмыляйся. У них нет приятелей в нашем с тобой понимании этого слова. Вокруг них крутятся многие, но только по одной причине — деньги и общественное положение. Каждый стремится что-нибудь себе урвать. Рис и Изабель — очень проницательные люди. Фальшь они чуют на расстоянии.

— Думаю, что так оно и есть. Тогда зеркала должны сводить их с ума… Мама, я ведь здесь не просто так. У меня сегодня был отец.

— Я сразу поняла, почему ты пришел. Я ждала тебя, Том.

— Отец просит простить его за все. Он готов

сделать для тебя что угодно, если ты вернешься.

Мне было странно повторять неуклюжие отцовские фразы.

— Я убила слишком много лет на твоего отца, — вздохнула мать. — Ты понимаешь, что я его даже не любила? Выскочила замуж и только потом начала соображать.

— Сегодня ему прислали бумаги на развод. Это его убедило в серьезности твоих намерений.

— У Риса и Изабель есть домик на Ланьер-стрит. Они позволили мне там жить, причем совершенно бесплатно. Представляешь, как они добры ко мне?

— Речь сейчас об отце. Он просил меня поговорить с тобой. Что ему передать?

Мать встала, вытянувшись во весь рост.

— Что мне очень жаль потраченных на него лет. Я жалею, что познакомилась с ним. Жалею, что зачала с ним детей. И еще: день, когда я навсегда освобожусь от него, станет счастливейшим в моей жизни.

— Может, ты подыщешь более сильные выражения?

— Какое право ты имеешь осуждать меня? Или забыл, что в детстве только и просил, чтобы я развелась с отцом? Что теперь изменилось?

— Раньше я его ненавидел. А теперь, когда смотрю на него, мне становится грустно. Я ничего не могу с собой поделать. Отец задевает во мне струну жалости. Вокруг него так и сияет ореол законченного неудачника, и от этого ореола ему вовек не избавиться. Я сейчас его даже не воспринимаю как своего отца. Скорее как дядю, как недотепу, у которого бываю пару раз в году, на каникулах.

— Значит, ты считаешь, что я не должна разводиться с ним? — уточнила мать.

— Делай так, как ты действительно хочешь, — ответил я, когда наши глаза встретились. — Поступай так, как подсказывает сердце.

— Это ты искренне?

— Возможно, нет, но именно этих слов ты от меня ждала.

— То есть я могу рассчитывать на твою поддержку? — поинтересовалась мать.

— Вы оба можете рассчитывать.

— И ты согласен свидетельствовать в суде в мою пользу?

— Нет. Ни на чью сторону я не встану.

— В чем же тогда заключается твоя поддержка?

— Мама, послушай меня внимательно. Я доста-

точно натерпелся от семьи, в которой родился и вырос. Мне было больно и тяжело расти, имея таких родителей. Но сейчас я взрослый человек, и не надо прикрываться мной как щитом. В свое время у вас с отцом хватило сил самостоятельно заключить брак. Так имейте силы самостоятельно его расторгнуть. Не окропляйте дорогу к вашей свободе кровью своих детей. Вы оба достаточно зрелые люди, чтобы не втягивать в бракоразводный процесс нас троих.

— И ты не присягнешь суду, что в детстве отец жестоко тебя избивал? — напирала мать.

— Нет. Я сообщу, что не помню таких случаев.

— Где тебе помнить? — разозлилась мать. — Ты валялся без сознания, пока я изо всех сил оттаскивала отца от тебя. Неужели и у Люка такая короткая память? Ведь ему доставалось больше всех.

— Я пытаюсь втолковать тебе простую вещь. Все жестокости, какие были, остались в прошлом. Нам всем будет только хуже, если мы начнем свидетельствовать в пользу кого-либо из вас.

— Ничего, обойдусь без тебя. Я звонила Саванне. Если понадобится, она готова выступить в суде. Дочь говорит, что еще не встречала женщин, которых бы так унижали и над которыми так

измывались.

— Прости, но кто-то должен помочь отцу собрать осколки жизни после твоего ухода.

— Я точно так же собирала твою жизнь. Отцовские кулаки разбивали ее вместе с твоим лицом, а я собирала.

— Мама, разве я виноват в том, что Генри Винго — мой отец? Не ты ли сама его выбрала? В чем я провинился перед тобой?

— Ты же знаешь, Том: я не люблю кого-то о чем-то просить. Единственный раз в жизни мне понадобилась твоя помощь. И нужно всего-то прийти и открыть правду. Но ты отказываешься. У меня впервые появляется шанс изменить свою жизнь, однако сын против.

— Пока ты ходила за водой, миссис Ньюбери уверяла меня, что Рис в тебя влюблен.

— Изабель находится в полубредовом состоянии. Я уже привыкла к ее бессмыслице. Что делать? Это болезнь. Мы с Рисом просто смеемся, когда она пытается говорить нам подобные вещи. Никто из нас ни на секунду не принимает их всерьез.

— Мама, это твое дело, я не хочу в него влезать. Если что-то сделает тебя счастливой, я буду только рад. Это я тебе обещаю. Но и ты мне пообещай,

что на бракоразводном процессе не станешь выжимать из отца все соки.

— Я прошу только того, что заслужила, — отчеканила она. — Только честно заработанного долгими годами замужества.

— Вот этого-то я и боюсь. Я тут все смотрю на карту у тебя над головой. Я очень хорошо ее помню. Впервые я увидел ее много лет назад, когда ты привела меня извиняться перед Тоддом за драку. Тодд мне пояснил: булавки с зелеными головками означают земельные участки, которые уже принадлежат его отцу, а с красными — те, что он собирается купить. Сейчас в городе полно слухов о каком-то федеральном проекте. Якобы скоро Коллетон ждет что-то громадное и денежное. Куда ни посмотришь — везде отираются земельные спекулянты. Люди почуяли возможность неплохо заработать.

— Я удивлена, Том, что ты обращаешь внимание на сплетни, — холодно заметила мать.

— Сколько на этой карте зеленых булавок! Судя по всему, Рис Ньюбери здорово преуспел и приобрел значительную часть округа.

— Все и так знают, что он крупнейший землевладелец в Коллетоне, — напомнила мать.

В ее голосе я уловил странную и неуместную

гордость.

— Передай Рису, что он слишком поторопился воткнуть зеленую булавку в остров Мелроуз, который пока что ему не принадлежит. Меня настораживает, что ты так спокойно на это реагируешь. В данный момент владельцем острова является отец. Если ты получишь Мелроуз, это будет означать только одно: Рис Ньюбери украл его для тебя. Ньюбери в Коллетоне позволено все. И прихвостней вокруг него крутится больше, чем жаб в пруду. А половина из них — юристы и члены суда.

— Мне ровным счетом плевать на этот остров. Я там чуть не умерла от одиночества и буду только рада никогда там не появляться.

— Отец злоупотреблял силой, — сказал я. — Не повторяй его ошибку.

— Моя единственная ошибка — это чрезмерная доброта. Я была слишком добра ко всем.

— Забавно, — усмехнулся я. — Те же слова я сегодня слышал от отца.

— Не знаю, что твой отец понимает под добротой.

— Если честно, ты правильно поступаешь, мама. Отец всегда был для тебя неподходящей парой.

— Думаю, из меня получилась бы отличная первая леди страны, — как бы невзначай бросила она.

— Из тебя?

— Да, Том. У меня есть все необходимые для этого качества. Я никогда не сомневалась, что была бы хорошей помощницей президенту или хотя бы губернатору. Я никому не рассказывала о своем врожденном таланте притягивать нужных людей и заводить с ними знакомства. Каких высот я могла бы достичь, если бы в тот день не встретила в Атланте твоего отца!

— Не хочу принимать здесь ничьей стороны. — Я встал и направился к двери. — Пусть вы оба будете меня за это ненавидеть, но я собираюсь играть по своим правилам.

— По правилам неудачника, — печально вздохнула мать. — Ты такой же неудачник, как твой отец. Годами я обманывала себя, пыталась убедить, что ты пошел в меня. У тебя ведь были такие задатки!

— И кто же из нас пошел в тебя? — осведомился я.

— Люк. Он сражается за свои желания. Прирожденный боец, как и я.

Когда мы выходили из кабинета, мать попро-

сила:

— Пожалуйста, нигде не повторяй того, что сегодня услышал от Изабель. Когда люди умирают, они уже не совсем за себя отвечают.

— Буду молчать, — пообещал я.

В коридоре я обнял и поцеловал мать, после чего несколько секунд внимательно смотрел на ее лицо. Материнская красота глубоко меня трогала. Я гордился, что являюсь сыном такой женщины. И эта же красота заставляла меня тревожиться за будущее матери.

— Том, давай на минутку заглянем в гостиную, — вдруг предложила мать.

— Зачем? Уже поздно. Мне пора.

— Ненадолго.

Она ввела меня в гостиную, включила свет и прошептала:

— Здесь есть восемь предметов, имеющих музейную ценность. Восемь!

— Наверное, трудно отдыхать среди музейных экспонатов, — попробовал пошутить я.

— Я беспокоюсь по поводу твоего отца, — вдруг сообщила мать. — Что, если ему взбредет в голову отомстить мне за развод?

— Он ничего тебе не сделает. Обещаю.

— Откуда ты знаешь? Он непредсказуем.

— Отец тебя и пальцем не тронет, иначе мы с Люком его убьем. И выброси свои опасения из головы. Мы с Люком давно не мальчики.

Однако мать не слушала меня. Ее глаза светились от удовольствия, медленно скользя по обстановке комнаты.

— Попробуй угадать, что это за восемь предметов, — сказала она.

— Мне пора домой, — отмахнулся я и покинул дом Ньюбери.

Последние дни своей жизни Изабель Ньюбери мучилась от непрекращающихся болей. Умерла она во сне. Моя мать присутствовала на траурной церемонии и похоронах вместе с членами клана Ньюбери.

Отец попытался было оспорить бракоразводный иск, заявляя, что он и его жена — католики, а католическая церковь не признает разводов. Судья этот довод не принял, заявив, что округ Коллетон подчиняется законам штата Южная Каролина, допускающим развод между гражданами любого вероисповедания. За день до суда из Нью-Йорка приехала Саванна. Оставшееся время она усердно готовилась к своей роли главной свидетельницы со стороны матери.

Давая показания, Саванна то и дело вытирала

слезы. Родители тоже плакали. Судья Кавендер был давним деловым партнером Риса Ньюбери. Сам бракоразводный процесс представлял собой печальное зрелище, но никого не удивил. В судебном коридоре отец и мать держались как совершенно незнакомые люди. Они уже начали постигать холодную науку отчужденности, особенно в присутствии друг друга. Супружество Лилы и Генри Винго превратилось в абстракцию; о нем напоминало лишь присутствие троих взрослых детей, с молчаливой тоской наблюдавших за окончательным разрывом отношений их родителей. Ужасных отношений — мог бы добавить каждый из нас. Кулаки Генри Винго и его характер не вызывали ничего, кроме велеречивого презрения закона, не питавшего снисхождения к мужьям, которые жестоко обращаются со своими женами. Давая показания, отец всхлипывал, лгал и пытался льстить судье. Его поведение было очень естественным — поведение отчаявшегося человека; я с внутренней болью смотрел на него и слушал его речь. Мать держалась достойно и сохраняла самообладание. Говоря, она глядела в сторону, и мне казалось, что ее слова обращены к неизвестному зрителю возле окна, а не к судье Кавендеру.

Заслушав всех, судья сразу же объявил об официальном расторжении брака. Далее начался раздел имущества. За Генри Винго осталась его лодка, дом со всей обстановкой, деньга на счетах, грузовички, трактор и фермерский инвентарь, а также ликвидные активы[195]. Отец полностью освобождался от уплаты судебных издержек и не нес ответственности за возможные долги своей бывшей жены, которые она могла наделать после ухода из дома. Казалось, мать получает свободу, но остается без гроша в кармане. И здесь судья ошеломил не только нашего отца, но и всех нас. Мать получила во владение остров Мелроуз.

Год спустя мать вышла замуж за Риса Ньюбери. На этом торжестве для узкого круга присутствовал сам губернатор Южной Каролины. Через несколько дней мать участвовала в заседании Коллетонской лиги как ее полноправный и уважаемый член.

В день нового бракосочетания матери отец вышел на своей лодке за трехмильную прибрежную зону и повернул на юг, в сторону Флориды. Полгода от него не было никаких вестей. Затем он

---

[195] Примечания: 195

Денежные средства и активы, которые могут быть быстро обращены в денежные средства (краткосрочные ценные бумаги, денежные средства на сберегательных и чековых счетах и т. д.).

прислал Люку открытку из Ки-Уэста. Отец писал, что за это время наловил тонну креветок и наконец нашел способ заработать настоящие деньги. О матери и о возможном времени возвращения не было ни слова. Отец находился где-то к западу от Ямайки, когда федеральное правительство обнародовало свои планы относительно округа Коллетон.

В Колумбии, в резиденции губернатора, состоялась пресс-конференция с участием представителей Комиссии по атомной энергии. В числе приглашенных были Рис Ньюбери и моя мать… Правительство Соединенных Штатов решило возвести на всей территории округа Коллетон несколько атомных заводов, проектированием, строительством и последующей эксплуатацией которых должна была заняться компания «Ю. Г. Мьюшоу» из Балтимора. Эта стройка получила название «Коллетонского речного проекта». Продукция заводов могла использоваться как для изготовления ядерного оружия, так и для производства топлива, на котором работают атомные электростанции. Конгресс США одобрил выделение 875 миллионов долларов на начало строительства.

Представитель Комиссии сообщил, что участок

под проект был выбран после тщательного изучения более чем трехсот предполагаемых мест на всей территории страны. Вокруг атомных заводов требуется создавать зону безопасности, соответственно, в течение ближайших полутора лет необходимо переселить около трех с половиной тысяч семей. Федеральное сельскохозяйственное агентство и аналогичное агентство Южной Каролины предоставят местным жителям всю необходимую помощь. Переселение города Коллетон — первый факт за всю историю Соединенных Штатов, когда самоуправляемая территория переходит под власть федерального правительства. Через три года строительство должно быть полностью завершено, и тогда прекрасный округ Коллетон займет ведущее место в мире по производству плутония и сможет изготавливать больше водородных бомб, чем любой военный комплекс за пределами Советского Союза.

— Чтобы спасти мою страну от русских коммунистов, я готов пожертвовать своим родным городом, — заявил перед телекамерами Рис Ньюбери.

Правительство горделиво называло этот проект самым крупным и дорогостоящим из всех, кото-

рые федеральные власти когда-либо осуществляли к югу от линии Мейсона — Диксона[196]. Он обещал принести миллиарды долларов в экономику прибрежной части Южной Каролины и дать работу людям от Чарлстона до Саванны. Как известно, правительство имеет суверенное право в случае общенациональной необходимости изымать собственность граждан с выплатой им соответствующей компенсации. При этом особо подчеркивалось, что речь идет о самом бедном и малонаселенном округе штата. В ближайшее время в Коллетон будут направлены правительственные агенты для оценки стоимости участков земли и выкупа ее у владельцев по справедливой рыночной стоимости. Для разрешения возможных споров учреждается специальный апелляционный суд. Правительство обещает также перевезти за государственный счет любые строения на расстояние до двухсот миль.

Учитывая определенную историческую значимость города Коллетон, правительство стремится

---

[196] Примечания: 196

Линия Мейсона — Диксона — южная граница Пенсильвании, проведенная в 1763–1767 гг. английскими геодезистами и астрономами Ч. Мейсоном и Дж. Диксоном. Разрешила более чем вековой пограничный спор между семьями крупных землевладельцев Пенсильвании и Мэриленда. В 1779 г. граница была продлена и разделила Виргинию и Пенсильванию. До начала Гражданской войны эта линия символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами.

максимально воссоздать его облик на новом месте. Для этого уже началась расчистка четырех тысяч акров территории в южной части округа Чарлстон. Город будет называться Новый Коллетон, и каждый житель «старого» Коллетона сможет бесплатно поставить там свой дом[197].

После той пресс-конференции газеты штата начали писать о Коллетоне в прошедшем времени. Передовицы рукоплескали решению правительства разместить в Южной Каролине столь внушительное производство и восхищались самопожертвованием горожан, которое те демонстрируют в интересах национальной безопасности. Каждый политик штата торопился горячо поддержать проект. То было время пошлейшей риторики и отъявленной лжи. Мэр Коллетона полностью поддержал «Коллетонский речной проект». Городской совет — тоже, равно как и все государственные чиновники. Рис Ньюбери заранее их щедро отблагодарил; к тому же все они занимались махинациями с землей и здорово наживались на этом.

---

[197] Примечания: 197

На самом деле округ Коллетон действительно существует, а вот города с таким названием никогда не было. Река Коллетон, сделанная фантазией автора большой и полноводной, на самом деле — скромная речка. Общая численность населения реально существующего округа Коллетон — около 40 тыс. человек.

В самом Коллетоне прошло несколько собраний. Яростным протестам жителей государственные чиновники противопоставляли не менее яростные обвинения в непатриотичности. Шестеренки государственной машины уже завертелись; она подминала под себя наш округ, а мы не могли даже замедлить ее ход. Коллетонцы писали письма в редакции и своему конгрессмену. Но все наделенные властью были жуткими сторонниками прогресса и патриотами. Они смотрели дальше исчезновения «миленького прибрежного городка»; их пьянил будущий престиж округа Коллетон, где вместо ловцов креветок появятся высококвалифицированные рабочие и ученые. Стоит ли так волноваться из-за переселения восьми с небольшим тысяч человек? Тем более что государство обещало все хлопоты взять на себя и щедро помочь с переездом. Никто не устраивал голосований, не проводил референдумов и опросов общественного мнения. Нас просто поставили в известность, что наш город бесследно исчезнет. Изменить это решение было невозможно. Наши доводы никого не интересовали, поскольку мы отказывались признать основной аргумент государства: Коллетон приносится в жертву ради священных интересов

национальной безопасности.

Одно правительственное собрание в Коллетоне все же состоялось, и посвящено оно было вопросам предстоящего переселения. Проходило собрание в спортивном зале школы, в нестерпимо жаркий августовский вечер. Те, кто не сумел пробиться внутрь, обливались потом снаружи, слушая через громкоговорители. Сообщение делал представитель Комиссии по атомной энергии. Он же отвечал на вопросы. Звали его Патрик Флаэрти. Худощавый, довольно симпатичный, с хорошими манерами. Чувствовалось, он уверен в своей неуязвимости и относится к происходящему с едва заметным пренебрежением. Он говорил ровным, безэмоциональным тоном. С юридической точки зрения Флаэрти представлял государство, науку и всех чужаков, наводнивших округ. Было бы честнее, если бы он сказал: «Мы хотим погубить ваш город, и я поделюсь с вами планом его уничтожения». Нет, он использовал тот же научно-политический жаргон, что и большинство пришлых.

Патрик Флаэрти являл собой совершенный типаж современного американца. С самого начала он буквально заворожил меня своим безупречным умением произносить словесные штампы.

Его голова была настоящей сокровищницей банальностей. В каждой произносимой фразе, в каждом жесте сквозило снисхождение. Вероятно, он считал, что изрекает нам высочайшие истины, где давным-давно расставлены все точки над «i»; его примеры характеризовались абсолютной обтекаемостью. За время, пока я слушал Патрика Флаэрти, у меня появлялись все новые и новые сравнения, которыми я мысленно его награждал. Резиновая кукла: гладкая, податливая и напрочь лишенная сострадания. Бельмо на глазу нашего ненормального, переполненного галлюцинациями века. Когда из динамиков посыпались статистические данные, медный, безжизненный голос Флаэрти стал ассоциироваться с каменной пылью сносимых зданий. Зал молча внимал, а он продолжал вещать о грядущем переселении города. Дом за домом, по кирпичику.

Завершалась речь Флаэрти так:

— Хочу заметить, что считаю жителей Коллетона самыми счастливыми людьми в Соединенных Штатах. У вас есть шанс продемонстрировать всем государствам ваш патриотизм, и вы это делаете, сознавая, что ваша жертва усилит безопасность нашей страны. Америка выступает за мир, и потому ей нужен плутоний, атомные

подводные лодки и ракеты с боеголовками индивидуального наведения. У слова «плутоний» есть замечательный синоним — слово «мир». Мы понимаем, что многим из вас тяжело покидать родные места. Поверьте, все, кто в той или иной степени причастен к этому проекту, разделяют ваши чувства. Они затрагивают мое сердце, и я не стесняюсь в этом признаться. Но мы знаем и другое: как бы вы ни любили Коллетон, ваша любовь к Америке сильнее. Вы любите Коллетон. Но подождите какое-то время, и вы увидите то, что мы приготовили для вас в Новом Коллетоне. Там будет новое здание пожарной команды, новое здание суда, полиции, новые школы и парки. Обещаем, что когда обустройство Нового Коллетона завершится, он станет самой прекрасной общиной Америки. Тем из вас, кому дороги дома, потому что они связаны с несколькими поколениями ваших предков, мы поможем бесплатно перевезти и поставить это имущество. Мы трудимся для того, чтобы наш народ жил счастливо. И когда Америке нужна ваша рука помощи, вы дружно говорите «да» программе «Атом во имя мира», разработанной Комиссией по атомной энергии. Я думаю, сейчас у вас возникло желание встать и вознаградить себя аплодисментами.

Никто не встал. Единственными овациями в зале были жидкие хлопки самого Патрика Флаэрти.

Заметно раздраженный этой тишиной, он спросил, желает ли кто-нибудь из присутствующих выступить перед своими согражданами. И тогда поднялся мой брат Люк.

Он шел через зал. Вряд ли в ту минуту он ощущал на себе взгляды собравшихся. В походке Люка не было свойственного ему спокойствия. Выражение лица говорило о глубокой ране, нанесенной его душе. Встав перед микрофоном, брат не обратил внимания на сидящих у него за спиной политиков. Казалось, он не заметил даже матери, находившейся среди почетных гостей. Люк положил перед собой три листа желтой бумаги и начал выступление.

— Когда я воевал в Азии, мне дали краткосрочный отпуск и отправили в Японию. Там я побывал в двух городах — Хиросиме и Нагасаки. Я беседовал с людьми, которым «повезло» увидеть программу «Атом во имя мира» в действии. Я общался с японцами, жившими в этих городах тогда, в сорок пятом году, когда на них упали бомбы. Один из них показал мне жуткий снимок — останки совсем маленькой девочки, которую в

развалинах города заживо съела голодная собака. Я видел женщин с жуткими шрамами. Я посетил музей в Хиросиме, и мне до глубины души стало стыдно за то, что я американец. Плутоний не имеет ничего общего с миром. Это кодовое слово, означающее конец света и приход Зверя, о котором сказано в Откровении Иоанна. Плутоний прожорлив. Сейчас он готовится поглотить Коллетон, а со временем, возможно, — и всю планету. Вскоре наш прекрасный город превратится в место, где будут работать на разрушение вселенной. Однако я не слышал, чтобы кто-то из коллетонцев громко ответил «нет». Я без конца спрашиваю себя: «Неужели все в Коллетоне — овцы? А где же львы? Они спят?» Узнав, что федеральное правительство собирается украсть у меня родной город, я сделал то, что на моем месте сделал бы любой южанин: обратился к Библии за успокоением и силой. Я пытался отыскать там слова, которые принесли бы мне утешение в нынешние дни скорби. Освежив в памяти историю Содома и Гоморры, я сопоставлял участь двух греховных городов с судьбой Коллетона. Должен признаться, я не нашел там ни одного намека. Коллетон — город садов и прогулочных лодок. По воскресеньям над ним разносится колоколь-

ный звон. Здесь нет зла в том смысле, в каком мы его понимаем. Единственный грех нашего города в том, что он производит на свет людей, недостаточно его любящих, готовых продать его чужакам за тридцать сребреников. Я продолжал читать Библию, надеясь отыскать в ней Божье послание, которое помогло бы мне в нынешние дни бесчинств филистимлянских[198]. Так вот, если я не попытаюсь спасти город, который мне дороже всего на свете, пусть Бог превратит меня в соляной столб за то, что я не оглянулся[199]. Однако я бы предпочел быть безжизненным соляным столбом в Коллетоне, чем Иудой Искариотом, у которого под золотом — кровь родного города.

Люк говорил, и чувствовалось, как из небытия начинает воскресать совесть Коллетона. Над рядами поднимался ропот: то откликались сердца взрослых и детей, охваченные страстным плачем по обреченному городу. Речь брата стала обвинением летаргии, в которую погрузился город, словно обсыпанный дурманящим порошком.

---

[198] Примечания: 198

Согласно Библии, после царствования Соломона филистимляне грабили Иудею и Иерусалим (2-я Параполименон, 21:16).

[199] Примечания: 199

Как известно, праведнику Лоту и его семье, пощаженным при уничтожении Содома и Гоморры, наоборот, было приказано ни в коем случае не оглядываться назад (Бытие, 19).

Когда Люк произнес имя Иуды, зал начал гудеть, как разбуженный улей. Овцы вспомнили, что у них есть право сопротивляться.

— Я безуспешно листал Библию, пока не открыл с самой первой страницы. И тогда я услышал голос Бога, который был мне понятен и которому я смог повиноваться. Многие из вас верят в дословное восприятие этой великой книги. Я тоже верю в дословное восприятие Слова Божьего. Но все мы знаем, что Бог обращается к нам в Библии двояким способом, и мы должны отличать один способ от другого. Есть книги откровений и есть книги пророчеств. Книги откровений рассказывают об исторических событиях: например, о рождении Иисуса, Его распятии и смерти на кресте. Но Откровение Иоанна — это пророческая книга, где евангелист предсказывает Страшный суд и появление четырех всадников Апокалипсиса. Эти события пока не наступили, но обязательно наступят, поскольку так написано от имени Господа. Когда я перечитывал историю о сотворении мира, меня осенило. Книга Бытия — это не книга откровений, а книга пророчеств. Я думаю, она говорит не о том, что происходило в прошлом, она предсказывает то, что случится в будущем. Неужели всем нам, кто родился на

берегу реки Коллетон, кто с детства любовался прибрежными болотами и сменой времен года… неужели нам трудно представить, что мы по-прежнему находимся в раю? Что нас еще не изгнали из Эдемского сада? Что Адам и Ева еще ожидают своего появления на свет? Мы живем в раю и даже не осознаём этого. Из Библии вы знаете, что Иисус любил изъясняться притчами. А вдруг Книга Бытия — это одна из притч, Божий способ предостеречь нас от опасностей, грозящих миру? Если вы на мгновение согласитесь со мной и признаете, что Книга Бытия может быть притчей, поразмышляйте вот над чем. Ева протягивает руку и срывает запретный плод, после чего следует изгнание из рая и наступает конец совершенному счастью… Не от таких ли событий предостерегает нас Господь, какие могут вот-вот произойти в Коллетоне? Что, если мы готовимся разрушить наш совершенный дом? Что, если нас изгоняют из рая в неведомые земли? Что, если мы окажемся вдали от всего, что знали и любили, за что каждый день благодарили Бога? Мои друзья и соседи! Я внимательно прочитал Книгу Бытия. Думаю, что нашел ответ. Я молил Бога даровать мне мудрость и чувствую, что получил ее. Книга Бытия — это притча. С ее помощью Бог из глу-

бины веков предупреждает жителей Коллетона и всей планеты об опасности, которая способна мгновенно уничтожить наш рай. В Библии запретным плодом названо яблоко… Я же думаю, что запретный плод — это плутоний.

— Аминь, брат! — донесся сверху звонкий крик банковского кассира Люси Эмерсон.

Она вскочила на ноги. Толпа ответила ей гулом солидарности.

Патрик Флаэрти подошел к подиуму и попытался отобрать у Люка микрофон. Слова моего брата услышали все, кто был в зале и снаружи:

— Сядь, яйцеголовый. Я еще не закончил.

Флаэрти не стал с ним спорить. Люк продолжил:

— Коллетон — это город, о котором можно только мечтать. За него стоит сражаться. Даже умереть. Друзья мои, я был удивлен тому, с какой легкостью мы пустили к себе людей, которые обещали разрушить наш город, переместить наши дома и выкопать из могил останки наших покойников. Я привык гордиться тем, что я южанин. Я всегда считал, что любовь к родной земле отличает нас от всех остальных американцев. К сожалению, южане южанам рознь. Среди граждан Коллетона нашлись те, кто пустил чужаков в

наш город и продал Коллетон за горсть монет.

Люк повернулся лицом к подиуму, где сидели политики, бизнесмены и наша мать. Он махнул рукой, словно открещиваясь от них.

— Вот новые южане с продажными сердцами и душами. Пусть перебираются в Новый Коллетон или прямиком отправляются в ад. Отныне они мне — не братья и не сестры. Они не принадлежат Югу, который я люблю. У меня к вам есть одно предложение. Я делаю его от отчаяния, видя, как начали рубить деревья на острове, где я родился. Я предлагаю вспомнить, кто мы. Мы — потомки тех, кто однажды всколыхнул мир, не пожелав отдать свои права федеральному правительству. Наши предки гибли в сражениях при Булл-Ран[200], Антиетаме[201], близ Чансел-

[200] Примечания: 200

Фактически это два сражения, произошедших близ реки Булл-Ран в штате Виргиния. Первое произошло в конце июля 1861 г. (считается первым серьезным сражением Гражданской войны), а второе — в конце августа 1862 г. В обоих армия конфедератов победила армию северян.

[201] Примечания: 201

Сражение на берегу реки Антиетам-крик, близ города Шарпсберг, штат Мэриленд. Произошло в сентябре 1862 г. и закончилось победой северян. Марш конфедератов на Вашингтон был остановлен.

лорсвилля[202]. Они воевали не за те цели. Мне не нужны рабы. Но и я не пойду ни к кому в рабство и никому не позволю изгонять меня с земли, дарованной мне Богом. Чужаки говорят мне: «Слушай, Люк Винго, собирай вещички и в течение года выметайся за пределы округа Коллетон, иначе будешь отвечать по закону».

Люк приумолк, затем произнес спокойно и холодно:

— Обещаю вам: Люк Винго не собирается никуда уходить. Им придется выбрасывать меня силой, а это будет непростым делом. Это Люк Винго вам тоже обещает. Я общался со многими из вас и понял, что вам не нравится затея федерального правительства. Но федералы умело внушают вам: отправляться на чужбину — ваш патриотический долг. Южан привыкли считать глупцами и тупицами. Вы такими и будете, если сдадитесь без боя. Якобы Америке нужны бомбы, атомные подводные лодки и ракеты, чтобы убивать русских. Сомневаюсь, что кто-то из сидящих в этом зале видел хоть одного русского. Пред-

[202] Примечания: 202

Кровавое сражение конца апреля — начала мая 1863 г. Проходило близ деревни Чанселлорсвилль, штат Виргиния, в 25 милях от Вашингтона. Обе стороны понесли значительные потери. Закончилось победой южан.

ставьте, если бы сегодня вечером какой-нибудь русский ввалился к вам в дом и заявил: «Мы вас всех выселим за сорок миль отсюда, сровняем с землей ваши школы и церкви, разделим семьи и оскверним могилы ваших предков». Думаю, никто из вас не потерпел бы подобных слов. Но с русскими вам все понятно: это враги и захватчики. А как ведут себя с нами люди из федерального правительства? Как те же захватчики. И они еще смеют обвинять нас в отсутствии патриотизма! Так вот, пытаться переселить меня в Новый Коллетон — все равно что пытаться отправить меня в Россию. Я не знаю никакого Нового Коллетона.

— Что нам делать, Люк? — выкрикнул кто-то.

— Люк, подскажи, как нам быть? — подхватили другие голоса.

— Я не уверен, — ответил брат, — но у меня есть несколько предложений. Не могу сказать, осуществимы ли они, но можно попробовать. Давайте завтра подадим петицию с требованием отставки всех избранных чиновников нашего округа. Выкинем этих жадных мерзавцев с их тепленьких местечек. Затем издадим закон, запрещающий на территории округа любое федеральное строительство. Конечно, федералы противопоставят нам всю силу законов о штате и

земле. Если они станут упорствовать, предлагаю округу Коллетон издать Билль об отделении от штата Южная Каролина. Если вспомнить историю, в Южной Каролине лучше, чем где-либо, должны понимать необходимость отделения. Возьмем судьбу в свои руки и провозгласим, что в округе Коллетон производство плутония запрещено на веки вечные. Если понадобится, объявим Коллетон суверенным государством. Дадим федеральному правительству тридцать дней на свертывание «Коллетонского речного проекта» и всего, что с ним связано. Если чужаки будут стучаться в ваши двери — встречайте их словами из Декларации независимости: «В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье». Если они не захотят вас слушать, тогда… мы объявим им войну. Наши силы неравны, и нас достаточно скоро разобьют. Но зато мы будем покидать свои дома с честью. Память о нашем мужестве сохранится и через сто лет. Мы пока-

жем им мощь коллетонского «нет». Если агенты федерального правительства по-прежнему будут приходить и заниматься вашим насильственным переселением, я говорю вам, своим друзьям и соседям, которых знаю всю свою жизнь: сражайтесь с ними. Сражайтесь! Наденьте зеленую нарукавную повязку и покажите, что вы — один из нас. Это будет отличительным знаком нашего неповиновения. Вежливо предложите им покинуть ваш дом. Если откажутся, наставьте на них оружие и снова попросите уйти. Если они и тогда не подчинятся, сделайте предупредительный выстрел. Я где-то читал, что понятие об общем праве впервые появилось в Англии. Там даже король не смел переступить порог беднейшего крестьянина без разрешения хозяина. Я говорю вам всем: король не смеет переступать порога наших жилищ. Мы этого сукина сына не звали.

Шериф Лукас подошел к моему брату и защелкнул наручник у него на запястье. Потом шериф и два его помощника, грубо толкая, погнали Люка к выходу. Собрание закончилось, и никто из сотен присутствующих вслух не выразил протеста. Возможно, кто-то и был взбешен происшедшим, но внешних выплесков не было.

На Люка завели дело. У брата взяли отпечатки

пальцев. Его обвинили в террористических угрозах в адрес федеральных властей и властей штата. Помимо этого, в подстрекательстве к отделению округа от штата Южная Каролина. Люк заявил, что более не подчиняется ни федеральным законам, ни законам штата и в возникшем конфликте между округом Коллетон и Соединенными Штатами считает себя военнопленным. Он назвал свое имя, звание, личный номер и, сославшись на положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, отказался отвечать на все прочие вопросы.

Через день в газете «Чарлстон ньюс энд курир» появилась ироничная статья о том, как шериф Коллетона впервые за более чем сто лет, прошедших со времен Гражданской войны, разогнал собрание сепаратистов. В магазинах на улице Приливов никто не раздавал петиции об отставке правительственных чиновников. Никто не ходил с зелеными нарукавными повязками, демонстрируя свое несогласие с «Коллетонским речным проектом». Всего один человек принял слова Люка всерьез, и теперь он находился в тюремной камере с видом на реку.

Война, объявленная Люком, началась.

Мать попросила меня пойти вместе с ней к

Люку. Я нехотя согласился. Брат уже целые сутки находился под арестом. Мать держала меня под руку. Мы шагали по притихшему городу. Свет, льющийся из окон домов, казался мне тусклым и безжизненным. Старинные особняки, которые я всегда считал вечными, вдруг превратились во что-то хрупкое и эфемерное вроде любовного послания, написанного на снегу. Под уличным фонарем стоял бульдозер — молчаливое напоминание о скорой участи Коллетона. Застывший механизм чем-то напоминал насекомое или самурая. К его блестящему щиту прилипли комья земли — кровь моего родного города. Мы шли молча. Мне казалось, что я разматываю тонкое полотно истории своей семьи. Недавний дождь освежил воздух, наполнив его дурманящими ароматами растений. Темнели длинные ветки вольнолюбивых глициний, сильно пахли розы на своих клумбах-медальонах. Что ожидает эти сады? У меня сердце сжималось от чувства невосполнимой утраты. Я страдал оттого, что не могу сказать матери ни одного доброго слова. Будь я в достаточной степени мужчиной, я бы обнял мать и заверил ее, что понимаю все ее поступки. Но если вы имеете дело с Томом Винго, знайте, что этот парень всегда найдет способ выкинуть ка-

кой-нибудь дешевый трюк и вырубить на корню любые прекрасные качества, которые могут быть присущи взрослому мужчине. Моя зрелость была такой же фальшивкой, как сверкающие стволы пушек нашего округа. Мы капитулировали, не сделав из них ни одного выстрела.

У входа в тюрьму мать стиснула мне руку.

— Том, прошу тебя, поддержи меня. Понимаю, ты обижен, но я боюсь за Люка. Я-то его характер изучила лучше, чем кто-либо. Он всю жизнь искал себе дело, ради которого можно умереть. И теперь он думает, что нашел его. Мне страшно, Том. Если мы не остановим Люка, мы его потеряем.

Из зарешеченного окна камеры брата лился лунный свет, разделяя пол на восемь почти ровных квадратов. Дверь тоже имела решетки. Шериф проводил нас и удалился. Люк стоял к нам спиной, глядя на реку. Лунное сияние обрамляло его волосы, шею и плечи. Равные промежутки света и теней на его спине напоминали фортепианные клавиши. Я смотрел на мускулы брата и думал, что вряд ли существует более прекрасное мужское тело. Мышцы Люка не были набрякшими шарами; они располагались равномерно и симметрично. От брата веяло холодной ре-

шимостью. Его ярость буквально ощущалась в воздухе, а напряженные плечи подтверждали это наглядно. Он слышал, что мы пришли, но не повернулся, чтобы поприветствовать нас.

— Здравствуй, Люк, — неуверенно начала мать.

— Привет, мама, — ответил он, не спуская глаз со сверкающей реки.

— Чувствую, ты до сих пор сильно злишься на меня, — попыталась разрядить тягостную обстановку мать.

— Да, мама, — согласился Люк. — Сколько времени ты уже знала о планах федералов? Когда Ньюбери поделился с тобой этим чертовым проектом? Когда вы оба задумали отобрать у отца единственную ценность?

— Я заработала право на Мелроуз, — возразила мать. — Этот кусок земли оплачен моей кровью.

— Ты беззастенчиво украла его, — отрезал Люк. — И не жди, что твои дети будут тебя за это любить.

— Глупо бороться со временем, Люк. Мелроуз и все прочие острова — в прошлом. Коллетон тоже в прошлом. Нам всем нужно смотреть в будущее.

— Как? — спросил Люк, обращаясь не к матери, а к реке. — Как, если тебе не на что оглянуться?

Человеку необходимо место, откуда он вышел. А у нас там — ничего, кроме знака с надписью «Не приближаться!».

— Интересно, кто тебе придумал вчерашнюю речь? — поинтересовалась мать.

— Никто. Я ее сам написал. Так думаю только я один.

— Слава богу, у других хватает здравого смысла. Но все-таки кто-то помогал тебе? Кто? Ответь, не бойся.

— Ты меня всю жизнь считала дураком, а я этого не понимал. Ты сумела меня убедить в моей недалекости. Я ощущал себя тупым и в школе, и когда был рядом с Томом и Саванной. Теперь-то я осознаю, что совсем не глуп. Я вижу мир не так, как большинство людей. У меня другой угол зрения. Я не могу похвастаться разносторонностью. Кто-то умеет делать сотню разных дел, а я — всего четыре или пять. Но зато я довожу их до конца. Признаюсь тебе, слова о том, что Книга Бытия — книга притч, не мои. Я слышал их в проповеди Амоса. Он произнес ее незадолго до смерти, в той церкви, где мы его отпевали. И мне очень-очень понравилась та проповедь.

— Ты хочешь меня убедить, что Амос говорил о плутонии и именовал его запретным плодом? —

язвительно уточнила мать.

— Нет, эту часть я немного изменил. Амос называл запретным плодом кондиционеры воздуха. Но в сравнении с плутонием кондиционеры — просто игрушки.

— Правительство лучше знает, что надо делать, — уже мягче сказала мать. — Эти заводы нужны для национальной безопасности.

— С каких это пор правительство лучше знает, что надо делать? — устало возразил Люк. — Что именно оно знает лучше? С теми же словами ты провожала меня во Вьетнам. С теми же дурацкими словами. И я поехал истреблять крестьян. Они были настолько бедны, что хотелось плакать. Я щадил тебя и врал, что не участвую в боевых действиях. На самом деле я убивал этих нищих крестьян, их скот, жен и детей. Я уничтожал все, что двигалось. Я даже прикончил пару солдат. И все это я делал, потому что мое правительство лучше знало, зачем отправило меня во Вьетнам. А теперь я стою здесь, перед тобой, и утверждаю с полным основанием: правительство ровным счетом ничего не знает. Правительство всегда жестоко. Только ведет себя в разных случаях по-разному. Я сам это понял. Если правительство кормит нищих, это не из-за доброты, а от страха.

Правительство боится, как бы народ не поднялся и не перерезал глотки чиновникам. Правительство пугает нас Россией. Знаешь, что я думаю о России? Я думаю, что она дерьмо. И Америка тоже дерьмо. И вьетнамское правительство, которое я помогал защищать, дерьмо. Северный Вьетнам — дерьмо. Знаешь, мама, почему я воевал во Вьетнаме? Если бы я отказался, меня бы упрятали в тюрьму. Широкий выбор, правда? По той же причине я плачу налоги: если я перестану это делать, меня посадят за решетку. А теперь, если я захочу вернуться на остров, где родился, мое прекрасное правительство и за это предоставит мне камеру. Стоило мне вчера напомнить людям о Декларации независимости, как наше сказочно справедливое правительство бросило меня сюда.

— Сын, ты не можешь бороться с законом, — заметила мать.

— С чего ты взяла, что не могу? Я сражался с Вьетконгом. Значит, смогу и с законом.

— Люк, ты вбил себе в голову, что можешь заставить мир быть таким, каким хочешь его видеть. — Мать наклонилась к прутьям дверной решетки. — Ты прямолинеен, упрям и…

— Глуп. Ты это хотела добавить? — Люк отвернулся от окна и подошел к нам. — Других слов я

от тебя и не ждал.

— Не угадал, Люк. Не «глуп», а «чист». Только твоя чистота не ведет к мудрости. Она заставляет тебя цепляться за проигранные дела.

— Я не считаю Коллетон проигранным делом, — возразил Люк. — Я просто говорю «нет» планам федерального правительства. У меня есть на это право. Черт побери, я же американец и с детства слышал о праве каждого гражданина выражать свое несогласие. Я заработал свое право, в том числе и собственной кровью. Простое вроде бы право, а как дорого стоит. Америка вела в дерьмовой стране дерьмовую войну, и я сказал этой войне «да». Мне вбивали в голову, что мы сражаемся за демократию. Разумеется, мне врали, но тогда я предпочитал верить, что это правда. Я и предположить не мог, что через десять с небольшим лет правительство заберет у меня дом. Если бы я знал об этом заранее, я перешел бы на сторону Вьетконга. Саванна и Том ответили войне «нет». Я боролся и за их право это сказать. Спросишь почему? Верно, мама, потому что я глуп. Никто не любит Америку больше, чем я. Но не всю страну целиком. Мне ровным счетом плевать на Айдахо или Южную Дакоту. Я там никогда не был. Моя родина — округ Коллетон.

То, что я вижу из этого окна. Всего лишь сорок квадратных миль планеты. Но я люблю этот клочок земли, я за него воевал.

— И все-таки тебе придется его покинуть, — заявила мать. — Знаешь про беднягу Юстиса? У него участок возле реки Кайавы. Сегодня он не пустил федеральных агентов, которые пришли мерить площадь и оценивать стоимость. Видно, он всерьез воспринял твою вчерашнюю речь. Старик Джоунс сделал то же самое. Правда, он живет в трейлере. Шериф выдал ордера на арест обоих.

— Запомни, мама, когда я выйду отсюда, я не стану паковать вещички и готовиться к переселению, — сердито произнес Люк.

— Если ты попытаешься остаться на острове, с тобой поступят так же, как с Юстисом и Джоунсом.

— Только им придется учесть, что я не бедняга Юстис и не старик Джоунс.

— Тебя воспитывали законопослушным гражданином, — возмутилась мать.

— Семьи, где я рос, больше не существует. А теперь твой муж и эти проклятые политики устроили заговор и собираются украсть у меня дом.

— Рис не вступал ни в какие заговоры. Мне

неприятно слышать от тебя клевету на моего мужа.

— Тогда, мама, разреши тебе напомнить кое-что о твоем муже. Он годами занимался скупкой земли и выдавливал бедных фермеров за пределы округа. Он давно знал об этом проекте. За последние десять лет население Коллетона уменьшилось, но не потому, что люди сами уезжали. Твой муж их выгонял. Он давно имел виды на наш остров. Вспомни, как он предлагал отцу продать Мелроуз. Но лакомый кусочек не давался в руки. И тогда он сыграл с тобой свадьбу, чтобы иметь все права на твое имущество.

Мать просунула руку сквозь прутья решетки и влепила Люку пощечину.

— Рис Ньюбери женился на мне потому, что готов целовать землю, по которой я хожу! — Мать задыхалась от бешенства, слова вылетали из ее рта, как снаряды. — Возможно, моим детям невдомек, но я вполне достойна такого поклонения.

— Да, мама, — тихо согласился Люк. — Я всегда считал тебя удивительной женщиной, и меня очень огорчало, что вы с отцом так плохо живете. Рад, что теперь ты счастлива. Я понимаю, ты повела себя так, как должна была. Но и ты пойми: у меня тоже есть дела, которые я должен сделать.

По-своему. Я все очень тщательно обдумал. С тех пор как федералы объявили свой план, я только об этом и размышляю.

— И что же, по-твоему, ты можешь? — спросила мать.

— Надеюсь, у меня получится их остановить, — сообщил Люк.

— Люк, ты просто сумасшедший, — выдохнул я, и это были мои первые слова за все наше свидание. — Я пообщался с шерифом. Он готов отпустить тебя, если ты согласишься поехать в штатную психиатрическую клинику и останешься там для двухнедельного обследования. По-моему, тебе следует это сделать.

— Зачем? — удивился Люк.

— Потому что ты говоришь безумные вещи. Ты не повернешь вспять правительственный проект. Он — свершившийся факт. Судьба Коллетона решена. Тебе нужно думать о начале новой жизни.

— Меня все убеждают, что я ничего не могу, — усмехнулся Люк. — Люди напоминают щенков. Чуть что — переворачиваются на спину.

— И каков твой следующий шаг? — осведомился я.

— Подать апелляцию от своего имени.

— Она тут же будет отклонена, — возразил я.

— Верно, брат, — улыбнулся Люк. — Ну и что?

— Тогда зачем ты это затеваешь? — кипятился я, придя в отчаяние от его упрямства.

— Чтобы мне было не стыдно смотреть себе в глаза, — отозвался Люк. — Почему бы тебе не встать на мою сторону? У правительства появилась бы новая статья расходов: братья Винго. Никто лучше нас не знает окрестных лесов и вод. Что там Вьетконг! Мы бы им дали сто очков вперед.

— У меня есть семья, — сердито напомнил я брату. — Или ты этого до сих пор не заметил? Я нахожусь в ином положении.

— Ты прав. У тебя иное положение.

— Люк, мне не нравится твой презрительный тон.

— Нравится или нет — это ничего не меняет. Знаешь, Том, у тебя было больше перспектив, чем у нас с Саванной. Но где-то ты свернул с широкой дороги на узкую тропку. Судя по всему, скоро и она оборвется. У тебя приличные шансы превратиться в полную никчемность. Внутренний запас «да» в человеке очень велик. Жизни не хватит, чтобы израсходовать.

— Но тебе я отвечаю «нет»! — крикнул я.

— Это мне, братишка. А им ты уже сказал «да».

— Ты не сможешь остановить правительство, — снова вмешалась мать.

— Конечно, мама, — согласился Люк. — Но я смогу стать для них достойным противником.

Глава 27



И Люк Винго стал достойным противником…

Сейчас я выступаю не как свидетель, а как встревоженный собиратель разрозненных обрывков тех событий. В последний год существования города Коллетон я внимательно прислушивался ко всему, анализировал все сплетни и домыслы. Федеральный проект оборвал не только жизнь города; он разрезал все связующие нити, на которых до сих пор как-то держалась наша семья. Я вел подробные записи: когда и что было разрушено или перемещено; эти листы я храню до сих пор. Как чудесен был наш городок на излучине реки! А разобрали его всего за год. Прекрасен был Коллетон в свою последнюю весну, когда разбрасывал по тротуарам цветки азалии. Мне они напоминали свадебное торжество с явным оттенком траура. Сады захлестнуло буйное цветение.

Город тонул в запахах; ароматы обволакивали его дурманящей дымкой. Из окрестных болот выпархивали осмелевшие голубые цапли и застывали в каком-то призрачном безмолвии. Фермы моста обросли грудой обломков, среди которых, соревнуясь с барашками волн, плавали выдры. Все засохшие деревья, что стояли вдоль реки, были заняты гнездами белых цапель. Орлики облюбовали для своих напоминающих шляпы гнезд телефонные столбы и таскали туда извивающихся угрей на прокорм вечно голодным и еще не оперившимся птенцам. В протоках резвились дельфины. Ручьи кишели креветками, спешившими произвести потомство.

Но их не встречали лодки ловцов, ни одна сеть не преградила им путь к прибрежным болотам. По требованию службы безопасности воды округа Коллетон были закрыты для рыбаков и креветочников.

С весны началось переселение зданий.

Я наблюдал, как старинные особняки улицы Приливов страгиваются с места. Сотни рабочих с домкратами, лебедками и широкими пандусами срезали (другого слова не подберу) стены с фундаментов, а затем, применяя технические достижения вкупе с законами физики, двигали их

к реке, где ждали большие, специально оборудованные баржи. Дома, прикрепленные стальными тросами, пускались в плавание, взяв курс на Чарлстон. Особняк Ньюбери, покинувший свое место, чем-то напоминал громадный свадебный торт из сказки о добром короле. Мать с Рисом Ньюбери стояли на веранде и весело махали оставшимся на берегу. Потом они наполнили изящные хрустальные бокалы шампанским, выпили за прощание со старым Коллетоном и бросили бокалы в желтоватую воду. Створки моста разошлись, особняк Ньюбери изящно миновал их, вышел в открытое водное пространство и занял свое место в армаде белоколонных зданий.

Этот сплав длился несколько недель. Не проходило часа, чтобы по реке не двигался чей-нибудь дом.

Не все хотели перебраться в Новый Коллетон, и не все жилища подлежали транспортировке целиком. Шоссе на выездах из города были запружены тяжелыми грузовиками, перевозящими фрагменты домов в разные точки Южной Каролины. Но это было менее впечатляющим зрелищем, чем путешествие по реке. В один из дней мимо меня проплыл домик, показавшийся

мне знакомым. Только через несколько минут я сообразил, что видел дом Амоса и Толиты, отправившийся в свой первый и единственный круиз. Еще через какое-то время в путь пустилось здание баптистской церкви, напоминающее опрокинутую баллистическую ракету. Я без конца щелкал своей «Минолтой»; потом я послал снимки Саванне. Она как раз писала длинную балладу об уничтожении родного города. Однажды в вечерних сумерках мимо меня проплыла епископальная церковь. Сумерки делали ее словно парящей в воздухе. Я фотографировал мокрых от пота рабочих, которые выкапывали гробы на коллетонском кладбище. Эти гробы запихивались в пластиковые мешки и перевозились на новые безликие кладбища, устроенные вдоль шоссе между Чарлстоном и Колумбией. Дома, которые невозможно было перевезти или продать, разрушали, а обломки продавали компании, специализирующейся на утилизации. Бродячих собак отстреливали охотники, имеющие специальные лицензии. Бродячих кошек отлавливали и топили возле общественного причала. Никому не было дела до перезревших помидоров, они падали на землю или гнили на стеблях. Такая же участь постигла дыни и арбузы на бахчах.

Поскольку здания школы и суда никакой исторической ценности не представляли, их просто взорвали. Все магазины на улице Приливов сровняли с землей. К первому сентября город Коллетон вымер подобно Помпеям и Геркулануму.

За экспроприированную под строительство площадь правительство в общей сложности выплатило 98 миллионов 967 тысяч долларов. Наша мать за остров Мелроуз получила 2 миллиона 225 тысяч долларов.

Восприимчивая к чувствам своей разделенной ныне семьи, мать выписала четыре чека на сто тысяч долларов каждый. Мы с Саванной приняли свои чеки с благодарностью. Сестра наконец-то смогла расстаться с опостылевшей ей ролью голодающего художника. Мы с Салли вернули заем, взятый на оплату ее учебы в медицинском колледже, и купили для нашей семьи дом на острове Салливанс. Отца никто не видел со дня свадьбы матери и Риса Ньюбери, поэтому мать положила деньги на его банковский счет.

Свой чек Люк сжег на глазах у матери. Она заплакала, а брат напомнил ей, что он — Люк Винго, речной парень из Коллетона, и поинтересовался, не мать ли внушала ему, что речных парней нельзя купить ни за какие деньги.

В июне десятник, отвечающий за расчистку территории, отправил на остров Мелроуз подрывников, поручив им уничтожить дом, в котором мы выросли. Бригада состояла из двенадцати человек; в их распоряжении было три грузовика и два бульдозера. Когда кто-то из рабочих поднялся на крыльцо и попытался ломом открыть входную дверь, почти над самой его головой просвистела пуля и вонзилась в доски. Выстрелы следовали один за другим. Пули пробили шины грузовиков. Испуганные рабочие бросились прочь.

После их бегства Люк вышел из леса. В сарае у него было припрятано несколько бутылок с «коктейлем Молотова». С их помощью брат сжег всю технику, посланную на разрушение родных стен.

От слов Люк Винго перешел к действиям.

На следующий день рабочие вернулись в сопровождении батальона национальных гвардейцев, и те предварительно прочесали окрестности. Спрятавшись на дереве, Люк следил за уничтожением нашего дома. Позже он рассказывал мне:

— Это то же самое, что у тебя на глазах убивают всю твою семью.

Итак, Коллетон превратился в предусмотренные планом развалины. Но в отличие от развалин

древних цивилизаций, эти предстояло убрать, а место, на котором стоял город, выровнять так, чтобы ничто не напоминало о его существовании. Вряд ли археологи будущего найдут крупицы памяти о Коллетоне. Почва на этом месте была перепахана и засажена белыми соснами. Этим занимался Департамент сельского хозяйства Соединенных Штатов. Ежедневно к четырем стройплощадкам съезжалось шесть тысяч рабочих. Все личные машины, автобусы и грузовики имели специальные пропуска, прикрепленные к ветровому стеклу. К первому октября округ Коллетон навсегда закрыл свои границы. Отныне сюда допускались только те, кто так или иначе был связан с Комиссией по атомной энергии. Управление гражданской авиации запретило все полеты над территорией округа. А на четырех строительных площадках уже полным ходом велись работы.

Губернатор Южной Каролины объявил о завершении переселения всех жителей округа Коллетон на новые места и напомнил, что через три года «Коллетонский речной проект» будет полностью осуществлен.

Нас, бывших коллетонцев, распихали по большим и малым городам штата, как послушных,

безгласных овец. Можно сказать, нас вырвали с корнем. Только ощущали ли мы эти корни? Мы рассеялись по земле Южной Каролины, не обладая мудростью предков и опытом их страданий, что очень пригодилось бы нам в опасные дни, когда правили политические амбиции. Мы плыли, словно обломки, и нас выбрасывало в безликие гавани окраин незнакомых городов. Мы не были побежденным племенем; мы были племенем со всеми признаками вымирания. В одиночку и парами мы покидали архипелаг зеленых островов, подвергшийся самому чудовищному поруганию. Основной «ошибкой» Коллетона была малочисленность его населения — непростительное преступление в глазах Америки.

Мы безропотно делали то, что нам велели. Правительство хвалило нас за самоотверженность. Щедрость властей нас ломала. Коллетонцев рассеяли среди чужаков. Мы ползли по мостам на коленях, благодарно повизгивая за каждую крошку лести, которую нам бросали и которую мы торопились поймать. Мы были американцами, южанами, непроходимо глупыми и уступчивыми. Возможно, кроткие и унаследуют землю[203],

[203] Примечания: 203

Намек на одну из т. н. «заповедей блаженства» в Нагорной проповеди Христа.

но им уже никогда не унаследовать Коллетон.

И только мой брат Люк оказался последовательным в своем несогласии с замыслами правительства. Продав свою лодку креветочнику из Сент-Огастина, он начал готовиться к операции, с помощью которой рассчитывал замедлить ход строительства. Поначалу Люк планировал нечто вроде арьергардного боя, просто чтобы попортить нервы компании «Мьюшоу» и ее рабочим. Первые удачи впечатлили его. Люк начал мечтать о превращении одиночных вылазок в настоящую войну. Его сражения с «Коллетонским речным проектом» становились все более смелыми, а их успех возрастал пропорционально его дерзости. Свою формулу победы он выводил из наивной и опасной переоценки собственных сил.

Начальник службы охраны сделал пугающее открытие: за первый месяц строительных работ с главной площадки (она находилась в западной части округа) было похищено четыре тонны динамита. Чувствовалось, что динамит разворовывается планомерно и давно. Вскоре на временной автостоянке, где рабочие оставляли свои машины, кто-то располосовал шины шестидесяти автомобилям. Потом за ночь сгорело десять бульдозеров. Был взорван трейлер

главного инженера. Четыре служебные собаки, охранявшие стройку, были убиты.

Стало ясно: в лесах кто-то скрывается и этот кто-то вооружен и опасен. Несмотря на дежурные заверения о скорой поимке злоумышленника, рабочие, направляясь на стройку, с опаской пересекали границы округа.

Как раз в это время отец возвращался в родные края, держа курс на одну из неприметных бухточек Южной Каролины. Однажды в Ки-Уэст к нему подошел богато одетый джентльмен, на руке которого красовались часы «Эккатрон», а на мизинце — перстень с бриллиантом. Незнакомец предложил отцу прилично подзаработать. Отец согласился и уже через три дня плыл на Ямайку, где в одном из дорогих баров города Монтего-Бэй встретился с партнером того джентльмена. От внимания отца не ускользнуло, что у партнера на левом мизинце также надет перстень с крупным бриллиантом. Всю свою жизнь Генри Винго мечтал о встрече с такими ребятами — богатыми и не отличающимися хорошим вкусом (иначе бы их не потянуло на женские украшения). Правда, отец не особо разбирался в драгоценностях. Его впечатлило, что бриллиант на перстне величиной с фасолину. Фамилии в таких кругах

спрашивать не принято, да отца это и не интересовало. Ему было вполне достаточно манер, внушавших уважение.

— Класс, — потом рассказывал мне отец. — Высокий класс.

Два ямайца погрузили в его лодку полторы тысячи фунтов первосортной марихуаны, о чем отец знал, и добавили еще четырнадцать килограммов чистого героина, о которых умолчали. Один из этих парней работал уборщиком в каком-то курортном отеле и при случае приторговывал марихуаной. Второй — его звали Виктор Параморе — был осведомителем Федерального казначейства США[204]. Он же потом выступал первым свидетелем на суде в Чарлстоне… Пока отец, завершая плавание, приближался к упомянутой бухточке между островами Кайава и Сибрук, его там ждали не только заказчики, но и изрядное число агентов службы по борьбе с наркотиками. Это была последняя попытка Генри Винго обогатиться за счет операций с высокой степенью риска.

На суде отец не стал защищаться и отказался

[204] Примечания: 204

Доходы от продажи наркотиков тесно связаны с отмыванием денег, а контроль за отмыванием денег возложен на Федеральное казначейство.

от услуг адвоката. Он заявил, что участвовал в преступном сговоре, чему нет и не может быть никаких оправданий. По словам отца, он заслуживал наказания по всей строгости закона, поскольку опозорил не только себя, но и свою семью. Чистосердечное признание, однако, не смягчило сердца судей. Отца приговорили к десяти годам заключения и штрафу в десять тысяч долларов.

Эти деньги мать заплатила, взяв их с отцовской доли от продажи острова. Так за какой-то год мои отец и старший брат преступили закон. Но к тому времени, когда отца посадили в тюрьму Атланты, у меня почти не было надежды увидеть Люка живым.

«Думай масштабнее. Думай масштабнее», — постоянно твердил себе Люк, бродя ночами по вымершему округу. Он был последним оставшимся здесь коллетонцем и пообещал себе, что властям придется потратить еще немало денег, прежде чем они сумеют его поймать.

Первые месяцы мятежной жизни брату сильно помогало одно обстоятельство: у правительства не было полной уверенности, что таинственным саботажником является именно Люк Винго. В числе подозреваемых он значился первым, но

пока его никто не опознал. Подобно партизанам Вьетконга, о которых брат всегда вспоминал с нескрываемым восхищением, он действовал в темное время суток, наводя ужас на скромно оплачиваемых охранников. Но даже ночью Люк избегал встреч с патрульными катерами и полицейскими машинами. За несколько недель этих странствий по знакомым с детства местам брат поддался головокружительному и губительному чувству. Он стал считать, что наделен особой миссией. Он слышал голоса, а среди ветвей замечал лица своих близких. В этих галлюцинациях (Люк предпочитал называть их видениями) ему бурно рукоплескали, произносили речи о значимости его миссии, о его священном дозоре в зоне боевых действий, о его службе в освободительной армии, состоящей из одного человека. Он начал разговаривать сам с собой, и это тревожило.

В первые недели войны с государством Люк буквально упивался своим «правом первородства». Непревзойденное знание местности и всех тайн, что хранили низины, давало ему ощущение безопасности. Чужаки пытались преследовать уроженца этих краев, которому реки поведали столько, сколько может вместить человеческая жизнь. Люк постоянно обходил свои владения,

помня о данной им клятве. Передвигаясь пешком или на небольшой парусной лодке, он внимательно следил за перемещением грузов и людей по воде и суше. Люк знал, сколько грузовиков пересекает мосты и сколько товарных вагонов прибывает с севера по двум железнодорожным веткам. Он устроил себе две надежные конспиративные квартиры: одну в Саванне, другую — в Брансуике. После каждого налета Люк покидал Коллетон недели на три, пока те, кто за ним охотился, не уставали от бесплодных поисков. По всем прибрежным островам, в высохших колодцах и под фундаментами разрушенных домов, брат оборудовал тайники с оружием, едой и прочими необходимыми вещами.

Первые его налеты были просто актами вандализма, хотя и очень высокого уровня. Люк с детства многое умел, многому научился в лагере морского спецназа и в джунглях Вьетнама. Все это пригодилось ему теперь, когда он сражался в одиночку. Он применял прежний опыт и набирался нового. Люк анализировал ошибки и свои пока еще скромные победы, собирал данные для последующих операций, шлифовал навыки. В результате очередной налет поражал уже не столько дерзостью, сколько возросшим профес-

сионализмом. Изоляция от мира, замкнутость и жгучая необходимость быть сосредоточенным сделали его предельно осторожным и очень опасным противником. В густых лесах, близ больших болот, брат с луком и стрелами охотился на белохвостых оленей, удивляясь своей способности часами выжидать добычу, притаившись на дереве неподалеку от соляной проталины. Он чувствовал магию природы и животного мира, и его сердце наполнялось благодарностью к растениям, оленям и островам. Люк начал понимать, какие удивительные чувства испытывали здесь люди тысячу лет назад, он словно сам перенесся в то время, став одним из племени йемасси. Люк был благодарен особям, питавшим его своим мясом; теперь он знал, почему древние поклонялись оленям, считая их богами, и почему в молитвенном экстазе изображали их на стенах пещер. Никогда еще он не жил столь простой и полнокровной жизнью; никогда не делал только то, что действительно необходимо, а не продиктовано правилами, придуманными в обществе. У него не прекращались яркие динамичные видения. Теперь Люк отдыхал преимущественно днем. Он спал, а в небе кружили поисковые самолеты и вертолеты, высматривавшие его.

Ему снились невероятные, фантастические сны. Пробуждаясь под звездным небом, он радовался, что картинки не тускнеют, а превращаются во фрески, нарисованные на небе. Люку нравилось жечь собственность захватчиков, он делал это со страстностью революционера. В его голове постоянно рождались новые идеи; им было там тесно, и они выплескивались наружу.

Иногда Люк считал себя последним здравомыслящим американцем. Если его одолевали сомнения в правильности избранного пути, он повторял себе трагическую статистику Хиросимы и Нагасаки. Он вел собственные теоретические расчеты и верил, что если помешает созданию тысячи бомб, то спасет сто миллионов человеческих жизней. Люк начал прислушиваться только к тем советам, что звучат у него в голове. Внутренний голос всегда был требовательным и бескомпромиссным, он определял правила поведения, намечал долгосрочные цели и благословлял на проведение партизанских вылазок. Люку казалось, что с ним общается его совесть, и он с благоговейным восторгом слушал ее, бродя по куску земли, где не было ни правительства, ни законов. Брат не без удовольствия осознавал ту легкость, с какой он превратился в современного

цивилизованного разбойника. Он без колебаний воровал еду, средства передвижения, оружие и боеприпасы. Люк ощущал себя непреклонным защитником родной земли, попавшей в беду. И не его вина, что порой горизонты расширялись, охватывая не только округ Коллетон, но и всю прекрасную планету.

Люка часто тянуло на место, где стоял Коллетон. Он шагал по несуществующим улицам и вслух называл каждую семью, жившую на каждом преданном запустению акре. Брат бродил по бывшим кладбищам, пробираясь между ямами, что остались после извлечения гробов. Он ходил по улице Приливов, где навсегда затихла торговля, разговоры и шум редких машин, где ноздри уже не пьянил изысканный аромат кофе. Но для Люка город не исчез; брат чувствовал, что Коллетон просто скрылся под землей и теперь силится восстать оттуда во всем блеске и величии воскрешения. А потом Люк попадал в очередной свой сон наяву и вдруг начинал слышать стенания Коллетона: длинное и скорбное перечисление понесенных утрат. Постепенно звуки превращались в печальную элегию или траурный марш, чтобы затем вновь перейти в плач по уничтоженному городу. Единственной свидетельницей

прогулок Люка была луна. Она освещала ему путь к месту, где когда-то стоял дом его деда и бабушки. Люк злился на себя, что не может отыскать этот участок возле речного берега. Все знакомые ориентиры были уничтожены. К счастью, уцелел черный дуб, на коре которого Люк, Саванна и я в одно из пасхальных воскресений вырезали свои имена. Израненная почва успела покрыться побегами кудзу и диким просом. Только память говорила, что на этом месте, в скромном белом домике, когда-то жили Амос с Толитой. Люк стал спускаться к плавучему причалу и вдруг обо что-то споткнулся. Брат вернулся назад, нагнулся и… достал из высокой травы дедов крест. Люк взвалил находку себе на плечо и, обрадованный, что может почтить память деда, прошел по всей улице Приливов, вспоминая Амоса Винго. Крест врезáлся ему в плечо, давил своей тяжестью, царапал и одновременно благословлял, напоминая Люку о справедливости его миссии.

Люк нес крест, а из тишины, из ниоткуда, громко и настойчиво звучали голоса, призывавшие его — их речного парня, собрата и защитника. Люк обещал, что не допустит строительства, уверял, что не сдастся и не смирится с гибелью города, который любил больше всего на свете.

Голоса восторженно приветствовали его. Люк клялся, что заставит мир выслушать его послание, что вдохнет в эти поруганные земли новую жизнь, что воскресит Коллетон подобно Лазарю, поднятому из гроба.

— Они узнают обо мне, — кричал Люк. — Они вызубрят мое имя. Они научатся меня уважать. Я заставлю их в точности восстановить город, каким он был.

Люк умолк. Голоса тоже стихли. Брат снял крест и почувствовал, как внутри у него зазвучала радостная музыка освобождения. Люк пустился в пляс, крича и кружась в своем танце. Иногда он замирал на месте и громко возвещал:

— Вот здесь. Здесь я поставлю магазин мужской одежды Дэннера. Рядом — продуктовый магазин Шайна. За ним — женский магазин Сары Постон, цветочную лавку Битти Уолла и «Магазин полезных мелочей» Вулворта.

Земля дрожала у него под ногами. Старинные здания восставали из небытия. Крыши были полны восторженных горожан. Мысленно Люк воссоздал улицу Приливов такой, какой помнил… Покидая Коллетон, он оглянулся назад. Ярко светились витрины. Через улицу протянулись рождественские гирлянды. Какой-то парень

прикреплял буквы с названием к шатру театра «Бриз». Мистер Лютер подметал тротуар возле своего магазина, а из ресторана Гарри, порыгивая и ослабляя туго затянутый ремень, шел шериф Лукас.

И Люк подумал, что наконец-то стал необходимым городу человеком, человеком, принесшим сюда весну и огонь жизни.

Брат с гордостью оглянулся на возрожденный им Коллетон.

Сзади послышался какой-то звук. Люк мгновенно выхватил пистолет и повернулся.

Звук раздался снова — то была трель свистка.

Люк замер от радости, вглядываясь в фигуру человека, идущего к нему от реки.

Мистер Фрукт.

В марте партизанская война Люка перешла в иную фазу, став полномасштабной. Четырнадцатого марта в три часа ночи четыре самодельные, но необычайно мощные бомбы разрушили четыре моста, соединявшие северные и восточные границы Коллетона с материком. Еще через час двумя бомбами были серьезно повреждены ветки Южной железной дороги, по которым в округ Коллетон прибывали товарные поезда. Эту операцию брат счел чисто символической, однако

правительство восприняло ее совсем по-другому. Но Люк узнал об этом не сразу.

Один из таких поездов, доверху нагруженный углем, вышел из Чарлстона через двадцать минут после подрыва ветки. Состав несся на полной скорости и на такой же скорости пролетел еще шестьдесят ярдов по воздуху, после чего с шумом рухнул в реку с ласковым названием Маленькая. Машинист и трое сопровождающих погибли в считаные секунды. Так пролилась первая кровь в схватке, которую средства массовой информации окрестили «войной за отделение Коллетона».

Люк разослал в редакции пятнадцати газет штата письма одинакового содержания, где заявлял, что земля в радиусе сорока миль от уничтоженного города Коллетон — тридцать прибрежных островов и сорок семь тысяч акров суши — свободна от производства на ней плутония. Он выражал свои соболезнования семьям четырех погибших, уверяя, что был бы готов сделать что угодно, только бы вернуть этих людей. «Моя задача, — говорил Люк, — сохранение человеческих жизней, а не уничтожение». Письмо брата представляло собой сокращенную версию его речи, произнесенной в тот памятный вечер, когда Патрик Флаэрти рассказывал горожанам об

их грядущем переселении. Люк издал манифест. Территория, прежде называвшаяся округом Коллетон, отныне объявлялась суверенным штатом, а Люк Винго — его губернатором, верховным шерифом, командующим вооруженными силами и пока что единственным гражданином. По американскому законодательству земля принадлежит народу Соединенных Штатов. С этим Люк соглашался, но тут же добавлял, что вопрос о форме будущего правления рассматривается. Новый штат, составляющий двадцатую часть площади штата Род-Айленд[205], будет называться штатом Коллетон. Люк давал федеральному правительству тридцать дней на то, чтобы свернуть все работы по «Коллетонскому речному проекту», демонтировать то, что уже успели построить, и вернуть жителям бывшего округа всю украденную у них землю. Если требуемые меры не будут приняты, штат Коллетон выйдет из состава США и объявит захватчикам войну. Все строители будут считаться солдатами-оккупантами, против них будут проводиться операции по уничтожению.

Люк призывал граждан создавать нечто вроде ополчения и патрулировать границы Коллетона,

---

[205] Примечания: 205
Площадь штата Род-Айленд составляет 4 тыс. кв. км.

следя за просачиванием федеральных агентов. Добровольцам предписывалось проникать на территорию нового штата поодиночке, с зелеными нарукавными повязками, и повсеместно создавать форпосты и посты наблюдения за противником. Когда в лесах и болотах соберется достаточное число добровольцев, Люк обещал вступить с ними в контакт и начать совместные действия уже как армия. Пока что каждому мужчине и женщине предлагалось самостоятельно вести партизанскую войну с федералами, не допуская поступления материалов для строительства и всячески тормозя его ход.

Обращение Люка стало новостью номер один по всему штату. Газеты напечатали его на первых полосах. Статья сопровождалась двумя старыми фотографиями. На одной из них были запечатлены мы с Люком после победы школьной команды в чемпионате штата. Мы улыбались во весь рот, высоко подняв заветный кубок. Со второго снимка улыбалась Саванна. Это фото газетчики позаимствовали с обложки ее книги «Дочь ловца креветок». Национальная гвардия получила приказ взять под усиленный контроль все мосты, соединяющие Коллетон с внешним миром. Немедленно начались работы по восстановле-

нию разрушенных мостов и железнодорожных веток. Стройплощадки также получили дополнительную охрану. Был выдан ордер на арест Люка. После газетных публикаций мне пришлось встречаться едва ли не со всеми полицейскими чинами Южной Каролины. Брата считали хорошо вооруженным, опасным и, вероятно, психически больным. После его «манифеста» в нескольких крупных изданиях появились истеричные передовицы. Цитировались слова сенатора Эрнеста Холлингса из его интервью газете «Чарлстон ньюс энд курир»: «Этот парень, возможно, и чокнутый, но взрывать он умеет». Сообщество «Каппа-Альфа» Университета Южной Каролины провело «зеленоповязочную акцию», собирая деньги для детей-инвалидов. Кто-то прислал письмо редактору газеты «Колумбия стейт», в котором Люк Винго был назван «последним великим южнокаролинцем».

Спустя три недели после заявления Люка возле главной стройплощадки «Коллетонского речного проекта» был задержан семидесятилетний Люциус Татл, в прошлом — охотник на пушных зверей. «Чарлстон ньюс энд курир» ограничилась краткой заметкой об инциденте, не сообщив, что на рукаве арестованного была зеленая по-

вязка и что двадцати охранникам не удавалось схватить Татла до тех пор, пока у него не кончились винтовочные патроны. Десять женщин (все — активистки движения «Женщины за мир»[206]) легли под колеса автобуса с рабочими, направлявшегося в Коллетон. У всех были зеленые нарукавные повязки. По дороге в полицию женщины скандировали: «Довольно бомб!»

В консервативных кругах штата Люка считали убийцей и сумасшедшим. Но у брата нашлись и сторонники, хотя их было немного. Для этих людей Люк был примером радикального защитника окружающей среды, дающего единственный и здравый ответ на чудовищные прихоти ядерной эры. В тот самый момент, когда отношение к мятежу Люка начало меняться, федеральное правительство всерьез решило положить конец войне одиночки с государством. Своими дерзкими акциями Люк демонстрировал мастерство и смекалку. Бунтарь-псих, не умеющий мыслить стратегически, ни за что не смог бы подорвать шесть мостов. Но власти опасались не столько нападений, сколько того, что Люк Винго в глазах

[206] Примечания: 206

Женское движение, существующее с 1961 г. и последовательно борющееся против гонки вооружений, строительства ядерных объектов и испытаний ядерного оружия.

общественного мнения может превратиться в некий символ неповиновения и тем самым существенно повредит «Коллетонскому речному проекту». В округ Коллетон направили агентов ФБР, а также спецназ из Форт-Брэгга[207], обученный борьбе с мятежниками и террористами. Начались регулярные ночные облеты островов. Люк понимал: за него взялись, и взялись очень серьезно, а это означало, что времени у него остается не так уж много. Над болотами кружили вертолеты. Береговая охрана увеличила число патрульных катеров на реке Коллетон. Все это было определенным знаком уважения, признания Люка серьезным противником. Он тоже высоко оценил подготовленность тех, перед кем была поставлена задача схватить и арестовать его. Они превосходили численностью и располагали куда большими возможностями, чем мой брат. И все же Люк обладал одним неоспоримым преимуществом — превосходным знанием местности. Никакие карты не могли компенсировать его многолетний опыт.

Я научился распознавать агентов ФБР на рассто-

[207] Примечания: 207

Форт-Брэгг — военная база и учебно-тренировочный центр по подготовке войск спецназа (в том числе и «зеленых беретов»). Находится в Северной Каролине.

янии. Я замечал их, когда они еще находились от меня ярдов за сто, и практически никогда не ошибался. Их приметы были столь же характерны, как окраска гремучей змеи. Все эти бравые парни явно начитались книг и насмотрелись фильмов, прославляющих фантастическое могущество их организации, которая, видимо, поощряла чтение и просмотр подобной муры. Мне же всегда были противны квадратные челюсти, стальные рукопожатия и манеры, имитирующие стиль второсортных актеров. Все эти люди носили одинаковые невыразительные костюмы; у меня возникало ощущение, что они посещают одни и те же дешевые магазины мужской одежды и особо не мучаются с выбором фасона. Наиболее впечатляющей частью их имиджа были значки, свидетельствующие о принадлежности к ФБР. Пока Люк скрывался в лесах Коллетона, мне пришлось говорить не менее чем с дюжиной таких ребят. Удовольствие от бесед с ними было ниже среднего. Я вел себя весьма недружелюбно, понимая, что кто-то из этих молодцов однажды может убить моего брата. Они считали мое поведение вполне понятной защитной реакцией.

Партизанская война Люка длилась уже почти год, когда в борьбу с ним включился некто Дж.

Уильям Ковингтон. Впервые я встретился с ним весной на футбольной тренировке. Я как раз выстраивал новую стратегию командной игры с целью полнее использовать возможности мальчишки-квотербека, умеющего стремительно бегать и столь же стремительно передавать. На занятии мне помогал Боб Маркс — недавний выпускник «Цитадели»[208]. Основная часть уже закончилась, и сейчас мальчишки соревновались в забегах на скорость, сопротивляясь весеннему ветру. Вот тогда-то Боб и заметил припаркованный неподалеку «шевроле» казенного вида, внутри которого сидел очередной фэбээровец.

Боб кивнул в сторону автомобиля.

— Опять им что-то от тебя нужно.

— Клятвенно пообещаю этому парню, что на следующий год уплачу все налоги, — отшутился я и направился к машине.

Увидев меня, агент выбрался из салона. Про таких, как он, говорят: типичный представитель. Даже если бы он танцевал совершенно голым на лугу, усыпанном лилиями, он и тогда бы произ-

---

[208] Примечания: 208

«Цитадель» — престижный военный колледж, находящийся в Чарлстоне. Основан в 1842 г. Присваивает степени магистра и бакалавра по разным специальностям, в том числе и гражданским. С конца 90-х гг. в «Цитадель» принимают и женщин.

водил впечатление агента ФБР.

— Прошу прощения, сэр, — обратился я к нему. — Мы не позволяем кришнаитам распространять свою литературу у нас на футбольном поле. А если вы случайно приняли его за взлетное, то аэропорт находится в пятнадцати милях к западу отсюда.

Он засмеялся вполне искренне, что меня поразило.

— Я слышал, вы обладаете чувством юмора, — сообщил агент, протягивая мне руку.

— Не совсем так. Вы прочитали, что я умник. Себе на уме.

— В вашем досье вы характеризуетесь как человек, не склонный к сотрудничеству, — уточнил он. — Разрешите представиться: Джей Уильям Ковингтон. Друзья называют меня Ков.

— А как вас называют враги? — поинтересовался я.

— Ковингтон.

— Рад познакомиться, Ковингтон. А теперь, чтобы не перечить собственному досье, скажу вам следующее. Я не знаю, где прячется Люк. Мне ничего о нем не известно. Он мне ни разу не позвонил, не прислал ни одного письма или телеграммы. Я не снабжаю его продовольствием,

не предоставляю убежища и не оказываю какой-либо поддержки. Само собой разумеется, я ничем не стану способствовать его поимке.

— Том, я хочу помочь Люку выбраться из всего этого, — заявил Ковингтон. — Мне заочно симпатичен ваш брат. Мне нравится все, что я о нем слышал. Думаю, я смог бы договориться с прокуратурой и выторговать для него минимальный срок заключения. Где-то от трех до пяти лет.

— Это за гибель четырех железнодорожников? — удивился я.

— Очевидно, ваш брат не был в курсе, что по подорванной им ветке вскоре проследует состав, — пояснил агент. — Когда ваша семья жила в Коллетоне, ночью поезда по этой ветке не ходили. Я называю случившееся непредумышленным убийством.

— Подрыв мостов тянет больше чем на пять лет, — возразил я. — С какой стати прокуратуре идти на уступки?

— Я постараюсь убедить прокурора, что эта сделка обезопасит мосты в южной части Коллетона.

— Но зачем вы мне все это говорите? Не понимаю, что я могу сделать.

— Том, я очень внимательно читал досье Люка

и понял, что существуют только три человека, способных его найти, если они приложат некоторые усилия. В первую очередь, ваш отец. Но он в данный момент не расположен в чем-либо участвовать.

— Не расположен? — повторил я. — Интересная у вас, Ковингтон, манера выражаться.

— Остальные двое — вы и ваша сестра. Она пишет замечательные стихи. Я большой поклонник ее творчества, — признался Ковингтон.

— Она будет очень тронута, — заверил я.

— Так я могу рассчитывать на вашу поддержку?

— Нет, Ков, не можете. Наверное, вы не поняли моих слов в самом начале. Я ничем и никак не стану помогать вашим поискам.

— А теперь, Том, слушайте внимательно, чтобы ничего не пропустить. Компания «Мьюшоу» пообещала двадцать пять тысяч долларов тому, кто сумеет нейтрализовать вашего брата. Мне нужно вам разъяснять смысл глагола «нейтрализовать»? При всех выдающихся способностях Люк не единственный, кто ими обладает. Есть и те, кто превосходит вашего брата. Сейчас на территории округа за Люком охотятся двое «зеленых беретов». Оба награждены Почетной медалью

Конгресса[209]. Возможно, они не выследят его ни завтра, ни послезавтра. Но рано или поздно кто-нибудь обязательно убьет вашего брата. Я хочу предупредить это. Я искренне восхищаюсь Люком и потому намерен спасти ему жизнь. Но без вас мне этого не сделать.

— Должен вам признаться, мистер Ковингтон, вы первый человек из вашей организации, общение с которым меня не злит. И это заставляет меня нервничать. Почему вы решили стать агентом ФБР? И почему так упорно цепляетесь за эту приставку Джей?

— Это начальная буква моего первого имени — Джаспер. Но я скорее умру, чем позволю кому-нибудь называть меня первым именем. На инициале настояла моя жена. ФБР создал человек, который тоже ставил инициал своего первого имени, — Джей Эдгар[210]. Жена усмотрела в этом некий тайный аргумент, который может сработать, если встанет вопрос о моем

---

[209] Примечания: 209

Почетная медаль Конгресса — высшая военная награда в США, присуждаемая военнослужащим за особые заслуги. Вручается президентом от имени Конгресса.

[210] Примечания: 210

Имеется в виду создатель ФБР и его первый директор Джон Эдгар Гувер (1895–1972). Возглавлял это ведомство с 1935 г., когда оно было создано, и до своей смерти.

повышении по службе. А в ФБР я пошел потому, что был никудышным спортсменом. В средней школе мне изрядно доставалось. Думаю, вы знаете, что там не любят никудышных спортсменов. Я сомневался в своей мужской полноценности, а агенты ФБР в своей мужской полноценности не сомневаются.

— Хорошие ответы, Джаспер, — заключил я. — Пусть и в слабой степени, но намекают на то, что, в отличие от ваших коллег, я беседую с кем-то, отдаленно напоминающим человека.

— Я внимательно прочитал ваше досье и понял: если мы с вами не создадим основу для взаимного доверия, никакого сотрудничества у нас не получится.

— Кажется, Джаспер, я не говорил, что доверяю вам. Зато выказал свое полное нежелание сотрудничать. Или вам повторить?

— Я вас не упрашиваю и не принуждаю. Но сейчас, Том, с вами рядом находится единственный человек, который хочет спасти вашего брата, а не убить его.

Я разглядывал лицо Дж. Уильяма Ковингтона. Симпатичное, одухотворенное, в чем-то даже рыцарское. Все это дико меня смущало. Он доброжелательно и искренне выдержал мой взгляд

— еще один довод в пользу моих сомнений. Глаза Ковингтона были ясными и спокойными.

— Надеюсь, Джаспер, я смогу найти Люка. Но хочу получить ваши гарантии в письменной форме.

— Они у вас будут. Даю слово: все пойдет так, как предусмотрено этим соглашением.

— О'кей. Но не думайте, Джаспер, что вы когда-нибудь мне понравитесь или вызовете у меня доверие. И костюм ваш мне тоже не по душе.

— Знаете, у меня также не возникает желания интересоваться, у какого портного вы заказывали вот это, — сказал он, кивая на мою потную футболку и брюки цвета хаки.

Когда начались летние каникулы, Саванна прилетела в Чарлстон, и мы потратили несколько дней, запасаясь всем необходимым и обсуждая детали поездки в наш закрытый для доступа округ. По вечерам Салли, Саванна и я склонялись над картой в меркаторской проекции (масштаб 1:80 000, широта 32°15′). Реки, речки и ручьи были испещрены цифрами среднего уровня малых вод. Наши пальцы скользили по болотам, протокам и лесам — географии нашего детства, лишенной объема и глубины. Мы пытались вообразить себя на месте Люка и увидеть мир глазами нашего

брата. Мне представлялось, что он, скорее всего, скрывается где-то на большом болоте, примыкающем к реке Саванна, то есть за пределами округа. Ночью он перебирается в Коллетон для очередной операции, а к рассвету возвращается на болото, считающееся непроходимым.

Саванна была не согласна. Она считала, что Люк находится в пределах округа и не тратит лишнее время на передвижение. По мнению Саванны, он жил в одном хорошо знакомом нам укрытии. Она аргументировала это тем, что Люк не любит менять своих привычек. Едва ли он станет вести войну за освобождение Коллетона, не будучи на территории округа.

Я напомнил сестре, что за Люком охотятся со специально натасканными собаками. Вряд ли псы не учуяли бы его основной лагерь.

— Значит, должно существовать такое место, информации о котором у них нет, — не сдавалась Саванна. — Место, известное только Люку.

— Пойми, Саванна, Люка ищут профессионалы своего дела. Они изучили все места, доступные Люку. Возможно даже, у военных есть более подробные карты, чем наша.

— Тогда почему они до сих пор не нашли его? — удивилась сестра.

— Потому что он умеет хорошо прятаться, — ответил я, продолжая глядеть на карту.

— А может, Люк находится в том месте, о котором ты мне рассказывал в колледже? — предположила Салли. — Твой отец еще любил там рыбачить.

— Остров Болотной Курочки![211] — одновременно воскликнули мы с Саванной.

Мальчишкой мой отец охотился на болотных курочек в верховьях реки Эстилл. Во время прилива вода покрывала прибрежные болота, и тогда по ним можно было проходить на плоскодонной лодке. Как-то отец с приятелем плыли на плоскодонке между болотных кочек, вспугивая болотных курочек. Отец подстрелил не менее дюжины этих птиц, когда вдруг заметил низкорослые деревья. Неужели остров среди болота? Ребята погребли туда. А прилив начал спадать. Им едва удалось прибиться к острову, как вода ушла. Оставалось ждать следующего прилива. Не тащить же лодку по топкому болоту! До ближайшего жилья было тринадцать миль. Вот так случайно мальчишки наткнулись на тайну, способную привязать к себе и наполнить

[211] Примечания: 211

По-русски эту небольшую водоплавающую птицу семейства пастушковых чаще называют камышницей.

восторгом детские сердца. Вряд ли этот островок был нанесен на карты. На четверти акра земли росли несколько тощих пальм и длинный, напоминающий веретено дуб. Ребятам особенно нравилось, что их пристанище было надежно спрятано среди болот и практически незаметно ни с суши, ни с реки. Первооткрыватели ощипали добытую дичь и положили вымокать в соленой воде. Затем поставили палатку, разожгли костер и принялись томить лук на беконном жире. Обваляв вымоченных курочек в муке, отец и его дружок жарили их на огне, пока те не покрылись коричневой корочкой. Тогда в сковородку добавили воды, и курочки плавали среди шипящих пузырьков, где их мясо становилось нежнее и вкуснее. Пока готовилась дичь, мальчишки подкреплялись моллюсками, которых ели сырыми. Оба были уверены, что открыли такое место, куда не ступала нога человека. Недолго думая, они объявили остров своим и дали ему название: остров Болотной Курочки. На коре дуба они вырезали свои имена.

Уже после того, как Толита оставила мужа с сыном и уехала в Атланту, мой отец сбежал из дома. Друзья нашли его на острове Болотной Курочки, где он сидел и плакал по бросившей его матери…

Весной, когда кобии и сельди спешили на нерест, отец на неделю рвал связи с внешним миром и отправлялся в свой заповедный уголок ловить рыбу и крабов и ночевать под открытым небом. Нам с Саванной было по семь лет, когда отец впервые взял нас и Люка на свою островную рыбалку. К тому времени он построил на острове небольшую хижину, укрывавшую от дождя. Помнится, тогда я поймал на живого угря тридцатифунтовую кобию, затем мы ставили жаберную сеть на сельдей. Целую неделю мы питались нежным мясом кобии, зажаренным на медленном огне, и икрой сельдей, которую намазывали на толстые ломти бекона. Всякий раз, когда я думал об отцовских побегах, я вспоминал то рыбное пиршество и его смех, когда мы плыли по топкому болоту и прилив гнал нас к суше, чтобы вскоре отрезать от всего мира… Потом отец обнаружил, что в его святилище наведываются и другие рыбаки. Ежегодные отцовские паломничества на остров Болотной Курочки прекратились. Место, переставшее быть тайным, утратило свой магический ореол, а с ним и свою ценность. Открывшись чужакам, остров Болотной Курочки предал своего первооткрывателя. Сообразно постулатам отцовской

философии, неприкосновенность места можно нарушить лишь однажды. Больше отец туда не плавал. Искренняя отцовская разочарованность передалась и нам — у нас не возникало желания навестить остров самостоятельно.

Но мы с Саванной понимали: можно всю жизнь прожить в округе Коллетон, можно рыбачить и ловить крабов в самых потаенных речках и ручьях и даже не подозревать, что в центре громадного солончакового болота, словно сердцевидный сапфир, находится кусочек земли. О его существовании знали только мы вчетвером да те безымянные рыбаки, осквернившие своим появлением отцовскую святыню.

В реальности полоса болот занимала тридцать миль. На карте она была куда компактней. Я пометил крестиком место, где, по моим представлениям, должен находиться остров Болотной Курочки. Конечно, преувеличение называть островом клочок суши, который чудом пощадило наступавшее болото.

Вечером, за пару дней до отплытия в Коллетон, я почитал дочерям сказку и уложил их спать. Салли отправилась в больницу на ночное дежурство. Мы с Саванной взяли по бокалу с коктейлем и уселись на крыльце. На противоположной

стороне гавани перемигивались огни Чарлстона, скрытые легкой дымкой. В тот день приходила мать и осталась ужинать, сделав обстановку в доме невыносимой. Во всем, что случилось с Люком, она почему-то винила отца и нас. Рис Ньюбери пообещал нанять лучших в штате адвокатов и помочь Люку выпутаться. Саванна заявила матери, что сам Люк об этом не просил и может не принять щедрости отчима. Мать это просто взбесило. Она так и не поняла, насколько Рис Ньюбери преуспел в тайном искусстве плетения интриг и как умел унижать своей добротой. Мать уехала в слезах, да и у нас с сестрой на душе было довольно паршиво.

— Что бы ни случилось с Люком, самой трагической фигурой во всей этой истории будет наша мама, — заключила Саванна, вглядываясь в темные очертания форта Самтер.

— Она этого заслуживает. Ее послушать, мы втроем плохие, а она — святая.

— Ты не знаешь, до чего трудно быть женщиной, — вдруг накинулась на меня Саванна. — После тягот, какие были у нашей матери, я рада за нее.

— Тогда почему тебя всю перекашивает от ненависти, когда она оказывается рядом? Почему

не скажешь ей ни одного доброго слова? Пусть хоть с тобой мать почувствует, что ее любят.

— Если у женщины хватает сил ненавидеть свою мать — это естественный закон и признак душевного здоровья. Мой психоаналитик утверждает, что это важная стадия, и я обязательно должна ее тщательно проработать.

— Твой психоаналитик! — не выдержал я. — У скольких придурков всех сортов и завихрений ты перебывала с тех пор, как уехала из Южной Каролины?

— Том, я пытаюсь стабилизировать свою жизнь, — пояснила задетая моими словами Саванна. — Ты не имеешь права вторгаться в этот процесс.

— Интересно, в Нью-Йорке найдется хотя бы один человек, который обходится без психоаналитиков, психиатров и прочей психошушеры? Наверное, только какой-нибудь провинциальный недотепа, очутившийся в аэропорту Ла Гуардиа между двумя рейсами. У него просто не хватает времени сгонять на Манхэттен и проторчать пятьдесят минут на кушетке психоаналитика.

— Тебе, Том, психоаналитик нужен больше, чем кому-либо, — заметила Саванна. — Слышал

бы ты сейчас свой голос. Сплошные сердитые интонации.

— Я не знаю, как вести себя с близкими, которым абсолютно все известно. У мамы есть ответ на любой вопрос, у тебя тоже. Наверное, это какая-то редкая болезнь, поражающая женщин нашей семьи. Тебя хоть когда-нибудь мучают сомнения?

— Да. У меня огромные сомнения насчет тебя, Том. Я серьезно тревожусь насчет твоего жизненного выбора. Ты плывешь, сам не зная куда: ни направления, ни амбиций, ни желания что-то изменить, пойти на риск. И везде пусть слабозаметная, но отстраненность: от семьи, от работы. Ты не понимаешь, чего хочешь, не ведаешь, куда направляешься.

— Это-то и делает меня американцем. Здесь нечему удивляться.

— Ты возвращаешься домой после тренировок, наливаешь себе выпивку и утыкаешься в телевизор, пока не устанешь смотреть или не напьешься и тебя не потянет спать. Книг ты не читаешь, бесед не ведешь — сплошное растительное существование.

— Ошибаешься, сестра. В данный момент я веду беседу из числа тех, какие действительно

ненавижу.

— Ты ненавидишь смотреть правде в глаза, — упрекнула Саванна, стискивая мою руку. — Том, ты попал в болото бездумной жизни, и оно вот-вот тебя засосет. Я этого очень боюсь.

— Ну почему ты предрекаешь безумие или несчастья всем, кто встречается тебе на пути? — возмутился я. — Почему признаёшь ненормальность единственным достойным ответом на все, что творится в мире?

— Потому что о душевно здоровых людях я слышала только легенды, но никого из их племени никогда не встречала. Они вроде инков. Можно читать про инков, осматривать развалины их городов, а вот поговорить с кем-то из них, узнать, чем они дышат, — это недосягаемо.

— Саванна, мне плевать на инков. Правительство бросило против Люка очень серьезных парней. Если они убьют нашего брата… страшно подумать, что будет со мной.

— Не успеют. Мы его разыщем и привезем сюда, — успокоила сестра.

— Пойми, за ним ведется настоящая охота. Как на оленя или другого зверя.

— Я больше опасаюсь за тех парней, чем за Люка. Мы-то с тобой знаем, что в лесу ему нет

равных. Понимаешь, Люку все всегда удавалось. Если бы хоть раз его замысел не сработал, нам бы сейчас не понадобилось его искать. А случаев для провала было достаточно. Нас могли поймать, когда мы выкрали белого дельфина. Или когда тащили черепаху в спальню Ньюбери. Да и во Вьетнаме Люк мог угодить в плен. Наш брат всегда верил в свою удачу, и до сих пор она его не обманывала.

— Но его нынешняя затея бессмысленна, — спорил я. — У него нет ни малейших шансов.

— Зато он уже привлек к себе массу внимания. Ты часто думаешь о нем?

— Стараюсь не думать. Пытаюсь вообще не вспоминать ни об отце, ни о Люке. Бывают моменты, когда я делаю вид, что их обоих вообще нет в моей жизни.

— Испытанный мамин способ, — усмехнулась Саванна. — Правду можно выбрать по своему усмотрению.

— Я отправляю отцу послания каждую неделю. Такое ощущение, что общаюсь с человеком, с которым знаком лишь по переписке. Он аккуратно отвечает, очень нежно и разумно. Могу ли я представить любящего отца? Еще труднее вообразить отца рассудительного. Знаешь, переписка нас по-

чти сдружила. Но когда я думаю о нашем детстве, то трепет и благодарность испытываю, конечно же, не к отцу, а к матери. Меня переполняют чувства к ней. А в жизни мне трудно провести с матерью даже десять минут. История с Люком гробит ее, но здесь я ничем не могу ей помочь.

— Почему ты так зол на Люка?

— Потому что считаю его идиотом. Твердолобым эгоцентристом, думающим только о себе. Но это лишь часть. Есть еще что-то, чего мне не понять. Я всегда завидовал его свободе, его простым принципам. С какой яростной страстностью он их отстаивает! Меня даже ревность охватывает. Люк сумел взбудоражить целый штат. Можно называть его веру дурацкой, но меня захватывает холодный непостижимый экстаз, который он вносит во все, что делает. Он не просто верит, созерцательно и отрешенно, — он действует сообразно вере. Почему я хочу остановить Люка? Потому что где-то очень глубоко внутри я поддерживаю его личную борьбу с правительством. Люк служит мне постоянным напоминанием о моих собственных капитуляциях. Жизнь выдрессировала меня, загнала в клетку, где вместо прутьев — выплаты по закладным, погашение кредита за машину, расписание уроков, дети и

жена, все еще строящая амбициозные планы. Я живу в тихом спальном пригороде, в семь часов смотрю выпуски новостей, разгадываю кроссворды, а тем временем мой брат ест сырую рыбу и ведет партизанскую войну против целой армии оккупантов, лишивших нас единственного места, которое мы считали своей родиной. И тогда я говорю себе: «Я не фанатик и не саботажник. Я добропорядочный гражданин. У меня есть свои обязанности и мера ответственности». Я успокаиваю себя этой чепухой. Но Люк сумел кое-что мне доказать. Я не являюсь человеком принципов, человеком веры, человеком действий. У меня душа коллаборациониста, и там вполне можно размещать штаб-квартиру правительства Виши[212]. Я олицетворяю собой тип человека, которого ненавижу больше, чем кого бы то ни было. Я слежу за газоном перед домом, и меня никогда не штрафовали за превышение скорости.

— А мне Люк представляется современным Дон Кихотом, — сообщила Саванна. — Хочу написать

[212] Примечания: 212

Названо по имени французского курортного города, где в 1940 г. было подписано соглашение с фашистской Германией, отдающее ей северную часть Франции и Париж в обмен на относительную независимость центральной и южной частей. Они-то и образовали «республику Виши», возглавляемую маршалом Петеном. Однако в 1942 г. немцы оккупировали всю Францию.

о нем что-то вроде баллады.

— Наверняка и он считает себя благородным рыцарем и все такое. Но что толку? По вине Люка погибли четыре человека, и какие бы рациональные доводы я себе ни приводил, убийство остается убийством.

— Это не было сделано намеренно, — возразила Саванна. — Трагическая случайность.

— Попробуй убедить в этом их вдов и осиротевших детей.

— А ты сентиментален, Том.

— Наверное, их родственников ты тоже назовешь сентиментальными.

— Люк — не убийца, — отчеканила Саванна.

— Тогда кто он?

— Художник и совершенно свободный человек. Два состояния, которых тебе никогда не понять.

Мы дождались тихого лунного вечера и вышли из дому. На Чарлстонской пристани для яхт и лодок Салли простилась с нами, поцеловав меня и Саванну.

— Возвращайтесь вместе с Люком, — напутствовала нас Салли. — Расскажите ему, сколько людей его горячо любят. И потом, троим его племянницам нужен дядя.

— Обязательно передам, — пообещал я, об-

нимая жену. — Только вот не знаю, сколько продлится наша экспедиция.

— У вас есть целое лето. Завтра приедет моя мама, она присмотрит за девочками. В следующем месяце Лила обещала взять их на остров Полиз. Ну а я буду трудиться не покладая рук, спасая жизни и принося благо человечеству.

Я завел мотор и развернул лодку в сторону реки Эшли.

— Молись за нас, Салли, — попросила Саванна. — И за Люка тоже.

— Я думал, ты не веришь в Бога, — удивился я.

Мы медленно проплывали мимо базы береговой охраны в конце Чарлстонского перешейка.

— Обычно не верю. Но я верю в Люка, а он верит в Бога. Я просто очень хочу помочь брату.

— Кажется, это называется обусловленной верой.

— Как тебе угодно, — весело отозвалась сестра. — Том, ну до чего же здорово! У нас опять путешествие с приключениями. Совсем как двадцать лет назад, когда мы мчались в Майами спасать белого дельфина. Мы найдем Люка. Нутром чую. Посмотри на небо.

Я взглянул туда, куда указывал палец Саванны.

— Орион-охотник, — сообщил я, узнав созвез-

дие.

— Нет, брат. Я научу тебя мыслить творчески. Это отражение Люка, прячущегося среди низин.

— Слушай, сестрица, если ты и дальше будешь говорить о Люке как о персонаже твоих стихов, меня, честное слово, вырвет. Сейчас не до поэзии. Эта поездка — последний шанс спасти нашего брата.

— Это наша одиссея, — продолжала дразнить Саванна.

— Пора бы тебе научиться понимать разницу между жизнью и искусством, — укорил я сестру, направляя лодку в воды Чарлстонской гавани.

— Вот здесь ты ошибаешься. И всегда ошибался.

Мы плыли мимо огней Маунт-Плезанта, мимо темных очертаний форта Самтер, мимо горящих окон моего дома на острове Салливанс, мимо маяков. Мы обогнали лоцманский катер, идущий к панамскому сухогрузу. Я провел лодку через волноломы, оставив справа по борту остров Джеймса. Прилив завладел дюнами; луна красиво серебрила кустики росших там трав. Нос лодки почти бесшумно резал фосфоресцирующие, полные планктона волны. Море перемигивалось само с собой, воздух напоминал молоко. Мы не

стали включать радио и портить окружающее великолепие сообщениями для капитанов маломерных судов, находящихся в пятисотмильной прибрежной полосе. В ноздри ударил резкий зловонный запах, долетевший с островного болота. Мы уходили от берегов, минуя барьерные острова и направляясь в открытый океан, веснушчатый от отражения звезд и украшенный серебристой лунной дорожкой, напоминающей мех горностая.

Мы неслись к водам Гольфстрима, держа курс на Бермудские острова, затем свернули на восток, в сторону Африки. Наш уход в Атлантику продолжался до тех пор, пока берег Южной Каролины не скрылся из виду. Тогда я погнал лодку строго на юг. Я мысленно молился о спасении брата от тирании свойственных ему максимализма и идеализма. Я молился, прося дать мне сил и научить его умению не конфликтовать с властями и находить компромисс. Я молился о невозможном: чтобы Люк перестал быть таким, какой есть, и стал более домашним, более похожим на меня.

Мы с Саванной сидели, держась за руки. Ветер ерошил ее волосы, поднимая их сзади как косынку. Два часа подряд я сверялся со звездами и компасом, пока не увидел зеленый мигающий

огонек буя — вход в Коллетонский пролив. Мы приближались к запретным ныне водам округа, где в одну из ненастных осенних ночей 1944 года появились на свет.

Вскоре после полуночи мы пристали к подветренной стороне острова Кенсо. Здесь нам предстояло дождаться наступления прилива. Мы рассчитали, что у нас должно быть не менее двух футов воды под килем, если мы хотим добраться до острова Болотной Курочки. Перемену прилива мы сразу ощутили по натянувшейся якорной цепи. В три часа ночи я завел мотор, и мы двинулись в сторону запутанных и малоизученных протоков округа Коллетон. Шум двигателя казался возмутительным вторжением в безмятежную тишину этих мест. Примерно час мы ехали до солончакового болота, в центре которого и находился остров Болотной Курочки. Три протоки завели нас в тупик. Пришлось выворачивать на реку и делать новые попытки; две протоки также оказались тупиковыми. Стоило немного углубиться в пространство болота, как высокие травы существенно замедляли ход лодки, заставляя ее ползти с черепашьей скоростью. И только когда на востоке показалось солнце, а прилив достиг своего максимума, мы, уставшие и отчаявшиеся,

попали в протоку, показавшуюся нам знакомой. Вскоре нас буквально вынесло на остров.

Я вытащил лодку из воды. Саванна спрыгнула на землю. Я зафиксировал винт мотора.

— Том, он был здесь, — возбужденно прошептала Саванна. — Боже, он здесь был.

— Надо спрятать лодку, иначе нас могут засечь с воздуха.

— Иди сюда. Люк облегчил нам задачу.

Под скрюченным от ветра дубом и заметно погустевшими пальмами Люк устроил себе главную базу. На деревья была накинута пятнистая маскировочная сеть. Под нею наш брат поставил большую водонепроницаемую палатку. Внутри мы нашли завернутые в непромокаемую ткань ящики с динамитом и круглые канистры с бензином. Тут же лежали винтовки, коробки с патронами и упаковки с супом из самок краба[213] производства «Блу чэнел корпорэйшн». Помимо этого, в палатке Люк хранил небольшую

---

[213] Примечания: 213

Суп имеет такое название, поскольку обязательным его компонентом является крабовая икра, придающая ему особый вкус. Помимо нее в состав супа входит молоко или густые сливки, мясо голубых крабов, специи и немного бренди. Рецепт супа приписывается шотландским переселенцам, обосновавшимся на побережье Южной Каролины в начале XVIII в. В настоящее время этот суп считается фирменным блюдом штата Южная Каролина и обязательно присутствует в меню всех ресторанов Чарлстона.

парусную лодку и плоскодонку с маломощным мотором. В бочках емкостью тридцать один галлон находилась пресная вода.

Люк отремонтировал построенную отцом хижину: заново покрыл крышу и заменил сгнившие доски пола. В углу мы нашли свернутый спальный мешок, а посередине — небольшой стол и стул. На столе стояла полупустая бутылка «Дикой индюшки». Рядом с чистой тарелкой лежал экземпляр «Дочери ловца креветок» с дарственной надписью Саванны.

— Люк всегда отличался хорошим литературным вкусом, — заметила сестра.

— А меня удивляет, что здесь нет сборника цитат председателя Мао.

— Зачем они ему? Бумажным призывам Люк предпочитает настоящую борьбу.

Мы быстро разгрузили свою лодку и втащили ее в палатку. Болото переливалось золотом рассвета. Вода все прибывала. Она уничтожила борозду, прочерченную килем лодки в рыхлой земле. Мы разместили свои спальные мешки рядом с мешком Люка. Я зажег горелку походной газовой плиты и сварил кофе. К этому времени солнце полностью взошло.

— Судя по всему, Люк не появлялся здесь уже

несколько дней, — сказал я.

— Тогда где же его искать?

— Не знаю. Вроде больше негде. Коллетон — неподходящее место для партизанской войны. Можно легко угодить в западню на каком-нибудь острове.

— Но ведь до сих пор Люк оставался неуловимым.

— Ковингтон — этот парень из ФБР — говорил мне, что на прошлой неделе Люка чуть не схватили. Они его окружили невдалеке от места, где стоял город. Сотня человек, в том числе шестеро ищеек, пытались выкурить его из леса.

— И как Люк сумел уйти?

— Толком никто не знает. Он затаился и ждал захода солнца. Ковингтон считает, что те ребята не проявили должной прыти. Скорее всего, Люк дополз до болота, оттуда выбрался на реку и нырнул в прилив. На реке стояли патрульные катера, но брату удалось проскользнуть.

— Так им и надо. Мне всегда нравились фильмы, где хорошие парни убегают от преследователей.

— Тут еще следует разобраться, кого считать хорошим парнем. Когда Люк почувствовал, что кольцо сжимается, он рванул заряд динамита. Собаки испугались, да и людям стало не по себе.

— Кому-нибудь досталось?

— Тополю. Дерево разнесло в щепки. Каким-то чудом никто не пострадал.

Я подал Саванне чашку кофе.

— Том, а что ты скажешь Люку, когда он здесь появится? Ведь он верит в то, что делает. Считает это справедливым и нравственным. Чуть ли не своей миссией. Какими словами ты будешь убеждать Люка?

— Постараюсь во всех подробностях расписать ему, как скверно всем нам будет на его похоронах. Напомню о женщине, которая могла бы выйти за него замуж, а так останется одинокой. О детях, которые могли бы у них родиться. Добавлю, что один человек не может всю жизнь воевать с государством. Поинтересуюсь, чего он достигнет, если его убьют, а строительство все равно продолжится.

— У Люка не было даже временной подруги, — возразила Саванна. — Сомневаюсь, что все эти сладкозвучные речи о жене, потрескивающем камине, шлепанцах и паре светловолосых малышей способны выманить его из лесу. Для некоторых из нас жизнь американского среднего класса равнозначна смертному приговору.

— Ты считаешь мою жизнь смертным приго-

вором?

— Для меня, Том, это так. И для Люка, возможно, тоже. Прости, я не хотела задевать твои чувства…

— Слава богу, сестрица. Даже не могу представить, сколько твердости тебе понадобилось бы, чтобы по-настоящему меня задеть. Мы, американский средний класс, обреченный на смертный приговор… мы весьма блеклые люди с атрофированными эмоциями. Нас не так-то легко выбить из колеи.

— Ты уже начинаешь заводиться, — засмеялась Саванна.

— Я оставляю за собой право заводиться, когда меня называют живым мертвецом.

— Не моя вина, что ты несчастлив.

— Мне тяжело выдерживать твою снисходительность, — признался я. — Меня просто бесит, с каким оттенком превосходства ты рассуждаешь о жизненном выборе каждого из нас. Это типично нью-йоркская болезнь. Думаю, ею страдаешь не только ты, но и все прочие эмигранты из провинциальных городишек, кто с юности рвался на Манхэттен.

— Если честно, все самые яркие, самые лучшие южане из тех, кого я знаю, рано или поздно пере-

брались в Нью-Йорк. Юг требует от тебя, чтобы ты отказался от своей сути.

— Давай не будем об этом!

— Еще бы! Тема-то очень болезненная.

— Не угадала, — огрызнулся я. — Мне просто противен этот твой ореол самовосхваления. По-моему, эти твои размышления — первостатейная чушь, приправленная жестокостью.

— В чем ты видишь жестокость?

— Тебе нравится напоминать мне о том, что я понапрасну растрачиваю жизнь.

— Ошибаешься, Том, — спорила Саванна. — Наоборот, мне очень больно говорить тебе об этом. Я мечтаю, чтобы вы с Люком увидели мир во всей его полноте, чтобы были открыты ко всему и не позволяли этой сонной, вялой действительности превратить вас в типичных южан.

— Саванна, ты видишь это солнце? — Я указал в сторону болота. — Это южное солнце, солнце Каролины. Мы с детства жарились на нем. Сколько бы ты ни жила в Нью-Йорке, этот загар тебе никогда не отмыть.

— Мы имеем в виду разные вещи. Меня беспокоит, что Юг может лишить тебя твоей индивидуальности, твоих личностных особенностей. Я боюсь, что Юг убьет Люка, поскольку наш брат

верит в Юг как в настоящий рай.

— Саванна, давай отложим эту беседу до лучших времен. Когда Люк появится на острове, прошу тебя, помоги мне заставить его вернуться вместе с нами. Не позволяй ему убедить тебя в своей правоте. Он это умеет. Он считает, что выполняет великую миссию и все это чертовски романтично. Люк — жуткий фанатик. Он так и сияет возвышенным светом, глаза лихорадочно сверкают, и он не желает слушать никаких аргументов. Я опасаюсь за твою поэтическую натуру — вдруг ей придется по душе вся эта партизанская война, затеянная Люком.

— Я не меньше твоего хочу вытащить Люка из лесов и вернуть домой.

— Он тебя заверит, что здесь и есть его дом, — предупредил я.

— По большому счету он прав, — заметила Саванна, протягивая руку к кофейнику.

— Согласен. Только мы об этом промолчим.

— Я больше не буду корчить из себя нью-йоркскую штучку, — пообещала Саванна.

— А я больше не буду разыгрывать из себя деревенщину.

Мы пожали друг другу руки и приготовились терпеливо ждать появления нашего старшего

брата.

Почти целую неделю мы с Саванной пробыли на острове в центре громадного солончакового болота. Мы вновь создавали тонкие, хрупкие и загадочные связи, существующие между близнецами. Днем мы прятались в хижине и коротали время, восстанавливая историю нашей семьи. Мы вспоминали каждую мелочь из раннего детства и пытались оценить все сильные и слабые стороны, которые принесли в свою взрослость, будучи воспитанными Генри и Лилой Винго. Наша жизнь в домике у реки была полна опасностей и тягот, и одновременно мы находили в ней немало восхитительного. Она сделала нас удивительными и странными детьми. Наше жилище было питомником безумия, поэзии, мужества и несгибаемой верности. Наше детство было суровым, но всегда интересным. Мы могли бы забросать родителей множеством упреков, однако их экстравагантность не позволила нашим душам увязнуть в трясине размеренности и скуки. Мы оба признавали, что появились на свет у самых худших родителей, какие только существуют, но никакого иного способа прийти в этот мир у нас не было. Думаю, именно на острове Болотной Курочки, в ожидании Люка, мы стали

прощать родителей за их поведение. Каждый раз мы начинали с родительской жестокости и предательства, а заканчивали тем, что снова и снова признавались в своей непростой, но искренней любви к отцу и матери. Наконец-то мы достаточно повзрослели и смогли простить родителей за то, что они не были идеальными.

Вечерами, когда прилив докатывался до острова, мы по очереди забрасывали сеть. Мне нравилось следить, как это делает Саванна и как сеть почти ровным кругом ложится на воду, чтобы через некоторое время набухнуть от улова, пока скрытого, но ясно ощутимого. Я уже давно не видел столько креветок. Мы вылавливали их больше, чем могли съесть. Я готовил фантастическую еду, которую мы уплетали с неослабевающим удовольствием. Однажды мне попался десятифунтовый морской окунь. Я нафаршировал его креветками и крабами и запек на углях. На завтрак я делал креветок с подливой, чем разнообразил утреннюю овсянку.

Прежде чем забраться в спальные мешки, мы сидели под звездами и потягивали французские вина. Саванна на память читала написанные ею стихи. Большинство из них были признанием в любви краю, где мы родились и выросли. Я в ко-

торый раз поражался ее необычному образному языку. Произносимые ею слова выпархивали, словно бабочки, и летали над болотом, трепеща серебристыми крылышками и не задумываясь о превратностях судьбы. Они питались таинственным нектаром, состоящим из времени, звездного света и ветров Атлантики. Поэзия Саванны, посвященная родной природе, была на удивление детальной: она говорила не просто о птицах, а конкретно о танаграх и дубоносах. Сестра увезла с собой в Нью-Йорк целую сокровищницу точных определений. Она восхищалась мимикрией мотыльков, почти неотличимых от колибри, хвалила пересмешников за их виртуозность, могла назвать все, что билось или неподвижно лежало в поднятой рыбачьей сети, и знала несколько десятков разновидностей гвоздик и роз. Казалось, Саванна уже родилась с этим впечатляющим знанием природы низин, которое воспринимала так же естественно, как жительница тропических островов — выгорание своих волос в летний период. В своих произведениях Саванна бросала розы в огненные приливы нашей общей истории. Когда не было роз, она отправляла туда ангелов из своих кошмаров, что пели хвалебные гимны острым бритвам и синим беззащитным венам на

ее руках. Саванна разделяла судьбу всех утонченных поэтесс нашего столетия; ее крики и раны поддерживали нерушимую красоту ее искусства.

От некоторых собственных строк у нее текли слезы.

— Не надо о печальном, — попросил я сестру, обнимая и успокаивая ее.

— Только печаль чего-то стоит, — вздохнула она.

— А ты напиши о чем-нибудь поразительном, отчего всему миру станет светло и радостно. — Я улыбнулся. — Или обо мне.

— Я сейчас пишу о Нью-Йорке, — ответила Саванна.

— Нашла веселенькую тему.

— Не начинай, мистер Деревенщина, — предупредила она. — Ты же обещал. Ты так упорно ненавидишь Нью-Йорк из-за моей горячей любви к нему?

— Если честно, сложный вопрос, — признался я, вслушиваясь в стрекот цикад, заполнивший весь остров. — Я вырос в городке с населением в шесть тысяч, и среди них был не самым ярким. Что город — даже в нашей семье я был не самым ярким. Я оказался неподготовленным к жизни среди восьми миллионов человек. В Нью-Йорке я захо-

дил в телефонную будку, чтобы позвонить домой, и даже девчонка-телефонистка красноречиво намекала мне одними своими интонациями, что ее уровень развития превосходит мой. Там выходишь купить какой-нибудь паршивый сэндвич с копченой говядиной, и тебя уже обливают снисходительностью как помоями. Нью-Йорк — это переизбыток переизбытков. Я могу ко многому приспособиться, но только не к такому скопищу людей, и не считаю это своим недостатком.

— Вполне предсказуемая реакция провинциала, — вздохнула Саванна. — Это меня и пугает. Раньше ты не был предсказуем.

— Ошибаешься, моя дорогая сестрица. Не забывай, от каких корней мы все произошли. Наш отец — это воплощение южанина. Мать — клише южанки, доведенное либо до гениальности, либо до абсурда. Люк с его сепаратизмом — чем тебе не образец южного мышления? Я весь состою из штампов. На Юге нет никаких идей — только барбекю. Я не шучу, Саванна. Иногда мне это нравится, иногда нет. У тебя есть крылья, и одна из немногих радостей — видеть, что ты поднялась на них в это чертово небо.

— Но какой ценой?

— А какую тебе пришлось бы заплатить, остань-

ся ты в Коллетоне?

— Никакую. Здесь меня бы уже не было в живых. Юг убивает таких женщин, как я.

— Значит, мы правильно сделали, отправив тебя на Манхэттен. Не придется тратиться на похороны.

— Первое стихотворение моего нью-йоркского цикла, называется «Этюд. Шеридан-сквер», — объявила Саванна, и в вечернюю темноту вновь полились анапесты ее произведений.

Днем, когда мы не высовывали носа из хижины, Саванна усердно занималась своим дневником. Она подробно заносила туда все мои рассказы о нашем взрослении. Тогда я впервые узнал об обширных и невосполнимых провалах в памяти сестры. Она напрочь забыла многое о нашем детстве в Коллетоне. Исчезнувшие периоды были серьезной проблемой и грузом, отягчавшим Саванне существование. Ее безумие служило безжалостным и ненасытным цензором, который, не удовлетворяясь разрушением ее повседневной нью-йоркской жизни, набрасывался на прошлое и вымарывал оттуда целые куски, заменяя их недоуменным белым шумом забвения. Дневники сохраняли Саванне память о том, чем были заполнены ее дни. На их страницах были только

голые факты и ничего больше. Эти записи служили ей окошками в прошлое. Ведение дневников являлось одним из изобретенных ею способов сохранения рассудка.

После моего окончания колледжа Саванна на каждое Рождество присылала мне в подарок изящную тетрадь в кожаном переплете. В таких тетрадях она вела свои дневниковые записи и настоятельно советовала мне делать то же самое. Эти аккуратные томики занимали у меня целую полку над письменным столом. Я вспоминал о них лишь тогда, когда вытирал пыль, — страницы оставались девственно чистыми. Я не зафиксировал на них ни одного абзаца, ни одной мелькнувшей мысли. Что касалось моей собственной «книги жизни», то по неизвестным причинам я так и не нарушил обета молчания. Пустые тетради служили мне упреком, однако я не поверял им ничего о своих переживаниях. Казалось бы, при моей-то обостренной самокритичности… Однако самым непростительным из моих недостатков было тщеславие. Перечисления всех моих минусов хватило бы на целый день, но не о них же писать. Мысли о ведении дневника всегда имели оттенок самовосхваления, которое я привносил в это простое занятие.

Я твердил себе: вот когда у меня появится какое-нибудь оригинальное и интересное рассуждение, достойное изложения на бумаге… Мне не хотелось быть заурядным биографом собственных неудач. Я мечтал сказать нечто. Пустые тетради в кожаных переплетах были красноречивой метафорой. Я жил с ужасным ощущением, что через какое-то время постарею, но все так же буду ждать начала настоящей жизни. Я уже заранее жалел себя состарившегося.

На шестой день нашего пребывания на острове мы решили искупаться и вымыться в полуночном приливе. Щедро намылившись, мы прыгнули в воду и поплыли; волны били нам в лицо и заливали волосы. Мы плескались под луной и вслух гадали, сколько еще ожидать появления Люка, прежде чем возвращаться в Чарлстон и пополнять запасы продовольствия. Вбежав в хижину, мы досуха вытерлись и выпили по порции коньяка. Оставалось побрызгать инсектицидом, иначе комары не дадут спать. Эти твари серьезно портили нам пребывание на острове. За неделю они выпили у нас столько крови, что ее хватило бы на нужды небольшой станции переливания. Саванна сожалела, что эти насекомые по вкусу значительно уступают креветкам и их нельзя

ловить сетью. С запада подул прохладный ветер, под его порывы мы и уснули.

Меня разбудило дуло винтовки, упершееся мне в горло. Я выполз из мешка, встал и тут же зажмурился от узкого луча света.

Затем я услышал смех Люка.

— Че Гевара, я полагаю?[214] — спросил я.

— Люк! — завопила проснувшаяся Саванна.

Они обнялись и радостно закружились по тесному пространству хижины, опрокинув стул.

— Я так рад, что не убил вас, — сообщил Люк. — Ну и сюрприз.

— А уж как мы рады, что ты нас не убил, — подхватила Саванна.

— Убить нас? Да как такое могло прийти тебе в голову? — удивился я.

— Мне в голову пришло другое. «Ну вот, — думаю, — и нашли мою базу. Время на больших часах подошло к концу». Я и представить не мог, что вы вспомните про это место.

— Мы приплыли уговорить тебя вернуться вместе с нами, — протараторила Саванна.

— Этого не удастся даже тебе, моя щебетунья, —

---

[214] Примечания: 214

Пародия на знаменитый вопрос американского журналиста Генри Стэнли: «Доктор Ливингстон, я полагаю?» — который он задал доктору Ливингстону, найдя его в 1871 г. в джунглях Африки.

заявил Люк.

Мы вышли из хижины. Люк затащил в палатку каяк, на котором приплыл. Саванна прихватила бутылку «Дикой индюшки» и налила брату целый стакан. Мы уселись втроем на крыльце, вдыхая соленый ветер. Минут десять все молчали. Каждый из нас подбирал слова, в которых соединились бы любовь и убедительные доводы. До появления Люка мне казалось, что я знаю, какую речь произнесу при встрече. Сейчас она вдруг рассыпалась. Вместо добрых и убедительных выражений мелькали угрозы, обиды, настоятельные требования. Затянувшаяся тишина становилась гнетущей и даже опасной.

— А ты хорошо выглядишь, Люк, — подала голос Саванна. — Революция пошла тебе на пользу.

— Не такой уж я и революционер, — засмеялся Люк. — Ты говоришь со всей армией. За столько времени — ни одного добровольца.

— Что ты пытаешься доказать? — поинтересовался я.

— Даже не знаю. — Брат задумался. — Наверное, то, что на земле остался как минимум один человек, который не ведет себя как покорная овечка. Во всяком случае, с этого начиналось. Я был невероятно зол и на мать, и на город, и на

правительство. Я заварил эту кашу и не понимал, как из нее выбраться. До подрыва мостов что-то еще можно было сделать. А когда я угробил поезд и тех четырех парней… то перешел черту. Теперь я в основном скрываюсь от тех, кто меня ловит.

— И все-таки, ты не думал прекратить свою войну? — осведомилась Саванна.

— Нет. Правительство должно знать, что его проект встретил сопротивление. Я не жалею ни о чем, кроме тех четырех смертей. Увы, мне не удалось действовать аккуратнее.

— Люк, тебя ищут по всем островам, — напомнил я брату.

— Видел я их.

— Это тебе не охранники со стройки и даже не национальные гвардейцы. Сюда послали двух бывших «зеленых беретов». Парни очень умелые и не привыкшие церемониться.

— Они не ориентируются на местности, — возразил Люк. — Им же хуже. Я даже думал выследить их и застрелить, но потом решил не ссориться с ними.

— Не ссориться? — взвилась Саванна. — Их наняли тебя убить.

— Не кипятись, сестренка. У них такая работа. Я когда-то ловил креветок, а они охотятся на людей.

Лучше расскажите, как там наши родители.

— Отец делает в тюремной мастерской номерные знаки для машин. Искупает свою вину перед обществом. А мама… ей немного странно приходить на почту и видеть фотографию своего сына в разделе «Разыскиваются». Но она теперь — Ньюбери. Дорогие тряпки. Дыхнет — так и пахнет икрой.

— Давай без твоих шуточек, — оборвала меня Саванна. — Люк, родители очень беспокоятся за тебя и надеются на твое возвращение.

— Когда я начинал, все было ясно и понятно. Я считал, что поступаю справедливо и что только так здравомыслящий человек может ответить на идиотский замысел властей. Все, что я делал, казалось мне совершенно естественным. Тогда у меня и мысли не возникало, какой же я придурок. Натаскал сюда динамита и радовался: могу хоть половину Чарлстона поднять на воздух. А что получилось? Мне и близко не подойти к стройке. Не то что фундамент или технику — даже сортир для рабочих не разнести. Последние три вылазки — сплошные неудачи. Я каким-то чудом уходил от них. Правда, месяц назад сумел взорвать собачий загон вместе с псами.

— Боже! — воскликнул я. — Собаки-то чем про-

винились?

— Собаки — серьезная угроза. От них труднее спрятаться, чем от человека.

— Все защитники окружающей среды на твоей стороне, — подбодрила брата Саванна. — Они не одобряют твою тактику, но утверждают, что твой протест подтолкнул их к действиям.

— Все члены клуба «Сьерра»[215] и Одюбоновского общества[216] приходят на свои собрания с зелеными повязками, — добавил я.

— Ай, как мило, — поморщился Люк. — Читал я их брошюрки. Знаю, вы думаете, будто я в жизни ни одной книги не раскрыл, но их писанину я изучил внимательно. Когда Большие Денежки затевают тяжбу с защитниками окружающей среды, Большие Денежки неизменно выигрывают. Это закон Америки, такой же как право на свободу собраний. Кто-то вознамерился сколотить состояние на производстве плутония, и им плевать на судьбу округа Коллетон. А кто-то

---

[215] Примечания: 215

Одна из старейших природоохранных организаций Америки. Создана в 1892 г.

[216] Примечания: 216

Природоохранная организация Америки и Канады. Существует с 1905 г. Названа именем Джона Одюбона, американского натуралиста, орнитолога и художника-анималиста, известного своим трудом «Птицы Америки».

получит миллионы, начиняя этим плутонием бомбы и ракеты. Для меня неприемлема сама мысль о ядерном оружии. Помните, сколько власти болтали о новых рабочих местах? Для меня те, кто занят производством плутония и изготовлением бомб, — такие же нелюди, как политики, генералы и солдаты. И мне плевать, соглашаются со мной или нет. Это моя точка зрения. Я часто размышлял: неужели в Штатах мало безлюдных территорий, где строй что угодно, и никому это не помешает? То, что власти уничтожили Коллетон, — это только часть проблемы. Я бы смирился с этим. Тяжело, конечно, но смирился бы. Если бы нам сказали, что создается шесть тысяч новых рабочих мест и эти люди будут выращивать помидоры, устриц или гардении, я бы отошел в сторону. Если бы на месте Коллетона решили возвести сталелитейный завод или химический комбинат, я бы вряд ли обрадовался, однако принял бы и это. Но осквернить память Коллетона поганым плутонием? Здесь моего одобрения власти не дождутся.

— Увы, Люк, многие считают тебя сумасшедшим, — сообщил я. — А после истории с мостами — сумасшедшим убийцей. Тебя разыскивают за гибель людей.

— У меня бывают жуткие головные боли. В остальном у меня с головой все в порядке, братишка.

— У меня тоже бывают приступы мигрени, но из-за этого люди не умирают.

— Я не собирался никого убивать. Раньше поезда ночью не ходили. — Люк глотнул из стакана. — Они делают водородные бомбы, а меня называют убийцей. Мир совсем свихнулся, дорогие мои братик и сестричка.

— Уберегать человечество от производства водородных бомб — не твое дело, — заключила Саванна.

— Тогда подскажи чье.

— Все твои взгляды слишком упрощенны, — заметил я.

— Так научите меня их усложнять. Я в своих действиях вижу очень мало смысла. Но в том, что делаешь ты и все остальные, я не вижу никакого смысла вообще.

— Когда ты успел приобрести эту обостренную моральную разборчивость? — спросил я. — Почему во Вьетнаме ты со спокойной совестью отправлялся выполнять приказы командования и злился на нас с Саванной за участие в антивоенных демонстрациях?

— Нам внушали, что мы сражаемся за свободу вьетнамцев. Тогда мне это казалось прекрасной идеей. Я не находил в ней ни одного изъяна. Откуда мне было знать, что я воевал за право властей украсть у меня дом, когда я вернусь?

— Но ведь ты мог протестовать против «Коллетонского речного проекта» и ненасильственными способами, — возразила Саванна.

— Какими, сестренка? Раздавать прохожим листовки где-нибудь в Чарлстоне или Колумбии? Я рассчитывал, что так я скорее привлеку внимание к своей борьбе. Верил, что она будет куда успешнее. Надеялся выбросить этих сукиных сынов за пределы округа. Я недооценивал их и переоценивал себя. А в реальности я даже не замедлил их поганого строительства.

— Не скромничай, — отозвался я. — Подрыв мостов еще как замедлил. Прикинь, сколько грузовиков повернули обратно, не доехав до стройплощадок.

— Ты не понимаешь, — досадливо отмахнулся Люк. — Я думал, что остановлю все их работы. Целиком.

— Но как? — удивилась Саванна.

— Я мысленно видел это. Я мог ясно вообразить себе, как они сворачиваются и убираются из

округа. У меня в жизни всегда было так: то, что я представлял, обязательно происходило. Прежде чем мы отправились за белым дельфином, я сотню раз прокрутил в мозгу эту поездку. Когда мы были в Майами, меня уже ничего не впечатляло. Я все это просмотрел заранее.

— А вот я поражалась на каждом шагу. Вряд ли я смогла бы даже предположить, что помчусь по шоссе, лежа на дельфине.

— Я думал, строители настолько меня испугаются, что больше не сунутся в Коллетон.

— Ты этого добился, Люк. Они тебя боятся и сейчас. Но у них есть семьи, которые надо кормить.

— Когда я тут один, мне все гораздо яснее, — улыбнулся брат. — Я могу себя убедить в чем угодно. В детстве мама читала нам «Дневник Анны Франк»…

— Лучше бы она этого не делала, — перебил я его. — Саванне потом несколько лет снились кошмары. Она опасалась, что в наш дом ворвутся нацисты.

— Я о другом. После этой книжки Саванна настояла, чтобы мы сходили к миссис Регенстайн.

— Ты ничего не путаешь? Я такого не помню, — засомневалась Саванна.

— И я не помню, — подхватил я. — Мы были

слишком малы.

— Странно, что вы забыли, — продолжил Люк. — Миссис Регенстайн была немецкой беженкой. Она жила в доме Арона Гринберга. Вся ее семья погибла в концлагере.

— Да, точно. Странная женщина. Она еще показывала нам свою татуировку.

— Это не татуировка, — поправил меня Люк. — Всем узникам концлагерей нацисты выжигали на запястье номера.

— И к чему ты приплел ту немку? — поинтересовался я.

— Дело не в ней. Я тогда впервые понял, какая у нас потрясающая сестра.

Саванна обняла его.

— Люк, с этого места поподробнее. Обожаю случаи, где я — главное действующее лицо.

— В твоей палатке случайно нет гигиенических пакетов? — влез я, но моя шутка осталась незамеченной.

— После того как мама прочитала нам про Анну Франк, Саванна целых три дня обустраивала в сарае уголок. Натаскала туда пищи, воды, вообще все необходимое. Даже нашла где-то небольшую доску и притащила туда — наклеивать на нее картинки из журналов. У Анны Франк была такая

доска, только большая.

— Детская затея, — усмехнулся я.

— И глупая с точки зрения взрослых. Но это был поступок. В Европе лишь немногие отваживались спасать евреев. А наша сестра, восьмилетняя девочка, приготовила в сарае убежище на случай, если нацисты вторгнутся в Америку. Но меня восхитило даже не это.

— Я, наверное, сделала что-то жутко героическое. Люк, давай скорей! — торопила брата Саванна.

— Не особо героическое, но мне понравилось. Ты отправилась к миссис Регенстайн и заставила нас сопровождать тебя. Меня эта тетка пугала своим отвратительным английским. Я едва понимал, что она говорит. Я упирался, не хотел идти, но ты в итоге победила. Ты постучала в дверь. Нам открыла сама миссис Регенстайн. Помню, она поздоровалась: «Guten Morgen, Kinder»[217]. У нее были очки с толстыми стеклами, а сама она была тощей как жердь. Помнишь, что ты ей тогда сказала?

— Да у меня вообще тот день из головы вылетел, — призналась Саванна.

---

[217] Примечания: 217
«Доброе утро, дети» *(нем.)*.

— «Мы вас спрячем» — вот что. «Можете не волноваться, миссис Регенстайн. Если в Коллетон вдруг придут нацисты, мы с братьями не дадим вас в обиду. Мы уже приготовили место у себя в сарае. Будем носить вам туда еду и журналы».

— И как миссис Регенстайн восприняла эти слова? — не терпелось узнать Саванне.

— Совсем расклеилась. Я еще ни разу не слышал, чтобы женщина так плакала. Ты подумала, что чем-то ее обидела, и начала извиняться. Потом вышла миссис Гринберг и кое-как ее успокоила, а нас угостила молоком с печеньем. С того дня она к нам очень хорошо относилась.

— Я всегда была потрясающим ребенком, — заявила Саванна. — Спасибо тебе, Люк, за эту историю.

— Могу предложить тебе на выбор десятка три других историй, где ты выглядела полнейшей дурой, — хмыкнул я.

— Кто приглашал сюда этого мистера? — спросила Саванна, указывая на меня.

— Уж точно не я, — подыграл ей Люк.

— Мы явились сюда с предложением. Силы зла готовы заключить сделку.

— Знаю я их сделки, — устало отмахнулся Люк. — Обещать они горазды. Им главное — вы-

манить меня отсюда.

— Там ведь тоже люди разные, — возразил я. — Есть один парень по фамилии Ковингтон. Ты ему нравишься, и он взялся тебе помочь.

Два дня подряд, на затерянном клочке земли, где каждое время суток приносит свои запахи, мы слушали о войне одиночки против государства. Первым чувством, заставившим Люка вооружиться и начать мстительные набеги, было чувство несправедливости. Люк считал, что государство украло у него и дом, и землю, и родину. Неудачи, а главное — невозможность что-либо изменить в планах властей, превратили его бунт в навязчивое состояние. Откровенные поражения, которые он терпел, не позволяли Люку сложить оружие. Он сам стал первой жертвой своей непримиримой борьбы. Поначалу брат считал, что остался в Коллетоне, поскольку он — единственный гражданин погубленного города, сохранивший принципиальность. Но за долгое время своего одиночества он постепенно осознал: его вздорное, задиристое тщеславие — вот что превратило заурядное политическое решение в предмет дерзких сражений за справедливость. Люк не знал, как ему выбраться из лабиринта противоречий, и, если честно, не очень-то

хотел этого. Часы сомнений перемежались с днями полной уверенности в правильности своих поступков. Самым серьезным и печальным недостатком Люк считал то, что ему приходится действовать в одиночку.

Его рассказ звучал странной музыкой. Люк описывал, как неторопливо бродил по землям разоренного округа; говорил о столкновениях с вооруженной охраной, о том, как после успешной операции возвращался на одну из двух своих конспиративных точек. Брат поведал нам о систематических кражах динамита со стройплощадки и об опасностях, которые грозили ему всякий раз, когда его лодка выходила на просторы реки Коллетон. От партизан Вьетконга Люк перенял тактику действий под покровом ночи, у них же научился терпению, когда воюешь против численно превосходящего врага. Он очень долго наблюдал за северными мостами и убедился, насколько скверно они охраняются и насколько просто заложить бомбы с часовыми механизмами, установленными на два часа ночи, и успеть до рассвета вернуться на остров Болотной Курочки. Фактически же (и Люк это признавал) он заставил власти существенно усилить охрану мостов. Гибель людей в поезде изменила приро-

ду его протеста. Едва только он пролил первую кровь, война против государства потеряла всякий моральный смысл; если уж пришлось убивать, то пусть эта смерть будет ненапрасной.

— Лучше бы я ухлопал трех главных инженеров «Мьюшоу». На них держится все строительство. Каждого из них я видел в перекрестье оптического прицела. Стоило нажать курок — и все. Но потом я начинал думать об их женах и детях, представлял, каково им будет услышать, что их папочка заработал пулю между глаз, — и опускал винтовку. Я вдруг осознал, что веду самую идиотскую, самую дерьмовую войну. Обычно партизан поддерживает местное население, а в Коллетоне никого не осталось. Только ямы на месте стоявших домов. Ну, навзрывал я пустых грузовиков и тракторов. Ну, напугал охранников до полусмерти. Моя единственная победа в том, что меня до сих пор не поймали. Но знали бы вы, мои дорогие Том и Саванна, как они за мной охотятся.

Люк не признавал себя проигравшим; он считал, что всего лишь загнан в угол. Идеи, помогавшие ему в первые недели борьбы, потускнели и потеряли силу. Размышляя наедине с собой, Люк обнаружил, что его противостояние государству не имеет под собой никакой философской

основы. Он страстно любил прибрежные острова, однако это не заменяло систему взглядов. Его мысли отличались противоречивостью, романтизмом, недовольством и нетерпимостью. Люк не мог силой заставить двадцатое столетие понимать его устремления и не находил себе места в этом веке. Он пытался вести себя как человек чести, неподкупный и непродажный, но однажды узнал, в какую сумму оценена его голова. В глубине души Люк до сих пор не мог понять, почему каждый американец не примкнул к нему, почему люди не поддержали его спор с государством. Он возомнил, что чувствует душу Америки. Оказалось — толком не изучил даже свою собственную. Люк вырос, так и не узнав, что продажа земли и права первородства в Америке считается спортом королей. Родители вбивали в нас, что земля для южан — высшая ценность. Земля и почтительное отношение к ней — вот что так сильно отличает южан от остальных американцев. По мнению Люка, он сделал одну ошибку — поверил в превосходство образа жизни южан. Принял всерьез смысл, скрывающийся за красивыми словами.

— Когда я впервые здесь очутился, то считал себя последним уроженцем Юга, — признался

Люк. — А с недавних пор кажусь себе последним южным придурком.

— Наша наследственность — что озеро Лох-Несс, — изрекла Саванна. — У каждого есть свое чудовище, и неизвестно, в какой момент оно высунется.

— Если теперь ты сильно сомневаешься в своих действиях, то какого черта продолжаешь играть в войну? — спросил я.

— Знаешь, Том, я могу быть очень не прав, но они еще более не правы. Одним своим присутствием я напоминаю властям, что кража целого округа опасна для здоровья. Я даже подумывал о дневном налете на стройплощадку. Вначале перебил бы вооруженную охрану, а потом — два-три десятка рабочих. Я смог бы развернуть подобную войну. У меня только не хватает духу вести ее по всем правилам.

— Если бы ты угробил стольких людей, против тебя бросили бы морскую пехоту, — предостерег я брата.

— Я действовал в одиночку, и у меня недостало мужества стрелять в невинных, — сообщил Люк. — Я уничтожал невинных во Вьетнаме, но при этом чувствовал за спиной поддержку самой сильной страны в мире. Я еще тогда уяснил: если

у тебя нет желания убивать, ты не сумеешь победить. На тебя даже не обратят внимания.

— Ты никогда не любил идти на компромисс, — заметил я.

— Компромисс? Где ты видел этот чертов компромисс? Правительство не сказало нам: «Мы заберем часть земли и построим завод, а вы как жили тут, так и будете жить». Нам велели выметаться, и поскорее! И я понимаю, зачем они это сделали. Если только на их поганом заводе что-нибудь случится, вся здешняя живность: креветки, осьминоги, мечехвосты — будет лет двести светиться в темноте. Достаточно одной паршивенькой катастрофы, и все растения и звери в радиусе пятидесяти миль будут погублены. Это солончаковое болото станет пустыней.

— Когда это ты успел стать радикалом? — спросила Саванна. — Уж не во Вьетнаме ли?

— Я вовсе не радикал, — с яростной убежденностью возразил Люк. — И ненавижу радикалов всех мастей: либеральных, консервативных, любых. Мне плевать на политику. Я ненавижу и политиков, и всяких там организаторов демонстраций.

— А вот здесь, мой дорогой Люк, ты сильно ошибаешься, — улыбнулась Саванна. — Ты устро-

ил потрясающую демонстрацию. Это тебе не по Нью-Йорку ходить.

Люк признался нам в своих частых посещениях острова Мелроуз. Он бродил по густо заросшему двору, где когда-то стояли наш дом и сарай. Однажды он даже спал на месте нашей комнаты. Он лакомился медом из пустых ульев, чудом уцелевших после разрушений. В одичавшем саду Люк набрал роз, азалий и георгинов и положил на могилу тигра, а на южной оконечности острова он из лука убил дикого кабана, выкапывавшего из земли орехи.

О видении, случившемся у него на месте бывшего Коллетона, когда на мгновение перед ним вдруг предстал прежний город, Люк рассказал нам во второй вечер. Со страхом и восторгом он говорил об участившихся диалогах, которые вел с самим собой. Эти размышления в одиночестве пугали его, но они же давали обновленное чувство ясности цели. Люк вспоминал, с каким трудом нашел бывший участок Амоса и Толиты, как споткнулся о дедов крест и понес его на плече по улице Приливов, шагая под светом луны, проглядывавшей сквозь облака. Он шел, называя все магазины, и те буквально вырастали из-под земли. Город поднялся, преисполненный гнева за

свое уничтожение, — Люк наблюдал это своими глазами. А потом он обернулся и заметил приближающегося мистера Фрукта. Тот, обросший и одичавший, остановился на перекрестке, где провел всю жизнь, и подул в свисток, регулируя призрачное уличное движение. Жесты мистера Фрукта не утратили ни простоты, ни изящества. Но стоило регулировщику появиться, как возрожденный город исчез, словно мираж. Пропал, растворившись в ночной темноте.

— Я видел живой Коллетон, — утверждал Люк. — Не знаю, как это объяснить. Мой нос ловил запах кофе и свежей краски. Раздавались голоса хозяев магазинов, шорох их метелок, которыми они подметали тротуар. Это было так прекрасно и совсем реально.

Саванна нежно поцеловала брату руку.

— Мне понятно и так. Подобные вещи я вижу с детства.

— Но я же не сумасшедший, — возразил Люк. — Все это было предо мной. Лавочки, вывески в витринах. Я даже слышал, как в обувном магазине попугай прокричал: «Доброе утро!» Горели все фонари. Я не выдумываю. Это был не сон.

— Всего лишь небольшая приятная галлюцинация, — пояснила Саванна. — Я же королева

галлюцинаций. Могу тебе все рассказать о них.

— Ты намекаешь, что я чокнутый? Но ненормальной у нас всегда была ты.

— Как теперь выяснилось, не только я, Люк.

— Но у меня было настоящее видение. Как у святых, — упирался Люк. — Я чувствовал прикосновение Бога. Он показывал мне будущее, которое обязательно наступит, если я останусь верен своей миссии.

— Ты слишком много времени провел в одиночестве, — заметил я.

— Но ведь мистер Фрукт мне не причудился.

— Это наиболее странная часть твоей галлюцинации, — задумчиво произнесла Саванна.

— Да нет, это был настоящий, живой мистер Фрукт. Когда город переселяли, о нем забыли. А может, он перепугался, когда начали ломать и взрывать дома. Прятался в лесу, кормился чем придется. Отощал, одежда превратилась в лохмотья. Но по-прежнему стоял на своем перекрестке и дул в свисток. Попробуйте объяснить подобному человеку, что такое плутоний и право государства на изъятие земель. Когда я нашел мистера Фрукта, он от голода еле на ногах держался. Я его силой уволок с того места, усадил в лодку и отвез в одну из католических миссий Саванны. Там

старика отправили в Милледжвилл в штатную психушку. И никто меня не желал слушать, когда я пытался объяснить, что он вовсе не двинутый. Его нужно лишь подкормить и найти новый перекресток, где он сможет заниматься привычным делом. Я их не виню. Чтобы понимать мистера Фрукта, нужно вырасти в Коллетоне. Я бы мог распинаться сколько угодно и все равно не убедил бы их, что в Божьем замысле мистер Фрукт занимает свое важное место.

— Помощь нужна не только мистеру Фрукту. Тебе тоже, — заявила Саванна. — Вы с ним оба — жертвы переселения.

— Но ведь я с предельной ясностью видел Коллетон. Вот когда ты садишься перед чистым листом бумаги, ты ведь уже чувствуешь, что где-то на нем спряталось стихотворение. Так и предо мной на темном куске земли предстал наш город. Можешь называть это воображением, но это не безумие.

— Тебе нужно поехать с нами, — заключила Саванна. — Пора начинать новую жизнь.

Люк спрятал лицо в своих громадных ладонях. В его горе было что-то первозданное и звериное. Перед нами сидел величественный лев с нежными глазами пугливой лани.

— Ты упомянул какого-то Ковингтона из ФБР. Ты ему доверяешь? — обратился ко мне Люк.

— Не больше, чем любому охотнику за моим братом.

— И он считает, что я могу отделаться тремя годами тюрьмы?

— По его словам, от трех до пяти. Такая у него сделка с прокуратурой.

— Возможно, меня даже поместят в одну камеру с отцом.

— Отец мечтает о твоем возвращении, — подхватила Саванна. — Он очень волнуется за тебя. И мама тоже.

— Может, через каких-нибудь пять лет отпразднуем воссоединение семьи, — грустно улыбнулся Люк.

— Предлагаю провести его в Аушвице.

Саванна была верна себе.

— Том, передай Ковингтону, что я выйду возле Чарлстонского моста, — сказал Люк. — Мне бы хотелось сдаться офицеру Национальной гвардии. По всем правилам, как сдаются солдаты.

— Тогда давай с нами, — предложил я. — Из дома я позвоню Ковингтону.

— Хочу провести здесь пару деньков один. Проститься с Коллетоном. Итак, я буду ждать их в

пятницу возле Чарлстонского моста.

— Саванна, вода прибывает. Нам скоро отплывать.

— Люк, хочешь, я побуду здесь с тобой? Мне что-то страшно оставлять тебя одного, — забеспокоилась Саванна.

— Сестренка моя дорогая, я смогу о себе позаботиться. Все будет отлично. Том прав: если в ближайший час вы не отъедете — вам сегодня отсюда не выбраться.

Люк помог мне спустить лодку на воду. Он прижал к себе Саванну, и сестра долго плакала у него на плече.

Потом брат повернулся ко мне. Когда он меня обнял, я тоже не выдержал.

— Не надо, Том. Все закончилось, — успокаивал Люк. — Через три года мы будем гоготать во все горло, вспоминая эти дни. Конечно, получилось дерьмово, но все изменится. Сотворим что-нибудь удивительное. Выйду на свободу, купим здоровенную лодку и наловим креветок больше, чем кто-либо на всем Восточном побережье. Мы станем знаменитыми. А потом найдем какой-нибудь уютный прибрежный бар, вытряхнем оттуда всех матросов и будем выпивать одни.

Мы с сестрой забрались в лодку. Люк оттолкнул

ее от берега. Саванна без конца посылала брату воздушные поцелуи. Тонкий месяц освещал удаляющуюся фигуру Люка. Мы плыли по солончаковому болоту, понимая, что больше никогда не увидим родных мест. Я правил лодкой и читал про себя благодарственную молитву. Хотя Бог и усложнил мне жизнь странными и ущербными родителями, Он же уравновесил ее, подарив мне замечательных брата и сестру. Без них я бы не совершил этого путешествия и даже не мечтал бы о нем.

По пути к месту встречи у Чарлстонского моста Люк решил нанести последний сентиментальный визит на остров, где родился и вырос. Брат как раз стоял на фундаменте нашего домика, когда его с первого выстрела убил один из бывших «зеленых беретов», направленных в округ Коллетон. Напрасно полковник Брайсон Келлехер ждал Люка Винго возле Чарлстонского моста… Джей Уильям Ковингтон сам приехал ко мне на остров Салливанс и сообщил о случившемся.

После траурной церемонии мы с Саванной погрузили гроб с телом Люка на лодку и устремились к водам Гольфстрима, который брат так любил. Там мы опустили тяжелый гроб за борт. Саванна читала стихотворение «Принц прили-

вов», написанное в знак прощания с Люком.

Когда она произнесла последние строчки, мы поплыли обратно в Чарлстон, зная, что все оставшиеся дни будем учиться жить без Люка. Вместо воссоединения наша семья распадалась, трещала по швам, и это тянулось годы.

Эпилог



Осталось совсем немного.

История Люка давалась мне тяжело. Рассказывая ее Сьюзен Лоуэнстайн, я не спешил. Я с трудом выдавливал слова, и все же мне было легче открыться женщине, которую я любил и которая ежедневно шептала, что любит меня. Она разбудила во мне то, что так долго пребывало в спячке. Благодаря Сьюзен я не только вновь ощутил страсть, но и почувствовал возвращение надежды и удаление всех «штормовых предупреждений» из опасных зон памяти.

Я провел лето, сочиняя дочерям песни о любви, а жене — письма о любви. Я невероятно скучал по девочкам; меня будоражило одно лишь упоминание их имен. Но дочери не могли вычеркнуть меня из своей жизни, а вот Салли, как мне казалось, я потерял навсегда. В моих посланиях к

ней повторялась одна и та же тема: никто лучше, чем я, не понимает причину, заставившую ее искать отношений вне дома. Погрузившись в свое безутешное горе, я превратил жену в чужого человека, пытавшегося вторгнуться в мои печальные пределы. Но что хуже всего, я сделал из нее вдову при живом муже и заставил жить в доме, где не было ничего, кроме горя. Островной парень Том Винго отрезал себя ото всех, кто им дорожил, и пустился в долгое изнурительное плавание по просторам страданий. Я уверял Салли, что ее роман с доктором Кливлендом кое-чему меня научил. Раньше я считал, что после гибели брата мне уже ничто не сможет причинить боль; оказалось, что это не так. Однако я прекратил тонуть в жалости к самому себе и теперь ощущал, как во мне вновь поднимается боец. Теперь я знал: зачастую прелюдией к спасению служит поцелуй Иуды. Бывают времена, когда предательство — это проявление любви. Я выбросил Салли из своего сердца — и Джек Кливленд радостно принял ее в свое. Мне это не нравилось, но я писал Салли, что прекрасно понимаю ее ситуацию. Ее ответы были письмами уязвленной, сбитой с толку женщины. Она сомневалась, ей нужно было подумать. Я дал ей достаточно времени и

теперь ожидал ее решения. Мне и в голову не приходило, что решение придется принимать мне и что Нью-Йорк я буду покидать с радостным чувством.

Две последние недели августа мы провели на побережье штата Мэн, где Сьюзен сняла домик. Я рассказывал ей о гибели Люка, глядя на волны Атлантики. Только здесь они были куда холоднее и неистовее; скалы, о которые они разбивались, равнодушно принимали удары. Закончив историю, я добавил, что любая сторона моей жизни, любое значимое событие так или иначе были связаны с Люком. Среди дикой зеленой красоты северного лета я возносил хвалу духу брата и оплакивал его смерть. Я говорил просто, без прикрас, каждое мое слово было пронизано любовью к брату и горечью потери. Его привязанность к нашей семье была глубже моей и отличалась стихийной яростью.

Когда я описывал погребение Люка в море, Сьюзен держала меня за руки, гладила по волосам и отирала слезы. Она слушала меня не как психиатр Саванны, а как моя возлюбленная, спутница и лучший друг. Все эти две недели мы предавались любви так, словно каждый из нас ждал этого всю жизнь. Наши прогулки исчислялись долгими ми-

лями: мы бродили по берегу, собирали чернику и цветы. А потом обязательно наступал момент, когда Сьюзен поворачивалась ко мне, впивалась ногтями мне в спину и шептала:

— Пошли домой. Там мы займемся любовью и поведаем друг другу обо всем на свете.

Для меня было истинным удовольствием общаться со Сьюзен Лоуэнстайн.

В наш последний вечер на побережье мы улеглись на скале, завернувшись в одеяло. Луна чертила на воде свою извечную серебристую дорожку. На ясном небе перемигивались звезды.

— Ты, наверное, тоже рад возвращению в город? — поинтересовалась Сьюзен, целуя меня в щеку. — Я уже устала от всей этой умиротворяющей красоты, тишины, обильной пищи и фантастического секса.

Я засмеялся и спросил:

— Если мы будем жить вместе, мне придется стать евреем?

— Совсем необязательно. Ведь Герберт — не еврей.

— Но я бы не возражал. И потом, у нас в семье, судя по всему, это становится традицией. Вспомни Ренату Халперн.

— Здорово мы тогда с тобой поцапались. Вот

такая у нас была прелюдия к любви.

Я ответил не сразу. В вечерней темноте передо мной вдруг вспыхнули лица Салли и дочерей.

— До встречи с тобой я крепко спал. Я был мертвым и даже не догадывался об этом. Скажи, Лоуэнстайн, могу я теперь называть тебя просто Сьюзен?

— Нет. Мне очень нравится, как ты произносишь мою фамилию. Особенно когда мы занимаемся любовью. Том, я снова чувствую себя красавицей. Великолепной, неотразимой женщиной.

— Когда мы вернемся, я хочу навестить Саванну, — немного помолчав, заявил я.

— Самое время, — согласилась Сьюзен. — Для вас обоих.

— Мне нужно кое-что ей рассказать. И не только ей.

— А знаешь, я боюсь, что Салли однажды позвонит и попросит тебя вернуться.

— Откуда ты знаешь, что она попросит меня вернуться? — удивился я.

— Так. Мысль мелькнула, — отозвалась Сьюзен и тут же прошептала: — Давай пойдем в домик, сбросим одежду и поведаем друг другу обо всем на свете.

Я повернулся и поцеловал ее.

— Эх, Лоуэнстайн, тебе предстоит еще многое узнать о жизни на природе.

Я начал расстегивать ее рубашку.

Когда санитар ввел Саванну в комнату свиданий, сестра удивилась, увидев меня. Ее поцелуй был довольно отстраненным, но затем она крепко меня обняла.

— Тебе все-таки разрешили прийти, — заметила она.

— Лоуэнстайн отпускает тебя на целый день, — сообщил я. — Но под мою строжайшую ответственность. Так что постарайся не делать кульбитов на крыше Эмпайр-стейт-билдинга.

— Буду сдерживаться, — пообещала сестра и почти улыбнулась.

Я повел ее в Музей современного искусства, где была устроена совместная выставка фотографий Альфреда Стиглица и картин Джорджии О'Киф[218]. В первый час мы бродили по залам, лишь изредка перебрасываясь словами. Слишком много времени и крови впитали в себя болота

[218] Примечания: 218

Стиглиц Альфред (1864–1946) — известный американский фотограф, внесший огромный вклад в становление фотографии как самостоятельного вида искусства. О'Киф Джорджия (1888–1986) — американская художница, жена Альфреда Стиглица.

нашего общего прошлого. Безжалостная судьба ограбила нас на целые годы, и сейчас каждому из нас было очень трудно начать общаться.

— Ты знаешь о Ренате Халперн? — осведомилась Саванна, когда мы остановились возле фотографии, запечатлевшей нью-йоркскую уличную сцену.

— Да, — коротко отозвался я.

— Тогда это имело для меня смысл. Я находилась не в лучшем состоянии.

— Тебе нужно было убежать от себя. Это всем понятно. Особенно мне.

— Тебе? — Ее голос обрел знакомые сердитые интонации. — По-моему, ты никуда не убегал. Ты так и остался на Юге.

— Ты хоть понимаешь, чем является для меня Юг?

— Нет, — солгала она.

— Это пища для моей души. И тут, Саванна, я ничего не могу с собой поделать. Такой уж я есть.

— Юг — жестокое, жалкое и отсталое место. И жизнь там — смертный приговор.

Я отвернулся от фотопортрета молодой и красивой Джорджии О'Киф.

— Саванна, это твое отношение к Югу. И наш разговор на эту тему повторяется в тысячный

раз.

Сестра сжала мою руку.

— Ты продал себя по дешевке. Ты мог бы стать кем-то более значительным, нежели школьный учитель и тренер.

— Послушай меня, Саванна. В языке нет более почитаемого слова, чем «учитель». У меня сердце поет, когда кто-нибудь из ребят обращается ко мне «учитель». Я считаю, что преподавать — это честь для меня.

— Тогда почему же ты несчастен, Том? — возразила она.

— По той же причине, что и ты, — ответил я.

Мы прошли в зал Моне, сели на скамейку, стоявшую в центре, и засмотрелись на большие холсты с изображением лилий и воды. Зал этот был самым любимым местом Саванны, она всегда приходила сюда набираться вдохновения.

— Лоуэнстайн собирается вскоре тебя выписать, — сообщил я.

— Думаю, я готова вернуться домой.

— Если ты снова решишь куда-нибудь отправиться, дай мне знать. Я тебе обязательно в этом помогу.

— Мне по-прежнему хочется держаться подальше от всех вас. И еще долго будет хотеться.

— Что бы ты ни сделала, я все равно люблю тебя, Саванна. Но мне невыносима мысль о мире без тебя.

— А мне иногда кажется, что мир без меня был бы лучше, — вздохнула она, и грусть в ее голосе больно резанула по мне.

Я взял сестру за руку.

— С похорон Люка мы ни разу не упомянули его имени, — сказал я.

Саванна прислонилась к моему плечу и испуганным тоном прошептала:

— Прошу тебя, Том, только не сейчас.

— Сейчас самое время. Мы так обожали Люка, что забыли, насколько сильно дорожим друг другом.

— Во мне что-то сломалось, — почти задыхаясь, пробормотала она. — И этого не исправить.

— Все же давай попробуем.

Я указал на бессмертные цветы Моне, плавающие в прохладных водах в Живерни.

— Ты можешь восстановиться с помощью своего искусства. Создать прекрасные стихи о нашем брате. Из всех нас только ты можешь вернуть нам Люка.

Саванна заплакала, но в ее слезах чувствовалось облегчение.

— Он же мертв, Том.

— Он потому и мертв, что с момента его гибели ты не написала о нем ни строчки, — возразил я. — Сделай с Люком то, что Моне сделал с цветами. Примени волшебство своей поэзии. Пусть весь мир узнает и полюбит Люка Винго.

В тот день, несколькими часами позже, опасения Сьюзен Лоуэнстайн оправдались. Мне позвонила Салли. Она произнесла пару слов, и у нее дрогнул голос.

— Салли, что случилось?

— У него были отношения еще с двумя женщинами. Я уже собиралась переехать к нему и забрать детей, а оказалось, что он кроме меня трахался еще с двумя.

— Все дело в английских мотоциклах, — заметил я. — Пенковые трубки — просто безобидное чудачество. Но когда врач начинает коллекционировать мотоциклы, у него явно не все в порядке с мужским эго.

— Том, я его действительно любила, — всхлипывала в трубку Салли. — Не стану тебе врать. Любила.

— Твой вкус по части мужчин всегда вызывал у меня легкое недоумение.

— Том, мне сейчас очень паршиво. Такое чув-

ство, будто со мной поразвлеклись, как со шлюхой, а потом выбросили. Я даже не представляла, как заводятся романы на стороне. А вляпалась так, что выставила себя полнейшей идиоткой.

— Не вини себя, Салли, — сказал я. — Ни у кого нет рецепта, как правильно заводить романы на стороне.

— Когда я сообщила ему, что знаю про тех двух женщин, и приперла к стенке, он вел себя просто отвратительно. Наговорил мне ужасных вещей.

— Хочешь, я побью его? — предложил я.

— Нет, конечно. Зачем?

— Я бы с удовольствием его поколотил. А ты бы смотрела.

— Он сказал, что я слишком стара для него, чтобы на мне жениться. Представляешь, одной его подружке всего девятнадцать.

— По-моему, этот человек никогда не отличался глубиной.

— Что нам делать, Том? — спросила Салли. — Как из всего этого выбраться? Ты присылал такие удивительные письма. На твоем месте я бы мне этого не простила.

— Подожди делать выводы. Ты еще не знаешь про Лоуэнстайн.

Я ждал Сьюзен на улице, невдалеке от дома, в

котором находился ее офис. Я стоял, подпирая фонарный столб. Я пытался подобрать нужные слова, глядя, как она сбегает по ступенькам. Как всегда, ее красота что-то во мне всколыхнула, но в тот момент по-настоящему разрывала мне сердце ее доброта. Только я открыл рот, и слезы полились сами собой. Никто еще не изобрел удачного способа прощания с Лоуэнстайн. Она все поняла и с криком бросилась через улицу.

— Нет, Том! Нет! Это нечестно!

Она уронила портфель на тротуар и порывисто обняла меня. Портфель раскрылся, и бумажные листы полетели под колеса машин. Сьюзен вытерла мои слезы и поцеловала.

— Мы же знали, что этот день настанет. Мы обсуждали это. Ты — из тех мужчин, которые обязательно возвращаются в семью. И это, Том, я в тебе ценю. И все равно, черт бы побрал эту Салли. Ну почему тогда не я оказалась на ее месте?

От ее реакции мне стало еще больнее, и я, будто обиженный мальчишка, зарыдал у нее на плече. Она гладила меня по голове, приговаривая:

— Нет, надо найти себе хорошего еврейского парня. Вы, гои, меня просто доконаете.

И мы оба, вопреки грусти, засмеялись.

Саванна сидела в кресле возле окна, выхо-

дящего на Бликер-стрит. Ее волосы утратили золотистый блеск, лицо было бледным и одутловатым. Услышав мои шаги, она не повернулась. Свои вещи я упаковал накануне вечером и оставил возле кухонной двери. Я зашел в цветочный магазин на Восьмой авеню и купил сестре куст цветущей гардении. Один цветок я срезал и, подкравшись к Саванне, воткнул ей в волосы.

А потом я задал ей свой извечный вопрос:

— Саванна, на что была похожа твоя жизнь в родительской семье?

— На Хиросиму, — ответила она.

— А после того, как ты покинула родительский дом с его теплом и заботой сплоченной семьи?

— На Нагасаки, — произнесла она, по-прежнему глядя в окно.

— Как называется стихотворение, написанное тобой в честь нашей семьи?

— «История Аушвица», — отозвалась сестра, и мне показалось, что она вот-вот улыбнется.

— А теперь самое важное. — Я наклонился и почувствовал аромат гардении в волосах Саванны. — Кого ты любишь больше всех на свете?

Она прижала мою голову к своему мокрому от слез лицу и прошептала:

— Больше всех я люблю Тома Винго. Моего

несносного, фантастического брата-близнеца. И прошу за все меня простить.

— Все в порядке, Саванна. Мы вновь обрели друг друга. И у нас впереди — уйма времени, чтобы на месте руин построить что-то новое.

— Обними меня, Том, — попросила сестра. — И покрепче.

Вот и настало время покинуть ее квартиру. Я вынес в коридор чемоданы, где меня ждал Эдди Детревилл, взявшийся помочь мне спустить их вниз и погрузить в такси. Я похлопал Эдди по плечу, чмокнул его в щеку и сказал, что редко встречал столь щедрого и отзывчивого человека, как он. Потом я подошел к креслу проститься с Саванной.

— Думаешь, Том, у нас с тобой есть силы выжить? — спросила она, поднимая на меня глаза.

— У меня есть. А вот насчет тебя не уверен, — честно признался я.

— Выживание. Наша семья наделила тебя этим даром.

Я поцеловал сестру и направился к двери.

— Но тебе наша семья даровала нечто большее, — напомнил я, поднимая чемодан.

— Что же, интересно? — горестно усмехнулась Саванна.

— Гениальность. Наша семья даровала тебе гениальность.

В тот вечер Сьюзен Лоуэнстайн вознесла нас над Нью-Йорком, избрав местом нашего прощального ужина ресторан «Окна в мир»[219]. Когда мы туда поднялись, солнце почти зашло, последние его лучи придавали рубиновый оттенок цепи облаков, что растянулась вдоль горизонта. Под нами сверкал, переливаясь огнями, совершенно бесшумный город. Сколько и под какими углами ни смотри на Нью-Йорк, он никогда не бывает одинаковым. Вряд ли на планете есть нечто более красивое, чем вечерний Манхэттен, на который глядишь с высоты.

— Лоуэнстайн, что ты хочешь заказать на ужин? — осведомился я, когда нам подали вино.

Некоторое время она молчала.

— Я собираюсь заказать на редкость паршивый ужин. Он просто не имеет права быть роскошным или даже вкусным сегодня, когда мы видимся в последний раз.

— Я возвращаюсь в Южную Каролину, доктор. — Я сжал ее руку. — Туда, где мне самое

---

[219] Примечания: 219

Ресторан и примыкавший к нему бар занимали 106-й и 107-й этажи Северной башни Всемирного торгового центра. Просуществовали с 1976 г. до 11 сентября 2001 г.

место.

— Ты мог бы сам выбрать место по душе, — возразила Сьюзен, поворачиваясь к панораме города. — Ты просто не захотел здесь жить.

— Ну почему ты мешаешь нам расстаться друзьями? — спросил я.

— Потому что так ты не будешь со мной. Думаю, ты любишь меня, и уверена, что я люблю тебя. У нас есть шанс сделать друг друга счастливыми до конца дней.

— Вряд ли я могу сделать кого-то счастливым до конца дней.

— Ты это говоришь нарочно. Обычное оправдание мужчины, покидающего женщину.

Сьюзен вдруг схватила меню и стала внимательно его изучать, избегая встречаться со мной глазами.

— Интересно, какое блюдо здесь — самое дрянное?

— Я слышал, здесь самые паршивые поросячьи задницы в уксусе.

— Нечего пытаться меня смешить, — буркнула Сьюзен, спрятавшись за меню. — Я ни на секунду не забываю, что сегодня ты бросаешь меня ради другой женщины.

— Та другая является моей женой, — напом-

нил я.

— Если ты знал, что в конце концов вернешься к своей Салли, почему тогда позволил отношениям между нами зайти так далеко?

— Я этого не предполагал. Уже даже фантазировал о новой жизни с тобой.

— И что же потом случилось?

— Мой характер не позволил. У меня не хватило мужества оставить жену и детей. Это сильнее меня. Со временем ты меня простишь, Лоуэнстайн. Одна часть меня хочет тебя больше всех сокровищ мира, а другая боится грандиозных перемен. И она, эта часть, — гораздо сильнее первой.

— Том, но ты ведь любишь меня, — возразила Сьюзен.

— Можно одновременно любить двух женщин.

— Однако ты предпочел Салли.

— Я решил продолжить ту свою жизненную историю, которую начал раньше. Будь я посмелее, я выбрал бы тебя.

— Ну чем мне тебя удержать? — Сьюзен погрустнела. — Ну ответь мне, пожалуйста. Я не умею просить, но я научусь всем нужным словам и всем поступкам. Помоги мне, Том.

Я закрыл глаза и взял ее руки в свои.

— Сделай так, чтобы я родился в Нью-Йорке.

Убери мое прошлое, вообще все, что я знал и любил. Сделай так, чтобы я никогда не встретил Салли и у нас с ней никогда не было детей.

— Мне казалось, если я разбужу в тебе чувство вины и ответственности за меня, это заставит тебя не уезжать, — улыбнувшись, призналась Сьюзен.

— Бесстыжее вы племя, психиатры.

— Том, если у вас с Салли ничего не получится…

Сьюзен умолкла, не договорив.

— Тогда я буду поскуливать и повизгивать у парадной твоего дома. Как ни странно, Лоуэнстайн, сейчас я люблю тебя так, как никогда не любил Салли.

— Так оставайся со мной.

— Я попытаюсь построить нечто новое и прекрасное на развалинах нашего с ней брака. Не знаю, получится ли. Но я попробую. Сегодня те же слова я говорил Саванне.

К нам подошел официант, но Сьюзен махнула рукой, и он послушно исчез.

— Раз уж зашла речь о развалинах… Сегодня звонил Герберт. Просит дать ему еще один шанс. Представляешь, клялся мне, что прекратил отношения с Моник.

— У тебя не возникло желания позвонить Моник и выразить сочувствие?

— Даже по стандартам твоего грубого юмора это не смешно.

— Решил немного разрядить обстановку, а то она такая тяжелая, будто сделана из титана.

— Не собираюсь ничего разряжать. Я сегодня жутко несчастная и имею полное право реветь во весь голос.

— Представил себе умоляющего Герберта. Какой удар по самолюбию маэстро.

— Не умеет он умолять. Я открыла ему правду о наших с тобой отношениях. Для него это невообразимо. Поверить не может, что у меня интимная связь с таким человеком, как ты.

— Расскажи этому сукину сыну, что член у меня как у слона, — с легким раздражением предложил я. — И добавь, что мне во время этих дел очень нравится китайская корзинка[220].

— Я просто похвасталась ему, что в постели мы оба неотразимы, что только треск стоит, как от бекона на сковородке, — пояснила Сьюзен, рассеянно глядя на простертый внизу город.

— Боже, у тебя лексикон как у девиц из стрип-

[220] Примечания: 220

Приспособление для изощренного секса, когда женщина усаживается в подвешенную к потолку корзину без дна.

тиза.

— Ты не представляешь, до чего мне понравилось делать ему больно, — призналась Сьюзен. — А ты рассказал Салли про нас?

— Да.

— Значит, ты просто использовал меня?

— Да, я использовал тебя. Но не раньше, чем полюбил.

— Если бы я тебе действительно нравилась…

— Ты мне не нравишься, Лоуэнстайн. Я тебя обожаю. Ты изменила мою жизнь. Я вновь ощущаю себя цельным человеком. Привлекательным мужчиной. Чувственным, между прочим. Делая для меня так много, ты заставляла меня думать, что все это ради Саванны.

— Вот и конец истории, — заключила она.

— Думаю да.

— Так не будем комкать нашу последнюю ночь.

Сьюзен медленно поцеловала мне руку, палец за пальцем. Над городом дул северный ветер, и небоскреб, в котором мы сидели, слегка раскачивался.

После ужина мы перекочевали в «Радужный зал» Рокфеллер-центра. Мы пили шампанское. Я обнимал Сьюзен, и вновь под нами сверкал

и перемигивался Нью-Йорк, а Атлантика гнала свои приливные волны в устье Гудзона. Где-то внизу, в квартире на Гроув-стрит, спала моя сестра, наконец-то вернувшаяся к себе домой. Мы сняли на ночь номер в отеле «Плаза». Мы болтали и занимались сексом. На этот раз мы не строили планов; восемь последних отпущенных нам часов неудержимо таяли. Иногда во взгляде Сьюзен я ловил затаенную надежду на чудо. Но я знал: чуда не будет. Я уже сказал «нет».

Мы простились в зале аэропорта Ла Гуардиа. Я поцеловал ее всего один раз и, не оглядываясь, направился к воротам для пассажиров. Сьюзен окликнула меня:

— Том, помнишь мой сон, где мы с тобой танцевали в метель?

— Я его никогда не забуду.

Сьюзен заплакала, и боль расставания вновь сжала мне горло. Особенно ее последние слова:

— Обещай мне это, тренер. Когда приедешь в Южную Каролину, сделай так, чтобы я тебе приснилась. Не прогоняй сны о своей Лоуэнстайн.

Через год после моего нью-йоркского лета я поехал в Атланту, чтобы встретить отца, освобождающегося из федеральной тюрьмы. Мне хотелось дать ему немного времени перед тем,

как на него обрушатся волны искренней, хотя и с оттенком вины, любви. Разделенная, хватившая немало горя семья ждала его, толком не зная, как с ним обходиться. Никто из нас не представлял, какой теперь будет жизнь отца, когда он столько лет провел за решеткой и растерял прежний запал. Отец похудел, его лицо приобрело желтоватый оттенок, появился двойной подбородок. Отец при мне собрал свои нехитрые пожитки. Тюремный чиновник подписал документ об освобождении и заверил, что в тюрьме будут скучать по нему.

— Если бы все заключенные были как Генри Винго, нам бы жилось гораздо легче, — добавил он.

— Хоть один раз у меня что-то получилось, — усмехнулся отец. — Я был потрясающим арестантом.

Оттуда мы поехали на стадион и посмотрели матч с участием «Бравс». Ночь мы провели в отеле «Хаятт Ридженси». На другой день ранним утром мы покинули Атланту и выехали в Чарлстон. Я специально выбирал тихие провинциальные дороги и не гнал машину. Нам обоим требовалось время, чтобы заново привыкнуть друг к другу и найти верные слова… если точнее, безопасные

слова. Болезненных моментов мы изо всех сил старались не касаться.

Отец постарел, но то же самое он мог сказать и обо мне. Я смотрел на его лицо и узнавал лицо Люка. Отец отвернулся к окну машины, а на меня лишь украдкой поглядывал. Я понимал: мое лицо напоминает ему лицо бывшей жены, и где-то ему тяжело видеть меня, но этого ни он, ни я не могли изменить. Мы рассуждали о спорте и тренировках. Можно было подумать, что вся наша жизнь только и состояла из футбольных, бейсбольных и баскетбольных сезонов. Но это были единственные темы, связывающие нас. Единственный язык любви между отцом и сыном.

— Представляешь, отец, «Бравс» осталось всего четыре игры. У них высокие шансы стать чемпионами, — сообщил я, когда мы ехали по мосту через Саванну.

— Когда у них есть такой парень, как Никро, победа почти в кармане. Помнишь, что он вчера выделывал на поле? Думаю, никто из ребят высшей лиги не смог бы отобрать у него мяч.

Под этим ответом скрывался молчаливый душераздирающий крик отца, неуклюже пытающегося хоть как-то выразить любовь к своему сыну. По-другому он не умел. Но я его понял, и

этого было достаточно.

— Как ты оцениваешь свою нынешнюю команду? — поинтересовался отец.

— Надеюсь, кое-кого мы удивим, — отозвался я. — Кстати, не поможешь мне с тренировкой линейных игроков?

— А что, я бы не прочь.

К тому времени, когда мы, миновав Чарлстон, направлялись на остров Салливанс, Саванна уже прилетела из Нью-Йорка и была дома. Девчонки высыпали на крыльцо и опасливо поглядывали на деда.

— Девочки, вы осторожнее, — с улыбкой предостерег я дочерей. — Он хоть и большой мальчик, но дерется.

— Ваш папа шутит. Бегите ко мне и поцелуйте вашего деда, — велел отец усталым подавленным голосом, и я пожалел о своей неуместной шутке.

В дверях показалась Салли: стройная, темноволосая, загорелая и серьезная. Она подбежала к тестю и обняла его. У нее хлынули слезы, а он стал кружить ее, потом опустил на землю и уткнулся ей в плечо.

Тут из дома вышла Саванна, и произошло нечто, чему я не нахожу объяснения. Я видел, как отец и моя сестра бросились навстречу друг другу, и

это затронуло какую-то очень глубокую, прежде неподвижную струну моей души. Отклик был инстинктивным; он исходил от чего-то, укорененного во мне, присущего роду и непроизносимого, но что я, ощутив, теперь могу описать. Этот резонанс был вызван не встречей отца и Саванны — то была яростная музыка крови, неистовства и моего единства с ними. Красота и страх кровного родства, невыразимость семейных уз — вот что вызывало во мне обжигающий ужас и одновременно наполняло благоговейной любовью. Отец — источник нашей жизни и всех наших слез, — не стесняясь, рыдал. Слезы были водой, соленой водой, и за отцовской спиной плескался океан. Я вдыхал запах океана, ощущал вкус собственных слез; море и боль внутри меня выплескивались наружу, в залитый солнцем мир. Дочери, видя меня плачущим, тоже стали всхлипывать. История нашей семьи — это история соленой воды, лодок и креветок, слез и штормов.

Я смотрел на свою сестру-близнеца, красивую, перестрадавшую, на ее руки со шрамами, обнимавшие отцовскую шею, на ее глаза, с детства видевшие то, чего не дано другим. Возможно, эти кошмары сломали бы ее, если бы не ее власть над языком — сильная, способная очистить пере-

житое и обратить весь его ужас в изумительные стихи, врезавшиеся в сознание современников. Талант, превращающий горе и страдания в жизнеутверждающую красоту… Я разглядывал свою жену, вошедшую в нашу семью и научившуюся терпимо относиться к целому выводку родовых демонов. Она сделала это, поскольку любила меня, хотя я и не был в состоянии ответить на ее чувства, не мог помочь ей ощутить себя нужной и желанной, невзирая на все попытки… Я наблюдал за своими дочерьми, которых любил настолько совершенной любовью, что она казалась никак не связанной со мной. И все потому, что мне хотелось сделать своих девочек ни в чем не похожими на меня; чтобы у них не было детства, подобного моему, и они подходили бы ко мне, не опасаясь, что отец может ни с того ни с сего ударить. Через их детство я пытался восстановить свое собственное, сделать его таким, каким оно мне представлялось в мечтах. Через своих дочек я пытался изменить мир.

Ближе к вечеру мы погрузили в машину сумку-холодильник с пивом и корзину с едой и устремились в сторону Чарлстона. Не доезжая до города, мы свернули к Шем-крик, где находился причал для лодок ловцов креветок. На волнах

покачивалась всего одна лодка.

— Умеешь управлять такой штуковиной? — спросил я отца, указывая на лодку.

— Вообще-то нет, но мог бы научиться.

— Эта лодка зарегистрирована на имя капитана Генри Винго, — сообщил я. — Мамин подарок к твоему возвращению.

— Я не могу его принять.

— Не ты ли писал, что мечтаешь вернуться на реку? Мама решила тебе в этом помочь. Я одобряю ее поступок.

— Лодка, конечно, шикарная, — похвалил отец. — А как с добычей креветок в этом году?

— У хороших ловцов объемы очень даже приличные. Кстати, до начала моих тренировок остается еще целый месяц. Готов подработать у тебя помощником, пока ты не подыщешь себе другого.

— Согласен платить тебе шесть центов с фунта, — заявил отец.

— Хочешь поймать меня на дешевку? Не выйдет, папа. Теперь другие расценки. Десять центов с фунта.

— Поблагодари свою мать, — улыбнулся отец.

— Она хочет увидеться с тобой.

— Пока не знаю.

— Я же не говорю, что прямо сейчас. Отныне ты свободен, найдешь время. А теперь заводи мотор и погнали к реке Уондо[221].

За час до заката мы вошли в главный канал Чарлстонской гавани. Вода сверкала золотистыми оттенками. С берега доносился звон колоколов церкви Святого Михаила; нас окутывал влажный пряный аромат старого города. Отец провел лодку под железными громадами двух мостов через реку Купер. Навстречу нам со стороны Северного Чарлстона двигался белоснежный сухогруз. Мы помахали кораблю, и капитан ответил нам приветственным гудком. Затем мы сделали поворот правым бортом и оказались в реке Уондо. Высота прилива была настолько большой, что отцу не требовалось заглядывать в навигационную карту. Проплыв милю, мы достигли места, где река плавно изгибалась. Сразу у берега начиналось обширное болото и, насколько видел глаз, не было ни одного дома.

— Том, почти самое время, — объявила Салли, зайдя в рубку.

— Время для чего? — удивился отец.

— Для сюрприза в честь тебя и Саванны, — от-

[221] Примечания: 221

Уондо — приливно-отливная река. Начинается в пределах штата Южная Каролина и вблизи Чарлстонской гавани впадает в реку Купер.

ветила Салли, посмотрев на часы.

— Мама, какой сюрприз? — стали выпытывать девочки.

— Потерпите. Если я расскажу, это уже не будет сюрпризом.

Мы купались в темной и теплой речной воде и ныряли с носа лодки. Наплававшись, мы открыли корзину, разложили еду и отметили возвращение отца шампанским. Потом Саванна с отцом, взявшись за руки, встали возле борта.

Я пытался придумать нужные слова, но в голову ничего не приходило. Я научился вслушиваться в мерные звуки сердца и узнал то, что может здорово пригодиться в дальнейшем. Я находился в окружении своей семьи, и у них все было хорошо. Я молился о том, чтобы с ними всегда все было благополучно, а я умел бы довольствоваться тем, что имею. Я родился на Юге и многое от него вытерпел, но молю тебя, Боже: дай мне сохранить то, что у меня есть. Господи, я обыкновенный учитель и обыкновенный тренер. Это все, что я могу, но мне этого достаточно. Но черные волны, черные волны, Господи. Они поднимаются у меня внутри, и меня охватывает восторг и желание благодарить Тебя. Я слышу их и хочу положить свои мечты на музыку. Когда они приходят, мне

кажется, что это ангел ослепляет розой мои глаза, и из чистых подводных глубин, где обитает тайный экстаз, сами собой поднимаются длинные хвалебные строки.

По ночам ко мне приходит белый дельфин, поющий в реке времени и окруженный тысячью других дельфинов. Он приносит мне горячие приветы от Принца приливов, выкрикивая: «Винго, Винго, Винго!» Господи, мне достаточно и этого. Достаточно.

— Пора, Том, — скомандовала Салли, поднимаясь и целуя меня в губы.

Вся наша семья собралась на носу лодки, ожидая окончания дня.

Громадное красное солнце начало медленно опускаться, цепляясь за деревья на западном краю неба, и одновременно по другую сторону реки, из-за других деревьев, в красноватой мантии стала появляться луна. Она напоминала диковинную огненную птицу. На мгновение оба светила замерли, словно приветствуя друг друга, и продолжили свое движение в завораживающем танце света над кронами дубов и пальм.

Отец смотрел на этот извечный ритуал светил, а я смотрел на отца, и мне казалось, что сейчас он снова заплачет. Я представлял, каково ему после

нескольких лет тюремной жизни очутиться в родном мире прибрежных низин. Девчонки радостно вопили, обращаясь то к солнцу, то к луне.

— Завтра выйду на лов, — пообещал отец.

Саванна молча обняла меня за талию. Мы прошли на корму.

— Потрясающий сюрприз, Том, — улыбнулась сестра.

— Я так и думал, что тебе понравится.

— Доктор Лоуэнстайн передавала тебе большой привет, — сообщила Саванна. — Она встречается с каким-то юристом.

— Она мне писала. А ты хорошо выглядишь, сестренка.

— Том, я этого достигну, — пообещала Саванна, глядя на скольжение солнца и луны. — Цельности. Все возвращается. Все есть круг.

Луна успела подняться и приобрести серебристый оттенок. Саванна встала на цыпочки, вскинула вверх руки и крикнула нетвердым, но убежденным голосом:

— Мама, сделай так еще!

На этой ноте надо бы закончить свое повествование. Но я обещал рассказать все.

Каждый вечер после тренировки я направляюсь домой по улицам Чарлстона, подняв

откидной верх своего «фольксвагена». В это время всегда темно, воздух по-осеннему прохладен, ветер треплет мои волосы. Я сворачиваю на мост, где над гаванью светят звезды, бросаю взгляд на север и каждый раз сожалею, что людям не дано прожить две жизни. За моей спиной остается сверкающий холодноватыми огнями, невыразимо прекрасный Чарлстон. Впереди — дом на острове, где моего возвращения ждут жена и дочери. В их глазах я вижу одобрение и поддержку моей реальной жизни. Но в тот момент, когда я еду по мосту, я нахожусь во власти моей тайной жизни. Я твержу одно слово — молитву, хвалу, сожаление. Не могу сказать, зачем я это делаю и почему, однако каждый вечер, когда я спешу навстречу своему южному дому и южному укладу, я шепотом повторяю: «Лоуэнстайн, Лоуэнстайн».